



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Yslaw 4350.2.801

THE SLAVIC COLLECTION



Harvard College Library

GIFT OF

Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

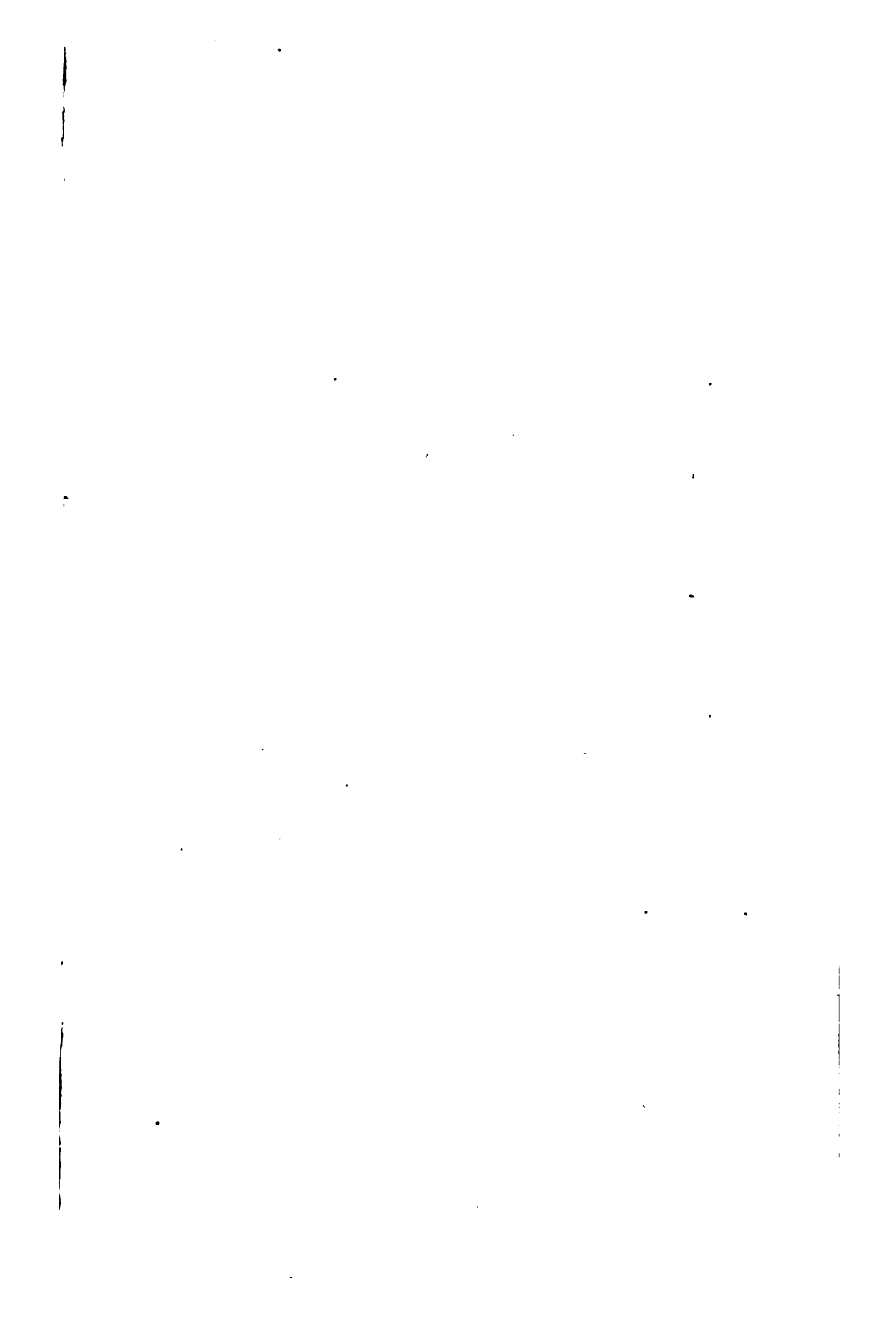
(Class of 1887.)

---

Received 1 July, 1895.









ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и рѣчи  
Ужъ замолкшія давно.

*Князь Вяземскій.*

Былое въ сердцѣ воскреси,  
И въ немъ сокрытаго глубоко  
Ты духа жизни допроси!

*Хомяковъ.*

И я не будущимъ, а прошлымъ ожив-  
ленъ!

*В. Истоминъ.*

«Не извращай описанія событій. По-  
бѣду изображай какъ побѣду, а пора-  
женіе описывай какъ пораженіе».

*(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эд-  
динъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).*

«Цари и вельможи! Покровитель-  
ствуйте Музамъ: онѣ благодарны».

*Погодинъ.*

**Николая Варсукова**

КНИГА ВОСЬМАЯ

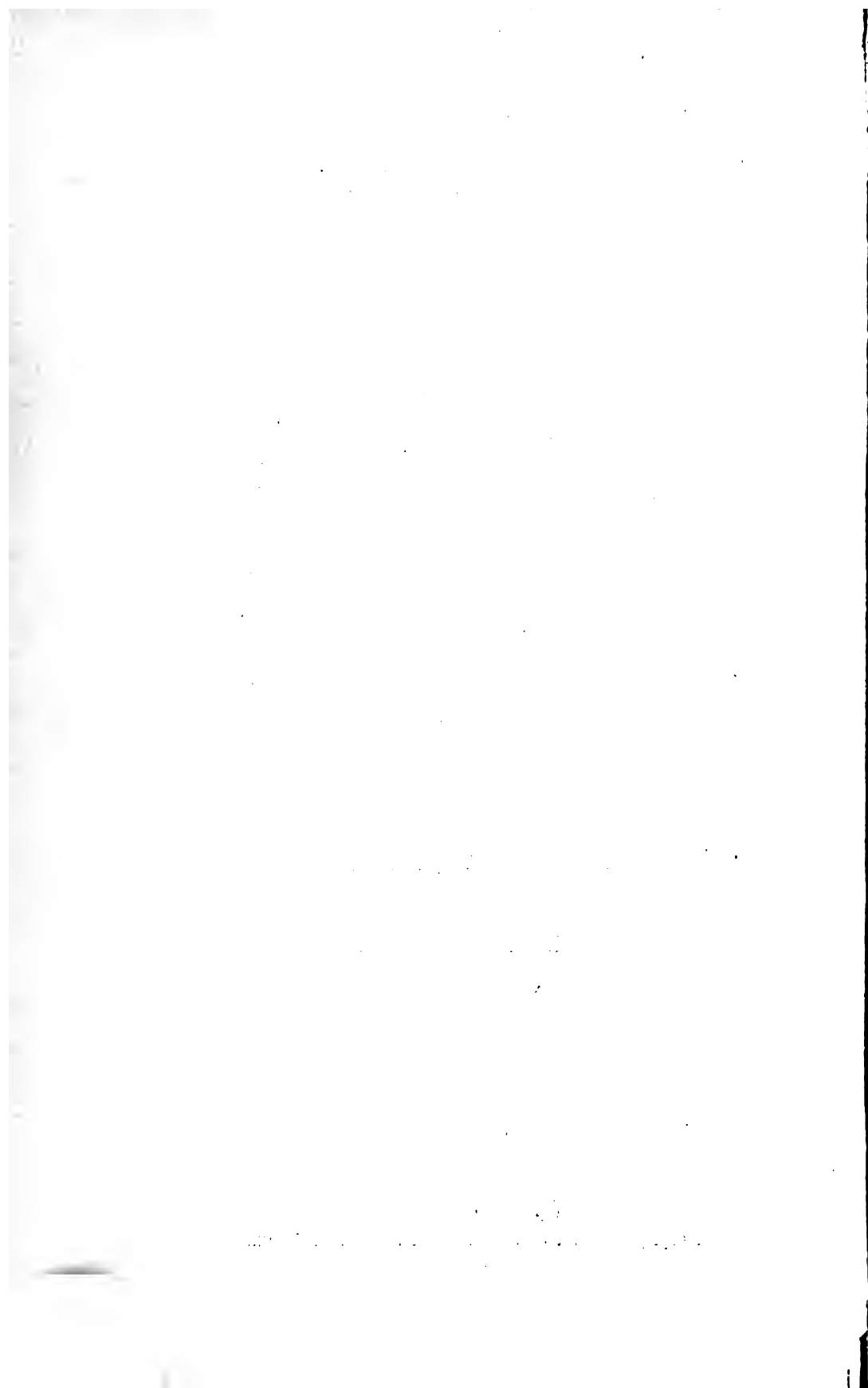
VIII

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28

1894





# ЖИЗНЬ И ТРУДЫ

## М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и рѣчи  
Ужъ замолокшія давно.

*Князь Вяземскій.*

Былое въ сердцѣ воскреси,  
И въ немъ сокрытаго глубоко  
Ты духа жизни допроси!

*Хомяковъ.*

И я не будущимъ, а прошлымъ ожив-  
ленъ!

*В. Истоминъ.*

«Не извращай описанія событій. По-  
бѣду изображай какъ побѣду, а пора-  
женіе описывай какъ пораженіе».

*(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эд-  
динъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).*

«Цари и вельможи! Покровитель-  
ствуйте Музамъ: онѣ благодарны».

*Погодинъ.*

**Николая Варсукова**

*Nikolai Barsukoff.*

КНИГА ВОСЬМАЯ

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28

1894

VS 200 4350.2.801

640  $\frac{11}{5}$

Harvard College Library  
Gift of  
Archibald Cary Coolidge, Ph. D.  
July 1, 1895.



2182

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
ГЛАВА I (1845). Рожденіе Великаго Князя Александра Александровича, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора. Предварительная переписка И. В. Кирѣвскаго съ Погодинымъ объ изданіи <i>Москвитянина</i> . Содержаніе первой книжки этого журнала. Замѣчаніе И. В. Кирѣвскаго о письмахъ Карамзина М. Н. Муравьеву. Похвальные отзывы о первомъ номерѣ <i>Москвитянина</i> . Письмо И. Г. Селявина къ Погодину. Письмо Хомякова къ Веневитинову. Отзывы Гоголя и о. Іоаннифа. Замѣчаніе послѣдняго о <i>Русской Исторіи</i> Устрялова. Отзывы Вальнева и Плетнева . . . . .	1 — 10
ГЛАВА II. Замѣчанія Н. Д. Иванчина-Писарева: о Жуковскомъ, И. И. Дмитріевѣ и Карамзинѣ. Статья Погодина: <i>Параллель Русской Исторіи съ Исторіею Западныхъ Государствъ</i> : оброкъ и барщина. Отзывы Иванчина-Писарева о произведеніяхъ И. В. Кирѣвскаго . . . . .	10 — 16
ГЛАВА III. Успѣхъ <i>Москвитянина</i> поднимаетъ духъ Словенофиловъ и раздражаетъ Западниковъ. Pamфлетъ Герцена, подъ псевдонимомъ Ярополка Водянскаго. Равнодушіе къ этому памфлету Словенофиловъ производитъ непріятное впечатлѣніе на Погодина. Письмо Вальнева . . . . .	16 — 21
ГЛАВА IV. Столкновенія И. В. Кирѣвскаго съ Погодинымъ по изданію <i>Москвитянина</i> . И. В. Кирѣвскій оставляетъ редакцію <i>Москвитянина</i> . . . . .	22 — 28
ГЛАВА V. Переговоры о продолженіи изданія <i>Москвитянина</i> , который остается въ рукахъ Погодина. Письма къ нему Ѳ. Н. Глинки и С. Н. Глинки . . . . .	28 — 35
ГЛАВА VI. Намѣреніе Погодина передать <i>Москвитянина</i> В. В. Григорьеву. А. А. Фетъ. А. А. Григорьевъ . . . . .	35 — 43
ГЛАВА VII. Магистерская диссертация Грановскаго. Днсутъ его. Сочувствіе къ нему молодого поколѣнія . . . . .	43 — 48

	Стран.
ГЛАВА VIII. Слова, сказанныя Грановскимъ въ рѣчи къ студентамъ, даютъ поводъ Погодину написать статью <i>За Русскую Старину</i> . . . . .	48 — 60
ГЛАВЫ IX—X. Отношеніе Погодина къ Словенофиламъ: Аксаковы. Вступленіе И. С. Аксакова на литературное поприще. Служба его въ Калугѣ и А. О. Смирнова. Гоголь . .	60 — 75
ГЛАВА XI. Дружескія отношенія Хомякова къ Погодину. Дружба Хомякова съ А. Веневитиновымъ. Пальмеръ . . .	75 — 80
ГЛАВА XII. Занятія Ю. О. Самарина Исторіею Великаго Новгорода. Публичныя лекціи Шевырева. Обѣдъ въ честь Шевырева . . . . .	81 — 86
ГЛАВА XIII. Избраніе Погодина въ почетные члены Московскаго Университета. Неудачная попытка его занять снова кафедру въ Московскомъ Университетѣ. Переписка его по этому поводу съ И. И. Давыдовымъ . . . . .	87 — 92
ГЛАВА XIV. Отношеніе Погодина къ С. М. Соловьеву. Магистерскій диспутъ послѣдняго. Участіе въ немъ Погодина и отношеніе его къ молодому поколѣнію . . . . .	92 — 95
ГЛАВА XV. Письмо Погодина къ графу С. Г. Строганову. Показаніе князя В. А. Черкасскаго о состояніи Московскаго Университета за Строгановское время . . . . .	96 — 102
ГЛАВА XVI. Религіозное настроеніе Погодина. Мечта его совершить путешествіе въ Палестину вѣстѣ съ А. В. Горскимъ. Пріѣздъ въ Москву А. Н. Муравьева. Погодинъ изучаетъ Филарета. . . . .	102—113
ГЛАВА XVII. Занятія Погодина Русскою Исторіею. Параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Европейскихъ Государствъ. Погодинъ prepares къ печати свои Изслѣдованія, Замѣчанія и Лекціи о Русской Исторіи. Тмута-раканъ. Письмо Погодина къ Шевыреву о <i>Словѣ о полку Игоревѣ</i> . Полемизируетъ съ М. А. Максимовичемъ о народной исторической поэзій въ Древней Руси . . . . .	113—126
ГЛАВА XVIII. Полемика Погодина съ П. В. Кирѣевскимъ о древнѣйшей Исторіи Россіи . . . . .	126—138
ГЛАВА XIX. Погодинъ издаетъ Словарь Русскихъ писателей митрополита Евгенія. Полемика по поводу этого изданія съ С. Д. Полторацкимъ. Ученая переписка Погодина съ А. В. Горскимъ, Тобинымъ, А. О. Бычковымъ, Іоанномъ, впоследствии епископомъ Смоленскимъ, Сахаровымъ. Письмо графа В. П. Шереметева къ Петру Великому. Замѣчаніе Н. Д. Иванчина-Писарева . . . . .	139—148
ГЛАВА XX. Погодинъ оставляетъ должность секретаря въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей Россій-	

	Стран.
скихъ. Столкновение Погодина съ Бодянскимъ по поводу Малороссійской лѣтописи. Разговоръ съ графомъ С. Г. Строгановымъ . . . . .	148—154
ГЛАВА XXІ. Переписка Погодина съ Бодянскимъ по поводу перевода, сдѣланнаго послѣднимъ Исторіи Галичскаго княжества Зубрицкаго. Мирныя отношенія Погодина съ П. М. Строевымъ.	154—164
ГЛАВА XXІІ. Древлехранилище Погодина . . . . .	164—169
ГЛАВА XXІІІ. Сахаровъ посѣщаетъ Москву. Отзывъ объ его трудахъ графа С. Г. Строганова. Переписка Погодина съ Сахаровымъ. Занятія Бѣльева и Ундольскаго по каталогизаціи Древлехранилища Погодина. Часть каталога Погодинъ отправляетъ къ Востокову на разсмотрѣніе. Отзывъ Востокова. Предположеніе Погодина издать Псалтирь XII вѣка. Мнѣніе Бодянскаго объ этомъ предполагаемомъ изданіи. П. М. Строевъ предлагаетъ Погодину составить каталогъ собранію его рукописей. Погодинъ отклоняетъ это предложеніе . . . . .	169—180
ГЛАВЫ XXІV—XXVІ. Открытіе въ Симбирскѣ памятника Карамзину. Погодинъ приноситъ тамъ Похвальное Слово Карамзину . . . . .	180—205
ГЛАВА XXVІІ. Постановленіе Симбирскаго Дворянства объ изданіи Похвальнаго Слова Карамзину. Впечатлѣніе, произведенное Похвальнымъ Словомъ на друзей Карамзина. Погодинъ читаетъ въ семействѣ Карамзиныхъ Похвальное Слово и о Петрѣ Великомъ. Ироническое отношеніе <i>Отечественныхъ Записокъ</i> къ Симбирскому торжеству. Цензурныя затрудненія, встрѣтившіяся Погодину при печатаніи Похвальнаго Слова. Стихотвореніе Языкова. Не исполнившееся желаніе Погодина прочесть Похвальное Слово въ Академіи Наукъ . . . . .	205—211
ГЛАВА XXVІІІ. Поднесеніе Похвальнаго Слова Государю Императору и прочимъ Членамъ Императорской Фамиліи. Благопріятное впечатлѣніе, произведенное этимъ сочиненіемъ Погодина. Письма къ Погодину Иннокентія, архимандрита Гавріила, Жуковскаго, графа Блудова, князя Вяземскаго. Сочувственные отзывы: Гоголя, Шевырева, Мельгунова и Герцена. Замѣчанія И. В. Кирѣевскаго на Похвальное Слово . . . . .	211—224
ГЛАВЫ XXІХ—XXXІ. Кончины: Д. Л. Крюкова, Д. А. Валуева и А. И. Тургенева . . . . .	224—244
ГЛАВА XXXІІ. Статья Погодина объ А. И. Тургеневѣ. Отзывъ объ этой статьѣ Западниковъ, Словенофиловъ и Жуковскаго. Личная жизнь Погодина . . . . .	244—253
ГЛАВА XXXІІІ. Религіозное настроеніе Погодина . . . . .	253—263
ГЛАВА XXXІV. Посланіе Погодина <i>Къ Юношѣ</i> . . . . .	263—282
ГЛАВА XXXV. Желаніе Погодина вступить во второй бракъ: М. С. Муханова. М. П. Павлова. Е. А. Карагофъ . . . . .	282—290



ГЛАВА XXXVI. (1846). <i>Москвитянинъ</i> . Сношенія Погодина съ провинціальными учеными: А. И. Артемьевъ. Возвращеніе А. А. Григорьева въ Москву на жительство. Мысль о просвѣщеніи народа подъ покровомъ Церкви. Іоакимъ. . . . .	290—300
ГЛАВА XXXVII. Полемика Д. П. Голохвастова съ <i>Отечественными Записками</i> . Московская цензура. Безучастіе къ <i>Москвитянину</i> друзей Погодина. Непріятная переписка его съ Шевыревымъ. Дружескія отношенія М. А. Дмитріева къ Погодину. Передача А. Е. Студитскому редакціи <i>Москвитянина</i> . Выхода въ <i>Москвитянинъ</i> противъ Шевырева. Маскарадъ у С. А. Римскаго-Корсакова. Стихи, поднесенные на этомъ маскарадѣ графу С. Г. Строганову. Изданіе <i>Москвитянина</i> въ отсутствіи Погодина. . . . .	300—312
ГЛАВА XXXVIII. <i>Московский Сборникъ</i> . Рецензія Погодина. Отзывъ Бѣлинскаго . . . . .	312—324
ГЛАВА XXXIX. Неудачная попытка Словенофиловъ привлечь Гоголя къ участію въ <i>Московскомъ Сборникѣ</i> . Отзывъ его объ этомъ изданіи. Жизнь Гоголя въ чужихъ краяхъ. Письмо его объ <i>Одиссеи</i> . Отзывы объ этомъ письмѣ И. С. Аксакова и князя П. А. Вяземскаго. Нѣмецкій переводъ <i>Мертвыхъ Душъ</i> . Клевета на Погодина. Пасквиль Сеньковского на Гоголя. Свиданіе Погодина съ Сеньковскимъ. Замѣчаніе И. С. Аксакова о письмѣ Гоголя къ А. О. Смирновой. Ю. Ф. Самаринъ. Свиданіе съ нимъ Погодина . . . . .	324—334
ГЛАВА XL. Аксаковы. Отношеніе къ нимъ Погодина. Произведенія И. С. Аксакова. Отзывы о нихъ Погодина. Міросовершеніе И. С. Аксакова. Водевиль К. С. Аксакова: <i>Почтовая Карета</i> . Диссертация его о Ломоносовѣ. Отношеніе И. С. Аксакова къ А. О. Смирновой. . . . .	334—348
ГЛАВА XLI. <i>Петербургскій Сборникъ</i> . Рецензія Шевырева. <i>Бѣдные Люди</i> Ф. М. Достоевскаго. Альманахъ <i>Первое Апрѣль</i> съ пасквилями на Погодина и Шевырева . . . . .	348—356
ГЛАВА XLII. Разрывъ Бѣлинскаго съ <i>Отечественными Записками</i> . Письмо по этому поводу А. И. Герцена къ А. А. Краевскому. Путешествіе по Россіи Бѣлинскаго съ М. С. Щепкинымъ. Возвращеніе Бѣлинскаго въ Петербургъ. . . . .	356—364
ГЛАВА XLIII. Публичныя лекціи Грановскаго. Размолвка его съ Герценомъ. Сближеніе Грановскаго съ Словенофилами. Крыловская исторія . . . . .	364—380
ГЛАВА XLIV. Историко-критическіе отрывки Погодина. Изданія Археологической Коммиссіи. Исторія Христіанства въ Россіи до Владиміра—Макарія . . . . .	380—385
ГЛАВА XLV. Письмо Погодина къ Ф. Г. Солнцеву о Русскихъ Древностяхъ. Иностранцы Путешественники по Россіи, изданные Аделунгомъ. Посланіе св. Стефана Пермскаго къ в. кн. Дмитрію Донскому. . . . .	385—392

ГЛАВА XLVI. Занятія Погодина біографіями Карамзина и А. П. Ермолова. . . . .	Стран. 392—397
ГЛАВА XLVII. Отношенія Погодина къ С. М. Соловьеву и О. М. Бодянскому. Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ. <i>Русская Правда</i> Калачова. Древлехранилище Погодина. . . . .	398—406
ГЛАВА XLVIII. <i>Исторія Русской Словесности</i> Шевырева. Публичное чтеніе Шевырева объ Исторіи Всеобщей Поэзіи. Письмо П. И. Мельникова къ Погодину о Нижегородскихъ Древностяхъ . . . . .	406—413
ГЛАВА XLIX. Путешествіе Погодина въ чужіе края: Петербургъ. Плаваніе до Штетина. Берлинъ. Дрезденъ. . . . .	413—421
ГЛАВА L. Прага. Мариенбадъ и Теплицъ. Вѣна. Путешествіе изъ Вѣны до Бѣлгорода. Пресбургъ. Встрѣча Погодина съ митрополитомъ Іосифомъ Рачичемъ. Карловицъ. Бѣлградъ. Возвращеніе въ Отечество по Дунаю. Галацъ. Осмотръ Траянова вала. Безуспѣшное разыскиваніе древностей. Выѣздъ Погодина изъ Галаца. Плаваніе по Дунаю. Иамантъ. Одесса. . . . .	422—437
ГЛАВА LI. Пребываніе Погодина въ Одессѣ. Общество Исторіи и Древностей. Князь М. С. Воронцовъ. Ришельевскій Лицей. Человѣколюбивыя заведенія. А. С. Стурдза. Обѣдъ въ честь Погодина. Рѣчь его. Замѣчаніе о Пушкинѣ. Собраніе Древностей князя М. С. Воронцова и Н. Н. Мурзакевича. . . . .	437—445
ГЛАВА LII. Предположеніе Погодина съѣздить въ Крымъ. Путешествіе отъ Одессы до Харькова. Свиданіе съ преосвященнымъ Иннокентіемъ. Посѣщаетъ Университетъ. Возвращается въ Москву. Празднуетъ именины . . . . .	445—452
ГЛАВА LIII. Словенское дѣло въ Россіи. Взглядъ на Словенъ князя Паскевича. Неудачный опытъ Шевырева привлечь Словенъ къ педагогической дѣятельности. Гавличекъ. Письмо о немъ Шевырева къ Погодину. Рекомендованный Срезневскимъ сербъ. Вячеславъ Ганка и Реймское Евангеліе. Кончина Прейса. Претендентъ на его кѣедрѣ . . . . .	452—459
ГЛАВА LIV. И. И. Срезневскій занимаетъ въ Петербургскомъ Университетѣ кѣедрѣ Прейса. Свѣдѣнія о немъ изъ переписки А. А. Куника съ Погодинымъ. П. С. Виларскій и его <i>Судьбы Церковнаго языка</i> . . . . .	459—467
ГЛАВА LV. Путешествіе В. И. Григоровича по Европейской Турціи. Н. А. Ригельманъ. Кончина Самуила Линде. Воспоминаніе о немъ Адама Плеве. . . . .	467—479
ГЛАВА LVI. Возведеніе С. С. Уварова въ графское Россійской Имперіи достоинство. Пребываніе его въ Москвѣ и въ Порѣчѣ. Примиреніе Погодина съ И. И. Давыдовымъ. Назначеніе послѣдняго директоромъ Педагогическаго Института. Деканство Шевырева . . . . .	479—486

	Стран.
ГЛАВА LVII. Кончины: А. А. Елагина, князя А. А. Шаховскаго, Н. А. Полеваго. Замѣчанія Погодина на брошюру Бѣлинскаго о Полевомъ . . . . .	486—500
ГЛАВА LVIII. Кончина Н. М. Языкова . . . . .	500—508
ГЛАВА LIX. (1847 г.). Семисотлѣтіе Москвы. . . . .	509—519
ГЛАВА LX. Гоголь выпускаетъ въ свѣтъ <i>Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями</i> . . . . .	519—524
ГЛАВА LXI. Отношеніе Словенофиловъ къ книгѣ Гоголя. Домашняя полемика Аксаковыхъ по поводу этой книги . . . . .	524—534
ГЛАВА LXII. Ссора А. О. Смирновой съ И. С. Аксаковымъ. Отзывъ А. О. Смирновой объ Аксаковыхъ. Письма къ ней Гоголя. Мнѣніе Западниковъ объ отношеніяхъ Словенофиловъ къ книгѣ Гоголя. . . . .	534—542
ГЛАВЫ LXIII—LXIV. Отношеніе Погодина къ книгѣ Гоголя. . . . .	542—557
ГЛАВА LXV. Близость Гоголя къ Шевыреву. Письмо къ послѣднему князя П. А. Вяземскаго о критикахъ Гоголя. Разборъ Шевырева книги Гоголя. Замѣчаніе Д. А. Столпнина. Забота Гоголя объ обезпеченіи начинающихъ писателей. Отношеніе Духовенства къ книгѣ Гоголя: Митрополитъ Филаретъ. Архіепископъ Иннокентій. Архимандритъ Игнатій Брянчаниновъ. Показаніе Д. Г. Бѣлавина о Григоріи, епископѣ Калужскомъ. Сближеніе Гоголя съ о. Матвѣемъ. Характеристика послѣдняго, сдѣланная Т. И. Филипповымъ. Переписка Гоголя съ о. Матвѣемъ . . . . .	558—572
ГЛАВА LXVI. Письма Н. Ф. Павлова противъ книги Гоголя. Замѣчанія о нихъ Шевырева и князя П. А. Вяземскаго. Восторгъ Западниковъ отъ этихъ писемъ. Наше замѣчаніе о завѣщаніи Гоголя и сравненіе онаго съ завѣщаніями: архіепископа Воронежскаго и Задонскаго Антонія († 1846) и митрополита Кіевскаго Константина († 1159). Переписка Гоголя съ Шевыревымъ по поводу писемъ Н. Ф. Павлова. Письмо П. Я. Чаадаева князю П. А. Вяземскому о книгѣ Гоголя . . . . .	572—579
ГЛАВА LXVII. Порицатели книги Гоголя: В. П. Боткинъ. <i>Отечественныя Записки</i> . Критика Бѣлинскаго. Участіе Жуковскаго. Чуткость Гоголя къ критическимъ статьямъ о своей книгѣ. Защитники книги Гоголя. Князь П. А. Вяземскій . . . . .	579—587
ГЛАВА LXVIII. Независимость князя П. А. Вяземскаго. Письма къ нему П. Я. Чаадаева. Сочувствіе къ книгѣ Гоголя М. Н. Загоскина, Ф. Ф. Вигеля и А. А. Григорьева . . . . .	587—593
ГЛАВЫ LXIX—LXX. Переписка Гоголя съ Бѣлинскимъ. Посредничество П. В. Анненкова между Гоголемъ и Западниками. Слова протоіерея П. А. Смирнова. . . . .	593—619

## I.

26 февраля 1845 года у Наслѣдника Русскаго Престола родился второй сынъ, нареченный Александромъ, волею Божіею, нынѣ благополучно царствующій Государь Императоръ.

3 марта Москва молитвенно праздновала это радостное событіе. Въ кафедральной церкви Чудова монастыря, въ 10 съ половиною утра, прочитанъ былъ Высочайшій манифестъ слѣдующаго содержанія:

Божіею Милостию,  
Мы, Николай Первый,  
Императоръ и Самодержецъ  
Всероссійскій  
и прочая, и прочая, и прочая

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.

Въ 26 день сего февраля Любезная Наша Невѣстка, Цесаревна и Великая Княгиня Марія Александровна, Супруга Любезнаго Нашего Сына, Наслѣдника Цесаревича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ внука, а ихъ Императорскимъ Высочествамъ Сына, нареченнаго Александромъ.

Такое Императорскаго Нашего Дома приращеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благодати Божіей, въ утѣшеніе Намъ ниспосланной, Мы вполне удостовѣрены, что всѣ вѣрноподанные Наши вознесутъ съ Нами ко Всевышнему теплыя мо-

литвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи Новорожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, сего любезнаго Намъ внука, Новорожденнаго Великаго Князя, Его Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Санктпетербургѣ, въ 26 день сего февраля, въ лѣто отъ Рождества Христова 1845-е, Царствованія же Нашего въ двадцатое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:

*НИКОЛАЙ.*

По прочтеніи сего Высочайшаго манифеста принесено было благодарственное съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе, которое отправлялъ высокопреосвященнѣйшій Филаретъ, митрополитъ Московскій, съ преосвященнымъ Іосифомъ, епископомъ Дмитровскимъ \*), и Діонисіемъ епископомъ. По отправленіи сего молебствія Митрополитъ служилъ Божественную Литургію, по совершеніи же оной на Ивановской колокольнѣ начался обыкновенный звонъ и продолжался во весь тотъ день <sup>1)</sup>.

По поводу этого событія П. А. Плетневъ писалъ Жуковскому: „Двѣ утраты, столь горестныя для Семейства Царскаго, теперь нѣсколько облегчены явленіемъ на свѣтъ Сына Цесаревича. Трауръ снятъ... Новый Александръ долженъ внести съ собою въ семью Наслѣдника всѣ радости, какія соименный ему Императоръ нѣкогда внесъ въ сердце Екатерины. Намъ не увидѣть этого будущаго, которое такъ таинственно и значительно. Чѣмъ нѣкогда сдѣлается Россія? А въ ея бытію много, много судебъ приобщено Провидѣніемъ“ <sup>2)</sup>.

---

\*) Будучи въ санѣ архіепископа Воронежскаго и Задонскаго (съ 1853 года), въ 1864 году Высокопреосвященный Іосифъ уволенъ былъ на покой по совершенной потерѣ зрѣнія. „Посѣщеніе Божіе слѣпотой святитель переносилъ съ истинно-христіанскимъ смиреніемъ и терпѣніемъ, посвятивъ послѣднія двадцать-семь лѣтъ своей затворнической жизни въ Воронежскомъ Митрофаніевомъ монастырѣ подвигамъ поста и молитвы и благотворенію ближнимъ“. Святитель въ Богѣ почилъ 19 февраля 1892 года.

Приступая къ изданію *Москвитянина*, И. В. Кирѣевскій писалъ Погодину: „Я думаю надобно объявить, что въ редакціи *Москвитянина* произошли нѣкоторыя перемѣны; что издатель приобрѣлъ многихъ новыхъ сотрудниковъ, которые разобрали между собою различные отдѣлы журнала; что хотя главное направленіе останется то же, но оттѣнки его могутъ быть до безконечности различны. Что публика не должна приписывать самому Издателю образа мыслей, который можетъ быть выраженъ въ той или другой статьѣ; что Издатель предоставилъ въ этомъ отношеніи полную свободу составителямъ журнала, и публика должна приписывать ему только тѣ статьи, которыя будутъ подписаны его именемъ“. Въмѣстѣ съ тѣмъ Кирѣевскій мечталъ о томъ, чтобы *задавить* Петербургскіе журналы, и объ этомъ писалъ Погодину: „Мы только тѣмъ и можемъ *задавить* Петербургскихъ, что будемъ пользоваться только тѣми журналами, которыми они не пользуются. А если *не задавить* Петербургскихъ, то лучше и не издавать“. Въ томъ же письмѣ И. В. Кирѣевскій писалъ: „Если ты хочешь оставить *моды*, то надобно будетъ выписать нѣсколько модныхъ журналовъ, чтобы и въ этомъ отношеніи нашъ журналъ былъ первый, лучший, и потому необходимый для этого класса подписчиковъ. Выписывать журналы не только Французскіе, но и Вѣнскіе, выбирать изъ всѣхъ и представлять не двухъ барынь, но нѣсколько на одномъ листочкѣ поперекъ, а не вдоль. Можно будетъ найти дешеваго литографа, и притомъ хорошаго, изъ шволь технической или рисовальной“.

Въ самомъ концѣ января 1845 года вышелъ первый номеръ *Москвитянина*, издаваемый, какъ сказано на заглавномъ листѣ, М. Погодинымъ, съ умолчаніемъ имени И. В. Кирѣевского.

Книжка начинается *Словомъ по освященіи храма Благосвященія Пресвятыя Богородицы въ Кафедральномъ Чудовѣ монастырѣ*, 1844 года, декабря 3-го, говореннымъ Синодальнымъ Членомъ Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ.



Вслѣдъ за сими первыя страницы обновленнаго *Москвитянина* украшаетъ произведение Жуковскаго подъ заглавіемъ *Дополности. Подарокъ на новый годъ Москвитянину*, начинающееся такъ:

Дошла ко мнѣ на берегъ Майна слухъ,  
Что ты Кирѣвскій Москвитчъ замыслилъ  
Быть *Москвитяниномъ*. Въ часъ добрый; вѣзаться  
Давнымъ давно пора тебѣ за дѣло.

Это четверостишіе относилось къ самому И. В. Кирѣвскому, который къ нимъ сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе: „Эти стихи относятся къ одному литератору, который принимаетъ участіе въ составленіи *Москвитянина*“. Въ Postscriptum къ своему произведенію Жуковскій, обращаясь опять къ И. В. Кирѣвскому, писалъ:

И для тебя, мой добрый *Москвитянинъ*,  
Какъ и для всѣхъ, въ обѣихъ повѣстяхъ  
Полезное найдется наставленіе.  
...Будь въ своемъ журналѣ  
Другъ твердый, а не злой наѣздникъ правды;  
Съ журналами другими не воюй,  
Ни съ *Библиотекой для Чтенія*, ни  
Съ *Записками*, ни съ *Сѣвѣрной Пчелой*,  
Ни съ *Русскимъ Вѣстникомъ*. Живи и живи  
Давай другимъ; и обладать одинъ  
Вселенною читателей не мысли.  
Другой же повѣсти я толковать  
Тебѣ не стану: мнѣ давно извѣстно,  
Что ты, идя своей земной дорогой,  
Смирненно вѣдаешь, куда, зачѣмъ  
И кто тебѣ по ней идти велить.

Въ обновленномъ *Москвитянинѣ* приняли также участіе товарищи и друзья Жуковскаго. Князь П. А. Вяземскій и А. И. Тургеневъ, принадлежавшіе вмѣстѣ съ нимъ къ писателямъ Карамзинской школы. Вмѣстѣ съ тѣмъ Кирѣвскій въ первомъ же номерѣ *Москвитянина* напечаталъ Письма Н. М. Карамзина къ М. Н. Муравьеву (1803—1807 гг.) и замѣтилъ: „Каждая черта изъ жизни Карамзина драгоцѣнна для потомства. Память о немъ принадлежитъ теперь исторіи на-

шего просвѣщенія вмѣстѣ съ плодами его литературной дѣятельности, вмѣстѣ съ *Исторіей Государства Россійскаго*, этимъ безсмертнымъ памятникомъ его и нашей славы. Мы весьма жалѣемъ“, продолжаетъ Кирѣевскій,— „что не имѣемъ отвѣтовъ М. Н. Муравьева. Въ это время онъ былъ попечителемъ Московскаго Университета, товарищемъ министра и однимъ изъ сановниковъ, окружавшихъ престолъ Императора... Любопытно видѣть, какъ немедленно исполняетъ онъ всѣ просьбы, всѣ порученія Карамзина, не только въ тѣхъ важныхъ случаяхъ, когда ему нужно было ходатайствовать о покровительствѣ Государя, но даже и въ случаяхъ менѣе важныхъ, когда Карамзину нужна была книга или выписка. Любопытно также видѣть, съ какою довѣренностью къ нему относится Карамзинъ. Кто знаетъ, можетъ быть, безъ его благомысленнаго и теплаго содѣйствія Карамзинъ не имѣлъ бы средствъ совершить своего великаго дѣла... Нѣкоторые иностранные писатели, которые отдають справедливость высокимъ качествамъ Императора Александра, обыкновенно приписываютъ участіе въ развитіи этихъ свойствъ вліянію Лагарпа. Но мы думаемъ, что всего болѣе Императоръ Александръ обязанъ былъ своими достоинствами естественнымъ наклонностямъ своего сердца—и что близость къ нему человѣка (какъ воспитателя), каковъ былъ Муравьевъ, не могла остаться безъ вліянія на душу, готовую принять именно тѣ качества гражданской доблести, которыя составляли особенность характера Муравьева... Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ, кто умѣетъ уважать память человѣка добродѣтельнаго, кто неравнодушенъ въ славѣ гражданской доблести въ нашемъ Отечествѣ, кто дорожитъ памятью Императора Александра,—тотъ не можетъ безъ чувствъ, тотъ не долженъ безъ уваженія и благодарности вспоминать имя Михаила Никитича Муравьева“.

Прочитавъ первый номеръ *Москвитянина*, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Первый номеръ прекрасный. Онъ пойдетъ, если не задавать. Обѣдалъ у Аксаковыхъ съ Хомяковымъ, Свербѣевымъ и пр. Похвала *Москвитянину*, и

я очень и искренно радъ. Это впрочемъ за его доброе сердце. Захотѣлось слышать это отъ Языкова. Къ нему, а онъ еще не читалъ“ <sup>3)</sup>. Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ горячо рекомендовалъ *Москвитянина* товарищу министра внутреннихъ дѣлъ И. Г. Сеньявину, который въ отвѣтъ своемъ писалъ Погодину: „Я съ особеннымъ удовольствіемъ и признательностью получилъ письмо ваше. Напрасно вы рекомендуете мнѣ вашего новорожденного, я слѣдую Русской пословицѣ, „старый другъ лучше новыхъ двухъ“, это уже имѣю. Впрочемъ одно именование *Москвитянина* какъ принадлежность истинно мною любимой Москвы достаточно, чтобы меня сблизить. Живѣйшее принимаю участіе въ вашемъ положеніи. Да укрѣпить въ васъ Господь Богъ твердость христіанскаго увѣренія въ Его благодати. Я надѣялся въ концѣ февраля лично свидѣться съ уважаемыми мною Москвичами; но нынѣ долженъ отдалить это удовольствіе по случаю командировки на три недѣли Высочайшею волею въ нѣкоторыя внутреннія губерніи... Жена моя третьяго дня получила великолѣпный альбомъ для насъ обоихъ весьма цѣнный, въ особенности содержаніемъ... Насъ обрадовала вѣсть, которую впрочемъ я получилъ изъ вѣрнаго источника, что С. П. Шевыревъ располагаетъ посѣтить насъ. Я надѣюсь, что онъ не найдетъ здѣсь холодности въ чувствахъ, не взирая на близость къ Сѣверному полюсу“ <sup>4)</sup>.

Въ письмѣ своемъ къ Веневитинову Хомяковъ писалъ: „Каковъ первый номеръ *Москвитянина*, издаваемого, уже какъ ты знаешь, новымъ редакторомъ, и каковъ *Обзоръ Иностранной Словесности*! Этимъ можно похвалиться. Грановскій извѣстный противникъ нашего мнѣнія признаетъ, что такого номера онъ не только изъ Русскихъ, но изъ иностранныхъ журналовъ не знаетъ, а еще цензура пропасть хорошаго вычеркнула и такого невиннаго, что понять нельзя, какъ можно было не пропустить. Такъ, напримѣръ, не пропущены славные стихи Павловой, кончающіеся стихомъ:

И всякому вопросу есть отвѣтъ!

Вслѣдствіе этого запрещенія написано слѣдующее четверостишіе къ ней, въ видѣ возраженія:

Свои стихи вы мыслью заключили,  
Что каждому вопросу есть отвѣтъ,  
Но для чего стиховъ не пропустили—  
На сей вопросъ отвѣта нѣтъ“<sup>5)</sup>.

Познакомившись съ первыми двумя книжками *Москвитянина*, Гоголь писалъ Языкову: „Полученный на дняхъ *Москвитянинъ* (два нумера) доставилъ мнѣ нѣсколько пріятныхъ минутъ. Статьи за буквою *К.* (то-есть, И. В. Кирѣевскаго) всѣ очень замѣчательны и дѣльны. О самомъ же *Обозрѣніи Словесности* можно сказать только въ оужденіе ему то, что оно нѣсколько длинно, а особенно во второй половинѣ содержанія, приступъ къ Словесности Русской. Многія вещи слѣдовало бы сказать еще очевиднѣй, осязательнѣй, проще и короче, облечь въ видимую плоть. Многое довольно отвлеченно, такъ что повсюду философъ беретъ верхъ надъ художникомъ, и это обращается почти въ порокъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ долженъ художникъ взять верхъ надъ философомъ. Кажется, какъ будто многія вещи слышать и чувствуетъ критикъ вкусомъ тонкаго ума, а не вкусомъ души и сердца. Но за то повсюду сказано много истиннаго, прекраснаго, особенно тамъ, гдѣ обращено вниманіе на самую идею и мысль разбираемыхъ предметовъ. По поводу глупыхъ книгъ сказано много умнаго и дѣльнаго о томъ, каковы должны быть умныя книги. И вообще всѣ статьи, которыя, повидимому, написаны вскользь, оказались существенно значительнѣе тѣхъ, которыя, повидимому, обдумывались и писались съ трудомъ. Твои стихотворенія мнѣ неизвѣстныя прочелъ съ удовольствіемъ. Хомякова тоже прочелъ не безъ удовольствія и письмо, и спортъ. Хоть первое и слишкомъ раскинулось и разбросалось во всѣ стороны, но въ немъ много ума“<sup>6)</sup>.

Сотрудникомъ *Москвитянина* былъ знаменитый нашъ ученый монахъ Іоакимъ. Получивъ отъ Погодина этотъ журналъ на 1845 годъ, онъ писалъ издателю: „Вашъ *Москви-*

тѣмъ годъ отъ году растетъ такъ, что Петербургская литературная моль нынѣ боится и приближаться къ нему. Подъ молью разумѣю нашихъ издателей литературныхъ журналовъ. Въ томъ же письмѣ о. Іоакимъ писалъ Погодину: „Примѣтно, что вы затрудняетесь изданіемъ замѣчаній на *Русскую Исторію* Устрялова. Колкія, по вашему мнѣнію, выраженія можно смягчить, какъ вамъ угодно, а издать ее нужно. У насъ сочинители учебниковъ, привыкшіе въ университетахъ подражанію иностраннымъ писателямъ, сами ни во что вникать не хотятъ, а при сочиненіи имѣютъ постоянную цѣль—года чрезъ три или четыре построить каменный домъ тысячъ въ двѣсти. Но если что-либо особенное препятствуетъ вамъ напечатать помѣченную статью, то возвратите ее мнѣ извѣстнымъ путемъ“. Замѣчанія о. Іоакима на *Русскую Исторію* Устрялова были напечатаны въ *Московтѣмъ* съ слѣдующимъ примѣчаніемъ Погодина: „Отецъ Іоакимъ—истинный ревнитель науки: онъ не только сообщаетъ намъ свѣдѣнія, неутомимый въ своихъ трудахъ, но и наблюдаетъ, пользуемся ли мы ими, какъ должно“.

Съ особеннымъ сочувствіемъ о. Іоакимъ отзывался о Шевревѣ и признаетъ его отличнымъ изъ сотрудниковъ Погодина. „Я“, пишетъ о. Іоакимъ,—„полюбилъ его за его благонамѣренность“. Въ заключеніи письма своего Погодину о. Іоакимъ сообщаетъ: „Станиславъ Жульенъ, извѣстный Парижскій китаесловъ, просилъ графа Канкрина сообщить прочимъ министрамъ, чтобъ они, если имѣютъ нужду въ переводѣ чего-либо съ Китайскаго языка, непосредственно относились къ Жульену, а Русскіе оріенталисты, какъ онъ писалъ графу, не въ состояніи правильно переводить съ Китайскаго языка.—Назадъ тому три года Академія Наукъ дѣйствительно выписала изъ Парижа профессора Китайскаго языка. Это былъ Броссе. Но какъ, вмѣсто переводовъ, возложили на него составить каталогъ Китайской бібліотеки, находящейся при Академіи Наукъ, то онъ отозвался, что по давности не въ состояніи упомянуть значеніе всѣхъ буквъ Китайскихъ. Послѣ

сего вмѣсто Китайщины принялъ на себя званіе профессора языковъ Армянскаго и Грузинскаго. Я написалъ каталогъ и получилъ двѣсти р. серебромъ, а г. Броссе за этотъ же каталогъ получилъ орденъ. *Не малое ли безстыдство?* Впрочемъ, все это происходило подъ завѣсою тайны, да и теперь неприлично отгрызать“.

Изъ отдаленнаго Архангельска нѣкто Вальневъ писалъ Погодину: „Покорнѣйше васъ благодарю за доставленіе *Москвитянина*: я получилъ два нумера и прочелъ съ удовольствіемъ и радуюсь, что по статьямъ, какія напечатавъ Кирѣевскій, онъ будетъ достойный вашъ преемникъ, если не уклонится отъ того направленія, какое вы дали журналу. *Москвитянинъ* и *Маякъ* это два ратоборца противъ ложныхъ западныхъ идей и стоятъ на стражѣ за независимость Русскихъ, прониженныхъ религіознымъ направленіемъ. Въ *Финскомъ Вѣстникѣ* прочитавъ статью Майкова въ отдѣлѣ наукъ, я ужаснулся направленію, противоположному *Москвитянину* и *Маяку*. Новый язычникъ возникъ на Руси въ поддѣрѣпле-ніе *Отечественнымъ Запискамъ* \*). Кажется, *Библиотека* исподволь отступаетъ отъ большинства журналовъ западнаго направленія, и дай Богъ, чтобы Сенковский, умнѣйшій человекъ, одумался и применился къ образу мыслей *Москвитянина* и *Маяка*. Не знаю, что сказать о *Современникѣ*: я давно не читалъ; въ нашей библіотекѣ нѣтъ. *Маякъ* чудесно отдѣлялъ Булгарина и заклеивалъ его скептицизмомъ и по-дѣломъ †).

18 апрѣля 1845 П. А. Плетневъ писалъ Д. И. Коптеву: „Если вы увидите кого-нибудь изъ издателей *Москвитянина*, то, во первыхъ, поблагодарите ихъ за лестный обо мнѣ отзывъ въ третьемъ номерѣ (стр. 26); вовторыхъ, увѣрьте ихъ, что едва ли не первый я въ Россіи объявилъ гоненіе на пошлости Риторики и Пѣтихи; а Кирѣевскій увѣряетъ, будто я иначе и разборовъ не пишу, какъ основывая ихъ на пра-

\*) Здѣсь разумѣется статья Валеріана Николаевича Майкова, подъ заглавіемъ *Общественныя науки въ Россіи*.



вилахъ этихъ наукъ; вторыхъ, Кирѣевскій жалѣетъ, что сила нравственной чистоты *Современника* истощается въ работахъ его литературной чистоплотности. Спросите, что значить эта ермалафія? Правда, я не люблю языка не выработаннаго, пестраго, Нѣмецкаго, каковой въ *Библиотекѣ для Чтенія* и въ *Отечественныхъ Запискахъ*, но я не Шаликовъ и не Иванчинъ-Писаревъ. Я люблю точность, краткость и звучность. Это не чистоплотность. Я самостоятельнѣе въ языкѣ, нежели тѣ, которые рады схватывать всякій соръ, лишь упадетъ онъ имъ изъ иностранной книги. Я знаю, что и между иностранными писателями истинно гениальныхъ людей на рѣдкость, а глупцовъ и пошлыхъ людей столько же, сколько и въ Россіи; вотъ отъ чего я и рѣшился жить своимъ умомъ. Потомъ скажите имъ, что недостойно дѣльныхъ людей говорить о *Маякѣ*, какъ о чемъ-то читающемся. Это все равно, какъ увѣрять, что Морошкинъ и Савельевъ идутъ параллельно съ Карамзинымъ и Шлецеромъ". Плетневъ вообще очень не благоволилъ въ *Маяку* и въ другомъ своемъ письмѣ къ Коптеву писалъ ему: „Сегодня опять кольнуло меня въ сердце, когда я пробѣгалъ въ *Инвалидѣ* оглавленіе статей съ именами писателей, помѣщенныхъ въ послѣдней книжкѣ *Маяка*. Тамъ стоитъ и ваше имя! Это имя двухсотлѣтней дворянской фамиліи на ряду Богъ знаетъ съ кѣмъ, и гдѣ же? Подъ какавейкой *Маяка*! Не знаю, простить ли Господь Богъ Ѳеодору Николаевичу Глинкѣ эту шутку съ вами<sup>8)</sup>".

## II.

Желая узнать мнѣніе о *Москвитянинѣ*, перешедшемъ въ другія руки, Погодинъ обратился въ почтенному носителю литературныхъ и историческихъ преданій Н. Д. Иванчину-Писареву съ просьбою высказать о *Москвитянинѣ* свое мнѣніе. Исполняя эту просьбу, Иванчинъ-Писаревъ написалъ Погодину нѣсколько писемъ, въ которыхъ заключается много

очень интересныхъ историко-литературныхъ свѣдѣній, а потому мы считаемъ долгомъ покороче познакомить съ ними нашихъ читателей. Какъ мы сейчасъ увидимъ, Иванчинъ-Писаревъ весьма добросовѣстно исполнилъ порученіе Погодина и подробно рассмотрѣлъ всѣ первыя три книги *Москвитянина* 1845 года.

Своему рассмотрѣнію онъ предпослалъ слѣдующее предисловіе: „Давнишній экс-поэтъ, слѣдовательно экс-лжецъ, давно уже сказалъ вамъ, вѣваю провозю, что *Москвитянинъ достоинъ переплета*; первый же номеръ 1845 достоинъ сафьяннаго съ золотымъ обрѣзомъ (что непремѣнно и будетъ съ моимъ экземпляромъ). Мнѣ слѣдовало бы начать благодарностію за доставленіе онаго уже какъ даръ, благодарить и васъ и почтеннаго сотрудника; но я заговорился и еще заговарюсь. Стало быть, мое скромное имя еще можетъ вмѣститься среди именъ славныхъ, коими гордится отечество и дѣлается столь важнымъ ваше изданіе!“ Послѣ этого предисловія Иванчинъ-Писаревъ приступаетъ къ дѣлу. „Что скажу?“ пишетъ онъ. „На какую статью обращаю большее вниманіе? Правдо теряюсь. Стиховъ цѣлый сборникъ: тамъ Жуковский, какъ Жуковский, Языковъ, какъ Языковъ, Дмитріевъ, какъ Дмитріевъ. Неизвѣстный мнѣ господинъ или госпожа Бергъ \*) также плѣняетъ и новизною образовъ, и сильною простотою“. По поводу стихотворенія *Postscriptum* Жуковскаго Иванчинъ-Писаревъ припоминаетъ давнюю исторію своей брошюры: *Взглядъ на старинную Русскую поэзію* и пишетъ: „Кстати, скажу вамъ, что стихи въ *Postscriptum* Жуковскаго, въ которыхъ онъ не совѣтуетъ Кирѣевскому вступать въ полемику журнальную, меня поразили: я получилъ номеръ и читалъ, имѣя предъ собою два письма: одно И. И. Дмитріева, для выписки изъ него, другое В. А. Жуковскаго объ одномъ и томъ же предметѣ. Я напечаталъ однажды брошюру: *Взглядъ на старинную Русскую поэзію*. Сенковскій, въ своей *Библіотекѣ для Читенія*, осмѣялъ ее и

\*) Николай Васильевичъ.

меня, заставляя меня, по своему обыкновению, говорить то, чего я не говорилъ. И. И. Дмитріевъ вспыхнулъ и написалъ ко мнѣ: „Благодарю за подарокъ (*тутъ хвала*). Но, къ досадѣ моей, на другой же день увидѣлъ въ послѣдней книжкѣ *Библиотеки для Чтенія* и пристрастный, и насмѣшливый отзывъ о вашемъ сочиненіи, писанный издателемъ или здѣшнимъ его помощникомъ. Вы, можетъ быть, захотите отвѣчать тому или другому: въ этомъ только намѣреніи рѣшился я сообщить вамъ, при семъ прилагаемую выписку изъ журнала“. Получивъ эти строки, я, въ пылу негодованія, написалъ отпоръ противъ шутокъ, унижающихъ журналиста, и противъ гнуснаго ремесла приправлять ихъ лживыми ситациями. Цѣлый исписанный мною листъ былъ препровожденъ къ И. И. Дмитріеву; но всегда съ твердымъ намѣреніемъ не печатать его, помня совѣты Н. М. Карамзина. Засимъ получаю я письмо отъ Ивана Ивановича: „Благодарю васъ за сообщеніе замѣчаній. Они всѣ основательны, и я искренно сожалею, что вы уступчивостію и смиреніемъ своимъ подаете поводъ прозелитамъ Смирдинской школы быть направиателями нашей полуграмотной публики. Какъ ни любилъ я Н. М. Карамзина и ни благоговѣю къ его памяти, но и его не одобрялъ за неумѣстное смиреніе противъ своихъ зоиловъ. Бѣлая часть нашихъ читателей скорѣе вѣнчить его въ безсиліе къ отпору, чѣмъ въ благородное презрѣніе критикуемаго писателя“. Чуть-чуть не послалъ я своего отпора въ печать; но вдругъ письмо отъ В. А. Жуковскаго, и вотъ что въ немъ: „Успѣю только поблагодарить васъ отъ всего сердца за вашъ любезный подарокъ и за дружественное воспоминаніе. Экземпляръ вашей книги передалъ съ удовольствіемъ Его Высочеству \*). Я согласенъ съ вами: лучше не печатать вашего отвѣта на критику, которою задѣли вашу книгу. Связываться съ нѣкоторыми изъ нашихъ самозванцевъ-критиковъ, не знающихъ никакого приличія, то же, что

---

\*) Государю Наслѣднику Цесаревичу.

боротся съ пьянымъ, который весь въ грязи—только что замараешься. Лучшее средство противъ дурного вліянія этой журнальной, торговой литературы есть *болѣе писать* (говорю это хорошимъ писателямъ), и изданіе хорошаго журнала, *отмѣнаго для отборныхъ и наставительно-привлекательнаго для толпы*, журнала, издаваемого совѣстнымъ литераторомъ не для однихъ денегъ“. Приводя это письмо, Иванчинъ-Писаревъ замѣтилъ: „Жуовскій предчувствовалъ *Москвитянина*! Кто смѣетъ сказать, что онъ не оправдалъ этого плана? Четыре года *Москвитянинъ* не совращался съ него. Я утвердился въ правилѣ: не отвѣчать на сарказмы. Тутъ Жуовскій былъ моимъ благотворнымъ гениемъ. Теперь, въ стихахъ 1845 года, онъ говоритъ то же, что въ письмѣ ко мнѣ въ 1837. Меня поразила случайность, читая Postscriptum въ стихахъ, я имѣлъ предъ собою упомянутое письмо, утвердившее меня еще болѣе въ безотвѣтствіи на критику, недостойную своего назначенія. Но и какая тутъ встрѣча чувствъ и мыслей! Дмитріевъ вспыхнулъ, заступаясь за того, кого удостоивалъ искренней дружбы. Жуовскій, также любя, отвлекалъ меня отъ новыхъ непріятныхъ ощущеній, которыя портятъ и сердце, и слогъ. Послѣднее рѣшило меня при воспоминаніи завѣта Карамзина. Онъ говорилъ и писалъ: „Пиши, кто умѣетъ писать хорошо: вотъ лучшая критика на дурныя книги“. Можно прибавить: и лучшій антидотъ противъ злой и несправедливой критики“.

Послѣ этого эпизода Иванчинъ-Писаревъ, обращаясь къ статьямъ *Москвитянина*, пишетъ: „Дивлюсь силѣ нѣкоторыхъ душъ: Жуовскому, который старѣе меня, кажется, восемью годами; Языкову, говорить, больному; М. А. Дмитріеву, давно уже не Геркулесу, хотя и не старому. Они поютъ, поютъ, поютъ, — да еще какъ поютъ! Покройный И. И. Дмитріевъ сказывалъ мнѣ, что его племянникъ два раза лишился ногъ; въ послѣдній разъ Иванъ Ивановичъ говорилъ объ этомъ съ навернувшимися слезами. Я посѣтилъ М. А. Дмитріева — и было точно такъ“.

Въ первомъ номерѣ *Москвитянина* Кирѣевскій помѣстилъ отрывокъ изъ письма Жуковскаго, о которомъ Иванчинъ-Шисаревъ замѣчаетъ: „Выписка изъ письма В. А. Жуковскаго меня заняла много; но я не совсѣмъ согласенъ съ нимъ въ опредѣленіи меланхоліи. Рѣшимость душъ твердыхъ, свойственная еще юнымъ тогда, свѣжимъ народамъ, нельзя называть меланхоліей: идти на смерть спокойно среди плясезъ и игръ есть твердость, а не то, чего даже нельзя назвать и чувствомъ, что я испыталъ, но чего назвать я никогда не умѣлъ. Это *нѣчто*, появившееся въ народахъ при водвореніи христіанства, да намекнуто г-жею Сталь, Шатобріаномъ. Доважу теперь рожденіе этого *нѣчто* отъ характера христіанской религіи. вмѣсто звонкаго тимпана—вдругъ услышалъ человекъ протяжный, заунывный звонъ колокола; вмѣсто игристыхъ хороводовъ около кумира—сурово-печальную пѣснь, призывающую сердце къ сокрушенію, къ обвиненію себя во всѣхъ дѣлахъ земной жизни. вмѣсто свѣтленькихъ храмовъ, похожихъ на наши танцевальныя ротонды,—пещеры мрачныя, а послѣ и храмы, также таинственно мрачныя; вмѣсто игрищъ—всенощныя пѣнія; вмѣсто *уллисовыхъ* боговъ и легионъ, улыбающихся божковъ—кресты: самого Начальника Вѣры и Его послѣдователей. По дорогамъ, на распутіяхъ, вмѣсто веренищъ весельчаковъ, шумѣвшихъ на какой-нибудь сатурналии—вереницы богомольцевъ, отдыхающихъ у кладезя и воздыхающихъ, смотря на крестъ, коимъ осѣненъ кладезь. Вся Европа приняла видъ важно-заунывный. У насъ было то же: веселыя гусли замолкали въ княжескихъ гридницахъ, когда подходили къ нимъ Антоній и Θεодосій; умоляли и привычныя пѣсни Диду и Ладу. Между тѣмъ стѣны затворническихъ обителей повсемѣстно возвышались. Постъ и сердечное сокрушеніе—вотъ что стало удѣломъ и старца, и юноши, и дѣвы.—Авторъ говоритъ о Евангеліи; но оно-то и говоритъ: *возьми крестъ свой и по мнѣ иди*. Оно говоритъ это всѣмъ возрастамъ. Врожденное чувство любовной страсти, сжатое такимъ обра-

зомъ, привило къ себѣ это *нѣчто*, именуемое *меланхоліею*. Чувство томное, унылое замѣнило порывную чувственность“.

Иванчинъ-Писаревъ обратилъ также вниманіе и на статью самого Погодина: *Параллель Русской Исторіи съ Исторіею Западныхъ Государствъ*, помѣщенную въ первомъ номерѣ *Москвитянина*, и по поводу его словъ, что *наши народъ посаженъ на легкій оброкъ, а Западный осужденъ на тяжелую барщину*, замѣчаетъ: „Есть одна статья, надъ которою я долго думалъ, два раза ее перечитывая. Молчу объ ней, чтобы въ мысляхъ вашихъ не остаться льстецомъ. Тамъ нашелъ я только одно мѣсто темноватое: объ *оброкѣ* и *барщинѣ*; признаюсь, я не понималъ сравненія или примѣненія тогдашняго быта съ нынѣшнимъ. Знаю только, что нынѣ и *легкій оброкъ* гибель народу, а *умная барщина* его благо. У меня каждый крестьянинъ въ свободное время отъ барщины выручаетъ себѣ триста рублей отъ тѣанья, а при томъ засѣваетъ и убираетъ въ пору и свое поле. И такъ они живутъ пригнѣваячи, чѣмъ я и хвалюсь во всемъ околотѣ. Что же я получаю доходу? — Двѣсти пятьдесятъ рублей съ брата. Положи я ихъ на оброкъ—ни одинъ не заплатитъ ста рублей, отъ лѣности, нерадѣнія и пьянства, въ которомъ они погрязнуть, какъ и другіе оброчные. Можетъ быть, ваша мысль согласуется съ моею, но это мѣсто показалось мнѣ темнымъ“.

Само собою разумѣется, что письма Карамзина къ М. Н. Муравьеву приковали къ себѣ вниманіе Иванчина-Писарева. „Надъ письмами Карамзина къ Муравьеву я плакалъ“, писалъ онъ,—„плакалъ какъ русскій, какъ литераторъ и читатель подвиговъ на поприщѣ Исторіи. Жаль, что сообщитель сихъ писемъ не зналъ, что подвижникомъ въ этой перепискѣ былъ И. И. Дмитріевъ: онъ настоялъ, *насталъ* на Карамзина, чтобы писать первое письмо къ Муравьеву; а послѣ *надиктовалъ* ему официальный вызовъ, вѣдется на Императорское Имя, что желаетъ быть Исторіографомъ и испрашиваетъ это званіе, съ титуломъ котораго ему всѣ архивы Русскіе и сосѣднихъ союзныхъ Державъ открылись бы вполне, безъ за-

трудненій. Такъ былъ робокъ, деликатенъ, благородно-стыдливъ нашъ безсмертный! Имя Муравьева сольется въ потомствѣ съ его именемъ: онъ былъ опорою этого гения! И могли сего не сдѣлать?—Я имѣю нѣсколько печатныхъ статей его о Русской Исторіи, писанныхъ для воспитанія покойнаго Императора Александра I, слогомъ чистымъ, ровнымъ, благозвучно-сжатымъ. —Личное *сближеніе* Императора съ Карамзинимъ было чрезъ И. И. Дмитріева министра, а также и исходатайствование Владиміра 3 степени *Надворному Советнику*, послѣ долгаго спора Монарха съ Министромъ“.

О статьѣ И. В. Кирѣвскаго *Обозрѣніе современнаго состоянія Словесности* Иванчинъ-Писаревъ отозвался: „Статья Кирѣвскаго превосходна: тамъ глубокомысліе соединено съ чувствомъ, формы *Европейскаго* писателя-журналиста съ благозвучіемъ Карамзина. Есть фразы, цѣлые періоды, совершенно его напоминающіе: вотъ, напримѣръ, два мѣста: одно, относящееся къ чувству, другое—къ сужденію: не знаю, пишетъ Кирѣвскій, *справедливо ли это; но признаюсь, мнѣ жаль прежней литературы. Въ ней было много тепла для души; а что трепетъ души, то можетъ быть не совсѣмъ лишнее и для жизни.* Засвидѣтельствуйте мое почтеніе И. В. Кирѣвскому и поручите меня его благорасположенію, пользующагося благосклоннымъ вниманіемъ его матушки“ \*) \*).

### III.

Успѣхъ первыхъ трехъ номеровъ *Москвитянина* 1845 года поднялъ духъ Словенофиловъ. „Положеніе наше“, писалъ Хомяковъ Самарину, — „уяснилось во многомъ. Мы въ одно время и признаны (полиціею, *Отечественными Записками, Библіотекою для Чтенія*) и не сосланы. Это выгода великая и неоспоримая: руки развязаны для всякаго осторожнаго дѣйствія. Публика, читая, будетъ понимать то, чего бы не

---

\*) А. П. Елагиной.

поняла безъ этихъ комментариевъ и слуховъ. Цвѣтъ или, лучше сказать, общій очеркъ мыслей опредѣлился, вниманіе пробуждено. Всякій высказанный принципъ получаетъ новую важность: Теперь надобно и должно высказывать принципы, и чѣмъ болѣе они будутъ высказываться, тѣмъ яснѣе будетъ, что они ни для кого не опасны, что они ни новое что-нибудь, налагаемое нами на общество, но безсознательно въ немъ живущее, и что они до сихъ поръ составляли лучшую часть нашей умственной жизни. Надобно показать всѣмъ, что они (то-есть, принципы) также далеки отъ консерватизма въ его нелѣпой односторонности, какъ и отъ революціонности въ ея безнравственной и страстной самоувѣренности; что они, наконецъ, составляютъ начало прогресса разумнаго, а не безтолковаго броженія“ <sup>10</sup>).

Но успѣхъ *Москвитянина* раздражалъ Западниковъ, которые именно въ это самое время окончательно разошлись съ Словенофилами. Еще до выхода перваго номера *Москвитянина* въ *Отечественныхъ Запискахъ* появилась слѣдующая замѣтка: „Одинъ изъ нашихъ Московскихъ корреспондентовъ взялъ на себя обязанность доставлять въ *Отечественныя Записки* свѣдѣнія о *Москвитянинѣ*. На дняхъ мы получили отъ него слѣдующее письмо отъ 20 января 1845: *Письмо первое о Москвитянинѣ 1845*. „Еще не выходилъ. Chi va piano, va sano“. По странному совпадению, почти одновременно, то-есть, отъ 6 февраля 1845, и благосклонствующій Погѣдину и *Москвитянину* Филаретъ, епископъ Рижскій, писалъ А. В. Горскому: „Странно, что *Москвитянинъ* не является. Я было послалъ нынѣ деньги для выписыванія его. Ужели и на этотъ разъ я такъ же буду несчастливъ, какъ и въ другихъ подобныхъ? Мнѣ писали, что редакторомъ его уже другой“ <sup>11</sup>).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Герценъ, подъ 8 февраля 1845 года, отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Послалъ діагрибу на *Москвитянина* — дѣлать нечего, пусть ихъ сердятся“ <sup>12</sup>). Дѣйствительно, Герценъ, скрывшись подъ псевдонимомъ *Яро-*



полка Водянского, встрѣтилъ насмѣшками первое явленіе *Москвитянина* подъ редакціею И. В. Бирѣвскаго, и эти насмѣшки были напечатаны въ *Отечественныхъ Запискахъ* подъ заглавіемъ: *Москвитянинъ и Вселенная*. „Въ то время, какъ солнечная система“, читаемъ въ этомъ памфлетѣ, — „ничего не предчувствуя, спокойно продолжала свои однообразныя занятія, а народы Запада, увлеченные со временъ Талеса въ пути нехорошіе, — совершилось въ тиши событіе рѣшительное: редакція *Москвитянина* сообщила публикѣ, что на слѣдующій годъ она будетъ выписывать иностранныя журналы, приобретать важнѣйшія книги, что у ней будутъ новыя сотрудники, которые не только будутъ участвовать, но примутъ мѣры... Спустя нѣсколько времени редакція успокоила умы на счетъ своего направленія, удостовѣряя, что оно останется то же, которое приобрѣло ея журналу такое значительное количество почитателей. Впрочемъ, арифметическая сумма читателей, большинство никогда не занимало *Москвитянина*; цѣль его была совсѣмъ не та: онъ имѣлъ высшую вселенскую цѣль — онъ собою заложилъ запасный магазинъ обновительныхъ мыслей и оживительныхъ идей для будущихъ поколѣній Европы, Азіи, Америки и Австраліи, онъ приготовилъ въ тиши якорь спасенія погибающему Западу. Гибнущая Европа, нося въ груди своей черныя пророчества А. С. Хомякова, утопая въ безстыдствѣ знанія, въ алчномъ себялюбіи, заставляющемъ Европейцевъ жертвовать собою науцѣ, идеямъ, человѣчеству — ищетъ помощи, совѣта... и нѣтъ его внутри ея Нѣмецкаго сердца... Но прійдетъ время, кто-нибудь укажетъ на дальнемъ Финскомъ берегу лучезарный *Маякъ*... тогда народы всего земного шара побѣгутъ къ *Маяку*, и онъ имъ скажетъ: идите на Тверскую, въ домъ Попова, противъ дома военнаго генералъ-губернатора: тамъ готово для васъ исцѣленіе... въ конторѣ *Москвитянина*“. Когда Ярополѣтъ Водянской получилъ первую книжку *Москвитянина* на 1845 и увидѣлъ другую обертку съ изящнымъ видомъ Кремля, то понялъ, что Редакція „не шутя говорила о перемѣнѣ“. Водянской,

гляда на обертку съ изящнымъ видомъ Бремля, продолжалъ думать: всѣ ли прежніе сотрудники останутся. Останется ли Лихонинъ, останется ли главный сотрудникъ, „духъ праведнаго негодованія противъ Европейской цивилизаціи и индустріи?“ „Съ чувствомъ“ увидѣлъ Водянской потомъ въ оглавленіи именно „двухъ прежнихъ сподвижниковъ *Москвитянина*: поэта М. Дмитріева и философа Стурдзу“. Водянской счелъ однако нужнымъ оговориться, что, приступая въ разсмотрѣнію *Москвитянина*, онъ счелъ „обязанностью отдѣлать отъ прочихъ частей этого журнала теологическую его часть, которая не входитъ въ его обзоръ“. Свѣтская часть *Москвитянина*“, замѣчаетъ онъ, — „начинается стихами; тутъ вы встрѣчаете имена Жуковскаго, М. Дмитріева, Языкова. Какое-то предчувствіе говоритъ намъ, что въ слѣдующей книжкѣ будутъ стихи Ѳ. Глинки и А. Хомякова... Скажу вкратцѣ о содержаніи остальныхъ частей журнала. Цѣлый отдѣлъ посвященъ апологическимъ разборамъ публичныхъ чтеній Шевырева. Вообще во всѣхъ статьяхъ доказывается, что чтенія Шевырева имѣютъ космическое значеніе. За этимъ отдѣломъ все идетъ по порядку, какъ можно было ждать а ргіогі: статья о Словѣ о полку Игоревѣ—Погодина, догадка о происхожденіи Кіева князя М. А. Оболенскаго, путешествіе по Черногоріи Попова и тому подобныя живые современные интересы. Изъ Западныхъ пришлецовъ, составляющихъ Нѣмецкую Слободу *Москвитянина*, статья о Стефенсѣ самого И. В. Кирѣевскаго и интересная *Хроника Русскаго въ Парижѣ* А. И. Тургенева“.

По мнѣнію Водянскаго „замѣчательнѣйшія статьи принадлежатъ Погодину: *Параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Государствъ* и И. В. Кирѣевскому: *Обозрѣніе современнаго состоянія Словесности*, въ которой авторъ стремится доказать, что „Словенскій міръ можетъ обновить Европу своими началами“. Отдавая справедливость таланту Кирѣевскаго, который „послѣ живого, энергическаго разсказа современнаго состоянія умовъ въ Европѣ, послѣ картины,

набросанной смѣлою кистью таланта, мѣстами страшно-вѣрной, мѣстами слишкомъ отражающей личныя мнѣнія“, Водянской однако находить, что Кирѣевскій пришелъ къ „выводу бѣдному, странному и ни откуда не слѣдующему“, и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаетъ, что „Словенизмъ—мода, которая скоро надоѣстъ; перенесенный изъ Европы и переложенный на наши нравы, онъ не имѣетъ въ себѣ ничего національнаго; это явленіе отвлеченное, книжное, литературное—оно такъ же изсякнетъ, какъ одностороннія шѣолы націоналистовъ въ Германіи, разбудившія Словенизмъ“.

Разсмотрѣвши съ иронической точки зрѣнія обновленный *Москвитянинъ*, Герцену „смерть стало жаль“ стараго *Москвитянина*. „Бывало“, пишетъ онъ, — „ждешь съ нетерпѣніемъ какъ-нибудь въ февралѣ декабрьской книжки, и знаешь напередъ: будетъ тѣмъ душу отвести: вѣрно будетъ отрывокъ изъ *Путевого Дневника* Погодина. Читаешь и, кажется, будто самъ ѣдешь осенью по фашинику. Дѣтски-милое наивное воззрѣніе Погодина на Европу казалось намъ иногда страннымъ, но не надобно забывать: онъ, какъ кажется, имѣлъ въ виду дикія племена Африки и Австраліи: для нихъ нельзя писать другимъ языкомъ. Ну вотъ, напримѣръ, Шлегелевски глубокомысленныя, основанныя на глубокомъ изученіи Данта, критики Шевырева не имѣли въ тѣхъ странахъ далеко такого успѣха, въ нихъ и Западу доставалось... а все не то!.. *Москвитянинъ-рѣге*“, продолжаетъ Герценъ, „что не говорите, журналъ былъ хорошій: еслибы былъ кто-нибудь, кто его читалъ не въ Отаити, а на Руси, тотъ согласился бы съ нами... Помните, какъ онъ вдохновенно объявилъ, что мы спимъ, а онъ не спитъ за насъ... Разумѣется, въ этомъ сторожевомъ положеніи иногда говорилъ онъ что попало, чтобы разогнать дремоту“<sup>13)</sup>.

Къ этой непріязненной выходѣ Герцена Словенофилы отнеслись безразлично, что не понравилось Погодину. „Обѣдалъ у Аксаковыхъ“, записываетъ онъ въ своемъ *Дневникѣ*, — „Хомяковъ и Аксаковъ ахали отъ статьи Кирѣевскаго! О

статьѣ въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ снисхожденіемъ“ <sup>14)</sup> Но за то Вальневъ въ Архангельскѣ возмущился этою выходкой Герцена и негодование излилъ въ письмѣ своемъ къ Погодину. „Безчестный человѣкъ Краевскій“, писалъ онъ, — „хотя и умный. Въ *Энциклопедическомъ Лексиконѣ* какъ онъ изобразилъ Бориса Годунова! Я прочелъ въ послѣднемъ номерѣ *Отечественныхъ Записокъ* статью *Москвитянинъ и Вселенная*, удивился наглости и безстыдству, съ какимъ онъ разсыпаетъ язвительные сарказмы надъ *Москвитяниномъ*. Во Франціи его бы вѣрно убили на дуэли за оскорбленіе, а у насъ надобно закливать Правительству или подъ благовиднымъ предлогомъ остановить изданіе *Отечественныхъ Записокъ навсегда*. У насъ Монархическое Правленіе, на него нѣтъ апелляціи. *Маякъ* въ Октябрьской и Ноябрьской книжкѣ 1844 г. во всеуслышаніе напечаталъ изъ *Отечественныхъ Записокъ* ересь, какую усвоили они съ Запада изъ философіи, кажется, Гегеля. Потрудитесь прочесть, а можетъ быть вы и читали. Не знаю, чѣмъ это направленіе кончится, а добра не общаетъ. Въ вашемъ журналѣ надобно строго слѣдить за *Отечественными Записками*. Не обижайтесь этимъ совѣтомъ, что я молодой и такъ говорю откровенно, но у меня четыре сына... надобно обезопасить нравственность отъ вторженія вольнодумства и всѣхъ сыновъ Россіи. Набьютъ голову этою дичью заморскою съ молодую, такъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ трудно поправлять религію: будутъ погибшія овцы! Во Франціи ратуютъ противъ Іезуитовъ въ *Вѣчномъ Жидѣ* и даже читаютъ лекціи противъ обычая вѣрять воспитаніе юношества Іезуитамъ, а у насъ они явно ходятъ въ оболочкѣ нѣкоторыхъ журналовъ съ тайнымъ своимъ девизомъ *Status in Statu*. — Г. Кирѣевскій! стерегите вредныя мысли въ журналахъ и печатайте ихъ въ видѣ прибавленія къ *Москвитянину* на какой-нибудь яркой бумагѣ, чтобы вредъ бросился скорѣе въ глаза: да образумятся!“ <sup>15)</sup>

---

#### IV.

Торжество Словенофиловъ продолжалось недолго.

Для успѣшнаго хода всякаго журнала необходимо полное согласіе между издателемъ и редакторомъ; а этого, къ сожалѣнію, въ данномъ случаѣ и не было. Главною причиною несогласія были неисправная контора и неисправная типографія, полученныя Кирѣвскимъ по наслѣдству отъ Погодина. Гоголь писалъ Языкову: „Скажи Кирѣвскому, что Жуковский на него сердитъ за то, что онъ не прислалъ *Москвитянина*“<sup>16</sup>).

Вслѣдствіе сего Кирѣвскій написалъ рѣзкое письмо Погодину: „Контора твоя до крайности неисправна. Жуковский до сихъ поръ *Москвитянина* не получалъ и очень сердится. Я признаюсь, что не знаю такихъ расчетовъ, которые стоили бы моего добраго согласія съ Жуковскимъ. Анна Петровна Зонтагъ и Александръ Андреевичъ Елагинъ тоже не получали журнала. Письма ихъ получены вчера. Вѣроятно, также поступила контора и съ другими мною назначенными адресами. Приведи, пожалуйста, это въ порядокъ. Если нужны особенныя деньги на пересылку, то лучше бы они сказали мнѣ прежде. Изъ этого пустяка разрывать мои самыя близкія отношенія я никакъ не намѣренъ. Кромѣ того, контора твоя не выдаетъ денегъ по моимъ запискамъ. Вчера она не заплатила Тромонину. Онъ долженъ былъ еще нарочнаго прислать ко мнѣ изъ-за десяти руб. Я могъ ему только отдать деньги, но стыдъ конторской несостоятельности отклонить не было возможности. Теперь еще за напечатанныя статьи журналъ долженъ многимъ сотрудникамъ, и я не знаю, писать ли имъ записки, потому что контора объявила, что безъ твоего приказанія по моимъ запискамъ платить не будетъ. Я къ ней писалъ сегодня, но она не отвѣчаетъ“.

Вслѣдъ за симъ Погодинъ получаетъ другое письмо отъ Кирѣвскаго: „Въ продолженіе къ моимъ жалобамъ на контору я сообщу тебѣ, что я посылалъ справляться на почту,

и что действительно оказалось, что по моему назначенію журналъ не посылается. Въ Бѣлевѣ, напримѣръ, я назначилъ три экземпляра: А. А. Елагину, А. П. Зонтагъ и А. И. Писаревой. Не посылается ни одного, кромѣ назначеннаго тобою Ѳ. И. Оттъ. Я не могу предположить, чтобы это было съ твоего вѣдѣнія. Ты не можешь имѣть такихъ тѣсныхъ сношеній съ этимъ .... Оттъ, какія я имѣю съ моимъ вотчимомъ и теткою, которые еще, кромѣ личныхъ отношеній, работаютъ и для журнала. Потому, поддерживая свои далекія связи, ты, вѣроятно, не захотѣлъ бы разорвать моихъ близкихъ. Слѣдовательно, тутъ должно скрываться мошенничество конторы. Прошу тебя вникнуть въ это дѣло. Для меня оно первой важности. На меня сердятся, и по праву. Нельзя и требовать, чтобы люди не судили по наружности дѣла, которая, надобно признаться, самая для меня невыгодная. Оправдываться для меня еще тяжелѣе. Но тебѣ я скажу, что никакая извѣстность въ мірѣ, даже Пушкинская слава, не можетъ вознаградить меня за мои добрыя отношенія къ близкимъ мнѣ людямъ. Прошу тебя приказать конторѣ непременно нынче же отправить на почту журналъ по всѣмъ адресамъ, мною ей сообщеннымъ... Такою неисправностью контора дѣлаетъ журналу больше вреда, чѣмъ *Отечественныя Записки*. Письмо это произвело непріятное впечатлѣніе на Погодина, и онъ записалъ въ своемъ Дневникѣ: „Оскорбительное письмо отъ Кирѣвскаго за то, что Жуковский не получалъ экземпляра. Какъ будто моя обязанность“. Самому же Кирѣвскому Погодинъ писалъ: „Оказывается, что ты поднялъ шумъ и разобидѣлъ меня попустому. Экземпляры были разосланы немедленно послѣ того, какъ ты у меня былъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ, по твоей запискѣ. А отчего Жуковский не получалъ, это знать нельзя: можетъ быть, г. Родіоновъ не послалъ. Экземпляры Бѣлевскіе, можетъ быть, читаются господами почтмейстерами... Долгомъ поставлю замѣтить, что я имѣлъ право и имѣю нѣсколько на большее уваженіе, нежели какое ты показалъ мнѣ въ своей запискѣ, хотя

написанной и не *по-медвежьи*“. Впрочемъ, самъ Погодинъ сознавался въ неисправности своей конторы. Такъ, въ *Дневникъ* его мы встрѣчаемся съ слѣдующими записями:

Подъ 16 марта 1845. Чтò мнѣ дѣлать съ конторой, вездѣ пропадаютъ деньги.

— 5 апрѣля. Въ контору, которая остается подѣ Божиимъ управленіемъ.

— 23 мая. Въ контору, которая управляется Богомъ.

Типографія доставляла также не мало препятствій и огорченій Кирѣевскому, а между тѣмъ Погодинъ писалъ ему: „Ты незнакомъ съ механизмомъ, и вотъ отъ чего остановка... Видно, мнѣ надо приняться покруче. Я опасался набиваться своими услугами, чтобы не стѣснять тебя, но вѣдь ты видишь, что замедленіе дошло до *pes plus ultra*. Если Богъ дастъ, я приѣду къ тебѣ завтра въ 12, но только не для споровъ о графѣ Строгановѣ, а для дѣла. Наборщики говорятъ, что измучены статью Линовскаго, который при корректурѣ вновь сочиняетъ и задерживаетъ ужасно... Жуковскій, Филаретъ, Иннокентій, Карамзинъ, Дмитріевъ, Стурдза, Хомяковъ, Языковъ, Суворовъ — личности—а!“ На это письмо Кирѣевскій отвѣчалъ: „Я не понимаю хорошо, любезный Михаилъ Петровичъ, что ты шутишь ли, или смѣешься надо мной? Ты обѣщалъ помогать мнѣ въ скоромъ выходѣ книжки, а дѣятельность твоя ограничивается тѣмъ, чтобы слушать вранье наборщиковъ и читать мнѣ проповѣди. Впервыхъ, оригиналъ въ типографіи не переводился. Наборщики писали мнѣ, что сегодня къ десяти часамъ вечера его не достанетъ, и я отдалъ одному изъ нихъ еще въ 5 часовъ библиографію, а теперь посылаю окончаніе критики. Слѣдовательно, работа за недостаткомъ оригиналовъ не могла останавливаться, а останавливается только за тѣмъ, что они лѣнятся и никто за ними не смотритъ. При томъ не было остановки ни за корректурой, ни за цензурой; что же бы было, еслибы съ этой стороны еще было затрудненіе? А ты знаешь, что въ журналѣ это всегда должно предполагать. Ты знаешь также, что по уставу типографіи

всѣ періодическія изданія имѣютъ преимущество предъ всѣми другими; а между тѣмъ постороннія книги забираютъ, а для *Москвитянина* не даютъ ни хорошихъ наборщиковъ, ни даже достаточное количество. Недавно только дали мнѣ другой корридоръ, и то такихъ работниковъ, которые въ четыре дня набрали одинъ листъ, и то перепутали и статьи, и страницы. Еслибы я былъ полномочнымъ издателемъ, то зналъ бы, что дѣлать. А ты, опытный издатель, взялся помогать мнѣ, пріѣхалъ въ типографію, не умѣлъ разобрать дѣла, и, какъ пишешь, былъ устыженъ враньемъ наборщиковъ! Хорошо бы я былъ, еслибы еще далъ тебѣ самовластіе! Журналъ имѣетъ много своихъ необходимыхъ неприятностей: недоразумѣнія съ цензурою, чтеніе глупыхъ статей, самолюбіе авторовъ и пр. и пр. Но все это конфекты въ сравненіи съ неисправностями типографіи, которыя, при хорошемъ устройствѣ, совсѣмъ не должны бы были существовать и которыя портятъ кровь, отнимаютъ время, лишаютъ подписчиковъ неисправностью выхода и, что всего хуже, портятъ характеръ. А ты, упрекающій меня безпрестанно въ неспособности издавать журналъ, Юлій Кесарь, требующій самовластія: пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ!”

Заглянемъ теперь въ *Дневникъ* Погодина:

Подъ 14 февраля 1845. Къ Кирѣевскому, который никакъ не можетъ справиться съ журналомъ.

— 25. Шевыревъ, Хомяковъ, Кирѣевскій, которыхъ я пригласилъ побесѣдовать. Не надо ли приступить къ дѣйствию и какъ. Толковали шесть часовъ и не дотолковались ни до чего. Хомяковъ все шутитъ. Нѣтъ, мы еще не созрѣли. Съ Кирѣевскимъ, однакожъ, можно дотолковаться.

— 26. Кирѣевскій въ своихъ статьяхъ говоритъ именно, что я сказалъ давно, а меня никто читать не хочетъ. Какъ будто нѣтъ благословенія.

— 9 марта. Съ Кирѣевскимъ о журналѣ, и все безъ толку.



— 31. Кирѣевскій просто сумасшествуетъ, хочетъ нумеръ въ тридцать листовъ, а набрано еще десять.

— 5 апреля. Въ типографію. Жалоба на Кирѣевского.

— 16. Утро занято посѣтителями: Ровинскій, Авсаковъ. Иванъ отдалъ стихи Кирѣевскому, который не понимаетъ цензурное дѣло, а мнѣ не отдалъ, какъ будто не имѣя довѣренности, Богъ съ вами и со всѣми!

— 17. Къ Давыдову. Онъ осуждаетъ между прочимъ Кирѣевского, а я молчалъ почти. Противъ Исторіи до Петра и я не слышалъ прочныхъ возраженій. Вышелъ въ садъ и плакалъ, вспоминая мою милую Лизу.

— 10 мая. Въ типографію, гдѣ Кирѣевскій опять мучить, задерживая четыре дня чужія корректуры.

Сознавая, что такъ дѣло продолжаться не можетъ, Кирѣевскій писалъ Погодину: „И мы поддались нравственно вліянію гриппа. Между нами начинается что-то похожее на непріятность, и безъ другой причины, кромѣ ссорнаго воздуха. Думаю, что неблагоприятно было бы намъ продолжать. Кто виноваты, Богъ знаетъ. Откровенно сказать, я думаю оба: ты пренебрежительнымъ тономъ твоей записки; я — тономъ моей. Объясняться, кажется, не поведетъ ни къ чему, да и нельзя. Довольно, кажется, намъ знать, что намѣренія къ ссорѣ нѣтъ ни у одного изъ насъ, и что существенной причины къ ней также нѣтъ. Дѣло въ словахъ. Я предлагаю: всю эту неудачную словесность исключить изъ журнала нашей жизни, безъ расчетовъ и разборовъ. Если это предложеніе тебѣ по сердцу, какъ мнѣ, то объясни. Если нѣтъ, то объяснимся“. Кажется, по поводу этихъ объясненій Погодинъ писалъ къ Кирѣевскому: „Пишу къ тебѣ нарочное письмо, чтобы сообщить смѣшное, но вѣрное сравненіе, которое пришло мнѣ въ голову вчера послѣ нашего свиданія. Вы хотите, чтобы я взялъ на себя роль принца Альберта. Но какую же Викторію даете мнѣ за то? Этого мало, вы хотите, чтобы я, вашъ принцъ Альбертъ, не получалъ никакихъ доходовъ, а довольствовался сборами съ своего Кобургскаго помѣстья. Этого мало. Пра-

вильнѣе, вы хотите, чтобы за неимѣніемъ настоящихъ доходовъ я заложилъ весь картофель будущаго года“...

Еще въ январѣ 1845 года В. И. Даль писалъ Погодину: „Пойдетъ ли *Москвитянинъ* въ новомъ видѣ своемъ? Я на дняхъ говорилъ Краевскому, что благодушное и доблестное направленіе Москвичей, умственные и нравственные ихъ средства должны бы обѣщать богатые плоды—что Мосевичи въ состояніи издавать не такой журналъ, какъ здѣшніе толстяки, а вещь дѣльную — но что я прямо сомнѣваюсь въ успѣхахъ, по особымъ причинамъ: отчего *Наблюдатель* и вашъ *Москвитянинъ* не пошли, то-есть, отчего всѣ даровитые люди покинули издателей? Это, на бѣду, будетъ и теперь; цензура — запятая и порогъ; барская лѣнь — другая; кто не привыкъ къ постояннымъ срочнымъ занятіямъ, того трудно заставить работать для журнала, а тѣмъ болѣе издавать журналъ. Высокому и жаркому полету эти два обстоятельства скоро подсъкутъ крылья, и будутъ, какъ мокрныя куры. Дай Богъ, чтобы я напророчилъ ложно. А въ томъ, что *можно* бы выйти много пути и толку изъ вашего журнала, *еслибы*—и пр., въ томъ я не сомнѣваюсь. Я даже убѣжденъ, что умный и дѣльный Русскій журналъ сбыточенъ только въ Москвѣ; тамъ есть еще истинно родное, теплое, вѣрующее и добросовѣстное чувство; здѣсь, не смотря на то, что всѣ мы тутъ большіе пріятели, здѣсь этого нельзя. Мы считаемъ только: приходъ, расходъ, балансъ; одинъ профинтился впухъ, другой, слава Богу, немножко поправился. Такому-то платять за листъ сто, тому пятьдесятъ, а тому двѣсти руб. и пр. Только по такому разговору и замѣчаешь, что бесѣдуютъ о Литературѣ. На дняхъ запродавъ былъ альманахъ или сборникъ—весь почти изъ чужихъ статей, разумѣется, по двѣсти пятидесяти руб. за листъ, а потомъ проданъ другому по триста р. за листъ!“<sup>17)</sup>.

Къ сожалѣнію, пророчество В. И. Даля сбылось, и вся дѣятельность И. В. Кирѣевскаго по редакціи *Москвитянина* ограничилась напечатаніемъ первыхъ трехъ номеровъ этого журнала за 1845 годъ.

Объ этомъ печальномъ событіи Герценъ не замедлилъ сообщить Краевскому. „Вы, я полагаю, знаете, что И. В. Кирѣевскій сложилъ съ себя бремя *Москвитянина*, и что онъ снова подъ дирекціей Погодина“. Но при этомъ Герценъ сообщаетъ ложное извѣстіе о самомъ Погодинѣ, будто онъ, выйдя въ отставку, „*нанялся* читать Исторію“<sup>18</sup>).

---

## V.

Невозможность издавать журналъ не будучи его полнымъ хозяиномъ должна была рѣшительнымъ образомъ подѣйствовать на И. В. Кирѣевскаго, и онъ долженъ былъ отказаться отъ редакторства. 5 мая 1845 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Были у меня Авсаковъ, Хомяковъ, Кирѣевскій—о журналѣ. Кирѣевскій отказывается за болѣзнію. Надѣлала синица славы! Я могъ бы обойтись безъ его редакціи,—даже лучше, лишь бы доставляли они статьи. Отвѣтъ неопредѣленный! Я сказалъ, что уничтожу журналъ. Продолжать его можно при содѣйствіи“. По поводу отказа Кирѣевскаго С. Т. Авсаковъ писалъ Гоголю: „Кирѣевскій отказался отъ журнала по многимъ уважительнымъ причинамъ. Впервые, Кирѣевскій не созданъ отъ Бога, чтобъ быть издателемъ журнала. Это такой чудакъ въ дѣйствительной жизни, что, при всемъ своемъ умѣ, хуже всякаго дурака. Вторыхъ, никакой... Третьихъ, отъ нелѣпаго образа занятій Кирѣевскій сдѣлался боленъ. Довольно этихъ трехъ причинъ“<sup>19</sup>). Съ своей стороны и Хомяковъ писалъ Веневитинову: „У насъ здѣсь въ литературѣ вышла сумятица великая и очень непріятная, Кирѣевскій взялся за *Москвитянина* съ ревностью, которая свойственна его характеру. Ты могъ видѣть, какъ его статьи были сильно обдуманы, и какъ много онъ долженъ былъ для нихъ работать; но онъ не разсчиталъ своихъ физическихъ силъ. Работа его была вся по ночамъ и для отогнанія сна онъ употреблялъ самый крѣп-

кій чай. Эта вредная діѣта и крутой переходъ отъ долгаго бездѣйствія къ усиленной дѣятельности разстроили его здорovie до такой степени, что теперь онъ принужденъ отказаться отъ журнала. Погодинъ также не можетъ его принять на себя, и что будетъ—неизвѣстно. Намъ просто бѣда и горе; тутъ дѣло не до самолюбія нашего и не до чести Московской литературы, но для мыслей, которыя мы хотѣли и должны обобщить. Одна только служба теперь истинно полезная, даже въ практическомъ смыслѣ, это уясненіе мысли въ Россіи, не во гнѣвъ буди сказано вамъ господамъ, 'служащимъ на другомъ поприщѣ, и журналъ дѣло первоклассное даже въ отношеніи къ государству особенно при возвратѣ къ народности или при теперешнемъ спорѣ своенароднаго съ пришлымъ и чужимъ". Но говоря о народности и своенародности, Хомяковъ въ томъ же письмѣ обращается къ Веневитинову съ слѣдующею просьбою: „Мнѣ непремѣнно хочется имѣть при дѣтяхъ англичанку. Иные считаютъ это моею мономанією; но я полагаю себя правымъ и разсудительнымъ. Здѣсь ихъ нѣтъ; а у васъ открывается навигація и привозъ всего заграничнаго. Узнай пожалуйста, нѣтъ ли въ привозѣ молодой англичанки (если можно между осмнадцатю и двадцати-пятью годами), которая бы согласилась идти къ намъ смотрѣть за маленькими дѣтьми (старшей пятый годъ). Наукъ отъ нея требуется только умѣнье читать. Въ нравственныхъ же качествахъ главное веселонравіе. Сдѣлай это непременно и знай, что если не сдѣлаешь, то я буду обвинять не тебя, а Аполлину Михайловну, къ которой дѣйствительно обращена моя просьба, да только не смѣю ее просить прямо и безъ обиняковъ. Если найдешь, то пожалуйста послѣши меня увѣдомить и о кондиціяхъ" <sup>20</sup>).

Какъ бы то ни было И. В. Кирѣевскій, передавъ для четвертаго нумера *Москвитянина* многіе матеріалы, уѣхалъ въ свое Долбино и оставался тамъ до осени 1846 года.

Само собою разумѣется, что выходъ Кирѣевского изъ редакторовъ *Москвитянина* былъ весьма пріятенъ Западни-

камъ „Мнѣ досадно“, писалъ Иванчинъ-Писаревъ Погодину, — „что Петербургскіе глядятъ на это съ какимъ-то торжествомъ“ <sup>21</sup>). „Какое торжество“, писалъ С. Т. Аксаковъ Гоголю, — „для всѣхъ враговъ нашихъ! Не останется уже мѣста, гдѣ бы могъ раздаться человѣческій голосъ. Это нанесетъ ударъ возникающему чувству національности. Но теперь наступаетъ лѣто, всѣ наши краснобаи разѣдутся по деревнямъ, и здѣсь хоть трава не расти“ <sup>22</sup>).

Узнавъ о случившемся съ *Москвитяниномъ*, М. А. Максимовичъ изъ Кіева съ грустью писалъ Погодину: „Въ позавчерашнее воскресенье, то-есть, 10 іюня Надеждинъ порадовалъ меня неожиданнымъ посѣщеніемъ, да не порадовалъ вѣстью о тебѣ, что ты любезный друже! на востыляхъ... а *Москвитянинъ* твой ни молитвами нашими, ни востылями не подпирается и готовится къ паденію... То и другое неожиданно для меня, и признаюсь даже досадно, тѣмъ болѣе, что изъ *трехъ* вышедшихъ доселѣ толстяковъ, весьма бы можно было составить *шесть*, и по примѣру журналовъ Надеждинскаго и Плетневскаго, хотя въ утонченномъ видѣ продолжать до поры до времени, не видая благого, прекраснаго, искренно-полезнаго дѣла, каковымъ считаю твой *Москвитянинъ*. Ну какъ-нибудь тамъ соберитесь съ силами, да не прекращайте его, и не предавайте на поруганіе Невскимъ воробьямъ Московской совушки въ наставшій день... Теперь именно, болѣе чѣмъ когда-нибудь, надо постоять, чтобъ сказать: наша взяла! Какъ-нибудь, во что бы ни стало, а тани до новаго года...“ В. В. Григорьевъ съ справедливымъ укоромъ писалъ Погодину: „Что же Кирѣевскій и братія — неужели не могутъ совладать съ *Москвитяниномъ*. Плохо: сильны Москвичи на словахъ, города берутъ, что лыко дерутъ, а до дѣла дойдетъ вся храбрость пропадетъ. Потолковать наше дѣло, а за дѣломъ посидѣть, такъ спина болитъ“.

Между тѣмъ Стурдза умолялъ Погодина не разставаться съ *Москвитяниномъ*. „Пусть“, писалъ онъ, — „міръ духовный и Русскій быть сохраняетъ въ немъ для себя представителя благонамѣреннаго“ <sup>23</sup>).

Съ своей стороны и П. А. Плетневъ писалъ Д. И. Коптеву: „Что сдѣлалось съ *Москвитяниномъ*? Ужели единственный въ первопрестольной столицѣ журналъ долженъ исчезнуть? Какъ это грустно, и даже невыносимо досадно, и при этомъ совершенно неожиданно, неизвѣстно почему, вспоминается западникъ Грановскій: Грановскій, что жъ онъ заснулъ что ли? Вѣдь онъ собирался двинуть *Москвитянина*. Или, обезславивъ себя тисненіемъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, какъ сотрудникъ, онъ не смѣетъ выйти на поприще, требующее неукоризненного поведенія и имени не осрамленного?“ <sup>24)</sup>).

Послѣ выхода И. В. Кирѣевского изъ редакторовъ *Москвитянина* начались переговоры о выборѣ новаго редактора, и въ этомъ животрепещущемъ вопросѣ приняли участіе и Хомяковъ, и Языковъ, и Аксаковъ. Вотъ что объ этомъ гласитъ *Дневникъ* Погодина:

Подъ 17 мая 1845 г. Рѣшаюсь продолжать журналъ. Былъ у меня Шевыревъ и Хомяковъ, опять о журналѣ.

— 23 мая. Вечеръ у Языкова—толковать о *Москвитянинѣ*. Нелѣпныя предложенія Хомякова и Шевырева, который, слабый, вовсе подвергся и кому —Константину Аксакову. Хотятъ, чтобы осталось мое имя, и чтобы я не смѣлъ ничего помѣстить, а молодое поколѣніе хозяйничало, поколѣніе, которое и грамотѣ не знаетъ! Говорилъ послѣ съ однимъ Поповымъ, который понимаетъ лучше.

— 30 мая. Къ Аксаковымъ о журналѣ. *Враги ваши не дремлютъ*. Друзья вѣдь хуже враговъ. Журнала не хочется мнѣ передать, потому что не вижу никакой гарантіи: уронять его такъ, что будетъ стыдно.

— 10 июня. Обѣдалъ у Языкова. Письмо Чижева, гдѣ говорить о паденіи моемъ, которое разславлено друзьями. Между тѣмъ развѣ первые три нумера въ самомъ дѣлѣ отличались слишкомъ много отъ прежнихъ! Сказалъ Хомякову, Кирѣевскому Петру и Языкову: не хотите ли чего сообщить, не подадите ли какихъ мыслей. Ничакихъ. Пустые люди!

Принимавшій участіе въ этихъ преніяхъ С. Т. Аксаковъ ци-

саль Гоголю: „До сихъ поръ идутъ толки о выборѣ новаго редактора, но все это вздоръ. Дѣло кончится тѣмъ, что Погодинъ опять примется за изданіе журнала и начнетъ сколачивать его топоромъ, кое-какъ“ <sup>25</sup>). Другой участникъ этихъ преній, Хомяковъ, съ грустью писалъ Самарину: „Хорошо осрамилась наша Москва, не умѣла-таки сохранить журналъ. Погодину были дѣланы съ нашей стороны всевозможныя уступки; наконецъ даже рѣшались отягчить будущій годъ кредитомъ въ десять тысячъ и сохранить ему пай въ сборѣ сверхъ тысячи подписчиковъ. Онъ не пошелъ ни на что. Кирѣевскій также отказался рѣшительно, не смотря на всѣ моленія, не смотря на ревность нѣсколькихъ купцовъ, вещь особенно дорогая для Кирѣевского, предлагавшихъ денежное обезпеченіе, и даже на мнѣніе всей семьи, кромѣ жены и брата Петра Васильевича, сказавшей ему безъ обвиняющихъ, что для него отказаться отъ журнала и отказаться отъ всякой умственной дѣятельности все равно... За что принимать послѣ этой неудачной попытки, не знаю; а что непремѣнно надобно и должно что-нибудь предпринять, это для меня несомнѣнно, и надеждъ терять не слѣдуетъ. Всѣ отказываются отъ участія въ *Москвитянинѣ*. Я этого нисколько не оуждаю; онъ дѣйствительно не заслуживаетъ поддержки... Боюсь желчи своей, которая безпрестанно раздражается невѣжествомъ и нелѣпостями съ одной стороны и Европейскимъ обезьянствомъ лучшихъ людей, такихъ людей, которымъ слѣдовало бы идти съ нами за-одно“ <sup>26</sup>).

С. Т. Аксаковъ не ошибся: Погодинъ дѣйствительно опять принялся за изданіе *Москвитянина*. А. О. Смирнова писала Гоголю: „Погодинъ, кажется, разсорился съ вашими друзьями. По крайней мѣрѣ Кирѣевскіе болѣе не пишутъ въ *Москвитянинѣ*, и *Москвитянинъ* выходитъ нерегулярно... Послѣдній *Москвитянинъ* плохъ и отзывается отсутствіемъ Хомякова и проч. Онъ весь налитанъ Погодинымъ“ <sup>27</sup>). Самъ же Хомяковъ писалъ Самарину: „Я еще не видалъ пятого и шестаго

нумера *Москвитянина*: говорятъ, что они порядочны, но на долго это идти не можетъ: онъ долженъ рухнуть“<sup>28</sup>).

Это пророчество Хомякова не сбылось, и *Москвитянинъ* не рухнулъ. „Слухъ дошелъ до нашего захоластья“, писалъ въ Погодину Ѳ. Н. Глинка, — „что *Москвитянинъ* паки возвратился восвояси — къ вамъ. Если слухъ не лживъ, то съ симъ поздравляю *Москвитянина* и себя, раздѣляющаго убѣжденія ваши. Итакъ, если слухъ справедливъ, обращаюсь къ вамъ съ просьбою за человѣка, нѣкогда добраго, громко говорившаго, тепло писавшаго, теперь устарѣлаго, почти ослѣпшаго (на одномъ глазу бѣльмо, другой чуть видитъ), изнывающаго въ нищетѣ—это Сергѣй Николаевичъ и вамъ извѣстный, и васъ всегда уважавшій. Обремененный многоразличными случаями братъ Сергѣй Николаевичъ, при помощи добрыхъ людей, хватается за послѣднюю ниточку — издаетъ любопытныя вещи, о которыхъ объявленіе у сего прилагаю. Онъ пришлетъ первый выпускъ въ редакцію, а я прошу васъ замолвить словцо въ *Москвитянинъ* о человѣкѣ, который въ свое время много воевалъ, а теперь угасаетъ“.

Вслѣдъ за симъ письмомъ обратился къ Погодину и самъ С. Н. Глинка: „Препровождалъ къ вамъ мое *Русское Чтеніе*, желаю, чтобы *Москвитянинъ* упрочился навсегда въ древней столицѣ—въ сердцѣ Россіи. Вы и сотрудники ваши открыли къ тому пути. Продолжайте отечественный вашъ подвигъ. Москва завѣтная лѣтопись Русскаго царства. Въ ней много жизни и для современниковъ, и для потомства. Вы это доказали, отстоявъ перомъ своимъ вѣковую лѣтопись Нестора, названнаго Екатериною Второю праводушнымъ. И это истина. Праводушіе—коренное свойство нашихъ лѣтописцевъ и всего народа Русскаго. Издавалъ нѣкогда и я *Русскій Вѣстникъ* на берегахъ Москвы рѣки. Онъ встрѣтилъ нашъ двѣнадцатый годъ, и видѣли мы, что все то, что изобразило въ немъ слабое мое перо о доблестяхъ народа Русскаго, проявилось въ полной силѣ — къ славѣ и оборонѣ родного края. И да живетъ любезное Отечество наше самобытною своею жиз-



нію! Это желаніе — и на исходѣ моихъ дней и подѣ крестомъ испытанія — служить для меня лучшею отрадою; а сердце мое неразлучно съ любовью къ Москвѣ и съ великими ея напоминаніями.

„Безпристрастному перу вашему и сотрудниковъ вашихъ предлагаю, можетъ быть, послѣдній мой трудъ. Чрезвычайно буду благодаренъ, если вы окажете благосклонное содѣйствіе къ расходу моей книги“.

И дѣйствительно, *Русское Чтеніе* было послѣднею лебединою пѣснью добраго страдальца.

5 Апрѣля 1847 года, въ Петербургѣ, въ глубокой бѣдности скончался С. Н. Глинка. Одинъ изъ героевъ Бородина, князь П. А. Вяземскій, почтилъ его память задушевымъ словомъ: „Жизнь и труды Глинки имѣютъ свое неотъемлемое мѣсто въ Исторіи Русской Литературы... Имя его должно быть произнесимо съ сочувствіемъ въ общихъ поминаніяхъ объ усердныхъ дѣятеляхъ на стезѣ истины и пользы.— „Вашъ *Русскій Вѣстникъ* 1808 г., съ портретами царя Алексѣя Михайловича, Дмитрія Донскаго и Зотова“, писалъ Погодинъ къ Глинкѣ,—„возбудилъ во мнѣ первое чувство любви къ Отечеству, Русское чувство, и я благодаренъ вамъ во вѣки вѣковъ“. Въ ученomъ профессорѣ брошенные сѣмена развились и созрѣли богатою жатвою; но нѣтъ сомнѣнія, что и во многихъ другихъ не остались они безплодными, хоть и менѣе гласными... Глинка былъ рожденъ народнымъ трибуномъ, но трибуномъ законнымъ, трибуномъ правительства... Рѣчами своими онъ успокоивалъ и ободрялъ народъ... Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Литературѣ Глинка не отдавалъ себя въ кабалу никакимъ литературнымъ партіямъ. Онъ прошелъ безпристрастно и миролюбиво сквозь нѣсколько поколѣній литераторовъ нашихъ... Рожденіемъ своимъ, воспитаніемъ и воспоминаніями лучшей поры въ жизни, молодости, принадлежалъ онъ вѣку отжившему, но съ любовію и уваженіемъ привѣтствовалъ знаменитости и надежды другихъ поколѣній... Для него свято и дорого было Русское слово... Успѣхъ, счастье, не что иное,

какъ случайность въ жизни. Самыя дарованія, которыя даютъ намъ отъ Бога, не всегда могутъ быть мѣриломъ внутренняго достоинства человѣка. Въ житейскихъ оцѣнокъ есть другое воздаяніе. Виноградари одиннадцатаго часа получаютъ также свою мзду... Глинеѣ на долю выпали свѣтлые дни, но и пасмурные. Послѣднихъ болѣе. Первые встрѣчалъ онъ безъ самозабвенія, но съ умиленіемъ и благодарностью въ Промыслу; другіе—съ покорностію и молитвою... Почти всѣ первостатейные дѣйствователи исполнскихъ переворотовъ и самыя событія, на которыя отвѣчалъ онъ частью сочувствіемъ, частію посылною дѣятельностію, перешли уже въ Исторію. Въ тишинѣ и въ тѣни вотъ и самъ Глинеа сошелъ въ могилу“<sup>29</sup>)...

„Да наградить васъ Господь Богъ“, писалъ Плетневъ князю Вяземскому,—„за все и за бѣднаго Глинку, и за воспоминаніе о добромъ старомъ времени, и за назидательныя литературныя истины“<sup>30</sup>).

---

## VI.

Разставшись съ И. В. Кирѣевскимъ, Погодинъ снова завелъ переговоры съ В. В. Григорьевымъ о передачѣ ему *Москвитянина* и по этому поводу писалъ ему. „Что вы все плачетесь съ *Москвитяниномъ*“, писалъ Григорьевъ въ отвѣтъ Погодину.—„Каждую книжку родите не во время, и то вытѣзаетъ не головою, а ногами впередъ. Стыдно, что въ Москвѣ человѣка не найдется, который бы умѣлъ справиться съ такимъ немудрымъ дѣломъ, какъ матеріальная часть изданія. Думаю, впрочемъ, что виною этому отчасти и собственная скупость ваша, любезнѣйшій Михайло Петровичъ: чтобъ жать, надо сѣять; изданіе журнала, независимо отъ гражданской или ученой цѣли, есть коммерческое предпріятіе; такъ и надо его вести. Посмотрите, какъ ловко обдѣлываетъ дѣла свои Краевскій, а по-

тому, что онъ маляръ въ душѣ. Хотите взять меня въ редакторы *Москвитянина*? Извольте, но для этого надо три условія: 1) не печатать богословскихъ статей Стурдзы и прочихъ таковыхъ въ родѣ житія старца Паисія; 2) давать мнѣ въ годъ 1000—1500 рублей серебромъ, и 3) сыскать мнѣ какое-нибудь мѣстечко въ Москвѣ, гдѣ бы я могъ служить, не посвящая службѣ много времени — этакъ мѣсто профессора Восточныхъ языковъ въ Лазаревскомъ институтѣ, или что-нибудь другое, хоть и не по учебной, и даже не по ученой части“<sup>31)</sup>. Не уладивши дѣло съ Григорьевымъ, Погодинъ думалъ передать *Москвитянинъ* Львову и князю Долгорукову<sup>32)</sup>. Когда переговоры и съ послѣднимъ не имѣли успѣха, то Погодинъ отложилъ исполненіе своей мысли на неопредѣленное время, и она осуществилась только тогда, когда *Москвитянинъ* перешелъ въ руки такъ называемой молодой редакціи, нѣкоторые дѣятели которой, какъ, напримѣръ, Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ и отчасти Аеанасій Аеанасевичъ Шеншинъ (Фетъ) уже выступили на литературное поприще въ описываемое нами время.

Въ 1844 году Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Были Григорьевъ и Фетъ. Въ ужасной пустотѣ вращаются молодые люди. Отчаянное безвѣріе“. Надо замѣтить, что Фетъ былъ питомцемъ Погодинскаго пансіона. Но не смотря на такой строгій приговоръ, въ первомъ номерѣ *Москвитянина* 1844 года Погодинъ напечаталъ замѣчательный трудъ А. А. Шеншина, прославившаго свое имя въ нашей Литературѣ подъ именемъ *Фета*: *Переводы изъ Горація*, къ которымъ Шевыревъ сдѣлалъ слѣдующее предисловіе: „Читатели, конечно, поблагодарятъ редактора *Москвитянина* за то, что онъ познакомитъ ихъ съ прекраснымъ трудомъ, который принялъ г. Фетъ: перевести Горація. Мы до сихъ поръ подобнаго перевода еще не имѣли. У насъ было подражаніе Горацію—и только. Фетъ въ своемъ переводѣ воспроизводитъ намъ духъ поэта Римскаго и передаетъ его съ близостью неимовѣрною. Его переводъ—не Нѣмецкій механическій пе-

реводъ, въ которомъ языкъ заковывается въ чужіе, не свойственные ему, размѣры, гнется покорнымъ вассаломъ передъ могучимъ словомъ гордаго римлянина: нѣтъ переводъ его есть переводъ Русскаго поэта, который свободно полюбилъ Горація, сроднился съ нимъ своею Русскою душой; воспринялъ въ себя добровольно его Римскую душу, не измѣняетъ въ немъ ни одной мысли, ни одного чувства. Русскій языкъ у него не гнется по Нѣмцѣи, а въ дружелюбной борьбѣ выдаетъ Горацію свою силу и прелесть для выраженія красоты его. Фетъ переводитъ Горація такъ, какъ бы самъ Горацій выражалъ свои Римскія языческія мысли на нашемъ языкѣ. Русскому переводчику важенъ болѣе духъ, чѣмъ буква. И въ формахъ есть сходство, по скольку его допускаютъ условія Русской поэзіи. Строже тутъ и эта полновѣсная сила стиха заключительнаго, который такъ часто у Горація довершаетъ мысль и образъ“. Этотъ творческій трудъ Фета не ускользнулъ и отъ проницательнаго ока князя П. А. Вяземскаго. „Что это за Фетъ?“ вопрошалъ онъ Погодина, — „переводы его очень замѣчательны“.

Пріятель А. А. Фета, Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ, по окончаніи въ 1842 году курса въ Московскомъ Университетѣ по Юридическому Факультету получилъ должность сперва бібліотекаря Университета, а потомъ секретаря Университетскаго Совѣта <sup>38)</sup>. Съ 1843 года онъ началъ участвовать въ *Москвитянинѣ* и подъ псевдонимомъ А. Тригемистова помѣщать въ немъ свои стихотворенія <sup>39)</sup>. Съ Погодинымъ сумѣлъ Григорьевъ войти въ самыя дружелюбныя сношенія: „Вчера пріѣхавши отъ васъ“, писалъ Григорьевъ Погодину, — „подъ вліяніемъ еще разговоровъ съ вами я былъ долго счастливъ. Много вѣры въ назначеніе поселяете вы въ меня, да воздастъ вамъ за это Богъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Григорьевъ желалъ посвятить Погодину, „какъ единому представителю старшаго поколѣнія, сочувствующему стремленіямъ поколѣнія новаго“ какое-то свое „дѣтище“ <sup>40)</sup>.

Въ томъ же 1843 году Григорьевъ переселился въ Пе-

тербургъ и продолжалъ тамъ свое служебное поприще въ Первомъ Департаментѣ Сената <sup>36</sup>); но въ 1845 году онъ оставилъ службу. Въ Петербургѣ Григорьевъ жилъ у извѣстнаго писателя Василя Степановича Межевича. Когда до Погодина дошли какіе-то неблагопріятные слухи о Григорьевѣ, то сей послѣдній писалъ: „Благодарю васъ за память обо мнѣ, благодарю васъ за участіе. Но я долженъ оправдаться передъ вами въ разнаго рода слухахъ. Я оставилъ службу, потому что я не могу служить, потому что служба убиваетъ, потому что наконецъ я чувствую въ себѣ силы дѣлать на свѣтѣ что-нибудь лучшее, чѣмъ вести настоянныя реестры, ибо оныя *можетъ быть* очень полезны сами по себѣ, но только для этого полезнаго дѣла современемъ изобрѣтутся машины. Кто чувствуетъ въ себѣ присутствіе жизненной силы, кто сознаетъ въ себѣ Бога, то-есть, челоуѣка, тому *стыдно* губить полдня на машинную дѣятельность, особенно если онъ не пылаетъ *возвышенною* страстію къ разнымъ степенямъ Владиміровъ, Аннъ и Станиславовъ. Предоставляю это другимъ *отверженнымъ* слугамъ Отечества. Я не пишу къ моимъ роднымъ, потому что мнѣ нечего писать къ нимъ покаянствъ. Придетъ время, когда я буду жить для нихъ и только для нихъ, ибо право я люблю ихъ. Возвратиться съ горькими слезами я не могу, ибо много плакать не о чемъ: слышать же подобныя слова отъ васъ страшно грустно, ибо я вѣрилъ въ то, что вы вѣрите въ фанатизмъ истины и свободы. Въ Петербургѣ я не развратничаю, а добываю свой хлѣбъ трудомъ часто горькимъ и почти всегда благодарнымъ, но клянусь Богомъ—не жалуясь. Имѣю честь положить изложить вамъ, что я дѣлаю и дѣлалъ, кромѣ писанія стиховъ, которыхъ сборникъ буду имѣть честь скоро представить вамъ въ печати; кромѣ романа, котораго половина напечатана уже въ *Репертуаръ*, кромѣ наконецъ бездны повѣстей и разныхъ книженоевъ, переведенныхъ мною безъ имени для поддержанія моего будущаго существованія, я перевожу: 1) пѣсни Беранже, которыя къ январю, надѣюсь, вы-

дуть книжкой.—2) Я перевелъ: *L'école de Vieillards* Делавина въ стихахъ; *Louis XI* его же, въ стихахъ; *Richelieu* Лемегсieg въ стихахъ; *Le journée d'Alcibiade*, Лемегсieg въ прозѣ; *Миниу фонъ Бартельмъ* Лессинга въ прозѣ.—3) Написалъ драму, которая выйдетъ вмѣстѣ съ стихотвореніями. Доказательства ясныя, кажется, что я работаю. Родные мои звали меня въ Москву—но скажите ради Бога, что я буду тамъ дѣлать? Служить я не могу,—*филистерствовать* тоже, ибо вы сами слишкомъ хорошо знаете, какъ пошлъ, глупъ и цинически подлъ юридическій факультетъ. Когда оставите Университетъ вы, Давыдовъ, отчасти Шевыревъ, тогда, за исключеніемъ добраго, хотя ограниченнаго, Грановскаго и свѣжаго еще, благороднаго, хотя исполненнаго предрасудковъ и Византійской религіи, Соловьева, остается стадо скотовъ, богохульствующихъ на науку. Вы помните, какою безотрадною тоской терзался я отъ бесплодности ихъ ученій, полныхъ циническаго рабства, прикрытаго лохмотьями Западной науки. Что же мнѣ тамъ дѣлать, мнѣ—фанатику, который не можетъ равнодушно слышать мерзостей, который обрекъ себя бороться, страдать до смерти? О чемъ же мнѣ плакать и рассказываться? О томъ, что я гордо и смѣло пошелъ искать истины и свободы, что не отдѣлалъ мышленія отъ жизни, слова отъ дѣла, что поднимаю по силамъ знамя борьбы, Божественный вѣстъ Іисуса. О возьмите назадъ ваши слова! Вы должны благословить меня, ибо вы сами человѣкъ дѣла, а не слова. Пусть другіе бросятъ въ меня камень, пусть другіе назовутъ меня безумцемъ—вы меня поймете. Еще разъ, даже съ точки зрѣнія положительной, зачѣмъ я возвращусь въ Москву? Здѣсь я какъ-нибудь перебиваюсь, тамъ у меня не будетъ средствъ жизни, ибо я не пойду кланяться. Есть смиреніе благородное, смиреніе передъ человѣкомъ—Богомъ, и вы знаете, смиренъ ли я; но смиреніе и позорное униженіе передъ жрецами Ваала и рабами Веліара есть срамъ и грѣхъ. Я готовъ смириться предъ вами какъ передъ наставникомъ и отцомъ, но не требуйте отъ меня уваженія къ тому, что я ненавижу и

презираю. Я любилъ—это правда—но давно уже отказался отъ всякой мысли о личномъ счастьи, давно уже смотрю я на себя какъ на часть цѣлаго человѣчества и на страданія свои, какъ на страданія эпохи. И поэтому-то я имѣю святое право быть гордымъ. Есть двѣ дороги—дорога общая, избитая, и дорога просто; я выбралъ послѣднюю. Благословите же меня, а не проклиняйте. Вспомните, что изъ всего молодого поколѣнія, можетъ быть, одинъ я понимаю и люблю васъ, понимаю и люблю столько же, сколько презираю и ненавижу филистерію. Моя любимая мысль теперь—уѣхать въ Сибирь учителемъ гимназій, о чемъ я хлопочу, и что, впрочемъ, развяжетъ меня съ долгами, ибо въ Сибирь выдается годовое жалованье, воторыхъ, дастъ мнѣ на три года покою, необходимаго для писанія всего мною задуманнаго. Прошу васъ удостоить меня письмомъ, хотя столько же законическимъ, какъ предшествующее. Я живу теперь у Редактора *Репертуара* и *Полтвейской газеты* Межевича, одного изъ слишкомъ немногихъ благородныхъ людей, какихъ я знаю“.

Вслѣдъ за симъ Григорьевъ писалъ Погодину: „Тяжело мнѣ оправдываться въ такихъ вещахъ, о которыхъ я не хотѣлъ бы и слегка говорить съ вами. Добрый другъ мой Василій Степановичъ Межевичъ беретъ на себя оправдать меня, и надѣюсь, вы ему повѣрите. За что именно сдѣлали меня предметомъ разнаго рода рассказовъ—не знаю. Скажу вамъ слово одно: если я и заблуждался, то заблуждался благородно, ища истины и свободы; минуты, когда я забывалъ собственное достоинство, были слишкомъ рѣдки, и онѣ прошли давно. Одно мое заблужденіе была слишкомъ сильная вѣра въ душу человѣка, но раскаиваться въ этомъ святомъ заблужденіи было бы богохульствомъ. Благодарю васъ за ваше письмо, за то, что вы еще поддерживаете во мнѣ вѣру въ людей. Ежели слухи сообщены вамъ Калайдовичемъ, то отъ души прощаю ему. Я любилъ и люблю его, но уважать не могу: онъ сдѣлался чиновникомъ въ душѣ, то-есть, работою отъ головы до пятъ. Вамъ страненъ выборъ моихъ переводовъ? Делавина я

переводить для сцены, а перевести Беранже считаю за *notion meritoire*, ибо это—поэтъ истины, поэтъ будущаго. Походите немного, можетъ быть, примусь и за древнихъ. Очень пріятно было бы работать что-нибудь на *Moskovitjaning*, ибо времени достаточно, хотя въ январѣ я собираюсь держать магистерскій экзаменъ. Зачѣмъ? спросите вы—просто изъ самолюбія и ужъ конечно менѣе всего изъ ревности къ юриспруденціи, которую всю, какъ вы знаете, считаю я страшною *ложью на Духа Святаго*, то-есть, клеветою на человѣка и человѣчность. Въ своихъ я теперь пишу, но въ Москву соберусь не ранѣе будущаго лѣта. Въ Сибирь не поѣду, ибо—не зачѣмъ: есть возможность жить и дѣйствовать и здѣсь... Благодаря дружбѣ ко мнѣ благороднаго Межевича, я теперь спокоенъ, даже веселъ, сколько можно быть веселымъ, видя на каждомъ шагу рабство и гнусности. Признаюсь, какое-то злобное удовольствіе чувствую я, думая иногда, какъ не любить меня филистеры: недавно я узналъ, что ѣдущихъ въ Петербургъ кандидатовъ Н. И. Крыловъ предупреждаетъ на счетъ знакомства со мною—*mensonge et illusion!* На вашихъ глазахъ я бывало божился и клялся этимъ человѣкомъ... точнѣе, впрочемъ, не имъ..., но *пусть минувшее будетъ минувшимъ*, скажу я словами поэта. Впереди еще такъ много—если не счастья, то по крайней мѣрѣ дѣятельности и убѣжденія пройти по жизни благороднымъ и свободнымъ. О себѣ имѣю честь донести вамъ, что я—физически здоровъ какъ нельзя болѣе, и только иногда боленъ морально припадками хандры. Если живъ благородный А. И. Хмѣльницкій—прошу васъ, когда его увидите, передать низкій и пренизкій поклонъ человѣка, который понимаетъ теперь его озлобленность; Соловьеву скажите, что я его по прежнему люблю, и если отвѣчалъ ему рѣзко, то потому только, что между нимъ и мною встали разные предразсудки. Грановскому я писалъ отсюда два раза еще въ прошломъ году, но отвѣта не получалъ, неужели онъ возгордился пошлою филистерскою гордостью?.. Неужели и слишкомъ немногіе люди духа, люди стремленія, люди



желанія должны быть разрознены вслѣдствіе разныхъ мелкихъ претензій? Всѣ эти претензіи называются на техническомъ языкѣ филистеріи *убѣжденіями*, и вслѣдствіе оныхъ убѣжденій я, на примѣръ, исповѣдуя Фурье, долженъ же терпѣть Гегелистовъ и т. д. Не знаю—хорошо ли это, но я понимаю одну только ненависть—къ подлости и къ филистеріи, то-есть, къ раздвоенію мышленія и жизни. Не прошу васъ отвѣчать мнѣ, но прошу у васъ позволенія писать къ вамъ или лучше сказать беру это позволеніе приступомъ, *via facti*“.

Адвокатомъ за Григорьева явился В. С. Межевичъ въ слѣдующемъ письмѣ своемъ къ Погодину. „Святымъ долгомъ моимъ считаю взяться за перо, чтобы оправдать въ глазахъ вашихъ искренно любимого мною Аполлона Александровича Григорьева. Клевета, клевета и клевета все, что о немъ рассказывали, и о чемъ вы упоминаете въ письмѣ вашемъ. Это столько же похоже на правду, какъ еслибы тѣ же рассказы примѣнить къ вамъ, вѣрьте честному, благородному, святому слову. Онъ живетъ у меня мѣсяца съ полтора, и кромѣ истиннаго участія, любви и уваженія ничего не заслужилъ въ нашемъ семействѣ. Да, онъ заблуждался, но это заблужденіе не только не безчеститъ его, но ставитъ выше многихъ людей, которые идутъ такъ называемымъ *прямымъ путемъ* безчувственности и безсмыслія. Я былъ такъ счастливъ, что успѣлъ сколько-нибудь успокоить его, примирить его раздраженную душу съ дѣйствительностью, вывести на дорогу, по которой онъ пойдетъ тихо и ровно. Голова его еще въ чаду, и потому онъ не установился въ своихъ литературныхъ занятіяхъ, но работаетъ много, работаетъ усердно. *Петербургскимъ чиновникомъ* онъ быть не способенъ, слѣдовательно, литературныя занятія суть его единственные средства къ жизни.\* Не удивляйтесь, что онъ избираетъ иногда то или другое—хоть, на примѣръ, и Делавина, котораго комедию *L'école des vieillards* онъ перевелъ прекрасными стихами. Теперь онъ переводитъ *Мизантропа* и *L'école des*

*maris* изъ Мольера, написалъ двѣ оригинальныя драмы и пишетъ третью. Въ январѣ надѣюсь я напечатать томъ его стихотвореній, которые теперь въ цензурѣ. Въ нихъ много прекраснаго. Вмѣстѣ съ этимъ онъ готовится къ экзамену магистерскому и въ январѣ будетъ держать его. Съ родителями онъ примирился, переписывается, и старики, кажется, успокоились. Однимъ словомъ, Григорьевъ вполне достойнъ участія, какое вы въ немъ принимаете, и того уваженія, черезъ которое это участіе родилось въ васъ“ <sup>37)</sup>.

По свидѣтельству И. С. Аксакова, А. А. Григорьевъ въ *Пантеонѣ* напечаталъ комедію, гдѣ очень хорошо выставленъ К. С. Аксаковъ подъ именемъ Баскакова, фурьеристъ Петрашевскій подъ именемъ Пѣтушевскаго и Н. К. Калайдовичъ подъ именемъ Кобуловича. Аксаковъ между прочимъ говоритъ, что истинно семейное начало лежитъ въ Словенскомъ народѣ и пр. и пр., и декламируетъ:

Мужъ можетъ быть жену, но убивать не смѣть!

„Откуда все это взято“, пишетъ И. С. Аксаковъ въ своему отцу (отъ 15 декабря 1845 г.),—„не знаю. Но Григорьевъ не видалъ даже Константина, стало—это все по слухамъ и рассказамъ Калайдовича, съ которымъ онъ видно поссорился... Впрочемъ Григорьевъ друженъ и съ *Отечественными Записками*“ <sup>38)</sup>.

## VII.

Потерпѣвъ неудачу съ журналомъ \*), Грановскому пришлось вытерпѣть неприятности и по поводу своей магистерской диссертациі, предметомъ которой были *Воллинъ*, *Юмсбургъ* и *Винета*. „Грановскій“, пишетъ Герценъ,—„написалъ диссертацию о Винетѣ и Волинѣ, гдѣ онъ доказываетъ, что Винета Словенскихъ преданій никогда не существовала и пр. Такова дивная нетерпимость Словенофиловъ, что они хотятъ воз-

\*) См. *Жизнь и Труды М. П. Погодина*. С.-Пб. 1893. VII, стр. 439—442.

вратить диссертацию, что, вѣроятно, примѣра не имѣетъ, и готовы преслѣдовать Грановскаго какъ лицо. Преслѣдовать за Винету—это дѣлаетъ маленькое указаніе: еслибъ эти люди получили власть въ руки, что бы они сдѣлали со всѣми не покоряющимися ихъ варварскимъ мнѣніямъ, они показали бы, что такое цензура великаго народа и что такое кроткая сила слова Православной церкви. Теперь они ливкутъ и не на радуются вѣсти, что *Отечественныя Записки* запрещены, и черезъ кого какъ не черезъ Погодина и Шевырева. И Грановскаго журналъ отчего не позволяютъ, я увѣренъ, что по ихъ гадкимъ доносцамъ и проискамъ<sup>39)</sup>. Долгомъ считаемъ замѣтить, что *Отечественныя Записки* никогда не запрещались, и что Погодинъ и Шевыревъ ни душою, ни тѣломъ не были виновны во взводимыхъ на нихъ обвиненіяхъ.

О неудачѣ, постигшей диссертацию, Грановскій писалъ Кетчеру: „Диссертацию я не защищаю до сихъ поръ потому, что друзья мои, Давыдовъ и Шевыревъ, при пособіи Бодянскаго, хотѣли возратить мнѣ ее назадъ съ позоромъ. Я просто не взялъ и потребовалъ отъ нихъ письменнаго изложенія причины. Разумѣется они уступили“<sup>40)</sup>. По замѣчанію Герцена, „исторія съ диссертациею Грановскаго послужила на пользу, всѣ сняли перчатки и показали настоящій цвѣтъ кожи. Грановскій отказался отъ всякаго участія въ *Москвитянинѣ*“.

Наконецъ 21 февраля 1845 года состоялся въ Московскомъ Университетѣ диспутъ Грановскаго. На канунъ этого дня Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Читалъ диссертацию Грановскаго и приготовлялся спорить“<sup>41)</sup>. Диспутъ Грановскаго, по словамъ Герцена, „былъ публичнымъ и торжественнымъ пораженіемъ Словенофиловъ и публичной оваціей Грановскаго. Нападки были дѣланы съ невѣроятною дерзостью, съ цинизмомъ, грубымъ до отвратительности. Грановскій отвѣчалъ тихо, спокойно, кротко, вѣжливо, улыбаясь; нравственно оппоненты были уничтожены имъ. Но толстая шкура ихъ не поняла бы этого. Другой голосъ посильнѣе осудилъ ихъ. Грановскій былъ встрѣченъ громомъ рукопле-

сканій, каждое слово Бодянского награждалось всеобщимъ шиканіемъ. Изъявленія эти были такъ сильны и энергичны, что никто и не подумалъ останавливать ихъ. Сверхъ дерзости въ выраженіяхъ, гнусныя продѣлки Шевырева, Бодянского и другихъ были извѣстны всей публикѣ, на нихъ смотрѣли съ омерзѣніемъ. Когда кончился диспутъ и графъ Строгановъ поздравилъ Грановскаго, раздались: *vivat, vivat!* На лѣстницѣ потомъ увидѣли какъ-то Грановскаго, и новыя рукоплесканія, даже передъ Университетомъ собралась толпа студентовъ, ожидавшая его выхода, но ее уговорили разойтись. Этотъ день торжества Грановскаго да вмѣстѣ съ тѣмъ торжество всего Университета. Намъ доказалъ онъ, что его симпатіи далеки отъ Словенофильства. Хвала студентамъ. Вчера за обѣдомъ я предложилъ тостъ за здоровье студентовъ Московскаго Университета. Словене огорчились и какъ-то не находятся. *Au reste*, благородные изъ нихъ были противъ всѣхъ продѣлокъ... Сегодня видѣлъ П. В. Кирѣевскаго — чудный человекъ “<sup>43)</sup>).

Выслушаемъ теперь очевидцевъ и участниковъ диспута. Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 21 февраля 1845 года, записалъ: „Диспутъ. По вызову Давыдова я началъ говорить, а потомъ неожиданно и Бодянской. Длинная рѣчь въ неприличной формѣ. Почти шиканье послѣ нѣкоторыхъ репликъ. Рѣдинъ отвѣчалъ глупость Шевыреву, и ему захопали, а Шевыреву знаки неодобренія. Каковы! Я долженъ былъ вступить противъ Рѣдина и показать, что раздѣляю мысли Шевырева. Строгановъ молчалъ. Рукоплесканія въ заключеніи. *Novus nascitur ordo...* Теперь студенты будутъ вступаться и за министровъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ писалъ Григорьеву: „Дошелъ ли до васъ слухъ о диспутѣ Грановскаго. *Novus nascitur ordo!* О многомъ желалъ бы поговорить. Много званныхъ, но мало избранныхъ “<sup>43)</sup>. Въ *Дневникѣ* своемъ отставной профессоръ записалъ: „Думалъ, что надо сдѣлать въ Университетѣ для противоудѣйствія злему началу “<sup>44)</sup>. Съ своей стороны и Хомяковъ писалъ въ Петербургъ къ Ю. О. Самарину: „Вы

уже вѣроятно слышали о диспутѣ Грановскаго. Неловкостей была бездна: Бодянскій и Шевыревъ попались въ просакъ. Грановскій защищался слабо. Рѣдкинъ осрамился въ пухъ. Лавры всѣ пожалъ И. И. Давыдовъ, передернувъ весь факультетъ какъ колоду, всѣхъ надулъ и всѣхъ утопилъ волнами академическаго краснорѣчія. Впрочемъ, симпатіи народныя и студентскія выразились ярко и несомнѣнно. Вечеромъ Герценъ потиралъ руки и говорилъ у Васильчиковыхъ: „Les Slaves sont battus“<sup>46</sup>).

Студенты не удовольствовались выраженіемъ своего сочувствія Грановскому на диспутѣ и приготовили было ему „новый аплодиссементъ при первой лекціи. Инспекторъ Нахимовъ просилъ профессора какъ-нибудь предупредить его, и Грановскій предупредилъ“<sup>46</sup>). Взошедши на кафедру, онъ сказалъ стоя студентамъ: „Мм. Гг.! благодарю васъ за тотъ пріемъ, которымъ вы почтили меня 21 февраля. Онъ меня еще болѣе привязалъ къ Университету и къ вамъ, Мм. Гг. Въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоцѣнную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому я думаю, Мм. Гг., что впередъ внѣшнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увѣренія въ дружбѣ. Теперь эти рукоплесканія могутъ только обратить на насъ вниманіе. Я прошу васъ, Мм. Гг., не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я говорю ихъ не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ, Мм. Гг.,—я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. Меня заставляютъ говорить причины болѣе разумныя, болѣе достойныя меня и васъ. Мы, равно и вы и я, принадлежимъ къ молодому поколѣнію—тому поколѣнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность. И вамъ, и мнѣ предстоитъ благородное и, надѣюсь, долгое служеніе нашей великой Россіи, Россіи—преобразованной Петромъ, Россіи—идущей впередъ и съ равнымъ презрѣніемъ внимающей и клеветамъ иноземцевъ, которые видятъ въ насъ только легкомысленныхъ

подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго собственнаго содержанія,—и старческимъ жалобамъ моды, которые мѣшатъ не живу Русь, а вѣтхій призракъ, вызванный ими изъ моты, и нечестиво преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ изъ празднаго воображенія. Побережемъ же себя на великое служеніе. Въ заключеніе скажу вамъ, Мм. Гг., что гдѣ бы то ни было и когда бы то ни было, если кто-нибудь изъ васъ, прійдетъ ко мнѣ во имя 21 февраля, тотъ найдетъ во мнѣ признательнаго и благороднаго брата“. По словамъ біографа Грановскаго, рѣчь эта послужила поводомъ къ новымъ толкамъ и обвиненіямъ Грановскаго со стороны его противниковъ. „Обо мнѣ кричатъ“, пишетъ Грановскій Кетчеру,—„что я интриганъ и тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій, которыя наносятся Словенству“. Онъ пишетъ, что, сверхъ того, подобныя обвиненія распространяются и на друзей, что, между прочимъ, Бѣлинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ подрываетъ своими статьями народность, семейную нравственность и православіе; упоминаетъ также и о своихъ рѣзкихъ личныхъ объясненіяхъ съ нѣкоторыми изъ его обвинителей. Среди бумагъ Грановскаго сохранилось письмо его къ И. В. Кирѣевскому, обрисовывающее отношенія Грановскаго къ противникамъ и носящее слѣды необычайнаго въ немъ раздраженія; повторяя въ немъ предложеніе своего сотрудничества журналу, редакцію котораго принялъ на себя Кирѣевскій, онъ говоритъ, что предложилъ свои услуги ему лично, а не *Москвитянину*, журналу съ даннымъ направленіемъ, и не его сотрудникамъ, а потому проситъ не выставлять своего имени среди именъ послѣднихъ, пока Кирѣевскій не выставитъ своего имени какъ редактора *Москвитянина*. Письмо говоритъ о неважности различія мнѣній и направленій, когда они не имѣютъ практическаго значенія, но что онъ, Грановскій, не хочетъ „стать на ряду съ большею частію сотрудниковъ *Москвитянина*, не потому, что они Словене и православные христіане, а онъ, отчасти по ихъ милости, ославленъ врагомъ Церкви и Россіи, а потому что нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ не уважаетъ

лично". „Повѣрьте“, писалъ Грановскій о письмѣ своемъ, — „что въ немъ очень мало участвовало раздраженіе, произведенное во мнѣ недавнею исторіею съ моею диссертациею. Эта исторія только подтвердила давнишнія предположенія мои относительно прямоты и честности моихъ противниковъ... За мнѣнія свои“, говоритъ Грановскій въ заключеніи письма, — „я принимаю на себя полную отвѣтственность, тѣмъ болѣе, что я еще не попалъ ни въ профессоры (Грановскій былъ тогда еще преподавателемъ), ни въ литераторы, которымъ однимъ дозволяется говорить безнаказанно дерзости и творить гадости, не терпимыя ни въ какомъ другомъ кругу“ <sup>47)</sup>.

Между тѣмъ слухъ о диспутѣ Грановскаго и о происшедшемъ на немъ достигъ до высшаго Петербургскаго общества, о чемъ свидѣлствуетъ слѣдующая записъ А. О. Смирновой въ ея *Дневникъ*: „Понутру была у меня А. В. Сенина. Ей писали изъ Москвы, что Шевырева зашпикали на одной лекціи. Грановскій защищалъ диссертацию на магистерскую степень. Рѣдкинъ его защищалъ противъ Шевырева, публика заступилась за любимца-красавца и зашпикала, когда Шевыревъ немного вольнулъ Грановскаго“ <sup>48)</sup>.

Какъ бы то ни было, но тогдашнее молодое поколѣніе было, къ сожалѣнію, на сторонѣ Западниковъ, и Герценъ съ самоуслажденіемъ записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Иванъ Васильевичъ Павловъ рассказывалъ, какъ были приняты студентами мои статьи въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Признаюсь, мнѣ было очень весело слушать, большей награды за трудъ не можетъ быть. Юноши тотчасъ оцѣнили въ чемъ дѣло и гурьбою ходили въ кондитерскія читать. Грановскій пользуется между студентами чрезвычайнымъ авторитетомъ, для нихъ онъ мѣра, къ которой прикидываютъ другихъ профессоровъ“ <sup>49)</sup>.

### VIII.

Намъ уже извѣстно, что Грановскій, на первой лекціи послѣ диспута сказалъ студентамъ: „Мы, равно вы и я, принадле-

жизнь из молодому поколѣнію, тому поколѣнію, въ рукахъ котораго жизнь и будущность... и съ презрѣніемъ, снимающимъ изъ старческихъ жалобамъ людей, которые любятъ не живую Русь, а ветхій призракъ, вызванный ими изъ могилы, и нечестиво преклоняются предъ кумиромъ, созданнымъ изъ пазднымъ воображеніемъ“.

Слова эти задѣли за живое Словенофиловъ, и Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ* отмѣтилъ: „Обѣдать въ Аксазовымъ. Рожденіе Ольги Семеновны. Извѣстіе о словахъ Грановскаго студентамъ“ <sup>50)</sup>. Само собою разумѣется, что слова эти задѣли и оскорбили Шевырева, и онъ даже намѣревался заявить о нихъ на своей публичной лекціи. Но И. В. Кирѣевскій, охраняя своего друга, писалъ Погодину: „Шевыревъ, говорятъ, хочетъ дѣлать вещь непростительную: говорить на лекціи во вторникъ о выходе Грановскаго. Если это правда, то ради Бога останови его. Говорятъ, студенты собираются ему шикать и безъ того. Если это правда, то вмѣсто прекрасной роли—быть жертвою противныхъ интригъ, онъ своею рѣчью противъ Грановскаго явится только жертвою собственной неудачной выходки. Тогда не соглашающимся будетъ очень естественно выразить свое несогласіе, между тѣмъ какъ безъ его повода ихъ шиканье будетъ только обличеніемъ ихъ ненависти и происковъ“.

Вслѣдъ за выходкой Грановскаго на лекціи въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* напечатана была статья о *Бретани и ея жителяхъ*. Статья приписывалась также Грановскому, но послѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что она принадлежала тогдашнему редактору *Вѣдомостей* Е. Θ. Коршу <sup>51)</sup>. Статья эта начинается такими словами: „Благосклонный читатель, если вы заглядывали въ простодушно-затѣйливыя хроники Средняго Вѣка (понятно, что мы разумѣемъ здѣсь хроники только Западной Европы; Средній Вѣкъ не существовалъ для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него), если не ставили себѣ въ грѣхъ ознакомиться даже съ общимъ характеромъ священныхъ легендъ его, мы ду-



маемъ, вы не откажетесь послѣдовать за нами въ тотъ край, гдѣ сѣдая, дѣтски-простодушная, но вмѣстѣ и причудливая, старина до сихъ поръ составляетъ основу практической жизни и, какъ древле, имѣетъ сильное, почти исключительное вліяніе на характеръ и нравы жителей,—въ тотъ край, который весь усѣянъ памятниками прошедшаго, гдѣ съ каждымъ камнемъ связано или какое-нибудь историческое воспоминаніе, или преданіе... Ребячество человѣка зрѣлыхъ лѣтъ возбуждаетъ въ насъ только смѣхъ или сожалѣніе; напротивъ картина дѣлаго народа, младенчествующаго среди возмужалыхъ сверстниковъ, можетъ быть любопытна и даже поучительна, — поучительна въ особенности для насъ, которые еще такъ недавно и однако уже такъ рѣшительно распростились съ своею неподвижною стариной, съ безвыходнымъ застоємъ Кошихинской эпохи и благодаря Богу и Петру Великому, пошли путемъ обновленной жизни и многосторонней дѣятельности“. Въ заключеніи этой статьи мы читаемъ: „Вотъ немногія черты характера древняго Бретанскаго народонаселенія, доказывающія закоснѣлую грубость здѣшнихъ жителей, оставшихся и въ новѣйшее время тѣмъ же, чѣмъ предки ихъ были за нѣсколько вѣковъ. Но, какъ бы ни было невѣжество упрямо и грубо, всепобѣждающая сила цивилизаціи рано или поздно одолѣетъ его. Бретани предстоить эта участь въ скоромъ времени: желѣзныя дороги необходимо разольютъ въ ней свѣтъ образованности“<sup>53</sup>).

Прочитавъ эту статью, Погодинъ написалъ отвѣтъ, который былъ напечатанъ въ *Москвитянинѣ*. До печати онъ прочелъ его Словенофиламъ, и не было въ немъ, по свидѣтельству Погодина, „не прибавлено, не исключено ни одного слова“, слѣдовательно, заключаетъ Погодинъ, отвѣтъ его былъ „признанъ торжественно настоящею profession de foi Словенофиловъ“<sup>54</sup>). Въ *Днеошникѣ* Погодина сохранились слѣдующія записи, относящіяся къ *Отвѣту*, озаглавленному въ печати за *Русскую Старину*:

Подъ 2 марта 1845 г. Часовъ въ 5 по утру проснулся. На постелѣ мелькнуло въ головѣ выраженіе о *Кошихинской*

эпохъ, и потомъ нѣсколько выраженій очень счастливыхъ...  
Потомъ уснулъ и, вставши, положилъ ихъ на бумагу.

— 3 марта. Отвезъ статью прочесть Аксаковымъ. Въ восхищеніи.

— 4 марта. Переписалъ статью, и вышла еще лучше. Прочелъ Ивану Кирѣевскому и Елагину, потомъ Шевыреву. Въ восторгѣ. Хомякову и Языкову. Обѣдалъ у Шевырева. Толковалъ о дѣйствіяхъ и противодѣйствіяхъ.

Познакомимся же теперь съ самою статьею: „Въ 25-мъ номерѣ *Московскихъ Вѣдомостей* (1845 г.) помѣщена статья подъ заглавіемъ *Бретань и ея жители*. Статья“, писалъ Погодинъ, — „прекрасно написанная, ясная, легкая, живая я прочелъ ее съ большимъ удовольствіемъ, находя въ ней доказательство новаго увлекательнаго таланта, который является въ области Русской Словесности. Но мое удовольствіе было не безъ примѣси; авторъ, воздавая хвалу Западнымъ Хроникамъ Среднихъ Вѣковъ, разсудилъ почему-то бросить тѣнь на наши, и какъ будто съ состраданіемъ произнесъ, что „Средній Вѣкъ не существовалъ для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него“.

„Въ 1830 годахъ, излагая, въ одномъ изъ журналовъ того времени, систему Европейской исторіи Гизо, только что появившуюся у насъ, я имѣлъ честь замѣтить знаменитому профессору объ его односторонности и сказать, что исторіи Запада нельзя выразумѣть вполнѣ, не обращая вниманія на другую половину Европы, на исторію Востока, шедшаго съ нимъ параллельно, Востока, который представляетъ значительныя для науки видоизмѣненія всѣхъ западныхъ учрежденій и явленій: точно такъ натуралистъ долженъ изслѣдовать всѣ произведенія, всѣ виды, принадлежащія къ одному классу, если хочетъ составить себѣ полное, основательное понятіе объ этомъ классѣ.

„Не думалъ я, чтобы чрезъ 15 лѣтъ, когда наука ступила столько шаговъ впередъ, послѣ того какъ издано въ свѣтъ столько свидѣтельствъ, доведшихъ эту мысль до оче-

видной убѣдительности, пришлось мнѣ повторить тотъ же упрекъ своему соотечественнику, который, увеличивъ сверхъ мѣры ошибку, не можетъ даже привести и оправданій Гизо.

„Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ въ наше время, когда одна Археографическая Коммиссія издала томовъ двадцать древнихъ документовъ, не говоря о частныхъ трудахъ, не странно ли встрѣтить, даже въ образованномъ классѣ, людей столько *запоздалыхъ*, столько *отсталыхъ*, или столько *ослабленныхъ*, которые, имѣя предъ своими глазами Петрову Россію, могутъ смѣло, не запинаясь, выговаривать, что этотъ колоссъ, готовый и вооруженный, произошелъ изъ ничего, безъ всякаго предварительнаго приуготовленія, безъ средняго вѣка,—людей, которые не хотятъ даже слушать другой стороны, старающейся понять, объяснить это всемірное историческое явленіе, отыскать его причины ближнія и дальнія, его постепенности,—людей, которые рѣшились съ непонятнымъ упорствомъ коснѣть въ своемъ непростительномъ невѣдѣніи, и даже распространять свое мнѣніе, которые просто *затыкаютъ себѣ уши*, замуриваютъ себѣ глаза, восклицая съ Чваньиной Княжнина:

Хоть вижу, да не вѣрю!

„Средній Вѣкъ у насъ былъ, скажу я неизвѣстному автору, былъ, какъ и въ Западной Европѣ, но только подъ другою формою; тотъ же процессъ у насъ совершался, какъ и тамъ; тѣ же задачи разрѣшались, только посредствомъ другихъ приемовъ; тѣ же цѣли достигались, только другими путями. Это различіе и составляетъ собственно занимательность, важность Русской исторіи для мыслящаго *Европейскаго* историка и философа. И у насъ было введено христіанство, только иначе, мирно и спокойно, съ крестомъ, а не съ мечемъ; и мы начали молиться единому Богу, но на своемъ языкѣ, понимая свои молитвы, а не перелепетывая чуждые звуки; и у насъ образовалось духовенство, но духовное, а не мірское; и мы преклонились предъ нимъ, но предъ его словомъ и убѣжденіемъ, а не властію. Въ политическомъ отношеніи было также

раздѣленіе, междоусобная война, централизація, единодержавіе. У насъ не было, правда, рабства \*), не было гордости, не было инквизиціи, не было феодальнаго тиранства; за то было значительное самоуправленіе, патріархальная свобода, было семейное равенство, было общее владѣніе, была мірская сходка. Однимъ словомъ, въ Среднемъ Вѣкѣ было у насъ то, о чемъ такъ старался Западъ уже въ новомъ, не успѣлъ еще въ новѣйшемъ, и едва ли можетъ успѣть въ будущемъ. Мы явили свои добродѣтели и свои пороки, мы совершили свои подвиги, мы имѣли свои прекрасные моменты, мы можемъ указать на своихъ великихъ людей...

„Но довольно! Доказывать, что Русская исторія имѣла свой Средній Вѣкъ, не значить ли доказывать, что бѣлокурый можетъ также называться человѣкомъ, какъ и черноволосый? Не значить ли доказывать, что между всякими двумя краями всегда бываетъ середина?

„Неизвѣстный авторъ не можетъ уклониться отъ моего обвиненія тѣмъ, что онъ отрицалъ существованіе на Руси только западнаго средняго вѣка, не можетъ, ибо объ этомъ говорить нечего. Развѣ нужно сказывать, развѣ нужно кому-нибудь напоминать, что на Руси не было, напримѣръ, Парижа или Лондона? Это знаетъ всякій, и не будетъ спорить никто. У насъ, разумѣется, не было Парижа, но была Москва; у насъ не было Тоуэра, но былъ Кремль; у насъ не было западнаго средняго вѣка, но былъ восточный, Русский, — что и хотѣлъ я доказать, *довести до свѣдѣнія* автора и его читателей, а можетъ быть и послѣдователей.

„Петръ Великій, по необходимости, вслѣдствіе естественныхъ географическихъ отношеній Россіи къ Европѣ, долженъ былъ остановить народное развитіе и дать ему на время другое направленіе. Кто изъ насъ не воздастъ должной чести этому необыкновенному генію, кто не удивляется его безпримѣрнымъ трудамъ, кто не оцѣняетъ его спасительныхъ по-

---

\*) Полное закрѣпленіе крестьянъ принадлежитъ уже къ новому времени.

двиговъ, кто, наконецъ, не благоговѣть предъ его любовью къ отечеству?

„Но прошло уже слишкомъ сто лѣтъ, какъ онъ скончался, и полтора ста, какъ онъ началъ дѣйствовать, а новое время идетъ быстрѣе древняго. Періодъ Петровъ оканчивается: главнѣйшія дѣла его довершены, первая задача его рѣшена, ближайшая цѣль его достигнута, то-есть; сѣверные враги наши смиренны. Россія заняла почетное мѣсто въ политической системѣ государствъ Европейскихъ, приняла въ свои руки Европейское оружіе и привыкла обращаться оное съ достаточною ловкостію, можетъ по усмотрѣнію употреблять всѣ Европейскія средства и пособія для дальнѣйшаго развитія своей собственной, на время замиравшей жизни, во всѣхъ ея отрасляхъ.

„Занимается заря новой эры: Русскіе начинаютъ припоминать себя и уразумѣвать требованія своего времени; для избранныхъ становится тяжкимъ иностранное иго, умственное и ученое; они убѣждаются, что, склоняясь подъ онымъ, они не могутъ произвести ничего самобытнаго, что чужеземныя сѣмена не принимаются, не пускаютъ корней, или производятъ одинъ *пустоцветъ*; они убѣждаются, что для собранія собственной богатой жатвы нельзя поступать пока иначе, какъ *воздѣлывать свою землю*, то-есть, разрабатывать свой языкъ, углубляться въ свою исторію, изучать характеръ, проникать духъ своего народа, во всѣхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, на всѣхъ горнихъ высотахъ его души, однимъ словомъ *познавать самихъ себя*. Они убѣждаются, что настало время испытывать свои силы, и блестящій успѣхъ вознаграждаетъ нѣкоторые усилія!

„Время безусловнаго поклоненія Западу миновалось, развѣ отъ лица людей запоздалыхъ, которые не успѣли еще доучить стараго курса, между тѣмъ какъ начался уже новый. Имъ можно посовѣтовать, чтобъ они постарались догнать уходящихъ и стать наравнѣ съ своимъ вѣкомъ, въ чувствахъ

уваженія къ самобытности, слѣдовательно—своенародности, и слѣдовательно—старинны.

„Только такимъ образомъ, продолжу я имъ наставленіе, можемъ мы исполнить ожиданія самой Европы, ожиданія всѣхъ друзей общаго блага; только такимъ образомъ можемъ мы исполнить свои человѣческія обязанности. Мы должны явиться на Европейской сценѣ—стану употреблять ихъ любимыя выраженія—своеобразными *индивидуумами*, а не безжизненными автоматами; мы должны показать тамъ свои лица, а не мертвенные дагерротипы какихъ-то западныхъ идеаловъ. Своимъ голосомъ должны мы произнести наше имя, своимъ языкомъ должны мы сказать наше дѣло, а не на чуждомъ жаргонѣ, переводя изъ Нѣмецкаго компендіума и Французской хрестоматіи; наконецъ, посредствомъ своихъ мотивовъ мы должны выразить нашъ *насосъ*: иначе насъ не приметъ наша старшая братія; съ презрѣніемъ, или много-много съ состраданіемъ, они отвратятъ взоры отъ жалкихъ подражателей, которые тѣмъ несчастіе, чѣмъ кажутся себѣ счастливыѣ. Въ Германіи не допускаются отголоски, даже самыя вѣрныя, не только *фальшивыя*, а одни самобытные звуки.

„Оставя шутки, я долженъ заключить это объясненіе о томъ, какъ понимаю я, и *нѣкоторые друзья мои*, наше время касательно науки, какими представляются намъ наши обязанности, наши отношенія къ ученой Европѣ и отечеству, заключить отвѣтомъ на литературныя клеветы, взведенныя на насъ съ самыхъ первыхъ номеровъ *Москвитянина*, то-есть, 1841 г.

„На насъ разносятъ клевету, будто мы не уважаемъ Запада. Нѣтъ, мы не уступимъ нашимъ противникамъ въ этомъ чувствѣ уваженія; мы изучали Западъ, по крайней мѣрѣ не менѣе ихъ; мы дорого цѣнимъ услуги, оказанныя имъ человѣчеству; мы свято чтимъ тяжелые опыты, перенесенныя имъ для общаго блага; мы питаемъ глубокую благодарность за спасительныя указанія, которыя сдѣлалъ онъ своимъ собратіямъ, мы сочувствуемъ всему прекрасному, высокому, чистому, гдѣ бы оно ни проявлялось—на Западѣ и Востокѣ,

Сѣверѣ и Югѣ; но мы утверждаемъ, что старыхъ опытовъ повторять не нужно, что указаніями пользоваться должно, что не все чужое прекрасно, что время оказало на Западѣ многіе существенные недостатки, что, наконецъ, мы должны имѣть собственный взглядъ на вещи, а не смотрѣть попрежнему глазами Французовъ, Англичанъ, Итальянцевъ, Пруссаконъ, Австрійцевъ, Баварцевъ, Венгерцевъ и Турокъ. Ясно ли теперь для читателей, что эту клевету разносятъ на насъ напрасно?

„Напрасно разносятъ на насъ еще клевету, что мы хотимъ воздвигнуть изъ могилы мертвый трупъ. Мертвый трупъ противенъ намъ, можетъ быть болѣе, нежели кому иному. Нѣтъ, душа безсмертная, которая обитала въ этомъ трупѣ, привлекаетъ наше вниманіе, возбуждаетъ наше благоговѣніе. И въ какомъ западномъ просвѣщенномъ государствѣ, въ какомъ Нѣмецкомъ университетѣ, давно ли изученіе древности, даже Мексиканской, Эѳіопской, стало награждаться подобною насмѣшкой, называться намѣреніемъ воскрешать мертвецовъ?

„Напрасно взводятъ на насъ клевету, будто мы поклоняемся нечестиво неподвижной старинѣ. Нѣтъ, *неподвижность* старины намъ *противна* столько же, какъ и безсмысленное *шатанье* новизны. Нѣтъ, не неподвижность, а вѣчное начало, Русскій духъ, вѣющій намъ изъ завѣтныхъ нѣдръ этой старины мы чтимъ богобоязненно и усердно молимся, чтобы онъ никогда не покидалъ Святой Руси, ибо только на этомъ краю угольномъ камнѣ она могла стоять прежде и пройти всѣ опасности, поддерживается теперь, и будетъ стоять долго, если Богу угодно ея бытіе. Старина драгоценна намъ, какъ родимая почва, которая упитана, не слезами кровію, — кровію упитана Западная земля, — но слезами нашихъ предковъ, перетерпѣвшихъ и Варяговъ, и Татаръ, и Литву, и жестокости Іоанна Грознаго, и революцію Петра Великаго, и нашествіе двадцати языковъ и наводненіе легіоновъ духовъ, въ сладкой, можетъ быть, надеждѣ, что отдаленные потомки вкусятъ отъ плода ихъ трудной жизни, а мы *несмысленные*, мы хотимъ только плясать на ихъ священныхъ могилахъ, радуемся вся-

вѣдливѣ, наругать на нѣхъ память, забывая примѣры нечестиваго Хама, пораженнаго на вѣки вѣковъ, въ лицѣ всего потомства, за свое легкомысліе.

„Неизвѣстный авторъ статьи о Бретани, которая подала мнѣ поводъ выразить теперь свое мнѣніе, бросилъ, также, можетъ быть, нечаянно, камень въ древнюю нашу исторію, сказавъ съ насмѣшкою, что „мы хотѣ недавно, но рѣшительно распростились съ своею неподвижною стариною, съ безвыходнымъ застоємъ Котошихинской эпохи, и, благодаря Богу и Петру Великому, пошли впередъ путемъ обновленной жизни и многосторонней дѣятельности“.

„Благодарю за выборъ представителей!

„Избави насъ, Боже, отъ застоя Котошихинской эпохи, но и сохраните насъ, высшія силы, отъ Котошихинскаго прогресса, — прогресса Котошихина, который измѣнилъ своему отечеству, отрекся отъ своей вѣры, перемѣнилъ свое имя, отказался отъ своего семейства, бросилъ своихъ дѣтей, женился на двухъ женахъ и кончилъ свою несчастную жизнь отъ руки тѣхъ же иноплеменниковъ, достойно наказанный за свое легкомысленное и опрометчивое отступничество!...

*Dixi et salvavi animam*“ <sup>44</sup>).

Черезъ двадцать-четыре года по написаніи этой статьи мнѣ удалось прослужить ее отъ самого М. П. Погодина, при посѣщеніи его на Дѣвичьемъ полѣ, въ его кабинетѣ, а именно 31 августа 1869 года. Позволимъ себѣ обратиться въ нашимъ личнымъ воспоминаніямъ. Въ этотъ день я вмѣстѣ съ П. И. Бартеневымъ посѣтилъ Погодина. По пути Петръ Ивановичъ указывалъ мнѣ на примѣчательные дома и между прочимъ на Пречистенскіе указалъ на домъ, принадлежавшій нѣкогда Денису Давыдову, помѣщающійся какъ разъ противъ пожарнаго депо, и намъ вспомнились его извѣстные стихи:

О, мой давній покровитель!  
Сохрани меня...  
Отъ сосѣдства шумной тучи  
Благочиній саранчи,



И торчащей каланчи,  
И пожарныхъ трубъ и крочей!  
То-есть, по просту сказать:  
Помоги въ казну продать  
За сто тысячъ домъ богатый,  
Величавыя палаты —  
Мой Пречистенскій дворецъ.  
Тѣсенъ онъ для партизана!...

А вотъ домъ, гдѣ жилъ Ермоловъ, гдѣ *никнулъ лавою* лавровой славный нашъ полководецъ. Москва, Давыдовъ, Ермоловъ! Имена эти мысль нашу невольно перенесли въ Двѣнадцатому году... Подъ такими впечатлѣніями мы въѣхали на Дѣвичье поле. Проѣзжаемъ рядъ Погодинскихъ домовъ, гдѣ находятъ себѣ пріютъ нищета. Подъѣхали къ крыльцу главнаго дома. Дома Михаилъ Петровичъ? Дома-съ! Пожалуйте на балконъ!

На балконѣ, выходящемъ въ тѣнистый садъ, сидѣло за самоваромъ все семейство Погодина и онъ самъ въ халатѣ и въ пуховой шляпѣ. Изъ постороннихъ были Б. Н. Алмазовъ и Зубковъ. Что за чудная обстановка! Тѣнистый садъ, поле, древній монастырь! Воробьевы горы! А между тѣмъ до насъ долетаютъ звуки Русской пѣсни, звуки любезной гармоникки и проникаютъ въ душу. Настроеніе самое поэтическое. И мнѣ стали понятны тѣ высокія поэтическія созерцанія Погодина, которыми проникнуты его сочиненія, созерцанія, которыя связывали его душевно съ нашими первоклассными писателями и которыя теперь въ лѣта суровой его старости животворятъ духъ его... Поучительно бывать у него.

Напившись чаю, я обратился къ Погодину съ просьбою показать мнѣ его *залу писателей*. Пришли. Успѣлъ только оглянуть портреты. Отсюда пошли въ кабинетъ: Прежде всего сталъ искать глазами портретъ Шлецера отыскалъ и поклонился ему. А вотъ шкафъ, весь наполненный трудами Погодина... Въ кабинетъ вошли Алмазовъ и Зубковъ, а П. И. Бартеневъ сидѣлъ въ другой комнатѣ и бесѣдовалъ съ дамами. Мы окружили письменный столъ.

Ну что же садитесь, господа! Сѣли. „Я недавно вернулся

изъ своей поѣздки и нахожусь теперь подъ бременемъ корректуръ“, сказалъ хозяинъ и всталъ. Встали и гости и взыли за шапки. Что мнѣ дѣлать? Петръ Ивановичъ, кажется, и не думаетъ уѣзжать. Презатруднительное положеніе! Гости ушли; но, по счастью, вслѣдъ за ними вошелъ въ кабинетъ Петръ Ивановичъ и завязалъ съ Погодинымъ разговоръ, въ которому я съ любопытствомъ прислушивался. Погодинъ сидѣлъ надъ Лѣтописями и страшно бранилъ Бередникова за изданіе ихъ. „Да отчего же вы не говорили объ этомъ въ свое время Уварову“, осмѣлился я замѣтить. Какъ не говорилъ? Говорилъ и писалъ, сказалъ Погодинъ. Отъ Лѣтописей разговоръ перешелъ въ Хомякову, и Погодинъ прочелъ нѣсколько замѣчательныхъ о немъ анекдотовъ. А читали вы, спросилъ Погодинъ у Петра Ивановича, книгу Станкевича о Грановскомъ, который писалъ, что *Словенофилы противны ему какъ гробы*. „Читалъ“, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ, — „книга превосходно написана“. Да, только не безпристрастно, замѣтилъ Погодинъ. вмѣсто возраженій на эту книгу Погодинъ сталъ читать свою превосходную, выше приведенную нами, статью *За Русскую старину*, и мы съ глубокимъ вниманіемъ ее прослушали.

Это чтеніе произвело на меня глубокое впечатлѣніе и запало въ душу. Да, думалъ я, правду сказалъ Кирѣевскій, что „тебѣ Богъ вложилъ огонь въ слово“... По окончаніи чтенія мы встали и начали прощаться. При прощаніи Погодинъ, обратясь къ П. И. Бартеневу и указывая ему на меня, сказалъ: *вотъ молодой дѣятель!* Но я возразилъ: какой я дѣятель, я простой исполнитель чужихъ приказаній. *Подите!* сказалъ мнѣ на это Погодинъ, потрепавъ по плечу, и тутъ же далъ мнѣ порученіе разыскать въ Петербургѣ его новую пубу, которую у него обмѣнили бывшіе въ Москвѣ археологи.

Возвращаясь домой и проѣзжая историческое Дѣвичье поле, мы наслаждались и теплымъ, тихимъ вечеромъ, и небомъ, усыпаннымъ звѣздами. Намъ невольно пришло на память стихотвореніе Хомякова... Хомякова, котораго мы сей-

часть только, въ кабинетѣ Погодина, съ такою любовію поминали:

Въ часть полночный...  
Ты взгляни на небеса:  
Совершаются далеко  
Въ горнемъ мірѣ чудеса.  
Ночи вѣчныя лампы  
Невидимы въ блескѣ дня,  
Стройно ходятъ тамъ громады  
Негасимаго огня.  
Но впивайся въ нихъ очами—  
И увидишь, что вдали,  
За ближайшими звѣздами,  
Тьмами звѣзды въ ночь ушли.  
Вновь взглядишь—и тьмы за тьмами  
Утомать твой робкій взглядъ:  
Всѣ звѣздами, всѣ огнями  
Бездны синія горятъ...<sup>55</sup>).

## IX.

Въ то время, когда И. В. Кирѣевскій завѣдывалъ редакціей *Москвитянина*, Погодинъ имѣлъ частыя сношенія съ Словенофилами. Хотя добрыя отношенія Погодина съ Аксаковыми, повидимому, и установились, но тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ препираться съ старшимъ сыномъ ихъ Константиномъ, который въ это время переписывалъ на-бѣло свою диссертацию о Ломоносовѣ, но которой не сочувствовали ни Погодинъ, ни Гоголь, и послѣдній писалъ старику Аксакову: „Вы меня очень порадовали благопріятными извѣстіями о вашихъ сыновьяхъ. Они всѣ люди, созданные на дѣло, и принесутъ очень много добра, если при умѣ и при всѣхъ данныхъ имъ большихъ способностяхъ будутъ *сметливы*... Если Константинъ Сергѣевичъ смекнетъ, что диссертацию, вмѣсто того, чтобы переписывать на-бѣло, слѣдуетъ просто положить подъ спудъ на нѣсколько лѣтъ, а вмѣсто ея заняться другимъ; если онъ смекнетъ съ тѣмъ вмѣстѣ, что тотъ совѣтъ, въ которомъ сходятся люди даже различныхъ свойствъ и мнѣній,

есть уже совѣтъ Божій, а не людской, и, стало быть, его нужно послушаться. Ему всё до единого, начиная от Погодина до меня, говорили, чтобы занялся дѣломъ филологическимъ, для котораго Богъ его наградила великими и очевидными способностями. Онъ одинъ можетъ совершить у насъ Словарь Русскаго языка такой, какового не совершить ни одна академія со всѣми своими членами; но этого онъ пока не смекаетъ“<sup>\*)</sup>).

Объ отношеніяхъ же Погодина къ К. С. Аксакову и вообще къ его семейству насъ знакомятъ отрывочныя замѣтки *Дневника* нашего героя.

Подъ 9 января 1845. Обѣдалъ у Аксаковыхъ. Константинъ неистовствуетъ. Противъ благотворительныхъ учрежденій.

— 29 января. Обѣдалъ у Аксаковыхъ и журилъ безтолковаго Константина. Совѣтовалъ отцу написать о немъ письмо Перфильеву.

— 17 февраля. Къ Аксакову, который слѣпнетъ. Константинъ прочелъ изъ своей диссертациі взгляды на Русскую Исторію и очень хорошо.

— 5 апрѣля. Обѣдалъ у Аксаковыхъ и слушалъ рассказы о дѣйствіяхъ Константина. При немъ не говорятъ уже по Французски. А меня не слушались. Вспоминалъ съ О. С. Аксаковой о Лизѣ и плакалъ.

— 9 июня. По утру въ Университетѣ на диспутѣ Каткова<sup>\*)</sup>. Утѣшительное явленіе. Спорило человѣкъ десять, и прекрасно, учено, дѣльно! И Гриммы, и Боппы, и Бюрнуфы— всё прочтены, изучены, оцѣнены! Вопросъ осмотрѣнъ со всѣхъ сторонъ. Заѣхалъ оттуда нарочно къ Аксаковымъ, надеясь услышать жаркій разговоръ, тѣмъ болѣе, что это часть Константина. Не тутъ-то было, говорятъ о какой-то статьѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Невѣжество!

Въ 1845 году Надеждинъ предпринималъ поѣздку въ чужіе края и проѣздомъ чрезъ Москву видѣлся съ Погодинымъ и

<sup>\*)</sup> Въ этотъ день М. Н. Катковъ защищалъ свою диссертацию: *Объ элементахъ и формахъ Словесно-Русскаго языка* (М. 1845).

Аксаковыми. На О. С. Аксакову онъ произвелъ самое не-  
пріятное впечатлѣніе. „Не издавши давно“, писала она По-  
годину, — „Н. И. Надеждина, мнѣ казались странными нѣко-  
торыя его выраженія, но кощунство для меня невыносимо,  
и потому послѣ сказаннаго имъ увѣжая я уже болѣе видѣть  
его не могу, а желаю ему счастливаго пути“. Эти строки  
были писаны О. С. Аксаковой на канунѣ именинъ ея сына  
Константина, то-есть, 20 мая; а въ самый день именинъ Ольга  
Семеновна жалилась и написала Погодину: „Благодарю васъ,  
что вы поправили мою вспышку, это было бы непріятно для  
Сергѣя Тимофеевича и Константина, котораго я не хочу огор-  
чать для нынѣшняго дня, и сознаюсь въ своей скорости.  
Просто отвыкла слышать насмѣшки надъ тѣмъ, что свято; меня  
это растревожило, и я забыла, что это такая натура у че-  
ловѣка, и надо имѣть терпимость, и такъ вы пріѣдете всѣ  
обѣдать, и тѣмъ все кончится“<sup>57)</sup>.

Но Погодинъ съ Надеждинымъ попали не на обѣдъ, а  
только на вечеръ въ имениннику, и вотъ что записалъ По-  
годинъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеръ у именинника Аксакова.  
Мысль Кирѣвскаго о Православіи на условіи возрожденія  
Европейскаго не имѣетъ ничего новаго, кромѣ формы. За  
ужиномъ сумасшедшій Константинъ *взбѣсился* на Надеждина  
за то, что онъ назвалъ себя случайнымъ представителемъ  
Петербурга и отказался чокнуться съ его боваломъ. А сла-  
бый Шевыревъ ему вторить и *сочувствуетъ*, чему содѣй-  
ствовало, разумѣется, жалкое удовлетвореніе самолюбія по  
враждѣ съ Надеждинымъ. Родители не смѣютъ произнести  
слова. О, какъ все это жалко! Досадно, что домой въ 3 часу“.

На другой день Погодинъ провожалъ Надеждина, и по-  
слѣдній былъ „тронутъ доброжелательствомъ“ къ нему По-  
година<sup>58)</sup>.

Въ лицѣ Ивана Сергѣевича Аксакова, въ 1845 году,  
выступило на поприще словесной дѣятельности третье поко-  
лѣніе Словенофиловъ.

По возвращеніи изъ Астрахани, въ концѣ 1844, И. С. Акса-

ковъ провелъ зиму 1845 г. въ Москвѣ у своихъ родителей и до весны не вступалъ на прежнюю свою должность въ Сенатѣ. За эту зиму онъ возобновилъ свою поэтическую дѣятельность. Въ продолженіе этой зимы была написана имъ *Зимняя дорога*, маленькая поэма, гдѣ въ полуфантастическихъ картинахъ изъ Русскаго быта, проносящихся мимо дремлющаго путешественника, И. С. Аксаковъ воспроизводитъ собственныя свои грезы и впечатлѣнія во время зимняго пути по Россіи; въ діалогѣ же между двумя пріятелями въ кибиткѣ онъ намѣчаетъ тѣ воззрѣнія, которыя начинали занимать его мысль въ продолженіе этой зимы, подъ вліяніемъ брата Константина и его друзей. Ящерицъ говоритъ о Западной Европѣ:

Она рѣшить задачу намъ  
Вопросовъ жизни и стремленья!

Архиповъ же вѣрить, что

...Не по стопамъ чужимъ и узкимъ  
Народъ въ развитіи своемъ  
Пойдетъ, повѣрь,—инымъ путемъ,  
Самостоятельнымъ и Русскимъ<sup>80)</sup>.

Погодинъ, всегда радующійся появленію новаго Русскаго дарованія, записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Иванъ Аксаковъ прочелъ свое стихотвореніе. Замѣчательное. Вотъ это человекъ зарождается“<sup>80)</sup>.

Въ Августѣ 1845 года И. С. Аксаковъ назначенъ былъ товарищемъ предсѣдателя Калужской Уголовной Палаты. Въ томъ же году губернаторомъ въ Калугу назначенъ Николай Михайловичъ Смирновъ, мужъ извѣстной Александры Осиповны, имя которой записано въ Русской Литературѣ и воспѣто нашими классическими писателями: въяземъ П. А. Вяземскимъ, Пушкинымъ, Хомяковымъ, Лермонтовымъ.

„Въ ней“, замѣчаетъ князь П. А. Вяземскій,—„были струны, которыя откликались на всѣ вопросы ума и на всѣ напѣвы сердца. Были, можетъ быть, струны, которыя звучали пронзительно и просто непріятно; но это были звуки

отдѣльные, обрывистые, мимолетучіе... Глядя на нее, иной готовъ былъ вспомнить старые, вовсе невзвучные стихи Востокова и воскликнуть:

О, какая гармонія  
Въ рѣдкій сей ансамбль влита“<sup>61</sup>).

12 сентября 1845 года А. О. Смирнова писала Гоголю: „Николай Михайловичъ уже вступилъ въ должность, а я вступаю только въ половинѣ октября. У насъ тамъ служить одинъ изъ Аксаковыхъ; я этому очень рада“<sup>62</sup>).

Собираясь въ Москву изъ Петербурга, А. О. Смирнова спрашивала Гоголя, какъ „познакомиться со старикомъ Аксаковымъ“, и Гоголь отвѣчалъ ей: „Пріѣхавши въ Москву, пошлите прямо за нимъ, чтобы онъ пріѣхалъ къ вамъ. Скажите, что это мое желаніе. Отыщите также старушку Шереметеву, скажите также, что я велѣлъ вамъ съ нею познакомиться. Въ минуты трудныя она вамъ будетъ очень полезна. Навѣщайте также Языкова. Онъ безъ ногъ, а потому къ вамъ не въ состояніи пріѣхать. Прочихъ всѣхъ можете увидѣть у Хомякова, который дастъ для всѣхъ вечеръ и на немъ покажетъ вамъ всѣхъ“. Въ томъ же письмѣ Гоголь дѣлаетъ А. О. Смирновой слѣдующія порученія: „Если будетъ вамъ не въ трудъ, то купите для меня книги: 1) *О небесной іерархіи* Діонисія Ареопагита; 2) *О церковномъ священноначаліи*, тоже Діонисія Ареопагита; 3) *Изясненіе литургіи* священника Нордова, и 4) книга совершенно мірская, что-то въ родѣ Петербургскихъ сценъ, Некрасова, которую очень хвалятъ, и которую бы мнѣ хотѣлось прочесть“. Въ то же время Гоголь писалъ Языкову: „Въ Москвѣ будетъ вѣроятно на дняхъ А. О. Смирнова. Ты долженъ съ нею познакомиться непременно. Это же посовѣтуй С. Т. Аксакову и даже Н. Н. Шереметевой. Это перлъ всѣхъ Русскихъ женщинъ, коихъ мнѣ случалось изъ нихъ знать прекрасныхъ по душѣ. Но врядъ ли кто имѣетъ въ себѣ достаточныя силы оцѣнить ее. И самъ я, какъ ни уважалъ ее всегда и какъ ни былъ друженъ съ нею, но только въ однѣ истинно стра-

ждуція минуты, и ея и мои, узналъ ее. Она являлась истиннымъ моимъ утѣшителемъ, тогда какъ врядъ ли чье-либо слово могло меня утѣшить, и подобно двумъ близнецамъ-братьямъ бывали сходны наши души между собою“ <sup>63</sup>).

По приѣздѣ въ Москву А. О. Смирнова поторопилась увидѣться съ своимъ стариннымъ знакомымъ А. С. Хомяковымъ \*). „Вчера“, писала она Гоголю (отъ 30 октября 1845)— „встрѣтилась съ Хомякомъ у Мещерскихъ. Какъ милъ Хомячекъ, какъ прелестно болтливъ, какъ дѣтски добръ, какой у него голосокъ, какъ птишка, сладко поющая. Хомяковъ кричить: *Иерусалиме, Иерусалиме* для Гоголя“ <sup>64</sup>). Вскорѣ послѣ того у Карамзиныхъ А. О. Смирнова познакомилась съ Погодинымъ, который по поводу этого знакомства отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Познакомился съ Смирновой, съ которой какъ будто и не былъ незнакомъ“. Посѣтивъ Смирнову, Погодинъ замѣтилъ: „Къ Смирновой по назначенію. Я какъ будто и никогда не былъ незнакомъ съ нею. Нельзя было поговорить—были другіе. Обращеніе не понравилось. (*Врешь, Тургеневу* \*\*), *ладкой* и пр.). Читалъ отрывокъ изъ писемъ Гоголя. Онъ поетъ то же, что пѣвалъ мнѣ. А говорить, что онъ обратилъ ее къ религіозности! Какъ все это мелко, пусто“ <sup>65</sup>).

Въ это время Аксаковы жили въ своемъ Абрамцовѣ, и Смирнова писала Гоголю: „Поджидаю С. Т. Аксакова изъ деревни; сына его въ терликѣ и мурмулкѣ еще не видала“ <sup>66</sup>). Между тѣмъ С. Т. Аксаковъ нетерпѣливо желалъ видѣть эту замѣчательную женщину. Когда она извѣстила его о своемъ приѣздѣ въ Москву съ выраженіемъ желанія видѣться съ нимъ, то С. Т. Аксаковъ, отвѣчая ей, писалъ, что очень былъ бы счастливъ съ ней увидѣться, и добавлялъ: „Я не смѣю откладывать возможности васъ видѣть: я теряю глаза. Мнѣ хотѣлось бы сохранить образъ вашъ въ числѣ отраднѣхъ

---

\*) Объ отношеніяхъ Хомякова къ Смирновой см. *Жизнь и Труды М. П. Погодина* С.-Пб. 1890. III, стр. 370—371.

\*\*) Александру Ивановичу.



воспоминаній на темную, можетъ быть, долгую старость". Но эти строки не понравились его сыну, И. С. Аксакову, который по поводу ихъ писалъ своему слѣпнувшему отцу: „Родъ комплимента, который вы дѣлаете Смирновой, или не комплиментъ, такъ самый родъ желанія видѣть ее—слишкомъ не важенъ въ сравненіи съ потерей глазъ. Это сочетаніе комплимента (или неважнаго желанія) съ угрозою такой важной перспективы производитъ непріятное впечатлѣніе, по крайней мѣрѣ на меня—а на нее, можетъ быть, препріятное“ <sup>67</sup>).

Самъ же С. Т. Аксаковъ о своемъ свиданіи съ Смирновой писалъ Гоголю: „Мы провели цѣлый вечеръ въ самыхъ дружескихъ и откровенныхъ разговорахъ большею частію о васъ. Она намѣревалась ѣхать къ Троицѣ и хотѣла непременно заѣхать къ намъ въ деревню; но совершенное бездорожіе помѣшало ей исполнить свое намѣреніе... Она захотѣла видѣть Константина, и онъ былъ у нея въ Русскомъ платьѣ и бородѣ (на дняхъ одно скидается, а другая обривается); она съ перваго раза напала и на платье, и на образъ его мыслей. Константинъ твердо стоялъ и за то, и за другое...“ <sup>68</sup>).

Между тѣмъ С. Т. Аксаковъ ждалъ второго свиданія съ Смирновой. Когда оно не состоялось, онъ очень сожалѣлъ объ этомъ и 11 ноября 1845 года писалъ своему сыну въ Калугу: „Теперь, какъ я диктую это письмо, вѣроятно, уже ты видѣлъ А. О. Смирнову и знаешь отъ нея, что она не ѣздила къ Троицѣ. Вчера я получилъ отъ нея преумное и премилое письмо, копію съ котораго я прилагаю. Константинъ этимъ письмомъ побѣжденъ и очень совѣстится, не былъ ли онъ грубъ въ своихъ съ ней разговорахъ?—Дни эти мы ожидали ее всякій день; и—вотъ каковъ человѣкъ—я огорчился, узнавъ, что А. О. Смирнова у насъ не будетъ! Теперь Богъ знаетъ, когда я ее увижу, а мнѣ необходимо было второе свиданіе; я теперь остался съ впечатлѣніями перваго, которымъ я самъ не вѣрю, и которыя, вѣроятно, были бы уничтожены впечатлѣніями втораго. Я поговорю объ этомъ подробнѣе тогда, когда ты уже много разъ увидишься съ этою необыкновенною жен-

щиной, необыкновенною уже потому, что взятая во Двору семнадцати лѣтъ и прожившая тамъ такъ долго, она могла остаться такою, какою ты ее уже знаешь. Я увѣренъ, что твоя благодѣтельная звѣзда привела ее въ Калугу. Для тебя наступила настоящая пора для полнаго развитія и окончательнаго образованія. Только одна женщина можетъ это дѣлать, и трудно найти въ мірѣ другую, болѣе на то способную. Твоя дикость, застѣнчивость и неловкость разсиплются въ прахъ передъ ободрительною простотою ея обращенія и неподдѣльною искренностью“. При этомъ С. Т. Аксаковъ переслалъ сыну копію съ письма А. О. Смирновой, отъ 6 ноября 1845, слѣдующаго содержанія: „Не смотря на все желаніе быть у Троицы, мнѣ невозможно было исполнить мое намѣреніе, потому и отлагаю поѣздки къ вамъ. Скажу просто, безъ фразъ, что посѣщеніе ваше было одно изъ пріятнѣйшихъ минутъ моего пребыванія въ Москвѣ, что вы мнѣ припились по сердцу. Съ вами говорилось какъ-то откровенно, какъ будто я давно васъ знала. Не знаю, когда, зимою, весною, но я непремѣнно приѣду къ Троицѣ къ вамъ въ ваше, говорятъ, прелестное помѣстье. Примите меня, пожалуйста, какъ давно знакомую, такъ какъ я желаю, чтобы вашъ сынъ былъ у меня съ перваго дня въ Калугѣ. Съ Константиномъ Сергѣевичемъ мы еще не поладили, и мнѣ чувствуется, что мы будемъ другъ другу многое прощать, а современемъ сойдемся. Я впервые слышала такъ хорошо говорящаго по Русски Русскаго человѣка, не говоря уже о чувствѣ; на чувства не дѣлаютъ комплиментовъ. Я знаю, что онъ мною остался недоволенъ, а мнѣ онъ все-таки полюбился, онъ же лучшій другъ Самарина, котораго люблю душевно: *les amis de nos amis sont nos amis*. Я вѣрю этому. А нельзя ли платье замѣнить фракомъ?“

---

Х.

Въ Калугѣ И. С. Аксаковъ уже засталъ новаго губернатора, и послѣдній отнесся къ молодому человѣку болѣе чѣмъ любезно. При первомъ же свиданіи Н. М. Смирновъ объявилъ ему, что губернаторша „будетъ черезъ шесть недѣль“, что онъ можетъ тогда пріѣзжать къ нимъ „хоть каждый день, потому что общества мало и выѣзжать ей некуда“. Кромѣ того, самъ губернаторъ посѣтилъ И. С. Аксакова, который по этому поводу писалъ своему отцу: „На дняхъ былъ у меня Смирновъ, часовъ въ 5, и просидѣлъ часа два. Ну да общество должно быть вездѣ одинаково, сказалъ Смирновъ и началъ излагать свое мнѣніе, что высшее общество должно быть одного покроя съ Французскимъ и съ Англійскимъ, словомъ, чтобъ люди всѣхъ высшихъ сословій, всѣхъ націй были похожи другъ на друга и пр. Я засмѣялся и сказалъ, что у насъ въ Москвѣ думаютъ иначе. . . *Да, я знаю, вы принадлежите къ этой партіи; о, у насъ будутъ съ вами долгіе споры.* И тутъ онъ началъ говорить, что, по его замѣчаніямъ, всякій народъ имѣетъ какую-нибудь сторону, Жида—меркантильность, а Русскіе—отважность или безпечность. Это главная черта Русскаго народа, это свойство его духа“. Не смотря на разность убѣжденій, Аксаковъ, познакомившись ближе съ Смирновымъ, нашелъ въ немъ и почтенныя качества. „Я думалъ“, писалъ онъ,—„прежде найти у него, какъ у столичнаго жителя, свѣтскаго человѣка и къ тому же у придворнаго, нѣкоторое презрѣніе къ здѣшнимъ обитателямъ, но, къ удивленію моему, встрѣтилъ необыкновенное снисхожденіе: держать онъ себя съ ними совершенно просто, ласковъ, не задаетъ тона“.

Между тѣмъ И. С. Аксаковъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ пріѣзда А. О. Смирновой, интересовавшей его „по тѣмъ отзывамъ, которые находятся о ней въ письмахъ Го-голя“. Глядя на ея портретъ, Аксаковъ писалъ своему отцу: „Что касается до красоты Смирновой, то портретъ ея не

поражаетъ меня, но всмотрѣвшись, вы увидите, что это красота, и глаза, кажется, глубокаго качества; впрочемъ, костюмъ ли ея восточный и тюрбанъ тому причиной—лицо ея, показалось мнѣ, носить Еврейскій характеръ“.

Наконецъ А. О. Смирнова пріѣхала въ Калугу, и первая встрѣча ея съ И. С. Аксаковымъ произвела на послѣдняго самое непріятное впечатлѣніе. Вотъ что писалъ онъ своему отцу: „Думалъ я прежде, что увижу чудо красоты, женщину, въ которой *все гармонія, все диво, все выше міра и страстей*. Въ первый разъ въ жизни я былъ, заранѣе впрочемъ, очарованъ, мечталъ Богъ знаетъ что... Я не въ силахъ высказать вамъ того *непріятнаго, оскорбительнаго* впечатлѣнія, которое она на меня произвела. Она сейчасъ поставила меня въ свободныя отношенія, я ни разу не сконфузился, но часто вырывались у меня рѣзкія выраженія... „Я видѣла вашего батюшку и вашего брата въ его костюмѣ, онъ говоритъ по Русски чудесно, но все-таки костюмъ не слѣдуетъ носить, я произвела на него пренепріятное впечатлѣніе, я это замѣтила“... и хохочетъ. Это показалось мнѣ обиднымъ; я спросилъ причину непріятнаго впечатлѣнія? Видите,—она все шутила съ Костей. „Напрасно“, сказалъ я,—„вы шутили, онъ такъ искрененъ въ своихъ убѣжденіяхъ, такъ чистосердечно готовъ ихъ защищать каждую минуту, не понимаетъ шутокъ и не любить“. Она начала говорить про костюмъ, что кто-то шьетъ себѣ терлики изъ старой занавѣски, и хохочетъ, вспоминая все это съ братомъ. „Прекрасно“, сказалъ я,—„что онъ (Костя) носить русское платье, не смотря ни на какія шутки и насмѣшки, мы всѣ должны были бы поступить такъ, да дрянны слишкомъ“... Смирнова, не церемонившаяся со мной, явилась мнѣ въ самомъ непріятномъ видѣ, ея капризный тонъ съ людьми, съ мужемъ, ея смѣшная досада на все, что она не такъ удобно окружена, какъ прежде, что ламповое масло не пріѣхало изъ Москвы, все это очень безобразило ее. Ничего пріятнаго не нашелъ я въ лицѣ ея. Стала она съ братомъ своимъ передразнивать Н. Н. Шереметеву: можно бранить

Надежду Николаевну за ея суетливость и хлопотливость, но смѣяться надъ недостаткомъ зубовъ, — все это какъ-то странно. Разъ пять въ продолженіе вечера принималась она передразнивать ея. Бранить Россію и все; но брань брани ровнь, и я сказалъ ей, что „у васъ эгоистическое негодованіе, въ которомъ нѣтъ любви и скорби“. — Помираетъ со смѣху надо всѣмъ, что видитъ и встрѣчаетъ, называется всѣхъ животными, уродами, удивляется, какъ можно дышать въ провинціи... Я самъ въ провинціи не на мѣстѣ, но мнѣ это было досадно слышать; я мужчина, но во мнѣ больше мягкости и вниманія ко всему человѣчеству. Я сильнѣе ея ругаю мошенниковъ, но если въ комъ есть хорошія, добрыя движенія души, тотъ не подвергнется отъ меня ни брани, ни насмѣшекъ, хотя я со вниманіемъ буду изслѣдовать весь его внутренній механизмъ. — Что Смирнова олицетворенный умъ, — въ этомъ нельзя сомнѣваться, но въ томъ-то и бѣда. Какой тутъ источникъ вдохновенія; замреть, напротивъ, всякая поэзія; моя душа была такъ внутренне оскорблена, что я не рѣшусь ни за что, мнѣ кажется, читать ей свои стихи, гдѣ есть хоть малѣйшій отбѣнокъ чувства, мечты... Она меня спрашивала о стихахъ, только я отвѣчалъ кратко. — Она находитъ, что *панталоны* у Кости слишкомъ узки, французскіе. Читала мнѣ письмо Ростопчиной изъ чужихъ краевъ: слишкомъ тонко и умно, впрочемъ, умъ и истина Французскихъ фразъ. — Любезности и привѣтливости со стороны Смирновой особенной не было никакой; она обращалась со мною, какъ съ человѣкомъ, котораго знаетъ двадцать лѣтъ; „приходите каждый день или вечеромъ, или къ обѣду, завтра вы будете?“ Нѣтъ, завтра не могу быть, отвѣчалъ я. „Гдѣ же вы будете?“ Дома, я давно не сидѣлъ дома вечеромъ, сказалъ я, не спохватясь, и потомъ уже догадался, что это довольно неучтиво — познакомиться съ ней и не торопиться видѣть ее опять. Но мнѣ было бы тяжело и второй вечеръ провести такъ, мнѣ хотѣлось отдохнуть душою. Эта женщина внушаетъ такую недовѣрчивость, не знаешь, говорить ли она серьезно или шутить, боишься

ей говорить серьезно и искренно, потому что она, может быть, помирает надъ вами со смѣху и будетъ хохотать потомъ съ своимъ братомъ. Такія лица не вызываютъ откровенности. Вы заговорите серьезно, ей въ эту минуту приходится въ голову какой-то смѣшной анекдотъ; такъ, совсѣмъ не встати вспомнила она, что въ Петербургѣ есть одинъ *сумасшедшій*, который ходитъ въ русскомъ платьѣ, *un fou*.—Нѣтъ, она слишкомъ умна для меня, я же авторитета не имѣю и, хоть буду стараться узнать повороче, разгадать эту женщину, но на меня уже повѣяло такимъ холодомъ отъ нея, что я самъ собственно сожмусь внутренно, сколько можно. Но я такъ былъ разочарованъ, такъ огорченъ, такъ все внутри меня поставлено вверхъ дномъ, такъ непріятно нарушенъ миръ, гармонія моей души, что я не въ силахъ вамъ высказать своего впечатлѣнія. Сколько ожидалъ я отъ свиданія съ нею! Я совершенно разстроенъ, не знаю, какъ будетъ дальше“.

Въ отвѣтъ на это письмо С. Т. Аксаковъ писалъ своему сыну: „Впечатлѣніе, произведенное надъ тобою свиданіемъ съ А. О. Смирновой, именно таково, какого мы ожидали; да, ты потому такъ имъ пораженъ, что создалъ себѣ заранѣе совершенно другое существо; я нарочно не писалъ тебѣ ни слова и съ Константиномъ сдѣлалъ то же; я повѣрялъ вами себя; вашими впечатлѣніями собственныя свои. Я не такъ самонадѣянъ, что послѣ такихъ отзывовъ Гоголя и Самарина (особенно послѣдняго) повѣрить первому своему взгляду. Она приняла меня, лежа совсѣмъ въ постели. Еслибъ я былъ молодой человѣкъ, то истолковалъ бы такой пріемъ въ выгодную для себя сторону; но принимая въ первый разъ слѣпного старика, нельзя было имѣть никакихъ особенныхъ намѣреній. И такъ это неуваженіе; я могъ бы сейчасъ уйти, сказавъ, что не хочу беспокоить ее больную, но я не догадался, да и любопытство вполне владѣло мною рассмотреть эту женщину, которую такъ осуждаетъ общее мнѣніе, и о которой Гоголь въ то же время говоритъ: „едва ли найдется въ мірѣ душа способная понимать и оцѣнить ее“. Два часа съ половиной

я заставлялъ говорить ее безпрестанно о томъ, о чемъ хотѣлъ... и что же? Я также, какъ и ты, не спалъ до 2 часовъ отъ изумленія. Я не вполне довѣрялъ Гоголю и Самарину, я считалъ, что они оболщены, очарованы (и мнѣ говорили многіе, что она сирена, очаровательница, волшебница) и сами того не видятъ. Но я увидѣлъ, что тутъ нѣтъ и тѣни ничего оболстительнаго, даже ни въ какомъ отношеніи: я не нашелъ въ ней женщины; это былъ мужчина въ спальномъ капотѣ и чепчикѣ; очень умный, смѣло обо всемъ говорящій, но легкій, холодный; я по крайней мѣрѣ не замѣтилъ ни малѣйшей теплоты, ни даже признака эстетическаго и поэтическаго чувства. Я рѣшительно признаю... Погожу признавать. Ты необходимо долженъ узнать ее близко. Преодолѣй себя и постарайся доискаться драгоцѣннаго камня, зарытаго въ хламѣ<sup>69)</sup>.

Но это первое, непріятное, впечатлѣніе, произведенное Смирновой на Аксакова, вскорѣ изгладилось, и Языковъ не даромъ писалъ послѣднему:

Бѣги ты далече отъ шумнаго свѣта...  
И пой, какъ дубравная птица поетъ  
На волѣ; и если тебя очаруетъ  
Красавица-роза—не бойся любви....  
Въ груди благородной любовь пробуждаетъ  
Высокія чувства...  
...и безъ умолку пой ты...  
Красавицѣ-розѣ, пѣвецъ соловей! <sup>70)</sup>.

Да и самъ И. С. Аксаковъ писалъ князю Д. А. Оболенскому: „Впечатлѣніе (непріятное) изгладилось; я у нея бываю почти каждый день, по ея настоящему требованію, и хоть непріятно знать, что съ вами бесѣдуютъ отъ нечего дѣлать или за неимѣніемъ лучшаго (ты знаешь вѣдь, что я гораздо умнѣе на бумагѣ и въ стихахъ, тѣмъ въ разговорѣ, гдѣ я ни остроуменъ, ни краснорѣчивъ), но тѣмъ не менѣе общество ея имѣетъ необыкновенную прелесть. Она поставила меня прямо въ такія простыя, короткія отношенія, какъ будто я былъ съ нею знакомъ двадцать лѣтъ; за это я ей очень благодаренъ, ибо мнѣ теперь такъ свободно съ нею, что я говорю вовсе не стѣсняясь“ <sup>71)</sup>.

Съ своей стороны С. Т. Аксаковъ писалъ Гоголю (отъ 22 ноября 1845 г.): „По прїѣздѣ въ Калугу А. О. Смирнова также просто и коротко обошлась съ моимъ Иваномъ, нападая на его мысли, общія съ братомъ, который будучи также неуступчивъ, сильно ей противорѣчилъ“ <sup>73)</sup>.

Съ своей стороны и мы недалеко будемъ отъ истины, если скажемъ, что общество А. О. Смирновой было весьма плодотворно для поэтической дѣятельности И. С. Аксакова: во время своего двухлѣтняго пребыванія въ Калугѣ онъ написалъ болѣе тридцати стихотвореній.

1845 годъ былъ тяжелымъ годомъ для Гоголя. Проживая во Франкфуртѣ на Майнѣ вмѣстѣ съ Жуковскимъ, Гоголь страдалъ отъ недуговъ тѣлесныхъ и отъ безденежья. Въ письмѣ своемъ къ Языкову онъ въ ужасномъ видѣ описываетъ состояніе своего здоровья. „Вѣкъ мой“, пишетъ онъ, — „не могъ ни въ какомъ случаѣ быть долгимъ. Отецъ мой былъ также сложенъ слабаго и умеръ рано, угаснувши недостаткомъ собственныхъ силъ своихъ... Я худѣю теперь и истоеваю не по днямъ, а по часамъ; руки мои уже не согрѣваются вовсе и находятся въ водянисто-опухломъ состояніи. Припадки прочіе всѣ тѣ же, которые сопровождали бѣднаго Елима Мещерскаго \*), умершаго также отъ изнуренія силъ... Знай объ этомъ самъ, объяви о томъ и другимъ, да напрасной надеждѣ и мечтамъ не предаются, а пусть лучше вмѣсто того молятся, благоговѣя предъ Божиимъ могуществомъ, благословляя Его и не осмѣливаясь произносить чего-либо похожаго на свои соображенія, а оттоль и на роптанія“ <sup>73)</sup>. Это состояніе Гоголя вызвало въ О. С. Аксаковой сердечное соболѣзнованіе, и она писала Погодину: „Слышали ли вы о Гоголѣ? Я очень беспокоюсь, надо къ нему ѣхать, но кому? А грѣшно оставлять его такъ... Поѣзжайте къ нему, а оттуда въ Іерусалимъ“ <sup>74)</sup>.

---

\*) Князь Елима Петровичъ родился 1808 + 1844; былъ женатъ на Варварѣ Степановнѣ Жихаревой.



Жуковский, желая исцѣлить своего собрата отъ другого недуга его — безденежья, 4 января 1845 года писалъ А. О. Смирновой, находившейся еще тогда въ Петербургѣ: „Вамъ бы надо о Гоголѣ позаботиться у Царя и Царицы. Ему необходимо надобно имѣть что-нибудь вѣрное въ годъ. Сочиненія ему мало даютъ, и онъ — въ безпрестанной зависимости отъ завтрашняго дня... Вы лучше другихъ можете характеризовать Гоголя съ его настоящей, лучшей стороны. По его комическимъ твореніямъ могутъ въ немъ видѣть совсѣмъ не то, что онъ есть. У насъ смѣхъ принимаютъ за грѣхъ, слѣдовательно, всякій насмѣшникъ долженъ быть великій грѣшникъ“. 11 марта 1845 г. вечеромъ Смирнова была у Императрицы и напомнила Государю о Гоголѣ. „Онъ (то-есть, Государь) былъ“, замѣчаетъ Смирнова, — „благосклоненъ. У него есть много таланта драматическаго, но я не прощаю ему выраженія и обороты слишкомъ грубые и низкіе... Я совѣтовала прочесть *Мертвыя Души* и замѣтить тѣ страницы, гдѣ выражается глубокое чувство народности и патріотизма“. Эта бесѣда Государя съ Смирновой была не бесполезна для Гоголя. Государь приказалъ графу А. Ѳ. Орлову „заняться Гоголемъ“. На замѣчаніе же Орлова, что Гоголь „еще молодъ“ и ничего такого не сдѣлалъ, Смирнова спрашиваетъ: „Прошу поворно сказать, что такое надобно сдѣлать въ Литературѣ, чтобы получить патентъ на достоинство литератора въ ихъ смыслѣ?“ и при этомъ замѣчаетъ: „право, они смѣшны. Еще еслибы читали по Русски“.

Въ концѣ концовъ „Государь приказалъ Уварову узнать, что нужно Гоголю, и Уваровъ, по свидѣтельству Смирновой, „поступилъ благородно, сказалъ, что Гоголь заслуживаетъ всякую помощь“, и ему Высочайше пожаловано, въ видѣ пенсіи, по тысячи рублей серебромъ въ годъ на три года<sup>76)</sup>).

Эту царскую милость Гоголь принялъ съ глубокою признательностью и, въ апрѣлѣ 1845 года, писалъ Уварову: „Благодарю васъ много за ваше ходатайство и участіе. О благодарности Государю ничего не говорю... Но мнѣ сдѣла-

лось въ то же время грустно. Грустно, во первыхъ, потому, что все доселѣ мною сдѣланное не стоитъ большого вниманія. Хотя въ основаніи его и лежала добрая мысль, но выражено все такъ дурно, ничтожно, незрѣло... Вотъ вторыхъ, грустно потому, что и за прежнее я въ неоплатномъ долгу предъ Государемъ. Клянусь, я и не помышлялъ даже просить о чемъ-либо у Государя! Въ тишинѣ только готовилъ я трудъ, который точно былъ бы полезнѣе моимъ соотечественникамъ моихъ прежнихъ мараевъ, за который и вы сказали бы мнѣ, можетъ быть, спасибо“ <sup>76</sup>).

Грустно читать, а еще болѣе списывать это письмо, когда подумаешь, что великій писатель нашъ, сулящій какаго-то журавля въ небѣ, а между тѣмъ хулящій синицу, то-есть, свои драгоценныя творенія, которые составили славу царствованія Императора Николая I и питали и питаютъ нашъ патріотизмъ. Когда Уваровъ далъ прочесть это письмо Гоголя А. В. Нивитенѣ, то послѣдній справедливо замѣтилъ: „Печальное самоуничтоженіе со стороны Гоголя!.. жаль, жаль!“ <sup>77</sup>)

---

## XI.

Изъ всѣхъ Словенофиловъ одинъ только А. С. Хомяковъ имѣлъ съ Погодинымъ неизмѣнно дружескія отношенія. Хомяковъ любилъ его достоинства и былъ снисходителенъ къ его слабостямъ. Онъ радовался возрожденію *Москвитянина* подъ редакціей И. В. Кирѣевскаго и очень скорбѣлъ о неудачѣ его. Хомяковъ, будучи главою и догматикомъ Словенофильскаго ученія, въ то же время любилъ и старое время, время *Московскаго Вѣстника*. Нѣжная дружба связывала его брата Ѳ. С. Хомякова съ покойнымъ основателемъ *Московскаго Вѣстника*, Д. В. Веневитиновымъ, такая же дружба соединяла А. С. Хомякова съ А. В. Веневитиновымъ. Лучшимъ свидѣтельствомъ сего служатъ сохранившіяся письма Хомякова къ Веневитинову. „Пріѣдешь ли?“ писалъ Хомя-

ковъ своему Петербургскому другу, — „пріѣзжай пожалуйста. Ты самъ видишь, что есть не только причина къ пріѣзду, но, что еще важнѣе, есть даже и предлогъ. А тебѣ здѣсь всѣ будутъ такъ рады; и что стоитъ пріѣхать? просто вздоръ. Пріѣзжай хоть на нѣсколько дней, да вотъ бы было славно, коли бъ ты пріѣхалъ не одинъ. Вѣдь стыдно сказать: жена твоя никогда въ Москвѣ не бывала. Просто какъ будто бы въ Россіи не бывала. Неужели это невозможно? На какихъ бы *свирѣпыхъ агнцевъ* \*) вы могли наглядѣться? Какой бѣшеной кротости наслущаться? Вѣдь эти явленія совсѣмъ чужды Петербургу, не говоря уже о Кремлѣ и прочихъ Древностяхъ, какъ-то Петръ Васильевичъ Кирѣевскій“. Въ Москвѣ въ это время поселился С. П. Шиповъ, и Веневитиновъ совѣтывалъ Хомякову съ нимъ познакомиться. На это Хомяковъ отвѣчалъ: „Знакомство у насъ (съ Шиповымъ) началось, но мнѣ не удалось быть у него или, лучше сказать, не удалось его застать; я попалъ въ такое время, когда онъ переѣзжалъ изъ гостинницы въ домъ, и поэтому не рѣшился даже оставить билетъ. Встрѣчались же мы нѣсколько разъ и, кажется, сошлись. Въ Шиповѣ многое меня привлекаетъ, главное же то, что онъ Русскій всею душою. Будущая зима мнѣ дастъ возможность сблизиться съ нимъ гораздо болѣе, и я этого очень желаю“.

Въ это время Хомяковъ рядомъ своихъ статей, а именно: *Мнѣнія иностранцевъ о Россіи, Мнѣнія Русскихъ объ иностранцахъ, Введеніе къ Валуевскому Сборнику историческихъ и статистическихъ свѣдѣній* развивалъ ученіе Словенофильское. Веневитиновъ слѣдилъ за этими статьями и своими мыслями обмѣнивался съ Хомяковымъ. „Благодарю за отзывъ“, писалъ послѣдній, — „о моей статьѣ. Ты самъ знаешь, что я вообще мало имѣю авторскаго тщеславія и на счетъ статей журнальныхъ не могу имѣть даже и самолюбія. Отзывъ твой меня радуетъ не какъ писателя, а какъ человѣка и гражданина потому, что во мнѣ есть искреннее и глубокое убѣ-

\*) Такое прозвище носилъ К. С. Аксаковъ.

жденіе, что мы, Москвичи, на досугѣ могли получить и получили сознаніе Всероссійской болѣзни, и что я, едва ли не первый узнавшій ея діагностику, во всякомъ случаѣ первый ее описываю прямодушно и откровенно. Сознанное можетъ быть вылечено, но для этого нужно сознаніе общее или по крайней мѣрѣ сильно распространенное. Нужна для этого новая жизнь, новая наука; нуженъ нравственный переворотъ, нужна любовь, нужно смиреніе гордаго и ничтожнаго знанія, которое выдастъ себя за просвѣщеніе и само вѣрить своему хвастовству. Науки политическія остались за людьми прежняго поколѣнія, наше поколѣніе увлеклось наукою социалистическою, но все это устарѣло не какъ люди, а по внутренней недостаточности и односторонности, уступая силѣ аналитическаго разложенія. Наука должна явиться жизненная. Ее должна создать Россія, но для того, чтобы Россія создала что-нибудь, нужно, чтобы Россія могла что-нибудь создать, чтобы она сама была чѣмъ-нибудь цѣлымъ и живымъ. Вотъ, любезный другъ, мое мнѣніе. Быть можетъ, ты не во всемъ со мною согласишься; но если ты согласишься во многомъ, я считаю это за великое счастье и скажу тебѣ: Дѣйствуй въ этомъ смыслѣ, распространяй это мнѣніе.

„Покуда живу я въ деревнѣ, купаюсь, стрѣляю, охочусь съ собаками и пр., готовлю еще статью, которая будетъ послѣднею въ порядкѣ моихъ статей, и, если цензура смилуется, то скажу почти все, что на душѣ у меня: потомъ прощай публика и брошусь въ объятія *Семирамиды*, то-есть, разработки историческихъ наукъ. *Age longa, vita brevis*. Быть можетъ, мы увидимся съ тобою во время странствія твоего на югъ; если нѣтъ, то авось мнѣ удастся завернуть на сѣверъ. Ты не повѣришь, или лучше сказать, ты не только повѣришь, но и безъ увѣренія долженъ знать, какъ я желаю съ тобою видѣться и познакомиться семьями“.

Получивъ извѣстіе отъ графа В. А. Сологуба и Ю. Ѳ. Самарина о Петербургскомъ житѣ Веневитинова, Хомяковъ писалъ ему: „Въ послѣднее время имѣлъ я о тебѣ довольно

подробныя извѣстія чрезъ Самарина и Сологуба, и всѣ извѣстія были крайне утѣшительны. Какъ ты усердно танешь служебную ламку, какъ у васъ въ домѣ тихо и мирно, какой ты мастеръ нянчить дѣтей, какъ ты помнишь и любишь Москву, какъ читаешь *Москвитянина*, какъ ты все тотъ же, что былъ или, лучше сказать, сталъ даже лучше прежняго потому, что счастье семейное укрѣпляетъ и умиряетъ человека и пр. и пр. Замѣть, пожалуйста, что я въ числѣ добрыхъ извѣстій поставилъ и усердное служеніе твое по Министерству. Добросовѣстное усердіе становится рѣдкостью, оно свидѣтельствуетъ объ отсутствіи эгоизма, о способности и желаніи жертвовать собою на пользу другихъ, о сѣбѣсти души, еще не утратившей своихъ шатаній и т. д. Въ этомъ отношеніи я считаю твой служебный подвигъ истинно добрымъ и утѣшительнымъ; но только въ этомъ истинная польза службы кажется мнѣ болѣе чѣмъ сомнительною при совершенной ея матеріализаціи. Формальность убиваетъ духъ, и эта формальность растетъ со дня на день. Для исправленія машины увеличиваютъ безпрестанно число колесъ, и по законамъ механики сила (хоть и громадная) уходитъ въ треніе, а доходъ фабрики въ сало для подмазки вѣчно скрипучихъ частей. Я это пишу для того, чтобы не принялъ мою первую похвалу или за совершенно безусловную, или за шутку. *Surtout pas de zèle*, говорилъ Талейранъ, а я прибавлю, что всѣ церкви Московскія испорчены усердіемъ православныхъ, вѣчно пристроивавшихъ придѣлы. Упрощеніе или такъ сказать одухотвореніе служебной машины вотъ истинная цѣль, въ которой можно и должно стремиться. Этого не поймутъ ваши великіе мужи, но ты, какъ Москвитинъ, долженъ это понять. Остальныя похвалы безъ оговорокъ: да по правдѣ онѣ и не похвалы; человека хвалить нельзя за то, что онъ счастливъ и умѣетъ быть счастливымъ, этому только можно радоваться. Если за что-нибудь тебя можно похвалить, это развѣ за то, что внѣшній, тебя окружающій, міръ такъ мало на тебя подѣйствовалъ, и что ты сохранилъ такую самостоятельность внутренней жизни.

Такой подвигъ рѣдко кому удается. За то мы и радуемся, слыша о тебѣ, и твой домашній кружокъ представляется какъ маленькій свѣтлый оазисъ среди безроднаго Петербургскаго быта, отдѣленнаго отъ насъ безконечною бездною<sup>78)</sup>.

Въ то время, когда И. В. Кирѣевскій отказался отъ редакціи *Москвитянина*, въ седьмомъ и купно съ нимъ восьмомъ номерѣ этого журнала явилась статья подъ заглавіемъ: *Примѣчательная для Русскихъ Англійская книга*. Въ этой статьѣ говорится о книгѣ діакона Англиканской церкви Пальмера, вышедшей въ Оксфордѣ и на оберткѣ съ Русскимъ заглавіемъ „Стихотворенія діакона Пальмера“ съ эпиграфомъ на Англійскомъ: *О свѣтлѣмъ мирѣ и благосостояніи святыхъ Божіихъ церквей и соединеніи всѣхъ Господу помолимся*. На слѣдующей страницѣ мы читаемъ: „Эти стихотворенія и гимны посвящаются А. С. Хомякову и прочимъ знакомымъ автора въ Россіи, и всѣмъ тѣмъ, которые свѣдущи въ Англійскомъ языкѣ—въ знакъ вѣчнаго воспоминанія и уваженія“, на оборотѣ же поставленъ эпиграфъ Словенскими буквами: *Богъ идоже хощетъ, побѣждается естества чинъ*. Далѣе слѣдуетъ очень длинное посвященіе въ формѣ письма А. С. Хомякову, служащее въ то же самое время отвѣтомъ на письмо къ нему Хомякова, о значеніи молитвы по мнѣнію Русской церкви и о возможности соединенія нашей Православной церкви съ Англиканскою.

Къ этой статьѣ Погодинъ сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе: „*Отечественныя Записки* терпѣть не могутъ духа гг. Хомякова и Языкова и ругаютъ ихъ во всякомъ номерѣ. Ругательства ихъ для благонамѣренныхъ и образованныхъ замѣняютъ хвалу. Но есть еще толпа... для толпы мы помѣщаемъ это свидѣтельство, съ какой точки иностранцы смотрятъ на сочиненія Хомякова, Англичане, проклятые имъ, какъ безпрестанно твердятъ *Отечественныя Записки*. Точно такъ въ *Московскомъ Вѣстникѣ* 1828 помѣщено было свидѣтельство Гете о критикѣ Шевырева, вопреки возгласовъ тогдашнихъ мародеровъ Русской Словесности“<sup>79)</sup>. *Отечественныя Записки*

не уюснили отвѣчать Погодину, что онѣ „никогда и не думали не терпѣть духа гг. Хомякова и Языкова... Что сочиненія гг. Хомякова и Языкова, особенно перваго, не нравятся *Отечественнымъ Запискамъ*, это должно быть прискорбно и *Москвитяину* и реченнымъ стихотворцамъ: мы понимаемъ ихъ горе, но изъ уваженія къ правдѣ не можемъ помочь ему. А что какой-то англичанинъ перевелъ на свой языкъ пьесу Хомякова, это ровно ничего не говоритъ въ пользу поэзіи и таланта этого Русскаго стихотворца; вѣдь и сочиненія Булгарина, да еще почти всѣ, переведены, да еще не на одинъ, а на нѣсколько Европейскихъ языковъ... Вообще, странно доказывать чей-нибудь талантъ тѣмъ, что знакомый иностранецъ перевелъ какое-нибудь его произведеніе: само произведеніе должно отвѣчать за талантъ. Однакожъ у насъ обыкновенно тутъ-то и прибѣгаютъ къ подобнымъ уловкамъ, когда въ сочиненіяхъ уже не обрѣтается и признаковъ таланта. Такимъ же образомъ, если Гете, изъ вѣжливости, сказалъ ласковое слово о статьѣ Шевырева, въ которой онъ расхвалилъ междудѣйствіе во второй части *Фауста*, это тоже ровно ничего не говоритъ въ пользу критическаго таланта Шевырева“ <sup>80</sup>).

Самъ же Хомяковъ писалъ Ю. Ѳ. Самарину: „Меня втянули въ переписку съ Пальмеромъ. Предметъ этой переписки, безспорно, такъ важенъ, что я и не могу роптать на необходимость продолжать ее, но пользы большой не ожидаю и досадою особенно на то, что имя мое тутъ примѣшано. Мнѣ хотѣлось бы лучше оставаться безымяннымъ въ этомъ дѣлѣ. Болѣе бы было свободы, болѣе смѣлости и, можетъ быть, болѣе даже пользы, когда бы устранены были всѣ невольныя притязанія личности. Между тѣмъ я чувствую и глубоко убѣжденъ, что должно продолжать, и что споръ религіозный заключаетъ въ себѣ всю сущность и весь смыслъ всѣхъ предстоящихъ намъ жизненныхъ споровъ. Вопросъ о Россіи во всѣхъ отношеніяхъ есть, безъ сомнѣнія, единственный истинно всемірный вопросъ нашего времени“.

---

## ХП.

Живя въ Петербургѣ, Самаринъ, кромѣ исполненія своихъ служебныхъ обязанностей, помня завѣтъ Погодина, занимался Наукой и Литературой. Въ это время онъ углубился въ историческія судьбы Великаго Новгорода.

Еще въ 1844 году Хомяковъ писалъ ему: „Когда кончите свой Новгородскій подвигъ, не замедлите прислать. Да скажите: разбирая Лѣтопись, не замѣтили ли вы слѣдъ Запада въ Новгородѣ? Мнѣ вліяніе Запада явно въ равнодушіи религіозномъ, въ знакомствѣ съ Нѣмецкими сагами о Дитрихѣ и т. д.; но замѣтно ли оно въ остаткахъ юридическаго быта? Намеки были бы драгоцѣнны. Они должны находиться въ послѣдней эпохѣ Новгорода: въ первой ихъ искать нельзя. Еще любопытно бы было знать отношенія Новгорода къ области. Имѣли ли областные жители право гражданства полное? Вопросъ очень важный. Если области не имѣли полного права гражданства, то паденіе Новгорода объясняется легко. Впрочемъ, я думаю, по общему ходу Русскихъ обычаевъ, что области не были унижены, а что города находились только въ подчиненности, то-есть, семейной. Новгородъ былъ господиномъ не въ смыслѣ слова *господинъ*—*владыка*, а въ смыслѣ *господинъ*—*батюшка*. Виновать за эту страницу Погодинскаго слога“.

Написавъ цѣлое изслѣдованіе *О князѣ и отчѣ*, Самаринъ, исполняя желаніе Хомякова, отправилъ его къ нему. Это сочиненіе произвело самое радостное впечатлѣніе на Хомякова, который писалъ автору: „Статья чудная и по строгости многихъ выводовъ, и по истинѣ взгляда, и по необычно живому выраженію мысли во многихъ мѣстахъ. Я съ вами совершенно согласенъ, также и Аксаковъ и кое-кто еще, напримѣръ, братья Елагины. Я согласенъ, можно связать, до радости: такъ мнѣ весело видѣть такое тожество въ результатахъ, къ которымъ мы стремимся по разныя и по разнымъ путямъ мысли... Въ Петербургѣ труд-



нѣе было, чѣмъ въ Москвѣ, дойти до тѣхъ результатовъ, до которыхъ вы дошли: видѣть всю отвратительность злоупотребленій принципа и все-таки признать принципъ, это точно нравственный подвигъ... Впрочемъ, общее начало вашей статьи не совсѣмъ прилагается къ Исторіи Русской и едва ли гдѣ-нибудь прилагалось вполнѣ въ какой-нибудь Словенской Исторіи. Понятіе о князѣ жило болѣе какъ законъ, какъ требованіе, чѣмъ какъ историческій фактъ. Во всякомъ случаѣ вотъ какъ мнѣ представляется схема Русской Исторіи. Скажу кратко. Частные князья прежнихъ, доисторическихъ, временъ можетъ быть осуществляли идею о князѣ, можетъ быть и нѣтъ, но Варяги уже этой идеи не осуществляли, особенно для Сѣверной Руси. Они были явленіемъ внѣшнимъ, военнымъ, по условію на Сѣверѣ и замѣнъ Казарь на Югѣ. Но требованіе жило, и законъ стремился къ проявленію. Такъ, великій князь растетъ въ значеніи, поглощаетъ удѣлы и переходитъ въ Цари. (Точно также и въ Сербіи)... Русь распадается внутри себя (доказательства: расколы, Годуновъ, Салтыковъ, какъ требователи просвѣщенія и пр.). Вотъ моя схема; какъ о ней скажете? Во всякомъ случаѣ извините мой Погодинскій слогъ". Въ томъ же письмѣ Хомяковъ сообщаетъ, что съ статьею Самарина „многіе или не согласны, или согласны въ половину; въ половину Поповъ, Валуевъ, Пановъ, кажется—Погодинъ, который, впрочемъ, не былъ при чтеніи, совсѣмъ не согласны Кирѣевскіе. Но всѣ эти несогласія", замѣчаетъ Хомяковъ, — „болѣе имѣютъ корень въ возмущенномъ сердцѣ, чѣмъ въ разумѣ".

Въ 1845 году вышло замѣчательное произведеніе графа В. А. Сологуба *Тарантасъ*, и Самаринъ написалъ разборъ его. По этому поводу Хомяковъ писалъ рецензенту: „Мнѣ жаль, что не рѣшились наши друзья напечатать вашу статью о *Тарантасѣ*. Можетъ быть, они и не должны были ее отдавать Погодину; но въ ней такъ много истиннаго и такъ много противъ современнаго" <sup>81)</sup>. Но эта статья Самарина, подѣ

инициалами *М. З. К.*, явилась въ печати въ *Московском Сборникѣ* 1846 года.

О нравственномъ состояніи Ю. Ѳ. Самарина во время пребыванія его въ Петербургѣ А. О. Смирнова писала Гоголю: „Я живу между Петербургомъ и Москвою, потому что часто выдаю Самарина, напитаннаго еще духомъ премудрости вашихъ друзей и вѣрнаго ему по сихъ поръ, но грустящаго и, кажется, колеблющагося“<sup>82)</sup>.

Въ началѣ 1845 С. П. Шевыревъ началъ продолженіе своихъ публичныхъ лекцій о Древней Русской Словесности. Успѣхъ былъ полный, и профессоръ принужденъ былъ сдѣлать слѣдующее заявленіе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*: „Умножившееся число слушателей и недостатокъ мѣста въ аудиторіи понуждаютъ профессора Шевырева, по требованію многихъ лицъ, перенести свои чтенія въ большую залу того же университетскаго зданія“. Далѣе въ этомъ заявленіи сказано: „Снисходя на желаніе многихъ жителей Москвы, не имѣющихъ времени постоянно посѣщать лекціи, равно и тѣхъ особъ, которыя бываютъ въ столицѣ проездомъ, профессоръ соглашается установить билеты на отдѣльныя чтенія“<sup>83)</sup>. Погодину же Шевыревъ писалъ: „Лекціи мои прошли какъ нельзя лучше. Первая мнѣ особенно удалась. Студентовъ у меня было болѣе ста. Тишина во время всей лекціи и вниманіе примѣрныя... У многихъ сочувствіе я читалъ въ глазахъ—я думаю, нарочно подали фальшивую тревогу, чтобы испугать меня. Штуки!“ О лекціяхъ Шевырева въ *Дневникѣ* Погодина мы находимъ слѣдующія отмѣтки:

Подъ 27 января 1845: На лекціи у Шевырева. Очень хорошо.

— 3 февраля. Проѣхался съ Шевыревымъ по Кремлю.

— 6 марта. Съ почтеніемъ къ Вителю, и онъ очень доволенъ. На лекціи у Шевырева, который прочелъ очень хорошо, впрочемъ одну треть скучно.

24 апрѣля. На лекціи у Шевырева, и восхищался многими мѣстами.

— 27 апрѣля. На лекціи Шевырева о Карамзинѣ. На судъ знатока лекція слабая, но частями своими удачная, и я хлопалъ отъ души.

— 30 апрѣля. Последняя лекція Шевырева, которая мнѣ не понравилась, хотя были многія прекрасныя мѣста, и я прослезился въ воспоминаніи о Пушкинѣ. Не понравилось заключеніе, которое слушали съ трепетомъ. Обѣдалъ у него.

Послѣ обѣда Погодинъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ, который одѣлся „въ Русскій костюмъ“, отправились къ Аксаковымъ, а потомъ въ Языкову. Надо замѣтить, что Шевыревъ, ободренный успѣхомъ своихъ публичныхъ лекцій, вздумалъ одѣться въ Русскій костюмъ, и по поводу этого Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Шевыревъ сдѣлалъ себѣ Русскій костюмъ и забавляется имъ“. Эта эксцентричная выходка Шевырева произвела въ Москвѣ впечатлѣніе, и Герценъ писалъ Краевскому: „Представьте себѣ, что Шевыревъ, пользуясь каникулами, отростилъ себѣ бороду и ходитъ въ шелковой рубахѣ, подпоясанной вушакомъ. И это дѣлаетъ не Аксаковъ, а человѣкъ съ сѣдиною, чуть не деканъ“<sup>81)</sup>, а передъ тѣмъ Погодинъ только что слышалъ рассказы Аксакова объ „опасеніяхъ правительства по поводу *мутныхъ мурмулокъ*“.

Начальство Московской цензуры не сочувствовало успѣху Шевырева, и В. А. Пановъ статью свою о его лекціяхъ принужденъ былъ помѣстить въ *Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ*, такъ какъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* графъ С. Г. Строгановъ запретилъ ее печатать. По этому поводу Хомяковъ писалъ Самарину: „Статья Панова слаба и слабо написана, но она имѣетъ смыслъ и важность, особенно по вопросамъ современнымъ и потому, что непропущеніе ея показывается, каковъ гнетъ Московской цензуры“<sup>82)</sup>.

По окончаніи публичныхъ лекцій друзья Шевырева задумали чествовать его торжественнымъ обѣдомъ. Этому намѣренію Погодинъ не сочувствовалъ, о чемъ свидѣлствуютъ слѣдующія записи въ *Дневникъ* его:

Подъ 21 апрѣля 1845. Къ Аксаковымъ, гдѣ шибко закри-

чалъ на Павлова, который зоветъ Грановскаго на обѣдъ къ Шевыреву. Дерзкій отвѣтъ Константина Аксакова, но не сержусь.

— 23 *апрѣля*. Къ Шевыреву объ обѣдѣ. Къ Аксаковымъ и говорилъ, какъ бы надо устроить его. Къ Свербеевымъ, гдѣ встрѣтилъ пріѣхавшаго Самарина. Оставить лучше всѣхъ ихъ безъ вниманія. Пустые болтуны, хоть дѣти и благородныя, такъ называемыя.

— 25—26 *апрѣля*. Чувство оскорбленія, что не спрошено моего совѣта объ обѣдѣ, который я бы устроилъ лучше всѣхъ. Кому же быть подлѣ Шевырева, какъ не мнѣ, его руководителю, помощнику, совѣтнику, который его вызвалъ на это поприще. Какъ противны эти болтуны: годъ они безъ памяти отъ Гоголя, потомъ отъ *Мертвыхъ Душъ*, отъ лекцій Грановскаго, теперь отъ Шевырева, котораго ненавидѣли и презирали.

— Подъ 28 *апрѣля*. Вечеръ у Шевырева. Читалъ о Карамзинѣ и говорилъ объ его лекціяхъ и предстоящемъ обѣдѣ. Шевыревъ слабъ, онъ долженъ былъ бы дать знать, что ему было бы очень непріятно не видѣть меня, еслибъ скоты сами этого не видѣли. Мнѣ все грустно“.

Тѣмъ не менѣе, 3 мая 1845 года, обѣдъ въ честь Шевырева состоялся, но Погодинъ на немъ не присутствовалъ. Въ *Дневникъ* же мы находимъ слѣдующія отмѣтки:

Подъ 3 мая 1845. Не поѣхалъ обѣдать—дурная погода и дурное расположеніе: не было, значить, сильнаго желанія видѣть меня, зачѣмъ же мнѣ тащиться семь верстъ.

— 5 мая. Обѣдалъ у Аксаковыхъ, а вечеръ у Шевырева. Разговоръ объ обѣдѣ, гдѣ Шевыревъ пилъ за здоровье Грановскаго, а обо мнѣ и не вспомнилъ. Вотъ люди! А онъ любить меня! Кто его убѣдилъ идти по ученой части? Кто его ввелъ къ Уварову и въ Университетъ? Кто познакомилъ съ древностью? Кто, наконецъ, доставлялъ рукописи для лекцій? Больно, хоть я и не показалъ огорченія.

— 29 мая. Думалъ о слабости Шевырева. Что это за дружба!

Какъ бы то ни было публичныя лекціи о Древней Русской Словесности имѣли громаднѣйшій успѣхъ, и это раздражало Западниковъ и въ особенности представителя ихъ Бѣлинскаго. Въ письмѣ къ одному изъ своихъ Московскихъ друзей онъ между прочимъ писалъ: „Вѣсти о лекціяхъ Шевырева, о фурорѣ, который онъ произвели въ *зернистой* Московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово сего Московскаго североуста—все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи съ лекціями Грановскаго. Наша публика—мѣщанинъ во дворянствѣ: ее лишь бы пригласили въ парадно-освѣщенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее, холопа, пустили въ барскія хоромы, непременно останется всѣмъ довольною. Для нея хорошъ и Грановскій, да недуренъ и Шевыревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній. Иначе и быть не можетъ, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но вѣдь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые имѣютъ право не только хвалить, но и ругать; сама она имѣетъ право не только хлопать, но и свистать. Сдѣлай такъ, чтобы во Франціи публичность замѣнилась авторитетомъ полиціи, и публика, въ театрѣ и на публичныхъ чтеніяхъ, имѣла бы право только хлопать, не имѣла бы права шикать и свистать: она скоро сдѣлалась бы такъ же глупа, какъ и Русская публика. Еслибы Герценъ имѣлъ право, между первою и второю лекціею Шевырева, тиснуть статейку,—вторая лекція, навѣрное, была бы принята съ меньшимъ восторгомъ. По моему мнѣнію, стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать: вотъ отчего мнѣ не понравилась статья Герцена о лекціяхъ Грановскаго“ <sup>86</sup>).

---

### ХІІІ.

2 февраля 1845 года Шевыревъ писалъ Погодину: „Поздравляю тебя почетнымъ членомъ нашего Университета. Прекрасное предложеніе сдѣлалъ графъ С. Г. Строгановъ: Герцога Лейхтенбергскій, Принцъ Ольденбургскій, ты (*съ знакъ благодарности Университета*—его выраженіе), Остроградскій, Штруве, Востокъ, Гоголь.—Каковъ? Отличается. Я вчера благодарилъ его и ѣздилъ нарочно“. Это извѣстіе очень обрадовало Погодина, и въ *Дневникъ* его мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 2 февраля 1845. Извѣстіе отъ Шевырева, что я избранъ въ почетные. Принцъ Ольденбургскій, Герцогъ Лейхтенбергскій, Остроградскій, Штруве, Востокъ и Гоголь. Назначеніе послѣдняго, вопреки мнѣнію аристократовъ и, можетъ быть, Правительства. Поѣхалъ благодарить его (графа Строганова) и сказалъ, что мнѣ больно быть несправедливымъ противъ него, потому что я браню его, не люблю, осуждаю. Все выслушалъ. Удивительный человѣкъ.

— 4 февраля. Поѣхалъ къ графу Строганову и сказалъ ему, что въ благодарность за снисхожденіе, съ коимъ онъ слушаетъ мои грубоствы, я отдаюсь въ его распоряженіе, и готовъ читать лекціи годъ, два, чтобы ввести Соловьева, котораго одного нельзя оставить, иначе погубишь. Онъ очень радъ. Встрѣтилъ Платона Степановича Нахимова \*), которому графъ Строгановъ разсказалъ, какъ я бранилъ его.

— 9 марта. Къ графу Строганову, который проситъ почти не помѣщать статьи въ газетахъ, а въ *Москвитянинѣ*. Очень любезенъ, а толку нѣтъ. *Нынѣ еще не оффиціальныи. Если бы я держалъ вашу сторону, то вамъ бы было худо.* Канкринъ говорилъ: вы не Русскіе, а Петровцы. То-то и есть. Смѣялся надъ Словенами, и говорилъ очень хорошо.

И такъ, въ это время Погодинъ почувствовалъ желаніе возвратиться на Университетскую кафедру. Шевыревъ внесъ въ фа-

\*) Знаменитаго инспектора студентовъ Московскаго Университета.

культетъ предложеніе о приглашеніи Погодина для чтенія лекцій Русской Исторіи; но графъ С. Г. Строгановъ этого не желалъ и, по свидѣтельству самого Погодина, „вспомоществуемый Давыдовымъ, или по крайней мѣрѣ дѣйствовавшій чрезъ него, положилъ мнѣ такіа условія, на которыя рѣшиться было опасно и невозможно. Ясно было, что онъ хотѣлъ отстранить меня и предоставить Русскую Исторію Соловьеву. Я остался въ дуракахъ“<sup>87)</sup>.

Условія эти явствуютъ изъ нижеслѣдующихъ переговоровъ Погодина съ Давыдовымъ. На заявленіе Погодина о своемъ намѣреніи читать лекціи Давыдовъ отвѣчалъ: „Тяжелая болѣзнь, постигшая васъ въ истекшемъ году, принудила васъ оставить служебное поприще, къ общему сожалѣнію товарищей вашихъ и студентовъ. Нынѣ послѣ годичнаго отдохновенія здоровье ваше нѣсколько возстановилось, потому товарищи ваши желали бы снова видѣть васъ на прежней кафедрѣ вашей, еще не замѣщенной. Они поручили мнѣ предложить вамъ чтеніе въ Университетѣ Русской Исторіи какъ почетному члену Университета. Съ принятіемъ на себя чтенія лекцій, вы не стѣсняетесь другими обязанностями, лежащими на профессорахъ“. Одновременно съ этимъ письмомъ И. И. Давыдовъ заявилъ Университетскому Совѣту: „Почетный членъ Московскаго Университета М. П. Погодинъ, согласно съ желаніемъ членовъ Отдѣленія, изъявилъ готовность читать въ Университетѣ лекціи Русской Исторіи, не требуя за то никакого вознагражденія. Отдѣленіе, находя вызовъ г. почетнаго члена полезнымъ, имѣетъ честь представить о семъ Совѣту Университета, для исходатайствованія на это разрѣшенія у высшаго начальства. Само собою разумѣется, что на почетнаго члена не могутъ быть возлагаемы, кромѣ чтенія лекцій, никакія другія обязанности, лежащія на профессорахъ. Сверхъ того, Отдѣленіе въ засѣданіи своемъ, бывшемъ 16 сего августа, опредѣлило: для чтенія Русской Исторіи имѣть въ виду кандидата Соловьева“.

И письмо, и это заявленіе привели Погодина въ негодо-

ваніе, и онъ писалъ Давыдову: „Чѣмъ болѣе читаю ваше письмо, тѣмъ болѣе удивляюсь: какой злой духъ нашепталъ вамъ оное? Я готовъ исполнить желаніе товарищей, радъ читать даромъ, но какъ же вы хотите, чтобъ этотъ трудъ не считался даже и службою университетскою? Не стыдно ли вамъ предлагать, чтобъ я былъ ниже вашего приватъ-доцента? Неужели вы не знаете, что у профессоровъ не останется болѣе двухъ слушателей изъ двадцати, если они будутъ читать какъ почетные члены, и что всѣ эти слушатели перейдутъ къ швейцару Михайлѣ Андрееву, который будетъ ставить баллы. Что же вы хотите выставить меня на позорище, разыграть со мною комедію?

„Вы то, Иванъ Ивановичъ, зная положеніе университетскаго дѣла, какъ могли допустить такое предложеніе? Чѣмъ болѣе читаю ваше письмо, тѣмъ болѣе удивляюсь, какой злой духъ нашепталъ вамъ оное? По крайней мѣрѣ ни одинъ самый зложелательный мнѣ человекъ не могъ придумать мнѣ положенія болѣе унижительнаго и дѣлу вреднаго, не смотря на самыя благопріятныя мои обстоятельства. До сихъ поръ не могу опомниться и жалѣю, что *Карамзинъ* не пускаетъ меня ни на минуту отъ стола. Когда-нибудь объяснимся. Увѣряю васъ, впрочемъ, что я отнюдь не приписываю это намѣренію, а предполагаю несчастное недоразумѣніе. Прилагаемую записку благоволите отдать Д. М. Перевощикову. Я ѣду въ Остафьево \*) переписывать *Слово* \*\*).

На этомъ пока переговоры и кончились. О своей неудачѣ Погодинъ сообщилъ П. А. Муханову, который въ отвѣтъ писалъ ему: „Съ грустью прочиталъ ваше письмо, любезный другъ. За что такия на васъ невзгоды. Вы были всегда добры и великодушны. Но дѣлать нечего и слѣдуетъ терпѣть. Я бы думалъ, чтобы вы хорошо сдѣлали, войдя снова въ службу и снова на

---

\*) Село Московской губерніи, Подольскаго уѣзда, вынѣ принадлежащее князю Петру Павловичу Вяземскому.

\*\*) Похвальное Слово Карамзину, которое Погодину предстояло прознести въ Симбирскѣ при открытіи памятника Исторіографу.



каедрѣ, на которой васъ никто не можетъ замѣнить. Я могу о васъ говорить съ Министромъ. Онъ принимаетъ большее участіе въ вашемъ горѣ, любить васъ и также думаетъ, что вамъ лучше опять за дѣло приняться. Обнимаю васъ душевно, любезнѣйшій другъ. Что бы вамъ пріѣхать погостить ко мнѣ въ Варшаву на всю зиму. Сами бы развлеклись елико возможно, а при томъ бы углубились въ Отечественную Исторію“.

Возвратившись въ Москву послѣ своего Симбирскаго торжества, о которомъ скажемъ ниже, Погодинъ снова завелъ переговоры съ И. И. Давыдовымъ. 28 октября 1845 года И. И. Давыдовъ писалъ ему: „На письмо ваше, отъ 18 текущаго октября, по причинѣ непрерывныхъ служебныхъ занятій, не могъ я отвѣчать вамъ до сихъ поръ; но первымъ воскреснымъ досугомъ послѣшаю воспользоваться, чтобъ съ вами и о васъ побесѣдовать. Письмо ваше, котораго я, уважая васъ, не покажу членамъ Отдѣленія, хотя вы объ этомъ просите меня, это письмо ваше отзывается нѣкоторымъ негодованіемъ. Приведу вамъ на память дѣйствія въ отношеніи къ вамъ членовъ Отдѣленія и Совѣта, и вы, думаю, сознаетесь въ напрасливѣ. По выходѣ вашемъ изъ Университета члены Отдѣленія и Совѣта единодушно избрали васъ въ почетные члены Университета. Каедрѣ Русской Исторіи въ продолженіе цѣлаго года не была объявлена вакантною, какъ бы слѣдовало объявить, въ томъ предположеніи, что вы снова могли бъ ее занять. На магистерскій экзаменъ изъ Русской Исторіи вы были приглашены Отдѣленіемъ, и отъ васъ Отдѣленіе выслушало отзывъ о диссертациі нынѣшняго вашего преемника. Когда вы почувствовали облегченіе отъ болѣзни, Отдѣленіе чрезъ декана своего (*quoniam pars magna fui*) предложило вамъ чтеніе лекцій Русской Исторіи. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ я былъ вѣрнымъ вашимъ адвокатомъ. Въмѣсто ожидаемаго отъ васъ согласія вамъ угодно было запутать дѣло ваше о чтеніи лекцій недоразумѣніями и требованіями неисполнимыми. Что жъ оставалось дѣлать Отдѣленію и Совѣту? Лекціи Русской Исторіи должны были начинаться съ 1 Сентября; вы же

рѣшительнаго согласія не изъявили, а потому ультиматумомъ было порученіе лекцій Русской Исторіи магистру, вашему преемнику. По возвращеніи вашемъ изъ путешествія, когда всѣ учебныя часы студентовъ уже были заняты, вы увѣдомили меня письмомъ о желаніи вашемъ возобновить лекціи, все-таки съ извѣстными условіями. Вслѣдствіе этого, въ одномъ изъ засѣданій Отдѣленія, кромѣ другихъ дѣлъ, члены съ должнымъ вниманіемъ разсуждали и о вашемъ, только не въ продолженіе двухъ часовъ, какъ вы пишете, и положили представить Совѣту, что Отдѣленіе находитъ полезнымъ чтеніе вами Русской Исторіи для желающихъ студентовъ, потому что обязательныя для студентовъ лекціи этого же предмета уже читаются другимъ. Сужденіе объ этомъ происходило спокойно и съ подобающимъ уваженіемъ, и никто отсутствующаго не думалъ *пилить тупыми ножами*, какъ вы выражаетесь. Одинъ даже изъ членовъ, принимавшій въ этомъ дѣлѣ самое живое участіе, замѣтилъ, что вы этимъ опредѣленіемъ Отдѣленія останетесь довольны. Вотъ дѣйствія членовъ Отдѣленія, за которыя вы на нихъ негодуете! Вы оскорбляетесь и обыкновенною формой представленія Совѣту о вашемъ желаніи; но вамъ, какъ ветерану университетскому, извѣстно, что между Отдѣленіемъ и Совѣтомъ нѣтъ другой формы общенія. Признаюсь, я ожидалъ отъ васъ себѣ и товарищамъ *Русскаго спасибо*, а не того, чѣмъ вы повершили всѣ наши старанія. Богъ вамъ судья! Я увѣренъ, что, обдумавъ безпристрастно все дѣло, признаетесь, какъ я сказалъ въ началѣ письма, въ напраслинѣ, какою вы взводите на членовъ Отдѣленія. Что касается до меня лично, то, по весьма многимъ даннымъ, я ожидалъ отъ васъ гораздо большей довѣренности и чистосердечія“ <sup>88</sup>).

Въ концѣ концовъ И. И. Давыдовъ донесъ Ректору Московскаго Университета, что Погодинъ „предложенія читать *желающимъ* студентамъ принять не можетъ по безпри-  
мѣрности онаго въ лѣтописяхъ Московскаго Университета“ <sup>89</sup>).

Такъ совершился крутой поворотъ въ жизни Погодина,

и онъ волею и неволею сдѣлался государственнымъ пенсионеромъ. „Нынче“, писалъ онъ Шевыреву, — „въ первый разъ принесли мнѣ пенсію, и ты не можешь представить, любезный Степанъ Петровичъ, какъ я разстроился! Мнѣ стало совѣстно даромъ получать деньги казенныя, хотя онѣ и застали меня за приготовленіемъ въ печати лекцій объ Олгѣ. Я даже заплакалъ. Какъ мнѣ хочется повидаться съ тобою, но такая даль. До завтра! Странное созданіе человѣкъ, а я еще страннѣе. Прощай!“ Въ другомъ письмѣ, выражая сожалѣніе Шевыреву, что рѣдко его видитъ, Погодинъ писалъ ему: „Мнѣ очень жаль, что ты не прїѣзжалъ ко мнѣ ни разу на вакаціи... побесѣдовать. Я теперь въ особомъ положеніи, и въ размышленіяхъ, и въ разговорахъ, и въ чтеніи встрѣчается много интереснаго — въ высшемъ значеніи. Я радъ былъ бы сообщить все это тебѣ, а ты *печинися и молиши о мнозѣ, едино же есть на потребу*. Прїѣзжалъ ты ко мнѣ всегда въ 3 часу, торопясь обѣдать домой; что же успѣешь тутъ сказать, кромѣ текущихъ пустяковъ. Я проповѣдую тебѣ, разумѣется, противъ того, въ чемъ самъ грѣшилъ и грѣшу, но что же дѣлать? Такова наша слабость. Не думай, впрочемъ, чтобъ я оставилъ Русскую Исторію. Нѣтъ, я продолжаю заниматься и очень усердно. Завтра думаю прїѣхать на лекцію къ тебѣ, хотя боюсь, что мнѣ будетъ очень тяжело, увидя себя въ Университетѣ чужимъ. До свиданія!“

#### XIV.

Весьма заблуждался Погодинъ, когда думалъ, что преемника его по кафедрѣ Русской Исторіи въ Московскомъ Университетѣ С. М. Соловьева „одного нельзя оставить, иначе погубишь“. Соловьевъ совсѣмъ не желалъ опекуновъ и не боялся погибнуть.

На первыхъ порахъ, по возвращеніи Соловьева въ Москву, какъ мы уже видѣли, Погодинъ сохранялъ съ нимъ невра-

ждебныя сношенія. „Мнѣ жаль Соловьева“, писалъ Погодину Шевыревъ, — „надобно бы поддержать его. Онъ поторопился. Винавать наибольшій (то-есть, графъ Строгановъ). Балуетъ и торопитъ не въ пору. А по образу мыслей Соловьевъ мнѣ правится. Другіе же, противнаго направленія, рады его затереть. Я замѣтилъ во всѣхъ отступникахъ (Грановскій и Чивилевъ) нерасположеніе къ нему“.

Но эти невраждебныя отношенія между Погодинымъ и Соловьевымъ *другъ къ другу* продолжались не долго, то-есть, до представленія Соловьевымъ своей диссертациі на степень магистра *Объ отношеніяхъ Поворода къ великимъ князьямъ*. Приступивъ къ чтенію диссертациі Соловьева, Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Читалъ диссертацию Соловьева, которою недоволенъ“ <sup>90</sup>).

Еще до защиты своей диссертациі Соловьевъ, по распоряженію графа С. Г. Строганова, былъ избранъ въ преподаватели Русской Исторіи въ Московскомъ Университетѣ <sup>91</sup>). Само собою разумѣется, что это распоряженіе раздражило Погодина. „Вечеромъ былъ Соловьевъ“, отмѣчаетъ Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ*, — „которому Строгановъ велѣлъ готовиться къ лекціямъ, слѣдовательно, не хочетъ меня. Каковъ!“ Между тѣмъ въ томъ же *Дневникѣ* мы читаемъ: „Слухъ, будто я не благопріятствую Соловьеву“. И дѣйствительно, тѣмъ болѣе Погодинъ читалъ диссертацию своего преемника, тѣмъ болѣе оставался ею недоволенъ.

Наконецъ наступилъ день диспута; за нѣсколько дней предъ онымъ (29 сентября 1845) Погодинъ получаетъ слѣдующую записочку отъ И. И. Давыдова: „Имѣю честь увѣдомить васъ, что въ слѣдующую среду, 3 октября, въ часъ пополудни, будетъ диспутъ кандидата Соловьева. Я увѣренъ, что вы удостоите своимъ посѣщеніемъ Минервинъ праздникъ молодого ученаго“. Въ самый день диспута Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Читалъ Соловьева. Ужасный вздоръ, а на диспутъ Бодянский, Давыдовъ и прочіе чинятъ поклоненіе новой мысли. Говорятъ мои мысли, а хоть бы кто вспомнилъ

обо мнѣ. Передъ диспутомъ Чивилевъ сказалъ мнѣ, что рас-  
пущенъ слухъ о намѣреніи моемъ возстать на Соловьева, мо-  
гутъ студенты быть подготовленными. Ахъ подлецы какіе! Я  
сказалъ нѣсколько словъ въ похвалу. . . . . Строга-  
новъ, осмѣлился выговаривать мнѣ, затѣмъ я мало возражалъ  
и не сказалъ ему мнѣнія ни объ диссертациі, ни объ лекціи,  
котораго онъ у меня не спрашивалъ. Какъ будто радуются  
и торжествуютъ мое пораженіе. Несчастные! Что я вамъ сдѣ-  
лалъ кромѣ пользы! Очень непріятное расположеніе духа".  
Нѣсколько дней спустя Погодинъ обѣдалъ у Шевырева и за-  
мѣтилъ: „Говорили о диспутѣ. Наглость Соловьева замѣтилъ  
и онъ“<sup>92)</sup>.

Во всякомъ случаѣ диссертациа Соловьева имѣла полный  
и вполнѣ заслуженный успѣхъ. Старикъ А. И. Тургеневъ не  
задолго до своей смерти писалъ Сербиновичу: „Читали ли  
диссертацию Соловьева, вступившаго здѣсь на кафедру Пого-  
дина, объ отношеніяхъ Москвы къ Новгороду? Примѣчательное  
явленіе въ нашей безотрадной литературѣ, хотя автора и  
упрекаютъ въ *излишнемъ молчаніи* о Карамзинѣ“<sup>93)</sup>. По  
свидѣтельству К. Н. Бестужева-Рюмина, „книгу Соловьева  
встрѣтили привѣтливо въ журналистикѣ, тогда ревностно слѣ-  
дившей за ученою литературой. Я помню въ высшей степени  
сочувственную статью въ *Отечественныхъ Запискахъ*; общая  
надежда тогда обращалась на Соловьева. Позволю себѣ лич-  
ное воспоминаніе: Я помню, съ какою жадностью читалъ я  
тогда эту диссертацию и какимъ неожиданнымъ свѣтомъ обли-  
лись для меня событія древней Русской Исторіи. Нельзя не  
сознаться въ томъ, что диссертациа Соловьева поставила одинъ  
изъ важнѣйшихъ вопросовъ Русской Исторіи на настоящую  
почву. Сличеніе Новгорода съ средневѣковыми городами, ко-  
торое тогда было очень въ ходу, стало невозможнымъ, лишь  
только Соловьевъ показалъ, какъ выросли Новгородскія учре-  
жденія на туземной почвѣ, какъ много было въ жизни Нов-  
города общаго съ жизнью другихъ Русскихъ городовъ... Его  
теорія *старыхъ и новыхъ городовъ* основана столько же на

известномъ мѣстѣ Лѣтописи: на чемъ старшіе положатъ, на томъ и природѣ станутъ, сколько и на аналогіи съ античнымъ міромъ. Теорія старыхъ и новыхъ городовъ едва ли можетъ считаться вполне безупречною; во всякомъ случаѣ она объясняетъ переходъ отъ Киевской къ Суздальской Руси односторонне; тѣмъ не менѣе мы должны признать, что эта остроумная гипотеза сослужила свое дѣло: указала на необходимость найти внутреннюю связь между двумя періодами Русской исторической жизни“ <sup>81)</sup>).

Вскорѣ послѣ диспута Соловьева Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Утромъ былъ у меня Соловьевъ, какъ ни въ чемъ не бывалый. А удивительно это остервенѣніе противъ меня. За что!“ Въ дополненіе къ этой записи приведемъ еще слѣдующее любопытное письмо Шевырева къ Погодину: „Много разъ я тебѣ говорилъ и опять повторяю: дурно ты дѣлаешь, что пренебрегаешь молодежью. Съ такимъ презрѣніемъ къ ней нельзя продолжать изданія журнала. Тщетно я хочу быть примирителемъ—никакъ не могу. Но ты меня почти никогда не слушаешься—и это не въ первый разъ. Я дѣлаю все что могу въ твою пользу, но нигдѣ не нахожу сочувствія — и долженъ сказать тебѣ о томъ искренно. Я одинъ остаюсь тебѣ вѣренъ. Но мои силы ограничены. Ты всему вредишь своимъ упрямствомъ и излишнею гордостью“.

Письмо это было получено 23 декабря 1845 г., и подъ тѣмъ же числомъ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Письмо отъ Шевырева, который обвиняетъ, что я отдаляю отъ себя молодежь гордостью! Какая это молодежь? Обѣдать къ Шевыреву. Осуждаетъ меня за мою строгость къ молодому поколѣнію. Но кто они? Что они дѣлали прежде? Что могутъ терпѣть. Жалкая посредственность, которой самолюбіе, чуя мое мнѣніе, раздражилось. Рассказывалъ о рецензіи *Разсужденія* Соловьева, которое начинается эру!“

---

## XV.

Убѣдившись, что двери Московскаго Университета предъ нимъ навсегда закрылись, Погодинъ излилъ свою горечь въ слѣдующемъ письмѣ къ графу С. Г. Строганову: „Вчера я говорилъ съ вашимъ сіятельствомъ разстроенный, отрывками, безъ этой приличной формы, въ которой упрекалъ меня Гоголь. Долгомъ считаю повторить слова мои хотя вкратцѣ, но въ порядкѣ... Не сузу ли я васъ несправедливо, ибо я не только порицалъ васъ, осуждалъ ваше управленіе до высочайшей степени, но сомнѣвался наконецъ въ вашей благонамѣренности. Мнѣ больно было бы быть предъ вами несправедливымъ! Въ чемъ же состоитъ мое осужденіе? Университетъ Московскій спитъ глубокимъ сномъ, каковаго никогда въ немъ не бывало. Ученой жизни между профессорами никакой. Укажите мнѣ хоть на одинъ трудъ, которымъ бы занимался какой профессоръ, кромѣ нѣкоторыхъ старыхъ. Даже руководства не выдалъ никто. Въ десять лѣтъ пора бы сдѣлать это. Не выходило никакого перевода, Университетъ съ своей типографіей не издаетъ ничего, ни ученаго журнала, не издалъ никакой книги. Когда это бывало? Сочиненіе рѣчей ежегодныхъ подвергается величайшимъ затрудненіямъ... Это о профессорахъ. Между студентами, кромѣ ученія тетрадокъ, участія, жизни также никакой!.. Отчаянная мертвенность!.... Литература убита. Никто въ Москвѣ ничего не пишетъ..., ссылаясь, по Русской глѣни на цензуру, которой ужаснѣе вообразить трудно... Одинъ журналъ \*), который цѣлая партія считаетъ официальнымъ, а между тѣмъ ни одного нумера не проходитъ безъ затрудненія, такъ что нѣсколько разъ я хотѣлъ уничтожить его. Только по первому нумеру я вижу, что преемникъ мой \*\*) не выдержитъ полгода. А въ Петербургѣ, на оборотъ, пропускаютъ Богъ знаетъ что. Въ Петербургѣ можно зажигать, а намъ нельзя кричать — пожаръ. Литература

\*) То-есть, *Москвитинъ*.

\*\*) То-есть, И. В. Кирѣевскій.

убита въ тѣхъ поколѣніяхъ, которыя воспитались подъ вашимъ попечительствомъ: въ первые годы вы просто запрещали вслѣдствіе нелѣпныхъ навѣтовъ пріѣхавшихъ юношей. Никто изъ студентовъ не смѣлъ писать, кончивъ курсъ они не могутъ уже писать, какъ ихъ профессора, ибо чтобы писать хорошо надо прежде писать дурно, а дурно писать совѣстно кандидату, какъ и профессору; они и обречены на всегдашнее безмолвіе. Когда я вышелъ изъ Университета, одинъ острякъ сказалъ: *ну въдь теперь Шевыреву и Давыдову съ Перевощиковымъ выходитъ срокъ, и графъ Строгановъ будетъ имѣть удовольствіе сказать, что онъ оставилъ Университетъ безграмотнымъ!*

„Московскій Университетъ, храмъ Русской Словесности, безграмотный!—А согласитесь, что это такъ. вмѣстѣ съ Литературой убито и Словесное Отдѣленіе. Ужаснѣе его положенія нельзя придумать... Вы составляете юридическое отдѣленіе, которому уже и публика начинаетъ произносить судъ. Безграмотность есть еще самый сносный порокъ его... Студентъ—выучившій наизусть нѣсколько тетрадей и разучившійся писать по Русски и читать по Латыни. Это со всякимъ годомъ хуже. Еслибъ вы отдали мнѣ вашего камердинера лѣтъ пять тому назадъ, вы имѣли бы теперь кандидата въ вашимъ услугамъ, впрочемъ даже имѣете подобныхъ... Что вы мнѣ говорите о гимназіяхъ? Неужели три человѣка, положимъ, отличные изъ каждой, могутъ служить мѣриломъ ихъ усовершенствованія... Я знаю Московскія гимназіи, въ коихъ васъ обманываютъ даже до жалости!.. Знаю даровитыхъ вашихъ педагоговъ, знаю, что происходитъ за ихъ кулисами, а вы сидите въ царской ложѣ. Профессора знаютъ, что ничѣмъ нельзя огорчить васъ болѣе какъ осужденіемъ гимназій, и присутствуютъ молча на экзаменахъ, и хвалятъ по чувству самосохраненія...

„Вы говорите, что вамъ и другіе говорятъ правду, и что имѣете средства узнавать ее, что всѣ утверждаютъ васъ въ мнѣніи объ успѣхахъ. У Александра Македонскаго шея была



немножко наклонена, и все войско стало кривить шею... Вы любите Латинскій языкъ, хотя его не знаете, и всѣ учителя заплѣли въ рѣчахъ своихъ панегирики классическому образованію, котораго ни духу, ни смысла не понимаютъ. Я былъ на актѣ въ гимназіи, видѣлъ лица учителей!!

„Заклучу, какъ Карамзинъ сказалъ въ IX-мъ томѣ: *Отсель начало злу*, а такимъ образомъ: вы пріѣхали съ гордою мыслию начать новую эру, я самъ думалъ такъ, и привезли съ собою новыхъ людей: все старое негодится, по вашему мнѣнію, и профессора, и учителя... Вы роздали имъ мѣста, а изъ нихъ одинъ жену пояхъ, другой село купихъ, третій спился, четвертый проигрался, пятый излѣнился, шестой одурѣлъ, имъ—жизнь поддерживать ваше старое мнѣніе, а вамъ горько разставаться съ своими мечтами... Богъ наказалъ васъ за гордость и не благословилъ вашихъ трудовъ... Десять вашихъ фаворитовъ оказались уже негодными и разлѣхались. Съ каждымъ годомъ вы будете удостоверяться и во всѣхъ прочихъ, ибо истина возьметъ свое. Горько вы будете плакать, и мнѣ жаль васъ, ибо я ненавижу васъ умомъ, а сердцемъ болѣю о васъ. Вы боитесь, какъ и многіе изъ нашихъ государственныхъ людей, держать при себѣ такихъ совѣтниковъ, которые публично могли бы приписать себѣ часть вашихъ дѣйствій, и остаетесь во власти посредственности, которая всегда бываетъ хитрѣе способностей, и дѣлаетъ съ нами рѣшительно все, что угодно, подъ видомъ покорнѣйшаго исполненія вашихъ приказаній. Нѣтъ, графъ, система пагубная. Если вы будете слушать какого бы то ни было дѣльнаго человека, все-таки слава будетъ принадлежать вамъ болѣею частью, нежели ему, ибо безъ васъ онъ не могъ же сдѣлать ничего. Меценатъ не поправлялъ стихотвореній Virgilіа, за что вы беретесь ежеминутно, а только доставлялъ ему возможность писать стихи, и имя его произносится рядомъ съ Virgiliemъ, Goraціemъ, Ovidіemъ. Таковъ былъ и Муравьевъ. А вы сами во все вступаетесь, считая себя умнѣе всѣхъ... Неужели такъ дурно, такъ отчаянно?

Да, такъ дурно и такъ отчаянно, какъ на Кавказѣ. Но явился туда Ермоловъ, а можетъ быть и Воронцовъ, все будетъ хорошо, и тѣ же люди будутъ не тѣ... Читая это, вы вѣрно думаете—что же, онъ, что ли, якорь спасенія, этотъ совѣтникъ? Да, я! Я не пессимистъ и по самому легковѣрію своему склоннѣе видѣть все въ розовомъ цвѣтѣ, чѣмъ въ темномъ. Я не золь отъ природы, при всѣхъ прочихъ своихъ порокахъ, но никогда не ненавидѣлъ я своихъ явныхъ враговъ: васъ ненавижу я только умомъ, не сердцемъ, и если я вышелъ изъ Университета, такъ для того, что не былъ удержанъ: вы облегчили для меня эту тяжелую операцію, которую я надъ собою дѣлалъ, и могу сказать это не обинуясь, потому что оставилъ Университетъ и не хочу никакого мѣста и никакихъ наградъ. Вы знаете, въ какомъ я положеніи. Даже трудъ, которому я обреченъ совершенно, сочиненіе Исторіи, трудъ, который ставилъ я выше всѣхъ почестей и министерствъ, и тотъ трудъ не имѣетъ для меня своей прелести. Смѣюсь я славѣ, еслибы я получилъ ее. Я началъ смотрѣть на него, какъ на исполненіе своего долга, какъ на употребленіе тѣмъ драхмъ, что даны мнѣ для приращенія. Слѣдовательно, я говорю, не имѣя никакихъ видовъ, какъ гражданинъ и человѣкъ! Обо всемъ этомъ могу написать книгу, со всѣми *pièces justificatives*, а теперь пишу вамъ это краткое оглавленіе, въ очищеніе моей совѣсти... Съ моей стороны я предлагаю самъ пожертвовать вамъ одинъ вечеръ въ недѣлю и разобрать предъ вами по очереди всѣ вопросы Русскаго просвѣщенія по одиночѣй, разумѣется, по колику они относятся къ Университету. Напримѣръ: пріемные экзамены, переводные экзамены, выпускные экзамены, составъ словеснаго факультета, юридическаго, о гимнастическихъ учителяхъ, о методахъ, и пр. Я желалъ бы говорить съ вами всегда при свидѣтеляхъ, но крайней мѣрѣ при вашемъ секретарѣ, котораго считаю честнымъ и благороднымъ человекомъ: пусть онъ держитъ вѣрный протоколъ моихъ предложеній, который бы могъ на вѣки вѣчные остаться докумен-

томъ ихъ справедливости, ибо я боюсь не гласности, а скрытности. Въ заключеніе двадцать человѣкъ университетскихъ профессоровъ я могу убѣдить подписать мою картину, а другихъ двадцать заставить.

„Не читайте моего письма такъ легко, какъ вы меня слушали, стараясь только отпарировать мои несвязные удары, въ чемъ вы всегда успѣете, какъ свѣтскій умный человѣкъ! Нѣтъ, заprite у себя дверь, помолитесь Богу, и съ чистымъ сердцемъ, съ какимъ пишу, подумайте объ его содержаніи. Можетъ быть, завѣса и упадетъ хотъ нѣсколько съ вашихъ глазъ, о чемъ непрестанно буду молить Бога и отъ искренняго сердца желать вамъ...

„Клянусь вамъ предъ образомъ, какъ христіанинъ, какъ гражданинъ предъ портретомъ Карамзина, положи руку на сердце, съ тою же искренностью и любовью въ просвѣщенію, какъ говорилъ въ 1835 году, что мнѣ васъ истинно жалко. Я почти уже не сомнѣваюсь въ вашемъ желаніи, вижу ваши труды...”

Письмо это, безъ сомнѣнія, очень рѣзко, но мы имѣемъ достовѣрныя данныя, что оно осталось въ портфель Погодина безъ дальнѣйшаго движенія.

Чтобы не впасть вмѣстѣ съ Погодинымъ въ односторонность сужденія о состояніи Московскаго Университета подъ управленіемъ графа С. Г. Строганова, приведемъ свидѣтельство питомца того же Университета и преданнаго ученика Погодина, князя В. А. Черкаскаго: „Я вступилъ въ Московскій Университетъ въ 1840 году, вышелъ изъ него въ 1844 году, слѣдовательно, находился въ немъ въ минуту полнаго по возможности его созрѣнія, когда семь лѣтъ, протекихъ послѣ его преобразованія, уже начали опытомъ своимъ оправдывать и укоренять многія изъ введенныхъ въ жизнь его новыхъ началъ. Къ слишкомъ быстро протекившимъ сорокъ первымъ годамъ принадлежитъ наибольшее количество защищенныхъ дѣльныхъ магистерскихъ разсужденій въ Университетѣ, и болѣе или менѣе оправдавшихся впослѣд-

ствіи призваній къ ученой дѣятельности и профессурѣ питомцевъ обновившагося Университета. Подъ вліяніемъ свободного развитія, предоставленнаго ему графомъ Строгановымъ росло и крѣпло въ немъ историческое направленіе, дѣльно выражался во всей умственной жизни тогдашней Москвы; то было время процвѣтанья публичныхъ лекцій и многихъ изданій—*Чтеній Общества Исторіи и Древностей, Юридическихъ Записокъ, многихъ отличныхъ Сборниковъ, Москвитянина* и прочее. То была также пора болѣе или менѣе вѣжливыхъ турнировъ и борьбы Словенъ и Западниковъ. Счастливое время, когда турниръ не былъ смѣшонъ и между людьми мыслящими могло существовать искреннее разногласіе! Все это прошло,—дай Богъ, чтобы не прошло безвозвратно,—но во всякомъ случаѣ прошло для нашего поколѣнія, оставивъ по себѣ единственнымъ слѣдомъ несбывшіяся надежды и неутѣшительную дѣйствительность. Какъ бы то ни было, но всѣ эти внѣшнія, близкія Университету, вѣянія имѣли въ то время благотѣлнѣйшее дѣйствіе на образъ мыслей и занятій моихъ товарищей. Первый курсъ постоянно ежегодно наполнялся множествомъ незрѣлыхъ питомцевъ семейной жизни; строгій переходный экзаменъ съ перваго на второй курсъ немедленно отдѣлялъ надежныхъ студентовъ отъ семейныхъ баловней и возвращалъ послѣднихъ естественному ихъ назначенію—военной службѣ или свѣтской жизни; перешедшіе же на второй курсъ, живя и развиваясь въ благопріятной свободной атмосферѣ, часто дѣлались людьми дѣльными и постоянно выносили съ собою изъ Университета по крайней мѣрѣ уваженіе къ наукѣ, чувство личнаго достоинства и теплое сочувствіе ко всякому благородному стремленію. Таковыми я неизмѣнно встрѣчалъ всѣхъ, даже самыхъ дюжинныхъ товарищей своихъ, впоследствии, въ жизни, среди многостороннихъ ея искушеній и трудностей. Съ 1842 года введены были въ Университетъ окончательно двѣ мѣры внутренней организаціи, значительно облегчившія правильныя занятія наши: отмѣнены на двухъ послѣднихъ

курсахъ полугодичныя репетиціи и распредѣлены предметы по курсамъ въ логической ихъ послѣдовательности; особенно первая мѣра значительно возвысила уровень умственной дѣятельности студентовъ. Господствующее направленіе въ Университетѣ, сказалъ я, было историческое... Преподаваніе, имѣвшее на меня вліяніе и, конечно, не оставшееся чуждымъ образованію склада ума многихъ товарищей, было преподаваніе тогдашняго декана нашего, Никиты Ивановича Крылова. То былъ рѣзкій, трезвый умъ, воспитанный и искусившійся на основательномъ изученіи Римскихъ юристовъ и въ блистательное живое слово облекавшій ихъ строгую логику... По художественной своей отдѣлкѣ и теплотѣ постоянного, соотрѣвавшего ихъ чувства отличались чтенія Тимофея Николаевича Грановскаго. Наконецъ, и Рѣдкинъ, не взирая на многія слабости стороны, былъ далеко не бесполезенъ, и на первомъ курсѣ своимъ изложеніемъ энциклопедіи поселялъ въ умы неопытныхъ слушателей довольно ясное сознаніе ихъ невѣжества, а слѣдовательно — и необходимости серьезнаго занятія; на четвертомъ курсѣ иногда случалось ему мастерски прочесть нѣсколько лекцій объ иностранныхъ государственныхъ учрежденіяхъ. Такъ росъ и мужалъ Университетъ нашъ“ <sup>86</sup>).

## XVI.

Потерпѣвъ семейное несчастье и непріятности по службѣ, Погодинъ стремился просвѣтить и успокоить свою душу упражненіями въ дѣлахъ благочестія. Посѣтивъ умирающаго въ больницѣ бѣдняка Бусилина, онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „На ночь къ Бусилину, которому надежды нѣтъ. Онъ очень обрадовался, развеселился. Читалъ ему Евангеліе, толковали о жизни. Въ промежуткахъ онъ рассказывалъ о Болгаріи. Поучительно посѣщать больницы и пощае. Эти стоны доходятъ до сердца. Во всю ночь я вздремнулъ съ часъ и провелъ съ удовольствіемъ внутреннимъ въ память моей

души<sup>96</sup>). Въ это же время Погодину пришла мысль отправиться на поклоненіе въ Іерусалимъ. Въ *Дневникъ* его мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 29 января 1845. Ввечеру прочелъ въ *Воскресномъ Читаніи* объ Іорданѣ и вздумалъ ѣхать въ Іерусалимъ говѣть, если Богу угодно.

— 6 февраля. Читалъ Норова.

Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ предложилъ А. В. Горскому ему сопутствовать. Предложеніе это пришлось Горскому по сердцу, и по поводу онаго между ними завязалась переписка.

„Что отвѣчать мнѣ“, писалъ Горскій, — „на ваше неожиданное предложеніе? Первое впечатлѣніе было таково, что я сейчасъ бы готовъ былъ вернуться въ Москву, чтобы посоветоваться съ вами, какъ лучше устроить путь. Потомъ, когда сталъ я обдумывать то, другое, — начали мнѣ представляться различныя затрудненія. Теперь мысль моя остановилась на слѣдующихъ соображеніяхъ: Для меня не будетъ, можетъ быть, случая болѣе удобнаго къ осуществленію моихъ давнишнихъ желаній, какъ настоящій. Ваше содѣйствіе къ исходатайствованію увольненія, ваше товарищество, знакомство ваше съ людьми, которые могутъ открыть путь ко всему — это такія обстоятельства, которыя едва ли повторятся. Но 1) я не столько приготовился ученымъ образомъ къ знакомству съ новыми для меня странами; 2) срокъ, назначаемый вами для отъѣзда изъ Москвы, слишкомъ коротокъ: едва ли мнѣ можно надѣяться на полученіе въ столь короткое время увольненія изъ Петербурга, особенно послѣ того, какъ теперь прошла и еще недѣля ни въ чемъ; 3) проѣздъ, вами предполагаемый, до Іерусалима — слишкомъ быстръ. Что успѣемъ мы видѣть въ Константинополѣ! Между тѣмъ во Святомъ Городѣ предметы благоговѣнія остаются тѣ же и послѣ Пасхи, какіе можно видѣть въ Пасху. Не будетъ только людей и церемоній, которыя, однакожъ, сколько извѣстно, совершаются у насъ во многомъ торжественнѣе, чѣмъ тамъ. Итакъ, нельзя ли будетъ вамъ недѣли на двѣ

отсрочить свое отправленіе изъ Москвы и притомъ отдѣлить болѣе времени для обозрѣнія замѣчательнѣйшихъ мѣстъ на пути, котораго повторить не придется. Конечно, и при этомъ мы не успѣемъ что-нибудь изслѣдовать ученымъ образомъ, но впечатлѣнія наши будутъ гораздо обстоятельнѣе, вѣрнѣе. — Если вы согласитесь на то, то я, получивъ отъ васъ увѣдомленіе, рѣшился бы просить у начальства дозволенія, и, при вашемъ содѣйствіи предъ Графомъ \*) и нашимъ Преосвященнымъ, можетъ быть, получилъ бы его. Если Господь все устроитъ такъ, если мои грѣхи не воспрепятствуютъ исполненію моихъ пламенныхъ желаній, тогда буду просить васъ о неоставленіи меня денежными способами. Пишу объ этомъ къ вамъ, изливъ только предъ Господомъ моимъ душу мою и посовѣтовавшись съ однимъ изъ близкихъ ко мнѣ, который не принадлежитъ къ числу *медленныхъ*“.

Не дождавшись отвѣта, Горскій писалъ Погодину: „Думаю, что мои соображенія не будутъ согласны съ вашимъ планомъ путешествія и спѣшу освободить васъ отъ затрудненія примирить ихъ. Оставьте меня въ богоспасаемой обители. По отправленіи письма своего къ вамъ, и самъ я, и другіе, съ кѣмъ говорилъ я, нашли довольно важныя препятствія къ исполненію предполагаемаго дѣла. На мнѣ лежитъ обязанность бібліотекаря Академіи; помощникъ мой боленъ, и притомъ неопытенъ, только что опредѣленъ къ сей должности. Отсутствіе мое можетъ быть, по этимъ обстоятельствамъ, непріятно очень для многихъ. По ходу нашихъ дѣлъ никакъ нельзя скоро ожидать увольненія изъ Петербурга, о чемъ я уже и писалъ вамъ. — Вы пишете, чтобы я взялъ какое-нибудь порученіе по своей наукѣ. Но, во первыхъ, этого у насъ нѣтъ въ обычаѣ; наше духовно-училищное начальство, если когда и дѣлаетъ порученія, то само избираетъ и предметъ, и людей. Въ вторыхъ, частные вопросы географическіе или историческіе, какіе можно дать себѣ для рѣшенія, будутъ ли оцѣнены и признаны столько важными, чтобы для нихъ нужно

\*) Николаемъ Александровичемъ Протасовымъ.

было предпринимать отдаленное путешествіе. При томъ, что мнѣ указать такое, на что не было обращено должнаго вниманія, что требуетъ болѣе опытнаго изслѣдователя, нежели каковы были доселѣ: Бургартъ, Робинзонъ и др. Совѣстно ставить свое имя подлѣ нихъ. Новымъ и, можетъ быть, полезнымъ для церкви было бы обзорѣніе Греческихъ библіотекъ, какъ показали нѣкоторые опыты, сдѣланные и Русскими. Но я не знаю, какія именно мѣста должно указать, гдѣ мы можемъ быть. Не знаю и не могу распоряжаться со всѣмъ свободнымъ временемъ, нужнымъ для этого дѣла. Наконецъ, при краткости остающагося времени до предполагаемаго срока отправленія, я не могу еще обойтись безъ предварительнаго сношенія съ вами о томъ: какъ и чрезъ кого нужно будетъ получить видъ для проѣзда? какія именно страны нужно было бы указать въ прошеніи объ увольненіи, составляющія дѣло путешествія? сколько именно потребуется для сего времени? Безъ всего этого нельзя мнѣ приступить къ дѣлу. Сколько же еще времени пройдетъ въ перепискѣ?— Итакъ, я думаю, мнѣ остается просить Господа, чтобы Онъ, хотя вамъ, даровалъ утѣшеніе видѣть Св. Землю и лобызать стопы Спасителя; а васъ прошу не забыть моего грѣшнаго имени, когда будете возносить молитвы о себѣ и всѣхъ близкихъ къ вамъ, на Голгоѣѣ, гдѣ принесена искупительная за всѣхъ жертва.—Господь, вездѣ сый и все исполняй, да соединитъ насъ въ общемъ благоговѣйномъ призваніи Его святаго и всеосвящающаго имени“.

Получивъ же отвѣтъ отъ Погодина, Горскій писалъ ему: „Изъ письма вашего вижу, что вы уже не такъ поспѣшно думаете отправиться въ Св. Землю, какъ предполагали прежде. Это оживило и мои надежды на сопутничество вамъ, если наше начальство не откажетъ мнѣ въ просьбѣ. Прочія затрудненія буду стараться устранять при пособіи благорасположенныхъ сотрудниковъ моихъ и товарищей, а отъ васъ ожидаю обстоятельнаго увѣдомленія о планѣ предполагаемаго путешествія и о способахъ къ исходатайствованію загранич-



наго паспорта. Вы спрашиваете о климатѣ въ Палестинѣ и Египтѣ? Вотъ что нашелъ я въ описаніяхъ путешественниковъ. Въ Палестинѣ климатъ не вездѣ одинаковъ по причинѣ неодинаковой высоты земли надъ моремъ. Въ долинѣ, гдѣ течетъ Иорданъ, обыкновенно жарче, нежели въ средней полосѣ страны, такъ что и жатва поспѣваетъ здѣсь двумя недѣлями раньше, нежели около Іерусалима. Въ продолженіе апрѣля и мая небо обыкновенно ясно въ Іерусалимѣ, воздухъ легкій и бальзамическій, видъ природы въ годы, когда дождь упадетъ въ обыкновенной мѣрѣ, пріятенъ для глазъ, все еще зелено. Дожди въ май—рѣдкое явленіе. Высокое мѣстоположеніе Іерусалима даетъ ему преимущество пользоваться чистымъ воздухомъ, и жаръ лѣтній не такъ тяжекъ здѣсь, исключая то время, когда дуетъ юго-западный вѣтеръ, или сирокко. „Въ продолженіе нашего пребыванія въ Іерусалимѣ, отъ 14 апрѣля до 6 мая (по новому стилю)“, пишетъ Робинзонъ въ 1838 г.,—„термометръ при восхожденіи солнца показывалъ отъ 5° до 14° по Реом., а около 2 час. по полудни отъ 12° до 21° Р. До послѣдняго градуса доходило 30 апрѣля, когда дулъ сирокко. Отъ 10 до іюня въ Іерусалимѣ при восхожденіи солнца было отъ 10° до 19°, а около 2 час. по полудни однажды было до 24°, при сильномъ сѣверо-западномъ вѣтрѣ. Однакоже воздухъ былъ пріятенъ и жаръ не тяжекъ“. Въ Египтѣ Среднемъ, именно въ Каирѣ, въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ термометръ обыкновенно стоитъ между 24 и 25 градусами. Въ Верхнемъ Египтѣ еще жарче. Въ Нижнемъ Египтѣ климатъ гораздо умѣреннѣе. Зимніе мѣсяцы, съ начала ноября до начала марта самые пріятныя. Но на климатъ въ Египтѣ особенное вліяніе имѣютъ вѣтры. Съ іюня до половины сентября господствуетъ сѣверный и сѣверовосточный вѣтеръ. Въ мѣсяцахъ мартѣ и апрѣлѣ—юговосточный и югозападный. Самый непріятный изъ этихъ южныхъ вѣтровъ тотъ, который дуетъ около весенняго равноденствія въ продолженіе пятнадцати дней, отъ чего и называется khamsin, что значитъ съ Арабскаго пятнадцать. Жаръ его едва выносимъ:

термометръ отъ 16, 18, 20 градусовъ возвышается до 30, 36 и даже до 38 градусовъ. Небо становится мрачно, солнце теряетъ свой блескъ и получаетъ видъ фіолетоваго кружева, и пр. и пр. Передаю вамъ эти свѣдѣнія для вашихъ соображеній; они заимствованы изъ книгъ достовѣрныхъ путешественниковъ и тщательныхъ наблюдателей. Въ Одессѣ, если мало знакомыхъ у васъ, то есть, хотя нѣтъ высокихъ людей, знакомые у меня. Одинъ тамошній протоіерей Знаменскій—мой землякъ и ученикъ; другой назадъ тому года три-четыре перешелъ изъ Виѣвской Семинаріи туда. Ректоръ Семинаріи также знакомый человѣкъ по Академіи; Преосвященный \*)—мнѣ землякъ; впрочемъ ни съ кѣмъ я не въ перепискѣ“.

Между тѣмъ Погодинъ подалъ уже просьбу Министру Народнаго Просвѣщенія объ увольненіи его въ заграничный отпускъ; но Комовскій писалъ ему: „С. С. Уваровъ, готовый по вашей просьбѣ ходатайствовать объ отпускѣ васъ въ Іерусалимъ, затруднился подписать записку докладную Государю до полученія и дополнительныхъ, и опредѣлительныхъ свѣдѣній“.

Когда же до Гоголя дошло извѣстіе о намѣреніи Погодина ѣхать въ Іерусалимъ, то онъ написалъ Языкову изъ Франкфурта: „Уѣхалъ ли Погодинъ въ Іерусалимъ или отложилъ свою поѣздку на другое время; въ послѣднемъ случаѣ объяви ему о моемъ намѣреніи. И если ему случится ѣхать на Римъ, то, вѣроятно, мы отправимся тогда вмѣстѣ“. Посылая эти строчки Гоголя къ Погодину, Языковъ къ нимъ приписалъ: „Гоголь лѣто текущаго года протаскается гдѣ-нибудь, такъ онъ говоритъ, а осенью непременно въ Римъ, гдѣ встрѣтитъ и зиму, а въ концѣ зимы въ Іерусалимъ къ говѣнію и къ Пасхѣ, а изъ Іерусалима въ „Москву“.

Иванчинъ-Писаревъ, опасаясь за здоровье Погодина, писалъ ему: „Шатобріанъ, Ламартинъ, Муравьевъ и Норовъ были поздравѣ насъ, но и они не могли отнять у мусульманъ Господня Гроба. Ѣздите и ходите по Дѣвичьему полю и сочиняйте толко-

\*) Гавріилъ, архіепископъ Херсонскій и Одесскій.

вый каталогъ своихъ неопѣнностей“. Когда же Погодинъ обратился за совѣтами къ В. В. Григорьеву, то послѣдній мрачными красками нарисовалъ картину предстоящаго путешествія его въ Святую Землю. „Ѣхать въ Іерусалимъ“, писалъ онъ, — „можно и безъ ногъ, да зачѣмъ? Впрочемъ, *волю* воля. Дорога отъ Москвы до Одессы извѣстно какая, какъ всѣ Русскія дороги; поѣдете 20 марта, такъ попадете на разливъ Днѣпра, Буга и другихъ рѣкъ, не въ счетъ весенней грязи; до Одессы протащитесь недѣли двѣ, а если не утонете и приѣдете цѣлы въ Одессу, такъ можетъ случиться, что прождете въ ней парохода еще съ недѣлю. О пути отъ сего города до Константинополя всѣ нужныя свѣдѣнія найдете въ посылаемомъ: *Наставленіе для желающихъ съѣздить въ Константинополь*. На морѣ будете имѣть удовольствіе испытать весеннюю Черноморскую бурю. Изъ Константинополя пароходы ходятъ въ Александрію, заходя по пути въ Смирну и Яффу. Пожалуй, попадетесь въ карантинъ на островѣ Сирѣ и просидите тамъ двѣ недѣли. Отъ Яффы до Іерусалима всего сто верстъ. Больше ничего сказать не умѣю“.

Убоялся ли Погодинъ этой картины, или по какой другой причинѣ, но только путешествіе его въ Іерусалимъ не состоялось; а предполагаемый спутникъ его, Горскій, тоже долженъ былъ отказаться отъ этой *мечты*. „Мои домашнія обстоятельства“, писалъ онъ, — „и дѣла будущаго академическаго года не позволяютъ мнѣ питать болѣе надежды на сопутствіе вамъ. Да позволить ли и ваше здоровье рѣшиться на путешествіе, которое не иначе можно совершать на Востокѣ, какъ верхомъ? Мнѣ это неоднократно приходило на мысль, и вашими перепадающими болѣзнями мое опасеніе подтверждается. Сохрани Богъ заболѣть на дорогѣ, гдѣ нельзя будетъ найти никакихъ пособій“. Въ томъ же письмѣ Горскій писалъ: „Вы собираетесь къ Троицѣ? Добрый путь! Милости прошу остановиться у меня. За одно только не взыщите, что по развлеченію текущими дѣлами при окончаніи года, именно экзаменами и приготовленіями подобнаго рода,

не въ состояніи буду дѣлать съ вами столько времени, сколько могъ бы и желалъ бы въ другую болѣе свободную пору. Если не ранѣе 25-го іюня, то по крайней мѣрѣ послѣ сего дня ждемъ къ себѣ Владыку. По окончаніи экзаменовъ, которое зависитъ отъ пріѣзда Преосвященнаго, дѣйствительно намѣренъ я ѣхать въ Кострому, вмѣстѣ съ о. Ректоромъ, который отправляется туда для обозрѣнія Семинаріи. Моя цѣль впрочемъ совсѣмъ иная. Семейство наше потеряло въ нынѣшній годъ чувствительную утрату. Овдовѣла моя сестра. И долгъ, и чувство мои требуютъ раздѣлить горе съ скорбящими; а ихъ не мало: между ними трое такихъ, которыя еще не умѣютъ различить десницы отъ шуйцы“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Горскій упрекалъ Погодина. „Простите меня“, писалъ онъ,— „вы уже слишкомъ пристрастились къ старинѣ отечественной, когда изъ-за недостатка ея памятниковъ не хотите читать и Твореній Отеческихъ въ нашемъ изданіи. Васъ не плѣняетъ свѣтлый, обширный взглядъ на природу—мудреца Христіанскаго? Для знающаго болѣе *Шестодневъ* Василія важенъ по крайней мѣрѣ какъ памятникъ историческій, какъ первый въ Христіанствѣ опытъ приложенія наукъ естественныхъ къ богословію и правоученію, и какъ богатое благоговѣйнымъ чувствомъ наставленіе, какъ смотрѣть на предметы, всегда насъ окружающіе, чтобы всегда изъ глубины сознанія возглашать въ Творцу: *вся премудростію сотворилъ еси*. Вы укажете на нѣкоторыя натяжки: но развѣ нѣтъ ихъ въ краснорѣчивыхъ словахъ: *о веснѣ*? \*) Надѣюсь, что высказанный вами отзывъ не показываетъ совершеннаго нерасположенія къ нашему изданію, прошу покорнѣйше принять его отъ меня и на текущій годъ, о чемъ не просилъ васъ прежде по предположеніямъ объ общемъ нашемъ странствованіи и удаленіи изъ Россіи.—Во второмъ номерѣ помѣщена будетъ статья и по Русской Церковной Исторіи, именно о *духовныхъ училищахъ въ XVII в. въ Москвѣ*, составленная отчасти по не изданнымъ источникамъ, и можетъ быть не

\*) Иннокентія, тогда архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.

совсѣмъ дѣлающихъ честь нашимъ предкамъ. Преосвященному Филарету Рижскому въ первомъ же письмѣ передалъ вашу жалобу. Онъ занимается Исторіею Русской Церкви; часть уже въ цензурѣ, которая переписывается съ нимъ на счетъ нѣкоторыхъ слишкомъ рѣзкихъ выраженій“<sup>97)</sup>).

Интересуясь знать, состоялось ли предполагаемое путешествіе А. В. Горскаго съ Погодинымъ во Святую Землю, Филаретъ, епископъ Рижскій, писалъ своему другу: „Остаюсь я въ неизвѣстности, чѣмъ окончилось предпріятіе ваше и М. П. Погодина отправиться на Востокъ? Въ послѣднемъ письмѣ вашемъ вы намекъ дали, что это предпріятіе не близится къ выполненію со стороны М. П. Погодина. Предпріятіе—истинно доброе! Особенно хотѣлось бы, чтобы вамъ даны были средства быть полезнымъ своими трудами бѣдствующей Іерусалимской Церкви. Протестанство пускаетъ тамъ корни. Правда, лучше недостаточная вѣра, чѣмъ безвѣріе или мусульманство скотское. Но больно и то, что чистая вѣра стѣсняется въ своихъ границахъ. Вы не видите опытовъ тому, какъ трудно бываетъ возвращать къ Православію людей черезъ два, три поколѣнія“<sup>98)</sup>).

Оставшись на Дѣвичьемъ полѣ, Погодинъ сталъ укорять В. В. Григорьева въ молчаніи на его письмо. Въ оправданіе свое Григорьевъ писалъ ему: „Да какъ же было мнѣ писать къ вамъ, Михайло Петровичъ, когда я не зналъ, гдѣ васъ нелеткая носить; что жъ было мнѣ писать въ Москву, тогда какъ вы могли быть въ это время и въ Римѣ, и въ Іерусалимѣ! Вспомните, что изъ писемъ вашихъ ко мнѣ въ продолженіе Великаго поста я долженъ былъ заключить, что вы совсѣмъ на мази отправиться куда бы то ни было. Потомъ ѣдетъ Надеждинъ въ Москву и хлопочетъ о томъ, застанетъ ли васъ тамъ; потомъ—оба вы исчезаете изъ глазъ моихъ: о Надеждинѣ я рѣшилъ, что онъ провалился на время сквозь землю, о васъ—что вы бесѣдуете съ Папою или Патріархомъ Іерусалимскимъ, рѣшилъ, и желая, вамъ обоимъ какъ-можно

богѣ наслажденій, сижу себѣ да издаю *Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ*. Вотъ и все“<sup>99)</sup>.

Осенью 1845 года посѣтилъ Москву для свиданія съ Митрополитомъ только-что возвратившійся изъ Рима Андрей Николаевичъ Муравьевъ. Погодинъ посѣтилъ своего давняго пріятеля и записалъ въ *Дневникъ*: „Къ Муравьеву о Русской Церкви. Совѣстно, а солгалъ на его вопросъ, что читалъ *Правду о Вселенской Церкви*“. Въ то же время Погодинъ былъ крайне огорченъ извѣстіемъ, что предметъ его поклоненія, княгиня Александра Ивановна Мещерская (рожденная княжна Трубецкая) обратилась въ католичество, и Погодинъ „думалъ написать къ ней письмо“<sup>100)</sup>.

Весною 1845 года вышли въ свѣтъ *Слова и Рѣчи* Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго. „Вотъ пріятная новость къ празднику“, писалъ князь М. А. Оболенскій В. А. Полѣнову, — „для всѣхъ Москвичей: это новое изданіе назидательныхъ словъ и рѣчей нашего архипастыря, преосвященнѣйшаго Филарета. Кто изъ насъ не слыхалъ его проповѣдей и кто не увлекался его назидательными бесѣдами! Нѣтъ сомнѣнія, что и самая Словесность сдѣлала въ нихъ значительныя приобрѣтенія“<sup>101)</sup>. Мы уже знаемъ, что давнишнюю мечтою Погодина было сдѣлать это изданіе, но эту честь перебилъ у него Московскій купецъ Лобковъ. Въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующую записъ: „Пріѣхалъ Лобковъ. Онъ обидѣлъ меня много, воспользовавшись моею мыслию издать сочиненія Филарета, перенявъ обѣщаніе Филарета, обманувъ, что изданіе передается мнѣ, увѣряя прежде нѣсколько разъ, чтобъ я не беспокоился и предоставилъ все дѣло ему, вполнѣ мнѣ преданному и дѣйствующему для меня. А на дѣлѣ оказалось все напротивъ. И какъ будто бы не было никакихъ обѣщаній, увѣреній. Замѣчу въ похвалу себѣ, что я не сержусь. Радъ, что изданіе вышло, что оно дешево, и не сѣтую о своей потерѣ. А какъ онъ говоритъ о благочестіи, о вѣрѣ, о будущей жизни, и поступаетъ такъ не вѣрно! Но Богъ съ ними“<sup>102)</sup>. Это нисколько не мѣшало Лобкову

писать слѣдующія записочки Погодину: „Мой совѣтъ заказать отслужить девять литургій за упокой; подавать девять дней нищимъ по рублю; и вамъ поговѣть хорошо бы гдѣ-нибудь въ обители. А самое главное: заботы о суетѣ мірской забыть на сіе время. Къ Митрополиту теперь ѣхать нельзя, онъ занятъ пріѣздомъ“<sup>103</sup>).

Еще до выхода въ свѣтъ *Словъ и Рѣчей* Филарета Погодинъ, читая Инновентія Пензенскаго, замѣтилъ: „Премудрость творенія. Откуда все“<sup>104</sup>).

Удрученный и личнымъ горемъ, и непріятностями по службѣ, Погодинъ углубился въ Филарета, и онъ, подобно Пушкину, могъ сказать:

... твой голосъ величавый  
Меня внезапно поражалъ:  
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,  
И ранамъ совѣсти моей  
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ  
Отраденъ чистый былъ мой.

„Какъ встати вышли Филаретовы проповѣди“, писалъ Погодинъ Шевыреву (23 марта 1845). „Я наслаждаюсь ими. Былъ у него. Просидѣлъ часа два съ глазу на глазъ, въ искренней бесѣдѣ“. Въѣствъ съ тѣмъ вотъ какія лаконическія отмѣтки находимъ мы по этому поводу въ *Дневникъ* Погодина:

Подъ 18 марта 1845. Читалъ проповѣди Филарета, отъ него полученныя: о молитвѣ за усопшихъ, объ ангелахъ.

— 19 Марта. Прочелъ нѣсколько прекрасныхъ проповѣдей Филарета.

— 21 Марта. Къ митрополиту Филарету. Просидѣлъ у него часа два и передалъ ему нѣкоторыя психологическія свои наблюденія во время своей болѣзни и кончины жены. Онъ былъ очень ласковъ и доволенъ.

— 22 Марта. Читалъ проповѣди Филарета и восхищался.

— 27 Марта. Читалъ Филарета. Находятъ тихія минуты молитвы. Съ Буслаевымъ о Строгановѣ.

— 3 Апрѣля. Читалъ Филарета.

- 18 *Июня*. Ъздилъ къ Филарету больному. Смѣшны барыни.
- 22 *Ноября*. Къ Филарету, который у всенощной.
- 19 *Декабря*. Ввечеру къ Филарету. Боленъ.
- 20 *Декабря*. Лобковъ съ прежними изъясненіями. Не шпіонъ ли онъ? Филарету говорятъ непріятно упоминновеніе. Эти духовные не понимаютъ свѣтскихъ приличій.

С. П. Шевыревъ въ своемъ критическомъ разборѣ *Словъ и Ръчей* Филарета спрашиваетъ: „Отчего жъ это изсякаетъ наше изящное свѣтское слово, и въ то же время такъ сильно, такъ непрерывно льется слово духовное?“ „Оттого“, отвѣчаетъ критикъ, что „первое отторгло себя отъ источниковъ народныхъ, а другихъ не сыскало; второе же имѣетъ свой невидимый истокъ въ нашей древней жизни, которая была истинн<sup>ю</sup> сосудомъ вѣры. Отсюда его неистощимыя силы, отсюда бьетъ она ключемъ неизсякаемымъ. Духовенство наше среди суеты прельщеній новой жизни сохраняло у себя то древнее и всегда свѣжее сокровище, откуда слово духовное истекаетъ. Вотъ почему оно неумолаемо раздается для тѣхъ, которые хотятъ внимать ему“<sup>105</sup>).

Въ это время Москву посѣтилъ старый сотрудникъ *Московского Вѣстника* и старинный пріятель Погодина, Н. И. Любимовъ, и вотъ что записалъ Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ*:

Подъ 16 *апрѣля* 1845. Съ Любимовымъ о гадости нашего времени.

— 27 *апрѣля*. Вечеръ у добраго Любимова въ разговорѣ о настоящемъ и будущемъ Россіи, о темнотѣ горизонта. Смотрѣлъ съ удовольствіемъ на звѣздное небо.

---

## XVII.

Волей или неволей оставивъ катедру Русской Исторіи въ Московскомъ Университетѣ, Погодинъ до конца своей жизни остался вѣрнымъ служителемъ Русской Исторіи. Въ первомъ номерѣ *Москвитянина* 1845 Погодинъ помѣстилъ свою *Пара-*



лем Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Европейскихъ государствъ относительно начала. Предъ напечатаніемъ этой статьи онъ писалъ Шевыреву слѣдующее: „Спѣшу подѣлиться съ тобою удовольствіемъ—столько нашелъ я въ своей кладовой драгоценныхъ замѣчаній о Русской Исторіи, что сердце не нарадуется. Я писалъ на доскутахъ и складывалъ въ одно мѣсто, и не замѣчалъ, какъ они копились, а теперь какъ сталъ ихъ собирать и нязать на нити, такъ самъ удивился. Глава о различіи Русской Исторіи съ Европой получаетъ характеръ государственный, и я разошлю ее къ членамъ Государственного Совѣта, умѣющимъ грамотѣ. Жаль, что недостаетъ мнѣ еще недѣльки! Вчера я просто былъ въ восторгѣ. Соберусь съ силами на мѣсяцъ, чтобъ покупаться въ нашемъ болотѣ со всѣми шишиморами, зиеиморами и буквой à la tête. Первый періодъ оканчивается — хочется издать и второй, удѣльный, а когда же лечиться. Только вотъ тебѣ совѣтъ, правда—для тебя уже поздній: не надо откладывать изданія; пока надъ чѣмъ работаешь, о чемъ думаешь, то и печатай тотчасъ. Первый періодъ вѣдь слишкомъ девять лѣтъ былъ у меня готовъ. Дѣлать теперь вставки, исправлять, перемѣнять — трудъ ужаснѣйшій и тягостнѣйшій. Лучше бѣ вновь писать, а старое бросать жалко. То будетъ и съ тобою при изданіи Исторіи Певзін. Не говорю уже о томъ, что капиталь пролежалъ въ землѣ даромъ девять лѣтъ, что весьма важно при нашей литературной и умственной дѣятельности“.

Въ своемъ разсужденіи Погодинъ доказываетъ, что Западные Европейскія государства обязаны происхожденіемъ своимъ завоеванію, которое опредѣлило и всю послѣдующую ихъ Исторію, даже до настоящаго времени. „Въ наше время“, пишетъ онъ,—„низшіе классы, вслѣдъ за среднимъ, являються на сцену, и точно какъ въ революціи среднее сословіе боролось съ высшимъ, такъ теперь низшее готовится на Западѣ къ борьбѣ съ среднимъ и высшимъ вмѣстѣ. Предтечей этой борьбы уже мы видимъ: сен-симонисты, социалисты, коммунисты соотвѣтствуютъ энциклопедистамъ, представившимъ про-

логъ къ Французской революціи“. Все это, по замѣчанію Погодина, „составляетъ одну цѣпь и ведетъ свой родъ... отъ завоеванія, то-есть, отъ начала Западныхъ государствъ. Завоеваніе, раздѣленіе, феодализмъ, города съ среднимъ сословіемъ, ненависть, борьба, освобожденіе городовъ — это первая трагедія Европейской трилогіи. Единодержавіе, аристократія, борьба среднего сословія, революція — это вторая. Уложенія, борьба низшихъ классовъ... — будущее въ рудѣ Божіей“. Обращаясь къ Русской Исторіи, Погодинъ съ восторгомъ замѣчаетъ, что у насъ въ началѣ ея нѣтъ рѣшительно ни одного изъ характеристическихъ явленій Западныхъ Исторій, „нѣтъ ни раздѣленія, ни феодализма, ни убѣжищныхъ городовъ, ни среднего сословія, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы“. При этомъ Погодинъ задаетъ себѣ вопросъ: „Отчего такое различіе?“ и отвѣчаетъ: „На Западѣ все произошло отъ завоеванія, такъ у насъ все происходитъ отъ призванія, безпрекословнаго занятія и полюбовной сдѣлки“. Погодинъ самъ называлъ эту свою статью *животрепещущею* <sup>108</sup>).

Замѣчательно, что эта статья вызвала одобрителный отзывъ самого Герцена, который подъ псевдонимомъ Ярополека Водянскаго, осмѣивая въ *Отечественныхъ Запискахъ Москвитинизъ*, вышедшій подъ редакціей И. В. Кирѣевскаго, объ этой статьѣ Погодина отозвался такъ: „*Паралель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ государствъ* написана ясно, рѣзко и довольно вѣрно, даже въ ней было бы много новаго, еслибъ она была напечатана лѣтъ двадцать-пять назадъ. Все же она не лишена большого интереса. Еслибы Погодинъ чаще писалъ такія статьи, его литературные труды цѣнились бы больше... Погодинъ очень вѣрно изложилъ, какъ новая жизнь побѣждала въ Европѣ феодальную форму и даже заглянулъ въ будущее. Еслибъ авторъ не затемнилъ своей статьи поясняющими сравненіями, большею частію математическими, примѣромъ о шарахъ, свидѣтельствующемъ какое-то оригинальное понятіе о механикѣ, о линіи и о бильярдной игрѣ вообще, то она была бы очень недурна. Не смотря

на Словенизмъ, истина пробивается у Погодина сквозь личныя мнѣнія, и сторона, которую ему хочется поднять, не то, чтобъ въ авантажъ была. Это дѣлаетъ большую честь автору: шелъ въ комнату—попалъ въ другую; но попалъ увлекаемый истинною. Честь тому, кто можетъ быть ею увлеченъ за предѣлы личныхъ предразсудковъ“<sup>107)</sup>.

Но на эту статью, какъ мы увидимъ ниже, попалъ П. В. Кирѣевскій, и Погодинъ въ отвѣтъ своемъ ему между прочимъ писалъ: „Не одинъ вечеръ, и даже не одинъ годъ, продумалъ я прежде о томъ, какъ опредѣлить и выразить это различіе и сходство въ основаніи государствъ — анализъ тяжелый! Даже сравненіе съ двумя шарами, раздѣленными при началѣ движенія линіею, досталось мнѣ вслѣдствіе долговременнаго размышленія. И радъ я былъ ему, потому что оно, казалось мнѣ, выражало ясно мою мысль. А веселый рецензентъ *Отечественныхъ Записокъ* \*) покатилъ столь дорогіе для меня, столь любезныя мнѣ шары... по билліарду! Бѣдный изыскатель!“ На тему своей статьи Погодинъ имѣлъ любопытный разговоръ съ графомъ С. Г. Строгановымъ, который сохранился въ его позднѣйшихъ воспоминаніяхъ. „Однажды я сказалъ ему“, пишетъ Погодинъ, — „разсуждая объ отличіи Русской Исторіи отъ Западной: вы—нынче попечитель, а я могу быть завтра. Мнѣ не въ чемъ вамъ завидовать, потому что я имѣю совершенно одинакія права съ вами, какого бы ни былъ нивкаго, такъ-называемаго, происхожденія. Потому только и не можетъ быть у насъ Западной революціи“<sup>108)</sup>.

Главнымъ занятіемъ Погодина въ это время было приготовленіе къ печати своихъ изслѣдованій, замѣчаній и лекцій о Русской Исторіи. Среди этихъ занятій онъ часто и со слезами вспоминалъ свою покойную жену. Есть ли страница *Изслѣдованій*, писалъ Погодинъ, „гдѣ бы не было руки моей милой Лизы. Думалъ и молился о Лизѣ. На всякой страницѣ своихъ изслѣдованій нахожу ея имя. Съ какою вротостію переписывала она эту скуку“<sup>109)</sup>.

\*) То-есть, Герценъ.

Отрывки изъ своихъ изслѣдованій Погодинъ печаталъ въ *Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія*. Здѣсь между прочимъ напечатано его изслѣдованіе *О мѣстоположеніи Тмутараканскаго княжества*. Возражая Спасскому, Погодинъ сказалъ: „Нѣтъ, Тмутаракань находилась далеко на югѣ, вѣроятно, на островѣ Тамани, или древней Таматархѣ, и графъ А. И. Мусинъ-Пушкинъ, Оленинъ, Карамзинъ судили о ней вѣрно, а Арцыбашевъ, не упомянутый Спасскимъ, слишкомъ осторожно; Спасскій же имѣлъ въ виду преимущественно камень, который, по моему мнѣнію, въ этомъ вопросѣ есть отнюдь не краеугольный“ <sup>110</sup>). По поводу этихъ строкъ Кеппенъ писалъ Погодину: „Сожалѣю, что вы камень Тмутараканскій не признаете *краеугольнымъ*. По моему мнѣнію, камень-то представляетъ сильнѣйшее доказательство въ пользу вашего основательнаго убѣжденія. Точныя палеографическія свѣдѣнія у насъ новѣе появленія этого камня, котораго письма неосомѣнно принадлежать XI вѣку. Уважая палеографію, не могу не обратить вашего вниманія на это обстоятельство, оправдывающее находку временъ Екатерины II“ <sup>111</sup>).

Чтеніе Шевыревымъ публичныхъ лекцій началось въ то время, а именно 25 ноября 1844 года, когда Погодинъ находился подъ гнетомъ постигшаго его страшнаго горя, а потому на первыхъ порахъ онъ не могъ быть свидѣтелемъ торжества своего друга. Нѣсколько оправившись, онъ сталъ посѣщать его лекціи и по поводу десятой написалъ Шевыреву письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Вчера я могъ быть въ первый разъ на твоей лекціи. Очень благодаренъ тебѣ за замѣчаніе о дружественномъ отношеніи языка прошлой Руси къ языку нашему, отечественному. Это явленіе совершенно соотвѣтствуетъ политическому добровольному соединенію двухъ народовъ и прекрасно подтверждаетъ его, въ противоположность явленіямъ Запада, гдѣ между языками и религіями была такая же борьба и побѣда, какъ и между племенами“. Въ этой лекціи Шевыревъ читалъ о *Словѣ о Полку Игоревѣ* и изъяснилъ удивленіе: почему авторъ *Слова* избралъ предметомъ

своимъ такое маловажное и несчастное происшествіе въ Древней Русской Исторіи? „Это удивленіе“, замѣчаетъ Погодинъ, — „можетъ подать поводъ къ недоразумѣнію, что у насъ въ древности только и было воспѣто, что походъ Игоря Святославовича на Половцевъ... Нѣтъ“, продолжаетъ Погодинъ, — „мы имѣли цѣлую пѣтическую Литературу, мы имѣли слова или саги о всѣхъ важныхъ и неважныхъ подвигахъ древнихъ князей нашихъ“, и при этомъ на основаніи Лѣтописей указываетъ на Олега, приплывающаго изъ Новгорода въ Кіевъ, на походъ того же Олега подъ Константинополь, на смерть его, на мечь Ольги, на избавленіе Кіева отъ Печенѣговъ, на Болгарскую войну Святослава, на походъ Владиміра противъ Рогвольда и пр. и пр. Остатки такихъ пѣсенъ Погодинъ находитъ также въ Собраніи Кириши Данилова. „Сочинять ихъ послѣ“, замѣчаетъ онъ, — „было некому, и только отъ современниковъ они могли вестись и помниться въ устахъ народныхъ, какъ помнится и теперь, въ чемъ я убѣдился въ путешествіе свое по Сѣвернымъ губерніямъ, гдѣ получилъ древнія пѣсни, списанныя отъ крестьянъ, знающихъ ихъ наизусть“. Обращаясь затѣмъ къ сомнѣвающимся въ подлинности *Слова о Полку Игоревѣ*, Погодинъ замѣчаетъ: „Пусть тѣ господа, которые сомнѣваются, пусть попробуютъ теперь, со всѣми пособіями грамматики Добровскаго, со всѣми филологическихкими трудами Востокова, со всѣми напечатанными нашими памятниками, пусть, говорю, попробуютъ они теперь обмануть насъ и написать сагу о какомъ-нибудь Мстиславѣ Удаломъ, или Романѣ Волынскомъ, или Даниилѣ Галицкомъ. Нѣтъ! Мудрено было графу А. И. Мусину-Пушкину съ товарищами сочинить *Слово о Полку Игоревѣ*. А пѣтическій талантъ автора? Съ такимъ талантомъ всякій пріобрѣлъ бы себѣ славу поэта, употребляя его на сочиненія современныя. Кто же бы рѣшился пожертвовать ею и промѣнять на безславіе обманщика? Но не было ли оно поддѣлано прежде? Предполагать прежде еще труднѣе потому, что прежде мысли о поддѣланіи быть не могло. Развѣ при Аннѣ, Елизаветѣ,

Петръ, можно было возбудить участіе, произвестъ дѣйствіе, сочиненіемъ или находкой такого документа. Не было ль оно поддѣлано въ древности? Въ древности никакой цѣли для поддѣлки придумать нельзя. При томъ чрезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ похода Игоря вся Малороссія была опустошена Татарами, и имя этого удѣльнаго князя со всѣми его братьями и племянниками позабылось въ народѣ, оставаясь только на страницахъ Лѣтописей. Тогда не думали ни о сочиненіяхъ, ни о выдумкахъ“ <sup>112</sup>).

Будучи поборникомъ Скандинавства въ нашей Исторіи, Погодинъ утверждалъ, что наша историческая Поэзія была перенята отъ Скандинавовъ. Но противъ нѣкоторыхъ положеній Погодина возсталъ М. А. Максимовичъ и изъ Кіева писалъ своему другу: „Здорово, братъ Погодинъ! Радуюсь, что ты опять пишешь, и стало быть здравствуешь малую толику... Вотъ тебѣ цѣлое письмо въ *Москвитянина*, въ возраженіе тебѣ или лучше въ общее наше проясненіе предмета, всѣмъ намъ интереснаго и все еще недостаточно яснаго“ <sup>113</sup>).

Такимъ образомъ между Погодинымъ и Максимовичемъ завязалась печатная переписка *О народной исторической Поэзіи въ Древней Руси*. Въ своемъ письмѣ Максимовичъ, между прочимъ, утверждаетъ, что пѣснь Игорю хотя и принадлежитъ къ народной Русской Поэзіи, но, будучи созданіемъ письменнымъ, не можетъ быть названа *саюю*. „Пѣвецъ Игоря вмѣстѣ съ Даніиломъ Заточникомъ и Владиміромъ Мономахомъ опровергаетъ твое мнѣніе, будто въ древней, до-Татарской Руси, кромѣ духовенства, писать было некому. Вспомни и объ удаломъ Буслаевѣ, которому и *письмо*, и *чрамота въ науку пошли*!“ Вмѣстѣ съ тѣмъ Максимовичъ не соглашается съ Погодинымъ и въ томъ, что въ среднія времена (послѣ нашествія Татарскаго) некому было сочинять народныхъ богатырскихъ стиховъ, въ которыхъ воспоминаются времена Владиміровы. „Было же кому“, утверждаетъ онъ, — „слагать пѣсни о Михаилѣ Черниговскомъ и Александрѣ Невскомъ, о Симеонѣ

Гордомъ или о Щелканѣ Дуденьевичѣ (1327). Къ тому же или къ послѣдующему поколѣнію пѣвцовъ, я думаю, принадлежать не только такіе стихи, какъ, напримѣръ, о Борисѣ и Глѣбѣ, но и *богатырскіе*. Они весьма могли быть сложены вновь, по древнимъ сказаніямъ. Дѣйствительныя событія и лица являются въ нихъ уже сказочными; все древнее сводится въ одинъ вѣкъ Владиміровъ; самый складъ ихъ и языкъ показываютъ, что они сложены не на Югѣ Русскомъ, и не какъ пѣснь туземныхъ современниковъ, а на Русскомъ Сѣверѣ, какъ воспоминаніе потомковъ. Было время, что и дѣла давно минувшихъ лѣтъ воодушевляли народныхъ пѣвцовъ нашихъ такъ же, какъ и былина современная, которая внушала имъ пѣсни историческія. Отвѣтъ свой Максимовичу Погодинъ начинаетъ словами: „Не трать лишнихъ словъ...“ и продолжаетъ: „Сѣверный Конунгъ пришелъ въ намъ Рюригъ „съ роды своими“. Преемники его до Ярослава были въ непрерывныхъ сношеніяхъ съ своею родиною, жили тамъ по долгу, женились на Норманкахъ, даже послѣдніе — Владиміръ на Рогнѣдѣ, Ярославъ на Ингигердѣ. Это были чистые Норманны, до внуковъ Ярославовыхъ. Вотъ уже второе поколѣніе вполне ословенилось и перестало, можетъ быть, вовсе говорить своимъ языкомъ, а начало нашимъ; норманнъ въ пятомъ, шестомъ колѣнѣ сдѣлался малороссіяниномъ.

„Такъ точно малороссіянинъ Андрей Боголюбскій переселился на Сѣверовостокъ, сохраняя, разумѣется, свое малороссійское происхожденіе, равно какъ и братья его Михаило и Всеволодъ, препоручившіе посадничества пришедшимъ съ ними „Русьскимъ дѣтскимъ“, но ихъ дѣти, еще болѣе внуки, начавшіе княжить послѣ Монголовъ, подверглись туземному вліянію и между Великороссіянами сдѣлались сами Велико-россіянами. Точно такъ Гедиминъ былъ чистымъ литвиномъ, равно какъ и его дѣти; но его внуки, рожденные отъ Русскихъ матерей, живя въ Малоруссіи, Бѣлоруссіи, сдѣлались Малороссіянами, Бѣлорусцами и позабыли свое Литовское нарѣчіе.

„Норманнскіе князья пришли въ намъ разумѣется съ сво-

имъ языкомъ, съ своими обычаями и вѣрованіями, коихъ признаки мы и видимъ ясно въ нашихъ лѣтописяхъ. Итакъ, если мы читаемъ въ Сѣверныхъ Лѣтописяхъ описаніе ихъ ихъ пировъ и пѣсенъ, совершенно подобное съ нашими, то какииъ же образомъ не признать ихъ тождественными, не приписать имъ одного происхожденія, что я и дѣлаю, и что ты отрицаешь по предубѣжденію. Этого мало: въ самомъ содержаніи пѣсенъ представляются многія черты одинакія; какого же подтвержденія надо и для логическаго вывода, и для историческаго свидѣтельства!

„Какъ человѣкъ, и его языкъ, его характеръ, измѣнился (норманнъ сдѣлался малороссіяниномъ), такъ измѣнились и его пѣсня, его законъ, его обычай; Русская былина есть уже не то, что Исландская сага, хотя и ведетъ отъ нея свое происхожденіе.

„Напрасно ты указываешь мнѣ на Сербскія пѣсни и слова Шафариковы: Наши Словене находились совершенно въ другихъ отношеніяхъ, нежели западные и южные ихъ братья. Для удовлетворенія тебѣ я могу сказать развѣ то, что *еслибъ* не приходили къ намъ Норманны и *еслибъ* безъ нихъ мы пустились сами на какіе нибудь удалые подвиги, то, разумѣется, возникла бы и безъ чуждаго побужденія своя историческая Поэзія, какъ возникла послѣ Украинская вслѣдствіе отношеній козачества къ сосѣднимъ странамъ. Но этого не было, слѣдовательно — и толковать объ этомъ нечего.

„Своеобразность и самобытность Русской народной Поэзіи я вполнѣ принимаю, и нѣсколько сагъ, пропѣтыхъ предъ Рюрикомъ или Олегомъ, нѣсколько не мѣшаютъ ей, какъ самобытности и своеобразности Крыловой басни не мѣшаетъ ни Езопова, ни Федрова, ни Лафонтенова. Не сказалъ ли я, что историческая Поэзія приняла у насъ другой, *свой* характеръ? Объ чемъ же ты споришь?

„Въ дополненіе къ твоему сходству Шотландскихъ балладъ съ Запорожскими пѣснями, которое не есть заимствованіе, ты можешь найти у меня много примѣровъ въ отвѣ-



тахъ Каченовскому. Изъ словъ твоихъ заключаю, что ты не понялъ моей мысли объ отношеніи Исландскихъ сагъ къ нашимъ историческимъ пѣснямъ: Пушкинъ былъ чистый русскій, а родомъ былъ онъ по матери арапъ, а по отцѣ пруссакъ.

„Скандинавство съ Запорожьемъ находится въ слишкомъ отдаленномъ родствѣ, и сравнивать казацкія пѣсни съ Исландскими сагами смѣшно, а называть сагами въ смыслѣ нарицательномъ можно.

„Раздѣлять Поэзію предоставляю вамъ, филологамъ и словесникамъ какъ угодно!

„Перехожу къ мысли, тебѣ принадлежащей. Ты думаешь, что *Слово о Полку Игоревѣ* сочинено поэтомъ грамотнымъ, какъ пѣсня о царѣ Иванѣ Васильевичѣ сочинена Лермонтовымъ. Это мысль новая, и радъ бы я былъ, еслибъ ты успѣлъ доказать ее: ты обогатилъ бы Исторію Русской Словесности цѣлымъ періодомъ,—хотя только въ учебной книгѣ. Но нѣтъ! Это было бы уже слишкомъ много! Такого періода у насъ не было, до нашего времени. Еслибы слова сочинялись грамотными людьми, то они бы, разумѣется, писались, а еслибы писались, то должны бы дойти до насъ. И куда вставить этотъ періодъ?

„Ты называешь *Слово* стройнымъ цѣлымъ, и потому не соглашаешься, чтобъ оно было отрывкомъ изъ большой саги, какъ я мимоходомъ намекнулъ. Можетъ быть, ты правъ, но я напомнимъ тебѣ только, что есть тысячи эпизодовъ во всѣхъ поэмахъ, которые сами по себѣ представляютъ стройныя цѣлыя.

„До Монголовъ, кромѣ духовенства, писать было некому“, сказалъ я, разумѣется, *вообще*, и два-три исключенія не уничтожаютъ правила.

„Едва ли и то правда“, продолжаешь ты, „что въ среднія времена некому было сочинять народныхъ богатырскихъ стиховъ“. Сочинять, слагать пѣсни о современныхъ событіяхъ было всегда кому, но не о прошедшихъ. О прошедшихъ только старыя пѣсни подновлялись... распространялись... смѣшивались, что и сказалъ я въ своемъ письмѣ. Сочиненія о про-

шедшихъ событіяхъ принадлежать періоду позвѣи письменной, грамотной, котораго у насъ, по моему мнѣнію, не было, и котораго будемъ мы развѣ ждать въ подарокъ отъ твоихъ изысканій.

„Мнѣ очень жаль, что ты до сихъ поръ остаешься при своемъ антинорманнскомъ предразсудкѣ. Причиною, полагаю, то, что ты строишь свою систему только на нѣсколькихъ мѣстахъ нашей лѣтописи, толкуемыхъ тобою превратно. Но ты возьми лѣтописи, Норманновъ въ Скандинавіи, Франціи, Англіи, Италіи, — почитай ихъ, и увидишь однихъ и тѣхъ же людей съ нашими Варягами, одинъ и тотъ же характеръ, одинъ и тотъ же образъ дѣйствія, одни и тѣ же приемы, одни и тѣ же обычаи, вѣрованія, повѣрья, до малѣйшихъ подробностей, увидишь — и согласишься со мною, чего искренно тебѣ желая, для пользы науки и истины, остаюсь и проч.

„Ты спрашиваешь меня, почему въ переводѣ Шафарикова Народописанія *Слово о Полку Игоревѣ* отнесено къ XIV вѣку. — это загадка, о коей долженъ отвѣчать тебѣ переводчикъ, то-есть, Бодянский“ <sup>114</sup>).

По поводу этого отвѣта въ *Дневникъ* Погодина мы встречаемъ слѣдующую странную запись: „Къ Шевыреву и Аксаковымъ. Ужасно былъ раздраженъ молвою Кирѣевского, будто я огорчаю Максимовича, а онъ колетъ меня кинжаломъ и не замѣчаетъ. Разругалъ ихъ жестоко предъ Аксаковымъ“ <sup>115</sup>).

Намъ неизвѣстно, огорчился или нѣ огорчился Максимовичъ отвѣтомъ Погодина, но мы знаемъ, что Максимовичъ не сдавался и написалъ Погодину другое письмо, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: „Пріятно мнѣ вспомнить, что о *Полтавѣ* Пушкина я первый (1829) въ *Атенѣ* писалъ, какъ о poemѣ народной и исторической. Незабвенно мнѣ, какъ Мерзляковъ журилъ меня за мою статью и какъ благодарилъ потомъ Пушкинъ, возвратясь изъ своего Закавказскаго странствія, гдѣ набирался онъ впечатлѣній войны подъ руководствомъ своего друга Н. Раевского. Тогда же, узнавъ отъ

Пушкина, что онъ написалъ *Полтаву*, не читавши еще Ко-  
нисскаго, я познакомилъ его съ нашимъ Малороссійскимъ  
историкомъ и подарилъ ему случившійся у меня списокъ  
*Исторіи Руссовъ*, о которой онъ написалъ потомъ прекрас-  
ныя страницы“. Въ заключеніе же своего письма Максимовичъ писалъ Погодину: „Теперь, говоришь ты, очень жаль,  
что я до сихъ поръ остаюсь при своемъ *антинорманнскомъ*  
*предразсудкѣ*. О чемъ жалѣть!... А если припомнишь мою  
*Рѣчь о Кіевѣ*, или прочтешь двѣ первыя главы моей *Исто-  
ріи Русской Словесности*, то увидишь, что во мнѣ не только  
нѣтъ антинорманнскаго предразсудка; да и быть не можетъ:  
ибо я слѣдую Ломоносовскому понятію о Норманнахъ и во  
всемъ, что относится къ Древней Руси, строго держусь Не-  
сторовой Лѣтописи. Да вѣдь и ты въ своей *Исторіи* не го-  
ворилъ ли, что Варагами или Норманнами назывались При-  
балтійскіе воители разныхъ племенъ — и Скандинавскіе Нѣмцы,  
и Поморскіе Словене! Такимъ образомъ Руссы, будучи Вара-  
гами или Норманнами, могли быть Словенами и не быть Скан-  
динавскими Нѣмцами. И если у Нестора или въ сказаніяхъ  
иноземныхъ говорится только, что Руссы были Норманны, то  
изъ этого слѣдуетъ заключить, что Руссы были народъ Сѣ-  
верный, Прибалтійскій — и не болѣе; а какова именно они  
были племена, то особъ-статья, требующая иныхъ свидѣ-  
тельствъ и доказательствъ. Но у тебя понятіе о Руссахъ такъ  
слилось съ понятіемъ о *Скандинавствѣ*, что и самое *Нор-  
манство* ты принимаешь за синонимъ Скандинавства, и та-  
кимъ образомъ родовое понятіе смѣшиваешь съ видовымъ.  
Попробуй сбросить эту Скандинавскую *луду* съ глазъ, при-  
неволь себя отдѣлить *родовое* понятіе о Норманствѣ отъ *видо-  
вого* понятія о Скандинавствѣ, и тогда ясно увидишь, что  
можно слѣдовать Нестору и признавать Руссовъ Норманнами  
или Варагами, отрицая въ то же время Скандинаво-Нѣмецкое  
ихъ происхожденіе и признавая ихъ *Поморскими Словенами*,  
какъ полагалъ Ломоносовъ, какъ думали задолго до него у  
насъ въ Южной и Сѣверной Руси. Это старинное Русское

мнѣніе нашелъ я правдоподобнѣйшимъ, потому я послѣдовалъ ему и остаюсь при немъ. Ты, отъ юношескихъ лѣтъ, увѣровалъ, какъ въ истину, въ Байеровскую гипотезу, и будешь вѣренъ ей до конца; и я вовсе не хочу, чтобы ты былъ отступникомъ отъ нея. Меня радуетъ твое постоянство во мнѣніи; я желалъ бы только, чтобы, прилагая свою гипотезу къ подробностямъ древней Русской жизни, ты остерегся отъ невѣрнаго наведенія оной на нашу Словесность, на которой ваше Скандинавство потерпѣло уже довольно рѣзбы. О происхожденіи Руссовъ я и не заговорилъ бы теперь, еслибъ ты не началъ опять это *толченіе воды*, которое довольно долго производили вы въ Скандинавской ступѣ; а благодетельный *Маякъ* съ усердіемъ продолжаетъ въ толчеѣ Словенской... Богъ въ помощь! Для меня же вопросъ о происхожденіи Руссовъ второстепенный. Рѣшеніемъ его занимался я мимоходомъ, когда оно понадобилось мнѣ, при занятіи Исторіей Русскаго языка, это было лѣтъ за восемь... Тогда я охотно позволялъ перу моему писать и такіа строки:

Хвала, Шафарикъ дорогой!  
Нашъ старый Свѣтъ уже свѣтлѣть:  
Съ твоей Словенской стариной  
Нашъ Словенинъ помолодѣть;  
Лишь объ одномъ я потужилъ,  
Что по пригѣру иноземцевъ,  
И ты намъ въ Руссовъ нарядилъ—  
Все тѣхъ же Скандинавскихъ Нѣмцевъ!

„Но теперь вопросъ о происхожденіи Руссовъ занимаетъ меня не болѣе, какъ фізіологическій вопросъ *de generatione aequivoca*, наводившій на меня когда-то безсонныя ночи... То старина, то и дѣянье!—Прощай. Твой и проч“.

На это письмо Погодинъ по своему обычаю возразилъ Максимовичу лаконически: „Видишь ли“, писалъ онъ,—„противъ рожна прати не возможно. Самъ Шафарикъ, поднявшій со дна моря все Словенское, не могъ не признать Варяговъ-Руси Скандинавами,—точно такъ и всѣ оріенталисты, хотя профаны и непещевали найти въ восточныхъ писателяхъ до-

взательства ихъ Азіатскаго происхожденія. Отвѣчать теперь на твое *красномолчаніе* не стану; въ *Изслѣдованіяхъ* моихъ, кои оканчиваются печатаніемъ, прочтешь объясненіе своихъ недоразумѣній, и тогда—вольному воля, а спасенному рай<sup>116</sup>).

## XVIII.

23 марта 1845 года пріѣзжаетъ къ Погодину П. В. Кирѣвскій и привозитъ ему для напечатанія въ *Москвитининъ* свою статью *О Древней Русской Исторіи*.

Познакомившись съ принесенною статьей Погодинъ написалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „По утру былъ Петръ Кирѣвскій съ своею статьею, въ которой, глупецъ, просто называетъ меня унижителемъ Русскаго народа. Ну, какъ я теперь напечатаю въ той же книгѣ *За Русскую Старину* \*). Ну вотъ, скажутъ противники, г. Погодинъ разгорячился за Русскую Старину, за Русскій народъ,—а самъ онъ такъ унижаетъ его, какъ мы никогда не унижали, о чемъ свидѣтельствуешь уважающій его г. Кирѣвскій. Не понимаетъ, что онъ вредитъ общему дѣлу изъ-за своего я<sup>117</sup>).

Въ то же время Погодинъ писалъ Шевыреву: „Слушай продолженіе моихъ огорченій: пріѣзжаетъ Петръ Кирѣвскій со своею статьею; смотрю—что же? Нахожу ругательства, доносы на себя, говоря языкомъ нашего времени. И эту статью десять человѣкъ слушало, знающихъ приличіе, деликатныхъ, и никто не могъ увидать. Вообрази же себѣ мое положеніе: появляются въ одной книгѣ эти обвиненія и моя статья *За Русскую Старину*. Вотъ благородный Герценъ и пишетъ, давая отчетъ о книгѣ: Г. Погодинъ очень разгорячился за *Русскую Старину*, за Русскій народъ, котораго онъ считаетъ себя великимъ цѣнителемъ и почитателемъ, и проч. и проч., но вотъ какъ онъ уважаетъ и честитъ его. Мы приведемъ слова одного изъ его друзей,

\*) Стр. 50 и слѣд.

П. В. Кирѣвскаго, который говоритъ, что *еслибъ Русскій народъ былъ таковъ, какимъ представляетъ себя ея г. Погодинъ, то онъ не заслуживалъ бы никакого сочувствія, онъ былъ бы недостойнъ имѣть Исторію, не надо бы учить ее.* Признаемся, мы нивогда не думали и не смѣли говорить такъ о Русскомъ Народѣ, какъ г. Погодинъ, хотя онъ и обвиняетъ насъ въ неуваженіи и пр. “. (Но Герценъ такой статьи, которую, приписываетъ ему Погодинъ, не писалъ). Далѣе, въ письмѣ своемъ къ Шевыреву Погодинъ продолжаетъ:

„Вообрази себѣ все это... и эти скоты, десять человѣкъ, не могу удержаться теперь отъ этого слова, они не видали все неприличіе, всю глупость такой выходки въ наше время въ этой книжкѣ! Не стану уже говорить, что статья для знатока ничего не значущая, хотя Хомяковъ, Иванъ Кирѣвскій и проч. уже прославили ее. (Новые взгляды etc.). Я разорву ее въ куски и покажу этимъ невѣжамъ, что они невѣжи, но каковъ соблазнъ! Я напечаталъ шестьдесятъ Историческихъ изслѣдованій, изъ коихъ моя статья *За Русскую Старину* есть результатъ, а эти глупцы думаютъ импровизаціей уничтожить мои основанія, въ которыхъ обдуманъ всякій камень. Далѣе—статья его написана только половина, которую онъ спѣшитъ печатать. Когда же будетъ вторая? Но, ей Богу, мнѣ скучно, досадно, тяжело. Уѣду я отъ всѣхъ васъ и погружусь въ глубину старины. Чѣмъ смиреннѣе, умѣреннѣе, деликатнѣе, тѣмъ болѣе получались оскорбленія невниманія. Свою статью я бросаю, чтобы не доставить по крайней мѣрѣ Герценамъ права указать намъ на наши противорѣчія. Обнимаю тебя. Разумѣется я на тебя не сержусь, а пишу то, что происходитъ, или лучше происходило въ сердцѣ, и что называете вы, да и я соглашаюсь, незнаніемъ приличій. Я понимаю, что лучше бы смолчать и сказать тебѣ: все исполнено, но я считаю это недостойнымъ дружбы и даже пріязни, и потому накликалъ на себя новыя непріятности, отъ коихъ покой—тамъ“.

Когда до И. В. Кирѣвскаго дошелъ слухъ, что Погодинъ

недоволенъ статьею его брата, то онъ писалъ ему: „Я слышу, что ты недоволенъ статьею брата; но слышу это отъ другихъ. Отчего же не скажешь мнѣ или ему: чѣмъ именно. — Говорять даже, что ты недоволенъ вообще тѣмъ, что она написана; но это мнѣ кажется невѣроятнымъ. Это было бы не похоже на тебя. Я думаю въ концѣ ея сдѣлать примѣчаніе такого рода: „Окончаніе этой статьи будетъ помѣщено въ слѣдующемъ номерѣ вмѣстѣ съ отвѣтомъ г. Погодина. Между тѣмъ при этомъ случаѣ просимъ мы читателей *Москвитянина* обратить вниманіе на несправедливость тѣхъ обвинителей нашихъ, которые утверждаютъ, будто мы изобрѣли себѣ какое-то особое мнѣніе о нашей Исторіи и основываемъ наше воззрѣніе на какой-то произвольной системѣ. Между тѣмъ изъ того-то и того-то очевидно, что это болѣе стремленіе къ истинѣ, чѣмъ опредѣленная система, любовь къ нашей Исторіи, а не отвлеченный взглядъ на нее. Но, съ другой стороны, изъ самаго противорѣчія мнѣній и взглядовъ очевидно, что въ древней жизни нашей находятся нѣкоторыя существенныя истины, нѣкоторыя твердыя начала, которыя до сихъ поръ въ ней не предполагались. Ибо при всемъ разногласіи о частныхъ вопросахъ, различные розыскатели, начиная съ разныхъ противоположныхъ сторонъ, сходятся въ общихъ выводахъ, въ своихъ основныхъ мысляхъ и мнѣніяхъ. Такъ и въ статьѣ г. Кирѣвскаго собственно нѣтъ противорѣчія г. Погодину, потому и потому, и потому“. — Какъ думаешь?“ <sup>118)</sup>

Но Погодинъ не успокоился, и вотъ что записалъ въ своемъ *Дневникѣ*:

Подъ 24 марта 1845. Думалъ все съ волненіемъ о статьѣ Кирѣвскаго. Рѣшилъ уничтожить свою \*), а жаль ее — она превосходная.

— 26 марта. Дописалъ отвѣтъ Максимовичу, началъ Кирѣвскому, и совсѣмъ въ другомъ тонѣ — шутливымъ.

— 28 марта. Къ Кирѣвскому, который прислалъ мнѣ

\*) То-есть, статью *За Русскую Старину*.

гадеую записку съ совѣтомъ не печатать статьи и приложить умиловительное замѣчаніе. Спорилъ до 2 часа. Не хочу оставлять безъ отвѣта. Не видать никакъ своей гадости, а онъ же указываетъ на мои нѣкоторыя неучтивости якобы Максимовичу“.

Какъ бы то ни было, но статья П. В. Кирѣвскаго, подъ заглавіемъ *О Древней Русской Исторіи (Письмо къ М. П. Погодину)* была напечатана въ третьей и послѣдней книжкѣ *Москвитянина* 1845 г., вышедшей подъ редакціей И. В. Кирѣвскаго, и безъ всякаго объяснительнаго примѣчанія, о которомъ И. В. Кирѣвскій писалъ Погодину. Въ концѣ только означено: „Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ“; но этого *окончанія*, къ сожалѣнію, не послѣдовало.

„Ваша статья“, писалъ П. В. Кирѣвскій Погодину,— „помѣщенная въ первомъ номерѣ *Москвитянина* (1845) *Параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Европейскихъ государствъ*, возбудила во мнѣ сильное желаніе высказать тѣ мысли, которыя она произвела во мнѣ.

„Я знаю, что Русская Исторія для васъ не случайное, ремесленное занятіе; что вы сосредоточили на ней ваши мысли и поставили ее цѣлью вашей жизни не для того, чтобы сдѣлать ее орудіемъ къ достиженію другихъ внѣшнихъ цѣлей, и даже не для того, чтобы новыя открытія, въ наукѣ важной и малообработанной, льстили вашему самолюбію. Я знаю, что ваши постоянные, ученые труды основаны на искренней любви къ истинѣ и къ нашему народу, и что эта любовь безкорыстна, именно потому, что она искренна. Вотъ почему я увѣренъ, что не оскорбятъ васъ никакія замѣчанія, внушенные тѣмъ же чувствомъ и тѣмъ же стремленіемъ къ истинѣ, которое лежитъ въ основѣ вашей ученой дѣятельности.

„Ваша главная мысль—что есть коренное, яркое различіе между Исторіею Западной (Латинно-Германской) Европы и нашей Исторіею—не оспорима. Но статья ваша, мнѣ кажется, выражаетъ два совершенно противоположные взгляда, которые



наполняют ее противорѣчіями, хотя впрочемъ я долженъ сказать, что именно въ этихъ противорѣчіяхъ я вижу много достоинства, потому что они доказываютъ добросовѣстность вашихъ изслѣдованій. Нѣтъ ничего легче, какъ насильственно связать событія въ одну логическую систему; вамъ живое изслѣдованіе истины было дороже систематической стройности.

„Но соединеніе двухъ, несовмѣстимыхъ взглядовъ разрушаетъ ихъ опредѣлительность, и читателю становится трудно составить себѣ ясное понятіе о тѣхъ коренныхъ началахъ Русской Исторіи, которыя отличаютъ ее отъ Европейскаго Запада. Поэтому я думаю, что если мы отдѣлимъ основныя начала обоихъ взглядовъ, то для насъ будетъ яснѣе ихъ противоположность, а можетъ быть и виднѣе, который изъ нихъ ближе къ истинѣ.

„Главное отличіе Древней Россіи отъ Западной Европы вы полагаете въ томъ, что на Западѣ государства основались на *завоеваніи*, котораго у насъ не было. — Это истина несомнѣнная. Но вслѣдъ за тѣмъ, начиная вычислять отличительныя черты нашей Исторіи, вышедшія, по вашему мнѣнію, изъ этого основнаго начала, вы приводите такія, которыя, еслибы существовали, то доказывали бы совершенно противное.

1. „Призваніе, говорите вы, и завоеваніе были въ то *грубое, дикое время* очень близки, сходны между собою“.

Въ такомъ случаѣ различіе отъ Запада было бы очень не велико; а если предположить, что различіе впоследствии могло увеличиться, то этому противорѣчить дальнѣйшее развитіе вашей мысли; а именно:

2. „Пространство представляло невозможность *быстраго завоеванія*“.

3. „Такая обширная страна (какъ Россія при Ярославѣ) не могла быть *вдругъ завоевана*, подобно Франціи, Англіи, Ломбардіи, Ирландіи; пройти это пространство вздѣ и впередъ, вдоль и поперекъ, не достанетъ жизни одного поколѣнія, а *покорить, содержать въ повиновеніи*, колыми паче. Такъ и было...“

Слѣдовательно, завоеваніе также было, но только не *быстрое*; и если различіе отъ Западной Исторіи существовало въ началѣ, то уничтожилось по довершеніи завоеванія. Далѣе вы говорите:

4. „Первыя двѣсти лѣтъ послѣ призванія составляютъ одно происшествіе: *начало юсударства*“.

5. „Страны, лежавшія вдали отъ рѣкъ, по сторонамъ, оставались долго *въ покое*, пока князья *распространялись по всѣмъ городамъ*“.

6. „Мы *подчинились спокойно первому пришедшему*“ (!?)

7. „Наши Словене приняли *чуждыхъ юсподъ* безъ всякаго сопротивленія“ (!?)

„Затѣмъ слѣдуетъ изображеніе народнаго характера, самое мрачное и несправедливое. — Не ясно ли, что еслибы *такъ* было, то въ самомъ дѣлѣ призваніе и завоеваніе не только были бы *очень близки, сходны между собою*, но и совершенно *одно и то же*? Все различіе нашей Исторіи отъ Западной состояло бы только въ томъ, что тамъ завоеваніе совершилось *вдругъ*, а у насъ *мало-по-малу*; что тамъ завоеванные *покорены силою*, а нашъ народъ будто бы *самъ добровольно подчинился первому пришедшему* (!?), охотно принявъ *чуждыхъ юсподъ* и равнодушно согласился, чтобы эти *чуждые юспода* его *покорили и держали въ повиновеніи* (!!). Къ тому же надобно замѣтить, что вы даже не предполагаете, чтобы повиноваться этимъ *чуждымъ юсподамъ* было для нашего народа очень *повойно*, потому что вы же говорите, что только *„страны, лежавшія въ глуши, оставались долго въ покое, пока князья распространились по всѣмъ городамъ“*.

„Вотъ одинъ изъ тѣхъ двухъ взглядовъ, которые выражены въ вашей статьѣ.

„Еслибы представленное въ этихъ строчкахъ изображеніе нашей старины было справедливое, то вы сами не могли бы имѣть столько любви къ нашей Древней Россіи; не могли бы посвятить ей столько постоянныхъ трудовъ, столько полезныхъ годовъ вашей жизни! Не могли бы имѣть столько со-

чувствія съ Русскимъ народомъ: таковой странный народъ былъ бы явленіемъ единственнымъ, небывалымъ въ лѣтописяхъ міра, и трудно было бы намъ думать съ любовью о его прошедшей жизни. Надобно признаться, что тотъ человѣкъ, который уже по самому климату своей земли не можетъ имѣть никакого сочувствія съ дѣлами своего народа, и тотъ народъ, который подчиняется спокойно первому пришедшему, который принимаетъ чуждыхъ господъ безъ всякаго сопротивленія, котораго отличительный характеръ составляетъ безусловная покорность и равнодушіе, и который даже отрывается отъ своей страны по одному приказанію чуждыхъ господъ—не можетъ внушить большой симпатіи. Это былъ бы народъ, лишенный всякой духовной силы, всякаго человѣческаго достоинства, отверженный Богомъ; изъ его среды не могло бы никогда выйти ничего великаго. Если бы таковъ былъ Русскій народъ въ первые два вѣка своихъ лѣтописныхъ воспоминаній, то всю его послѣдующую исторію мы бы должны были признать за выдумку, потому что энергія и благородство не могутъ быть народу привиты никакими чуждыми господами.—Вся наша Исторія этому противорѣчитъ, и вамъ лучше другихъ извѣстно, какова была встрѣча *всѣхъ чуждыхъ господъ*, которые пытались покорить и держать въ повиновеніи нашихъ предковъ: какъ во время Татарскихъ нашествій ни одинъ Русскій городокъ не былъ взятъ безъ самаго отчаяннаго отпора; какая сильная, непрерывная борьба продолжалась во все время Татарскаго могущества; и наконецъ, какова была та покорность и то равнодушіе, съ которыми мы встрѣтили чуждыхъ господъ въ 1612 и въ 1812 годахъ. А что касается до готовности нашего народа *отречься отъ страны по приказанію чуждыхъ господъ*, то вамъ также лучше другихъ извѣстно, довольно ли залиты кровью этихъ чуждыхъ господъ всѣ тѣ стороны Россіи, гдѣ наша вѣра подвергалась гоненію, гдѣ въ самомъ дѣлѣ чуждые господа думали разрушить Православіе, а на мѣсто его ввести Унію и Латынство. Какимъ же образомъ народъ этотъ такъ внезапно перемѣнился? — Ясно по крайней мѣрѣ то, что это мнимое

*равнодушіе къ общественнымъ дѣламъ и къ своему собственному человѣческому достоинству, которое вы ему приписываете въ IX и X вѣкѣ, не могли происходить отъ суроваго климата, потому что климатъ съ тѣхъ поръ не перемѣнялся во все продолженіе нашей исторіи и остался тотъ же до сихъ поръ; а большая часть нашего народа и до сихъ поръ, какъ вамъ извѣстно, не только не ждетъ крайней необходимости, чтобы выйти изъ своего дома, такъ мало зависитъ отъ климата, что почти всю свою жизнь, не смотря ни на какія времена года, проводить на открытомъ воздухѣ, и только ночью ложится спать внутри своего дома.*

„Откуда же могла произойти мысль объ этой рѣзкой противоположности между первыми двумя вѣками нашей исторіи и всѣми послѣдующими? Въ нашихъ Лѣтописяхъ нѣтъ ни одного слова, изъ котораго бы она могла возникнуть; напротивъ, онѣ изображаютъ намъ въ первые два вѣка точно тотъ же характеръ народа и точно то же коренное устройство государственныхъ отношеній, которое мы видимъ и впоследствии; только съ тою разницею, что извѣстія первыхъ вѣковъ, по отдаленности ихъ отъ перваго лѣтописца, скуднѣе; а послѣдующія, когда свидѣтельства Лѣтописей становятся подробнѣе, открываютъ передъ нами яснѣе всѣ внутреннія отношенія государства.

„Мнѣ кажется, что такое понятіе о государственныхъ отношеніяхъ и народномъ характерѣ Древней Россіи вышло просто изъ нѣсколькихъ ошибочныхъ гипотезъ, внесенныхъ въ нашу исторію Шлецеромъ и другими Нѣмецкими изслѣдователями, которые, по несчастью, *первые* начали ученымъ образомъ обрабатывать нашу Исторію и обратили свое вниманіе исключительно на эти два вѣка. Они не могли себѣ составить яснаго понятія объ отношеніяхъ призваннаго князя, потому что государственное устройство Словенскихъ племенъ имъ было незнакомо; вообразили себѣ Россію прежде Варяговъ какимъ-то хаосомъ и предположили, будто бы *наше* государство основано *Варяжскими* князьями, и будто бы эти

князя, внося свои понятія въ новооснованное государство, поставили народъ къ себѣ въ такое отношеніе, какъ будто бы онъ былъ завоеванъ. Этотъ взглядъ принять у насъ былъ многими послѣдующими изыскателями за дѣло рѣшенное, и вотъ, мнѣ кажется, на чемъ основано и то, что вы говорите о чуждыхъ господахъ и о народѣ, который покоряется первому пришедшему.

„Шлецеръ и другіе Нѣмецкіе ученые только потому могли себѣ составить такое понятіе о первыхъ двухъ вѣкахъ нашей Исторіи, что они эти два вѣка изучали совершенно отдѣльно, безо всякой связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ. Разумѣется, что изъ отрывчатыхъ и краткихъ извѣстій лѣтописца объ этомъ далекомъ времени, многозначительныхъ въ связи съ цѣлымъ, вышло что-то мертвое, лишенное всякаго колорита и характера, и что изъ этихъ несвязныхъ камней разрушеннаго зданія можно было строить всякаго рода гипотезы и системы. Но мы, не смотря на естественное вліяніе этихъ первоначальныхъ изслѣдователей, знаменитыхъ своею ученостію, не могли не откликнуться на громкій голосъ нашей Исторіи, прямо имъ противорѣчащій, и это живое впечатлѣніе Лѣтописей явственно выразилось въ вашей статьѣ. Рядомъ съ тою мрачною картиною нашей старины, о которой мы сейчасъ говорили, въ той же статьѣ есть и совершенно другая картина, гдѣ отношенія призванныхъ князей къ народу и самый народъ изображены совсѣмъ иначе“. Далѣе П. В. Кирѣевскій показываетъ сходство Древней Исторіи у всѣхъ Словенскихъ племенъ, но свое изслѣдованіе доводитъ только до призванія Рюрика. Дальнѣйшее развитіе мысли Кирѣевскаго должно было составить содержаніе его второй статьи.

Вслѣдъ за этою статьею Погодинъ помѣстилъ и свой отвѣтъ на нее, въ той же книжкѣ *Москвитянина*, гдѣ напечатана его статья *За Русскую Старину*.

„Не успѣлъ я отвѣчать одному возражателю \*)“, пишетъ Погодинъ, — „какъ долженъ обороняться отъ другого.

\*) М. А. Максимовичу.

„Очень радъ, что мое разсужденіе возбудило васъ въ литературной дѣятельности, которая давно обѣщаетъ вамъ столько чести.

„Очень жалѣю, что при первомъ вашемъ опытѣ долженъ встрѣтиться съ вами такъ непріязненно,—впрочемъ поневолѣ, защищая только себя отъ вашего дружественнаго нападенія, отъ вашего обвиненія въ ужасныхъ противорѣчійхъ.

„Спѣшу сложить съ себя это бремя немедленно, ибо нести его мѣсяцъ, при близорукости нашихъ судей и знатоковъ, было бы слишкомъ тяжело и даже опасно. Впрочемъ, ваша статья, хотя и не конченная, составляетъ уже цѣлое въ отношеніи ко мнѣ, и отвѣчать я могу безъ всякаго неудобства для васъ, а развѣ для себя“.

Послѣ этого вступленія Погодинъ разбираетъ возраженія Кирѣвскаго по пунктамъ и между прочимъ замѣчаетъ:

„Отнимая у насъ терпѣніе и смиреніе, двѣ высочайшія христіанскія добродѣтели, коими украшается наша Исторія, вы служите Западу. Лучшая награда принадлежитъ намъ за нихъ. Язычники могутъ не понимать сихъ добродѣтелей, и даже называть ихъ пороками, осуждать за нихъ нашу Исторію, но какъ же намъ, православнымъ, отказываться отъ нихъ и искать другихъ, какими по справедливости гордится Западъ. Всѣхъ добродѣтелей имѣть нельзя: однѣ принадлежатъ Востоку, другія — Западу.

„Я вооружаюсь въ статьѣ *За Русскую Старину*, въ этомъ же номерѣ напечатанной, противъ тѣхъ писателей, которые не хотятъ видѣть *ничего* въ нашей *Древней Исторіи*. Столько же несправедливы, по моему мнѣнію, столько же пристрастны и тѣ, которые видятъ тамъ *все*.

„Вы обвиняете меня за мои слова о Русскомъ народѣ, (вами впрочемъ усиленные), что онъ отрекся отъ своей вѣры по одному приказанію чуждыхъ господъ.

„Прочтите Нестора: „Посемъ же Володимиръ посла по всему граду, глаголя: аще не обрящется кто заутра на рѣцѣ, богатъ ли, ли убогъ, или нищъ, ли работникъ, противенъ мнѣ да будетъ.

Се слышавше людѣ, съ радостью идяху, радуящеся и глаголюще: аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре приiali“.

„Единственную оппозицію оказала одна толпа, которая пошла съ плачемъ провожать Перуна, и когда онъ былъ брошенъ воинами въ Днѣпръ, то она закричала: „Выдобай, нашъ Боже!“

„Вы забыли это мѣсто, служившее моимъ основаніемъ, и спрашиваете меня: „Довольно ли залиты кровью всѣ тѣ стороны Россіи, гдѣ наша вѣра подверглась гоненію“, но вы забываете опять, что это было съ вѣрою христіанскою, съ вѣрою, исповѣданною уже въ теченіе пятисотъ лѣтъ, а у меня было говорено объ оставленіи вѣры языческой вообще.

„Вы смѣшиваете здѣсь, какъ и вообще, Исторію государственную съ Исторіей племенною: вотъ и объясненіе вашего похвальнаго заблужденія. Черезъ пять или шесть сотъ лѣтъ народъ развился, и чуждыхъ господъ не стало: они подверглись вліянію нашего народа, они сами сдѣлались частію того народа и дѣйствовали уже сообща. На это мѣсто вы не обратили вниманія, а оно могло бы сколько-нибудь васъ умиловити, и вы усомнились бы произнести тотъ грозный приговоръ, которымъ вы начали исчислять мои вины, раздѣляемыя теперь Несторомъ: („еслибъ представленное вами изображеніе нашей старины было справедливое, то“ и проч.). Я смѣю теперь только улыбнуться на такой приговоръ и думать, что изображеніе мое вѣрно, и между тѣмъ въ немъ нѣтъ ничего такого отчаяннаго. Богъ милостивъ!

„Далѣе—вы обращаетесь къ необходимому имени Шлецера, которому приписываете всѣ мнимыя заблужденія Русской Исторіи!

„Неужели вы не знаете, что отъ Шлецера осталась теперь только метода, благодѣтельная для Исторіи, а положенія его почти всѣ или уничтожены, или измѣнены, или уменьшены, или дополнены. Да почіетъ въ мирѣ прахъ его!

„Позвольте только упрекнуть васъ, что вы съ западной, а не Словенской хитростью, пропустили Карамзина“.

Касательно представленнаго Кирѣевскимъ изображенія Словенскихъ обществъ въ первый періодъ ихъ Исторіи, съ коимъ наше будто было сходно Погодинъ замѣчаетъ: „Оно прекрасно, но не относится непосредственно къ его статьѣ, не заключаетъ никакихъ обвиненій на него, притомъ не кончено“, и прибавляетъ: „Я не стану говорить о немъ, а скажу только вообще не вамъ, а всѣмъ изыскателямъ, призывающимъ себѣ на помощь Словенскую Исторію.“

„Исторію Словенскихъ племенъ для объясненія нашей употреблять намъ очень мудрено. Поясню мою мысль. Велико-россіяне живутъ рядомъ съ Малороссіянами, исповѣдуютъ одну вѣру, имѣютъ одну судьбу, долго одну Исторію. Но сколько есть различія между Велико-россіянами и Малороссіянами. Нѣтъ ли у насъ большаго сходства въ нѣкоторыхъ качествахъ даже съ Французами, чѣмъ съ ними? Въ чемъ же состоятъ сходство?—Этотъ вопросъ гораздо затруднительнѣе.“

„Далѣе, возьмемъ Исторію Россіи и Польши. Въ чемъ онѣ сходятся? А живемъ мы рядомъ! Попытайтесь употребить Польскую Исторію для объясненія Русской, и Русскую для объясненія Польской—мы не объяснимъ, а развѣ затемнимъ ту и другую. Тяжелая задача! Я найду скорѣе сходство въ Русской съ Испанскою, чѣмъ съ Польскою.“

„Говорить ли о Сербіи?“

„Обратимъ вниманіе на характеры: малороссіянина, поляка, чеха, серба, великороссіянина, болгарина. Какое разнообразіе! Каковъ характеръ, такова и Исторія.“

„Наконецъ, разныя обстоятельства измѣняли совершенно Исторію, что касается до путей ея, средствъ и пр. Укажу на одно: Западные Словене окружены были воинственными племенами, а мы—мирными.“

„Что мудренѣе филологія или исторія? Но и въ филологіи, только Добровскій, Шафарикъ едва начали примѣчать



и указывать сходства, коими никто еще почти и не могъ воспользоваться“.

Свое возраженіе Погодинъ заключаетъ слѣдующимъ: „Что сказать мнѣ вообще о вашей статьѣ? Чѣмъ объяснить мнѣ ваше расположеніе найти у меня противорѣчія! Вы увлекаетесь однимъ изъ вашихъ предубѣжденій, впрочемъ очень похвальныхъ, и, увы, очень уже рѣдкихъ у насъ. Вы ищете въ Исторіи подтвержденій для вашей гипотезы, а я—я учусь у Исторіи, и говорю только, что она мнѣ сказала, приводя оное, разумѣется, въ сознательный порядокъ. Вы *даете* Исторіи систему, а я *беру* у нея. Прочтя съ своею системою мою статью, вы нашли мысли, сходныя съ вашими, и объявили ихъ справедливыми, а прочія противорѣчіями, не разсмотрѣвъ внимательно, что я противорѣчу *только вамъ, а не себѣ*. При томъ вы вынули по произволу нѣсколько моихъ положеній изъ цѣпи, которую они составляютъ, и пропустили прочія: мудрено ли, взявъ изъ ряду числа 1, 2, 3, 7, 9, 15, доказывать, что въ нихъ нѣтъ послѣдовательности, потому что пропущены 4, 5, 6, 8 и проч.

„Мое разсужденіе состоитъ изъ трехъ частей:

- 1) Призваніе и его непосредственныя слѣдствія.
- 2) Развитіе и утвержденіе ихъ продолженіемъ Исторіи.
- 3) Содѣйствія физическія и нравственныя.

„Чего удобнѣе для критика разбирать всѣ положенія порознь, одно уничтожить, другое ослабить, третье дополнить и проч.? Такихъ замѣчаній я очень желаю, особенно о третьей части, которую объяснить можно гораздо болѣе. Вы одолжите меня много, если обратите на нее ваше вниманіе и сообщите свое мнѣніе. Освободясь отъ главныхъ обвиненій, я буду ожидать частныхъ съ спокойнымъ духомъ, и общаю себѣ еще больше удовольствія отъ второй вашей статьи, которая уже открывается мнѣ прекрасною картиной“.

---

## XIX.

Въ 1845 году Погодинъ издалъ въ двухъ томахъ *Словарь Русскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ Россіи*, сочиненіе митрополита Евгенія. Въ предисловіи къ изданію Погодинъ писалъ: „Покойный Кіевскій митрополитъ Евгеній сочиненіемъ двухъ *Словарей* своихъ — писателей Русскихъ духовнаго чина и свѣтскихъ — положилъ твердое основаніе Исторіи Русской и Словено-Русской Словесности и вмѣстѣ открылъ предъ очами міра безчисленное множество въ сокровищѣхъ дотогѣ совершенно неизвѣстное.

„Первый изъ сихъ *Словарей* онъ напечаталъ при своей жизни; изданіе второго предоставилъ профессору Московскаго Университета И. М. Снегиреву, который, вмѣстѣ съ покойнымъ книгопродавцемъ Ширяевымъ, и началъ было оное, приложивъ свое дополненіе.

„Это изданіе не нашло себѣ поддержки въ публикѣ, отученной многими несчастными опытами отъ изданій не доконченныхъ, и драгоценный словарь, остановившись на первомъ томѣ, осужденъ былъ лежать около десяти лѣтъ подъ спудомъ, не принося никакой пользы нашимъ ученымъ, обратившимся въ послѣднее время къ изученію нашихъ старыхъ памятниковъ.

„Я убѣдилъ владѣльца рукописи Снегирева уступить мнѣ свое право изданія на извѣстныхъ условіяхъ, — и намѣревался обратиться къ нашимъ академіямъ и ученымъ обществамъ съ просьбой о пособіи для изданія; но послѣ разсудивъ, что это обращеніе повлечетъ неминуемо къ пространнѣмъ разсужденіямъ и перепискѣ и отдалить время изданія книги полезной и необходимой въ наше время, рѣшилъ воспользоваться средствами *Москвитянина*, и издаю теперь *Словарь* безъ малѣйшей перемѣны противъ рукописи сочинителя. Дополненія, принадлежащія другимъ лицамъ, могутъ и должны быть, по моему мнѣнію, изданы особо.

„Митрополитъ Евгеній кончилъ первоначально свой словарь въ 1812 году, но и впоследствии оставилъ извѣстіе о сочинителяхъ, которые окончили свою жизнь, и даже тѣхъ, которые жили, какъ увидать читатели. Послѣднія извѣстія могутъ быть докончены въ предполагаемомъ дополненіи.

„Желая по мѣрѣ силъ и средствъ своихъ содѣйствовать основательному изученію древней Исторіи Русской Словесности, подвергающейся нынѣ такимъ нелѣпымъ толкамъ, я предпринялъ это изданіе, но охотно передамъ свое право со всѣми экземплярами кому угодно изъ нашихъ книгопродавцевъ и издателей, совершенно на тѣхъ же условіяхъ въ отношеніи къ владельцу типографіи и бумажному фабриканту, на какихъ документально я самъ получилъ оное“.

Когда этотъ Словарь вышелъ въ свѣтъ, С. Д. Полторацкій въ *Сѣверной Пчелѣ* напечаталъ на него критику, вызвавшую въ свою очередь въ *Москвитянинѣ* отвѣтъ Погодина. „Я“, писалъ послѣдній, — „издалъ Словарь свѣтскихъ писателей, какъ онъ былъ оставленъ митрополитомъ Евгеніемъ, а вы взыскиваете, въ вашихъ библіографическихъ розысканіяхъ, помѣщенныхъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, зачѣмъ я не поправлялъ и не дополнялъ митрополита Евгенія. Это взысканіе тѣмъ неожиданнѣе, что сами же вы, въ той же самой статьѣ, употребили всѣ свои силы обвинять Сенковского, какъ онъ осмѣливался поправлять присылаемые къ нему статьи. Вы не позволяете, и очень основательно, Сенковскому поправлять своихъ сотрудниковъ и разныхъ псевдонимовъ, — Сенковскому, объявившему заранѣе, что *Библиотека* имѣетъ волшебныя ящички исправленія, и вините меня за то, что я считалъ непозволительнымъ прикасаться къ труду знаменитаго писателя, уже скончавшагося. Если Сенковский въ силу убѣдительныхъ вашихъ доказательствъ виноватъ, то я правъ, или на оборотъ. А оба за противоположный образъ дѣйствія виноваты быть мы не можемъ.

„Словарь митрополита Евгенія неполонъ, несовершенъ, — идите по его слѣдамъ, исправьте, дополните его трудъ, но въ

своемъ собственномъ сочиненіи. Тогда мы увидимъ, что принадлежит С. Д. Полторацкому, и что принадлежит митрополиту Евгенію. Вы говорите, что смѣшно въ *Словарь* Евгенія видѣть Крылова титулярнымъ совѣтникомъ, но развѣ менѣе странно было бы слышать, еслибы митрополитъ Евгеній съ того свѣта сталъ рассказывать въ своемъ *Словарь*, какъ получилъ Крыловъ звѣзду или ленту, еслибы предложилъ намъ свѣдѣнія, напримѣръ, о васъ, хотя вы не начинали писать, когда онъ скончался, о Пушкинѣ, о послѣднихъ изданіяхъ басенъ Крылова, *Истории* Карамзина, кои вышли гораздо спустя послѣ того, какъ его не стало на свѣтѣ. Еслибъ я вздумалъ, напримѣръ, издать словарь Новикова, положимъ въ полномъ изданіи его сочиненій, то неужели я долженъ бы былъ помѣстить туда Державина и Озерова? Здравый смыслъ, съ которымъ не мѣшаешь справляться и библіографамъ, запрещалъ мнѣ приписывать митрополиту Евгенію пророчества, коихъ теперь вы отъ меня требуете.

„А наконецъ, что значить такая выходка, простительная только журнальнымъ... „Статья о князѣ Д. П. Горчаковѣ появилась впервые въ *Другъ Просвѣщенія* 1806 года, и состояла изъ шестнадцати строчекъ. Тѣ же шестнадцать строкъ перепечатаны М. П. Погодинымъ въ 1845 году“. Я не перепечатывалъ никакихъ шестнадцати, ни шестидесяти строчекъ, а издалъ всю рукопись митрополита Евгенія, сполна, какъ получилъ ее отъ владѣльца *Снегирева*. Митрополитъ Евгеній напечаталъ свою статью о князѣ Горчаковѣ въ *Другъ Просвѣщенія*; митрополитъ Евгеній помѣстилъ ее и въ своемъ сочиненіи, которое теперь мною напечатано.

„Заключу: *Словарь* митрополита Евгенія не полонъ, но вѣрно двадцать пять лѣтъ пройдетъ, пока выйдетъ другой его полнѣе, — не угодно ли побиться со мною объ закладъ (NB я впрочемъ буду очень радъ проиграть, если вы съ вашими средствами, познаніями, опытами, за него приметесь). А если вы примитесь, то все-таки должны будете перепечатать Евгеніевъ въ своемъ полномъ сочиненіи, ибо многихъ извѣстій не

найдете нигдѣ кромѣ, Евгенія. Если же вы откажетесь отъ Евгенія, какъ будто бы его не существовало, то насмѣшите о прошедшемъ времени гораздо болѣе, нежели Евгеній о будущемъ. П. М. Строевъ осуждалъ также *Словарь* Евгеніевъ духовныхъ писателей, лѣтъ двадцать тому назадъ: а до сихъ поръ не вышло еще ничего, въ этомъ родѣ, и безъ Евгенія, при всѣхъ его недостаткахъ, историки Русской Литературы не могутъ сдѣлать ни шагу. Предоставимъ *Отечественнымъ Запискамъ* метать грязью въ кого ни попало, а такой знающій, основательный библіографъ, общающій намъ настоящаго ученаго по своей части, какъ Полторацкій, долженъ отказаться отъ опрометчиваго приговора, будто *Словарь* Евгеніевъ недостойнъ былъ печати. Издать *Словарь* Евгенія не стоило мнѣ никакого труда, кромѣ денегъ, — изданіе потому не можетъ принести никакой чести и славы, — но все-таки я заслуживаю спасибо, а не упрекъ, доставивъ преподавателямъ и историкамъ Русской Литературы важное пособіе и освободивъ изъ-подъ спуда почтенный трудъ. И знаете ли, что между прочимъ побудило меня издать *Словарь* Евгеніевъ? Я скорбѣлъ тому, чему вы радуетесь: что Снегиревъ началъ издавать его съ поправками и дополненіями. Мнѣ хотѣлось, чтобы Евгеній явился у насъ самимъ собою, и никакъ не могъ предполагать, чтобы явились люди, которые спросили въ этомъ дѣлѣ отъ него *голоса по смерти*“<sup>119</sup>).

Издавъ *Словарь* митрополита Евгенія, Погодинъ самъ задумалъ написать статью, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Русская Литература въ началъ своего поприща*. Въ *Дневникъ* его мы находимъ слѣдующую записку: „Читалъ любопытныя бумаги И. И. Дмитріева, оставленныя у меня Михаиломъ Александровичемъ. Думалъ о статьѣ: *Русская Литература въ началъ своего поприща*. Бѣдный Тредьяковскій. Ему надобно поставить памятникъ“<sup>120</sup>).

Въ то же время Погодинъ велъ любопытную переписку по предмету своей любимой науки. Вотъ что сообщаетъ ему А. В. Горскій въ отвѣтъ на его вопросъ: „Вы спрашиваете меня“,

пишетъ онъ, — „въ какомъ житіи говорится о крещеніи св. Владимира Фотіемъ, патріархомъ Константинопольскимъ? И я не помню; укажу только на статью въ нашихъ Кормчихъ, известную подъ именемъ *Устава св. Владимира*, и на объясненіе, какое сему анахронистическому свидѣтельству даетъ Розенкампфъ (*Обозрѣніе Кормчей*. Примѣч., стр. 212). Впрочемъ, можетъ быть, указаніе на Фотія не только свидѣтельствуешь древность нашей іерархіи, сколько ея Православіе, или то, что она изначала принадлежала къ сторонѣ, защищавшей Православіе противъ папистовъ или склонившихся на унію съ папой“. Въ томъ же письмѣ Горскій, свидѣтельствуя Погодину „нижайшее почтеніе“ отъ лица ректора Троицкой Академіи архимандрита Евсевія \*) и протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго, приписываетъ: „Что вамъ такъ хочется добратся до А. Н. Муравьева? У насъ неудобно заняться разборомъ его сочиненій, какъ я говорилъ вамъ и прежде. Простите нашей несмѣлости“.

Почтенный Дерптскій ученый Тобинъ съ величайшимъ сочувствіемъ относился къ трудамъ Погодина и писалъ ему: „Съ душевнымъ прискорбіемъ прочиталъ ваше письмо, выразившее всю горестъ вашей великой потери. Я бы искренно соболѣзновалъ о ней, еслибъ я даже самъ не зналъ высокаго счастья семейной жизни, ибо вся Русія видитъ въ васъ почти единственнаго истинно критическаго изслѣдователя своей достославной старины, и каждая минута успѣшной вашей дѣятельности, которой душевные или тѣлесные недуги лишаютъ Отечество наше, есть безспорно невозвратимая потеря для него. Благоволите принять одинъ экземпляръ моего *Собранія Источниковъ Русскаго Права*, а другой передать Московскому Обществу Древностей и Исторіи Россіи. Я намѣренъ издать теперь *Правду* и на Русскомъ языкѣ, при чемъ каждое вами сдѣланное замѣчаніе было бъ для меня драгоценнымъ. Надѣюсь, что способъ, котораго я придерживался при критическомъ разборѣ источниковъ Русскаго Права,—

\*) Впослѣдствіи архіепископъ Могилевскій.

именно, сравненіе одинаковыхъ, не совсѣмъ остался безъ пользы. Дѣйствительно оказалось, что Латинскій трактатъ Любека—только инструкція, данная Ганзейскимъ посламъ, которой они должны были придерживаться при заключеніи договора съ Ярославомъ Ярославичемъ. Желательно было бы, еслибъ помѣщена была въ *Москвитянинъ* безпристрастная критика о моемъ сочиненіи такъ, какъ это сдѣлано было съ *Правдою Русскою* въ *Библіотекѣ для Чтенія*“.

А. О. Бычковъ, изучавшій въ то время историческія судьбы Господина Великаго Новгорода, писалъ Погодину: „Препровождаю къ вамъ статью, содержащую въ себѣ извѣстіе о вновь открытомъ Новгородскомъ посадникѣ. Надѣюсь, что она найдетъ мѣсто на страницахъ вашего журнала. Собираемые въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ матеріалы для Новгородской Исторіи наконецъ приводятся въ порядокъ; изъ нихъ выйдетъ рядъ довольно любопытныхъ статей. Я думаю, по мѣрѣ окончанія, пересылать ихъ къ вамъ, если вы согласитесь печатать ихъ въ *Москвитянинъ*. Передайте мнѣ объ этомъ ваше мнѣніе. Хотѣлъ было съ вами поговорить о вышедшихъ въ послѣднее время историческихъ изслѣдованіяхъ, но откладываю до другого раза. Тороплюсь въ Библіотеку“.

Знаменитый церковный законовѣдъ соборный іеромонахъ Свято-Троицкія Александро-Невскія Лавры Іоаннъ, впоследствии епископъ Смоленскій, писалъ Погодину: „Нижеподписавшійся имѣетъ у себя сочиненіе подъ заглавіемъ: *Церковный памятникъ временъ царя Іоанна Васильевича IV—Стоглавый Соборъ, съ критическими, историческими и археологическими замѣчаніями*. Сочиненіе это, не очень обширное, учеными и знающими людьми признано достойнымъ вниманія и любопытнымъ, тѣмъ болѣе, что представляетъ Стоглавый Соборъ въ полномъ его видѣ, со всѣми его постановленіями, изъясненными по Русскимъ и Греческимъ церковнымъ памятникамъ древности. Напечатать его было бы полезно—отдѣльною ли книжкою, или между другими этого рода сочиненіями, какъ, напримѣръ, въ *Русскихъ Достопамятностяхъ*. Но самъ

сочинитель не имѣеть къ тому способовъ. Посему онъ рѣшился сдѣлать предложеніе *Москвитянину*: не угодно ли ему это сочиненіе взять на свои руки? Сочинитель отдалъ бы его *Москвитянину* въ полное распоряженіе, — съ нѣкоторыми только (очень ограниченными) условіями. Но предварительно онъ желалъ бы знать о намѣреніяхъ вашего *Москвитянина* и объ условіяхъ, какія онъ для себя признаеть удобными. Желаю, чтобы это письмо и самое предложеніе мое остались никому неизвѣстными?“ Желаніе это было исполнено, и послѣдняя книжка *Москвитянина* 1845 года открывается *Нѣсколькими словами о книгѣ Стоглавъ*.

Сахаровъ сообщаетъ Погодину, что „во время пребыванія Макарія въ Новгородѣ—много явилось литературнаго. Эта эпоха не разработана. Онъ имѣлъ кругомъ себя множество писателей. Онъ тамъ произвелъ три великіе подвига: *Уставъ Церковный*, *Прологи* и *Минеи-Четы*. О Минеяхъ его много говорятъ, но дѣльнаго никто не сказалъ ничего. Объ *Уставѣ* и *Прологахъ* никто не помышляетъ. Странное дѣло: или самъ Макарій *Уставомъ* и *Прологами* былъ недоволенъ, или онъ замыслилъ сдѣлать что-нибудь другое. Изъ *Прологовъ* онъ составилъ *Минеи*, и *Уставъ* оставилъ втунѣ—что-то имъ отзывается въ *Стоглавъ*. Ислѣдователю *Стоглава* необходимо нужно будетъ заглянуть въ его *Уставъ*. Еслибы имѣлъ свободное и независимое время пожить въ Новгородѣ, я бы посвятилъ себя на разработку Макарьевской эпохи—съ 1526—1540. Жалко, больно и прискорбно смотрѣть на наши *Истории Литературы*! Сотни двѣ именъ, десятка два книгъ—и вотъ на чемъ вертится вся *Исторія*. Думаю, что Шевыревъ выйдетъ изъ этой безграмотной школы. Изъ его чтеній, печатаемыхъ въ *Москвитянинѣ*, я увидѣлъ совершенно новаго чловѣка въ Русской Литературѣ“.

Нѣкто П. Сіяновъ, изъ Люблина, получивъ послѣ кончины своего дѣда флота-лейтенанта связку бумагъ, слѣшнѣ дѣлиться оною съ Погодинымъ. „Между разными бумагами“, пишетъ онъ,—„и документами прадѣда моего, который изъ



Сухарева школы выпущенъ былъ въ 1710 году во флотъ, а впослѣдствіи служилъ до 1746 года въ ландмилиціи капитаномъ, нашелъ я собственноручную его копію съ письма генералъ-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева къ Петру Великому, писаннаго 27-го ноября 1715 года, по полученіи графомъ извѣстія о рожденіи царевича Петра Петровича. По простотѣ своей и откровенности, съ которыми Государю рассказываетъ подданный случившееся съ нимъ забавное происшествіе, письмо это показалось мнѣ довольно любопытнымъ. Препровождаю къ вамъ, милостивый государь, списокъ съ него, съ соблюденіемъ въ точности правописанія, какое употреблено въ находящейся у меня копіи; но кому оно принадлежитъ, самому ли графу Шереметеву, или моему прадѣду—рѣшить трудно. Быть можетъ, вы изволите признать письмо это, вѣроятно не многимъ извѣстное, заслуживающимъ вниманія и помѣстите его въ *Москвитянинъ*“<sup>121</sup>).

Упоминаемое письмо графа Бориса Петровича Шереметева, Погодинъ напечаталъ въ своемъ *Москвитянинъ*: „Рабски вашему Царскому Величеству премилостивѣйшему Государю благодарствую за превеликую къ намъ милость, что изволилъ насъ, рабовъ своихъ, увеселить, сердечною радостію обрадовать о новорожденномъ своемъ сынѣ, а о нашемъ премилостивѣйшемъ Государѣ Царевичѣ Петрѣ Петровичѣ... А тое радостную вѣдомость я получилъ... въ Лезеричахъ, и случился быть у меня генералъ Репнинъ, Лессе-Штокъ и Глѣбовъ для совѣта... и какъ о той всемірной радости услышали, и воздахъ хвалу Богу и Пресвятой Его Богоматери, учили веселиться и благодаря Бога зѣло были веселы, и умысли надъ нами Ивашю Хмельницкій... А сего ноября дня буду я генералитетъ трахать при границѣ Прусской въ мѣстечѣ Шверинѣ публично съ пушечною пальбою и весьма мы единогласно положили искать надъ Хмельницкимъ и Виницкимъ ревенжу“<sup>122</sup>).

Прочитавъ это письмо въ *Москвитянинъ*, почтенный Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ писалъ Погодину: „Я, признаюсь,

не могъ забавляться письмомъ Шереметева. Не могу забыть, что онъ былъ виновникомъ спасенія Россіи, итакъ — виновникомъ ея нынѣшняго самостоятельнаго величія. Скажутъ: Да такъ ли?—Въ эпиграфъ приведу одну фразу третьяго номера *Москвитянина*: Quand on sait l'origine, on sait tout. Въ Совѣтѣ Петра долго разсуждали, выступить ли за границу противъ Карла XII или впустить его. Шереметевъ одинъ рѣшилъ: впустить, заманить и привести въ самую нутрь Россіи, и въ длинной рѣчи предсказалъ его уничтоженіе. Это было слово; *дѣломъ* онъ встрѣтилъ его подъ Полтавою, гдѣ начальствовалъ надъ всею арміею; дивилъ Карла какъ стратегъ и какъ воинъ, ибо и мундиръ, и рубашка были пробиты пулями. Стало быть, предстояли моменты, когда и главнокомандующій приближался на ружейный выстрѣлъ. Являсь изъ Рима и Мальты, онъ представилъ въ себѣ перваго Русскаго образованнаго по Европейски. И такъ не забавно было мнѣ видѣть его битымъ Ивашкою Хмельницкимъ<sup>123</sup>).

Печатавъ въ *Москвитянинѣ* *Матеріалы для Истории Пугачевского бунта*, почерпнутые изъ бумагъ, оставшихся послѣ князя М. Н. Волконскаго, Погодинъ замѣтилъ: „Обращаемъ вниманіе публики на это важное собраніе матеріаловъ, драгоценное по собственнымъ письмамъ Императрицы Екатерины, въ коихъ видна ея добрая душа“<sup>124</sup>).

Извѣстный издатель *Записокъ Затворника Задонскаго Григорія*, рясофоръ Оптиной пустыни, П. А. Григоровъ, предлагалъ Погодину напечатать въ *Москвитянинѣ* статью о *Маломъ Ярославцѣ*. „Статья сія“, писалъ Григоровъ, — „какъ увидите, написана съ благонамѣренной цѣлю, гдѣ кровь Русская лилась рѣкой и монастырь переходилъ шесть разъ изъ рукъ въ руки, то къ намъ, то къ непріятелю, и по истинѣ не осталось камня на камнѣ, и до сихъ поръ еще раны побойща видны и храмъ хотя освященъ, но много недостатковъ. — Кто изъ Русскихъ не лишился въ годину бѣдствій ему близкихъ? Такъ и мой присный благодѣтель, герой и спаситель Верей, генералъ-лейтенантъ Иванъ Семеновичъ Дороховъ за-

печатлѣлъ кровію своею Обитель Малоарославецкую и отъ сей раны снизшелъ въ могилу; но предъ смертію за славный подвигъ свой просилъ сажень земли Верейской для могилы.— Уважьте память падшихъ героевъ и дайте уголокъ въ *Москвитянинъ* воспоминаніямъ о Маломъ Ярославцѣ<sup>125</sup>).

---

## XX.

6 февраля 1845 года Погодинъ въ послѣдній разъ присутствовалъ въ званіи секретаря въ засѣданіи Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Въ этомъ засѣданіи, бывшемъ подъ предсѣдательствомъ графа С. Г. Строганова и въ присутствіи А. Д. Черткова, П. М. Строева, А. Θ. Вельмана, Θ. Л. Морошкина, О. М. Бодянскаго, Д. Н. Дубенскаго и Г. И. Спасскаго, Погодинъ „просилъ, по болѣзни своей, уволить его отъ должности секретаря“. Снисходя къ этой просьбѣ, графъ С. Г. Строгановъ предложилъ баллотировать на должность секретаря трехъ присутствовавшихъ въ засѣданіи членовъ, изъявившихъ на то свое согласіе: П. М. Строева, А. Θ. Вельмана, О. М. Бодянскаго, изъ нихъ послѣдній, по большому числу избирательныхъ шаровъ, избранъ въ секретари Общества на три года. На этомъ засѣданіи А. М. Кубаревъ не присутствовалъ, слѣдовательно по слуху писалъ И. П. Сахарову слѣдующее: „Погодинъ явился въ послѣднемъ собраніи съ прошеніемъ объ увольненіи. Президентъ, разумѣется, какъ бываетъ въ такихъ случаяхъ, просилъ его не оставлять этого поста, представляя и то, и то, какъ водится, впрочемъ съ исключеніемъ *буде...* и проч. Итакъ, дѣло шло довольно хорошо. Только не знаю, какой злой духъ внушилъ Погодину сгрустнуться и попенять Обществу, что онъ такъ мало вознагражденъ, тогда какъ Общество въ его секретарство такъ много сдѣлало. Пеня вовсе неумѣстная. Ибо, кромѣ того, что Общество печатало его изданія на свой счетъ и дарило ихъ ему, онъ еще получалъ

за корректуру *Русскаго Историческаго Сборника* двадцать пять рублей съ листа, если не болѣе. Къ большому промаху вздумалось ему вычислять при сей оказіи всѣ сплошь сборники, памятники, лѣтописи и пр. и пр., приписывая все это себѣ. Всѣ слушали такой панегирикъ въ молчаніи, пока панегиристъ на бѣду свою не напомнилъ о каталогѣ Строева. А Строевъ тутъ былъ! Вотъ тутъ-то поднялась тревога. *Какъ? воскликнулъ Строевъ: и мой каталогъ вы приписываете себѣ? По какому праву? Какъ, труды членовъ принадлежатъ только вамъ? Это самохвальство, безстыдство и пр. и пр. Наконецъ, что такое вы, вы сами, господинъ Погодинъ? Вы сами не чрезъ мои ли руки перешли въ Общество? Откуда такое диктаторство? Не отъ того ли всѣ оставили Общество? Я самъ послѣ сего ни ногой сюда болѣе и пр.* Графъ С. Г. Строгановъ, который давно уже, и весьма справедливо, жаловался на равнодушіе членовъ, не безъ удовольствія слушалъ этотъ споръ, который обнаружилъ для него внутреннія чувства, скрываемыя прежде подъ маскою приличія. Наконецъ, когда буря утихла, приступлено къ избранію секретаря. Представились три кандидата: Строевъ, Вельтманъ, Бодянской... Строевъ получилъ шесть черныхъ и два бѣлыхъ, Вельтманъ пять черныхъ и три бѣлыхъ, Бодянской шесть бѣлыхъ и два черныхъ — утвержденъ<sup>а</sup>. Будучи избранъ въ секретари, Бодянской обратилъ вниманіе Общества на недостатки его устава; вслѣдствіе сего было опредѣлено въ слѣдующемъ же засѣданіи Общества заняться разсмотрѣніемъ устава<sup>126</sup>). Самъ же Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ* записалъ слѣдующее: „Собраніе въ Обществѣ, гдѣ несносный Строевъ говорилъ грубости, такъ что я рѣшительно отказался. Графъ Строгановъ поддерживалъ меня слабо, какъ большинство Гизо. Бодянской взялся написать конституцію. Комедія! Жалко бросить ихъ, то-есть, дѣло, но терпѣнія не достало. Впрочемъ я не былъ тронутъ. Богъ съ ними! Могу взяться опять, когда они увидятъ, что не могутъ сдѣлать ничего безъ меня“. Но надежда Погодина и въ этомъ случаѣ не оправдалась.

Какъ въ Университетѣ, такъ и въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ обошлись безъ него, и на каеедру, и въ секретарство ему вторично вступить не удалось.

Но на первыхъ же порахъ Погодинъ возсталъ противъ намѣреніи Общества измѣнить уставъ свой и „написалъ бумагу въ Общество, что не надо измѣнять устава“<sup>127</sup>). Это мнѣніе Погодина раздѣлялъ и А. Д. Чертковъ, который по этому поводу писалъ ему: „Не въ уставѣ состоитъ дѣло, а оно зависитъ отъ насъ самихъ. Очень ошибаются тѣ, которые думаютъ, что при измѣненіи устава родится вдругъ неожиданная дѣятельность“<sup>128</sup>).

Предъ самымъ своимъ выходомъ изъ секретарства Погодинъ предложилъ въ члены Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ профессора Московской Духовной Академіи А. В. Горскаго, и это предложеніе было принято единогласно. „По газетнымъ извѣстіямъ узналъ я“, писалъ Горскій Погодину, — „о новомъ знаѣ вашего благорасположенія ко мнѣ— избраніи въ дѣйствительные члены Московскаго Историческаго Общества. Не умѣю платить вамъ ничѣмъ, кромѣ чувства живѣйшей благодарности за вниманіе, постоянно оказываемое вами къ слабымъ моимъ трудамъ. Теперь одно во мнѣ желаніе: не оставить васъ въ стыдѣ за почетное избраніе. Сами наставляте меня, какъ и чѣмъ могу я соответствовать новому званію, чтобы быть мнѣ въ подлинномъ смыслѣ дѣйствительнымъ членомъ почетнаго Общества“<sup>129</sup>).

Какъ и слѣдовало ожидать, отношенія между старымъ и новымъ секретарями образовались самыя враждебныя. Первымъ поводомъ къ тому была *Малороссійская Лѣтопись*. Вспоминая о своихъ отношеніяхъ къ графу С. Г. Строганову, Погодинъ писалъ: „Представилъ я Обществу Исторіи и Древностей Россійскихъ *Малороссійскую Лѣтопись* Величьи и предложилъ ее напечатать, поруча изданіе, по взаимному согласію, Бодянскому. Когда предложеніе было принято, я объявилъ своимъ условіемъ предоставленіе въ мою пользу сотъ двухъ экземпляровъ. Графъ С. Г. Строгановъ, какъ предсѣ-

датель, никакъ не хотѣлъ согласиться, говоря, что эти экземпляры повредятъ экземплярамъ издателя. Напрасно я возвращалъ ему, что этого не можетъ быть, ибо если изданіе пойдетъ, то какъ мои, такъ и его экземпляры продадутся одинаково; если же не пойдетъ, то останутся на нашихъ рукахъ одинаково. Спросите самого Бодянского, а плуть хохолъ Бодянской молчалъ. Графъ Строгановъ же говорилъ, что его нечего спрашивать, а Общество должно стараться о соблюденіи его выгодъ. Вышедъ изъ терпѣнія, я сказалъ:

*Погодинъ.* Если Общество не согласно на мои условія, то я отдамъ свою рукопись въ другія руки для изданія. Возвратите мнѣ ее.

*Графъ Строгановъ.* Нѣтъ, мы вамъ ее не возвратимъ, вы ужь отдали ее Обществу.

*Погодинъ.* Помилуйте, какъ можете вы отнимать у меня мою собственность?

*Графъ Строгановъ.* Что же, вы пойдете жаловаться на меня въ надворный судъ?

*Погодинъ.* Нѣтъ, жаловаться я не пойду, потому что при нашемъ ходѣ дѣлъ надворный судъ васъ оправдаетъ, а меня обвинитъ, но неужели вы думаете, что кромѣ этого суда нѣтъ никакого другого. Я запишу въ своихъ *Запискахъ*, что графъ Строгановъ среди бѣлаго дня отнялъ у меня мою рукопись.

*Графъ Строгановъ.* Какъ попечитель, не совѣтую вамъ этого дѣлать (*сказалъ онъ, крутя свой усъ*).

*Погодинъ.* Какъ профессоръ, я совѣтую вамъ оставить такой образъ дѣйствій“.

Этотъ любопытный діалогъ происходилъ въ Университетѣ, въ присутствіи И. И. Давыдова и О. М. Бодянского.

„Изъ Университета“, продолжаетъ Погодинъ, — „заѣхалъ я къ Шевыреву, рассказать о своей схваткѣ и похвастаться своимъ спокойствіемъ. Точно съ тѣмъ же чувствомъ передалъ я ее женѣ и сказалъ ей, что очень радуется меня мое совершенное спокойствіе и обладаніе собою. Я слушалъ, говорилъ сильныя вещи, безъ всякаго движенія въ сердцѣ. Въ

этомъ расположеніи я обѣдалъ и послѣ обѣда, по обыкновенію, легъ спать. Проснувшись, я не могъ повернуться ни однимъ своимъ членомъ, точно какъ былъ отлоаченъ палками по всему тѣлу. Вотъ чего стоилъ мнѣ этотъ споръ съ графомъ Строгановымъ<sup>130</sup>).

Сохранились два современныхъ письма Бодянскаго къ Погдину, писанныя по этому поводу. „Письмо ваше“, писалъ Бодянскій отъ 1-го іюля, — „получено мною тогда же... На другой же день послѣвшихъ я къ нашему графу С. Г. Строганову, утромъ, и не засталъ его: онъ уѣхалъ въ Сенатъ. Вечеромъ однакоже могъ переговорить съ нимъ. Графъ спросилъ меня, ѣду ли я на родину и когда именно? Я отвѣчалъ, что и самъ еще навѣрное не знаю; больше полагаю, что *едва ли*. А еслибы и пришлось отправиться, то не прежде начала слѣдующаго мѣсяца. *Въ такомъ случаѣ, Малороссійская рукопись М. П. Погодина, принятая Обществомъ для напечатанія..., можетъ оставаться у васъ до вашего отъѣзда; когда же оный состоится, доставьте мнѣ ее на сохраненіе, и я тогда буду отъѣтчикомъ за цѣлость ея передъ Обществомъ и хозяиномъ оной*. Я увѣренъ, что въ первомъ же засѣданіи все дѣло рѣшится полюбовно. Не могу выразить вамъ, какъ мнѣ досадно, что вышли такія недоразумѣнія и я попалъ въ такое отношеніе къ вамъ, кого всегда считалъ и буду считать, какъ уже нѣсколько разъ слышали вы отъ меня, однимъ изъ первыхъ виновниковъ всего благого моего теперь и впередъ. Пишу, что чувствую и не перестану никогда чувствовать и свидѣтельствовать передъ лицомъ всѣхъ“. Другое письмо писано Бодянскимъ уже въ иномъ духѣ: „Не отдавать вамъ вашей рукописи, какъ выражаетесь вы въ своей запискѣ, *насилъно*, никому никогда и въ голову не приходило. Вамъ извѣстны причины, по коимъ каждый изъ замѣшанныхъ въ этомъ, можно сказать, глупомъ дѣлѣ дѣйствовалъ, и, полагать должно, дѣйствовалъ по крайнему своему разумѣнію. Оправдывать кого-либо или оправдываться кому-либо тутъ—смѣшно, ребячески: всѣ однимъ

муромъ мазаны. По крайней мѣрѣ я не думаю никого обвинять или завѣрять, что онъ, по мнѣнію того, другого, дѣйствовалъ не чисто, неприлично. Могу одно только сказать о себѣ вамъ, какъ и прежде это слышали вы отъ меня, что я *спокоенъ*, [какъ нельзя больше, въ своей совѣсти. Не знаю, отъ правости ли или же отъ противнаго, закоснѣлости, огрубѣнія, происходитъ это спокойствіе: одинъ Богъ знаетъ то лучше всего, и, конечно, рано или поздно, вразумить виновнаго на счетъ его дѣйствій своимъ *да и нѣтъ*. Говорю о прошедшемъ и теперешнемъ своемъ состояніи въ этомъ дѣлѣ. Но довольно объ этомъ: будетъ еще время, когда Богъ воздвигнетъ васъ, перетолковать о немъ. Одного только не могу еще умолчать передъ вами. Въ запискѣ своей поручаете вы сказать мнѣ графу Строганову о томъ, какъ вы думаете объ его дѣйствіи въ этомъ дѣлѣ и вообще объ отношеніяхъ его къ вамъ и вашихъ къ нему. Признаюсь, никогда не ждалъ я этой чести отъ васъ: развѣ я вѣстовщикъ какой, переносчикъ, посредникъ между спорящими лицами? Развѣ я *гегелистъ*? Нуждаюсь въ этихъ Нѣмецкихъ *фортецахъ* для чего бы то ни было? Я говорилъ и долженъ былъ говорить по самому уже дѣлу Графу и вашему порученію о требованіи вашемъ назадъ рукописи, которой я не имѣлъ права безъ его, какъ Предсѣдателя Общества, воротить вамъ ее, и воротилъ лично по его же разрѣшенію. Но идти далѣе въ этомъ разѣ да сохранить меня Богъ и да накажетъ въ то же самое мгновеніе на мѣстѣ, еслибъ когда-либо языкъ мой проговорилъ ему или вамъ отъ него что-нибудь въ этомъ родѣ! Нѣтъ! душевно уважаемый мною, какъ больше всѣхъ благодѣтельствовавшій мнѣ, Михайло Петровичъ, нѣтъ я тутъ невѣжа и останусь невѣжей круглымъ навсегда, до положенія ризъ. Вотъ вамъ искреннее мое слово объ этомъ дѣлѣ и притомъ, надѣюсь, въ послѣдній разъ на бумагѣ<sup>131</sup>).

Въ концѣ концовъ рукопись была возвращена Погодину, и онъ писалъ: „Лежа въ постели, въ лубкахъ, при первомъ сознаніи, я надиктовалъ письмо Бодянскому, съ требованіемъ



Малороссійской Лѣтописи, которую мнѣ онъ и прислалъ, съ разрѣшенія своего патрона, посовѣстясь огорчать или раздражать больного“<sup>133</sup>).

## XXI.

Въ 1845 году Императорское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ издало въ переводѣ Бодянскаго сочиненіе Галицкаго ученаго Дениса Зубрицкаго, подъ слѣдующимъ заглавіемъ, придуманнымъ самимъ переводчикомъ: *Критико-историческая повѣсть временныхъ лѣтъ Червоной или Галицкой Россіи*. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бодянский снабдилъ свой переводъ обширнымъ предисловіемъ.

Противъ заглавія и противъ предисловія возсталъ Погодинъ. Въ первомъ онъ усмотрѣлъ самовольство переводчика, а во второмъ—политическую тенденцію, могущую возбудить, по наущенію Поляковъ, гоненіе со стороны Австрійскаго правительства противъ сочинителя—своего подданнаго. Въ пылу негодованія Погодинъ подалъ графу С. Г. Строганову жалобу, въ которой требовалъ, чтобы Графъ сдѣлалъ распоряженіе объ отобраніи розданныхъ членамъ экземпляровъ, объ уничтоженіи предисловія или по крайности объ отсылкѣ *предисловія* на разсмотрѣніе самого Зубрицкаго. „На письмо ваше“, писалъ графъ Строгановъ Погодину, — „честь имѣю отвѣтствовать, что опасенія ваши на счетъ предисловія г. Бодянскаго мнѣ кажутся не совсѣмъ основательными, потому что рукопись не вамъ была прислана, а Обществу, это видно изъ протоколовъ Общества 1842 г. Осипъ Маевимовичъ Бодянский читалъ мнѣ предисловіе свое снова; откровенно вамъ скажу, что ничего не нашелъ тамъ страшнаго для почтеннаго Зубрицкаго, въ сожалѣнію, экземпляръ мой въ переплетѣ, и я не могу повѣрить указанное вами мѣсто. Впрочемъ я предостерегъ г. Бодянскаго“.

Получивъ этотъ отвѣтъ, Погодинъ подъ 1 іюля 1845 года

записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Отвѣтъ Строганова съ отказами. Что прикажете дѣлать. Борясь съ собою, чтобы простить Бодянскому, который продолжаетъ, можетъ быть, безъ умысла, дѣлать и говорить гадости“. Записавъ это, Погодинъ обратился къ самому Бодянскому съ письмомъ, въ которомъ, между прочимъ, спрашиваетъ его: *Какъ онъ могъ выпустить предисловіе къ сочиненію Зубрицкаго, не показавъ предварительно ему*. Бодянской отвѣчалъ на это пространнѣмъ письмомъ, которое онъ писалъ въ теченіе трехъ дней, 4, 5 и 6 іюля 1845 года. Отвѣтъ этотъ начинается слѣдующимъ предисловіемъ: „Итакъ, вотъ вамъ Михайло Петровичъ, мой отвѣтъ, обѣщанный часа два тому назадъ, на ваше письмо, присланное съ вашей почтеннѣйшей тещей! Прежде всего поговоримъ о томъ, что вы *десять* разъ посылали за мной, и никто не могъ увидѣть меня. Признаюсь, что-то мудрено это; два-три раза дѣло возможное, но *десять* вѣсть Востокомъ. Впрочемъ, не стою за то. Если посланные стучались у меня на старомъ жильѣ, то, вѣроятно, и въ годъ не достучались бы; а если толкались на новомъ, то все же непонятно, какъ нѣкто не слышалъ никого изъ нихъ, я, слуга мой, либо же самые хозяева. Я упоминаю обо всемъ томъ потому, чтобы вы не подумали, будто я нарочно прятался и т. п. отъ вашихъ посланныхъ, между тѣмъ какъ я же самъ вышелъ вашему возницѣ на встрѣчу, когда онъ *in persona* и во благовременье явился въ мою обитель. Вторая причина, почему я говорю объ этомъ, заключается въ томъ, чтобы не сказали послѣ, что я де *десять* разъ (легкое дѣло!) посылалъ къ нему, приглашая навѣстить меня, и когда увидѣлъ рѣшительную невозможность достигнуть своего желанья, принужденъ былъ дѣйствовать *официально*. Да, *официальность* эта поразила меня своей *неестественностью*, чтобы не сказать болѣе. Еслибы вы дѣйствительно и искренно желали вразумить и надоумить другого, кажется, равнодушнаго когда-то вамъ человѣка, то, разумѣется, проще и вѣрнѣе всего могли бы это сдѣлать, переговоривъ съ нимъ *лично* или *письменно* напередъ, а не

*послѣ*, какъ это творите нынѣ понапрасну. Для того стоило только извѣстить меня парой строкъ черезъ свою контору, городскую почту, и я либо явился бы передъ вами, либо же прислалъ вамъ свой отвѣтъ на ваши письменныя замѣчанія. Но вы и то, и другое дѣлаете уже сдѣлавъ первое; отъ того-то и я, видя, что вы ведете дѣло, не какъ слѣдовало бы вестись ему между вами и мною, не пошелъ на ваше приглашеніе чрезъ г. Хмельницкаго къ вамъ на домъ, потому что, съ одной стороны, всѣ объясненія послѣ вашего *официальнаго доноса* \*) на меня ни къ чему уже не годны, излишни, а, съ другой стороны, скажу откровенно, мнѣ чрезвычайно не хотѣлось убить васъ въ своей памяти, какъ прежняго своего, многоцѣннаго наставника и *добродѣя*, еще личнымъ споромъ въ вашемъ домѣ и, Богъ вѣсть, передъ вѣмъ! Споръ, разумѣется, былъ бы *горячъ*, при вашей и моей природной горячности, и, что мудренаго, могъ бы кончиться *горячкой*, отъ коей ни алопатія, ни гидропатія не въ силахъ были бы избавить насъ, а очень легко навлекла бы одну только апатію. Боясь ея пуще всего, я пользуюсь теперь случаемъ хоть уже рѣшительно не во время, по пустому, но единственно удовлетворяя вашему желанію имѣть отъ меня отвѣтъ на свои письменные запросы и упреки, высказать вамъ то, что могъ бы сказать лично, съ тою только важною разницей, что тутъ выскажу *не горячася*, а тамъ, повторяю, можетъ быть *съ горячкой на горячку*. И это тѣмъ болѣе, что сдѣлавъ такой подвигъ, я *уволяю* себя уже имъ отъ всякаго дальнѣйшаго объясненія о томъ при скоромъ своемъ свиданіи съ вами, *лично*, у васъ, по случаю обѣщанія доставить вамъ ваше Малороссійское Евангеліе. Я не скажу, лицомъ къ лицу, ни слова болѣе; что напишу тутъ, тѣмъ однимъ и удовольствуясь навсегда, какъ бы не хотѣлось вамъ заставить меня говорить объ этомъ дѣлѣ, пока развѣ не вынужденъ буду отвѣчать вамъ *официально* на новое официальное обвиненіе, которымъ вы грозите мнѣ въ будущемъ. Я не боюсь

\*) Здѣсь разумѣется жалоба Погодина графу С. Г. Строганову.

его; напротивъ, весьма обрадуюсь случаю поставить дѣло въ его настоящемъ, истинномъ видѣ, и тѣмъ уничтожить всѣ востаннныя кривые толки, къ какимъ оно, естественно, можетъ подать поводъ своей полугласностью“. Послѣ этого длиннаго предисловія Бодянской приступаетъ еще къ длиннѣйшему отвѣту: „Вы спрашиваете меня“, пишетъ онъ, — „какъ я могъ выпустить предисловіе къ сочиненію *Зубрицкаго*, не показавъ предварительно ему? На вопросъ, вопросъ. А гдѣ же была невозможность сдѣлать это? Желалъ ли самъ сочинитель этого? Гдѣ это его желаніе? Скажете, въ письмахъ его къ вамъ? Развѣ вы читали мнѣ хоть одно въ жизни своей? Намекали ль о нихъ когда-либо въ разговорѣ, особливо объ этомъ его желаніи? Предполагать же такое мнѣ самому была ль какая возможность, хотя далекій намекъ съ чьей-либо стороны? Я не Богъ, чтобы это знать, а вы не *потрудились* быть моимъ и г. сочинителя провидѣніемъ, напомнить мнѣ о томъ, равно какъ и о всемъ прочемъ, сюда относящемся и объявляемомъ только теперь вами въ своихъ обвиненіяхъ, когда отдавали мнѣ произведеніе его, *отъ имени Общества*, для перевода.

„Вы возразите: „Зачѣмъ же ты самъ не спросилъ меня, если не объ этомъ прямо, такъ о чемъ-либо другомъ, относящемся къ сочиненію?“ Спрашивалъ-съ, Михайло Петровичъ, васъ, запиской своей...

„Далѣе, вы и письменно, и изустно (въ глаза и за глаза) жалуетесь на то, что я не хочу съ вами ни въ чемъ совѣтоваться. Боже мой! Что же мнѣ дѣлать, коли я не нахожу ничего достойнаго такихъ заботъ? Вы такъ заняты, живете такъ далеко, да и я самъ ужъ вышелъ, кажись, изъ бобылей и нянчанья... Предоставимъ людямъ дѣйствовать какъ они знаютъ и вѣдаютъ, а сами тоже станемъ дѣйствовать по своему крайнему разумѣнію. Видно, намъ ихъ уже не переучить, видно, такова ужъ ихъ природа; видно, всякому (или по крайности многимъ) хочется быть тѣмъ, чѣмъ Богъ его создалъ и самъ себя образовалъ, хочется быть собою какъ ни

гадокъ, порой, бываетъ отъ того иной. А кто знаетъ, не былъ ли бы онъ *иже* еще во сто разъ, кабы сталъ пробиваться чужимъ умншвомъ?.. Еслибы вы, въ самомъ дѣлѣ, хотѣли обязать меня, по старой памяти, своимъ совѣтомъ, что же не воспользовались упомянутымъ выше случаемъ предложить его мнѣ или же хоть стороною намекнуть о томъ? „Приди, молъ, ко мнѣ поскорѣе, я тебѣ скажу кое-что по поводу окончиваемаго тобой перевода, потому что сочинитель писалъ мнѣ многое и многое!“ И я бы, повторяю, не пришелъ, а прилетѣлъ бы къ вамъ; но могъ ли я сдѣлать то, когда получилъ отъ васъ отвѣтъ на мое предложеніе, и въ немъ хоть бы малѣйшій намекъ на что-либо подобное? Такое молчаніе ваше могло бы меня удержать отъ всякой попытки въ этомъ родѣ, еслибы даже и пришло мнѣ какъ-либо на мысль сдѣлать ее“.

Обращаясь затѣмъ къ *заглавію* и предисловію, Бодянский въ свое оправданіе писалъ: „*Заглавіе*, данное мною своему переводу, никакъ *не можетъ* поставить сочинителя въ отвѣтственность передъ своимъ Правительствомъ... Первый періодъ переведенъ мной съ *печатнаго* экземпляра, слѣдовательно, за него сочинитель также *не можетъ* отвѣчать ни передъ *ѣмъ*. Кто запретитъ кому переводить печатное въ другомъ государствѣ? Да и первая половина второго періода, то-есть, все переведенное съ рукописнаго, переведено съ рукописи, одобренной самимъ Правительствомъ сочинителя, какъ объ этомъ самъ онъ говоритъ въ своемъ предисловіи къ ней; слѣдовательно, и за это онъ *не можетъ* отвѣчать передъ нимъ, какъ одобренное имъ же самимъ. Австрійское правительство вовсе не таково, какимъ вы представляете его себѣ. Я провелъ въ его владѣніяхъ цѣлыхъ *пять* лѣтъ (а не какихъ-либо двѣ, три недѣли, и мимоѣздомъ) и посмотрѣлся на всѣ его дѣйствія вообще и поступки съ соплеменниками нашими и самими Русскими въ частности, и стою вамъ и кому угодно всѣмъ, что только есть святаго на землѣ, что оно не только не станетъ заниматься подобными пустяками, но даже,

дондеже стоитъ и движется, не обратитъ на нихъ ни малѣйшаго вниманія, если только, разумѣется, мы, или изъ насъ кто другой, не приударимъ въ набатъ, не будемъ сзывать встрѣчнаго и поперечнаго присмотрѣться, вотъ де, какому диву невиданному, чуду-юду, грозящему пожрать сосѣднее царство, яко же китъ Іону, и т. п. Предлагаю испытать мои слова на самомъ дѣлѣ, то-есть, предоставить все это своей судьбѣ, а не поднимать шуму намъ первымъ; потомъ, не пугать бѣднаго старца своими преувеличенными опасеніями и политическими соображеніями, который, согласно съ своимъ вѣкомъ, естественно, скорѣе поддастся пугливымъ и крикливымъ стращаніямъ вашимъ, чѣмъ будетъ имѣть духъ и стойкость дожидаться малѣйшаго облачка—вѣстника грозящей бури. И это тѣмъ вѣроятнѣе, чѣмъ ближе къ нему лицо, пророчествующее ему такое невзгодье. Неужто вы думаете, что Австрійское правительство слѣдитъ за всѣмъ тѣмъ, что у насъ о немъ печатается? Оно очень хорошо знаетъ, что контролировать ему насъ трудъ рѣшительно напрасный...

„А вѣдь все, за что я хвалю г. Зубрицкаго, рѣшительно, до послѣдняго слова, согласно съ его образомъ мыслей въ этомъ его сочиненіи, скажу болѣе, есть его *собственность*, выраженная мною только *другими словами*, съ цѣлію обратить тѣмъ съ самаго начала какъ можно большее вниманіе соотечественниковъ...“

Далѣе Бодянский выражаетъ увѣренность, что Погодинъ не читалъ ни предписанія, ни перевода. „Вопервыхъ“, пишетъ онъ,—„вы не читали, а только, какъ говорится, пробѣжали мое *предисловіе*, не вникнувъ въ него надлежащимъ образомъ, и вовторыхъ, что самого сочиненія или перевода ужъ *вообще не читали*, особливо второй его части. Иначе бы вы нашли, что мое *предисловіе* есть просто, какъ сказалъ я сейчасъ, одно лишь *повтореніе*, во всю длину и ширину его, мыслей самого сочинителя, что въ немъ не заключается, въ сущности ни одной почти самостоятельной мысли, коей первообраза не нашли бы вы въ самомъ сочиненіи, и, стало

быть, вы своимъ обвиненіемъ обвиняете собственно не меня а своего любезнаго Зубрицкаго, въ его мышленіи въ Русскомъ духѣ, впрочемъ, одобренномъ даже самимъ его Правительствомъ. Судите же послѣ сего сами, не есть ли все это—чистая нелѣпица, съ головы до ногъ? Не слѣдуетъ ли отсюда неизбежное заключеніе по всѣмъ законамъ логики, что поступать такъ, какъ я поступалъ въ своемъ *Предисловіи*, вовсе не значить *хвалить Австрійскаго подданнаго за сочиненіе о Галиціи въ Русскомъ духѣ*, а напротивъ, *хвалить мысли самого Австрійскаго правительства, сочувствующаго самому сочинителю*, не то оно не дало бы ему, ни въ какомъ случаѣ, позволенія печатать свое произведеніе. Во всякомъ случаѣ, Австрія, какъ государство чрезвычайно осторожное и систематическое въ своихъ дѣлахъ и поступкахъ, никогда не подыметъ руки своей на другого за одобренное разъ ею. Въ этомъ шлюсь вамъ я на всѣхъ, кто сколько-нибудь знакомъ съ нею. Скажу, однакоже, искренно, что кому я ни давалъ читать свое предисловіе, съ цѣлію открыть въ немъ что-либо такое, что могло обратить вниманіе другого правительства на самого сочинителя, по сю пору *никто ничего*, въ полномъ смыслѣ слова, не замѣтилъ мнѣ; напротивъ, всякій не могъ довольно *надивиться* вамъ, *все похваляху главами своими и все позоровалиху*. Самъ предсѣдатель нашего Общества и глава Московской цензуры графъ С. Г. Строгановъ, выслушавшій мое предисловіе съ полнымъ, какъ выражается самъ, вниманіемъ, и не нашедши въ немъ ничего до послѣдняго слова противнаго правиламъ цензурнымъ, позволившій печатать его, дивится вашему доносу и опасеніямъ тамъ, гдѣ ничего же нѣсть; а его, какъ всѣмъ извѣстно, никто не упрекнетъ въ недальновидности или незнакомствѣ съ отношеніями нашего государства къ другимъ“.

Указывая на то, что всѣ дѣйствія по переводу и предисловію Бодянской основывалъ „на самыхъ протоколахъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, какъ актахъ официальныхъ“, переводчикъ замѣчаетъ Погодину: „Конечно, это

пахнеть немножко „Каченовицкой, какъ вы обыкновенно выражаетесь въ подобномъ случаѣ; но, Боже мой! старикъ покойникъ также много имѣлъ хорошаго въ себѣ, что, право, стоитъ памяти и даже, кому угодно, *подражанія*“.

Въ письмѣ своемъ къ Бодянскому Погодинъ между прочимъ сказалъ: „я *протестую официально съ приложеніемъ документовъ*“. Эта угроза не испугала Бодянского, и послѣдній писалъ: „Я не боюсь никакихъ доносовъ, обвиненій и *протестовъ* вашихъ и другихъ лицъ, понеже *стоны моя направихъ по словеси Господни*“. Но придравшись къ словамъ Погодина: я *протестую официально съ приложеніемъ документовъ*, Бодянский писалъ ему: „Стало быть, у васъ есть *документы*, относящіяся къ этому дѣлу, то-есть, напечатанію сочиненія г. Зубрицева о Червонной Руси нашимъ Обществомъ? Вы видѣли сейчасъ, что оно прислано было имъ не кому-либо другому, а самому Обществу, слѣдовательно, составляетъ пока *собственность* его, равно какъ и все, относящееся къ нему, именно: всѣ отношенія, извѣстія, письма, и т. п. по этому дѣлу, адресованы прямо на имя Общества, или же въ другихъ письмахъ къ вамъ, какъ секретарю его. Въ послѣднемъ случаѣ вы, удерживая самыя письма, обязывались сдѣлать, по крайней мѣрѣ, извлеченіе изъ нихъ каждый разъ по полученіи всему тому, что говорилось въ нихъ касательно упоминаемаго дѣла, и потомъ представить оное для храненія въ архивъ Общества при другихъ, подобныхъ, бумагахъ. Миѣ ли говорить вамъ о важности и необходимости ихъ для всякаго Общества и не-общества? На нихъ оно опираетъ свои дѣйствія, ими подкрѣпляетъ ихъ и оправдываетъ законность всѣхъ своихъ распоряженій и т. д., равно какъ, въ случаѣ нужды или чьего-либо навѣта, повѣряетъ себя. Какъ вы могли удержать подобные документы Общества у себя, не сдать ихъ въ его архивъ, а теперь, при случаѣ, выступать съ ними передъ него? Не есть ли это, говоря языкомъ простого народа, идти добровольно подъ обухъ или на плаху? Можетъ ли послѣ



этого вы, Общество, кто бы ни былъ, требовать отъ меня, или другого на моемъ мѣстѣ, отчета въ томъ. иномъ, несогласномъ съ актами Общества, когда ихъ у него вовсе нѣтъ, а напротивъ въ рукахъ бывшаго его секретаря, по собственному его сознанію, удержавшаго оныя у себя, Богъ вѣсть, въ силу какихъ законовъ и обыкновений? Нѣтъ, самый простой, ограниченный разумъ, скажетъ вамъ и каждому, что вся отвѣтственность тутъ за противозаконность поступковъ единственно и исключительно, падаетъ на того, кто, намѣренно или безнамѣренно, скрылъ отъ другого *правило дѣйствія*, то, что могло указать ему на настоящій путь, идя коимъ избѣжалъ бы онъ, навѣрное, поползновенія, не погрѣшилъ бы. Незнаніе не творитъ грѣха, говоритъ старинная, самая ежедневная Русская пословица. А потому и я тутъ всю отвѣтственность (если только есть какая), взваливаемую вами на меня, обращаю *вспять*, на васъ, какъ перваго и непосредственнаго виновника, введшаго меня такимъ своимъ поступкомъ въ ошибку, и даже, по вашему, чуть ли не оскорбленіе Величества“.

Пользуясь этимъ случаемъ, Бодяскій, какъ преемникъ Погодина по секретарству въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ, требуетъ отъ него доставить *и остъ прочіе документы*, которые, продолжаетъ Бодяскій, „можетъ быть, остались у васъ, подобно упомянутымъ вами выше, какъ-нибудь, по недосмотру и т. п. и доселѣ не сданы, по принадлежности въ архивъ его. Этимъ вы предохраните всѣхъ своихъ преемниковъ въ Обществѣ и самое Общество однажды на всегда отъ промаховъ и проступковъ такого рода и не заставите другого творить, поневолѣ, грѣхъ невѣдѣнія, а себя и прочихъ быть, намѣренно и ненамѣренно, обвинителемъ и изобличителемъ въ нихъ. Если же, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ у васъ болѣе никакихъ, кромѣ объявляемыхъ нынѣ, документовъ Общества, то и въ такомъ случаѣ, не благоволите ли прислать о томъ записку въ отрицательномъ смыслѣ и тѣмъ развязать мнѣ, и думаю, также и самому

Обществу, навсегда руки и избавить отъ мучительной неизвѣстности въ подобныхъ обстоятельствахъ ждать, не появится ли, какъ изъ-за угла, кто-либо съ доносомъ на противозаконность дѣйствій, *официальнымъ* обвиненіемъ и *документами* подъмышкой, взводя, въ порывѣ ревности по общему благу, на другого едва не государственное преступленіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаете вы и другое важное дѣло, то-есть, сдадите мнѣ на руки, въ самомъ дѣлѣ, *de facto*, свое секретарство по Обществу, со всѣмъ, принадлежащимъ къ нему, чего я до сихъ поръ напрасно дожидаюсь отъ васъ, согласно съ господствующимъ всюду порядкомъ въ подобномъ случаѣ и желаніемъ самого Общества, изъясненнымъ въ день увольненія вашего отъ должности, а моего избранія въ преемники вамъ<sup>133</sup>).

Прочитавъ это письмо, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ гнуснѣйшее письмо отъ Бодянскаго. Стрѣлы, напоенныя ядомъ, и пошатнулся. Боже мой! Размышлялъ объ этомъ испытаніи. Положимъ, оно мнѣ къ добру“.

Въ отвѣтъ на приведенное письмо Погодинъ представилъ въ свое оправданіе восемнадцать пунктовъ, и каждый изъ нихъ не остался безъ возраженія со стороны Бодянскаго.

Погодинъ смирился. Ему „мелькнула мысль“, записываетъ онъ въ своемъ *Дневникѣ*, „вмѣсто Строганова поѣхать къ Кубареву и вмѣстѣ съ нимъ къ Бодянскому. Признакъ смиренія. Прежде не рѣшился бы я ѣхать къ Бодянскому; а теперь легко. Не засталъ ни того, ни другого“<sup>134</sup>).

Погодинъ пошелъ дальше. Онъ даже самому Зубрицкому (23 іюля 1845) писалъ слѣдующее: „Сочиненіе ваше историческое въ переводѣ отпечатано Бодянскимъ со своимъ предисловіемъ и инымъ заглавіемъ. Предисловіе очень хорошо, хотя я нѣсколько беспокоюсь въ отношеніи къ вамъ. Впрочемъ вамъ отвѣчать за чужой грѣхъ, если онъ есть, кажется, не слѣдуетъ. Это сдѣлалось безъ моего вѣдома, потому что я оставилъ секретарство. Прошу васъ убѣдительно успокоить меня скорѣе. Я буду очень радъ, если мои опасенія вы на-

зовете неосновательными, и если я долженъ буду взять на-задъ свой протестъ“.

Мы видѣли, что во время секретарства Погодина въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ у него были частныя столкновенія съ бібліотекаремъ Общества, П. М. Строевымъ; но послѣдній вспомнилъ Погодина, когда пришлось ему имѣть дѣло съ преемникомъ его, Бодянскимъ. „Мы съ вами сражались“, писалъ Строевъ Погодину (отъ 2 ноября 1845),— „но сражались какъ благородные рыцари, съ вашей стороны было даже великодушіе; на оскорбительныя выраженія наши, обоюдныя, я смотрю теперь какъ на каррикатуры, которыя во время раздраженной войны между двумя народами выпускаются съ обѣихъ сторонъ очень щедро: заключенъ миръ, каррикатуръ не позволяютъ перепечатывать, и онѣ сами собою истребляются. Мы не заключили еще мира, но дай Богъ, чтобы и память о прошедшемъ исчезла; а вторыя и третія столкновенія обыкновенно прекращаются дипломатическими переговорами“<sup>135</sup>). На это Погодинъ отвѣчалъ: „Эти дни—дни моей скорби смертной болѣзни покойницы. Вотъ почему я не отвѣчалъ вамъ, почтеннѣйшій Павелъ Михайловичъ, на вашу записку. Еслибы всегда вы такъ говорили, какъ въ послѣдней запискѣ, то ни отъ кого бы не услышали ни одного худого слова. Но Богъ знаетъ, смѣю сказать вамъ откровенно, что иногда съ вами случается, и какъ вы иногда говорите! Примите мой совѣтъ добрый: мы на пятомъ десяткѣ, лучше искать мира, чѣмъ брани“<sup>136</sup>).

Съ этого времени миръ между ними долго не нарушался.

---

## XXII.

Оставивъ Университетъ, Погодинъ перенесъ энергическую дѣятельность свою въ Древлехранилище, и оно ежедневно обогащалось. Въ это время въ Вѣнѣ продавалась бібліотека Копитара. Слѣдить за этою продажей Погодинъ поручилъ

Вуку Караджичу, который изъ Вѣны, 20 марта 1845, писалъ ему: „Библіотека Копитарова еще не продана, и неизвѣстно, что съ нею будетъ. Тому недѣля я отдалъ въ канцелярію здѣшняго Русскаго посольства печатный каталогъ оной, для пересылки вамъ при случаѣ, что мнѣ и обѣщано, но когда вы получите—неизвѣстно. За всю бібліотеку Берлинское правительство предлагаетъ двѣ тысячи гульденовъ. Говорятъ, что кто-то другой предлагалъ еще нѣсколько сотъ болѣе. Но такъ какъ безъ согласія наслѣдниковъ повѣренный не можетъ приступить къ подобной продажѣ, то покажѣтъ это дѣло остановилось, ибо повѣренный писалъ къ нимъ, желаютъ ли они приступить къ этой продажѣ, или по закону продавать съ публичнаго торга. Во всякомъ случаѣ это дѣло не скоро рѣшится“. Пользуясь этимъ случаемъ, Вукъ Караджичъ писалъ Погодину и о слѣдующемъ: „Теперь рѣшаюсь беспокоить васъ новою просьбою, во имя нашихъ бѣдныхъ единовѣрцевъ въ Турціи. Прошу васъ церковныя книги, по прилагаемому списку, купить въ Москвѣ, и какимъ вы найдете лучшимъ образомъ отправить въ Видинъ на Дунай въ Болгаріи, на имя *Александра Шишмановича*. Что касается до денегъ, то прошу взять на потребную сумму вексель у какого-нибудь Московскаго банкира, на имя здѣшняго купца—*Theodor Tirca et comp.*, который вексель, вмѣстѣ со счетомъ книгопродавца, отправить въ Вѣну упомянутому Тыркѣ, и деньги по оному будутъ немедленно переведены въ Москву. Хотя это дѣло можетъ показаться нѣсколько затруднительнымъ, но я не имѣю другого средства поступить въ этомъ случаѣ, надѣясь, что вы не откажете въ вашемъ пособіи, тѣмъ болѣе, что могу совершенно поручиться за немедленную уплату со стороны Тырки, который извѣстенъ здѣсь своимъ состояніемъ. Не нужно мнѣ говорить, что такъ какъ эти книги назначаются для неимущихъ христіанъ православныхъ въ Турціи, то всякая сбавка въ цѣнѣ и сбереженіе издержекъ при доставкѣ сочтутся за доброе, христіанское дѣло, что прошу вамъ внушить книгопродавцу и вом-

миссіонерамъ“. Неизвѣстно, могъ ли исполнить Погодинъ эту просьбу.

Мы уже знаемъ, что С. П. Побѣдоносцевъ обладалъ замѣчательнымъ собраніемъ древностей, и Погодину удавалось обогащать онымъ свое Древлехранилище. „Переселеніе мое на службу изъ Новгорода въ Петербургъ“, писалъ С. П. Побѣдоносцевъ Погодину, отъ 4 апрѣля 1845 года, — „и потомъ, извѣстіе о понесенной вами недавно потерѣ были причиною замедленія въ исполненіи моего обѣщанія — прислать вамъ древности, на приобрѣтеніе которыхъ изъявили вы ваше желаніе. Пользуюсь отъѣздомъ въ Москву брата моего и посылаю съ нимъ одну старую книгу, одинъ пергаменъ и двѣ вещи (патронташъ и бердышъ). За всѣ эти четыре штуки я могу взять съ васъ сто пятьдесятъ рублей ассигнаціями. Меньше взять не могу, потому что приобрѣтеніе ихъ обошлось мнѣ не дешево. Вы вѣрно припомните, что въ счетъ ожидаемыхъ вами древностей вы послали мнѣ семь книжекъ *Москвитянина* за прошлый годъ. Остальныхъ книжекъ я не получалъ, почему и прошу васъ распорядиться о выдачѣ ихъ моему брату, для доставленія мнѣ въ Петербургъ. Кромѣ этого экземпляра за 1844 годъ, я буду просить васъ покорнѣйше, въ счетъ же платы за древности, прислать мнѣ билетъ на *Москвитянина* нынѣшняго года, по которому бы я могъ получить этотъ журналъ здѣсь въ Петербургѣ. Если вамъ угодно будетъ приобрѣсти отъ меня остальные древности, то вамъ стоитъ увѣдомить меня. Ихъ у меня еще довольно, и я во всякое время готовъ уступить ихъ тому, кто дастъ мнѣ тѣ же деньги, какія употреблены были мною на приобрѣтеніе ихъ. вмѣстѣ съ тѣмъ я буду просить васъ покорнѣйше возвратитъ брату моему тѣ рукописи, которыя не были напечатаны (о Кирилловскомъ монастырѣ и о чемъ-то еще). Я давно уже просилъ васъ объ ихъ возвращеніи, но не получилъ до сихъ поръ. Если вамъ угодно оставить ихъ у себя, то заплатите. Иначе этотъ товаръ пропадетъ у меня даромъ, тогда какъ здѣсь, въ Петербургѣ, всегда на него покупщики найдутся.

Трудъ, каковъ бы ни былъ, цѣнится здѣсь гораздо болѣе, чѣмъ у васъ, въ Москвѣ,—а отъ денегъ еще никто не отказывался“ <sup>137)</sup>.

Еще до заключенія мира съ П. М. Строевымъ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Строевъ принесъ лоскутокъ. Предложилъ его купить и запросилъ сто рублей. Я отвѣчалъ: *поговоримъ*, и онъ, кажется, разсердился“ <sup>138)</sup>. Вскорѣ Погодинъ получаетъ письмо отъ Строева, изъ котораго узнаеть, что тотъ привозилъ ему не *лоскутокъ*, а какую-то *картинку*. „Восхищаясь вашимъ прекраснымъ и богатымъ собраніемъ Древностей“, писалъ Строевъ,—„я хотѣлъ услужить вамъ уступкою извѣстной стариной *картинки*, и съ тѣмъ намѣреніемъ привезъ ее и оставилъ у васъ. Я даже хотѣлъ подарить вамъ эту картину, но потомъ раздумалъ, полагая, что при отношеніяхъ нашихъ (по виду непріязненныхъ) вы не захотите принять отъ меня подарка. Письмецо ваше показало мнѣ, что эта картина вамъ не нравится и показалась маловажною: не желая навязывать противъ воли, покорнѣйше прошу при удобномъ случаѣ возвратить ее мнѣ... Прощаясь со мною, когда я былъ у васъ, вы сказали: *мы еще съ вами потолкуемъ*. Ъдучи домой я ломалъ себѣ голову, о чемъ бы мы толковать стали; неужели это относилось къ картинкѣ?“ <sup>139)</sup>

Получивъ извѣстіе „о ломкѣ Грановитой Палаты“, Погодинъ вздумалъ „ воспользо́ваться старыми дверями“ <sup>140)</sup>.

Преосвященный епископъ Могилевскій (бывшій Острожскій) Анатолій сообщаетъ Погодину интересныя свѣдѣнія о Могилевскихъ древностяхъ. „Объ отысканіи древностей“, писалъ Преосвященный изъ Могилева—„я давно ревную, но Археографическая Коммиссія вездѣ уже жнетъ и собираетъ даже то, что собрано чужими руками. Теперь въ присутственныхъ мѣстахъ и общественныхъ заведеніяхъ невозможно уже отыскать неизвѣстной древности. Есть еще въ частныхъ рукахъ—у помѣщиковъ западныхъ губерній рѣдкія древности, но какъ сіи свидѣлствуютъ объ ихъ происхожденіи отъ предковъ Русскихъ и православнаго происхожденія, а теперь

въ модѣ католическій фанатизмъ, то помѣщики скрываютъ подобнаго рода древности и ни за что не соглашаются показывать ихъ“.

Нѣкто И. Х. предоставляетъ въ распоряженіе Погодина „разданный, съѣденный молю манускриптъ“, содержащій въ себѣ Житіе святаго Θεодора, епископа Едесскаго. „Для меня“, пишетъ жертвователь, — „онъ не имѣетъ никакой цѣны, для васъ, можетъ быть, составить какое-нибудь приобрѣтеніе“.

Епископъ Симбирскій Θεодотій писалъ Погодину: „Вы у насъ въ Симбирскѣ сотворили новаго антикварія. Юрловъ такъ и носится съ своею кольчугою. Успокойтесь: казется, надписи всѣ разобраны, и объ Ермакѣ ни слова“. Но Преосвященный тщетно старался обогатить Древнехранилище Погодина этою кольчугой. „Радуюсь“, писалъ онъ, — „что собраніе ваше обогатилось стариною. Что же касается до старинной кольчуги, то едва ли будетъ она принадлежать къ вашимъ Древностямъ. Наслышалъ я, что ее цѣнять здѣсь уже въ двадцать пять тысячъ рублей. А рубли здѣсь? *Sat sapienti*. Антикваріи! Дѣлайте употребленіе изъ антиковъ. Докажите имъ то, или другое!“ О счастливомъ владѣльцѣ этою кольчугой Юрловъ Симбирскій предводитель Дворянства Киндяковъ писалъ Погодину: „При мнѣ Юрловъ пріѣзжалъ къ Архіерею извиняться, что не уступилъ кольчуги. Преосвященный Θεодотій, говоря со мною о васъ, обвинялъ въ этомъ отказъ васъ же; ибо еслибы вы не обнаружили драгоцѣнности этой вещи, то онъ легко бы отдалъ, а то вы же открыли глаза о ея важности“. Какъ бы въ утѣшеніе Погодина Кирьяковъ писалъ и слѣдующее: „Представьте, каково я наслаждаюсь стерлядьми. Я покупаю ихъ на гривенникиъ пять штукъ. Я здѣсь намѣренъ стерлядьковъ купить, высушить и привезти въ Петербургъ... Если вамъ будетъ угодно, то *подѣлюсь съ вами*“.

В. М. Ундольскій, препровождая къ Погодину какого-то Ярославскаго археолога съ *вещицами хорошими*, писалъ ему: „У него остался *Златоструй* и еще кое-что. Я увѣрилъ его, что вы примете его если не благосклонно, то по

крайней мѣрѣ не по моему—безъ брани, угрозъ и драгунской распекаціи. Если бы наши архивскія средства позволяли надѣлать еще пріобрѣтенія, то вѣрно вы не увидали бы *Златоструя*. У Царскаго онъ есть, и цѣнить въ тысячу рублей, а его экземпляръ немного лучше, только безъ приписей. Великая книга—въ ней до тысячи статей—и вся озаглавлена въ его новомъ каталогѣ; быть можетъ, вашему покорному слугѣ удастся завтра побывать у васъ и позабавиться надъ рукописями *никому же мѣшающу*“.

Въ числѣ агентовъ Погодина по отысканію Древностей состоялъ и извѣстный художникъ Тромонинъ. Сохранилось письмо его къ Погодину, въ которомъ сильно достается *попечителямъ Русскихъ Древностей*, то-есть, раскольникамъ: „Вчера“, пишетъ Тромонинъ,—„при этихъ поганныхъ еретикахъ, торгующихъ изувѣрствомъ, я не могъ рассказать вамъ объ исторіи продажи вамъ вещей: Ярыга Матвѣевскій разиня ротъ бѣгалъ по всѣмъ и подговаривалъ набавить цѣну, чтобъ вамъ продать подороже. Въ этомъ дѣлѣ и Большаковъ, вѣрный своей цѣли, пріѣхалъ съ Никитой въ мундирѣ да съ шпагою и съ пушкомъ на рыльцѣ. Кузнецовъ отказался и мнѣ признался, что его приглашали на это... Серебро старое покупать надо учиться у Павла Ѳедоровича Карабанова. Не торопясь, равнодушно, отличное и дешево... А еретиковъ скоро буду колотить по зубамъ. Они явные мошенники, воры, обманщики и лгуны и морочатъ головы всѣмъ легковѣрнымъ“<sup>141</sup>).

---

### XXIII.

Въ іюнѣ 1845 года И. П. Сахаровъ посѣтилъ Москву. Часто выдаясь съ Погодинымъ, онъ бесѣдовалъ съ нимъ „о библиографіи и Древней Русской Словесности“<sup>142</sup>). Въ письмѣ графа С. Г. Строганова къ Погодину сохранился отзывъ его о трудахъ Сахарова. „Къ сожалѣнію моему“, писалъ Графъ,—не видался я съ г. Сахаровымъ, но мнѣ кажется, какъ



ни любопытны его изысканія, что безъ филологическаго основанія нельзя далеко уйти въ наукѣ о Древностяхъ какихъ бы то ни было, а то это будетъ одно пріятное препровожденіе времени“.

Не смотря на этотъ строгій приговоръ, Сахаровъ обогащалъ науку многими важными сообщеніями и соображеніями и, вернувшись въ Петербургъ, продолжалъ вести съ Погодинымъ одушевленную переписку о предметахъ имъ обоимъ любезныхъ. „Дивлюсь и радуюсь“, писалъ онъ (7 октября 1845 года),— „вашимъ пріобрѣтеніямъ. *Преніе Максима Грека съ митрополитомъ Данииломъ* не принадлежитъ ли къ *Соборному Дѣянію* 1531 г. на старца *Вассіана*?—Что-то подобное есть въ библіотекѣ Академіи Наукъ.—Важень и *Уставъ*, принесенный *Теодосіемъ*, но онъ извѣстенъ. А вотъ чему радоваться подобаешь—это *Лѣтописи*! Меня брало отчаяніе—какъ неужели такъ мало писали наши *Лѣтописи*! Теперь, теперь надежда на новыя открытія. *Евангеліе учительное*, что у князя Оболенскаго, не рѣдкость. Оно много конца XV в. Откуда явилось оно—невѣдомо. Князь секретничалъ, и я допрашивалъ *Апраксинъ* дворъ, никто не вѣдаетъ. Думаю, что онъ взялъ его изъ Архива своего Министерства, а *Апраксинцы* толкуютъ, что онъ могъ получить изъ собранія княгини Бѣлосельской. Онъ готовъ былъ отдать его на промѣнъ Кузмину—да у нихъ что-то разошлось.

„У насъ продали монеты *Лантева* — лучшія достались *Яковлеву*, потомъ *Гагарину* и *Долгорукову*. *Кузминъ* купилъ коженное собраніе, четырнадцать штукъ, и заплатилъ сорокъ шесть руб. сер. Въ нихъ, о велие чудо: *ногата* (sic) князь *Глебъ Переяславскій*, и даже годъ, котораго теперь не упомяну. Величиной болѣе три коп. мѣдью на серебро. Продали монеты и *Комарова*—одинъ *Яковлевъ* купилъ на четыре тысячи пятьсотъ рублей изъ сего собранія. Увы! книгъ печатныхъ, рукописей нѣсть у насъ: оскудѣша продавцы и велие истощаніе на ларяхъ. У меня два списка *Амартола*. Теперь въ Россіи двѣнадцать списковъ, хотя *Строевъ* и твердитъ:

Синодальный лучший изъ восьми знаемыхъ, а за нимъ повторяютъ Старчевскій и другіе... Сообщите мнѣ: какія есть у васъ сочиненія Сильвестра, любимца царя Іоанна. Глаголютъ нѣцы и здѣ, яко бы у васъ есть его предисловіе къ *Степенной Книгѣ* и Житіе Ольги. Такъ ли?

„Теперь оканчиваю *Алфавитный указатель сочиненій и переводовъ Русскихъ писателей до 1730 г.* Послѣ этого, смѣло скажу, собиратели будутъ знать, что имъ надо собирать изъ рукописей. Для печатнаго есть, такъ теперь будетъ и для писаній нашихъ отцовъ. Послѣ этого пишите смѣло Исторію Русской Литературы.

„Бога для—увѣдомьте хоть въ *Москвитянинахъ* о вашихъ новыхъ приобрѣтеніяхъ. Этимъ пробуждается жизнь. Надобно шевелить людей. Все еще спячка, какъ бы звѣри зимой. Подлая повѣсти право надоѣли. Дураковъ ничѣмъ не утѣпишь“.

Въ письмѣ отъ 3 ноября 1845 года Сахаровъ сообщаетъ Погодину о своихъ осеннихъ открытіяхъ: „1) Вотъ вамъ мои осеннія открытія: я приобрѣлъ Хронографъ, въ немъ, кромѣ обыкновенныхъ извѣстій, помѣщена: *Степенная книга — безъ житій и словъ*. Это открытіе наводитъ меня на мысль, не была ли Степенная книга въ началѣ таковою? И не Макарій ли съ своими учеными дополнили житіями и словами? Занятый другимъ дѣломъ, скорблю, что теперь не могу разработать этотъ предметъ. Кажется, г. Ивановъ (что въ Казани) хотѣлъ разработать этотъ предметъ, хотѣлъ издать свое изслѣдованіе о Степенной книгѣ. Примѣръ Макарьевскихъ дополненій живо отражается въ Минеи-Четии. 2) Ко мнѣ принесли Сборникъ, состоящій изъ службъ Русскимъ Святымъ. Въ числѣ другихъ помѣщена: *служба св. кн. Владиміру*. Гляжу и удивляюсь—помѣщено: отъ *Бытія Чтеніе. Начало*: „Слышавъ Ярославъ яко отецъ ему умре, и Святополкъ сѣдѣ въ Кіевѣ, избивая братью свою: уже бо Бориса убилъ и на Глѣба послалъ“. *Конецъ*: „Ярославъ сѣдѣ въ Кіевѣ съ дружиною своею утеръ поту лица своего, показуя побѣду и трудъ великъ къ братьи своей“. Рукопись писана съ юсами, въ началѣ XVI вѣка, въ 4.

Вы знаете, что я не охотникъ до служебныхъ книгъ, а эту, признаюсь, приобрѣлъ для себя. Большой разработки требуютъ службы Русскимъ Святѣмъ. Ихъ не болѣе ста пятидесяти службъ. Но сколько въ нихъ открылось бы дѣльнаго, невѣдомаго. Этотъ предметъ давно завлекъ меня, и у меня кой-что пригото-влено для него довольно. Потрудитесь справиться въ вашемъ собраніи: нѣтъ ли этой службы? У меня есть и не одинъ списокъ. Вотъ заглавіе и примѣты: Мѣсяца того же 15. *Успе-ніе Святаго равноапостольнаго великаго князя Владиміра Кіе-скаго, нареченнаго во св. крещеніи Василія*. Вечеръ: Блаженъ мужъ. Стихиры на 8. „О предивное чудо! Величивы и разумы погубляются днесь и рыдаютъ всячская лукаваа вѣиства“.

„Сочинитель, вѣроятно, былъ кіевлянинъ: вотъ доказа-тельства: „веселится и радуется велій градъ твой, Василіе... Приидите, стецемся вси къ честнѣйшей памяти Отца Рускаго нашего наставника Владиміра... Людіе Рустіи, приидѣте че-стнѣй церкви Владимера преблаженнаго великаго князя“. Время сочиненія: „Произрасти намъ свои честнѣи лѣторасли Романа и Давида, тѣмъ и мы свѣтло нынѣ пѣсньми память ихъ вѣрно чтуще, любовію празднуемъ, да молятся Богу: *княземъ на-шимъ подати побѣду на поганья враги*... Преславная твоя память юже празднують *христоименитія князи тебѣ похва-ляюще своего праотца*.“

„Творецъ канона — не означенъ. Языкъ сохранилъ всѣ признаки древности. Есть много замѣчательныхъ выраженій. Почти двѣ трети данныхъ подтверждають, кто писалъ Житіе святаго—тотъ вмѣстѣ былъ и составителемъ службы. Исклю-ченія есть, и въ этомъ случаѣ не рѣдки. А кто первый на-писалъ Житіе св. князя Владиміра? Когда это было? Не *Іаковъ* ли первый былъ писателемъ? Слово *Феодосія*: *како крестися Владиміръ возма Корсунь*—писано было послѣ *Іакова*—сужу по языку. Одному Владиміру—мнѣ случалось видѣть два раз-личныя похвальныя слова, четыре житія и вотъ теперь служ-бу. Всѣ они разнятся въ языкѣ, и это вѣрно указываетъ на разное время и на разныхъ писателей. Есть надъ чѣмъ гра-

дущему поколѣнію поработать въ Русской Литературѣ. Изъ современниковъ не вижу никого, кто бы взялся разработывать это поле.

„3) Новое открытіе объ Іоаннѣ Екзархѣ Болгарскомъ. Вамъ извѣстно уже извѣстіе Козьмы пресвитера Болгарскаго — о Іоаннѣ Екзархѣ. Вы помните, какъ безсовѣстно обвиняли Калайдовича тогдашніе критики свидѣтельствомъ Козьмы Болгарскаго. О Богомилахъ въ Молдавской Кормчей сохранились любопытныя извѣстія. Исторію Болгарской Литературы могутъ только одни Русскіе обработать. Знаю и увѣренъ, что у насъ сохранилось болѣе всѣхъ Болгарскихъ памятниковъ, и намъ должно возратить теперешнимъ Болгарамъ то, что ихъ предки дали нашимъ предкамъ. Долгъ платежемъ красенъ...

„Увѣдомьте меня, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ: 1) Есть у васъ собраніе сочиненій Максима Грека? Сколько въ вашемъ спискѣ есть Словъ? — По моимъ изслѣдованіямъ его сочиненій и переводовъ выходитъ сто сорокъ. Кажется, что его переводъ *Матвея Властара* потерянъ. 2) Сколько въ вашемъ спискѣ Словъ Даниіла митрополита? 3) Есть ли у васъ Поученія Фотія митрополита? Старше Суздальскаго списка не знаю. Не съ него ли копія въ библіотекѣ Историческаго Общества.

Въ другомъ своемъ письмѣ (отъ 22 ноября 1845 года) Сахаровъ пишетъ Погодину: „На дняхъ приобрѣлъ я *Прологъ* особенной редакціи. Если есть у васъ такой, то увѣдомьте меня. Пора намъ устроить обмѣну мнѣній. Одного часто затрудняетъ такой вздоръ, что право въ другое время и толковать не о чемъ. Составителемъ моего *Пролога* былъ какой-то Ілія, а позднѣйшимъ возстановителемъ, или редакторомъ, *Константинъ митрополитъ Мокійскій*. Въ библіотекѣ А. С. Норова есть подобный *Прологъ*, писанный на бомбинѣ, XIII в. А. Х. Востоковъ назвалъ его *Сербскимъ Прологомъ*, сходнымъ расположеніемъ и текстомъ съ пергаментнымъ Румянцовскаго музея. Норовскій и Румянцовскій кратки и многихъ статей не имѣютъ. Думаю, что они оба прибли-

жаются къ первоначальному Сербскому разряду нашихъ Прологовъ. Мой же списокъ XVI вѣка, почеркъ Новгородскій по-лууставъ, и по языку принадлежитъ къ нашимъ передѣлкамъ. Доселѣ я считалъ, судя по спискамъ, три главныхъ редакцій Прологовъ: Болгарскую, Сербскую и Русскую, послѣдняя редакція состоитъ изъ двухъ передѣлокъ: Сербской, со многими дополненіями, и Болгарской, гдѣ болѣе вставки изъ Словесъ. Болгарско-Русская редакція для насъ очень важна: она взошла въ составъ Макарьевской *Минеи-Четви*; онѣ разбавлялись Русскими Житіями. Типъ Сербской редакціи мнѣ очень подозрителенъ. Большая часть Сербскихъ книгъ суть передѣлки съ Болгарскаго. Чего добраго: не былъ ли и Прологъ ихъ въ началѣ переведенъ съ Болгарскаго?

„Кто этотъ *Илія*? И кто *Константинъ митрополитъ Мокійскій*?—Это рѣчь другая, впереди. Васъ же прошу заглянуть въ свои списки, и нѣтъ ли ихъ съ такимъ послѣсловіемъ.

„Еще другая находка: купилъ Лѣтописецъ Русскій, съ подписью рукою писца всей книги: „Сея глаголемая книга *Лѣтописецъ* князя Ивана Ѳеодоровича Хворостинина Ярославскаго“. Списокъ XVII в. доведенъ до смерти Ѳеодора Іоанновича“.

Въ это время Погодинъ былъ озабоченъ составленіемъ каталога своему Древнехранилищу. „Пора бы вамъ“, писалъ ему Сахаровъ,—„издавать вашъ каталогъ—хоть тетрадами. Увѣряю васъ что полнаго никогда не дождетесь, потому что никогда не будетъ конца вашимъ приобрѣтеніямъ.... Издавайте, издавайте пока живы, движемся, а не то кто вѣсть утро?“

Составлять каталоги Погодинъ поручалъ И. Д. Бѣляеву и В. М. Ундольскому. Намъ неизвѣстно о ходѣ ихъ работъ по этому предмету. Знаемъ только, что, напримѣръ, В. М. Ундольскій занимался описаніемъ бумагъ К. Ѳ. Калайдовича и Кормчихъ. „Примусь за Калайдовича“, писалъ онъ Погодину,—„бесѣда съ П. М. Строевымъ пояснила для меня мно-

гое". Въ другой записочкѣ Ундольскій писалъ: „Разбирая Кормчія, мы, кажется, не помѣстили твореній Никона Черныя Горы, которыя идутъ въ то же отдѣленіе. Поэтому археологу въ очкахъ надобно будетъ приотстачовиться наклеюкою нумеровъ“.

Самъ же Погодинъ въ это время вотъ что записывалъ въ своемъ *Дневникѣ*:

Подъ 5 *іюня* 1845. Разбиралъ скоропечатныя книги, и оказалось множество неизвѣстныхъ. Гулялъ и любовался прекрасною лазурью, думая о своей Лизѣ.

— 6 *іюня*. Досада, что не успѣлъ приготовить книгъ Лобкову по милости Бѣляева, отдавашаго каталогъ Строеву безъ спросу.

— 8 *іюня*. Гулялъ съ обыкновенною думою, а по утру мелькала Александра Ивановна (тогда княгиня Мещерская, рожденная княгиня Трубецкая).

— 1 *октября*. Вечеру приходилъ соглядатай Ундольскій. Разбирали рукописи.

Какъ бы то ни было, но часть каталога была уже составлена; Погодинъ отправилъ ее на разсмотрѣніе Востокову, и послѣдній по этому поводу писалъ ему: „Чтеніе каталога вашего доставило мнѣ большое удовольствіе. Я нашелъ въ ономъ богатый запасъ Словенскихъ письменныхъ памятниковъ, но такъ какъ въ каталогъ помѣщены только богослужебныя и церковныя книги, то я и полагаю, что это еще не всѣ сокровища, вами собранныя. Должно же быть сколько-нибудь и историческихъ или другихъ какихъ книгъ, наприкладъ, лѣтописцы, хронографы, космографіи, лѣчебники, и пр.?— Особенную рѣдкость составляютъ неизвѣстныя доселѣ книги Скоринина перевода Библии. Ими доказывается, что Скорина перевелъ весь Ветхій Заветъ на Польскорусскій языкъ. Описание рукописей составлено съ большимъ прилежаніемъ и точностью, хотя и съ недовольнымъ знаніемъ древняго Словенскаго правописанія. Я приписалъ на поляхъ карандашемъ замѣчанія мои по сему предмету.“

„Помѣщенная въ рукописи подъ № 1, послѣ *Второзаконія* статья Кирика Доместика о счисленіи времени находится, какъ извѣстно, также въ Сборникѣ Новгородской Софійской Библіотеки, откуда доставленъ былъ списокъ графу Н. П. Румянцову, и описанъ мною въ *Каталогъ Румянцовскаго Музеума* подъ № XXXV. Изъ того же Сборника взятъ списокъ митрополита Евгенія, напечатанный въ четвертой части *Трудовъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ*. К. Θ. Калайдовичу извѣстна была ваша рукопись, ибо онъ ссылается въ примѣч. 34 *Іоанна Ексарха Болмарскаго* на рукопись пяти книгъ Моисеевыхъ, писанную въ 1136 г., но сохранившуюся въ позднѣйшемъ концѣ XV вѣка. Между тѣмъ можно замѣтить, что лѣтосчисленіе Кирика Доместика относится именно къ его статьѣ только, которая первоначально написана была въ 1136 г. и попала позднѣйшими списками въ *Пятикнижіе Моисеево* и въ Сборникъ Новгородской Софійской Библіотеки. Выраженіе *фахъ сіа книгы* во множественномъ числѣ можетъ относиться и къ одной этой статьѣ, ибо въ древнемъ Словенскомъ каждое писаніе называлось *книгы*, а не *книга*. Напримѣръ, *книгы малолемья Руѡвъ*; *Книгы малолемья Самоилъ*, и проч. Слѣдовательно, нельзя утверждать, чтобы вся рукопись *Пятикнижія* списывана была со списка XII вѣка. Если бы въ концѣ рукописи помѣщено было послѣсловіе съ лѣтосчисленіемъ XII вѣка, то это было бы другое дѣло. Я передалъ вашъ каталогъ А. Θ. Бычкову“<sup>143</sup>). Погодинъ съ признательностью принялъ эти замѣчанія А. Х. Востокова и написалъ ему: „Усердно благодарю за замѣчанія. Каталога была у васъ одна десятая доля. Всякій день приобрѣтаю сокровища, и не знаю, какъ благодарить Бога“.

Желая познакомить свѣтъ съ сокровищами своего Древлехранилища, Погодинъ вознамѣрился издать принадлежавшую ему *Псалтирь* XII в., и это изданіе онъ поручилъ Д. Н. Дубенскому. „Посылаю вамъ“, писалъ Погодинъ Востокову, — „образчикъ изданія *Псалтири* вамъ извѣстной, какое предполагаетъ Дубенскій, издержки приметь, можетъ быть, одинъ

вупецъ. Благоволите подать издателю ваши совѣты благіе. Кому же какъ не вамъ учить недоумѣвающихъ?“ <sup>144</sup>)

Намъ неизвѣстно, какъ отнесся Востокъ къ этому предпріятію, но извѣстно мнѣніе по этому предмету Бодянского, писавшаго Погодину: „Радуюсь возможности видѣть *Псалтирь* когда-нибудь до его печати, но хотите—примите, хотите—отвергните мое мнѣніе на счетъ изданія его, а я все-таки скажу вамъ оное тутъ въ самыхъ короткихъ словахъ. Вы говорите, что изданіе не въ матеріальномъ отношеніи поручите г. *Дубенскому*. Зная его свѣдѣнія въ нашей церковно-Словенской старинѣ на самомъ дѣлѣ, я совѣтовалъ бы ограничиться ему однимъ простымъ, но самымъ вѣрнымъ до мелочей (на что онъ добросовѣстенъ)—изданіемъ текста, а сличеніе, объясненіе, толкованіе, грамматическія, флексическія замѣчанія, равно какъ и все прочее, тому подобное, оставить и предоставить другимъ для своей же собственной пользы и чести. Это не такъ легкое дѣло, какъ думаютъ, какъ кажется иному; съ нимъ, говорю, положи руку на сердце, не сладить ему ни съ помощью Добровскаго и Копитара, ни самого Востокъ. Въ этой *Псалтири*, прочитанной мною съ величайшимъ вниманіемъ, столько несогласнаго съ грамматиками этихъ грамматиковъ, что, признаюсь, это меня весьма изумило и, не скрою, во многомъ поучило и *обрадовало*. Для увѣренія въ справедливости, прошу, кому угодно, взять хоть одинъ псаломъ и попытаться объяснить грамматически и филологически при помощи названныхъ грамматикъ. Участвовать же мнѣ въ этомъ послѣднемъ трудѣ, какъ участвовалъ въ объясненіи *Слова о Полку Игоревѣ*, невозможно: тамъ все основывалось на однихъ только догадкахъ и предположеніяхъ, а здѣсь, напротивъ, именно и исключительно на данныхъ, данныхъ и данныхъ, прежнихъ и теперешнихъ, хуже всего, на повѣрѣ ихъ и примиреніи, предпочтеніи или униженіи съ данными разбираемаго текста. Вы знаете, что значить все это и сколько требуетъ времени и головоломни. Повторяю, лучше всего, по моему мнѣнію, издать одинъ лишь текстъ,



какъ онъ есть, со всѣми его особенностями и прихотями, а все прочее предоставить порѣ, порѣ-времени, другимъ и даже, самому себѣ, при большей опытности и плотности свѣдѣній въ этомъ дѣлѣ. Думаю, что это откровенное мое мнѣніе нисколько не оскорбитъ почтеннаго Дмитрія Никитича, котораго я очень и очень уважаю, и въ которомъ, какъ ему самому извѣстно, принимаю самое живое участіе. Еще больше: вы можете даже, коли угодно будетъ, показать оное ему, а послѣ увѣдомить съ нимъ, и, узнавъ о томъ, я потолкую о немъ и поподробнѣе. Впрочемъ и вы, и онъ, сами возрастъ имате: судите и рядите, *яко же есте, азъ же—мнѣ въ братіи моей и унѣйшій въ дому отца моего*“.

Но это изданіе остановилось въ началѣ.

Заклучивъ съ Погодинымъ мирный договоръ, П. М. Строевъ, 17 ноября 1845 года, сдѣлалъ ему слѣдующее предложеніе: 1) „Собраніе рукописей, въ немногіе годы и при самыхъ счастливыхъ обстоятельствахъ вами составленное, принадлежитъ къ богатѣйшимъ въ Россіи: нѣтъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно, у васъ или у наслѣдниковъ вашихъ, Правительство *должно будетъ* купить его дорогою цѣною; мнѣ кажется даже, что продажею спѣшить не для чего. 2) Всякая бібліотека, пока не имѣетъ каталога, обстоятельно сдѣланнаго, не представляетъ и половины существенной цѣнности; даже маленькое собраніе книгъ при каталогѣ много выигрываетъ. Примѣромъ послѣдняго—бібліотека Общества Историческаго: въ 1843 году профессоръ Ивановъ отозвался о ней довольно презрительно, когда часовъ пять перебиралъ ее; теперь, по изданіи каталога, онъ долженъ будетъ перемѣнить мнѣніе и увидить очень многое, чего *не могъ* тогда видѣть. 3) Всякое дѣло, совершаемое знатокомъ, идетъ успѣшнѣе, нежели у человѣка неопытнаго: первый дѣйствуетъ прямо, послѣдній ощупью. Русская Археографія еще такъ мало обработана, а это иногда ставитъ въ тупикъ и знатоковъ опытныхъ. Избранному вами бібліографу не успѣть въ этомъ дѣлѣ, хотя бы онъ и желалъ. 4) Въ дѣлахъ важныхъ, патріотиче-

сныхъ, проливающихъ ясный свѣтъ на науки, расчеты мелкаго самолюбія и пустого этикета не должны имѣть мѣста. Итакъ, не затрудняясь приличіями и неприличіями, предлагаю вамъ: *не хотите ли поручить мнѣ составленіе и изданіе каталога вашихъ рукописей, разумѣется, за извѣстную сумму, о которой согласимся*; описаніемъ иконъ, монетъ и всякой старины можетъ заняться вашъ библіографъ, — потому что за это я не возьмусь. Вотъ мое предложеніе безъ обиняковъ. Не спѣшите отвѣчать на это письмо и не поддавайтесь первому впечатлѣнію, но разсудите хорошенько; я дожидаюсь вашего отвѣта до дня Рождества Христова, и тогда, если не сойдемся, примусь за другое, имѣющееся въ виду, дѣло. Переговоры наши могутъ быть, гдѣ вамъ угодно; у васъ, у меня или въ иномъ мѣстѣ. Во все продолженіе ихъ обѣщаю вамъ самую уточненную Французскую вѣжливость“. Получивъ отъ Погодина на это предложеніе уклончивый отвѣтъ, П. М. Строевъ писалъ ему (отъ 5 января 1846 года): „Въ послѣднемъ письмѣ моемъ я предложилъ вамъ заняться описаніемъ вашего богатаго собранія рукописей: въ виду было у меня сдержать данное мною прежде слово, услужить наукѣ и *хорошимъ* каталогомъ усугубить достоинство коллекціи, столь удачно и благо временно вами составленной.

„Отвѣтъ вашъ, мною вчера полученный, очень вѣжливъ, деликатенъ и съ перваго взгляда основателенъ; но, разбирая подробности, вижу въ каждомъ словѣ (съ позволенія такъ выразиться) *чистую мистификацію*. Еслибы удалось намъ гдѣ-нибудь столкнуться, я разобралъ бы письмо ваше подробно; но писать на него длинный комментарий, согласитесь, нѣсколько смѣшно. Замѣчу только одно: очень ясно, что вы *избѣгаете имѣть со мною дѣло*. Конечно, вы руководствуетесь какими-нибудь уважительными причинами: да будетъ ваша воля, опровергать этого я и не стану. По крайней мѣрѣ теперь я передъ вами *очистился*.

„1-е. Вы горевали, что заплатили мнѣ за мои рукописи

дорого; но, кажется, время и опытъ доказали вамъ, что эта покупка изъ всѣхъ прочихъ была едва ли не самая дешевая.

„2-е. Я возобновилъ прежнее мое предложеніе—описать рукописи, въ самое благопріятное для васъ время: мнѣ дѣлать нечего. Всякій другой почелъ бы для себя неприличнымъ такое предложеніе, но, въ дѣлѣ науки я не связываюсь приличіями. Не знаю, кто бы на вашемъ мѣстѣ не воспользовался такимъ предложеніемъ? Видно, причины нежеланія имѣть со мною дѣло гораздо посильнѣе изложенныхъ въ письмѣ вашемъ.

„Итакъ, повторяю: я предъ вами чистъ, и неустойка не за мною. Дайте мнѣ заочно вашу руку, я ее дружески пожимаю.

„Въ PS. письма вашего спрашиваете: вспоминаю ли я васъ въ Обществѣ (Исторіи и Древностей Россійскихъ)? Вопросъ щекотливый и нѣсколько странный: позвольте мнѣ уклониться отъ отвѣта.

„Поздравляю васъ, по обыкновенію, съ новымъ годомъ...“<sup>145</sup>).

Намъ остается пожалѣть, что Погодинъ не сошелся со Строевымъ, ибо черезъ то Погодинское Древлехранилище осталось безъ каталога.

---

## XXIV.

Исполняя завѣтъ И. И. Дмитріева, Погодинъ уже давно занимался сочиненіемъ похвального слова Карамзину. Между тѣмъ въ концѣ 1844 года разнеслось извѣстіе, что памятникъ Карамзину скоро будетъ готовъ. „Мои знакомые“, пишетъ Погодинъ,—„всѣ знали, что я давно думаю о похвальномъ словѣ Карамзину. Н. М. Языковъ, родомъ изъ Симбирска, принималъ въ этомъ живѣйшее участіе, не смотря на свою тяжелую болѣзнь. Ему хотѣлось издать ко дню открытія альбомъ въ честь Карамзина, за который долженъ былъ приняться я. Въ письменномъ его ко мнѣ вызовѣ онъ писалъ: „Ты, помнится мнѣ, хотѣлъ написать похвальное слово Ка-

рамзину и даже соорудить ему памятникъ не только словесный, но и изустный! Отвѣчай мнѣ нынче же. Если ты дашь мнѣ отвѣтъ отрицательный, я предложу свою мысль князю Вяземскому; въ Москвѣ некому, кромѣ тебя, за это взяться“.

Погодину хотѣлось получить официальное приглашеніе отъ Симбирскаго дворянства быть его органомъ при торжествѣ открытія памятника Карамзину; но тутъ „встрѣтились препятствія“. Потомъ Погодинъ „хотѣлъ быть откомандированнымъ“ въ Симбирскъ отъ Академіи Наукъ или Московскаго Университета. „Не тутъ-то было“, пишетъ онъ, — „Министръ Народнаго Просвѣщенія нашелъ невозможнымъ, не понимаю, по какой причинѣ. Удивительное дѣло. Ни одно изъ высшихъ ученыхъ учреждений не думало принять участіе. Правительство какъ будто бы хотѣло открыть памятникъ молча. Хорошее ободреніе для автора. Пусть вспомнать, въ какому времени относится это событіе. Къ 1845 году“. Когда обо всемъ этомъ узналъ въ Симбирскѣ А. М. Языковъ, то писалъ къ своему брату въ Москву: „Какъ же рѣшается Михаилъ Погодинъ послѣ скарднаго отказа Уварова? Министръ сей, видно, мало уважаетъ Карамзина, который сдѣлалъ болѣе его и всѣхъ его Академій и Обсерваторій и заслужилъ себѣ славу не такими пустяками, какъ *Венеція* и подобныя ей фитюльки Сергія Семеновича. Помѣшались на Европѣ, а въ Россіи дѣлаютъ все кое-какъ“.

Препровождая этотъ отрывокъ изъ письма брата, Н. М. Языковъ писалъ Погодину: „Какъ только получу чтобы то ни было до тебя касающееся изъ Симбирска тотчасъ же тебя увѣдомлю. Сыновья Карамзина ѣдутъ въ Симбирскъ, а татап ихъ — ускакала въ Питеръ: она дама пустая, суетная, дрянъ и проч. Замѣчу мимоходомъ, что и Шевыреву должно бы ѣхать: почему не ѣхать?“

Время между тѣмъ проходило въ пустой перепискѣ, „и я“, замѣчаетъ Погодинъ, — „долженъ былъ ѣхать въ Симбирскъ на свой, такъ сказать, страхъ“. Погодинъ однакожь принялся за окончательную работу надъ похвальнымъ словомъ

Карамзину, „и работа“, пишетъ онъ, — „пла успѣшно. Многія счастливыя выраженія въ приступѣ доставляли мнѣ большое удовольствіе, и я много разъ принимался плакать, повторяя ихъ про себя“ <sup>116</sup>).

7 августа 1845 года Погодинъ отправился въ подмосковное имѣніе князя П. А. Вяземскаго, въ знаменитое Остафьево, гдѣ жила Карамзинъ всякое лѣто, до своего переселенія въ Петербургъ, и писалъ первые томы своей *Исторіи Государства Россійскаго*. Въ то время въ Остафьевѣ гостили Шевыревъ съ семействомъ и Петръ Александровичъ Валуевъ съ своею супругою Маріей Петровной, дочерью князя П. А. Вяземскаго. Путь изъ Москвы въ Остафьево возбудилъ въ Погодинѣ воспоминаніе юности, такъ какъ путь сей лежалъ черезъ Знаменское.

Подъ 7 августа 1845 въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующую записъ: „Отправился съ дѣтьми къ Шевыреву по Знаменской дорогѣ, воображалъ прошлое. Пообѣдали въ Дубровицахъ, вспомнилъ какъ туда ѣздилъ. Осмотрѣли церковь. Католическая. Говорилъ съ священникомъ о Филаретѣ, осмотрѣлъ пустой домъ и отправился съ Митей къ Шевыревымъ. На третьей верстѣ съ горы лошади понесли во весь опоръ. Я испугался, видя смерть неминуемую. Сердце замерло, и я только молился: Господи помилуй. Лошади спустились съ горы, остановились на гору. Поблагодарилъ Бога. Приѣхали въ Остафьево. Жаль, что комнату Карамзина занимаютъ Валуевы“. Въ Остафьевѣ Погодинъ прожилъ недѣлю и „работалъ тамъ безъ усталости“ надъ окончаніемъ похвальнаго слова Карамзину. Ему однако удалось переселиться въ комнату Карамзина. „Писалъ *Слово*“, читаемъ въ *Дневникъ* Погодина, „въ той комнатѣ, гдѣ Карамзинъ сочинялъ *Исторію*. Думалъ о немъ, думалъ о моей Лизѣ. Что еслибы я привезъ ее въ Остафьево. Писалъ до *Исторіи* и нѣсколько объ *Исторіи*. А время идетъ. Гулялъ по рощѣ и саду Карамзина. Провелъ хорошо это время, часто не сходилъ даже



и за столъ, и за чай. Шевыревъ живетъ очень хорошо. Валуевъ рассказывалъ о сплетняхъ прошлаго года<sup>147)</sup>.

Окончивъ въ Остафьевѣ Слово, Погодинъ прочелъ его Валуевымъ и Шевыревымъ и возвратился въ Москву 11 августа 1845 года.

По своемъ возвращеніи Погодинъ нашелъ слѣдующую записку отъ Н. М. Языкова: „Сейчасъ получилъ я письмо отъ брата Александра Михайловича, онъ пишетъ: „Радуюсь душевно, что М. П. Погодинъ написалъ похвальное слово Карамзину. Объ извѣщеніи его я просилъ Петра Михайловича похлопотать; но Губернаторъ вѣрно уже это сдѣлалъ, какъ говорилъ онъ женѣ моей. Во всякомъ случаѣ Михаилу Петровичу за этимъ останавливаться не слѣдуетъ: прогоны ему возвратитъ Дворянство. Уваровъ поступилъ очень невѣжественно: если онъ не желаетъ Погодина, то могъ бы предписать хотъ Казанскому Университету послать хотъ кого-нибудь изъ тамошнихъ профессоровъ. И того нѣтъ. Все это холодно, пусто и глупо“. Со своей стороны Н. М. Языковъ въ этихъ строкахъ своего брата приписалъ отъ себя Погодину: „Поѣзжай же 16 августа въ ночь. Къ 20 или 21 августа ты будешь на мѣстѣ. Въ Симбирскѣ прямо въѣзжай въ домъ П. М. Языкова; а на обратномъ пути, вѣдь ты поѣдешь оттуда на Арзамасъ, Муромъ и проч., непременно заѣзжай ко мнѣ въ село Языково, шестьдесятъ пять верстъ отъ Симбирска. Тамъ днюй или ночуй, отдохни и проч. Я пишу туда, чтобъ тебя тамъ ждали и приняли бы съ подобающею честію!“

Согласно съ этимъ Погодинъ выѣхалъ изъ Москвы 17 августа. Въ Нижнемъ онъ встрѣтился съ товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ И. Г. Сеньявинимъ, который „далъ“ ему „подорожную на курьерскихъ“<sup>148)</sup>.

„Симбирскъ“, писалъ Погодинъ М. А. Дмитріеву, — „вы знаете, виденъ издалека. Сердце у меня забилося, какъ я увидѣлъ городъ, за полями и лугами, на высокой горѣ, озаренный послѣдними лучами заходящаго солнца. Мысль, что

я ѣду говорить похвальное слово Карамзину, Карамзину, который съ дѣтскихъ лѣтъ былъ первымъ героемъ моего воображенія, котораго въ юности любилъ я, могу сказать, со страстью, у котораго началъ учиться и добру, и языку, и исторіи, какъ выразился, помню, въ своемъ письмѣ къ нему, посвящая первый опытъ на историческомъ поприщѣ,—приводила меня въ волненіе. Думалъ ли знаменитый Историкъ, что тотъ молодой человекъ, кому онъ въ Петербургѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, дрожащему и трепещущему, благоволилъ сказать одобрительное слово и изъяснить доброе желаніе, призовется чрезъ двадцать лѣтъ на его родину совершить предъ его памятникомъ торжественное поминовеніе объ его заслугахъ и благодѣяніяхъ Отечеству, и будетъ говорить ему похвальное слово, если не достойное своего предмета, то по крайней мѣрѣ искреннее и чистосердечное“ <sup>149</sup>).

Съ такими восторженными чувствами Погодинъ вѣхалъ въ Симбирскъ. На первыхъ же шагахъ ему пришлось испытать разочарованіе. По приглашенію Н. М. Языкова Погодинъ „прямо вѣхалъ въ домъ“ брата нашего писателя П. М. Языкова, котораго, пишетъ нашъ ораторъ, „не нашелъ, и едва былъ впущенъ. Въ домѣ не примѣтно было никакого ожиданія. Все это мнѣ было очень досадно. Послалъ извѣстить его, бывшаго въ собраніи, о пріѣздѣ, и едва дождался къ ночи. Между тѣмъ мнѣ было трудно получить и стаканъ воды, да и прилечь и даже присѣсть не на чемъ, потому что всѣ стулья были покрыты на вершокъ пылью. Не дикая ли это безпечность и грубость. Человекъ проватился семьсотъ верстъ по ихъ же желанію, и вотъ какъ онъ принять. А открытіе предполагалось на другой день“. Наконецъ явился П. М. Языковъ и объявилъ, что открытіе отложено на день <sup>150</sup>), чему Погодинъ былъ „очень радъ, усталый послѣ дороги на курьерскихъ“. Въ тотъ же вечеръ у П. М. Языкова собралось нѣсколько Симбирскихъ дворянъ и между прочими И. С. Аржевитиновъ, потерявшій ногу на Бородинскомъ сраженіи и ходившій на деревашкѣ. „Мнѣ“, пишетъ Погодинъ,—

„вспомнилось описаніе Симбирскаго общества въ романѣ Карамзина *Рыцарь нашего времени*, и я невольно перенесся, съ особеннымъ удовольствіемъ, въ давнопрошедшее время“.

На другой день (22 августа) по пріѣздѣ Погодина, въ день коронаціи, все Дворянство собралось, по обычаю, съ поздравленіемъ у губернатора Николая Михайловича Буддакова, которому представился и Погодинъ. Губернаторъ былъ питомецъ Московскаго Университета, ученикъ Гейма, а потому „осыпалъ“ Погодина ласками. „Отъ Губернатора всѣ поѣхали въ Соборъ молиться въ этотъ торжественный день о Царѣ и Царствѣ“. Литургію совершалъ преосвященный Теоодотій, и по окончаніи оной сказалъ назидательное слово о любви, которой, замѣчаетъ Погодинъ, „дай Богъ намъ больше, всѣмъ вмѣстѣ и каждому порознь, въ Симбирскѣ и Казани, Москвѣ и Петербургѣ, и даже въ Парижѣ и Лондонѣ“.

Послѣ обѣдни былъ завтракъ у Преосвященнаго, по описанію Погодина, „на берегу Волги, въ виду безконечной луговой стороны; столъ покрытъ былъ рыбами и рыбцами, коихъ всегда полны здѣшнія благословенныя мрежи“. Здѣсь Погодинъ „имѣлъ случай засвидѣтельствовать свое почтеніе гг. предводителямъ П. И. Юрлову и А. Л. Киндякову, изъ которыхъ отъ перваго получилъ онъ „лестное предложеніе сочинить *Слово*, а второй, какъ хозяинъ, принималъ его теперь. Тутъ же познакомился и съ нѣкоторыми дворянами. Обычныхъ визитовъ по домамъ дѣлать не было возможности за недостаткомъ времени. Знакомые обращались къ нему съ упреками, зачѣмъ онъ пріѣхалъ такъ поздно, хотя и теперь это было почти на удачу“.

„Вечеру по предварительному соглашенію должно было прочесть *Слово* у г. Губернатора въ собраніи многихъ дворянъ. Приступая къ чтенію, Погодинъ объяснился съ своими слушателями, прося у нихъ замѣчаній мѣстныхъ, историческихъ, литературныхъ и цензурныхъ, въ отношеніи къ произнесенію, тѣмъ болѣе, что самъ онъ, въ жару сочиненія, не могъ судить о своемъ трудѣ, только-что конченномъ, а въ



обыкновенную цензуру для печати оно не поспѣло. Чтеніе продолжалось слишкомъ часъ, какъ онъ ни торопился. Лишь только что кончилъ Погодинъ, какъ сыновья Карамзина, также здѣсь присутствовавшіе, Андрей Николаевичъ и Александръ Николаевичъ, обратились къ нему съ благодарностью и жали ему руки со слезами на глазахъ "... „Это была“, замѣчаетъ Погодинъ, „пріятнѣйшая минута въ моей жизни литературной. Кажется, гора свалилась у меня съ плечъ, и я вздохнулъ свободно, какъ будто примиренный съ знаменитымъ семействомъ: Вы помните, что въ 1828 году помѣщалъ я въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, который издавалъ тогда, замѣчанія, нѣсколько жесткія, Арцыбашева (также уже покойнаго) на *Исторію Государства Россійскаго*, за что и подпалъ подозрѣнію въ неуваженіи къ памяти знаменитаго историка, подвергся даже гоненію. Тогда же я произнесъ обѣтъ написать ему похвальное слово и не являться до тѣхъ поръ въ его домъ, какъ мнѣ того ни желалось, пока не исполню своего намѣренія, не разсѣю тѣни, наложенной на меня обстоятельствами. Нѣсколько разъ послѣ я принимался писать Слово. Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, на канунѣ еще своей смерти, взялъ съ меня повтореніе моего обязательства, но я всегда былъ недоволенъ своими опытами, и оставался при одной мысли, пока наконецъ предложеніе Симбирскаго Дворянства дало мнѣ побужденіе и силу исполнить, какъ могъ, его порученіе и мое давнее желаніе“.

„Всѣ слушатели осыпали Погодина похвалами. Рѣшено было не пропускать ничего и прочесть слово такъ, какъ оно написано“.

Однакожъ Погодинъ воротился домой съ какимъ-то непріятнымъ чувствомъ. Ему „показалось, что похвалы были холодны, и внушались только обыкновенной свѣтской учтивостью, что *Слово* его слишкомъ длинно и заключаетъ много подробностей, совсѣмъ не занимательныхъ для большинства публики, что завтра онъ наскучитъ своимъ слушателямъ, которые ожидаютъ отъ него вѣрно чего-нибудь другого, а мо-

жеть быть, не удовлетворить и требованіямъ знатоковъ, что не возбудить никакого участія, однимъ словомъ, что онъ напрасно съ своей больной ногою совершилъ этотъ длинный путь... Дождь билъ въ окошко, небо было обложено все тучами, ночь темная... Погодинъ началъ было думать, какъ сократить, передѣлать *Слово*, но что можно было успѣть въ нѣсколько ночныхъ оставшихся у него часовъ... Безпрестанно переворачивалъ онъ свою подушку, и въ такомъ расположеніи уснулъ, во власти самыхъ беспокойныхъ мыслей и тревожныхъ чувствованій, авторскихъ и не авторскихъ. На другой день не успѣлъ проснуться, какъ пріѣхали нѣкоторые его добрые пріатели съ совѣтами исключить нѣсколько мѣстъ изъ писемъ и сочиненій Карамзина, кои могутъ де подать поводъ въ кривымъ толкованіямъ, и Погодинъ смутился еще болѣе, не зная что ему дѣлать...

---

## XXV.

Утромъ, 23 августа 1845 года, въ Симбирскѣ раздался благовѣстъ съ соборной колокольни. Въ соборѣ собрался весь городъ. Начальство, дворянство, купечество, воспитанники гимназій и семинаріи; всѣ въ мундирахъ и полномъ парадѣ. „Началась“, пишетъ Погодинъ, — „заупокойная литургія. Величественное служеніе, прерываемое воспоминаніями объ усопшемъ и молитвами объ его упокоеніи, исполняло душу какимъ-то священнымъ трепетомъ, страхомъ Божиимъ и уносило ее въ горняя. За литургіей послѣдовала панихида, торжественная и вмѣстѣ глубоко-грустная, исполненная разительныхъ уроковъ о суетѣ земнаго величія и моленій любви, которая не оставляетъ человѣка и за гробомъ. Благовѣйная тишина царствовала во храмѣ, и только славословіе священниковъ и пѣніе ликовъ раздавались полновучно подъ высокими сводами. Благочестіе и усердіе написаны были на лицахъ, выражались въ частыхъ, усердныхъ преклоненіяхъ. Ка-

залось, вся Россія собралась сюда совершать благодарственное поминовение объ одномъ изъ лучшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ своихъ. Минуты торжественныя и умиленные! Воспоминаніе о такой жизни, какъ жизнь Карамзина, чистая, неукоризненная, вся посвященная благу, и вмѣстѣ сознаніе о ничтожности всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей предъ Судіею, Которому *кто постоитъ еще назрѣтъ*, молитва единоклубная, искренняя, теплая, чрезъ двадцать лѣтъ послѣ кончины, *о проститися усопшему вся прегрѣшенія его вольная и невольная; о неосужденно предстать ему у страшнаго престола Господа славы, о вселиги его, идѣже приспѣваетъ свѣтъ лица Божія*,—все это было такъ важно, глубоко и вмѣстѣ такъ просто; все это приводило душу въ какое-то особенное состояніе, выше земное, неизреченное и неописанное... Сыновья его плакали — но въ эти минуты мы всѣ были его сыновьями, мы всѣ плакали слезами... не горести, но какого-то грустнаго высокаго радованія; мы молились, но намъ казалось, что молитвы наши уже услышаны еще прежде возношенія, что Карамзинъ уже тамъ, гдѣ мы желали быть ему—*въ мѣстѣ свѣтлѣ, мѣстѣ злани, въ мѣстѣ покойнѣ, идѣже вси праведниги пребываютъ*, и что мы своей молитвой исполняемъ только собственный долгъ, удовлетворяемъ потребности своего сердца. Стихи: *блажени, яже избрахъ и пріяхъ еси Господи, память ихъ въ роды и роды души ихъ во близкихъ водворяются*, воспѣвались какъ будто собственно для Карамзина, и мы повторяли ихъ съ полнымъ убѣжденіемъ и вѣрою. О, это были, повторяю, минуты торжественныя и умиленные. Самъ невѣрующій долженъ бы сознаться, что есть что-то кромѣ земли, кромѣ дня и его злобы: неужели такое чувство остается только на лицахъ, неужели такая молитва оглашаетъ только воздухъ!

„Молодые воспитанники Симбирской гимназіи, длиннымъ строемъ среди насъ стоявшіе, были для меня представителями новыхъ поколѣній Россіи. Мысленно обращался я къ нимъ: .....О, друзья мои! вспоминайте часто о Карамзинѣ и о

последней панихидѣ по немъ, при которой вы имѣли счастье присутствовать.

„Разумѣется, я позабылъ о своемъ *Словѣ* и о тѣхъ мѣстахъ, кои исключить нужно, и объ этихъ мѣстахъ, кои произнести должно.

„По окончаніи священнослуженія все общество, торжественнымъ ходомъ, отправилось къ монументу. Вчерашній дождь прекратился, и солнце сіяло во всемъ своемъ великолѣпіи. Монументъ возвышается на прекрасной площади, между домами градскаго общества, гимназій, губернатора и оградю Спасскаго монастыря: на высокомъ гранитномъ пьедесталѣ, въ пять сажень вышиною, стоитъ муза Исторіи, Кlio, опершись на скрижаль и держа въ рукѣ трубу. На одной сторонѣ пьедестала подъ бюстомъ Карамзина, поставленнымъ въ углубленіи, изсѣчена надпись:

Н. М. КАРАМЗИНУ

историку Россійскаго Государства

ПОВЕЛѢНІЕМЪ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.

„По бокамъ изсѣчены два мѣдныя барельефа. Одинъ представляетъ чтеніе Карамзинымъ Исторіи Императору Александру, а другой — врученіе умирающему Карамзину благодарственнаго рескрипта Императора Николая.

„Вся площадь усыпана была народомъ; окна, балконы, крыши домовъ покрыты зрителями. Лишь только приблизилась процессія, завѣса, закрывавшая бюстъ и барельефы, ниспала. Преосвященный произнесъ обычныя молитвы и окропилъ святою водою нижнюю часть памятника, обошедъ оный кругомъ. Потомъ провозглашено было многолѣтіе Государю Императору и всему Августѣйшему Дому, вѣчная память историографу Николаю Михайловичу Карамзину, многая лѣта Симбирскому Дворянству и всѣмъ почитающимъ память великаго писателя.

„Въ заключеніе Преосвященный, обратясь къ бюсту Карамзина, произнесъ краткую, прекрасную рѣчь, избравъ очень счастливо слѣдующій текстъ изъ Сираха: *Слава изъ не по-*

*требуется; тѣлеса ихъ въ миръ погребена быша, а имена ихъ живутъ въ роды. Премудрость ихъ повѣдаютъ людѣ, и похвалу ихъ исповѣсть Церковь.* Вотъ и самая рѣчь: „Чѣмъ приличнѣе привѣтствовать мудраго, если не словами мудраго?— И мы привѣтствуемъ тебя, мужъ мудрый и доблѣй, словами Св. Премудрости: слава твоя не потребится; ты почилъ въ мирѣ; но имя твое переживетъ роды, премудрость твою повѣдаютъ людѣ, и похвалу твою исповѣсть Церковь.

„Не будемъ, братія, спрашивать: кто счастливѣе—народы ли, среди которыхъ, въ ихъ славѣ и величію, возстаютъ мудрые, или мудрые, возстающіе среди такого народа, который умѣетъ цѣнить премудрыхъ. Счастлива Россія, гдѣ подъ благодатною сѣнію Православія и златымъ скипетромъ Самодержавнѣйшихъ Ревнителей вѣры и просвѣщенія, какъ при благоготворящей росѣ и животворномъ солнцѣ, прозябаютъ, растутъ и получаютъ правильное направленіе дарованія и умы, въ славѣ и счастію Россіи, которой и въ семъ отношеніи скоро позавидуютъ народы. И кто изъ насъ при семъ взглядѣ на Россію не думаетъ о Карамзинѣ?

„Слава тебѣ, Карамзинъ, мужъ мудрый и доблѣй, своими дарованіями и трудами сугубо прославившій Россію! Премудрость твою повѣдаютъ людѣ, и похвалу твою исповѣсть Церковь. А умолчимъ мы—то камни сіи, велѣніемъ Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Николая Павловича во славу твою положенные, о славѣ твоей возопіютъ.

„Слава Благочестивѣйшему Государю Нашему, толико прославившему мудраго на радость мудрыхъ!

„Слава вамъ, мужи именитые, коимъ первымъ пришла на сердце, сродная вашему сердцу, благородная мысль, *почтить премудрость!* А паче слава Богу, дѣйствующему въ насъ и еже хотѣти и еже дѣяти о благоволеніи“.

„На меня“, пишетъ Погодинъ,— „рѣчь произвела особенное дѣйствіе: „Умолчимъ мы—то камни сіи возопіютъ“, сказалъ Преосвященный,—эти слова возвратили мнѣ твердость. И не стыдно ли бѣ было, исчисляя всѣ заслуги Карамзина, умолчать

о тѣхъ дѣйствіяхъ, въ коихъ всего яснѣе выразилась любовь его къ Отечеству и гражданское мужество? Не упомянуть въ историческомъ спокойномъ разсказѣ, котораго первое достоинство состоитъ въ вѣрности, о томъ, что онъ говорилъ прямо и открыто, мимо всѣхъ отношеній. Когда? Въ ту минуту, когда его заслуги награждались общественнымъ монументомъ, по велѣнію Государя. Предъ кѣмъ? Не предъ толпой необразованной, легко приходящей въ соблазнъ, способной къ кривымъ толкованіямъ, а предъ дворянами, его согражданами, людьми просвѣщенными! Во всякомъ случаѣ онъ должны быть сказаны въ удовлетвореніе собственнаго чувства, въ успокоеніе своей совѣсти“.

Послѣ рѣчи Преосвященнаго почетный попечитель гимназій, воспитанникъ стараго знаменитаго Университетскаго пансіона, товарищъ Шевырева и Титова, Дмитрій Петровичъ Ознобишинъ, произнесъ стихи предъ самымъ памятникомъ, которые начинаются слѣдующими счастливыми строфами:

Онъ здѣсь! Онъ вѣчно нашъ! Изображеніе Кліи  
Отнынѣ передастъ въ позднѣйши времена  
И даръ Царя, и дань признательной Россіи  
Къ трудамъ Карамзина.  
Какъ древле Иродотъ, средь шумныхъ игръ Еллады,  
Разсказомъ сладостнымъ народы увлекалъ,  
И юный Фукидидъ, вперяя на старца взгляды,  
Рыдалъ и трепеталъ;  
Такъ Русскій юноша, теперь идущій мимо,  
Взглянувъ на этотъ ликъ, сіяющій въ мѣди,  
Любовь къ Отечеству, сей огонь неугасимый,  
Возчувствуетъ въ груди;  
Въ немъ вдругъ пробудится невѣдомая сила  
Высокихъ ползиговъ, чѣмъ втайнѣ мысль кипитъ,  
И, какъ птенецъ орла, свои расширивъ крыла,  
Онъ къ солнцу возлетитъ!

Преосвященный удалился для разоблаченія, „и Клію“, замѣчаетъ Погодинъ, „предстала предъ взорами публики въ миологическомъ грѣшномъ своемъ величіи“.

„*Похвальное Слово* опредѣлено было прочесть въ залѣ Гимназій, ибо домъ Благороднаго Собранія еще не отдѣланъ.

Обширная зала наполнена была слушателями. Въ сосѣднихъ комнатахъ, на хорахъ, въ корридорахъ, толпился народъ. Дамы занимали передніе ряды. По обѣимъ сторонамъ каеэдры находилось множество предстоявшихъ“. Погодинъ взошелъ на каеэдру, — „долженъ сказать“, замѣчаетъ онъ, „съ благодарностью, для соблюденія исторической вѣрности, — встрѣченный громкими рукоплесканіями“, и, ставъ между портретами Карамзина и Дмитріева, началъ говорить <sup>151</sup>). Послѣ изъясненія благодарности Симбирскому Дворянству за избраніе быть его *органомъ въ этотъ торжественный для всего Отечества день*, Погодинъ продолжалъ: „Отечество не видало Карамзина на полѣ брани...; имя его не читалось въ заглавіи трактатовъ, принесшихъ въ даръ Государству новыя области; ему не принадлежить никакихъ уставовъ, коими назначается образъ дѣйствія для цѣлыхъ поколѣній; онъ не возбуждалъ и не укрощалъ народныхъ движеній на площади; его рѣчей не слыхать было въ собраніяхъ Царской Думы; казна государственная не получала отъ него никакихъ приращеній; онъ не произносилъ приговоровъ о жизни, смерти и благосостояніи гражданъ; онъ не служилъ...

„Сорокъ лѣтъ провелъ онъ тихо, съ перомъ въ рукѣ, за письменнымъ столомъ, въ четырехъ стѣнахъ тѣсной комнаты, среди книгъ, рукописей и ветхихъ хартій Древности, вдали отъ людей, вдали отъ поприща дѣйствій, между типографіей и книжной лавкой...

„Что же онъ сдѣлалъ такое? Почему воздвигается ему памятникъ? Какія права имѣетъ онъ на эту награду? За что долженъ влнаться ему народъ?...

„Да, Карамзинъ не рѣшалъ судьбы сраженій, но рѣшалъ мудренныя задачи нашего государственнаго бытія, кои важнѣе всѣхъ возможныхъ побѣдъ въ мірѣ.

„Да, Карамзинъ не распространялъ предѣловъ Имперіи, но распространялъ предѣлы Русскаго языка, въ коемъ хранятся опоры могущества, самыя твердыя, залогомъ славы самой блистательной.



„Онъ не открывалъ новыхъ источниковъ дохода, но открылъ новые источники наслажденій въ сердцѣ чистыхъ, прекрасныхъ, человѣческихъ, которыхъ нельзя замѣнить, нельзякупить никакими сокровищами древняго и новаго свѣта.

„Онъ не сочинялъ законовъ; но внушалъ къ нимъ уваженіе и училъ жить такъ, чтобы никакихъ законовъ людямъ не было нужно.

„Онъ... но я удержусь исчислять впередъ его дѣйствія, и скажу только, что десять разъ линіи границъ политическихъ округлятся или выпрямятся; сто побѣдъ одержится новыхъ и тысяча прежнихъ обветшаетъ и предастся забвенію; многіе иные племена и народы войдутъ въ емкій составъ Русскаго Царства; самые законы измѣнятся въ своемъ духѣ, вмѣстѣ съ характеромъ подчиненныхъ имъ народовъ, но живыя сѣмена добра, любви и науки, разсыпанныя щедрою рукою даровитаго писателя, по всему неизмѣримому пространству Россіи, отъ западныхъ предѣловъ Польши до Сѣверной Америки, и отъ полярныхъ снѣговъ Финляндіи до высотъ Ноева Арарата, эти сѣмена будутъ непрерывно расти, будутъ непрерывно цвѣсти и приносить благіе плоды, кои въ свою очередь сдѣлаются сѣменами, не переставая питать тысячи и тысячи людей благородною пищею. Много переворотовъ, бурныхъ или мирныхъ, какъ то угодно Богу, испытаетъ нашъ народный бытъ, но потоки сладкой рѣчи, изъ златыхъ устъ изліявшіеся, будутъ течь безостановочно чрезъ всѣ періоды и эпохи, всегда утоляя жажду, всегда освѣжая животворной влагой усталыхъ дѣлателей, каково бы ни было у нихъ различіе въ образѣ мыслей, взглядахъ и цѣляхъ. Творенія ума переживутъ побѣды, завоеванія, революціи, кодексы, хартіи, доставляя одинакія наслажденія людямъ всѣхъ званій, возрастовъ, состояній и мнѣній, равно любезныя и дорогія, во дворцѣ и хижинѣ, вельможѣ и отшельнику, юношѣ и старцу, дѣвѣ и матери семейства, безусловнымъ вѣрноподаннымъ вѣковъ прежнихъ и свободнымъ мыслителямъ новаго времени“<sup>152</sup>). Затѣмъ Погодинъ обратился къ жизни и заслугамъ



Карамзина на поприщѣ Языка, Словесности и Исторіи. Сначала представилъ онъ состояніе Языка до Ломоносова, потомъ преобразование, совершенное этимъ гениемъ, и наконецъ указалъ, что имъ не кончено, что оставалось его преемникамъ...

„И вотъ, чрезъ годъ послѣ его смерти, 1766 года, декабря 1 дня, Симбирской губерніи, Симбирскаго уѣзда, въ селѣ Богородскомъ, родился Карамзинъ...“

„Вы можете себѣ представить“, замѣчаетъ Погодинъ, — „что самыя простыя слова, самыя естественныя сближенія, должны были производить здѣсь дѣйствіе—на мѣстѣ, въ Симбирскѣ, между дѣтьми его родственниковъ, его знакомыхъ, которые его видѣли, которые слыхали о немъ отъ своихъ отцовъ, и знали, можетъ быть, наизусть всѣ его сочиненія“.

Сочиненія Карамзина авторъ исчислилъ въ хронологическомъ порядкѣ, съ замѣчаніями, въ чемъ состояло существенное и относительное достоинство каждаго.

Какъ сладко было Погодину „читать отрывки изъ его сочиненій, столь тѣсно соединенные съ воспоминаніями о золотыхъ годахъ его молодости и его ученія!“

Такимъ образомъ авторъ дошелъ до Исторіи. Здѣсь представилъ онъ состояніе Русской Исторіи до Карамзина, трудности, кои преодолѣть онъ былъ долженъ, и слабость надежды, которую можно было питать сначала на успѣхъ. Предпріятіе Карамзина въ 1803 году авторъ назвалъ отважнымъ, дерзкимъ, сравнилъ съ другими дѣйствіями въ Исторіи — Петра, Ломоносова, Суворова...

„Это духъ всей Русской жизни“, сказалъ Погодинъ, — „это духъ — не Карамзина, не Ломоносова, не Петра, не Суворова, это духъ Русскаго человѣка, тотъ самый духъ, предъ которымъ понижаются Альпійскія горы, заравниваются Кавказскія пропасти, котораго ничто не устрашаетъ, которому нигдѣ не бываетъ препонъ, тотъ духъ, который мы ученые, полуученные, а больше всего недоученные, всѣми силами погасить стараемся въ Латинскихъ формахъ и Нѣмецкихъ фор-

мулахъ, но который однакожь все еще живъ, потому что живущъ, а Богъ милостивъ“.

— Погодину „не дали договорить: раздались рукоплесканія, продолжавшіяся долго, и признаюсь“, пишетъ ораторъ,—„я радъ былъ этому сочувствію, какъ выраженію того же духа...“

Исторію Государства Россійскаго авторъ обозрѣлъ со стороны критики, науки и искусства. Далѣе разсматривалъ онъ Карамзина какъ гражданина при описаніи двухъ записокъ его: *О древней и новой Россіи*, о Польшѣ. Здѣсь почелъ онъ своей обязанностію отстранить нареканіе на *Исторію* Карамзина, выраженное въ эпиграммѣ Пушкина, столь знаменитой между его ровесниками. Въ республикѣ ученой есть свои права и обязанности, свои награды и наказанія, свои достоинства и пороки,—и обвиненіе такого человѣка въ Русской Литературѣ, какъ Пушкинъ, хотъ тогда онъ былъ еще почти юношей легкомысленнымъ, нельзя было оставить безъ отраженія.

Наконецъ Погодинъ старался представить Карамзина какъ человѣка. Многочисленное собраніе его писемъ, изъ коихъ большею частію получилъ онъ отъ М. А. Дмитріева и А. И. Тургенева, доставило Погодину „прекрасное заключеніе, составленное изъ собственныхъ словъ Карамзина, которое сдѣлалось лучшею частію рѣчи“. Зная ихъ наизусть, пишетъ Погодинъ, „нельзя было читать безъ умиленія—вы можете себѣ представить, какъ должны онѣ были тронуть слушателей, слышавшихъ ихъ въ первый разъ! Чистая, высокая душа Карамзина, благородство его характера, любовь къ Отечеству, преданность въ волю Провидѣнія, представились ими предъ взорами слушателей какъ въ ясномъ зеркалѣ. Когда вслѣдъ за нимъ прочелъ я описаніе послѣднихъ минутъ Карамзина, сдѣланное Жуковскимъ, многіе плакали. Я кончилъ слѣдующими словами: „Что я могу прибавить къ этому краснорѣчивому волненію сердецъ вашихъ... Лучше умоленуть... Прерываю мое Слово... Карамзинъ принадлежитъ всей Россіи, но вамъ, Мм.

Гг., принадлежить онъ преимущественно. Здѣсь онъ родился, здѣсь получилъ начальное образованіе и обогатился впечатлѣніями дѣтства и юности, столь важными и рѣшительными въ нашей жизни; между вами нашелъ онъ себѣ перваго друга-совѣтника въ литературныхъ трудахъ — И. И. Дмитріева; между вами нашелъ онъ себѣ перваго путеводителя — Ивана Петровича Тургенева, который указалъ ему Москву, ввелъ его въ ученое общество и далъ направленіе его умственнымъ и нравственнымъ занятіямъ; вы наконецъ предупредили всѣхъ своихъ соотечественниковъ въ благомъ намѣреніи воздвигнуть общественный памятникъ знаменитому согражданину и приняли самое дѣятельное участіе въ исполненіи этой мысли. На васъ, разумѣется, должно было подѣйствовать самое простое и безыскусственное воспоминаніе о жизни и трудахъ Карамзина, — но я увѣренъ, что и всякій изъ нашихъ соотечественниковъ, въ которомъ бьется Русское сердце, которому мило Русское слово, которому дорога Русская слава, кто любитъ свою святую Русь, кто преданъ просвѣщенію, вспомнивъ благодѣянія Карамзина, произнесетъ ему всегда внутренно свое Русское, сердечное спасибо, которое лучше, выше, сильнѣе, дороже, не только моего скуднаго Слова, но и всѣхъ витійственныхъ панегириковъ Греціи и Рима, искренняя, свободная дань хвалы, чести, признательности и любви. Пусть памятникъ, теперь ему соизволеніемъ Императора Николая здѣсь поставленный, одушевляетъ вашихъ дѣтей, всѣ слѣдующія поколѣнія въ благородномъ стремленіи къ высокой цѣли Карамзина! Пусть духъ его носится въ Россіи! Пусть онъ останется навсегда идеаломъ Русскаго писателя, Русскаго гражданина, Русскаго человѣка, — по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой“.

Погодинъ сошелъ съ каеэдры... Господа предводители въ лестныхъ выраженіяхъ изъявили ему благодарность Симбирскаго Дворянства за исполненіе ихъ желанія...

Чтеніе продолжалось почти два часа <sup>153</sup>). . . . .

Открытіе въ Симбирскѣ памятника Карамзина вдохновило прикованнаго къ одру страданій Языкова, и онъ написалъ прекрасное стихотвореніе, благородно посвятивъ его Александру Ивановичу Тургеневу. Стихотвореніе это закончивается такъ:

...Слава времени, когда  
И мирный гражданинъ, подвижникъ незабвенный  
На полѣ книжнаго труда,  
Вънчанный славой, и гордый воевода,  
Герой счастливый на войнѣ,  
Стоитъ торжественно передъ лицомъ народа  
Уже на равной вышинѣ <sup>(14)</sup>.

---

## XXVI.

Въ день открытія памятника Симбирское Дворянство давало обѣдъ въ залахъ клуба. „Столъ“, повѣствуетъ Погодинъ, — „начался ухомъ, и какою ухомъ — можно себя представить потому, что изъ оконъ была видна Волга во всемъ своемъ величій, что все Симбирское Дворянство, въ дачахъ котораго она протекаетъ, праздновало торжественный для себя день, и наконецъ, что обѣдъ былъ заказанъ Губернскимъ Предводителемъ. За ухомъ явился на сцену осетръ, нѣтъ, не осетръ, а какой-то водный звѣрь, представитель Каспійскаго моря, *Державинскій* Левіоанъ, только не на удѣ вытянутый на брегъ. Нѣсколько носильщиковъ поднимало его на доскахъ. — Левіоанъ, о которомъ многіе обратились съ вопросами къ Петру Михайловичу Языкову, не принадлежитъ ли онъ къ числу животныхъ допотопныхъ, и самъ ученый геологъ чуть ли не пришелъ въ недоумѣніе: изъ земли или изъ воды извлечено было это чудище! Запѣнилось шампанское. Александръ Львовичъ Киндяковъ, губернский предводитель, всталъ, — все собраніе мгновенно умолкло, — и онъ провозгласилъ первый тостъ за здравіе Государя Императора. Я осмѣлился присоединить слѣдующія слова, записанныя Симбирскими стенографами: „Этотъ тостъ, Мм. Гг., произносится по всей Россіи;

но здѣсь, въ Симбирскѣ, въ эту минуту, онъ имѣеть особенное значеніе. Съ благоговѣніемъ мы должны вспомнить, что Императоръ Николай первый засвидѣтельствовалъ благодарность Отечества Карамзину и сказалъ ему, что Исторія его достойна Русскаго народа,—что императоръ Николай утѣшилъ его въ послѣднія минуты его жизни, успокоилъ касательно судьбы его семейства, принялъ благосклонно всеподданнѣйшее представленіе Симбирскаго Дворянства о сооруженіи ему памятника, и Самъ въ томъ участвовалъ. Да здравствуетъ Августѣйшій Покровитель Просвѣщенія и Благотворитель фамиліи Карамзиныхъ!... Ура!" Второй тостъ провозгласилъ Андрей Николаевичъ Карамзинъ: „Мм. Гг. Если каждому русскому останется памятнымъ торжество, соединяющее насъ, то какими словами мнѣ, сыну Карамзина, выразить все, чѣмъ исполнена душа моя?... Геній и талантъ не наследственны, но наследственно съ малолѣтства питаемое чувство любви къ родинѣ, пламенное, святое, преданность Престолу и Государю! Мое Русское сердце трепещетъ радостью, видя какъ милое Отечество цѣнитъ великіе труды, повесенные безсмертнымъ покойникомъ въ пользу Русскаго языка и Русскаго слова. Какъ сынъ его, исполненный благодарности, съ умиленіемъ и восторгомъ возношу заздравный кубокъ въ честь первыхъ виновниковъ торжества, въ честь благороднаго, просвѣщеннаго Симбирскаго Дворянства!... Ура!" Выслушавъ это, Погодинъ замѣтилъ: „Съ какимъ чувствомъ, съ какимъ жаромъ, произнесъ онъ эти слова! Изъ сердца излились они и тотчасъ отозвались во всѣхъ сердцахъ. *Милое Отечество*—такъ никто не скажетъ нынѣ, но въ устахъ Карамзина, который какъ будто въ наследство получилъ это слово, любимое его отцомъ въ своей молодости, оно было—оно было, такъ мило, такъ трогательно..."

Потомъ обратились всѣ къ преосвященному Θεодотію и съ бокалами въ рукахъ пожелали ему здравія. Преосвященный отблагодарилъ слѣдующими словами: „Для меня очень пріятенъ этотъ знакъ вашего доброжелательства. Въмѣстѣ съ

другими доказательствами, кои я имѣю, онъ служить мнѣ и удостовѣреніемъ въ благочестивомъ расположеніи жителей Симбирской Губерніи, за которое я вамъ и благодарствую“. Потомъ предложенъ былъ тостъ за здоровье начальника Губерніи, Н. М. Булдакова, который устраивалъ церемоніаль открытія и столько старался о приданіи ему надлежащей торжественности.

Д. П. Ознобишинъ предложилъ тостъ за здоровье Погодина: „За здравіе Михаила Петровича Погодина, при первой вѣсти объ открытіи въ Симбирскѣ памятника незабвенному Исторіографу поспѣшавшаго въ Симбирскъ воздать ему на мѣстѣ должную похвалу своимъ привѣтствіемъ и украсившаго теплымъ словомъ своимъ наше семейное и народное торжество... Ура!“ На это Погодинъ отвѣчалъ: „Повторяю вамъ, Милостивые Государи, глубочайшую мою благодарность. Если я исполнилъ сколько-нибудь ваше ожиданіе, если я изобразилъ хотя слабо великость заслугъ Карамзина,—я почитаю себя счастливымъ. Да процвѣтаетъ Симбирскъ, да являются отсюда непрерывно, къ славѣ Отечества, преемники Карамзиныхъ, Дмитриевыхъ, Тургеневыхъ, Языковыхъ... Ура!“

„Порядка предуставленнаго“, замѣчаетъ Погодинъ, „важется, не было, по крайней мѣрѣ не примѣчалось, и все дѣлалось по вдохновенію, то-есть, по Русски, никто не зналъ, что за чѣмъ послѣдуетъ, и что выйдетъ, а выходило хорошо. Мы видѣли, что и мы можемъ говорить, лишь было бѣ гдѣ и о чемъ“.

Между тѣмъ собраніе становилось „веселѣе и веселѣе, шумнѣе и шумнѣе. Шампанское ходило кругомъ, какъ будто Волга открыла какой-нибудь изъ запечатанныхъ ключей своихъ съ виномъ вмѣсто воды. Отъ избытка сердца глаголили уста. Любовь умножалась. Всѣ становились добрѣе...“ Въ заключеніе Погодинъ сказалъ: „Милостивые Государи! Въ нашихъ бокалахъ еще много вина. Позвольте предложить вамъ тостъ, въ которомъ заключается все предъидущее: за здравіе и благоденствіе Россіи! Да процвѣтетъ она долго,



долго—выражусь словами Карамзина,—если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой!“ Въ отвѣтъ на эту рѣчь „громъ рукоплесканій загремѣлъ во славу Россіи. Бокалы разомъ высушены были до дна“.

Послѣ обѣда „начались рассказы, анекдоты, споры. Всѣ были очень веселы. Одинъ дворянинъ, незнакомый Погодину, приступилъ къ нему съ вопросомъ, можно ли склонять Клію. „Послушайте“, сказалъ онъ Погодину, — „я люблю Русскій языкъ, стараюсь наблюдать его правила, слѣжу за Словесностью—скажите мнѣ откровенно, рѣшите нашъ споръ: вѣдь нельзя склонять Клію? Д. П. Ознобишинъ сказалъ неправильно: изображеніе Кліи! Клію склонять нельзя“. Точно, отвѣчалъ Погодинъ, вы правы: Клію нельзя склонять, но для нынѣшняго дня, для такого праздника, позвольте уже просклонять Клію. Другой рассказалъ Погодину анекдотъ, что „дамы, предъ которыми онъ, говоря въ *Словѣ* объ образѣ мыслей Карамзина касательно Французскаго языка, „имѣлъ грубость назвать употребленіе его въ обществѣ дерзкимъ, наглымъ“, были очень довольны его выходкою, но выражали свое удовольствіе по Французски же: *c'est charmant*. „Извольте проповѣдывать!“ замѣчаетъ по этому поводу Погодинъ.

Вечеръ былъ у Александра Михайловича Языкова. Тогда же розданы были экземпляры *Симбирскаго Сборника*, изданнаго молодымъ Симбирскимъ дворяниномъ Д. А. Валевымъ и составленнаго изъ документовъ, въ Симбирской губерніи найденныхъ.

На другой день по утру Погодинъ отправился къ Карамзинымъ. „Вхожу“, пишетъ онъ,— „въ гостинницу: коридоръ занятъ бѣдными и нищими, продираюсь чрезъ толпу, и встрѣчаю старшаго Карамзина, который одѣляетъ ихъ. Эта новая сцена опять тронула меня очень: я вспомнилъ добрую душу ихъ отца, о которомъ дѣти совершаютъ поминки милостынею, по святому Русскому обычаю. Одна женщина просила у него на сапоги сыну, который вчера принять былъ въ гимназію, но которому не въ чемъ ходить“.

Вотъ какъ отпраздновали въ Симбирскѣ открытіе памятника Карамзину. „Кажется“, замѣчаетъ Погодинъ, „это было первое торжество въ такомъ родѣ. Первые опыты не могутъ быть полны. Державинъ въ Казани можетъ быть открытъ теперь разумѣется еще съ большимъ блескомъ. Всего нужнѣе *массность*, которая у насъ вообще находится въ самомъ несчастномъ положеніи. Надобно по всей Россіи заранѣе распространить извѣстіе о днѣ открытія; надобно, чтобъ всѣ университеты и академіи могли прислать своихъ представителей, чтобъ произнесено было нѣсколько торжественныхъ рѣчей, чтобъ заранѣе напечатана была книга, хоть въ родѣ альманаха, въ честь Державину, съ его біографіей, письмами, извѣстіями, разборами его сочиненій, описаніемъ памятника, портретами, снимками, въ молодости, въ старости, съ его руки, и тому под. — Все это будетъ, когда мы сдѣлаемся опытиѣе, своенароднѣе на дѣлѣ, а не на словахъ только,— все это будетъ, когда Нижній увидитъ памятникъ Минину, Кострома Сусанину, Рязань Ляпунову и Стефану Яворскому, Царское Село Еватеринѣ, Владиміръ Боголюбскому, Тверь Михаилу, Кіевъ Петру Могилѣ, Переяславль Хмельницкому, Могилевъ Конисскому, Виенія Платону, Москва Іоанну Калитѣ и Іоанну III, Новгородъ Сильвестру, — и мало ли великихъ людей представить наша святая Русь, если только мы будемъ читать Русскую Исторію больше, чѣмъ *Journal des Débats*, и углубляться въ ея задачи глубже чѣмъ въ *National!* <sup>155)</sup>

Въ Симбирскѣ Погодинъ посѣтилъ сестру И. И. Дмитриева и получилъ отъ нея, уже по возвращеніи въ Москву, слѣдующее любопытное письмо: „Узнавши отъ нашего Преосвященнаго, что вамъ нужно знать о мѣстѣ рожденія изъ первыхъ друзей моего брата \*), Николая Михайловича Карамзина, очень было мнѣ пріятно выполнить ваше желаніе, немедленно справилась съ его роднымъ, вмѣстѣ и моимъ братомъ А. М. Карамзинымъ; вотъ вамъ достовѣрное извѣ-

\*) И. И. Дмитриова.



щеніе, что этотъ геній ума и всѣхъ достоинствъ родился не въ Симбирскѣ, а въ Оренбургской губерніи, въ селѣ Михайловеѣ, а мы, Симбиряки, хотѣли похвалиться этимъ и присвоили памятникъ его себѣ. Кончивши сіе, пріятно и должно мнѣ изъяснить вамъ мою благодарность за ваше посѣщеніе, и что раздѣлили со мною именинный мой пирогъ: угощеніе мое было совершенно велейное, но отъ души; я уже разучилась угощать свѣтскихъ людей, какъ уже у меня ихъ мало бываетъ въ домѣ, а болѣе бесѣдую съ монахами и монахинями, и однимъ имъ еще не кажусь недостойною посѣщенія. Вамъ угодно было, чтобъ я доставила вамъ выписку изъ писемъ ко мнѣ моего друга и брата Ивана Ивановича, то по слабости моихъ глазъ сама не могла этого сдѣлать; и письмо теперь за меня по диктовкѣ пишетъ моя добрая сосѣдка, то не хотѣвши ее много обременять, посылаю къ вамъ это для меня сокровище въ оригиналѣ, три послѣднія письма его, въ которыхъ вы увидите, какой онъ былъ необыкновенный другъ и братъ сестрамъ своимъ и какъ онъ цѣнилъ дружбу Василья Андреевича Жуковского, вы увидите въ одномъ письмѣ о дубовыхъ старинныхъ креслахъ, что я его просила ихъ вмѣсто имениннаго подарка, то эти кресла были для меня дороги: на нихъ сидѣлъ Высочій посѣтитель братнинаго домика, Наслѣдникъ Престола \*), и теперь я ихъ по слабости своей отправила обратно въ это же село, какъ оно досталось по раздѣлу единственному нашему племяннику Михаилу Александровичу Дмитріеву, чтобъ послѣ моей кончины не достались другому, а онъ не только что Дмитріевой фамиліи, но и чувствами одинаковъ съ нами, умѣетъ дать цѣну оному. По полученіи писемъ сихъ прошу потрудиться меня увѣдомить, а драгоценныя для меня эти письма отдайте на сохраненіе Михайлѣ Александровичу.—Возьмитесь и за меня съ своей стороны похлопотать, по пріѣздѣ Василья Андреевича Жуковского, умолите просьбою отъ меня, ежели у него цѣль снятый имъ видъ съ мѣста рожденія моего брата, села Бо-

\*) Въ Божѣ почившій Императоръ Александръ II.

городскаго, сдѣлать бы мнѣ большую милость и утѣшеніе, прислалъ ко мнѣ хотя чрезъ васъ, а вы потрудитесь взять на себя ко мнѣ доставить, я его вложу въ рамочку за стекло, и поставлю въ извѣстную вамъ образную мою, гдѣ у меня стоитъ братнинъ портретъ. Извините меня, что такъ много къ вамъ написала, заставляя трудиться читать, но въ одинъ разъ хотѣла объяснить все, рада, что нашла писца“ <sup>156</sup>).

Изъ Симбирска Погодинъ отправился въ Казань, гдѣ познакомился съ университетомъ и профессорами: Лобачевскимъ, Ковалевскимъ, Казембекомъ, Фогтомъ, Пановымъ, Эверсманомъ и осмотрѣлъ городъ подъ руководствомъ профессора Русской Исторіи Иванова <sup>157</sup>). Въ Казани Погодинъ произвелъ самое пріятное впечатлѣніе, о чемъ свидѣлствуютъ слѣдующія строки Казембека: „Ваше посѣщеніе Казани никогда не изгладится изъ нашей памяти. Я не хочу осыпать васъ комплиментами, то-есть, я не хочу быть въ этомъ случаѣ персіаниномъ, ибо они слишкомъ докучливы въ этомъ отношеніи; только скажу вамъ, милостивый государь, я очень дорого цѣню часы и минуты своей жизни, проведенные съ вами въ Казани. Мнѣ утѣшительна мысль, что мы продолжимъ свое знакомство дружескими строками, въ которыхъ, надѣюсь, вы мнѣ не откажете“ <sup>158</sup>). Самъ же Погодинъ, на пути изъ Казани, въ Нижнемъ (3 сентября 1845) писалъ къ одному изъ своихъ Московскихъ друзей: „Здравствуй, любезнѣйшій. Вотъ мы и опять въ Нижнемъ. Изъ Симбирска я ѣздилъ осмотрѣть Болгары, потомъ въ Казань, откуда никакъ не отпустили раньше трехъ сутокъ: Шиповъ, старый знакомый, тамъ генералъ-губернаторъ. Университетъ, профессора, таскали изъ дому въ домъ“.

Изъ Казани Погодинъ нарочно заѣзжалъ въ Касимовъ, желая посѣтить одного примѣчательнаго Русскаго человека, мѣщанина Ивана Сергѣевича Гагина. „Передъ заставою“, пишетъ Погодинъ,—„въ нетерпѣннѣй, я спросилъ перваго встрѣчнаго, не знаетъ ли онъ Ивана Сергѣевича Гагина? Кто жъ его не знаетъ, отвѣчалъ прохожій. Гдѣ онъ живетъ? Разска-

зывать вамъ долго, поѣзжайте въ городъ, тамъ узнаете всякій. Я обрадовался, понадѣясь, что старикъ живъ, но радость моя продолжалась не долго: въ гостиницѣ, гдѣ я остановился, сказали мнѣ, что Иванъ Сергѣевичъ скончался еще въ прошломъ году. Горько было мнѣ услышать это печальное извѣстіе. Да точно ли ты знаешь это? Мнѣ сказали передъ заставой, что онъ живъ. Помилуйте, отвѣчалъ половой, какія похороны-то были, весь городъ, почитай, присутствовалъ. Кто остался послѣ него? Жена. Гдѣ она живетъ? Въ такомъ-то монастырѣ. Тотчасъ отыскалъ старуху, упросилъ ее поѣхать со мною на дрожкахъ и показать домъ, гдѣ жилъ и скончался Иванъ Сергѣевичъ. Домъ этотъ находился на краю города съ большимъ садомъ, и уже почти развалился. Старуха рассказала мнѣ о тихой и мирной кончинѣ своего мужа и непремѣнномъ желаніи, чтобъ домъ отданъ былъ подѣ богадѣльню. Изъ дома мы поѣхали на кладбище. Кто-то поставилъ памятникъ, и, помнится, съ надписью, которую, къ сожалѣнію, не могъ я отыскать въ своихъ бумагахъ... Душеприкащикомъ Иванъ Сергѣевичъ назначилъ какого-то купца, къ которому я тогда же отнесся, и просилъ его передать мнѣ всѣ оставшіяся бумаги. Купецъ отвѣчалъ мнѣ, что въ исполненіе воли покойника, бумаги, преимущественно статистическаго содержанія, должны быть доставлены К. И. Арсеньеву, чрезъ котораго Гагинъ, во время проѣзда Государя Цесаревича, представилъ ему свое статистическое описаніе съ десятью рисунками и получилъ Высочайшую награду. Я отнесся письмомъ къ г. Арсеньеву и просилъ передать мнѣ свое право, что тотъ съ любезностію тотчасъ исполнилъ, и я черезъ годъ получилъ всѣ бумаги; но тѣ и другіе недосуги мѣшали мнѣ приняться за ихъ разборъ даже до вчерашняго дня“.

Много лѣтъ спустя послѣ этого посѣщенія Касимова Погодинъ писалъ: „Разговорясь однажды о Гагинѣ съ однимъ бывалымъ Русскимъ человѣкомъ, я услышалъ отъ него слѣдующее замѣчаніе, которое, разумѣется, должно порадовать

всякаго друга добра въ Отечествѣ: „Точно вашъ Иванъ Сергѣевичъ, по всему видно, былъ святая душа; но такіе люди у насъ по городамъ не диковинка; много встрѣчалъ я ихъ на своемъ вѣку: въ иномъ мѣстѣ священникъ соборной, въ другомъ лѣварь, въ третьемъ судья какой-нибудь, сосѣдній помѣщикъ, купчиха - вдова, служатъ и помогаютъ нуждающимся, кто чѣмъ можетъ — деньгами, трудами, совѣтами и разливаютъ вокругъ себя добро“. И онъ разсказалъ мнѣ многія черты, умиленные и оригинальныя. Вотъ такія-то свѣдѣнія надо бы собирать и оглашать, въ наше утѣшеніе, послѣ прискорбныхъ извѣстій о грабежахъ, поджогахъ, убійствахъ и прочихъ преступленіяхъ, на кои обращаютъ исключительное вниманіе наши полиціи, и послѣ извѣстій о разныхъ злоупотребленіяхъ, коими наполняются теперь наши фельетоны“.

Осмотрѣвъ Рязань, Зарайскъ и Коломну, Погодинъ возвратился въ Москву<sup>159</sup>).

## XXVII.

На другой день торжества открытія памятника Карамзину, 24 августа 1845 г., Дворянство Симбирской губерніи единогласно постановило: изъяснить Погодину „чувствительную, общественную его признательность за труды, понесенные Погодинымъ при сочиненіи, по вызову Дворянства, во всѣхъ отношеніяхъ прекраснаго Похвального Слова, произнесеннаго имъ при открытіи памятника знаменитому Николаю Михайловичу Карамзину, и покорнѣйше просить Погодина принять на себя трудъ употребить на изданіе онаго Слова прилагаемые при семъ шестьсотъ руб. сер.“.

„Всѣ друзья покойнаго Исторіографа“, свидѣтельствуетъ Погодинъ, — „приняли меня съ распростертыми объятіями, осыпали меня ласками и всякими знаками своего одобренія: Жуковскій, Блудовъ, Тургеневъ — князь Вяземскій болѣе всѣхъ“<sup>160</sup>).

„Сегодня“, писалъ Погодину Н. Ф. Павловъ, — „у меня на Бутырькахъ обѣдаютъ Веневитиновъ и Шевыревъ. Приѣзжайте, сдѣлайте милость, отобѣдать и вы и поразсказать о вашемъ торжествѣ“.

Въ Москвѣ Погодинъ засталъ Карамзиныхъ. Въ *Дневникъ* своемъ онъ записалъ слѣдующее:

Подъ 23 октября 1845. Вечеръ у Карамзиныхъ и видѣлъ Екатерину Андреевну, которая очень постарѣла.

— 1 ноября. Читалъ *Слово* у Карамзиныхъ. Екатерина Андреевна плакала ужасно. Тургеневъ тоже.

Въ то же время Погодинъ завелъ слѣдующую переписку съ Андреемъ Николаевичемъ Карамзинымъ. „Разбирая свои бумаги“, писалъ онъ, — „я нашелъ одно старое свое сочиненіе о Петрѣ Великомъ: которое, можетъ быть, вамъ интересно будетъ узнать, любезный Андрей Николаевичъ. (Признаться мнѣ и самому хочется перечестъ его для себя, чтобъ почитать объ немъ вновь). Не хотите ли вы устроить чтеніе — въ кругу только своихъ домашнихъ, и если угодно будетъ Маменькѣ. Изъ постороннихъ можно будетъ пригласить одного Тургенева. Прочіе знакомые знаютъ сочиненіе. Въ такомъ случаѣ назначьте вечеръ отъ 7 до 8<sup>1/2</sup> часовъ. Да еще хотѣлось бы кончить начатый разговоръ“. На это А. Н. Карамзинъ отвѣчалъ: „Маменька и братъ вамъ очень за предложеніе благодарны и просятъ васъ: нельзя ли сочинить это дѣло завтра въ назначенный вами часъ. Сколько столѣтій я васъ не видалъ и поэтому радуюсь вдвойнѣ. До свиданья“ <sup>161</sup>). Объ этомъ своемъ чтеніи Погодинъ записалъ въ *Дневникъ*: „Читалъ ввечеру *Петра* у Карамзиныхъ безъ ожиданнаго эффекта. Карамзины ужасные противники Петровы“ <sup>162</sup>).

Между тѣмъ *Московскія Вѣдомости*, описывая открытіе памятника Карамзина и приведя застольное слово Погодина: *Да процвѣтаетъ Симбирскъ, да являются отсюда непрерывно, къ славу Отечества, преемники Карамзиныхъ, Дмитріевыхъ, Языковыхъ*, пропустили, произнесенное ораторомъ *Тургеневыхъ* <sup>163</sup>). Это замѣтили. М. А. Дмитріевъ писалъ по

этому поводу къ Погодину: „Говоря съ Александромъ Николаевичемъ Карамзинимъ согласились, что упоминаніе ваше о Тургеневѣ, послѣ исключенія его имени въ Московскихъ газетахъ, есть благородный поступокъ“. Замѣтили это и въ Симбирскѣ, и оттуда писали Погодину: „Я вѣрно сердить на Московскаго цензора, который выпустилъ въ тостахъ фамилію Тургеневыхъ. Вы сказали: *да являются изъ Симбирска къ славы Отечества преемники Карамзиныхъ, Дмитриевыхъ, Тургеневыхъ и Языковыхъ*: слѣдовательно, тутъ никого подражывать не должно было, кромѣ почтеннаго Александра Ивановича, который на пользу Русской Исторіи за границею официально трудился“<sup>164</sup>).

Къ Симбирскому торжеству *Отечественныя Записки* отнесли иронически. Тамъ мы между прочимъ читаемъ: „По окончаніи духовной процессіи началось свѣтское торжество въ залѣ гимназін, передъ которой поставленъ памятникъ. Нарочно для этого торжества пріѣхавшій изъ Москвы, бывшій профессоръ и литераторъ, М. П. Погодинъ, произнесъ похвальное слово въ память Карамзина. Къ сожалѣнію, мы ничего не можемъ сказать объ этомъ памятникѣ современнаго краснорѣчія, потому что не читали его, но увѣряютъ, что рѣчь привела въ умиленіе и восторгъ Симбирское Дворянство... Въ тотъ же день отъ дворянства и чиновниковъ данъ былъ обѣдъ, съ многочисленными тостами, которые сопровождались приличными обстоятельству рѣчами. Рѣчи эти не отличаются особеннымъ краснорѣчіемъ... Но насъ выводитъ изъ этого затруднительнаго положенія волшебное Русское слово: ура!.. Скажите нѣсколько общихъ мѣстъ и, видя, что вы готовы заговориться, крикните ура!.. и рѣчь произведетъ впечатлѣніе... Такъ и сдѣлалъ Погодинъ, отвѣчая на тостъ, который пили за его здоровье: ура, которымъ онъ заключилъ свою рѣчь, было истинно встать. Но не довольствуясь этимъ, Погодинъ еще сказалъ сію краткую, исполненную энергіи рѣчь: „Въ нашихъ бокалахъ, милостивые государи, еще много вина. Позвольте предложить вамъ тостъ, въ которомъ заключаются



всѣхъ предъидущіе: за здравіе и благоденствіе Россіи! Да цвѣтетъ она долго, долго, выражусь словами Карамзина, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой!“<sup>165</sup>). „Замѣтилъ ли ты“, писалъ А. М. Языковъ изъ Симбирска къ своему брату, — „въ *Отечественныхъ Запискахъ* объявленіе объ открытіи памятника Карамзину? Въ этомъ объявленіи издатели, вмѣсто изъявленія уваженія къ Карамзину и къ дѣлу почтенному, *подозрѣваютъ* Погодина и Карамзина, выписывая о послѣднемъ пошлое мнѣніе Греча, самими *Отечественными Записками* провозглашеннаго дуракомъ. Стыдно, что критикою завладѣли у насъ шелкоперы; вліяніе они все-таки имѣютъ большое по большому числу получателей и читателей ихъ журналовъ. Въ *Библіотекѣ для Чтенія* сказано, что вся заслуга Карамзина заключается въ *Примѣчаніяхъ* къ его *Исторіи*“.

Печатаніе *Похвальнаго Слова* Карамзину въ Московскомъ Цензурномъ Комитетѣ встрѣтило затрудненіе. Въ *Дневникѣ* Погодина, подъ 11 декабря 1845 года, мы встрѣчаемъ слѣдующія записи:

„Читалъ Голохвастову *Слово*. Даже тѣ мѣста, о коихъ не думалъ я, останавливаютъ его!.. Вотъ Торевемада. Сначала я хотѣлъ усладить его, потомъ, отказавшись отъ этой надежды, началъ досадовать, а наконецъ сталъ внутренно смѣяться, видя какъ его корбило. Но какъ онъ самодоволенъ!

— 13 января 1846. Написалъ по утру, а ввечеру переписалъ. Вотъ на какія мелочи я трачусь! Что же дѣлать! Не виноватъ мечъ, что имъ лучину щеплютъ. Зерновъ довольно разсудителенъ, а *Слово* не хотѣлъ пропускать Голохвастовъ! Ахъ, дьяволы!

— 15. Корректурa. Типографія. Скучно и тяжело. Ъздилъ къ Голохвастову поговорить о *Словѣ*. Долго дожидался его. Продавалъ, кажется, лошадей. Свиныя жена его проходила мимо молча.

М. А. Дмитріевъ, принимая живое участіе въ цен-

зурномъ приключеніи *Слова*, писалъ Погодину: „Увѣдомьте меня, любезный Михайла Петровичъ, успѣли ли вы сладить какъ-нибудь съ цензурой? Ваша записка встревожила и огорчила меня чрезвычайно? Долго ли терпѣть эти притѣсненія. И неужели несчастная Москва не подѣтъми же законами, подѣтъ которыми Петербургъ. Если вы ничего не успѣли, не зайдете ли утромъ посовѣтоваться. Умѣ хорошо, а два лучше. Въ Евангеліи сказано: *не бойтесь убивающихъ тѣло, а бойтесь убивающихъ душу!*—Строгановъ и Голохвастовъ -- убиваютъ душу! И Государь этого не знаетъ! Онѣ самѣ покровительствовалъ Карамзину; а они преслѣдуютъ его память“<sup>186</sup>)...

Въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ Погодина мы находимъ любопытныя свѣдѣнія о затрудненіяхъ, которыя встрѣтилъ онѣ во время печатанія *Похвального Слова*. „Цензоръ Зерновъ“, свидѣтельствуетъ Погодинъ,—„одинѣ изъ самыхъ мнительныхъ и привязчивыхъ, затруднился, остановился на первомъ листѣ и наставилъ Богѣ знаетъ сколько вопросовъ знавовъ. Я рѣшился подѣйствовать на Голохвастова, бывшаго предсѣдателемъ въ Цензурномъ Комитетѣ, понадѣясь на его почтеніе къ Карамзину, и предложилъ ему прочесть *Слово* все сполна въ его кабинетѣ и представить, гдѣ нужно, объясненія. Началось чтеніе, и съ первыхъ страницъ верховнаго моего судію начало коробить. Онѣ началъ междометіями, потомъ за ними послѣдовали восклицанія, наконецъ длинныя апострофы. *Помилуйте*, говорилъ онѣ, *какъ можемъ мы пропустить такія вещи! Да само Симбирское Дворянство можетъ подвергнуться опасности за то, что допустило ихъ произнести, не только за то, что осыпало рукоплесканіями*“. Удостоверясь изъ такихъ выраженій, что на Московскую цензуру надѣяться нечего, Погодинъ отправилъ свое *Слово* на цензуру въ Петербургъ и рѣшился дѣйствовать чрезъ К. С. Сербиновича, прося его прочесть *Слово* графу Д. Н. Блудову и князю П. А. Вяземскому. Выбѣсъ съ этимъ Погодинъ писалъ и Карамзинымъ, чтобы они при-



няли свои мѣры. Дѣло уладилось, и цензоръ А. Очевинъ, по приказанію Уварова, 22 декабря 1845 года подписалъ: *Печатать позволяется*. „Это было“, сознается Погодинъ, — „одно изъ значительнѣйшихъ удовольствій, доставленныхъ мнѣ Уваровымъ, равное разрѣшенію Посошкова. Цензурныхъ замѣчаній сдѣлано было очень мало. Вотъ сколько трудовъ и хлопотъ стоило изданіе въ свѣтъ *Похвального Слова Карамзину*“<sup>167</sup>).

Это произведеніе Погодина вдохновило Языкова, и онъ написалъ стихотвореніе, „напоминающее лучшіе его годы“. Но печатаніе этого стихотворенія въ Московскомъ Цензурномъ Комитетѣ встрѣтило тоже затрудненіе, хотя стихотвореніе это подъ заглавіемъ: *На объявленіе памятника Исторіографу нашему Карамзину* было пропущено Петербургскою цензурою. Вслѣдствіе сего между Московскимъ Попечителемъ и Министромъ Народнаго Просвѣщенія возникла переписка. „Въ Московскій Цензурный Комитетъ“, писалъ Строгановъ Уварову, — „представлены были стихи Н. Языкова *На объявленіе памятника Исторіографу нашему Карамзину*. Я не могъ согласиться на пропускъ этихъ стиховъ въ отношеніи къ царствованію Іоанна Васильевича Грознаго. Послѣ того эти же самые стихи пропущены были въ печатанію въ С.-Петербургскомъ Цензурномъ Комитетѣ, и доставлены въ Московскій Комитетъ для помѣщенія въ издаваемомъ здѣсь ученомъ *Сборникъ* \*). Такое противорѣчіе въ духъ и направленіи цензуры обѣихъ столицъ побуждаетъ меня представить означенную статью въ корректурѣ на разсмотрѣніе вашего высокопревосходительства. Мнѣніе ваше по этому предмету мнѣ весьма нужно имѣть въ виду на будущее время; ибо, разрѣшая лично всѣ сомнѣнія цензоровъ Московскаго Цензурнаго Комитета, въ пропускѣ ими къ печатанію разныхъ сочиненій, я желалъ бы, сколько возможно, соглашать мои собственныя убѣжденія съ правилами, принятыми Главнымъ Управленіемъ Цензуры и знать для руководства на бу-

\*) Московскомъ.

дущее время, может ли цензоръ выдать билетъ на печатаніе и на выпускъ книги *Сборника*, напримѣръ, когда въ ней помѣстится статья, имъ не пропущенная, но одобренная цензоромъ другого Комитета?“ Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Уваровъ отвѣчалъ: „Просмотрѣвъ приложенное при письмѣ вашего сіятельства въ корректурныхъ листахъ стихотвореніе Н. Языкова *На объявленіе памятника Исторіографу нашему Карамзину*, я не нахожу въ немъ ничего непозволительнаго, кромѣ нѣсколькихъ рѣзкихъ выраженій въ характеристикѣ царствованія Іоанна Грознаго. Впрочемъ какъ въ этомъ изображеніи представляется въ краткихъ чертахъ то, что со всѣми подробностями изображено въ *Исторіи* Карамзина, то и не могу обвинять Петербургскаго цензора за дозволеніе этого стихотворенія; что же касается до дозволенія напечатать оное въ Москвѣ, въ *Сборникъ*, то я предоставляю это совершенно на рѣшеніе вашего сіятельства“.

Ободренный успѣхами своего *Похвальнаго Слова*, Погодинъ пожелалъ прочесть оное на торжественномъ собраніи Императорской Академіи Наукъ 29 декабря 1845 года и за разрѣшеніемъ обратился къ Уварову; отвѣтомъ послѣдняго Погодинъ остался недоволенъ и записалъ слѣдующее въ своемъ *Дневникѣ*: „Холодное письмо отъ Уварова. Не согласенъ на чтеніе *Слова* въ Академіи“. Въ то же время Симбирское торжество возбудило въ Погодинѣ давнишнее его стремленіе къ *исторіографству*<sup>168</sup>).

---

## XXVIII.

По выходѣ въ свѣтъ *Похвальнаго Слова Карамзину* Погодинъ отправилъ экземпляры онаго къ Уварову при слѣдующемъ письмѣ (6 февраля 1846): „Какъ давно не имѣлъ я ни одной строки отъ вашего высокопревосходительства, а нужно было бъ оно мнѣ для подтвержденія и одобренія. Давно желаю я явиться къ вамъ, но до сихъ поръ не могу кон-

чить своихъ изслѣдованій, коихъ два первые тома допечатываются. Прошу покорнѣйше ваше высокопревосходительство представить мое *Похвальное Слово* Государю Императору, Государю Цесаревичу, Великимъ Князьямъ и Великимъ Княгинямъ, и одинъ экземпляръ препроводить въ Порѣцкую Библіотеку, въ знакъ глубочайшаго моего почтенія“.

Это желаніе Погодина было исполнено.

*Похвальное Слово Карамзину* произвело, можно сказать, всеобщее благопріятное впечатлѣніе. Познакомившись съ этимъ произведеніемъ Погодина, преосвященный Иннокентій сдѣлалъ автору слѣдующее важное замѣчаніе: „Поклонъ вамъ за *Карамзина*. Истинно хорошо. Только знаете ли, какая мнѣ пришла мысль? Почему не коснулись нѣсколько того, что онъ былъ человѣкъ XVIII вѣка, и что это вліяніе много мѣшало ему видѣть правильно. Напримѣръ, у него и помину нѣтъ о христіанствѣ, какъ должно. Іисуса Христа онъ не зналъ, а былъ просто хорошій деистъ. Это можно бы вставить въ видъ сожалѣнія о вѣкѣ прошедшемъ и даже обратить къ чести Карамзина, ибо онъ не совершенно увлеченъ былъ деизмомъ, какъ нѣкоторые. Но и за то, что есть, большое спасибо“.

Въ нашихъ рукахъ находится также замѣчательное письмо къ Погодину отъ стариннаго его знакомаго архимандрита Гавріила, въ которомъ заключается отзывъ его объ этомъ трудѣ Погодина: „Съ новымъ годомъ—новаго вамъ счастья, новыхъ силъ, новыхъ трудовъ, новыхъ успѣховъ. Письмо ваше и книжку получилъ и съѣлъ съ большою жадностью; ваша рѣчь есть Русское добро, высказанное устами Погодина въ личности Карамзина и потопленное въ лонѣ вѣчнаго добра, чтобы оттуда по временамъ опять очами Погодина проглядывать для ученія земнородныхъ. Честь Карамзину—скалъ, о которую разбилось вольномысліе Европы, сила пошлостей Европейскихъ, пріятному учителю истины, изяществу, добра! Честь тому, кто можетъ свѣтить, оцѣнить, собрать въ одно матеріалы, которые, кажется, сама шалуныя природа позаботи-

лась разбросать тамъ и сямъ во всю жизнь Карамзинскую, странническую, подвижную. Карамзинъ съ благоговѣніемъ принялъ рукописное завѣщаніе Канта—купить и прочесть его *Критику чистаго разума*. Посмотрите же, какъ анти-тезы Канта проглядываютъ въ его Исторіи, не сваренные его желудкомъ, конечно болѣе нежели Кантовъ, и неудачно приложенные тамъ, гдѣ сіяетъ вѣчность истины! Карамзинъ былъ совершенно невиненъ, доколѣ не посѣтилъ Канта, или по крайней мѣрѣ не выѣхалъ изъ Руси. При посѣщеніи Лавры (послѣ коего Карамзинъ описалъ путь свой) онъ посѣтилъ Платона! Герою литературной славы, юному, бодрому сказалъ старикъ: Какъ я жалѣю, что вы столь прекрасныя дарованія употребляете на такія малыя бездѣлки (*Марьино роуца* и пр.). Развѣ нѣтъ высшихъ, вѣчныхъ предметовъ, гдѣ они принесли бы большую, несравненную пользу? Не знаю, кто внимательнѣе подслушалъ голосъ стараго лебедя Карамзинъ или Погодинъ?“

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ имѣлъ счастье получить одобрителный отзывъ о своемъ *Словѣ* и отъ Жуковского, и отъ графа Блудова, и отъ князя Вяземскаго. „Благодарю васъ сердечно“, писалъ Жуковский, — „почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, за сообщеніе мнѣ вашего *Похвальнаго Слова Карамзину*. Я прочесть его съ жадностью и съ живымъ чувствомъ. Приступивъ (признаюсь) къ этому чтенію, я опасался найти одну сухую, историческую номенклатуру, а вдругъ очутился посреди живыхъ воспоминаній всей моей прошлой жизни, въ которой самое свѣтлое мѣсто занимаетъ Карамзинъ, душа чистаго ангела въ брennomъ въ человѣческомъ тѣлѣ. Какъ тронули меня всѣ отрывки его писемъ, помѣщенные въ вашемъ панегрикеѣ: какъ будто бы самого его слышалъ. Прошло ровно двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ его на свѣтѣ, а кажется—какъ будто я видѣлъ и слышалъ его вчера. Время, въ которое онъ дѣйствовалъ на поприщѣ Русской Литературы (время его двухъ журналовъ), было лучшимъ временемъ, хотя младенческимъ, нашей Литературы. При теперешней ея боль-

шей дѣятельности, при ея возмужалости едва ли она подвинулась впередъ къ лучшему: Литература наша, не пройдя своего *книжно-творческаго періода*, перепрыгнула въ *журнально-меркантильный*. Этотъ періодъ начался, когда Карамзинъ скрылся въ тишину своего кабинета, и безмолвно тамъ готовилъ въ продолженіе многихъ лѣтъ свою монументальную книгу, единственную Русскую книгу, которую мы можемъ поставить на одну полку со всѣми первостепенными книгами всѣхъ народовъ. Сколько бы ни разработано было впередъ поле нашей Исторіи, но лучше (въ отношеніи искусства) и картиннѣе (въ отношеніи историческаго взгляда) ее никто не напишетъ. Карамзинъ—Гомеръ нашей Исторіи. Такъ же простъ, такъ же младенчески правдивъ, такъ же чисто искрененъ и беззаботенъ о красотѣ своей... Какъ бы хорошо, когда бы всѣ его письма были собраны и изданы. Гдѣ его письма къ Димитріеву? Изъ писемъ къ Екатеринѣ Андреевнѣ и князю Вяземскому можно бы сдѣлать выборъ. Есть ли у васъ *полная* записка его о Россіи? Не знаю, существуетъ ли ея оригиналь. Ея у самого Карамзина не было; онъ былъ такъ совѣстливъ, что у себя не хотѣлъ имѣть того, что для всѣхъ должно было остаться тайною. Вѣроятно, что оригинальная записка осталась въ рукахъ Лубяновскаго, который тогда находился при великой княгинѣ Екатеринѣ Павловнѣ. Мнѣ доставилъ ее Константинъ Ивановичъ Арсеньевъ; а онъ отъ кого получилъ—не знаю. Я передалъ ее Екатеринѣ Андреевнѣ Карамзиной; у себя же списка не оставилъ; но теперь весьма бы желалъ имѣть его“.

„Дозвольте мнѣ“, писалъ графъ Блудовъ,—„какъ русскому и какъ другу незабвеннаго нашего Исторіографа, благодарить васъ и за сіе новое торжественное изъясненіе вашего уваженія къ мужу вполне достойному хвалы и, можно сказать, признательности своихъ соотечественниковъ. Вы прекрасно умѣли оцѣнить не только заслуги Карамзина на поприщѣ нашей Словесности и Исторіи, не только талантъ и слогъ его, доселѣ у насъ едва ли не единственный и ужъ безъ



всякаго сомнѣнія совершеннѣйшій, но и высокія качества души его, въ коей замѣчательнымъ образомъ соединялись твердость съ нѣжностью и пламенная живость съ чистотою почти младенческою. Слушая ваше новое сочиненіе въ кругу семейства и нѣкоторыхъ увы!—уже весьма немногихъ друзей Карамзина, и нынѣ перечитывая его, я какъ будто переносился въ прежнее время, какъ будто слышалъ опять его голосъ или по крайней мѣрѣ его слова, коихъ общимъ дѣйствіемъ, во мнѣ и вѣроятно во всѣхъ, умѣвшихъ знать и уважать его, было всегда сильнѣйшее чувство любви къ добру и къ изящному“.

„Начинаю новый годъ“, писалъ князь Вяземскій,—„пожеланіемъ вамъ, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, добраго здоровья, всевозможныхъ благъ и изъясненіемъ сердечной благодарности за удовольствіе, которое доставлено мнѣ чтеніемъ вашего *Похвального Слова*. Сербиновичъ читалъ намъ его въ семействѣ Карамзиныхъ и въ присутствіи графа Блудова. Общее впечатлѣніе было самое удовлетворительное. Вы прекрасно оцѣнили труды Карамзина и душу его. О частныхъ, маловажныхъ замѣткахъ нашихъ Сербиновичъ хотѣлъ сообщить вамъ въ подробности. Изъ когтей цензуры рѣчь ваша вышла довольно невредима. Важнаго и существеннаго ею не вывинуто. Удивляюсь и сожалею, что вы совершенно оставили въ сторонѣ Карамзина-поэта, какъ будто его и не было. Разумѣется, какъ прозаикъ, онъ гораздо выше, но многія изъ его стихотвореній очень замѣчательны. Съ нимъ началась у насъ поэзія внутренняя, домашняя, душевная, которой отголоски раздались послѣ такъ живо и глубоко въ струнахъ Жуковскаго, Батюшкова и самаго Пушкина. Впрочемъ я съ другой стороны очень радъ, что вы прошли это молчаніемъ. Мнѣ давно хотѣлось возстановить и опредѣлить почти совершенно забытое и вообще худо оцѣненное достоинство поэзіи Карамзина. Очень одобряю намѣреніе ваше писать полную біографію его и радъ буду подѣлиться съ вами моими свѣдѣніями и воспоминаніями“ <sup>169</sup>).

Даже очень строгій къ Погодину Гоголь въ своей книгѣ *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*, писалъ: „Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ *Похвальное Слово Карамзину*, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина въ отношеніи къ благопристойности, какъ внутренней, такъ и внѣшней; въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здѣсь, напротивъ того, стройно, обдуманно и расположено въ большомъ порядкѣ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ бы весь очерчивается самимъ собою и, своими словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой предъ глазами читателя“.

Въ томъ же письмѣ къ Языкову Гоголь замѣтилъ и слѣдующее: „И какъ смѣшонъ послѣдній нашъ братъ, литераторъ, который кричитъ, что въ Россіи нельзя сказать правды. Нѣтъ, имѣй такую стройную и прекрасную душу, какую имѣлъ Карамзинъ—и тогда смѣло произноси правду. Все въ государствѣ отъ царя до послѣдняго подданнаго, выслушаетъ отъ тебя правду“<sup>170</sup>).

На Шевырева *Похвальное Слово Карамзину* произвело сильное впечатлѣніе. „Сегодня перечелъ *Слово*“, писалъ онъ, — „и въ двухъ мѣстахъ плакалъ. Прекрасно! Замѣтилъ противоположную исторію двухъ попечителей Университета. Одинъ былъ виновникомъ *Исторіи* Карамзина. Другой гонитъ автора *Похвальнаго* ему *Слова*“. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ считалъ долгомъ сдѣлать Погодину слѣдующее замѣчаніе: „Ты вотъ все собираешься давать совѣты, а другихъ вовсе не слушаешь. Блудовъ и Вяземскій давали тебѣ прекрасный совѣтъ уничтожить въ *Похвальномъ* *Словѣ*: сорокъ лѣтъ провелъ Карамзинъ тихо, съ перомъ въ рукѣ, за письменнымъ столомъ, въ четырехъ стѣнахъ тѣсной комнаты, среди книгъ, рукописей и ветхихъ хартій, вдали отъ людей, вдали отъ поприща дѣйствій, между типографіей и книжной лавкой. Я объ этомъ говорилъ также. Мнѣ казалось это неприлич-

нымъ, они нашли это даже и невѣрнымъ. Ты все-таки оставилъ — и тѣмъ показалъ только свое неискоренимое *упрямство*. Я увѣренъ, что имъ это неприятно. Къ чему-то ты совѣтовался? Никакой писатель не можетъ проводить время *вдали отъ людей, между типографіей и книжной лавкой*... Ты воображаешь себя на Дѣвичьемъ полѣ. Вѣдь ты себя представилъ въ этихъ строкахъ, а не Карамзина. Много въ тебѣ, братъ, субъективнаго“. На это Погодинъ отвѣчалъ: „Изъ сообщенныхъ замѣчаній я принимаю тѣ, которыя меня убѣждаютъ. О *книжной лавкѣ* Карамзина, въ замѣчаніяхъ Блудова, Вяземскаго, твоихъ, Кирѣевскаго — я видѣлъ аристократизмъ, чопорность, котораго душа моя не терпитъ; вотъ почему именно хотѣлъ я оставить Карамзина въ *книжной лавкѣ*, гдѣ онъ дѣйствительно жилъ и содержался“<sup>171</sup>).

Въ своихъ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ Погодинъ жалуется, что Западники, „не хотѣли или не умѣли оцѣнить въ *Похвальномъ Словѣ* даже тѣхъ разительныхъ доказательствъ гражданской смѣлости, какихъ на Русскомъ языкѣ до сихъ поръ не бывало, и которыя внушали страхъ не только цензорамъ, но и людямъ не робкаго десятка. И я заключилъ, что Бѣлинскіе не преданы искренно истинной свободѣ, а рисуются или вопіютъ только въ удовлетвореніе своего я. Грановскій ничѣмъ не выразилъ также своего сочувствія, хотя съ глазу на глазъ и увѣрялъ при всякомъ случаѣ въ своемъ почтеніи. Все это было мнѣ больно“<sup>172</sup>).

Но современныя свидѣтельства противорѣчатъ этому показанію Погодина. Какъ только въ первомъ номерѣ *Москвитянина* 1846 года было напечатано *Похвальное Слово*, то Погодинъ получилъ слѣдующія два письма отъ Мельгунова: „Рѣчь Погодина превосходна, мѣстами есть старинная риторика, но все искупается благороднымъ направленіемъ и точками. Я забылъ послать къ тебѣ эту записку Герцена, изъ которой ты увидишь, какъ твоя рѣчь нравится. Записка писана ко мнѣ не для показу... Съ нѣкоторыхъ поръ у насъ вошло въ



моду упрекать словомъ *моднымъ*. Но дѣло въ томъ, что все новое было въ свое время моднымъ. Когда ты былъ молодъ, не упрекали ль и тебя люди прежняго времени въ чемъ-нибудь *модномъ*? Всякая идея въ ходу, въ броженіи, еще не установившаяся, за которую всякій хватается горячо, иногда опрометчиво, можетъ показаться модною причудой... И если такая идея сильно бродить въ умахъ, то тутъ вѣрно больше чѣмъ мечта—тутъ вѣрно кроется зародышъ чего-нибудь дѣйствительнаго". Въ другомъ письмѣ Мельгунова читаемъ: „Искренно благодарю тебя, милый Погодинъ, за твое сердечное изліяніе. Передъ мной тебѣ нечего бы было напоминать о своихъ печатныхъ подвигахъ: я ихъ зналъ и помнилъ. Напоминаю о нихъ и другимъ; и что бы ни говорили про мои новыя знакомства, но мовѣ старымъ отъ того хуже не будетъ. Чувствую въ себѣ, и теперь болѣе чѣмъ когда-либо тайное побужденіе исполнять въ маломъ то, что придаю я въ большихъ размѣрахъ герою своего будущаго романа. Впрочемъ несправедливо было бы приписывать себѣ одному перемѣну во мнѣніи нѣкоторыхъ такъ-называемыхъ Западниковъ на счетъ твоихъ литературныхъ трудовъ: статья о *Тургеневѣ* \*) (котораго, мимоходомъ будь сказано, *Современникъ* не смѣетъ даже назвать по фамиліи, а просто Александръ Ивановичъ—*rag excellence!*) и *Речь о Карамзинѣ* помирили съ тобою не одного Герцена, а многихъ. Герценъ хвалитъ твою *Речь* гораздо живѣй и сильнѣе, чѣмъ въ запискѣ, въ которой набросаны эти строки такъ, между прочимъ. Онъ вообще легко приходитъ въ энтузіазмъ, а что ему понравится, о томъ толкуетъ безпрестанно и съ каждымъ. По его милости первый номеръ *Москвитянина* ходитъ до сихъ поръ въ ихъ вѣру, и я теперь не могу его выручить. Сколько разъ при мнѣ эти господа восхваляли твою *Речь*, и безъ всякихъ оговорокъ! Герценъ говорилъ при мнѣ съ жаромъ Тучкову, Боборыкину, потомъ Орловой. Духъ партіи вообще въ Москвѣ утихаетъ, и мы всѣ становимся, кажется, способнѣе каждому воздавать

\*) См. ниже.

свое. Душевно радуюсь твоему намѣренію передать *Москвитянина* и приняться за Исторію: Давно бы пора. Пора тебѣ сосредоточиться и привести къ одному знаменателю труды жизни. Давай Богъ!”

Кромѣ того, въ бумагахъ Погодина сохранился листокъ, собственноручно писанный Н. А. Мельгуновымъ, въ немъ мы читаемъ: „Прошедшій 1845 годъ былъ ознаменованъ въ лѣтописяхъ Русской Науки и Словесности памятникомъ Н. М. Карамзину. Издатель этой книжки, посвященной памяти незабвеннаго и составленной изъ начертаннаго имъ самимъ, одинъ изъ немногихъ ему близкихъ людей, находящихся въ живыхъ — желалъ съ своей стороны внести нѣчто, доселѣ неизвѣстное, въ тотъ несокрушимый памятникъ Карамзину, который онъ самъ себѣ воздвигъ, „тверже metalloвъ и выше пирамидъ“, и котораго Симбирскій памятникъ есть какъ бы только осязательное, пластическое выраженіе. У него хранилось собраніе писемъ Карамзина, какъ къ нему, такъ и къ другимъ лицамъ, гдѣ часто, яркими проблесками, проглядываетъ теплое сердце, свѣтлый умъ, высокая душа *этого замѣчательнаго мужа*. Къ сему собранію присоединены нѣкоторыя бумаги, записки, отрывки, иногда любопытныя по содержанию, всегда любопытныя и драгоцѣнныя, какъ останки великаго писателя и благороднаго человѣка. Карамзинъ, какъ онъ самъ выражается въ письмѣ своемъ къ графу Каподистріа, не бывалъ ни въ битвахъ, ни на совѣтахъ государственныхъ; но и не гордился безмѣрно своимъ званіемъ писателя, онъ однако чувствовалъ себя на мѣстѣ и между генералами, и между министрами. И дѣйствительно, Карамзинъ болѣе чѣмъ литераторъ, болѣе чѣмъ писатель: онъ принадлежитъ къ Русской общественной жизни, хотя и избѣгалъ ее; принадлежитъ по тому перевороту, который произвелъ въ нашемъ языкѣ, въ нашихъ литературныхъ привязанностяхъ, въ нашемъ вкусѣ и взглядѣ на вещи; еще болѣе принадлежитъ по великолѣпному историческому памятнику, воздвигнутому имъ въ Россіи съ такою непреклонной, постоянной любовью и самоотверженіемъ;

наконецъ, принадлежить и по той *опытной* и *безбоязненной* привязанности къ благу Отечества, которая, къ сожалѣнію, извѣстна пока немногимъ ему близкимъ людямъ, но которой положительныя, *письменныя* доказательства рано или поздно увидать свѣтъ и указать на новую высоко благородную сторону его характера и ума. Тогда увидать, что Карамзинъ былъ болѣе чѣмъ кабинетнымъ человѣкомъ, и что онъ имѣлъ полное право не стыдиться сообщества людей государственныхъ.

„Дай Богъ, чтобы издаваемая теперь книжка примѣромъ своимъ вызвала въ свѣтъ и другія письма и бумаги Карамзина, до сихъ поръ хранящіяся подъ спудомъ. Онѣ могутъ быть необходимы какъ для *будущаго* біографа Карамзина, такъ и для *будущаго* *полнаго* собранія его сочиненій. Другія образованныя націи дорожатъ каждой строкой, когда-либо вышедшей изъ-подъ пера своихъ великихъ писателей. Чего написаннаго Вольтеромъ, или Гёте, не издали Французы, или Нѣмцы! Да и чѣмъ достойнѣйшимъ можемъ мы выразить свою глубокую благодарность, почтить священную для насъ память, увѣковѣчить нашу народную честь и мирную славу нашего Отечества? Конечно, *Князь* Симбирска говоритъ краснорѣчиво взору; но она не для *всѣхъ*, и это памятникъ, нами воздвигнутый. Полное, классически изданное собраніе *всѣхъ* твореній Карамзина, всего, имъ когда-либо написаннаго, существовало бы для всѣхъ Русскихъ, для всей Россіи, даже для всего образованнаго міра, и было бы памятникомъ Карамзину Карамзина же“.

Шевыревъ же съ своей стороны счелъ полезнымъ посоветовать Погодину слѣдующее: „Мнѣ прежде приходило на мысль, но я все забывалъ сказать тебѣ: не надобно *Слово* Карамзину называть *похвальнымъ*, а просто *историческое* слово. Нельзя бы это переименовать? Ты же самъ отъ похвалы отказываешься, да и *похвальное* устарѣло. Послѣ вчерашняго разговора съ Чаадаевымъ, который чрезвычайно доволенъ *Словомъ*, у меня это возобновилось“.

Въ заключеніе приведемъ замѣчательное письмо, которое получилъ Погодинъ отъ И. В. Кирѣевскаго, представившаго двадцать-четыре замѣчанія на *Историческое Похвальное Слово Карамзину*: „Любезный Погодинъ! Честь тебѣ и слава, и благодарность ото всѣхъ, кто дорожитъ памятью Карамзина и славою Россіи. Я прочелъ твое *Слово* съ истиннымъ наслажденіемъ. Давно ничто литературное не производило на меня такого впечатлѣнія: Карамзинъ явился у тебя въ своемъ истинномъ видѣ, и такимъ образомъ рѣчь твоя воздвигаетъ ему въ сердцѣ читателя великій памятникъ, лучше Симбирской бронзы. Замѣчаній, которыхъ ты отъ меня требуешь, я сдѣлалъ не много. Оттого ли, что большія красоты заслонили отъ меня мелкіе недостатки, или оттого, что ихъ нѣтъ, только вотъ все, что я замѣтилъ:

№ 1. *Согражданина* вашего. Онъ не Симбирскій, а Русскій гражданинъ, и слѣдовательно — согражданинъ всѣхъ насъ. Эту честь намъ уступать нельзя. Не лучше ли сказать: *согрожанина* вашего, нашего общаго согражданина...

№ 2. Не одинъ Симбирскъ ставилъ памятникъ Карамзину; потому выражавшій свои чувства при этомъ случаѣ не могъ быть *органомъ* однихъ *Симбиряковъ*. Нельзя ли сказать *органомъ* общаго чувства...

№ 3. О книжной лавкѣ Карамзинъ не заботился. Сочиненія его продавались безъ его хлопотъ. Не вѣрнѣ ли будетъ: *между типографіей и письменнымъ столомъ*.

№ 4. Въ прежніе вѣка не было безусловныхъ вѣрноподданныхъ. Сколько князей изгонялось за нарушенія условій! Одно подозрѣніе въ злодѣяніи Бориса возстановило противъ него всю Россію. Одно неуваженіе къ обрядамъ и обычаямъ Русскимъ уничтожило Самозванца. А тѣ грамоты, на которыхъ цѣловали крестъ наши влстители при восшествіи на престолъ отъ Шуйскаго до Анны?—Нѣтъ, то-то и особенность нашего прежняго вѣрноподданства, что оно было не безусловное, но напротивъ условленное законностью. Самое слово вѣрноподанный какъ-то нейдетъ къ характеру прежнихъ вѣковъ. Въ



немъ закалъ новаго времени. Оно изъ лексикона Теофана и Яворскаго. Къ тому же весь конецъ этого періода слишкомъ пахнетъ риторикой, хотя начало его прекрасное.

№ 5. Нельзя ли сказать: *который по примѣру древнихъ, забытыхъ вѣковъ...*

№ 6. Можно ли сказать: *честь и слава вѣку и государству, гдѣ крепостный крестьянинъ и пр?..*

№ 7. Не правильнѣ ли: *забытый въ прошедшемъ вѣкъ?* Потому что въ прежніе вѣка мы безъ сравненія больше цѣнили доблести нравственныя и внутреннія, религіозныя, чѣмъ внѣшнія, видимыя.

№ 8. Что за *правила твоего искусства?* и зачѣмъ объ нихъ думать? — Все, что наводитъ на риторикъ, наводитъ и на зѣвоту.

№ 9. Что такое—*Русскій Богъ?*—Вообще эта манера говорить о Ломоносовѣ уже очень опошлалась. Тамъ, на берегу Бѣлаго моря и проч. Не лучше ли такъ: Богу угодно было, чтобы еще при жизни Самодержца, преобразователя Государства, родился тотъ крестьянинъ, которому предназначено было преобразовать наше слово. Черезъ пятнадцать лѣтъ и пр.

№ 10. Вѣдь что-то не въ тонѣ. Не лучше ли и моменты замѣнить ступенями, или по крайней мѣрѣ *періодами*.

№ 11. Здѣсь, кажется, мѣсто упомянуть о *Новиковѣ* и представить въ настоящемъ свѣтѣ его вліяніе на Карамзина. Ты, правда, упомянулъ о немъ въ другомъ мѣстѣ, но только что упомянулъ. Въ памяти о Карамзинѣ Новиковъ долженъ занимать не такое мѣсто. Конечно, собственный геній и внутренний голосъ были руководителями Карамзина; но кто раскрылъ въ немъ этотъ геній? Кто освободилъ этотъ голосъ отъ шума мелкой жизни? Кто вдохнулъ живительную мысль и далъ средства къ высокому направленію жизни? — Хорошо бы было представить здѣсь это общество незамѣтныхъ дѣлателей, трудящихся въ тишинѣ и безъ славы, безъ выгодъ, на пользу человѣчества и Отечества. Карамзинъ могъ сблизить языкъ съ естественностію и съ дѣйствительною жизнію по-

тому, что жизнь дѣйствительная уже получила то высокое значеніе, которое было ею утрачено, и безъ котораго она не могла имѣть образованнаго слова. Карамзинъ разрѣшилъ вопросъ потому, что вопросъ уже былъ предложенъ и данныя къ рѣшенію готовы.

№ 12. *Успокоившись* — лишнее. Можетъ быть, писатель испытывалъ сильное волненіе, но читатель еще спокоенъ, хотя и заинтересованъ.

№ 13. *Произвести впечатлѣніе о себѣ въ правительствѣ* — не по Русски.

№ 14. Бабушка Екатерина Аванасьевна Протасова, при которой мы читали твою рѣчь, замѣтила при этомъ случаѣ, что вмѣстѣ съ необыкновеннымъ успѣхомъ, который имѣла *Бѣдная Лиза*, вмѣстѣ съ необыкновеннымъ восторгомъ возбуждала она и сильныхъ, горячихъ порицателей, которые говорили тогда, что при этомъ упадкѣ искусства остается уже ожидать только того, чтобы писатели называли своихъ героевъ еще и *по отчеству*! — Вы увидите, говорили они, назовутъ! право назовутъ и по отчеству! За это злонамѣренное пророчество сердились тогда всѣ обожатели Карамзина.

№ 15. Прекрасный отрывокъ: здѣсь весь Карамзинъ въ зародышѣ. Здѣсь слышанъ и Новиковъ. Не тутъ ли сказать объ немъ?

№ 16. Начиная съ *крестьянской*; задача — не крестьянская, хотя и о крестьянахъ. Нужно другое слово.

№ 17. Зачѣмъ объявлять эту тайну?

№ 18. Слово *республиканская свобода* колетъ глаза. Не лучше ли *народная*?

№ 19. Какъ хочешь, *закрывъ глаза* — не хорошо. Потому-то онъ и ринулся въ бездну Русской Исторіи, что *открылъ глаза*, которые у другихъ были закрыты.

№ 20. Не лишняя ли эта вставка отъ черты до черты? Зачѣмъ тутъ разсужденіе о правилахъ науки или искусства? Не лучше ли прямо начать: *Въ приготовленіи матеріаловъ* и проч.

№ 21. Уже это слишком! Богословамъ начинать съ *Карамзина!*

№ 22. Какъ остальные выписки твои всё кстати и объясняютъ твою мысль, такъ эта выписка, надобно признаться, самая несчастная. Подумай хорошенько, можно ли безъ оговороки выставить эту мысль *Карамзина?*—Если была темная точка въ свѣтломъ умѣ *Карамзина*, то, конечно, это смѣшеніе понятій о единовластіи и самовластіи; о воспитаніи *грубаго и неспожественнаго народа просвѣщеннымъ правительствомъ!*—Здѣсь начало раздвоенія между правительствомъ и народомъ.—*Разумъ* народа—въ церквахъ, въ университетахъ, въ литературѣ, въ убѣжденіяхъ сословій и пр.—Въ правительствѣ—народная воля; можетъ ли быть воля умнѣ разума? Можетъ казаться умнѣе, когда, не слушаясь разума, *подражаетъ* чужому образу дѣйствій. Отсюда минутный блескъ и неминуемое разстройство организа. Оттого Петръ идетъ не въ пути народа, а наперекоръ ему. Однимъ словомъ, здѣсь та вся завязка вопроса между Востокомъ и Западомъ въ Русскомъ образѣ мыслей. Приводя Карамзина безъ возраженій, ты опровергаешь самъ себя.

№ 23. Языкъ *произвестися* не можетъ.

№ 24. Отчего Жуковскій названъ воспитанникомъ Карамзина, а не просто другомъ?

Но главное, что можно замѣтить о всей рѣчи, это то, что она производитъ впечатлѣніе сильное и написана, и дѣйствуетъ прекрасно. Честь тебѣ и слава!<sup>173</sup>).

---

## XXIX.

1845 годъ отмѣченъ горестными утратами...

4 марта Московскій Университетъ лишился своего знаменитаго профессора Римской Словесности и Древностей Дмитрія Львовича Крюкова, во цвѣтъ лѣтъ сошедшаго въ могилу. По свидѣтельству его ученика П. М. Леонтьева, „всѣ

питомцы Московскаго Университета, 1837 г. и далѣе, помнѣть, какое впечатлѣніе произвели на нихъ блистательныя лекціи Крюкова о Древней Исторіи. Казалось, новая наука, доселѣ неизвѣстная, открывала передъ нимъ всю полноту и все богатство своей жизни. Блистательный и вмѣстѣ строго-достойный характеръ его чтеній, его рѣдкое умѣніе заинтересовать слушателя величіемъ предмета, изящество изложенія, никогда не спускавшагося съ извѣстной высоты, наконецъ искусство пользоваться богатствомъ языка, избѣгая многорѣчія и изысканныхъ фразъ,—все это соединялось, чтобы обаять слушателей и представить имъ преподавателя въ свѣтѣ, казавшемся недостижимымъ. Д. Л. Крюковъ владѣлъ вполне способностью возбудить въ ученикахъ удивленіе къ себѣ и чрезъ то желаніе слѣдовать за собою. Онъ держалъ себя съ слушателями крайне вѣжливо, но въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нихъ; являлся передъ ними не иначе, какъ окруживъ себя нѣкоторымъ блескомъ; давая совѣты, никогда не отрывалъ предмета со всѣхъ сторонъ. Онъ читалъ только тогда, когда былъ совершенно приготовленъ; студентовъ принималъ въ опредѣленные дни и часы. Такимъ образомъ и личность его, и совѣты заманивали молодыхъ людей и, возбуждая уваженіе къ наставнику, вызывали во многихъ—желаніе показаться ему съ выгодной стороны, а въ нѣкоторыхъ—стремленіе къ труду и самостоятельности. Онъ постоянно слѣдилъ за своими учениками, старался сдѣлать для нихъ всякое добро и былъ чуждъ всякихъ расчетовъ мелочнаго самолюбія, заграждающаго для другихъ проходъ на свое поприще. Такъ, еще будучи въ цвѣтѣ силъ, онъ началъ ходатайствовать объ отпращиваніи за границу *по своей кафедрѣ* двухъ учениковъ своихъ П. М. Леонтьева и О. И. Пѣховскаго. Довѣріе, которымъ онъ пользовался у графа С. Г. Строганова, онъ употреблялъ преимущественно на то, чтобы замѣщать учительскія мѣста въ гимназіяхъ знающими и способными людьми<sup>174</sup>).

По своему направленію Крюковъ примыкалъ къ Западнякамъ, и они въ лицѣ Герцена горько оплакали его предъ



смертную болѣзнь и кончину. „Бѣдный Крюковъ умираетъ“, писалъ Герценъ. „Еще однимъ свѣтлымъ, прекраснымъ чело-вѣкомъ меньше въ нашемъ кругѣ“. На канунѣ кончины Герценъ посѣтилъ умирающаго и засталъ его въ полномъ сознаниі. „Онъ...“, пишетъ Герценъ, — „держалъ мою руку, говорилъ, что любить насъ всѣхъ... Смерти, кажется, не пред-видѣлъ; онъ былъ страшно худъ, однако выраженіе лица было прекрасно, взглядъ свѣтелъ, повоенъ и кротокъ“. Тот-часъ же послѣ кончины „сняли маску съ него. Охъ, что-то тяжелое въ воздухѣ нынѣшняго года, какая-то плита на груди“<sup>176</sup>). О кончинѣ Крюкова Погодина извѣстилъ Шевыревъ: „Бѣднаго Крюкова не стало. Онъ умеръ истиннымъ христіаниномъ и сознался Рѣдину, что одна теорія хри-стіанская его могла примирить“, и Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Бѣдный Крюковъ умеръ. Дай Богъ тебѣ царствія небеснаго“<sup>176</sup>).

7 марта 1845 года въ Университетской церкви, послѣ заупокойной литургіи, происходило отпѣваніе почившаго. Уми-лительный церковный обрядъ былъ чуждъ душѣ Герцена. То ли дѣло“, пишетъ онъ въ своемъ *Дневникѣ*, — „кружокъ дру-зей, горестныхъ, убитыхъ, молча опускающихъ въ могилу тѣло товарища“<sup>177</sup>). Иное, благодатное, впечатлѣніе вынесъ изъ церкви Погодинъ: „На погребеніи Крюкова“, читаемъ въ его *Дневникѣ*. „Сильное дѣйствіе произвела служба. Евангеліе и Апостолъ проникали въ душу. Много плакалъ“<sup>178</sup>).

Въ день преставленія святаго благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, „среди уединенной святости Новгород-ской“, 23 ноября 1845 года, „чистъ предсталъ предъ су-домъ Господнимъ“ Дмитрій Александровичъ Валуевъ. Въ те-ченіи всей своей жизни онъ твердо исповѣдывалъ Православно-Русское ученіе. Словенофилы, а съ ними вся Россія, лиши-лись въ немъ способнѣйшаго и вѣрнаго слуги Отечества.

Въ послѣдній годъ своей жизни Валуевъ издалъ, кромѣ *Синбирскаго Сборника*, о которомъ мы уже говорили, *Сбор-никъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и*

народовъ ей единоплеменныхъ и единоплеменныхъ. Въ этомъ Сборникѣ мы видимъ еще соединеніе трудовъ Словенофиловъ съ Западняками. Сборникъ открывается предисловіемъ Валуева и Введеніемъ Хомякова, заключившаго его такими словами: „Долго страдавшій, но окончательно спасенный въ роковой борьбѣ, болѣе или менѣе во всѣхъ своихъ общинахъ искаженный чуждою примѣсью, но нигдѣ не заклеянный наслѣдственно печатью преступленія и неправильнаго стяжанья, Словенскій міръ хранить для человѣчества, если не зародышъ, то возможность обновленія“. За этимъ Введеніемъ слѣдуетъ статья одного изъ представителей Западнячества К. Д. Кавелина *Объ юридическомъ бытѣ Силезіи и Лужицъ и о введеніи Нѣмецкихъ колонистовъ*. Приложение къ этой статьѣ *Города Нѣмецкіе и Словенскіе* принадлежитъ самому Валуеву. А. Н. Поповъ помѣстилъ въ этомъ Сборникѣ: *Объ опекахъ и наслѣдствѣ по Русской Правдѣ*. Тутъ же мы видимъ и диссертацию Т. Н. Грановскаго *Волинъ, Іомсбургъ и Винета*, и статью С. М. Соловьева *О значеніи слова Черный въ Древнемъ Русскомъ языкѣ и преимущественно о черномъ борѣ Новгородскомъ*; а рядомъ съ нею статью Валуева *Христіанство въ древней Ирландіи и въ Абиссиніи*.

Въ предисловіи къ Сборнику Валуевъ высказалъ слѣдующія мысли: „Западные народы новаго міра, поселившись на Римской почвѣ, невольно наслѣдовали все Римское: Для Германца, пришедшаго на Римскую почву, свободнаго выбора не было и быть не могло. Безсознательно и поневолѣ впиталъ онъ въ себя все дурное и хорошее полуязыческаго Римскаго міра. Россія была счастливѣе: Западъ ничего не могъ произвольно навязать ей. Онъ могъ намъ передать то, что мы сами выбирали... Учителю и просвѣтителю нашему (Западу) мы обязаны многимъ. Но не слѣдуетъ забывать и того, что уроки учителя тогда только достигаютъ своего назначенія, когда они пробудятъ въ ученикѣ его собственныя силы, и онъ сумѣетъ основать на нихъ свою самостоятельную жизнь и сознательное мышле-

ніе; иначе же вся его наука—безплодная трата силъ и времени, или бесполезная, если не вредная, забава. Западное просвѣщеніе привито къ намъ, но пока остается въ насъ какимъ-то междоумкомъ, тѣмъ-то совершенно чуждымъ и внѣшнимъ всему нашему остальному существованію, какимъ-то тепличнымъ растеніемъ, оторваннымъ отъ своего корня и родимой почвы, и потому лишеннымъ всѣхъ своихъ живыхъ соковъ и, по видимому, не обѣщающимъ никакого живого плода. На этой точкѣ страдательнаго участія въ жизни образованной Европы Россія оставаться не можетъ. Ей предстоитъ приняться за свое родное и соплеменное. Начало этому направленію уже положено обнародованіемъ тысячи актовъ, лежавшихъ прежде скрытыми, какъ нѣчто противозаконное, и являющихся теперь на свѣтъ Божій, чтобы дать будущему историку Россіи и Словенскаго міра способъ объяснить очень многое не разгаданное, полное внутренняго, глубокаго значенія, котораго мы и не подозреваемъ. Наконецъ въ самой Исторіи Запада есть сотни явленій, для которыхъ Наука Русская и Православная должна найти совершенно иное разрѣшеніе, тѣмъ какое доселѣ находили для нихъ люди Западные, необходимо заключенные въ свою тѣсную сферу, изъ которой выйти они не могутъ, не отказавшись отъ самихъ себя. Такова задача, которая, по нашему мнѣнію, предстоитъ въ наше время для Русской Исторической науки“.

Тою же мыслию проникнуто было и Введеніе Хомякова. Между тѣмъ силы труженика оскудѣвали, и Хомяковъ въ томъ же 1845 году писалъ Языкову: „Похлопочи объ Валувѣ; толкай, гони, не давай покоя, выживай его поскорѣе, но право держись Крыма. Валувъ не только дѣрогъ, но нужень. Онъ менѣе всѣхъ говоритъ, онъ почти одинъ дѣлаетъ, и будь онъ здоровъ, такъ то ли бы онъ сдѣлалъ! Если Богъ его сохранитъ, много будетъ пользы отъ его жизни, и имя его помянется съ похвалою и благодарностью. Я его люблю какъ сына“<sup>179</sup>).

Въ августѣ 1845 года, по общему совѣту врачей и друзей, Валуюу рѣшено было ѣхать за границу, на югъ Франціи. По свидѣтельству его біографа, „трудно было его на это склонить... Общій приговоръ убѣдилъ его въ необходимости этой поѣздки. Но скоро самъ почувствовалъ онъ свою слабость; увидѣлъ, что до возстановленія своего онъ долженъ отказаться отъ всякой дѣятельности и внѣшней, и умственной. Мысль оставаться здѣсь въ бездѣйствіи стала ему невыносима, и онъ также сильно сталъ желать и требовать отъѣзда, сколько прежде отъ него отвращался. Воображенію его стали представляться труды, которые онъ могъ бы предпринять за границей, когда сколько-нибудь возстановились бы его силы, та польза, которую могъ извлечь изъ своего путешествія, и оно сдѣлалось уже для него привлекательнымъ. Въ это время посѣтилъ Москву одинъ Англіійскій пасторъ, уваженіе котораго къ Восточному Православію было достаточною причиною къ сближенію его съ Валуевымъ. Однажды, выходя отъ него, онъ со слезами на глазахъ сказалъ: *Такіе люди не домо живутъ на свѣтъ!*“ Къ сожалѣнію, эти слова пастора касательно Валуюа были пророческими.

Въ сентябрѣ 1845 года онъ получилъ заграничный паспортъ, но сильная лихорадка задержала его недѣль на шесть въ Москвѣ. Думали его совсѣмъ не пускать, но онъ самъ непремѣнно хотѣлъ ѣхать. Какъ скоро лихорадка уступила, отъѣздъ былъ рѣшенъ. Валуювъ выѣхалъ изъ Москвы 3 ноября и 8-го прибылъ въ Новгородъ. Здѣсь смертельная болѣзнь остановила его путешествіе, и отсюда онъ уже отправился въ *путь вся земли*.

По свидѣтельству біографа Д. А. Валуюа, „въ немъ не было предчувствія приближающейся кончины; но безпрестанныя видѣнія показывали, что бодрая его душа уже разрѣшается отъ оковъ тѣлесныхъ. Въ Москвѣ передъ отъѣздомъ онъ не могъ болѣе четверти часа выслушивать никакого чтенія. Въ Новгородѣ въ одинъ вечеръ онъ выслушалъ *Апокалипсисъ* весь, съ начала до конца. Раздражительность, тер-



завшая его въ послѣдніе мѣсяцы въ Москвѣ, исчезла совершенно въ Новгородѣ. Чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ болѣе кротокъ и покоренъ онъ становился. Казалось, милость Божія ему назначала эти послѣдніе двадцать дней для полного очищенія. За три дня до кончины онъ диктовалъ къ одному изъ друзей письмо, въ которомъ говорилъ, что доволенъ своимъ пребываніемъ въ Новгородѣ..... 20 ноября онъ причастился Святыхъ Таинъ; а въ 5 утра, 23 ноября 1845, онъ три разъ перекрестился и вскорѣ затѣмъ тихо испустилъ духъ. На другой день тѣло его было вынесено въ церковь Св. Дмитрія Солунскаго, а въ шестой день по кончинѣ совершилось отпѣваніе... Народъ приходилъ толпами къ его гробу, и, посмотрѣвъ на его еще прекрасные останки, люди простые, его не знавшіе и не слыжавшіе о немъ, молились искренно за упокоеніе души его<sup>180</sup>).

---

### XXX.

По общему желанію друзей смертные останки скончавшагося въ Новгородѣ Д. А. Валуева были перевезены въ Москву, для погребенія въ Даниловомъ монастырѣ. „Тысячу разъ благодарю васъ“, писалъ Хомяковъ въ Петербургъ Ю. О. Самарину, — „за ваши хлопоты о дозволеніи перевоза тѣла Валуева въ Москву. Намъ отрадно будетъ имѣть его около себя, ибо всѣ мы теперь или позже, а принадлежаимъ Москвѣ, какъ мѣсту нашей умственной дѣятельности, да и ему прилично лежать въ Москвѣ: онъ ей принадлежалъ, ибо есть такіа направленія и такой характеръ мысли и жизни, которыя теперь нигдѣ, кромѣ Москвы, невозможны. Мѣсто ему назначаемъ мы въ Даниловскомъ монастырѣ возлѣ Венелина. Какое-то духовное сродство и безъ сомнѣнія единство цѣлей существовало между ними, не смотря на великія разницы въ жизни и чистотѣ“. — Въ томъ же письмѣ Хомяковъ писалъ Самарину: „Изъ нашего круга отдѣлился человѣкъ, котораго ничто

мнѣ никогда не замѣнить, человѣкъ, который мнѣ былъ и братомъ, и сыномъ. Этотъ ударъ былъ для меня невыразимо тяжелъ. Это потеря не вознаградимая для насъ всѣхъ. Его молодость, дѣятельность, чистота миротворящая, хотя ни въ чемъ не уступающая, кротость нрава и, наконецъ, его совершенная свобода и независимость отъ лицъ и обстоятельствъ, все дѣлало его драгоцѣннѣйшимъ изъ всѣхъ сотрудниковъ въ общемъ дѣлѣ добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь рано кончилась... Вы, конечно, сочувствуете моему горю; но никто не можетъ вполне оцѣнить, что я въ Валуевѣ потерялъ, и какъ много я ему обязанъ былъ во всѣхъ самыхъ важныхъ частяхъ моей общественной дѣятельности. Во многомъ онъ былъ моею совѣстію, не позволяя мнѣ ни слабѣть, ни придаваться излишнему преобладанію сухого и логическаго анализа, къ которому я по своей природѣ склоненъ. Если что-нибудь во мнѣ цѣнятъ друзья, то я хотѣлъ бы, чтобы они знали, что въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ дружба Валуева постоянно работала надъ исправленіемъ дурного и укрѣпленіемъ хорошаго во мнѣ". Если такъ писалъ Хомяковъ къ постороннему и притомъ не особенно близкому къ покойному Валуеву человѣку, то предъ Языковымъ онъ излилъ свою душу по поводу тяжелой для нихъ обоихъ потери. „Жена моя“, писалъ Хомяковъ,—„немножко стала оправляться. Ее сильно поразилъ этотъ ударъ; онъ и мнѣ не легче, да у меня нервы-то покрѣпче. Теперь же говѣеть, и это, разумѣется, ее успокоитъ. Какая тяжелая потеря для всѣхъ насъ, для нашего дѣла, а особенно для Катеньки и меня. Я такъ съ нимъ сжился душою, съ трудомъ понимаю, какъ мнѣ быть безъ него. Такія потери могутъ просто отучить отъ жизни, и зачѣмъ это? Иноземцевъ посылалъ ужь его? И леченіе было постыдное, и отправленіе постыдное. Какъ много я ему обязанъ, какъ много онъ охранялъ меня отъ лѣни и праздности! Его жизнь и дружба были мнѣ Божіимъ благодѣяніемъ, а и онъ меня любилъ какою-то любовью полубратскою, полусыновнею. Какъ

грустно и тяжело вспомнить, что онъ былъ! Догадаемся ли мы пользоваться примѣромъ, даннымъ имъ, самоотверженія, дѣятельности и общепользныхъ стремленій“<sup>181</sup>).

Когда смертные останки Д. А. Валуева прибыли въ Москву, С. П. Шевыревъ почтилъ память своего отошедшаго ученика слѣдующимъ задушевнымъ словомъ:

„Кто-то справедливо замѣтилъ, что въ кругу людей, призванныхъ дѣйствовать на поприщѣ мысли, каждое поколѣніе отдаетъ свою жертву смерти. Такъ и послѣднее, едва только выступившее на поле умственной жизни, уже приносить судьбѣ и свою дань въ лицѣ Дмитрія Александровича Валуева.

„Это имя почти незнакомо читающей публикѣ. Оно недавно показалось только на одной значительной книгѣ: *Синбирскій сборникъ*, и въ ней особенно на ученомъ разсужденіи о *Мстничествѣ*, написанномъ по случаю разбора одной *Разрядной книги*. А между тѣмъ молодой человекъ, которому оно принадлежало, въ немногіе годы успѣлъ сдѣлать многое и, въ полномъ цвѣтѣ надеждъ и силъ юности, общавшихъ уже зрѣлое развитіе, окончилъ путь свой въ нашемъ мірѣ.

„Пускай же ранняя смерть его откроетъ то, что таила его робкая скромность при жизни. И въ помянутой книгѣ издатель поставилъ имя свое пятымъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ былъ главнымъ ея виновникомъ. По смерти его выходитъ еще томъ *Сборника историческихъ и статистическихъ содѣлій о Россіи и народахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ*. Всѣ оригинальныя статьи, переводы ученыхъ сочиненій Рейца и Губе о Словенахъ и извлеченія изъ Штенцеля, Тшоппе и Клѣдена, составляющіе этотъ *Сборникъ*, исполнены по приглашенію Издателя. Предисловіе и любопытная статья *Христіанство въ древней Ирландіи и въ Абиссиніи* написаны имъ самимъ. Кромѣ того, готово еще чтыре тома къ изданію, которые состоятъ изъ переводовъ сочиненій Мацѣевскаго, Палацкаго, Ранке и другихъ, равно изъ сокращеній, относящихся или къ Исторіи вѣры нашей, или къ Исторіи и

Географіи племенъ намъ родственныхъ. Въ числѣ переводовъ особенно замѣчательна Исторія Флорентинскаго собора Сильвестра Саропула: книга весьма рѣдкая. Въ числѣ оригинальныхъ статей—изслѣдованіе самого Валуева: *О современномъ движеніи въ церкви Британской*—послѣдній трудъ, его занимавшій; *Библіотека для воспитанія*—одно изъ лучшихъ временныхъ изданій для дѣтскаго чтенія—была его же предпріятіемъ. Онъ помѣщалъ въ ней свои прекрасные переводы изъ Диккенса и многихъ ученыхъ побуждалъ для нея трудиться.

„Вотъ права покойнаго Д. А. Валуева на память общественную. Пускай получатъ онъ ихъ теперь, когда такъ скромно отказывался отъ нихъ при жизни.

„Покойный, еще въ молодомъ возрастѣ, принадлежалъ уже къ числу дѣятелей, которые такъ рѣдки у насъ въ учено-общественной жизни. Бездѣйствіе большинства какъ будто причиною того, что дѣятельность сосредоточивается въ немногихъ избранныхъ. Образомъ своихъ занятій и мыслей онъ представлялъ лучшую сторону новаго поколѣнія, ту сторону на которую есть надежда, что оно не разрушить, а создастъ, что оно не отвергнетъ, а оснуетъ. Съ самаго ранняго возраста его привлекала не поэзія, не отвлеченная философія, — нѣтъ, еще въ свѣжей юности, онъ вышелъ на тяжкій, медленный путь Исторіи и ей посвятилъ себя. Алчно поглощалъ онъ въ себя всѣ явленія исторической науки. Жажда къ ней была въ немъ ненасытная—и онъ, можно сказать, палъ преждевременною жертвою этой жажды. Потому-то, ранѣе чѣмъ въ другихъ, созрѣло въ немъ убѣжденіе, которое позднѣе созрѣетъ во всѣхъ истинныхъ дарованіяхъ поколѣнія, ему равнаго и за нимъ идущаго,—убѣжденіе, что только, соединяя изученіе всемірнаго около своего родного и племенного средоточія, можно намъ надѣяться на свою жизнь въ наукѣ и на самобытность въ самой жизни. Прекрасно выразилъ онъ это слѣдующими словами въ предисловіи къ любимому труду своему, словами, которыя какъ-то глубже отзываются въ мысли,



когда подумаешь, что рука, ихъ написавшая, сжата навсегда во гробъ: „Уже время подумать и о томъ, чтобы намъ самимъ и изъ себя выработать внутреннія начала своей нравственной и умственной жизни, принявъ на себя и всю отвѣтственность въ ней, умѣя дать въ ней отчетъ себѣ и другимъ—и связать ее съ своимъ народнымъ прошедшимъ и будущимъ, а не довольствоваться въ пустотѣ своей внутренней жизни одними убѣждениями, взятыми на прокатъ вмѣстѣ съ послѣдней модой изъ Парижа, или системой изъ Германіи—посылками безъ вывода или выводами безъ данныхъ изъ силлогизма, прожитаго или переживаемаго другимъ міромъ“.

„Сколько надеждъ, сколько будущаго заключалось въ этомъ зрѣломъ сознаніи! Еще сильнѣе чувствуемъ мы свою утрату, читая это. Но думая и говоря такимъ образомъ, Валуевъ вполне сочувствовалъ всѣмъ прекраснымъ явленіямъ Запада: съ жадностью изучалъ его Исторію, признавалъ необходимость вникать въ его науку и рѣзко противился всякой вредной исключительности, которая узко понимала народное. Такъ и должно быть въ каждомъ, кто истинною мыслию Русскаго стремится къ тому, чтобы сознать бытіе своего Отечества. Въ умѣннѣ признавать свою народность заключается и умѣнье уважать ее въ другихъ.

„Полное сочувствіе къ православной церкви и убѣжденіе въ томъ, что въ ея основахъ—источникъ истинной человѣческой жизни и нашей народной силы, призванной тѣмъ духовнымъ началомъ дѣйствовать и на другіе народы—вотъ была коренная мысль, лежавшая глубоко въ душѣ того молодого человѣка, котораго потерю суждено оплакать и старшимъ. Въ его историческихъ занятіяхъ эта мысль влекла его и въ первоначальныя времена Ирландіи, къ древнимъ племенамъ Кельтскимъ, принявшимъ ученіе Христова изъ одного источника съ нами, и въ Африку къ Коптамъ и къ Неграмъ Абиссиніи, гдѣ онъ наукою открывалъ родство преданій, родство обрядовъ съ нашими, и въ современную Англію, въ движенія ея

духовнаго міра, въ тѣ явленія, гдѣ обнаруживается братское намъ сочувствіе.

„Такъ основная мысль покойнаго управляла его первыми историческими трудами. Но главное—она дѣйствовала и въ его жизни: она хранила чистоту его ума и сердца; она берегла цѣломудріе его юности до гроба; она питала въ немъ эту любовь, которую развивалъ онъ въ общественную силу, любовь, которая привязывала къ нему какимъ-то тайнымъ сочувствіемъ всѣхъ, кто зналъ его близко, любовь, которая давала ему власть надъ его старшими, побуждала ихъ къ труду и сзывала къ единодушному дѣйствию людей противоположныхъ другъ другу мнѣніями.

„Тихая и ясная красота его лица и голубыхъ глазъ отвѣчала тишинѣ и красотѣ его души. Онъ былъ сложенъ крѣпко. Нѣтъ, не тѣлесное сложеніе было причиною той жестокой болѣзни, которая его сразила. Нѣтъ, то была, какъ мы сказали, алчность къ наукѣ, жажда къ познанію, къ непрерывной дѣятельности, обратившаяся въ страсть. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ онъ ее обнаружилъ. Онъ готовъ былъ глотать все, что ему ни попадалось въ наукѣ. Онъ не соразмѣрялъ силъ своихъ съ этою жаждою; онъ присоединилъ къ тому и общественную дѣятельность, чтобы заставлять другихъ работать, и безкорыстно тратилъ на нее отъ утра до глубокаго вечера и силы души своей, и все состояніе, какое имѣлъ; нервы его были раздражены непрерывно напряженнымъ вниманіемъ... И сильная чахотка сожгла всѣ эти свѣжія, прекрасныя, благородныя силы“.

29 декабря 1845 въ Даниловомъ монастырѣ происходило погребеніе Валуева. Смертные останки его положили рядомъ съ Венелинымъ. Такимъ образомъ, „земля“, писалъ Шевыревъ, — „соединить двѣ участи, которыя обѣ скрылись преждевременно, не довершивъ на ней полнаго, прекраснаго своего назначенія“<sup>182)</sup>.

Вечеръ, въ день погребенія, Погодинъ провелъ у Языкова, и тамъ Хомяковъ прочелъ „свою прекрасную, въ его родѣ“,

по отзыву Погодина, статью *Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ*, которую тотъ предназначилъ для *Московского Сборника*. Это огорчило Погодина, и онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Каковы друзья ревнители Русской Словесности“. При чтеніи Хомяковъ „иногда спрашивалъ мнѣнія К. С. Аксакова!“ „Меня“, продолжаетъ Погодинъ, — „не спросилъ ни о журналѣ, ни о *Похвальномъ Словѣ Карамзину*. Чортъ васъ возми“.

М. А. Максимовичъ, узнавъ о кончинѣ Валуева, писалъ Погодину съ своей Михайловой Горы, на Малороссійскомъ нарѣчій. „Гай-гай! только недавно дуже заскорбѣло у мене на серцѣ, якъ почувъ я, що такий милый цвѣтъ, якимъ зацвѣвъ бувъ молодой Валуевъ, люта смерть зорвала зъ Руськой землі... И споманулось менѣ про нашего Веневитинова, и про Рожалина, и про Станкевича, котрый навѣщавъ мене у Києвѣ вѣдучи въ чужій край... Разговорившись про науку и жизнь, я вымовивъ ему, что въ Гегелѣвской науцѣ вонъ не найде собѣ искомага имъ счастья. „Такъ я не хѣчу и жить на свѣтѣ, коли не найду въ ней собѣ счастья!“ Отъ була душа любознательна!.. И еѣ скоро не стало!.. А наши сверстники хворають... Только Хомяковъ съ Шевыревымъ прочны. И Кирѣевскій, порадовавши трохи своимъ голосомъ, замовеъ и недужае... И мы зъ тобою полукалѣвами пробуваемъ—ты тамъ таки, на позорищѣ; а я собѣ, якъ той пустынный однимъ-одинъ; и не знаю коли-то я тѣломъ своимъ здѣймусь услѣдъ за думою, и прибуду къ вамъ... и побачу васъ и послухаю. До той поры ще богацько воды пройде Днѣпромъ моимъ, до Чорного моря...

„Одного прошу и желаю: продолжай до смерти *Москвитининъ*. Не можно безъ него быти, какъ Руси не можно не пити. А коли не въ моготу самому станеть—устрой преемниковъ надежныхъ.

„Для себя прошу: будь ласковъ, вышли мнѣ по ближайшей почтѣ на мѣсяць, не больше, грамматику Смотрицкаго одного изъ первыхъ изданій; мнѣ она очень нужна, для моей

Русской рѣчи. Затѣмъ прощай! Передай поклонъ мой Швыреву, Языкову, Хомякову, Аксакову, Кирѣевскимъ и всѣмъ, всѣмъ нашимъ общимъ пріятелямъ“.

### XXXI.

Еще былъ живъ Александръ Ивановичъ Тургеневъ, когда скончался въ Новѣгородѣ Дмитрій Александровичъ Валуевъ; но во время погребенія послѣдняго, 29 декабря, Тургенева уже не было въ живыхъ. Возвратясь съ похоронъ Валуева, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Погребеніе Валуева. Завтракали всѣ вмѣстѣ. Герценъ съ комплиментами о статьѣ о Тургеневѣ“<sup>183</sup>).

14 августа 1845 года пріѣхалъ въ Москву изъ Парижа А. И. Тургеневъ. Погодинъ въ это время собирался въ Симбирскъ для произнесенія похвального слова Карамзину. На другой день по пріѣздѣ Тургенева Мельгуновъ писалъ Погодину: „Вчера пріѣхалъ сюда А. И. Тургеневъ. Онъ желаетъ быть при чтеніи твоего *Слова*, такъ какъ онъ знаетъ коротко Карамзина. — Но онъ старый человѣкъ и съ тобою не коротко знакомъ, а потому считаетъ неловко пріѣхать къ тебѣ безъ зова. Не захочешь ли пригласить его особой запиской, извинясь, что не можешь за дѣлами самъ пріѣхать, или не вздумаешь ли завернуть къ нему пораньше утромъ, чтобъ притомъ взглянуть на его драгоценныя бумаги, которыя онъ какъ будто не прочь уступить знающему и дѣльному человеку. Въ 7 часовъ буду у тебя. Павловъ тоже. Свербееву скажешь Тургеневъ. Къ Чаадаеву посылать далеко, а увижу ли его — не знаю“<sup>184</sup>).

Въ Москву Тургеневъ пріѣхалъ больнымъ. „Я все страдаю“, писалъ онъ Сербиновичу 13 октября 1845 года, — „и едва передвигаю ноги отъ задышки и ревматизма; пожелалъ бы по дѣламъ заглянуть и въ Петербургъ, до отъѣзда къ водамъ, откуда не излѣченный возвратился. Стра-

пусъ вашего холода и не столько нравственно-сердечнаго, сколько физическаго. Напомните обо мнѣ всѣмъ нашимъ милымъ ближнимъ“ <sup>185</sup>). Не смотря на свои недуги, Тургеневъ, по свидѣтельству Погодина, „былъ по обыкновенію очень веселъ и шутливъ, являлся во всѣхъ собраніяхъ“. Былъ онъ и на балѣ преемника князя Д. В. Голицина, князя А. Г. Щербатова. На этотъ балъ былъ приглашенъ и Погодинъ, который замѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеръ у князя Щербатова. Гладѣлъ на танцы, въ которыхъ танцующіе не принимаютъ никакого участія. Танцы совсѣмъ не въ Русскомъ родѣ: положеніе, движеніе, сближеніе, не хуже романовъ волнуютъ кровь“. На этомъ балѣ Тургеневъ рассказывалъ Погодину о полученныхъ имъ запискахъ Владиміра Васильевича Измайлова <sup>186</sup>).

По возвращеніи Погодина изъ Симбирска Мельгуновъ писалъ ему: „Если ты имѣешь какіе-нибудь виды на бумаги Тургенева, то спѣши съ нимъ переговорить о нихъ. Онъ поручилъ Соловьеву, Попову и, кажется, Бодянскому пересмотръ и перепись своихъ *зѣвшихъ* бумагъ, съ тѣмъ, чтобы составленный ими реестръ представить Государю въ его слѣдующій пріѣздъ, то-есть, 2 октября, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дать ему слово выслать въ Петербургъ, куда прикажетъ и *Парижскія* его бумаги“. Предполагаемая поѣздка Тургенева въ Петербургъ не состоялась.

Въ послѣдніе дни своей жизни онъ имѣлъ частныя сношенія съ Погодинымъ, о чемъ свидѣлствуютъ нижеслѣдующія записочки.

2 октября 1845 года Тургеневъ писалъ Погодину: „Не можете ли вы, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, ссудить меня на весьма короткое время *Евангеліемъ* или *Апостоломъ*, напечатаннымъ при патріархѣ Іовѣ въ Москвѣ? Я сохраняю его въ совершенной цѣлости. Къ сему Евангелію присовокупите и *Соборникъ*, обыкновенно къ оному прилагаемый. Сбираюсь къ вамъ, но разныя хлопоты удерживаютъ. Когда будете у моего сосѣда Мельгунова, дайте мнѣ знать“. Вскорѣ послѣ

этой записочки Н. Д. Свербеевъ, по порученію Тургенева, писалъ Погодину: „А. И. Тургеневъ поручилъ мнѣ попросить у васъ нужную для него записку исторіографа Карамзина о *Полми*. Тургеневъ будетъ у насъ сегодня вечеромъ“ <sup>187</sup>).

Въ день своихъ именинъ Погодинъ въ числѣ поздравителей имѣлъ удовольствіе видѣть и Тургенева <sup>188</sup>). А между тѣмъ, дни послѣдняго были сочтены. По свидѣтельству Погодина, „въ субботу (1 декабря) Тургеневъ слушалъ первую публичную лекцію Грановскаго, въ воскресенье, провелъ пол-дня въ пересыльномъ замкѣ на Воробьевыхъ горахъ, вмѣстѣ съ докторомъ Газомъ; въ понедѣльникъ (3 декабря), въ день кончины, все утро писалъ письма въ Парижъ, отвезъ ихъ въ почтамтъ, а въ шестомъ часу послѣ обѣда скончался въ тѣсномъ, загроможденномъ портфелями и книгами мезонинѣ небольшого дома на Арбатѣ-дворянской сестры своей А. И. Нефедьевой“ <sup>189</sup>). Еще за день или за два дня до смерти онъ успѣлъ написать слѣдующее письмо къ Погодину: „Какъ скоро изданіе писемъ Карамзина будетъ приготовлено къ печати и я буду увѣренъ, что Петербургская цензура не будетъ противиться здѣшней, то я съ удовольствіемъ доставлю вамъ нѣсколько отрывковъ изъ писемъ; до тѣхъ же поръ прошу васъ убѣдительно не говорить никому, здѣсь, о томъ что я намѣреваюсь издавать письма Карамзина. Я имѣю на это много причинъ. Я даже и семейству Карамзина не говорилъ о новомъ моемъ намѣреніи издать ихъ, и вы не говорите. *Хроникой Парижской* можете располагать. Постараюсь отобрать писанное въ послѣдніе два года, а вы сами отберете то, что уже напечатано, и означьте то, что желаете помѣстить въ *Москвитянинъ* изъ не напечатаннаго; но предварительно дайте мнѣ просмотрѣть, исправить, дополнить писанное слишкомъ наскоро и часто, какъ и сіи строки, въ постели: этого требуетъ и уваженіе къ читателямъ вашего журнала, и моя ничтожная репутація Европейской коммеры. Отберу и доставлю на дняхъ: теперь очень занятъ приготовленіемъ дѣла, которое отправить долженъ въ Петербургъ или взять туда съ собою“.



Последними строками послѣдняго письма его къ Сербичу были слѣдующія: „Плевелы раціонализма отдѣлятся отъ зерна горчишна и отъ питательнаго прозябенія. И созрѣетъ плодъ во время свое даже и на Гегелевой и Штраусовой почвѣ: *духъ идѣже хочетъ дышетъ*“<sup>190</sup>).

Узнавъ о кончинѣ Тургенева, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Извѣстіе о смерти Тургенева. Къ нему. Лежитъ на столѣ. Бумаги печатаютъ. Къ Карамзинимъ посовѣтоваться. Потомъ къ положенію во гробъ съ Шевыревымъ. Тронуть. Вчера осуждалъ его въ ту минуту, какъ его уже не было на свѣтѣ. И я все ждалъ, что онъ зайдетъ ко мнѣ!“<sup>191</sup>)

7 декабря 1845 въ церкви Св. Власія послѣ заупокойной обѣдни происходило отпѣваніе тѣла А. И. Тургенева. По свидѣтельству Погодина, „многіе почетные граждане столицы, друзья и знакомые, старые и молодые, собрались въ приходской церкви. Высокопреосвященный митрополитъ Филаретъ, другъ князя А. Н. Голицына, отдалъ послѣдній долгъ его старому сотруднику, который пользовался и его благосклоннымъ расположеніемъ. Съ какою глубокою думою во взорахъ нашъ досточтимый Архипастыръ бросилъ послѣднюю горсть земли на закрывшіяся вѣжды. Родныхъ почти никого не было, но лились слезы, слышались рыданія, повторялись имена добраго человѣка, благодѣтеля. Да—онъ точно былъ добрый человѣкъ, въ полномъ смыслѣ слова“<sup>192</sup>). Тѣло его погребено въ Московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

Сохранилось любопытное письмо митрополита Филарета къ своему лаврскому намѣстнику Антонію, свидѣтельствующее объ отношеніяхъ его къ почившему собрату. „Благодарю за сообщеніе“, писалъ Митрополитъ,—„молвы, будто около меня собираются недовольные. И ложныя подозрѣнія лучше отстранять, если можно. Слово неудовольствія, надѣюсь, никто не слыхалъ отъ меня, потому что и мысли у меня, по благости Божіей, не таковы. Но и небывшее скажутъ, и сказкѣ повѣрять по людямъ, вводимымъ въ сказку. Меня озабочивало и прежде, а теперь болѣе, что ко мнѣ ходитъ А. И. Турге-

невъ, котораго я сталъ принимать въ уваженіе благорасположенія къ нему князя А. Н. Голицына, а онъ представилъ мнѣ человѣка два, ему знакомыхъ, людей любознательныхъ. Они были у меня по разу, или одинъ дважды. У нихъ есть мудрованіе не политическое, а ученое: кто знаетъ, не полагаютъ ли въ нихъ, чего я не примѣчаю и не знаю? Хорошо, что болѣзнь помогаетъ мнѣ почти до поста провести время затворнически; потомъ, надѣюсь, постъ поможетъ“<sup>133</sup>).

Въ самый день погребенія Тургенева Погодинъ получилъ слѣдующее письмо отъ Коштова:

„Сейчасъ въ церкви узналъ я, что дружба ваша къ покойному Александру Ивановичу хочетъ посвятить памяти покойнаго нѣсколько строкъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. Беру смѣлость сообщить вамъ то, что я имѣлъ счастье знать о прекрасной душѣ Александра Ивановича.

„Когда онъ жилъ у насъ въ Москвѣ, ни одно воскресенье не пропустилъ онъ безъ того, чтобы въ 9 часовъ утра не явиться на Воробьевыхъ горахъ въ замкѣ пересыльныхъ арестантовъ; тамъ онъ видѣлъ до шестисотъ человѣкъ всякій разъ, со всѣми почти разговаривалъ, спрашивалъ и съ запальчивостью юноши устремлялся ходатайствовать за тѣхъ, о спасеніи которыхъ имѣлъ малѣйшую надежду, передъ кѣмъ бы то ни было онъ готовъ былъ ходатайствовать, писать къ министрамъ, ѣхать ко всѣмъ сенаторамъ. Не было препятствій для человѣколюбиваго его сердца. Я почти былъ свидѣтелемъ, какъ одинъ управляющій (подъячій) выгналъ Александра Ивановича изъ своей комнаты, и, не смотря на это, онъ былъ у него послѣ этого болѣе десяти разъ и своимъ упорствомъ спасъ крестьянку, сославшуюся по волѣ управляющаго въ Сибирь. Я имѣлъ отъ него порученіе откупить нѣсколько подобныхъ, внося помѣщикамъ деньги, данныя мнѣ Александромъ Ивановичемъ, и освобождать отъ ссылки уже почти сосланныхъ ихъ владѣльцами. У меня хранится переписка его съ княземъ Н. И. Трубецкимъ и письма сего послѣдняго изъ Парижа, гдѣ онъ сначала отказывался, по-



томъ соглашался на прощеніе одной женщины, ссылавшейся въ Сибирь, на возвращеніе ея въ первобытное состояніе. Всякое воскресенье онъ напутствовалъ выѣзжающихъ арестантовъ до ста пятидесяти человѣкъ и давалъ каждому по четвертаку; для дѣтей привозилъ онъ конфеты, яблоки, пирожки и теплыя фуфайки; цѣлую недѣлю потомъ онъ хлопоталъ объ отысканіи родственниковъ вновь прибывшихъ арестантовъ и имѣвшихъ пробить недѣлю и убѣждалъ ихъ проститься съ своими ссыльными родными; просилъ господъ отпустить для сего своего слугу на цѣлый день на Воробьевы горы. Три раза въ недѣлю обѣдывалъ я съ нимъ у свѣтлѣйшаго Голицына, и между каждымъ блюдомъ у него была просьба; чрезъ посредство Свѣтлѣйшаго онъ откупилъ у одного помѣщика до шести женщинъ, которымъ жизнь была несносна. Однажды на Арбатѣ увидѣлъ онъ одного крестьянина, везущаго дрова, и котораго лошаденка стала. Тургеневъ узналъ отъ него, что онъ везъ уже дрова назадъ съ рынка, что ему не дали ту цѣну, которую велѣно было взять, и что онъ долженъ везти назадъ. Тургеневъ останавливаетъ его, вбѣгаетъ въ близъ находившійся знакомый ему домъ, упрашиваетъ хозяйку купить у него возъ дровъ, и разумѣется, весьма выгодно продаетъ дрова своего мгновеннаго кліента. Однажды увидѣвъ плачущую женщину на улицѣ, онъ узналъ о ея несчастіяхъ и на другой день уже умолялъ Свѣтлѣйшаго о принятіи участія въ ея участи, и она была спасена. Въ минувшее воскресенье по безснѣжной дорогѣ явился онъ на Воробьевыхъ горахъ и такъ сказать простился съ тѣмъ мѣстомъ, къ которому такъ сердечно былъ привязанъ. Я два года съ половиною завѣдывалъ замкомъ, и, когда Тургеневъ бывалъ здѣсь, я былъ свидѣтелемъ и исполнителемъ его пламенныхъ порывовъ къ утѣшенію, успокоенію и часто спасенію погибавшихъ. Особенно заботился онъ объ дѣтяхъ, какъ трогательно онъ баловалъ ихъ.

„Вотъ, милостивый государь Михаилъ Петровичъ, и моя лепта въ богатый даръ, который вы подарите друзьямъ Тур-

генева. Знаю, что имя его для васъ дорого, а душа его вамъ любезна и память драгоцѣнна. Простите несвязности сихъ строкъ—то, что вспомнилъ, то и написалъ—а сердце ваше ручается мнѣ, что вы простите мое дерзновеніе. Отъ сердца скажу, что уповаю, что много помогутъ душѣ раба Божія Александра при прохожденіи мытарствъ воздушныхъ дѣла его; много дѣлъ будетъ, которыя представятъ его Ангелъ Хранитель какъ искупленіе за можетъ быть нѣкоторые грѣхи его, и онъ пройдетъ путь трудный, и Господь успокоитъ въ мѣстѣ свѣтлѣ. Съ этими мыслями и съ этою вѣрою проводилъ я его гробъ“ <sup>194</sup>).

Хомяковъ съ грустью писалъ Ю. О. Самарину: „Вы знаете уже о смерти Тургенева. Жаль и его. Много милаго, добраго и любящаго было въ его душѣ. Его Европейское сплетничанье было не бесполезно и не безъ достоинства; а любовь его къ такимъ людямъ какъ Неандеръ и др., доказываетъ, какъ сильно въ немъ было сочувствіе со всякою духовною жизнію, хотя самъ онъ не могъ никогда углубиться въ себѣ“ <sup>195</sup>).

Оберъ-полиціймейстеромъ въ Москвѣ въ это время былъ И. Д. Лужинъ. Старшій сынъ Погодина въ своихъ недавно напечатанныхъ мемуарахъ заявляетъ: „Помню я изрѣдка на нашихъ вечерахъ на Дѣвичьемъ полѣ красавца-генерала. Появленіе его производило на всѣхъ одинаково непріятное впечатлѣніе, всѣхъ какъ будто передергивало, и слышался шепотъ: „принесла таки нелегкая“. Это былъ И. Д. Лужинъ, Московскій оберъ-полиціймейстеръ, личность сама по себѣ крайне добрая и безвредная. Ходили слухи, что къ первой его женѣ, Ховриной, былъ неравнодушенъ знаменитый Герценъ; но въ то время Лужинъ уже былъ женатъ вторично на Орловой-Денисовой, считавшейся первой красавицей Москвы, и только связями удерживался на мѣстѣ, въ то время очень шаткомъ“. Болѣе благосклонный и, смѣемъ думать, болѣе справедливый отзывъ о И. Д. Лужинѣ мы находимъ въ письмѣ А. О. Смирновой къ Гоголю: „Лужинъ удивительный поли-

ціймейстеръ; Москва отдыхаетъ послѣ Цынскаго. Лужинъ такъ добръ и благороденъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и строгъ, и правствененъ во всѣхъ отношеніяхъ. Дай Богъ ему силы надолго, но и онъ при всей своей силѣ тѣлесной и при всемъ спокойствіи душевномъ устаетъ и страдаетъ“ <sup>186</sup>).

Какъ бы то ни было самъ М. П. Погодинъ поддерживалъ хорошія отношенія съ этимъ добрымъ и почтеннымъ человѣкомъ, и его участіе въ охраненіи драгоценныхъ бумагъ, оставшихся послѣ смерти Тургенева, заслуживаетъ искренней признательности потомства. На другой же день послѣ погребенія Тургенева Мельгуновъ писалъ Погодину: „Сейчасъ видѣлся я съ Иваномъ Дмитріевичемъ Лужинымъ, который пригласилъ меня въ *сѣдующее воскресенье, въ часъ пополудни*, пересмотрѣть *при немъ* бумаги Тургенева. Я намекнулъ ему о тебѣ, и онъ поручилъ мнѣ просить тебя отъ его имени помочь разобрать бумаги. Вообще онъ предоставилъ мнѣ выборъ лицъ для разсмотрѣнія архива покойнаго: не пригласить ли Шевырева? При этомъ будутъ тоже, вѣроятно, и родственники Тургенева. Заѣзжай, пожалуйста, ко мнѣ, часовъ въ 12, или лучше—прямо въ Нефедьевой, потому что я буду у нея у обѣдни; даже пріѣзжай къ ней къ обѣдни, коли хочешь; тутъ мы потолкуемъ о многомъ“ <sup>187</sup>).

---

## XXXII.

На другой же день похоронъ А. И. Тургенева въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появился статья Погодина подъ заглавіемъ *Въ память объ Александрѣ Ивановичѣ Тургеневѣ*. „Декабря 3“, писалъ онъ, — „въ шестомъ часу послѣ обѣда скончался въ Москвѣ тайный совѣтникъ, камергеръ, Александръ Ивановичъ Тургеневъ, къ живѣйшему прискорбію всѣхъ, кто его зналъ... А кто его не зналъ — въ Москвѣ, въ Петербургѣ, въ Европѣ? Лордъ Брумъ зналъ его такъ же, какъ митрополитъ Филаретъ, Шеллингъ любилъ его не меньше мадамъ Рекамье, маркизъ

Ландсдаунъ, какъ Неандеръ, Гизо, Шатобріанъ. Во всей Европѣ былъ онъ какъ дома, у себя. А дома — Карамзинъ причислялъ его къ искреннимъ друзьямъ своимъ; Жуковскій посвящалъ ему первые опыты и послѣдніе подвиги; Пушкина записывалъ онъ въ Лицей, и онъ же проводилъ въ уединенную могилу въ Псковскомъ Снѣтогорскомъ монастырѣ. Надо было приобрѣсть такое значеніе, надо было заслужить такое уваженіе и такую дружбу! Бросимъ бѣглый взглядъ на его жизнь, сколько въ первыя минуты, среди горестныхъ ощущеній, можемъ привести себѣ на память.

„Тургеневъ родился въ осмидесятыхъ годахъ въ Симбирскѣ, воспитывался въ Москвѣ, въ знаменитомъ нѣкогда Университетскомъ пансіонѣ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, Дашковымъ, Кайсаровыми, Родзянками. Здѣсь первоначально развилась въ немъ, какъ и въ его товарищахъ, благотворная любовь къ Русскому языку и Русской Словесности. Тогда же завели они, вмѣстѣ съ Мерзляковымъ, литературное общество, которое собиралось у Воейкова въ его домѣ на Дѣвичьемъ полѣ. По окончаніи ученія въ пансіонѣ Александръ Ивановичъ съ братьями былъ отправленъ отцемъ, образованнѣйшимъ членомъ своего времени, въ Геттингенскій Университетъ, гдѣ и выслушалъ курсъ, занимаясь науками историческими и политическими. Послѣ курса онъ совершилъ путешествіе вмѣстѣ съ Кайсаровымъ по Словенскимъ землямъ и собралъ грамматики и словари всѣхъ нарѣчій. Съ отличнымъ свидѣтельствомъ Шлецера явился молодой Тургеневъ въ Петербургъ, въ первые годы царствованія Императора Александра, и многіе министры, между прочими князь Чарторижскій и Новосильцовъ, наперерывъ старались убѣдить его ко вступленію въ службу подъ ихъ начальство. Тургеневъ поступилъ въ Комиссію составленія законовъ, гдѣ и началъ заниматься съ большою ревностію и успѣхомъ. Способности его вскорѣ обратили на себя вниманіе; онъ получалъ безпрестанно важныя порученія, и наконецъ исправлялъ, кажется, должность статсъ-секретаря въ Государственномъ Совѣтѣ, принимая

участіе во многихъ законодательныхъ работахъ того времени. Съ 1813 года Тургеневъ приблизился къ покойному князю Александру Николаевичу Голицыну и назначенъ былъ директоромъ Департамента Духовныхъ дѣлъ. Знаменитое преобразование духовныхъ училищъ 1814 и слѣдующихъ годовъ совершено было съ его непосредственнымъ участіемъ.

„Такъ шла его служба, но въ свободное отъ дѣлъ время науки оставались любимымъ его занятіемъ. Карамзинъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ писать Исторію, всѣ нужныя для себя книги получалъ посредствомъ Тургенева, который посылалъ ему инны даже безъ его указанія, и тѣмъ содѣйствовалъ очень много успѣху его труда. Въ 1816 году старые Московскіе товарищи, собравшіеся въ Петербургъ, устроили опять, для своего отдохновенія и увеселенія, литературное общество, подъ названіемъ Арзамаса. Тургеневъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, Дашковымъ, Уваровымъ, Блудовымъ, Батюшковымъ, княземъ Вяземскимъ, былъ дѣятельнымъ его членомъ. Въ 1824 г. князь Голицынъ уволенъ былъ отъ Министерства; Тургеневъ оставилъ также дѣятельную службу, и съ 1825 г. жилъ большею частію въ чужихъ краяхъ, пріѣзжая по временамъ въ Отечество. Впрочемъ онъ продолжалъ служить и тамъ, собирая матеріалъ для Русской Исторіи въ Архивахъ Римскихъ, Парижскихъ, Лондонскихъ. Труды его приняты были съ Высочайшимъ благоволеніемъ, и два тома древнихъ грамотъ напечатаны уже Археографическою Коммиссіею. Драгоцѣнныя донесенія иностранныхъ резидентовъ о царствованіяхъ Петра I, Екатерины I, Петра, II, Анны и Елизаветы, вѣроятно, также будутъ напечатаны, къ чести Тургенева, и прольютъ свѣтъ на эту часть нашей Исторіи, извѣстную теперь только по газетнымъ и официальнымъ бумагамъ. Впродолженіе этихъ двадцати лѣтъ пребыванія своего за границею, Тургеневъ, жаркій поклонникъ ума, дарованій и славы, гдѣ бы они ни являлись, составилъ свое блистательное знакомство, какого, разумѣется, не имѣлъ никто, нигдѣ и никогда. Французы знакомы только между собою; о



Нѣмцахъ нельзя сказать и этого. Кругъ связей Англійскихъ бываетъ также очень тѣсенъ. Тургеневъ былъ пріятелемъ и посредникомъ всѣхъ Европейскихъ знаменитостей: *c'était l'homme le plus répandu* (позволяю себѣ иностранное выраженіе въ характеристикѣ Европейскаго человѣка). Французскіе министры повѣряли ему опасенія о судьбѣ своихъ министерствъ, Англійскіе толковали съ нимъ о преобразованіи парламента; Нѣмецкимъ профессорамъ доставлялъ онъ свѣдѣнія о коммунизмѣ, Французскимъ аббатамъ привозилъ онъ труды Православія, а членамъ нашего Синода рассказывалъ о произведеніяхъ новой Нѣмецкой школы.

„Во всѣхъ Европейскихъ обществахъ онъ былъ представителемъ Русскаго ума, Русской смѣтливости, шутливости, ироніи, и вообще поддерживалъ вездѣ славу Русскихъ способностей. Похожденія свои онъ описывалъ въ особой хроникѣ, которую печатали отрывками въ *Современникъ* и *Москвитянинъ*, подписываясь Эоловой Арфой, именемъ, принятымъ въ обществѣ Арзамаса.

„Дѣлать добро—было пищею его человѣколюбивой души, самымъ лучшимъ наслажденіемъ его нѣжнаго сердца. Ничѣмъ нельзя было одолжить его столько, какъ доставленіемъ случая подать кому-нибудь помощь. Онъ не скучалъ никогда никакими просьбами и не разбиралъ, основательны онѣ или нѣтъ. Чловѣкъ *проситъ*—этого было для него уже довольно, по замѣчанію его товарища, столь же человѣколюбиваго, доктора Газа, онъ думалъ только о томъ, какъ бы удовлетворить его просьбу. Онъ былъ нѣжнѣйшимъ родственникомъ, и для родства жертвовалъ всѣмъ, чѣмъ могъ, имѣніемъ, годами, почестями, удовольствіями. Чувствительность у него была дѣтская. Шестидесяти лѣтъ онъ часто разливался слезами при какомъ-нибудь горестномъ воспоминаніи или извѣстии о несчастіи ближняго. Нечего говорить о безкорыстіи на службѣ. Жалованье и филантропическій оброкъ съ наслѣдственныхъ крестьянъ—составляли всѣ его доходы; онъ при-

надлежалъ къ числу людей, увы! ежеминутно рѣдѣющему, которые проживаютъ на службѣ, а не наживаютъ.

„Это объ его сердцѣ. Скажемъ теперь о прочихъ его свойствахъ. Тургеневъ былъ ревностнымъ сыномъ Европейской цивилизаціи; просвѣщеніе, законная свобода, право были его кумирами. Проживъ столько времени въ чужихъ краяхъ, онъ заимствовалъ многія западныя привычки, кои сдѣлались его *второю натурою*, хотя и оставался онъ Русскимъ въ душѣ.

„Его недостатки... Но у кого ихъ нѣтъ? Не станемъ искать ихъ хоть въ покойникахъ, хоть въ первыя минуты горестной утраты. Они найдутся безъ насъ. Пожелаемъ лучше, посвящая усопшему брату горячую слезу дружбы и памяти, помолимся христіански, *о еже проститися ему вся его прегрѣшенія, вольная и невольная, яже словомъ, яже дѣломъ, помышленіемъ, въ вѣдѣніи и невѣдѣніи*“...<sup>198)</sup>

По напечатаніи этой статьи Погодинъ посѣтилъ графа С. Г. Строганова, и вотъ что записалъ въ своемъ *Дневникѣ* объ этомъ свиданіи (10 января 1846): „Къ Строганову. Принялъ очень ласково, и жалъ мнѣ, что я опять говорилъ съ нимъ. Ругаетъ Тургенева, и говоритъ, что я причинилъ себѣ стыдъ этой статьей. Я раздѣляю этотъ стыдъ съ Карамзиннымъ, Жуковскимъ и проч.“.

Задушевные строки Погодина о Тургеневѣ произвели впечатлѣніе даже на Западниковъ. „Былъ по утру Мельгуновъ и сказывалъ, что даже Герценъ восхищается статьею о Тургеневѣ“<sup>199)</sup>. Получивъ оттискъ, Мельгуновъ писалъ Погодину: „Благодарю за брошюру. Одинъ экземпляръ отправленъ сегодня утромъ въ Парижъ. Прочіе разошлю также. Кромѣ похвалъ твоей брошюры, я ничего не слышалъ. Особенно *Западные* ея очень довольны. Герценъ нѣсколько разъ при мнѣ хвалилъ ее другимъ; Коршу, Кавелину, Кетчеру она также очень нравится. Менѣе или по крайней мѣрѣ не такъ безусловно нравится она нѣкоторымъ изъ *Восточныхъ*. Того, будто въ ней слишкомъ много похвалы, я не слышалъ. А говорятъ, что портретъ не очерченъ довольно полно; что это

Тургеневъ нѣсколько идеализированный. Слышалъ я одного, который приводитъ какое-то стихотвореніе Бориса Оедорова: *Портретъ Александра Тургенева*, когда-то и гдѣ-то напечатанное стихотвореніе, разумѣется, безъ поэтическаго достоинства, но замѣчательное по вѣрности. Я этого стихотворенія не знаю, и потому не могу судить. Что-то скажутъ о твоей статьѣ въ Парижѣ! Я отсюда просилъ біографическихъ подробностей о покойномъ: вѣдь Шевыревъ хочетъ также написать біографію его для *Москвитянина*. Надо бы собрать письма Тургенева къ Вяземскому, Свербеевой, etc., то-есть, тѣ циркуляры, которые онъ писалъ къ друзьямъ своимъ“. Товарищъ и другъ Тургенева, А. Я. Булгаковъ, получивъ отъ Погодина оттискъ, писалъ ему: „Чувствительно васъ благодарю, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, за драгоценный подарокъ, а еще болѣе за память обо мнѣ при такомъ случаѣ. Я читалъ съ тронутымъ сердцемъ статью эту же въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, а ежели не было бы и именъ, то всякій сказалъ бы: *оплакиваютъ Александра Тургенева, а писалъ это Поюдинъ*, писалъ *con amore*, потому что покойный Тургеневъ прививалъ всякому это чувство. Я писалъ уже два раза Жуковскому послѣ нашей горестной утраты, но буду и сегодня писать, чтобы послать ему вашу трогательную статью“<sup>200</sup>).

Отозвался Погодину по поводу некролога Тургенева и Иванчинъ-Писаревъ: „Увѣдомьте меня, гдѣ вы напечатали свое *Похвальное Слово Карамзину*. Я смѣю надѣяться, что вы не обойдете экземпляромъ того, кто первый изъ Россіянъ принесъ ему дань благодарности отъ лица Россіи... Я лишился двухъ пріятелей: А. И. Тургенева, котораго вмѣстѣ съ Жуковскимъ еще зналъ пансіонеромъ Московскаго благороднаго пансіона, а послѣ сблизился съ нимъ въ обществѣ И. И. Дмитріева, Глудова, Дашкова, да князя Н. Г. Щербатова, съ которымъ дѣлилъ удовольствія своей охоты къ художественнымъ предметамъ“.

Съ своей стороны и Жуковскій, получивъ отъ Булгакова



извѣстіе о кончинѣ Тургенева, писалъ своему ровеснику и другу: „Милый другъ, душевно благодарю тебя за то, что ты о мнѣ вспомнилъ въ такую горькую для обоихъ насъ минуту. Вотъ и еще одинъ дорогой товарищъ жизни меня оставилъ, и онъ изъ всѣхъ былъ самый давнишній. По старшинству глѣть надлежало бы мнѣ пойти впередъ, но Богъ милостивъ со мною, такъ недавно окруживъ меня моимъ особеннымъ міромъ... Онъ выбралъ изъ нашего круга одного изъ самыхъ усталыхъ и послалъ ему смерть какъ награду, быструю, безъ страданія, и даже христіански-приготовленную, какого приготовления къ смерти можно желать лучше этихъ часовъ, проведенныхъ подъ зимнею вьюгою, посреди бѣдныхъ ссыльныхъ для раздачи имъ помощи, предварительно собранной Христа ради? Смерть удивительно и быстро знакомитъ съ истиннымъ бывшимъ человѣкомъ: теперь, когда думаю о немъ, вижу одну младенческую душу безъ пятна... Все мелочное осыпалось какъ пыль; одно доброе, истинно прекрасное сіяетъ передъ умиленнымъ сердцемъ. Это мелочное принадлежало жизни, это прекрасное съ нимъ на всю вѣчность. Я считаю великимъ для себя счастьемъ, что онъ, въ послѣднее время, ведя такъ давно кочевую жизнь въ Европѣ, отдохнулъ и два раза подъ моей семейной кровлею, гдѣ было ему очень привольно... Смерть его была для насъ общимъ родственнымъ горемъ. Вчера я послалъ къ его брату Николаю Ивановичу письмо *предупредительное*, дабы не вдругъ ударить по сердцу его страшнымъ извѣстіемъ... Помогли ему Богъ сладить съ новою бѣдою!.. Поручаю тебѣ сказать мое душевное почтеніе Александрѣ Ильинишнѣ Нефедьевой: Богъ послалъ ей великое утѣшеніе, даровавъ возможность закрыть глаза нашему другу. Думаю, что я вполне понимаю ея теперешнее чувство; и я всѣмъ сердцемъ дѣлю его: оно болѣе умиленное, нежели тяжелое и горькое“.

По полученіи же отъ Булгакова статьи Погодина о Тургеневѣ, Жуковский писалъ: „Благодарю тебя, мой милый, за статью Погодина. Въ ней есть хорошее, потому что она написана съ

доброжелательствомъ и убѣжденіемъ. Но она, какъ все, что пишеть Погодинъ, аляповата. Въ Погодинѣ нѣтъ никакого такта. Я бы желалъ, чтобы Вяземскій написалъ о нашемъ добромъ отшедшемъ. Въ смерти есть что-то магическое. Сорвавъ съ души тѣло и бросивъ его въ гробъ, она вдругъ, какъ будто снова, но совершенно знакомить съ душою, отъ которой все, что не она, вдругъ отдѣлилось и отпало. Такъ и здѣсь. Мнѣ такъ ясно, такъ вполне видится его прекрасная, добрая, высокая душа, не омраченная никакою дурною примѣсью, всегда готовая на добро, всегда полная участія, до конца сохранившая свою чистоту и свое благородство... Самые недостатки его имѣли источникъ добрый, и кого, и когда-нибудь оскорбляли его недостатки? Онъ былъ конечно между нами наилучшій... Я бы желалъ, чтобы Вяземскій посвятилъ памяти друга перо свое; я бы желалъ, чтобы онъ написалъ о немъ безъ *приготовленія*, какъ скажетъ сердце, что придетъ въ умъ въ первую минуту. Пускай онъ напишетъ о немъ во мнѣ — я увѣренъ, что онъ скажетъ все и скажетъ какъ никто; и что неуловимая фізіогномія ума Тургенева и весь чистый олимпіамъ его души сбережется вполне для его любившихъ“.

Это желаніе друга своего князь П. А. Вяземскій исполнилъ только черезъ тридцать лѣтъ и въ *Русскомъ Архивѣ* 1875 года начерталъ намъ чудный образъ Александра Ивановича Тургенева, въ которомъ, по желанію Жуковскаго, *неуловимая фізіогномія ума Тургенева и весь чистый олимпіамъ его души сбережены вполне для его любившихъ современниковъ и потомства*“ <sup>201</sup>).

Обратимся теперь въ личной жизни Погодина.

6 ноября 1845 года исполнился годъ съ того рокового дня, когда скончалась его супруга Елизавета Васильевна. На канунъ этого дня онъ читалъ Псалтирь и Евангеліе отъ Маттея и „думалъ, думалъ о ней“. Въ этотъ же день пріѣхалъ въ Москву, проѣздомъ въ Петербургъ, П. А. Кулѣшъ и остановился у Погодина, который въ своемъ *Дневникѣ* записалъ слѣдующее: „Пріѣхалъ Кулѣшъ и просилъ Малорос-

сійской Лѣтописи. Пригласилъ остановиться у себя, чтобы разсмотрѣть ее. Нашелъ онъ тамъ прекрасныя вещи. Не хотѣлось мнѣ, чтобы онъ легъ спать въ кабинетѣ, какъ будто для того, чтобы не помѣшать явленію Лизы, которую я всегда ожидаю. Но въ другой комнатѣ холодно. Дѣлать нечего. Я не ложился спать до часа ея кончины, до 3-го". На другой день Погодинъ былъ у обѣдни, причастилъ дѣтей и слушалъ панихиду <sup>202</sup>).

Между тѣмъ Кулѣшъ, погостивъ у Погодина нѣсколько дней, уѣхалъ въ Петербургъ и тамъ пріютился у П. А. Плетнева, который доставилъ ему, кромѣ лекторства въ Университетѣ, мѣсто старшаго учителя Словесности въ пятой гимназій съ жалованьемъ въ тысячу рублей сер. въ годъ. Изъ Петербурга Кулѣшъ писалъ Погодину (24 ноября 1845): „Мнѣ очень совѣстно передъ вами, что я не могъ доставить вамъ для *Москвитянина* письма Грабовскаго о Гоголѣ; а не могъ я доставить вамъ его потому, что лишь только перевелъ и показалъ Петру Александровичу, Петръ Александровичъ послалъ его въ типографію и велѣлъ набирать; послѣ уже онъ хотъ и узналъ, что это письмо обѣщано мною вамъ, но брать назадъ изъ типографіи было неловко. Въ замѣну того посылаю вамъ отрывокъ изъ моего романа, замѣчательный въ томъ отношеніи, что представляетъ картину старинныхъ Украинскихъ обычаевъ, основанную на прилежномъ изученіи старины. Покорнѣйше прошу васъ не выпускать ни одного примѣчанія. Пусть меня упрекаютъ въ педантизмъ, но я имѣю свои резоны (ахъ! извините за иностранныя слова!) Будьте такъ добры, Михайло Петровичъ, велите переписать означенныя мною въ Лѣтописи Велички мѣста и сообщите мнѣ. Это послужитъ мнѣ и для романа, и для многихъ другихъ занятій. Если хотите, я напишу статью объ Украинскихъ лѣтописяхъ для *Москвитянина*. Въ Петрѣ Александровичѣ я нашелъ почтеннѣйшаго и добрѣйшаго человѣка“ <sup>203</sup>).

1845 годъ Погодинъ провожалъ одинъ „грустно и печально послѣ рокового 1844“. Обращаясь къ себѣ, онъ отмѣтилъ въ

своемъ *Дневникъ*: „Написалъ Слово Карамзину. Нѣсколько статей: къ Юношѣ, За Старину, о Тургеневѣ, отвѣтъ Максимовичу, письмо изъ Симбирска. Кончилъ печатаніемъ третій томъ. Написалъ разборъ всѣхъ произведеній Скептической школы. Это мои труды. А чувствованія: все неудовольствія и огорченія отъ Бодянского, Соловьева, не говорю впрочемъ и о такъ называемыхъ друзьяхъ. Господи, благодарю тебя! Другъ мой! Поздравляю тебя. Господи Иисусе Христе Сыне Божій,<sup>1</sup> помилуй мя грѣшнаго . . . и ея“<sup>204</sup>).

---

### XXXIII.

Мы уже знаемъ, что постигшія Погодина скорби все болѣе и болѣе развивали и укрѣпляли въ его душѣ, всегда присущее ей релігіозное чувство, и онъ сталъ смотрѣть на свои ученыя занятія съ высшей христіанской точки зрѣнія. „Давно вы поручили мнѣ,“ писалъ ему Горскій, — „выписать для васъ какое-нибудь пособіе къ чтенію Св. Писанія. Я рѣшился доставить вамъ переводъ и краткія объясненія на Ветхій и Новый Завѣтъ католическихъ ученыхъ Шольца и Дрезера. Правда съ филологической стороны трудъ ихъ далекъ отъ совершенства, ихъ желаніе было помочь читателю — безъ дальнихъ изслѣдованій и разысканій; многія возраженія и перетолкованія позднѣйшаго времени у нихъ не разрѣшаются, потому что не встрѣчались ранѣе, или не часто. Но мнѣ казалось, что вы и не желали входить во всѣ тонкости ученыхъ доказательствъ и опроверженій, а желали видѣть, что говоритъ само слово Божіе, а не что говорятъ вѣрующіе или не вѣрующіе ученые. Для внимательнаго и безпристрастнаго читателя оно всегда имѣло и имѣетъ силу и свѣтъ, — лишь бы можно было его выразумѣть. Нынѣ, какъ поетъ церковь, Слово рождается, Мудрость происходитъ. Да будетъ же, во славу Предвѣчнаго Слова и Божіей Премудрости, угодно вашей душѣ это мое приношеніе — даръ того же Слова.



Книжникъ Христова Царствія, по слову Христову, подобенъ чловѣку домовиту, *уже износитъ отъ сокровища своего ветхая и новая*. Наше сокровище—Слово Божіе; въ немъ ветхое, въ немъ и новое. Желая и молю Господа, да содѣлаетъ васъ своимъ домовитымъ приставникомъ въ малой домашней церкви вашей, и въ обществѣ, на которое вы дѣйствуете. Примите, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, и это приношеніе, и эти желанія, какъ слабый знакъ глубочайшей признательности моего сердца за ваше дружеское ко мнѣ расположеніе, за ваше возбужденіе и ободреніе въ трудахъ и радушное содѣйствіе всякому усилю—быть полезнымъ для другихъ, за множество вашихъ благодѣяній мнѣ, ничѣмъ не заслужившему ихъ“. Въ то же время и Иннокентій писалъ Погодину: „Любопытно... ваше чтеніе Библіи. Но какой переводъ у васъ въ рукахъ? Не мудрено, что впечатлѣніе не то, какого на первый разъ ожидалось. Библія долгій путь—кругомъ свѣта—тутъ и мели, и горы, и рѣки, и моря—результатъ въ концѣ“.

Въ томъ же выше приведенномъ письмѣ Горскаго мы читаемъ: „Обѣщанныя мною замѣчанія на книгу: *Введеніе въ Исторію Церкви Русской* \*) и теперь еще не готовы. Да не знаю, и можно ли будетъ все сдѣлать извѣстнымъ для всѣхъ. Для себя я занимаюсь разборомъ, какъ могу и сколько могу, готовъ сообщить вамъ свои замѣчанія. Но положеніе дѣлъ нашихъ церковныхъ и мое личное положеніе не позволяютъ говорить печатно, что по совѣсти ученый можетъ и долженъ сказать въ своемъ кабинетѣ“.

Съ братомъ Т. Б. Потемкиной, княземъ Н. Б. Голицынымъ, Погодинъ завелъ даже богословскую переписку. Изъ этой переписки уцѣлѣло нижеслѣдующее письмо князя Голицына: „Возвращаю вамъ письмо, которое я прочиталъ съ большимъ вниманіемъ. Въ немъ, точно, приводятся все тѣ же доводы, которыми католики вооружаются противъ насъ, но чтобы като-

---

\*) Макарія, вполнѣдствіи митрополита Московскаго и Коломенскаго.

лики не возобновляли ихъ болѣе, необходимо ихъ сокрушить силою логики, фактовъ и текстовъ Св. Писанія. Стурдзѣ, болѣе нежели всякому другому, слѣдовало бы выступить на бой, тѣмъ болѣе, что настоящее письмо направлено противъ его книги (которой я не читалъ). Все, что я могъ возразить, изложено въ довольно пространнхъ замѣчаніяхъ, отосланныхъ мною Андрею Николаевичу Муравьеву по поводу его *Римскихъ писемъ*. Рукопись моя у него, и черновой у себя я не оставилъ. Но результатъ всего, какъ я вамъ докладывалъ, есть тотъ, что Россія, принявшая христіанство, послѣ раздоровъ съ Фотіемъ, когда мирныя сношенія были совершенно восстановлены между Востокомъ и Западомъ, не могла нарушить и впослѣдствіи никогда не нарушала единства; слѣдовательно православіе и чистота вѣры принадлежность Россійской церкви *ipso facto*. Но, чтобы составить себѣ понятіе о родѣ сношеній, который долженствовалъ бы существовать между Римомъ и Россіею, надлежало бы обратиться къ тому времени, когда эти раздоры прекратились, то-есть, къ концу IX вѣка, и вникнуть въ новое положеніе дѣлъ, которое тогда образовалось, въ какомъ духѣ и въ какихъ выраженіяхъ возобновились первыя сношенія Востока съ Римомъ вслѣдъ за восстановленіемъ мира. На 387—389 страницахъ прилагаемой исторіи патріарха Фотія можно видѣть, въ какихъ взаимныхъ отношеніяхъ были тогда Византійская и Римская каеодры, но дальнѣйшее обсужденіе этого предмета повлекло бы такъ далеко, что никакая цензура не позволила бы напечатать результата изысканій. Прискорбно видѣть, что у насъ нѣтъ никакого *искренняго* расположенія къ примиренію церквей. Предубѣжденія и предрасудки препятствуютъ къ достиженію этой благой цѣли. По мнѣнію моему, это было бы дѣломъ вовсе не такъ труднымъ, какъ предполагаютъ. Все существующее осталось бы *in statu quo*; а чрезъ духовно-дипломатическія сношенія скоро убѣдились бы, что вѣроисповѣданіе то же самое, ограничили бы навсегда предѣлы духовнаго владычества каждой патріархальной каеодры, съ сохраненіемъ

для Римской непреложнаго правила *primus inter pares*, и миръ былъ бы восстановленъ. Время, когда это сбудется определено въ совѣтахъ Предвѣчнаго, а намъ суждено только молиться о соединеніи церквей не устами, а сердцемъ. Замячанія, которыя я сообщилъ А. Н. Муравьеву, суть плодъ изысканій, которымъ я предался съ 1814 года; о напечатаніи оныхъ и рѣчи быть не можетъ, хотя я ссылаюсь только на факты и на логическіе доводы. Я желалъ, чтобы кто-нибудь изъ нашихъ богослововъ возразилъ бы *долго* сочинителю Исторіи Фотія, въ которой вы найдете неслыханныя цитаты, какъ, напримѣръ, приписываетъ онъ Златоустому слѣдующее изреченіе, говоря о Св. Духѣ: „*Hic est Spiritus de Patre et Filio procedens, qui dividit propria dona sicut vult*“. Если аббатъ Іегеръ убѣдитъ нашихъ богослововъ, что дѣйствительно Златоустъ это написалъ, то большой шагъ къ соединенію будетъ уже сдѣланъ“.

Будучи въ такомъ благодатномъ настроеніи, Погодинъ съ увлеченіемъ изучалъ творенія нашихъ знаменитыхъ богослововъ и церковныхъ проповѣдниковъ Иннокентія и Филарета. „Съ новымъ годомъ“, писалъ ему Иннокентій, — „да приведетъ онъ вамъ съ собою успокоеніе души и тѣла; ибо вижу изъ писемъ вашихъ, что васъ, кромѣ прежней скорби, еще тревожитъ нѣчто отъ навѣтовъ лукаваго“<sup>205</sup>).

Въ 1846 году, на канунъ Покрова, была принесена въ Харьковъ крестнымъ ходомъ изъ Куряжскаго монастыря чудотворная икона Богоматери Озерянскія. Пребываніе этой святыни въ Харьковѣ дало поводъ Иннокентію произнести нѣсколько проповѣдей<sup>206</sup>). Когда съ этими проповѣдями ознакомился Погодинъ, то въ письмѣ своемъ къ Преосвященному представилъ о нихъ нѣсколько критическихъ замѣчаній. Иннокентій съ признательностью принялъ эти замѣчанія и по поводу ихъ написалъ слѣдующія замѣчательныя строки: „За критику вашу бью челомъ вамъ до земли... По моему, глупъ тотъ, кто не хочетъ слышать суда о себѣ и своихъ произведеніяхъ, будь онъ даже неправильный. Оппозиція вещь чрезвычайно полез-

ная. Безъ нея нѣтъ, говоря языкомъ Веланскаго, популярности. Разумѣется, вы предоставите и мнѣ право сказать слова два противъ, если что покажется не такъ, не по самолюбію авторскому, коего у меня по природѣ весьма мало, а просто или для истины, или для поддержанія дружескаго диспута. Вотъ, напримѣръ, и въ критикѣ вашей *Словъ о Богоматери*, кажется, вы не входите въ положеніе наше; *говорить объ одномъ и томъ же: довольно сказать разъ*. Но вы не вспомнили, что это новое движеніе всенародное, что эта встрѣча почти эпоха у насъ. Какъ же не заняться ею нѣсколько разъ? и чѣмъ въ ней заняться лучше, какъ не Ею же самою. Еслибы вы были здѣсь при сихъ случаяхъ, то это возраженіе, думаю, и не пришло бы вамъ на умъ. *Панибратство съ иконою*. Въ тонѣ изложенія этого нѣтъ. И подобными доводами нравственными наполнены многія поученія и древнія, и новыя. Кажется, вы привыкли къ одному роду поученій, который у насъ господствовалъ (на бѣду) и продолжаетъ господствовать. Но воля ваша, онъ не народный и годится только для ученыхъ. Я самъ когда-то думалъ по вашему, но катедра и опытъ меня переимѣнили. Еслибы вы преподавали Исторію на площади Кремлевской, то у васъ не только бы переимѣнился языкъ, а можетъ быть и многія мысли. *Не повѣрятъ?* Да всюду найдутся невѣрующіе всему. А тутъ порука за говорящаго собственное чувство сердца каждаго. Въ комъ оно есть, а въ народѣ премного, тотъ пріемлетъ *ничто же сумняся*. Да и въ чемъ сомнѣваться? Вѣдь *все это* только частное приложеніе къ случаю общаго вѣрованія о Промыслѣ, что онъ всѣми управляетъ, все направляетъ къ назиданію и пр. И вѣрьте, кто не вѣритъ подобному, тотъ въ глубинѣ не вѣритъ ничему, и вотъ источникъ невѣроятности. Все это однакоже не для того, чтобы доказывать совершенство *Слова*: оно очень обыкновенное, но весьма идущее къ нашему случаю, и народное, а это качество, по моему, должно быть первое въ проповѣдяхъ, и для него можно пожертвовать многимъ“<sup>207</sup>).

Въ концѣ 1846 года Иннокентій прислалъ Погодину двѣ



свои проповѣди, изъ коихъ одна—*Слово оласительное въ недѣлю Сыропустную* на текстъ изъ пророка Исаи: *Гласъ вопіющаго возопій! И рекохъ: что возопію? Всяка плоть сѣно, и всяка слова человѣча, яко цвѣтъ травный. Изше трава и цвѣтъ отпаде, глаголѣ же Бога нашего пребываетъ во вѣки.* Въ этомъ *Словѣ* проповѣдникъ выражаетъ намѣреніе, „во все продолженіе поста бесѣдовать ни о чемъ другомъ, какъ токмо о бренности бытія нашего на землѣ. Смерть и гробъ, могила и тлѣніе: вотъ наши будущіе тексты“. Эта проповѣдь по тогдашнему настроенію Погодина пришлась ему совершенно по сердцу. Другая проповѣдь, присланная Иннокентіемъ, была произнесена въ день *Святыя Троицы и по случаю бывшаго на канунъ, во время всемогущаго бдѣнія, собранія въ театрѣ, для слушанія иностранныхъ искусниковъ пѣнія.* Проповѣдь начинается такими словами: „Гдѣ взять слезъ для оплаканія того, что случилось вчера, во время вечерняго богослуженія? Какъ изобразить стыдъ и сокрушеніе святаго церкви, радость и торжество врага Божія, открытое поклоненіе плоти и крови! Кто бы могъ ожидать сего отъ града просвѣщеннаго? Отъ той части жителей его, которая сливетъ образованнѣйшею?..“ <sup>208</sup>) Желая напечатать эти проповѣди въ своемъ *Москвитянинѣ*, Погодинъ отправилъ ихъ въ Московскую духовную цензуру, и одна изъ этихъ проповѣдей произвела самое благопріятное впечатлѣніе на Горскаго. „Проповѣди, вами присланныя“, писалъ онъ Погодину, — „передалъ въ цензуру и отъ души поблагодарилъ ревностнаго Архипастыря за сильное слово обличенія. Это едва ли не единственный примѣръ въ наши времена. Оно напоминаетъ слово Тихона Воронежскаго противъ праздника Ярилы; но то слово относилось не до такого избраннаго общества, къ какому говорилъ Владыка Харьковскій. Да дастъ и приумножить Господь силу его слова. Желательно бы знать, какъ приняла его паства и произвело, ли оно плодъ въ томъ видѣ, какъ предполагалъ Владыка?“ <sup>209</sup>).

Въ *Москвитянинѣ* Погодинъ помѣстилъ также статью Шевырева объ изданныхъ въ 1844 году *Словахъ и Рѣчахъ Фи-*

ларета <sup>210</sup>). Но эта статья вызвала ѣдки замѣчанія со стороны Загряжскаго, писавшаго Погодину: „Сдѣлай милость, уйми ты Шевырева, онъ помѣшанъ на гніющемъ Западѣ. Теперь и католическое вѣроисповѣданіе ругаетъ. Если онъ и все также хорошо знаетъ какъ Христіанскую религію, онъ просто болванъ. Ну что онъ напуталъ про квіетизмъ, котораго онъ не знаетъ да и понятія малѣйшаго не имѣетъ, а вздумалъ еще нападать на Франциска-де-Саль! Да знаетъ ли онъ болванъ, что это свѣтило въ церкви Христіанской. Онъ есть олицетворенная Марѳа. Суетится, хлопочетъ о многомъ и все безъ толку. Марія ничего не дѣлала, сидѣла у ногъ Іисуса Христа, слушала Слово Его, она-то и избрала благую часть,—вотъ и квіетизмъ“. Слѣдуетъ однако замѣтить, что столь порицаемая статья Шевырева была напечатана съ одобренія самого Филарета, и по поводу ея какъ Шевыревъ, такъ и Погодинъ имѣли не рѣдкія свиданія съ Владыкою <sup>211</sup>).

Скорбный духъ Погодина находилъ великое утѣшеніе и въ изученіи твореній Филарета. Объ этомъ свидѣтельствуеъ *Дневникъ* Погодина, который съ свойственнымъ ему лабонизмомъ записывалъ въ немъ: „Читалъ Филарета. Высокъ“. Въ другомъ мѣстѣ своего *Дневника* Погодинъ записалъ: „Что дѣлать съ одождвающими помыслами. Читалъ Филарета. Читалъ Лѣтописи“. Однажды посѣтивъ Филарета и не будучи имъ принятъ, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Филарету. Не принялъ, хотя у него была карета, и отказа общаго не было. Досадно. Къ Шевыреву и разска- залъ ему. Все какъ-то легче. Гадости литературныя и университетскія“. Вслѣдъ за этою записью Погодинъ возвѣщаетъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Друзья мои! За что, за что вы ругаете меня!“ <sup>212</sup>) Какъ сейчасъ увидимъ, Филаретъ считался съ Погодинымъ и не оставлялъ безъ вниманія его лабоническіе, но въ то же время энергическіе возгласы.

Съ 1845 года митрополитъ Филаретъ избралъ мѣстомъ для своего уединенія Геосиманію. Вотъ что повѣствуетъ самъ

Основатель скита, въ своей бесѣдѣ по освященіи храма Св. Праведнаго Филарета Милостиваго въ Геосиманскомъ скиту: „Мѣсто, гдѣ мы теперь находимся, въ продолженіе шестидесяти лѣтъ знаю, какъ очевидецъ: и сверхъ того, когда пришелъ я сюда въ первый годъ текущаго столѣтія, встрѣтилъ здѣсь ясныя слѣды и воспоминанія прошедшаго столѣтія... Здѣсь былъ домъ изысканаго водчества, который устроениемъ своимъ показывалъ, что онъ назначенъ былъ не для постоянного жительства, а только для лѣтнихъ увеселительныхъ посѣщеній. Здѣсь былъ садъ, въ которомъ растительная природа слишкомъ много страдала отъ искусства, ухищравшагося дать ей образы, ей несродныя... Урочище сіе было украшено для царскихъ посѣщеній. Тогда какъ высота царская смирялась предъ смиреніемъ святаго; тогда какъ благоговѣніе меньшихъ сыновъ преподобнаго Сергія соединялось съ благоговѣніемъ державныхъ въ молитвѣ о спасеніи душъ ихъ и о благѣ царства ихъ; вѣрноподданническая любовь желала проявить себя и въ томъ, чтобы представить царскимъ взорамъ нѣкія черты обычнаго для нихъ благолѣпія и великолѣпія... Вышнія обстоятельства Сергіевой Лавры измѣняются. Ея древнее достояніе вземлетъ отъ нея, и чрезъ то снимаются съ нея многія мірскія заботы. Преподобіе становится не нужнымъ такъ, какъ и невозможнымъ. Здѣшній царскій домъ и садъ дѣлаются мѣстомъ скромнаго отдохновенія наставниковъ и учениковъ духовнаго училища, которое Лавра основала въ своихъ стѣнахъ, на своемъ иждивеніи, во дни своего изобилія. По времени увеселительнаго дома не стало: садъ, уступленный искусствомъ природы, обратился въ лѣсъ. Такимъ образомъ преподобный Сергій достигъ того, что упразднилось здѣсь мірское, допущенное на время; и какъ бы желая вознаградить себя за сіе допущеніе, благоизволилъ, чтобы здѣсь водворилось духовное... Родилась мысль въ уединеніи сего урочища устроить малый храмъ, при которомъ поселилось бы нѣсколько братій, особенно расположенныхъ къ безмолвію и къ болѣе строгому отреченію отъ

своихъ желаній и собственности, и въ которомъ, сверхъ обычныхъ молитвословій и тайнодѣйствій, Псалтирь Давидова день и ночь издавала бы свои святые и освящающіе звуки, сопровождаемые молитвою о мирѣ и благѣ Церкви, Царя, Отечества, великой обители и благотворящихъ ей...“<sup>213</sup>). Въ своемъ *Словѣ по освященіи храма Господа нашего Иисуса Христа въ честь и память Геосиманскаго моленія Его Филаретъ* между прочимъ сказалъ: „Кто бы ты ни былъ немощствующій и бѣдствующій вмѣстѣ со мною братъ мой, если ты уязвляешься печалію грѣха, если стѣсняешься тугою души, неудобно возвышаемой вѣрою, неудобно распираемой любовію, не неподвижной на добродѣтель; если поражаешься страхомъ Суда Божія; если искушаешься прискорбіемъ души... не предавайся унынію безнадежному; не дай скорби, тугѣ и страху совсѣмъ одолѣть тебя; собери останки твоихъ изнемогающихъ силъ, бѣги мысленно на побѣдоносное Геосиманское поприще Иисусово, и тамъ повергнись съ твоими грѣхами, скорбію, тугою, страхомъ и помяни, что горечь твоей чаши уже наибольшею частію испита въ великой чашѣ Христовыхъ страданій. Предайся же сему благодатному общенію. Если хотя съ малою вѣрою, упованіемъ и любовію къ сему приступишь: отъ самаго сего упражненія получишь приращеніе вѣры, упованія и любви, а съ ними и побѣду надъ искушеніями, потому что *вѣра есть побѣда побѣждающая міръ*“ (I Иоан. 5, 4)<sup>214</sup>).

Черезъ А. Н. Муравьева Погодинъ сталъ хлопотать о напечатаніи въ *Москвитянинѣ* описанія Геосиманскаго скита; но митрополитъ Филаретъ особенно боялся огласки для своего скита, который учредился самъ собою безъ благословенія Святѣйшаго Синода, и первое утвержденіе сему скиту привезъ А. Н. Муравьевъ отъ Патріарха Іерусалимскаго только въ 1850 году; а потому на ходатайство Муравьева о напечатаніи въ *Москвитянинѣ* описанія Филаретъ писалъ (4 іюня 1846 г.): „Простите меня вы, и да проститъ Михаилъ Петровичъ Погодинъ, что я не согласился, чтобы напечатано

было свѣдѣніе о Геосиманіи. Она не имѣетъ офиціально объявленнаго существованія: потому говорить о ней—значить говорить о не существующемъ, или дѣлать доносъ, и давать вину ищущимъ вины. Притомъ она и сдѣлана не для извѣстности. Въ молчаніи все родится и растетъ. Дѣла, о которыхъ рано провозглашаютъ, часто кончаются звукомъ словъ. Помириться съ Михайломъ Петровичемъ я постараюсь<sup>215</sup>). И дѣйствительно вслѣдъ за симъ Митрополитъ написалъ Погодину очень милостивое письмо: „Издали мнѣ слышно“, писалъ онъ,—„что вы сѣтуете на меня за неизъявленіе согласія, чтобы напечатано было извѣстіе о Геосиманіи. Не имѣя теперь удобства сказать, пишу вамъ мое оправданіе. Есть предметы, которые не могутъ и не должны избѣгать извѣстности, и есть другіе, которымъ болѣе свойственно уклоняться отъ нея. Безъ сомнѣнія, къ симъ послѣднимъ должно принадлежать пустынное жилище, которое вы называете Геосиманіею, если только существуетъ учрежденіе сего имени, потому что начальство не объявило о семъ. Узнавъ сіе изъясненіе моего поступка, надѣюсь, вы облегчите меня отъ мысли, что вы на меня сѣтуете“.

Изъ свѣтскихъ Погодинъ любилъ вести благочестивыя бесѣды съ бывшимъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода С. Д. Нечаевымъ. Малые отрывки изъ этихъ бесѣдъ сохранились въ *Дневникъ* Погодина, такъ, на примѣръ, подъ 15 іюня 1846 года, записано: „Вечеръ въ пріятномъ разговорѣ духовнаго содержанія у Нечаева. Нынѣ ужъ и фарисеевъ мало“.

Н. А. Загряжскій не переставалъ наставлять Погодина душеспасительными размышленіями. Въ письмѣ своемъ (27 ноября 1846 года) Загряжскій писалъ своему другу: „Очень благодаренъ тебѣ, любезный другъ Михайлъ Петровичъ, за присылку портрета, онъ очень удачно сдѣланъ. Радуюсь, что ногъ твоей воды принесли пользу. Но больно читать, что ты все грустишь по человѣку; знаю, что слабости нашей невозможно избавиться этого чувства, разсудокъ тутъ безсиленъ, а потому и должны мы искать силъ не въ немъ. Но спро-

сишь—гдѣ? Смѣло отвѣчаю—въ вѣрѣ и упованіи на Бога. Но и тутъ мы сами собою ничего не успѣемъ; а потому и должны просить Бога, чтобы Онъ далъ намъ духъ вѣры, и Онъ подастъ непременно. Читай чаще молитву Ефрема Сирянина—*духъ унынія не даждь ми. Духъ же терпѣнія, любви даруй*. Печаль по Богѣ, то-есть, что мы удалены отъ Него, не чувствуемъ Его въ себѣ, таковая печаль спасительна, ибо она приближаетъ насъ къ любимому предмету, то-есть, къ Богу; а въ соединеніи съ Нимъ только радость, миръ о Дусѣ Святѣ. Чего тебѣ и себѣ отъ всей души искренно желаю“ <sup>216</sup>).

#### XXXIV.

Тогдашнее душевное настроеніе Погодина вполнѣ выразилось въ его прекрасномъ посланіи къ *Юношѣ*, которое, кромѣ того, имѣетъ и автобіографическое значеніе. „Благодарю, благодарю“ писалъ онъ Шевыреву,—„за слова утѣшенія. Ахъ—они нужны всякому, какой бы кто ни гордился твердостію. Я сижу день и ночь и дописываю къ *Юношѣ*, дописываю—кровью. Можетъ быть, привезу завтра прочесть тебѣ... Чортъ ихъ возьми! Когда взволнована кровь—пишется сильнѣе и легче. Одно другого стоитъ“.

Напечатавъ *Похвальное Слово Карамзину*, Погодинъ принялся тотчасъ отдѣлывать свое посланіе къ *Юношѣ*, давно уже начатое <sup>217</sup>). Въ *Дневникъ* его, подъ 6 февраля 1846 года, мы встрѣчаемъ слѣдующую запись: „Переписывалъ и исправлялъ къ *Юношѣ*. Остановился на минуту. Нѣтъ ли здѣсь злого начала: отмстить, досадить, отличиться. Какъ не быть. А мудрено удержаться“.

Какъ бы то ни было это посланіе появилось въ *Москвитянинѣ* въ такомъ видѣ: „Юноша! Ты вступаешь на поприще дѣйствій! Приготовленія твои кончились, годы ученія исполнились, часть твой наконецъ пробилъ! О, съ какимъ нетерпѣніемъ ты его дожидался, съ какимъ трепетомъ считалъ всѣ

минуты его приближенія, съ какимъ восторгомъ воображалъ себя на службѣ отечеству, людямъ и наукѣ! Поучать цѣлыя поколѣнія, возбуждать высокія чувствованія, подвигать къ великимъ дѣяніямъ, уничтожать пагубныя заблужденія, открывать вѣчные законы премудрости—какая прекрасная, блаженная жизнь представлялась тебѣ среди святыхъ твоихъ мечтаній! И весело подвергался ты для нея всякимъ лишеніямъ, не чувствуя ни голода, ни холода, ни жажды, трудился безъ отдыха, не зная усталости. Когда твои ровесники, товарищи, веселились въ первомъ пылу кипящей молодости, когда они упивались жизнію, жадными руками рвали ея завѣтные цвѣты, вкушали ея запрещенныхъ и не запрещенныхъ плодовъ, ты, одинъ въ своей тѣсной кельѣ, какъ въ гробу живой мертвецъ, обложенный костями, прахомъ, тлѣніемъ, проводилъ длинныя ночи въ глубокихъ размышленіяхъ, или сидѣлъ по цѣлымъ часамъ надъ одной чертою, надъ одной бурею, отказываясь отъ всѣхъ свѣтскихъ наслажденій, затворяя чувства отъ всѣхъ земныхъ радостей. Самыми лучшими годами, самой цвѣтущей порою, когда все въ мірѣ чаруетъ юнаго гостя, все манитъ къ удовольствіямъ, ты пожертвовалъ для трудовъ скучныхъ тягостныхъ, утомительныхъ! И ничего не доставалось тебѣ даромъ, все долженъ ты былъ снискивать въ потѣ лица, все брать приступомъ, съ бою. Но ты преодолѣлъ наконецъ всѣ препятствія, ты вышелъ отовсюду побѣдителемъ, запасся всѣми нужными свѣдѣніями, снарядился исправно въ путь,—и вотъ теперь ты гражданинъ, человѣкъ совершеннолѣтній, уже не мальчикъ, не ученикъ, ты получаешь полную свободу, можешь начать вождѣльное дѣланіе,—врата жизни передъ тобою растворились!...

„Остановись, юноша! Я дамъ тебѣ совѣтъ; тебѣ предстоятъ испытанія, испытанія особаго рода, о коихъ не помышлялъ ты среди своихъ дѣтскихъ, невинныхъ, хотя и тяжелыхъ трудовъ. Послушай...

„Но онъ ничего не слышитъ, кровь у него кипитъ, сердце бьется, пылаетъ вся внутренность... какъ молодой левъ, долго



продержанный въ неволѣ, изъ желѣзной кѣтки бросается онъ стрѣмглавъ на поприще!

„О, посмотрите на него! Полюбуйтесь имъ! Это зрѣлище умилительное! Какъ онъ любить добро, какъ онъ любить людей! Сколько въ немъ силы, сколько въ немъ воли! Чего не можетъ онъ сдѣлать, свѣжій и могучій! На что не готовъ онъ, смѣлый, чистый, благородный! Полюбуйтесь имъ, пока опытъ не коснулся его сердца тлетворной рукою, пока страсти не вывели по немъ черныхъ пятенъ, пока онъ не заразился болѣзнями міра сего...

„Вотъ онъ уже на срединѣ поприща—окинулъ быстрымъ глазомъ все пространство, вдругъ все увидѣлъ, сообразилъ, рѣшилъ: здѣсь должно выстроить, тамъ сломать, сюда принести, оттуда вывезть, это поставить... И все кажется ему возможнымъ, легкимъ, удобнымъ! Единственное затрудненіе для него въ выборѣ: его глаза разбѣгаются, онъ не знаетъ съ чего начать. Ему хочется вдругъ приняться за все, все сдѣлать, всему помочь! Какъ благодарить онъ судьбу, которая представила ему съ перваго раза столько случаевъ сдѣлать добро! Какъ удивляется онъ, что прежде его никому не приходило въ голову воспользоваться ими. Онъ боится, чтобъ теперь не предупредилъ его кто, чтобъ не осталось ему мало работы. Онъ готовъ, кажется, разорваться на части, чтобъ всюду поспѣть,—вонъ, вдали, лежитъ тяжелая ноша, которую надо бѣ вставить па гору; ее давно всѣ обходятъ, никто поднимать не рѣшается, никто прикоснуться не смѣетъ. Чего же лучше,—и онъ прямо къ ней, со всего разбѣга, схватилъ могучими руками, вскинулъ на крѣпкія плечи, рванулся къ верху и двинулся. Сгоряча онъ не чувствуетъ бремени, тащить, тащить, а ему кажется, что онъ бѣжитъ. Напрасно первые, доброжелательные прохожіе останавливаютъ, удерживаютъ его... Онъ ничего не слышитъ, ничего не видитъ, и все впередъ. Потъ катится съ него градомъ, въ груди не достаешь дыханія, лицо горитъ. А гора круче, дорога труднѣе—рытвины, камни, колючіе терны! ничто его не устра-



шаетъ. Онъ смотритъ только на вершину, воображаетъ то множество, которому несеть туда помощь и облегченіе: съ какою радостію, съ какими слезами благодарности встрѣтятъ они тамъ неожиданнаго благодѣтеля! Сколько добра извлечется теперь и будетъ извлекаться въ роды родовъ изъ его богатаго приношенія! Онъ мысленно выбираетъ мѣсто, гдѣ сложить ему свою ношу такъ, чтобы какъ можно больше народа могло воспользоваться ею... Но силы ему измѣняются, онъ начинаетъ двигаться медленнѣе, самъ не примѣчая того, ноша клонитъ его къ землѣ ниже и ниже...

„А сколько народа проходить мимо! Но чтобы помочь пылкому юношѣ, поддержать его вотъ на этомъ скользкомъ шагѣ, отбросить вотъ этотъ камень, что лежитъ поперекъ дороги, подать хоть каплю воды, чтобы промочить засохшее горло, освѣжить запекшіяся уста, хоть сказать ласковое слово— идутъ же вѣдь они съ пустыми руками, порожнемъ, или несутъ бездѣлки, и то ласкаемые, ободряемые, награждаемые— а они только улыбаются, надсмѣхаются, глядя на несчастнаго труженика! Но ему нѣтъ ни до чего дѣла, онъ и не замѣчаетъ преступнаго равнодушія, собирается съ силами и опять все впередъ, впередъ...

„Ужъ онъ за половиной дороги, ужъ дѣлается вѣроятнымъ, что онъ достигнетъ цѣли,— и вотъ какіе-то неизвѣстные люди начинаютъ мѣшать ему, сперва такъ, шутя, будто ненарочно, съ веселой улыбкой, съ умильными взглядами, — бросаютъ подъ ноги, дергаютъ за полу, дразнятъ. Досадно юношѣ, но некогда спорить, упрекать, объясняться, защищаться. Онъ спѣшитъ: вершина передъ нимъ — но тогда уже просто заставляютъ ему дорогу, толкаютъ въ грудь, не пускаютъ... Прочь презрѣнная сволочь! Еще нѣсколько усилій! Уфъ! Онъ на горѣ, свалилъ съ плечъ свой возъ и повергнулся на него въ безпамятствѣ!

„Очнувшись, онъ не вѣритъ глазамъ своимъ, какъ могъ онъ на гору встать почти другую гору, которую и по

гладкой дорогѣ пронести одному нѣтъ, кажется, никакой возможности.

„Но гдѣ жь ожиданія, гдѣ объятія, гдѣ слезы благодарности? Съ удивленіемъ онъ поводитъ глазами вокругъ себя. Никого нѣтъ. Онъ стоитъ одинъ, какъ часовой, надъ своимъ сокровищемъ. Толпа проходитъ мимо, кивая головами, пожимая плечами, прищуривая глаза. Издали доносятся лишь пустые вопросы: что это за человѣкъ? откуда онъ родомъ? чего онъ хочетъ? съ какою цѣлью здѣсь явился? съ кѣмъ находится въ связяхъ? Воспользоваться трудомъ его никто не думаетъ, даже тѣ, для которыхъ собственно онъ трудился. Напрасно онъ объясняетъ, толкуетъ, проситъ, кличетъ. Иной останавливается мимоходомъ, но тотчасъ увлекается толпою, не успѣвъ осмотрѣть ничего порядочно, не успѣвъ узнать ничего основательно.

„Мой бѣдный юноша не вѣритъ глазамъ, не вѣритъ ушамъ своимъ! Долго стоитъ онъ остолебѣлый, какъ будто пораженный внезапнымъ громовымъ ударомъ.

„Но между тѣмъ онъ отдохнулъ, силы его закипѣли опять, ему необходима новая работа, какъ воздухъ для дыханія. Онъ ободряется. Нѣтъ, думалъ онъ, это недоразумѣніе, стеченіе неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Пройдетъ нѣсколько времени, и трудъ мой оцѣнится по достоинству. Пусть онъ лежитъ пока здѣсь въ цѣлости и сохранности и ожидаетъ своей очереди. И что значить одинъ неудавшійся опытъ! Неужели унывать мнѣ! Онъ забываетъ свои мученія, унижаетъ даже собственный подвигъ, и прочь отъ принесенной ноши, не бросивъ на нее даже прощальнаго взгляда, — за новую работу!

„И вотъ начинается онъ снова работать, — работаетъ день и ночь безъ отдыха. Тихая лампада его встрѣчается всегда съ утренней зарею. Онъ не досыпаетъ ночей, не доѣдаетъ кусковъ. Вездѣ занимаетъ его одна мысль — на прогулкѣ, въ кабинетѣ, за обѣдомъ, въ гостяхъ. Вездѣ мерещится ему одно дѣло. Ему хочется осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ, не пропустить ни одного обстоятельства. Работа его растетъ не по днямъ, а по часамъ, и сердце радуется, глядя на успѣхъ.

Чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ нетерпѣніе его увеличивается. Онъ удваиваетъ свои усилія, и производитъ невѣроятное, — кончилъ! на выставку!

„Пріемъ еще хуже. Толки, пересуды, разсужденія, одни другихъ нелѣпѣе. Замѣчаютъ, съ видомъ знатоковъ, ничтожныя ошибки, коихъ избѣжать легко, а исправить еще легче, и не цѣнятъ общаго достоинства; уставляются глазами въ разсѣянные кое-гдѣ пятнышки, и не хотятъ обозрѣть картину, во всемъ ея объемѣ.

„Онъ работалъ годъ, говоритъ одинъ, а на это дѣло мало пяти. Я знаю, каковъ онъ: онъ спѣшитъ, и изъ него не можетъ выйти ничего путнаго.

„И что здѣсь новаго, восклицаетъ другой, давно все извѣстно, — онъ выстроилъ зданіе изъ чужихъ матеріаловъ.

„Это дѣло даже опасно по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, со страхомъ замѣчаетъ третій, и легко приведетъ въ соблазнъ, котораго можетъ быть и хотѣлось молодому человѣку.

„Если неопасно, заключаетъ четвертый, то по крайней мѣрѣ бесполезно. А все самолюбіе!

„Помилуйте, какое здѣсь самолюбіе. Достоинство дѣла состоитъ въ трудѣ, и всякій можетъ, если захочетъ, принять его на себя. Самолюбіе избрало бъ себѣ другой предметъ, гдѣ можетъ лучше проявиться собственная личность.

„Ну такъ корыстолюбіе!

„Помилуйте, какое здѣсь корыстолюбіе: это дѣло не приносить и не можетъ приносить никакой вещественной выгоды, между тѣмъ какъ на виду есть множество другихъ дѣлъ, кои вознаграждаютъ работу сторицею.

„Ну такъ гордость, самонадѣянность... или просто сумашествіе.

„Нѣтъ, чистая любовь къ наукѣ, усердіе...

„Ха, ха, ха! Эти общія мѣста давно обветшали! Какой бездѣльникъ на нихъ не ссылся, и кто благоразумный имъ нынѣ вѣрить...

„И обращается толпа къ другимъ соискателямъ, которые

съ низкими поклонами и сладкими рѣчами, лѣтя ея дѣтскому самолюбію, зазываютъ ее къ своимъ блестящимъ игрушкамъ, и всѣми средствами, дозволенными и не дозволенными, стараются привлечь ея бессмысленное вниманіе. Громкими рукоплесканіями, привѣтствіями, похвалами и наградами осыпаются раболѣпные угодники. Не дивись, они просятъ милости,—а ты требуешь права,— кому же вѣрнѣе успѣхъ?

„Грустно юношѣ, прискорбно, тяжело—долго онъ думаетъ, разсматривая свои занятія, сравнивая съ ними чужія. Тысяча мыслей проносится въ его головѣ, тысяча чувствованій переливается черезъ его сердце...

„Успокоившись, онъ принимаетъ новое рѣшеніе. Я трудился по своей мысли, по своему выбору, говорить онъ. Вотъ отчего не угодилъ я своими опытами. Я возьмусь теперь за такое дѣло, которое всѣ единогласно признають полезнымъ, нужнымъ и вмѣстѣ неблагодарнымъ! Тогда не будетъ уже никакого сомнѣнія, никакого двусмыслія. Не на что будетъ сослаться. Я докажу ясно, что работаю не изъ видовъ. И неужели не явится ни одного благонамѣреннаго человѣка, кто бѣ безпристрастно оцѣнилъ мои труды, показалъ ясно ихъ значеніе и важность, привлекъ на меня заслуженное вниманіе, доставилъ мнѣ средства трудиться для общей же пользы съ болѣею льготою?

„Нѣтъ, не найдется такого человѣка. У каждаго есть свое дѣло: кому досугъ думать и заботиться о твоёмъ. Изъ-за чего ему спорить со всѣми и брать на себя отвѣтственность, которой ты, можешь быть, не оправдаешь послѣ. Ловко ли въ свѣтѣ держать твою сторону, когда у тебя нѣтъ успѣха? Зачѣмъ накликать на себя враговъ, которыхъ у тебя завелось столько?

„Но какіе же враги у меня, думаешь ты, я не вредилъ никому; никому не мѣшалъ, всякому готовъ былъ служить чѣмъ могъ и не отказывалъ ни въ какой помощи.

„Несмысленный! Ты имѣешь дарованія,—такъ всѣ посредственности твои враги; ты честенъ,—такъ всѣ плуты враги

твой; ты благороденъ,—и всѣ подлецы враги твои; ты дѣятеленъ,—и всѣ тунеядцы враги твои! Ты живой упрекъ имъ! Ты беспокоишь ихъ своими моголами! Имъ досадно видѣть блѣдныя и впалыя твои щеки! Имъ стыдно встрѣчаться съ твоими болѣзненными взорами! Всѣ, всѣ они—заклятые враги твои,—каковъ легіонъ! Да прибавь къ нимъ еще охотниковъ, которые ни за что, ни про что, при сей вѣрной оказіи, явятся къ нимъ съ усердными своими услугами.

„Такихъ людей ты встрѣтишь на каждомъ шагу! Давно уже они смотрятъ на тебя, давно наблюдаютъ всѣ твои дѣйствія, давно слѣдятъ за всѣми твоими движеніями. Безъ твоего вѣдома они раздѣли тебя уже до нага, ошарили всѣ твои внутренности, отыскали слабыя струны твоего сердца, распознали всѣ твои добродѣтели и пороки, взвѣсили до послѣдняго золотника всѣ твои способности, измѣрили по вершкамъ всю дорогу, которую прошелъ ты, и которую впередъ еще пройти можешь; они разсчитали по пальцамъ, куда и когда ты долженъ достигнуть; и на какой степени можешь быть имъ опасенъ или хотъ вреденъ; въ какой мѣрѣ, когда, можешь обезпечить, стѣснить ихъ своимъ правомъ, образомъ мыслей, дѣйствій, своею особою, фізіогноміей—еслибъ судьба и время поставили кого изъ нихъ въ твою зависимость!

„Вотъ чего заранѣе они боятся робкіе, вотъ о чемъ безъ страха не могутъ подумать малодушные, вотъ при какой мысли желчь вскипаетъ у неистовыхъ!

„Какъ же не допустить тебя до этого положенія! Какъ предупредить грозящую хотъ и далекую опасность!

„Надо держать тебя въ черномъ тѣлѣ, отвлекать отъ занятій, гонять по сторонамъ, сбивать, сердить, выводить изъ терпѣнія: ты любишь драться въ охотникахъ — тебя припишутъ къ обозу; ты способенъ разбирать гражданскія тяжбы — тебя посадятъ въ уголовной судъ; ты страстенъ въ Эстетикѣ — вотъ тебѣ Анатомія.

„А между тѣмъ начинаютъ ругать тебя, поносить труды твои, выдумывать, клеветать, взводить напраслины, бросать въ

тебя грязью, камнями... Откуда? Кто? Справа, слѣва, сверху, снизу, изъ-за угла. Ты оглядываешься во всѣ стороны, и, окруженный друзьями, долженъ только учтиво раскланиваться и обмѣниваться ласковыми взглядами, тогда какъ кровь изъ ранъ течетъ ручьями.

„Въ многочисленныхъ, непрерывныхъ трудахъ твоихъ легко могутъ оказаться какіе-нибудь недостатки — ихъ выставятъ на показъ, наведутъ на нихъ увеличительныя стекла и, пожалуй, хоть разноцѣтныя зеркала; нечаянныя двусмысленности — ихъ растолкуютъ въ дурную сторону, пропуски — изъ-за нихъ скроютъ всѣ достоинства.

„И люди легкомысленные, близорукіе, ограниченные, всегда склонны болѣе вѣрить злу, чѣмъ добру, способные по своей природѣ болѣе находить дурное, чѣмъ хорошее, примутъ площадное мнѣніе и будутъ повторять съ удовольствіемъ нелѣпныя обвиненія.

„И начнется твое разочарованіе, мой бѣдный, бѣдный юноша! Чистота души твоей помрачается; изъ глубины твоего сердца изникаютъ страсти; и гнѣвъ, и зависть, и злоба, и месть волнуютъ кровь твою; зарождается ненависть. О, какъ тяжело бываетъ тогда оглянуться на себя, углубиться во внутренность души своей и встрѣтить тамъ побужденія, желанія, намѣренія, кои прежде были такъ противны, ненавистны!

„А если еще ты забудешься, если въ самомъ дѣлѣ поступишься, падешь — вотъ поднимутся шумъ, и крикъ, и радостныя плески! Со всѣхъ сторонъ посыплются упреки. Не говорили ль мы? Не справедливы ли были наши опасенія? Вы слышали? Каковъ? А еще жаловался! Что еслибъ дали ему поблажку! Видите?.. А другіе явятся съ знаками лицемернаго состраданія, которое бываетъ ядовитѣе всякаго ругательства: несчастный молодой человѣкъ! Могъ ли кто ожидать отъ него подобнаго дѣйствія! Какую подавалъ онъ надежду!..

„Злодѣи! А чѣмъ помогли вы осуществиться этой блиста-

тельной надеждѣ! Чего вы ни дѣлали, чтобъ задушить, заморить ее въ самомъ ея глубокомъ священномъ источникѣ!

„Но не радуйтесь! Торжество ваше продолжится недолго! Онъ еще молодъ, душа его крѣпка, онъ опомнится скоро. Слышите...

„Прочь, прочь, съ большой дороги! восклицаетъ юноша, не надо мнѣ вашихъ условныхъ рукоплесканій, не надо мнѣ вашей лицемѣрной признательности, не надо мнѣ вашихъ торговыхъ наградъ! Дальше, дальше съ этого толкучаго рынка. Я буду работать въ тиши, про себя. Что дѣлать мнѣ, полному надеждъ,

*На низкомъ поприщѣ съ презрѣнными бойцами?*

„Я чувствую въ себѣ силу, и увѣренъ, что, занимаясь любимымъ предметомъ, я сдѣлаю много, объясню, открою, и, разумѣется, мой трудъ не пропадетъ; когда-нибудь, но покроетъ онъ меня славою, а враговъ моихъ стыдомъ: не затереть его, какъ бы о томъ ни старались, этимъ ничтожнымъ крикунамъ.

„Есть, есть, вѣрно, люди, тамъ, по сторонамъ, на другихъ путяхъ, или вдали отъ большого свѣта, въ скромныхъ пріютахъ, которые мнѣ сочувствуютъ и меня любятъ. Молодой человѣкъ обрадуется подъ часъ моей мысли; у милой дѣвы вострепечется чистое сердце; задумается старецъ... чего жъ мнѣ болѣе:

*Wer der Besten seiner Zeit genug gethan,  
Der hat gelebt fur alle Zeiten.*

„Такъ, я оставляю свѣтъ! Кромѣ исполненія необходимыхъ текущихъ дѣлъ, я не приму участія въ его негѣпостяхъ! Я заключусь въ уединеніе.

„Подожди, юноша! Уединеніе мудреная жизнь: не скоро сроднишься съ нею; не въ молодые годы можно усвоить ея наслажденія.

„Я буду готовъ, говоришь ты, служить всѣмъ своею опытностію: на своей шеѣ переносилъ я столько ношъ, перехо-

дигъ столько путей. Я знаю, какъ надо ступать, гдѣ посторониться, гдѣ удвоить усилія!

„Но никто не придетъ къ тебѣ за ненужными совѣтами; никто не спроситъ мнѣнія у мечтателя, а развѣ посмѣется надъ твоею готовностью. Передъ твоими глазами будутъ искать того, что у тебя найдено, и не станутъ принимать, хотя бѣ ты самъ предлагалъ оное.

„Скука начнетъ томить тебя, жажда дѣятельности, къ которой ты привыкъ столько, будетъ тревожить, досада одолеваетъ тебя, у неопытнаго часто неостанетъ терпѣнія...

„Вотъ, напримѣръ, происходитъ вопіющее злоупотребленіе. Волосъ дыбомъ становится у тебя, когда ты проникательными взорами овинешь всѣ его пагубныя слѣдствія. А у тебя есть другое начертаніе, ясное, какъ дважды - два четыре, въ пользу котораго ты убѣжденъ глубоко. Ты считаешь священнымъ долгомъ принести свой совѣтъ...

„Сколькимъ оскорбленіямъ ты подвергаешься на пути, отъ послѣдняго привратника до главнаго лица, отъ котораго зависить рѣшеніе! На всякой ступени этой длинной, крутой лѣстницы ожидаютъ тебя удары, тяжелые для самолюбія. Скрѣпя сердце, ты принимаешь ихъ терпѣливо, одинъ за другимъ, лишь только бѣ дойти и сказать...

„Дошелъ, говоришь ясно, убѣдительно. Тебя слушаютъ со вниманіемъ, желая, кажется, искренно узнать, въ чемъ состоитъ дѣло; долго думаютъ, предлагаютъ замѣчанія, выспрашиваютъ съ видомъ доброжелательства; ты отвѣчаешь на всѣ вопросы, опровергаешь всѣ возраженія,—и вдругъ перемѣнился тонъ, въ глаза тебѣ называютъ бѣлое чернымъ и черное бѣлымъ. Удивленный, ты усугубляешь свои доказательства, истощаешь все свое краснорѣчіе — никакъ не хотятъ понять тебя. Счастливъ, счастливъ еще, еслибъ въ самомъ дѣлѣ было такъ! Тогда все прошло бѣ, можетъ быть, безъ всякаго вреда тебѣ! Но нѣтъ! Тебя поняли, вотъ въ чемъ вся бѣда твоя, и рѣшили твою гибель, потому что не хотятъ именно того, чего хочешь ты, и хотятъ напротивъ того, чего ты не хо-



чешь. Или—тебя поняли, да скрываютъ это, чтобъ не одо-  
жаться тобою, чтобъ послѣ воспользоваться твоею мыслею.

„Но какъ они воспользуются ею, выворотивъ ее на изнанку?  
А вывороченная на изнанку, она еще гибельнѣе той, которую  
ты отстранить стремился! И ты увидишь это, и вредъ скоро  
окажется, и вина падетъ на тебя, и ты получишь наказаніе  
тяжкое, и отойдешь обруганный, униженный, посрамленный!  
Терпи, терпи! Настоящія горести только-что начинаются.

„Полно являться съ совѣтами! Ты укротишь свои страхи,  
ты рѣшишься скрывать свои мнѣнія и предоставить всѣ  
дѣла, любезныя, какъ нелюбезныя, обыкновенному ихъ те-  
ченію,—но изрѣдка все-таки вырвется у тебя крикъ него-  
дованія,—вдругъ переломить себя нельзя,—слетитъ съ языка  
острое слово, или, забывшись, ты посовѣстишься назвать  
невѣжу умницей, подлеца благороднымъ, или ограниченную,  
пустую голову—гениемъ... Довольно, довольно и такихъ вы-  
ходовъ, чтобъ поддержать о тебѣ дурное мнѣніе: все это  
подслушаютъ, распространятъ, украсятъ предъ кѣмъ нужно  
смолчать; предъ кѣмъ нужно улыбнуться; гдѣ покачаютъ го-  
ловою, гдѣ издадутъ неопредѣленные, но значительные звуки;  
гдѣ надо прибавить—прибавятъ; гдѣ надо убавить—убавятъ;  
разнесутъ, донесутъ,—и вотъ у тебя враги новаго рода,  
личные и положительныя, въ дополненіе къ прежнему легіону,  
общихъ и отвлеченныхъ, которые будутъ стараться доказать  
это тебѣ на дѣлѣ при всякомъ удобномъ случаѣ.

„Наступаетъ новый періодъ въ твоей жизни. Ты произ-  
носишь обѣтъ *молчанія*. Спасительный обѣтъ! О, какъ жаль,  
что обыкновенно онъ произносится поздно! Ты хочешь мол-  
чать, углубляться въ самого себя, сосредоточиваться, — и вотъ  
начинается долгая внутренняя борьба, со всѣми ея ужасами  
и муками,—а между тѣмъ сердце у тебя набаливаетъ, на-  
мучивается. Духъ твой помрачается, и вмѣстѣ ты дѣлаешься  
равнодушнымъ ко всему, что происходитъ около тебя и съ  
тобою, охладѣваешь даже къ занятіямъ. Гдѣ прежніе порывы?  
Гдѣ этотъ благородный жаръ, этотъ священный трепетъ, об-

нижавшій таёъ часто душу твою? Усталый, изнеможенный, ты станешь засыпать. Какъ тяжело ты будешь пробуждаться? Съ какою грустію будешь вспоминать о прежнемъ времени! Неужели священный огонь погасъ въ груди твоей! Больно будетъ душѣ твоей! Ты силишься возстать,—напрасно: утомленныя крылья мгновенно опускаются послѣ всякаго усилія. Ахъ, какъ тяжело, тяжело! Внутреннія муки лютеѣ внѣшнихъ ударовъ.

„Между тѣмъ время течетъ и беретъ свое. У тебя пріобрѣлось старшинство и право голоса; другія дѣйствующія лица являются на поприщѣ, а ты все на одномъ своемъ мѣстѣ. Они приходятъ къ тебѣ съ помощью, ободреніемъ, и спрашиваютъ твоего мнѣнія. Самая посредственная наружность, обхожденіе только что не грубое, образъ мыслей не совсѣмъ варварскій, обыкновенное свѣтское искусство употреблять общія мѣста, обольщаютъ тебя, встрѣчавшаго доселѣ только жестокость и дикость. Ты принимаешь съ благодарностью вызовъ, общаешься съ радостію свои услуги, дѣлаешь имъ угодное и стараешься даже пріобрѣсть ихъ благосклонность, извиняешь ихъ недостатки, прощаешь пороки, лишь бы привести въ исполненіе, посредствомъ ихъ, какія-нибудь изъ твоихъ желаній на пользу общую. Тебя слушаютъ, ласкаютъ, хвалятъ,—и ты, довольный и веселый, служишь, служишь, работаешь, выполняешь всякія порученія, излагаешь такъ-называемыя мысли,—за твои труды получаютъ награды, почести, слава,—а у тебя нѣтъ ничего кромѣ ласковыхъ привѣтствій, велейныхъ лобзаній и лестныхъ обѣщаній. Ты не думаешь о себѣ,—но что же исполнено изъ твоихъ начертаній? Чему дана сила? Гдѣ подана помощь? Когда оказано содѣйствіе? Нигдѣ, ничему, никогда. Ты начинаешь колебаться сомнѣніемъ, но не хочется тебѣ признаться въ ошибкѣ...

„Ты подождешь еще нѣсколько времени, и наконецъ, какъ ты ни легковѣренъ, но догадаешься, что музыка та же, хоть и на другихъ инструментахъ; піеса та же, только другіе актеры. Стыдно тебѣ, что поддался такому грубому обману.

Стыдно тебѣ, что унизился передъ такою дрянью. Стыдно тебѣ, что расточалъ свои бисеры передъ такими истуканами. А если еще случится сдѣлать что-нибудь противъ ихъ желанія; если случится еще настоять на своемъ мнѣніи, поспорить, не уступить! Тогда уже ты увидишь ясно, что тебѣ ожидать нечего, кромѣ бѣды; затавивъ свое негодованіе, съ новою язвою въ сердцѣ, ты возвращаешься опять домой, и зарекаешься *отприть*.

„И вотъ отыскиваютъ тебя люди добродѣтельные, благонамѣренные, почтенные, избранные, о которыхъ слава гремитъ повсюду, которые посвящаютъ всю жизнь свою отечеству, которые не щадятъ для него никакихъ трудовъ, предлагаютъ ему въ жертву все свое время, которые всѣми силами ищутъ случаевъ принести ему пользу, съ безпримѣрнымъ усердіемъ изыскиваютъ средства улучшить его состояніе, разсуждаютъ прекрасно о всѣхъ предметахъ знанія, принимаютъ къ сердцу всѣ общественные вопросы. О, благодѣтели человѣчества! Медь каплетъ у нихъ изъ розовыхъ устъ! Кротость сіяетъ во взорахъ! Какая благородная осанка! Что за привлекательныя движенія! Во всемъ изящная простота! Они очаруютъ тебя своими сладкими рѣчами, они обаяютъ тебя всѣми прелестями свѣтскаго обхожденія, они осыплютъ тебя самыми нѣжными ласками, обрадуютъ самыми пріятными обѣщаніями, утѣшатъ твое воображеніе восхитительными видами, упитаютъ твое самолюбіе, приведутъ въ сотрясеніе всѣ струны твоего сердца, заиграютъ на всѣхъ органахъ...

„Ты обомлѣлъ, ты вѣдъ себя, безъ памяти! Дождался, дождался, восклицаешь ты въ восторгѣ! Вотъ она, вотъ награда за мое терпѣніе! Къ тебѣ возвращаются всѣ потерянные силы, ты оживаешь съ новою, доселѣ неизвѣстной радостію, какую чувствуетъ развѣ только отчаянный больной, получивъ себѣ неожиданно здоровье. Блестящія картины первыхъ твоихъ лѣтъ развернулись снова въ твоемъ воображеніи. Твое будущее освѣтилось чудными огнями!

„Всѣ свои сокровища принесешь ты къ ногамъ неожидан-

ныхъ благодѣтелей! Въ жару своей искренности ты открываешь имъ всѣ завѣтныя свои думы, передаешь всѣ любимыя мечты, сообщаешь задумевныя желанія, ты отдаешь имъ всѣ плоды твоихъ трудовъ, твоихъ слезъ, твоихъ размышлений, твоихъ страданій. Все, все соберешь передъ ними—со дна твоей глубокой души, съ небесъ твоего сердца. Восторженный, умиленный, ты бросишься къ нимъ въ объятія... и произишься насъвозъ смертоносными иглами, ядовитыми жадами, коими усѣяна ихъ любезность и милость! И упадешь на землю, истекая кровью, изъязвленный, разбитый, пораженный . . . . .

„Ужасное положеніе! Свѣтъ потемнѣетъ въ глазахъ твоихъ, природа помертвѣетъ, люди опротивѣютъ, ты возненавидишь жизнь, забудешь отечество.

„Въ пламенной рѣчи, собравъ остатки силъ, ты произнесешь свою жалобу—гласъ вопіющаго въ пустынѣ!

„Кто жъ навѣститъ тебя, лежащаго на болѣзненномъ одрѣ? Разумѣется кто: твои враги. Они прочують первые о твоей болѣзни, о твоёмъ отчаянномъ положеніи. Они сбѣгутся со всѣхъ сторонъ порадоваться на твои раны,—всѣ, всѣ, молодые, пожилые и старые, изъ всѣхъ періодовъ твоей жизни. Они уставятся рядами около твоего одра и начнутъ лягать, брыкаться, бодать, кусать, щипать полумертваго.

„Страдая душею и тѣломъ, на развалинахъ всѣхъ твоихъ святыхъ мечтаній и желаній, ты, разумѣется, не услышишь почти ударовъ презрѣннаго скопища. А какъ скоро оно умножается... Вонъ спѣшать еще товарищи по ремеслу, которые занимались однимъ предметомъ съ тобою, и ни за что на свѣтѣ никогда не могли простить тебѣ твоего превосходства... У нихъ отдохло теперь сердце; радостно плещутъ они руками, присоединяясь къ безстыдному хору.

„Вонъ бѣгутъ подлецы, облагодѣтельствованные тобою. Для низкихъ душъ ничего не можетъ быть тягостнѣе оковъ бла-

годарности, и они рады выгодному случаю свергнуть несносное бремя, осыпая тебя ругательствами.

„Ближніе твои стануть далече... и между ними найдутся, можетъ быть, твои любимцы, твои воспитанники, которыхъ ты питалъ у своей груди, за которыми ты ходилъ какъ усердная нянька, какъ родная мать, съ которыми дѣлилъ послѣдній кусокъ хлѣба и всякую новую мысль, которыхъ выносилъ на своихъ плечахъ, за которыхъ принималъ брань и ругательство... Можетъ быть, и они бросятъ въ тебя камень! О, тяжело, тяжело... Знакомые убоятся произнести твое имя! Друзья... гдѣ друзья? У Ювлева гноища не найдется троихъ! Счастливъ еще, если хоть одинъ придетъ когда пролить слезу состраданія на глубокія язвы, позаботится о средствахъ врачеванія, или не побоится сказать о тебѣ иногда доброе слово.

„Товарищи дѣтства, съ которыми вступилъ ты вмѣстѣ на поприще жизни, жилъ долго душа въ душу, которые любили тебя отъ искренняго сердца и дѣлили всѣ твои помыслы... они всѣ на другихъ дорогахъ, увлеченные особливими обстоятельствами, они получили иное направленіе, перемѣнили мнѣнія, не такъ думаютъ, не такъ чувствуютъ, не того желаютъ, какъ ты. Ты не узнаешь ихъ, и они не узнаютъ тебя, не поймутъ твоихъ рѣчей и не возмогутъ, какъ бы ни желали, принять дѣятельнаго участія въ твоемъ положеніи.

„Идеалы твоей юности, въ которыхъ ты видѣлъ всѣ совершенства, къ которымъ приступалъ съ благоговѣніемъ, но у тебя другіе глаза, ты смотришь иначе на вещи, и что удивляло тебя сначала, то представляется теперь обыкновеннымъ и даже пошлымъ; ты не найдешь въ себѣ прежнихъ чувствованій, и самыя воспоминанія лишатся для тебя своей прелести.

„Ты обратишься къ книгамъ, къ книгамъ, гдѣ столько времени находилъ удовольствіе, радость, наслажденіе, ты захочешь позабыться въ обществѣ этихъ неизмѣнныхъ друзей, но и они измѣнили тебѣ:

Сомнѣнья тучей обложились  
Священной истины чело.

„На всякой строкѣ ты будешь останавливаться недовольный, на всякой страницѣ будешь ты спрашивать, и не будетъ конца твоимъ вопросамъ, а дать отвѣтъ некому, и книга упадетъ изъ рукъ твоихъ.

„Ты бросишься къ Исторіи. Что она представитъ тебѣ? Ложь, обманъ, козни, муки, мелочи, насилія, самолюбіе, подъ пышными заглавіями и титлами.

„Взглянешь на всемірное общество своего времени—о, лучше не смотри на этотъ Вавилонъ, гнуснѣе древняго, который лишился даже воли своей, который даже не имѣетъ возможности жить иначе, Вавилонъ, гдѣ царствуютъ уже не люди, не страсти, не добродѣтели, не пороки, а только обстоятельства.

„Собственные твои труды, какъ не пристроенныя дѣти, будутъ колоть тебѣ глаза и возбуждать горестныя чувства. Надъ чѣмъ ты работалъ? Что ты сдѣлалъ? Какую пользу принесъ ими себѣ или другимъ? Куда употребилъ ты силу? На что ты жилъ?

„Наконецъ, ты усомнишься въ самомъ себѣ, слыша, какъ святѣйшія чувства твои называютъ смертными грѣхами, какъ для чистѣйшихъ твоихъ намѣреній отыскиваютъ самые мутные источники, ты усомнишься въ самомъ себѣ: не виновать ли ты въ самомъ дѣлѣ, и затрепещешь всѣмъ существомъ своимъ . . . . .

„Ты растерзаешь ризы свои, посыплешь пепломъ главу свою, прольешь потоки горючихъ слезъ, взвоешь, взвоешь какъ голодная собака подъ заборомъ, проклянешь день своего рожденія, произнесешь хулу...

„Юноша... нѣтъ... тебѣ уже сорокъ лѣтъ... и ты не слышишь словъ моихъ: ты изнемогъ, отчаялся, помѣшался; тебѣ прописываютъ билетъ въ ту богадѣльню, гдѣ бьется о стѣну головою Тассъ, гдѣ гложетъ заплѣсневѣлую корку Кеплеръ, гдѣ злословитъ науку Руссо, гдѣ упивается Ломоносовъ, гдѣ предъ поганымъ бродягою подставляетъ высокое чело свое Пушкинъ... Счастливъ еще, если ты попадешь въ это славное

общество. Мимо тебя съ почитеніемъ пройдетъ странникъ, какъ мимо храма поруганнаго, и поклонится тебѣ низко, съ слезами на глазахъ смотря на твои цѣпныя неистовства.

„Но если, не выдержавъ послѣдняго испытанія, ты *ожесточишься!* Если ты изъ жертвы самъ захочешь сдѣлаться палачемъ, и заморивши въ себѣ всѣ человѣческія чувства, рѣшишься вымещать на другихъ свои несчастія... Обороны тебя Боже!

„А если ты *охладѣешь*, одеревянѣешь, предашься житейскимъ заботамъ, поклонись Ваалу и смѣшаешься съ толпою, вспоминая о прошедшей жизни, какъ о безпокойномъ сновидѣніи...

„А если ты *развратишься*, и въ удовольствіи низшимъ страстямъ будешь искать забвенія претерпѣнныхъ несчастій.

„Я не посмѣю обвинять тебя, а пожалѣю горько, что бывъ такъ близко къ цѣли, ты не дошагнулъ до нея, хватаясь почти рукою за высокую награду, не смогъ удержать ее, упалъ и потерялъ въ одну минуту всѣ плоды такихъ долговременныхъ и мучительныхъ опытовъ.

„Другъ мой, другъ мой, успокойся! Подумай—неужели всѣмъ этимъ великимъ урокамъ пропадать даромъ, урокамъ жизни, свѣта, судьбы? Неужели изъ нихъ нельзя извлечь никакой пользы? Ты сѣялъ слезами—должна же слѣдовать за ними жатва радостью.

„Послушай: эти испытанія—тѣ испытанія, о которыхъ я хотѣлъ предупредить тебя въ самомъ началѣ твоихъ дѣйствій! Огнемъ очищается золото, грозою освѣжается воздухъ... душа возвеличивается несчастіями.

„*Блаженъ мужъ, иже претерпитъ искушеніе: зане искушенъ бывъ, прииметъ вѣнецъ жизни, его же обѣща Богъ любящимъ Его...* (Іак., 1, 12).

„Другъ мой! другъ мой! Соберись съ силами, обрати взоръ твой на небо, помолись...

„И если ты носилъ эту истинную любовь въ своемъ сердцѣ, любовь христіанскую, если ты не обманывалъ себя, какъ не обманы-

валъ другихъ, то вѣрно получишь помощь свыше. Ты возстанешь, уже сошедшійся ветхаго человѣка, обновленный, освященный; возстанешь и поднимешься на ту высоту, гдѣ не слышутся земные вопли, даже самые громкіе, куда не достигають самыя летучія стрѣлы, гдѣ царствуетъ ничѣмъ не возмущаемое спокойствіе! Тамъ просвѣтитъ твой взоръ! Какой порядокъ и чинъ увидишь ты въ прежнемъ замѣшательствѣ! Какую гармонію услышишь въ прежнемъ нестерпимомъ шумѣ и гамѣ. Съ какимъ райскимъ удовольствіемъ постигнешъ ты божественное выраженіе, что все на свѣтѣ благо. Ты увидишь тогда необходимость зла, какъ средства увеличивающаго, по законамъ Премудрости, дѣятельную силу добра. Какое высокое зрѣлище представитъ тебѣ Исторія, гдѣ встрѣтишь не людей ты, а человѣчество, идущее неукоиснительно, вопреки всѣмъ ихъ предположеніямъ, замысламъ, помѣхамъ и сопротивленіямъ, по своему прямому пути, начертанному верховною Десницею. Сколь ничтожными представатся тебѣ всѣ людскіе гордые помыслы, и какъ ясно выразишь ты великую истину, что всякое мѣсто, гдѣ бы кто ни стоялъ, есть центръ круга безконечнаго и имѣетъ вліяніе столь же неограниченное; что иная мысль, чувство, желаніе, молитва, въ глубинѣ души, кажется намъ, остающаяся, можетъ быть сильнѣе, дѣйствительнѣе, въ общей экономіи человѣчества, чѣмъ кровопролитная битва, союзъ многихъ царствъ, миллионное предпріятіе; что она, можетъ быть, принадлежитъ къ тѣмъ невидимымъ подпорамъ, на коихъ держится и поддерживается міръ, по слову Евангелія, вѣщающаго, что даже въ послѣдніе дни скорбь велика, якоже не была отъ начала міра доселѣ, ниже имать быти. И аще не быша прекратились дніе оны, не бы убо спаслася всяка плоть; избранныхъ же ради прекратятся дніе оны (Матѣ., 24, 21—22).

„Тогда въ другомъ свѣтѣ увидишь ты, разумѣется, и собственную жизнь свою, произнесешь иной приговоръ всѣмъ ея происшествіямъ; примиришься со всѣми людьми, объясняя противныя ихъ дѣйствія недоразумѣніями, обстоятельствами,



твоими собственными винами, внушеніями злого духа; сознаешься, что, можетъ быть, и отъ тебя страдали многіе, какъ ты страдалъ отъ многихъ; тогда благословишь ты враговъ твоихъ, которые были величайшими твоими благодѣтелями, которые не допустили заглухнуть твоимъ способностямъ, не дали остыть душѣ твоей, поддерживая небесный огонь ея и содѣйствовали болѣе всѣхъ друзей ея освященію, служа невольными орудіями Провидѣнія. Съ какимъ чувствомъ будешь ты просить у нихъ прощенія! Какое значеніе получить въ глазахъ твоихъ эта бѣдная, земная жизнь, какъ служба, какъ приуготовленіе къ другому высшему состоянію! Какой священный, великій характеръ приметъ въ глазахъ твоихъ несчастіе, которое не допустило тебя забыться, возгордиться, развратиться, приковаться къ землѣ и ея похотямъ, которое указало тебѣ путь на небо...

„О, блаженъ, блаженъ, если ты поднимешься на эту высоту, пробудешь тамъ хоть одну минуту, и, сложивъ руки крестомъ, передъ своею кончиною успѣешь воскликнуть: *Отче! въ руки Твои предаю духъ мой*“ <sup>218</sup>).

Подъ 3 февраля 1846 г. Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеромъ Крыловъ. Прочелъ имъ въ *Юношѣ* и произвелъ сильное впечатлѣніе, потому что многое задѣло за живое“.

---

### XXXV.

Лишившись жены, Погодинъ остался съ четырьмя малолѣтними дѣтьми. Влюбчивое сердце нашего героя не позволяло ему оставаться одинокимъ. О немъ вполне можно сказать то, что сказалъ князь П. А. Вяземскій о графѣ Ѳ. И. Толстомъ (Американцѣ):

Подъ бурей рока—твердый камень,  
Въ волненьи страсти—легкій листъ!

19 февраля 1846 года мы находимъ слѣдующую записъ въ *Дневникъ* его: „Очень скучно одинокому!“, и у него явилась „потребность имѣть друга“ <sup>219</sup>).

Въ Москвѣ нѣкогда процвѣталъ домъ оберъ-шталмейстера Сергѣя Ильича Муханова, женатаго на Варварѣ Дмитриевнѣ Тургеневой, умершей статсъ-дамою 13 іюня 1845 года. У нихъ были четыре дочери: Марія, Анна, Елизавета и Екатерина, всѣ фрейлины Императорскаго Двора. Съ этимъ благословеннымъ домомъ сблизился Погодинъ чрезъ своего друга Павла Александровича Муханова. Старшая изъ дочерей, Марія Сергѣевна, плѣнила умъ и сердце Погодина, и онъ мечталъ соединиться съ нею брачными узами.

Лѣто 1846 года Мухановы проживали въ своемъ имѣніи близъ Калуги. Въ деревнѣ ихъ сосѣда С. Я. Унковскаго съ Мухановыми познакомился И. С. Аксаковъ, и 13 августа 1846 года писалъ своему отцу: „Старшая изъ нихъ, Марія Сергѣевна, лѣтъ сорока пяти, очень замѣчательная дѣвушка, не столько умомъ, сколько начитанностью. Далъ ей читать *Московский Сборникъ*. Я съ ней просидѣлъ часа три битыхъ послѣ обѣда и удивился огромной памяти. Вообразите, она изъ Гомера, въ переводѣ Гнѣдича, нанзустъ читаетъ себѣ цѣлыя страницы. Такъ какъ у нихъ хорошее состояніе, то все, что только новаго выходитъ по Нѣмецки, Французски и Англійски, получается ею и читается. Надо прибавить въ чести ея, что она необыкновенно скромна, даже смиренна въ разговорѣ. Никогда не позволить себѣ не только рѣзкаго слова, но и рѣшительнаго сужденія. Это, впрочемъ, послѣднее — не въ моемъ вкусѣ... Кромѣ того, — съ какою стороны ея ни тронь, всюду встрѣтишь религіозный, православный взглядъ, распространенный ею на все“.

Въ это время И. С. Аксаковъ писалъ поэму *Марія Елпнетская*, и Муханова прислала ему книгу *De l'école d'Alexandrie* съ надписью: *На память встрѣчи*. Со своей стороны И. С. Аксаковъ отблагодарилъ ее посланіемъ, въ которомъ между прочимъ читаемъ:

..Съ какою смѣлостію живою  
Путь достославный на земли  
Вы ободряющей рукою  
Мнѣ указываете вдали!  
Боюсь—не та моя дорога!  
И, въ простодушной слѣпотѣ,  
Боюсь судить себя не строго,  
Боюсь повѣрить слишкомъ много  
Самонадѣянной мечтѣ!

Посланіе заключается такими стихами:

Стремясь достигнуть идеала,  
Гонясь за творчествомъ живымъ,  
Безсильной мукою томимъ,  
Казнюсь я казнію Тантала<sup>220</sup>).

Познакомившись такимъ образомъ съ личностію М. С. Мухановой, скажемъ теперь объ отношеніяхъ Погодина къ этой особѣ. Не ложное свидѣтельство о нѣжныхъ чувствахъ къ ней Погодина даетъ намъ его *Дневникъ* 1846 года.

Подъ 5 марта. Думалъ о Мухановой.

— 8 марта. Думалъ и очень живо о Мухановой. Надо.

— 12 марта. Получилъ письмо отъ Маріи Сергѣевны.

— 13 марта. Поѣхалъ къ Мухановой и увидѣлъ. Очень умная, милая, образованная, но потолстѣла. Говорили очень живо о Карамзинѣ, о Словенахъ, о Филаретѣ, Инновентіи и пр. Предложилъ прочесть свой *Отчетъ о Словенахъ*.

— 14 марта. Кажется, видѣлъ во снѣ, что поцѣловалъ руку у Мухановой.

— 16 марта. Все думалъ о Мухановой.

— 17 марта. Вечеръ у Мухановой, которой читалъ о Словенахъ. Не скучно ли? У нихъ робѣю.

— 19 марта. Съ удовольствіемъ думалъ о ней. Лиза должна пребывать въ нашемъ союзѣ.

— 20 марта. Гулялъ и смотрѣлъ на небо. Писалъ въ умѣ письмо Марьѣ Сергѣевнѣ.

— 22 марта. Потребность живая сообщать мысли, чувства, говорить, подумать вмѣстѣ, а если откажетъ. Буди воля Божія. Дѣлалъ планы, и какъ безъ нихъ!

— 24 марта. Ожидаю письма отъ Маріи Сергѣевны. Хотѣлъ было звать ее. Думалъ объ ней. Потребность дѣлиться мыслями и чувствами.

— 26 марта. Въ 8 часу поѣхалъ. Приѣмъ въ аристократической гостинной. Кажется, рѣшусь.

— 27 марта. Думалъ о Мухановой. Рѣшеніе созрѣваетъ.

— 28 марта. Не пріѣхала, и установилось по прежнему рѣшеніе.

Желая нѣсколько умиротворить свои сердечныя волненія молитвою, Погодинъ вмѣстѣ съ сыномъ отправился говѣть въ Сергіеву Лавру, куда „благополучно“ пріѣхалъ вечеромъ 2 апрѣля 1846 года. О пребываніи въ Лаврѣ Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Говѣлъ тихо и спокойно. Молился, но не съ жаромъ. Изрѣдка было тихо на сердцѣ. Не могъ не думать о Мухановой. Думалъ иногда съ грустью о Лизѣ. Прекрасное служеніе Антонія. Впрочемъ провелъ время довольно хорошо“.

На обратномъ пути въ Москву Погодинъ посѣтилъ Аксаковыхъ въ Абрамцовѣ. Дорога туда была ужасная. „Къ счастью“, писалъ онъ, — „обманулъ меня вчера извозчикъ, и я нанялъ другого въ тарантасѣ. Въ телегѣ просто погибъ бы“. Съ Аксаковыми Погодинъ встрѣтился „со слезами“ и нашелъ ихъ положеніе „не такъ дурно, какъ ожидалъ“. Онъ былъ также утѣшенъ тѣмъ, что болящій С. Т. Аксаковъ „духомъ спокоенъ“. О своихъ же сердечныхъ дѣлахъ Погодину „не удалось“ сообщить О. С. Аксаковой, которая, какъ намъ извѣстно, всегда принимала живое участіе въ дѣлахъ подобнаго рода нашего героя. По „ужасной и опасной дорогѣ“ Погодинъ продолжалъ свое путешествіе до Москвы, куда прибылъ 9 апрѣля и „заперся у себя на верху“.

Между тѣмъ мысль о женитьбѣ не оставляла Погодина, и въ *Дневникѣ* его того же года мы встрѣчаемъ слѣдующія записи:

Подъ 10 апрѣля. Гулялъ по саду. Нужно, нужно жениться. Скучно, досадно, грустно.

— 14 *апрѣля*. Думалъ о бракѣ. Надо, непременно надо!

— 15 *апрѣля*. Письмо таки пришло, какъ и ожидалъ, и очень милое. Обѣщался ѣхать завтра. Не объясниться ли?

— 17 *апрѣля*. Вечеръ у Мухановой. Очень умна и начитана.

— 23 *апрѣля*. Письмо къ Филарету. Смотрѣлъ на дѣтей. Надо имъ мать.

— 3 *мая*. Посылка отъ Мухановой съ прекрасными анекдотами о Маріи Θεодоровнѣ. Не задираетъ ли она?

— 4 *мая*. Настроивался къ молитвѣ и думалъ, что нужна подпора, для меня и для дѣтей, и что Лиза будетъ рада ей.

— 12 *мая*. Нынѣ кажется, что потребность физическую я могу одолѣть, нравственную забыть, устремясь въ сочиненія, а дѣтей воспитать безъ помощницы. Господи! Скажи мнѣ путь. Думалъ, не сдѣлаетъ ли сама предложенія.

— 17 *мая*. Вечеромъ ѣздилъ къ Мухановой, и она поправила мнѣ особенно.

— 26 *мая*. Ходилъ къ обѣднѣ, молился хорошо. Очень спокоенъ, даже слишкомъ, какъ будто ничего не происходило, а между тѣмъ рѣшается теперь судьба.

И судьба рѣшилась. Погодинъ получилъ отъ своей героини нетерпѣливо ожидаемое письмо, заключавшее въ себѣ *отвѣтъ отрицательный*. „Немножко какъ будто обжегся. Такъ угодно Богу“.

Такимъ образомъ попытка Погодина жениться на М. С. Мухановой не удалась. Но эта неудача не остановила Погодина отъ покушенія на женитьбу, и онъ рѣшился сдѣлать предложеніе вдовѣ профессора М. Г. Павлова, Марьѣ Петровнѣ. „Женщина добрая“, записываетъ Погодинъ въ своемъ *Дневникѣ*, „хороша собою, подъ лѣты. А дѣтей ея можно отдѣлать“. Въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ Погодина мы находимъ объ этомъ намѣреніи любопытныя свѣдѣнія: „Я рѣшился жениться. Выборъ палъ на одну знакомую вдову. Было, по моему мнѣнію, нѣсколько препятствій съ обѣихъ

сторонѣ. Долго я думалъ о томъ, не говоря ни съ кѣмъ, и наконецъ рѣшился посоветоваться съ нею самою, не было ли ей противно мое предложеніе. Наступилъ канунъ объясненія. Послѣ обѣда я сплю обыкновенно съ полчаса въ моемъ кабинетѣ за ширмами. Надъ кроватью висѣлъ портретъ покойной жены. Ложась спать, я обратился къ ней мысленно и подумалъ: другъ мой, подай мнѣ совѣтъ, хорошо ли я дѣлаю. Уснулъ, проснулся, и сѣлъ, по обыкновенію, за свой письменный столъ, думая свою думу. Наступилъ вечеръ. Дѣти пришли прощаться. Старшій сынъ, лѣтъ десяти, спалъ вмѣстѣ со мною, также за ширмами. Получивъ благословеніе, онъ легъ въ свою постель. Вдругъ я слышу, что онъ съ какимъ-то безпокойствомъ ворочается. Не чувствуетъ ли его сердце, мелькнула у меня въ головѣ мысль, о чемъ я теперь думаю. Я взялъ свѣчку и пошелъ посмотрѣть на него; вижу, что онъ лежитъ, и я воротился на свое мѣсто. Слышу—онъ опять ворочается.—Митя, ты не спишь? спрашиваю его. *Не сплю*, отвѣчаетъ онъ, и въ отвѣтъ его слышатся слезы.—Да ты плачешь? *Плачу*.—О чемъ? *Когда я ложился спать, взглянулъ на мамашу,—мнѣ стало ея жалко! Развѣ ты говорилъ нынче о мамашѣ съ Сашей? Нѣтъ не говорилъ.....* Меня такъ и ударило въ голову при такомъ удивительномъ совпаденіи его слезъ съ моими мыслями, и всѣ замышленія исчезли, какъ небывалыя. На другой день я поѣхалъ не туда, куда намѣревался, а къ митрополиту Филарету, съ которымъ разговоръ касался у меня иногда до другого міра. *Что вы объ этомъ думаете*, сказалъ онъ. Я пріѣхалъ спросить мнѣнія вашего высокопреосвященства. *По моему, это указаніе: можетъ быть, особа, о которой вы думаете, вамъ не подходящая, можетъ быть, время не то: ожидайте другихъ указаній*“ <sup>221</sup>).

Вслѣдъ за симъ Погодинъ уѣхалъ въ чужіе края. Въ Теплицѣ Погодинъ встрѣтился съ одною „пророчицею“, которая предсказала ему, что „Богъ благословитъ его новымъ бракомъ“. Возвратясь въ Москву, онъ задумалъ предложить руку и сердце вдовѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ Карлгофъ. Покойный мужъ ея былъ

помощникомъ Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа и былъ коротко знакомъ съ В. В. Григорьевымъ во время профессорства послѣдняго въ Одессѣ. Вотъ почему Погодинъ и обратился къ Григорьеву съ просьбою быть посредникомъ между нимъ и Е. А. Карлгофъ. По этому поводу между Григорьевымъ и Погодинымъ завязалась любопытная переписка. „Три раза прочелъ я“, писалъ Григорьевъ, — „послѣднее письмо ваше, и все не могъ понять, въ чемъ дѣло: такъ ужъ черезъ-чуръ таинственно пишете вы. Наконецъ, прочтя въ четвертый, я догадался; но все не могъ припомнить, о комъ это говорилъ я вамъ. Теперь, нащупавъ въ памяти и эту особу, пишу вамъ, какъ желаете вы, положи руку на сердце. Нѣтъ сомнѣнiя, что она, особа эта, еслибы сдѣлалась вашею женою, очень бы любила вашихъ дѣтей, была бы имъ нѣжною матерью... но во всякомъ случаѣ она достаточно умна для женщины и умнѣ многихъ другихъ Московскихъ барынь, которыя дурами не сльвуть. Относительно вкусовъ — я не знаю хорошо ни ея, ни вашихъ. Теперь главный вкусъ ея, кажется, филантропiя; прежде придерживались мы литературы. Впрочемъ ходятъ здѣсь слухи, что она и теперь принимаетъ какое-то участiе въ изданiи *Московскаго Листка*, переводитъ этакъ что-ли, или стихишки пописываетъ... Покойный мужъ ея не могъ нарадоваться, что Богъ далъ ему такую жену. Я не думаю, чтобы она пошла замужъ за васъ: будьте вы вдвое моложе, вдвое красивѣе: это бъ не помогло. Что касается до состоянiя ея, то у нея есть порядочное имѣнiе въ Пензенской губернiи, которое даетъ этакъ тысячъ до пятнадцати ассигнаціями въ годъ. Были и деньги... Вотъ все, что могъ я сказать вамъ объ ней“.

По видимому, этимъ письмомъ Погодинъ остался доволенъ, по крайней мѣрѣ вотъ что писалъ ему вскорѣ затѣмъ Григорьевъ: „Очень радъ, что хоть чѣмъ-нибудь угодилъ на васъ: у меня смертная охота угождать людямъ (разумѣется, когда дѣло идетъ о чемъ путномъ), да рѣдко удается; какъ ни вынь, часто все приходится клинъ. Что же касается до со-

вѣстливости и искренности—готовъ всегда служить этимъ товаромъ, за неимѣніемъ лучшаго. Если, какъ видится изъ вашего письма, дѣло идетъ на ладъ—давай Богъ. Въ дополненіе только къ сказанному прежде, не лишнимъ будетъ знать вамъ, что года за два тому весьма усердно сватался за нея одинъ юноша, однихъ съ нею лѣтъ, или годами двумя-тремя и постарше ея, поэтъ, весьма недурной собою, умный, любезный, если не съ порядочнымъ, такъ все-таки состояніемъ—и она отказала ему, хотя и очень ласкала... Бѣднага, кажется, былъ очень къ ней привязанъ; отказъ, должно быть, огорчилъ его, и недавно онъ, надо полагать съ отчаянія—что? застрѣлился или утопился?—нѣтъ женился на . . . . “. Высказавъ это, Григорьевъ обращается къ своимъ личнымъ отношеніямъ къ Е. А. Карлгофъ. „Я“, пишетъ онъ,—„очень любилъ покойнаго ея мужа, такъ любилъ, что готовъ былъ отдать за него собственную жизнь: это не фраза; не за личность его готовъ былъ я принести такую жертву, а изъ убѣжденія, что онъ можетъ быть полезнѣе меня для Отечества; лѣтъ семь тому я страшно страдалъ патріотизмомъ, а покойникъ былъ человекъ благороднѣйшей души, съ самыми благими, безкорыстными стремленіями на пользу общую. Взаимно и онъ полюбилъ меня. По смерти его я завелъ большую дружбу съ женою... Чтò привязало меня къ ней это—опять патріотизмъ, я не встрѣчалъ еще женщины, которая бы такъ любила Россію, какъ она, и любилъ ее единственно за эту любовь ея къ родинѣ...”

Не довольствуясь посредничествомъ Григорьева, Погодинъ вмѣшалъ въ это деликатное дѣло и высокопреосвященнаго Иннокентія, которому Е. А. Карлгофъ была известна по Кіеву. Въ письмѣ своемъ (отъ 28 іюня 1847 года) Погодинъ писалъ: „Извѣстную особу я посѣтилъ и былъ принятъ очень ласково. Не сдѣлать ли предложеніе съ вашего благословенія?“ Вскорѣ послѣ того Погодинъ сдѣлалъ письменное предложеніе, и 20 октября 1847 года онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Письмо отъ Е. А. Карлгофъ холодновато“.



Ни посѣщеніе Чаадаева, ни „бесѣда съ двумя выгнанными студентами“ не могли утѣшить Погодина, и онъ тутъ же жалуется: „День прошелъ для Исторіи, о Боже мой!“

Счастливымъ соперникомъ его явился Драшусовъ. 15 декабря 1847 года М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Очень радъ, что г-жа Карлгофъ выходитъ или вышла замужъ за ученаго; только отчего же онъ уѣзжаетъ за границу“.

Эта неудача навѣяла на Погодина меланхолію, и В. В. Григорьевъ писалъ ему: „Что же касается до того, что извѣстная мадамъ вышла замужъ, то тутъ я ужъ ни на волосъ не виновать въ вашемъ *mauvais humeur*“<sup>222</sup>).

### XXXVI.

Приступая къ изданію *Москвитянина* въ 1846 году, Погодинъ счелъ нужнымъ объясниться, оправдаться предъ публикою и откровенно заявить, что въ 1845 году редакторъ *Москвитянина*, М. П. Погодинъ, „не могъ принимать дѣятельнаго участія въ изданіи по причинѣ своихъ тяжкихъ обстоятельствъ; С. П. Шевыревъ занятъ былъ чтеніемъ публичныхъ лекцій, кои теперь приготовляетъ къ печати. Сначала года принималъ участіе въ редакціи И. В. Кирѣевскій, но долженъ былъ оставить оное по причинѣ болѣзни. Теперь редакція поступаетъ опять въ вѣдѣніе М. П. Погодина, которому Московскіе литераторы обѣщали содѣйствовать всѣми силами въ утвержденію *Москвитянина*, единственнаго въ Москвѣ литературнаго журнала“.

Это оправданіе было весьма кстати; ибо за выходомъ изъ редакціи И. В. Кирѣевского изданіе *Москвитянина* шло такъ неисправно, что даже возбудило негодованіе почтеннаго Плетнева, что явствуетъ изъ его письма къ Коптеву, въ которомъ Плетневъ не щадитъ Редактора *Москвитянина*: „Любуюсь на выходящія не въ срокъ книжки *Москвитянина*, я убѣжденъ, что одни сонные могутъ подписываться на такой жур-

налъ. До чего доходитъ цинизмъ Погодина! Онъ не только разговариваетъ въ халатѣ съ публикой (объ открытіи памятника Карамзину), но тутъ же пишетъ ей и доносъ на Уварова, зачѣмъ онъ предпочелъ ему Устрялова при выборѣ адъюнкта Академіи Наукъ. Другою отличительною дѣятельностью Погодина — безстыдное корыстолюбіе. Онъ даже съ Академіи Наукъ рѣшился сорвать взятку за какой-то свой историческій вздоръ и прислалъ его на конкурсъ въ Демидовскую премію, оспаривая законъ, что сочиненія самихъ академиковъ не могутъ идти на конкурсъ<sup>223</sup>). Но тотъ же Плетневъ умѣлъ найти въ Погодинѣ и хорошее: „Обратите вниманіе“, писалъ онъ Жуковскому, — „на отдѣлъ *Современника*: *Разное*. Изъ этого скромнаго уголка я рѣшился по временамъ отрывать ту истину, которую затемнить такъ усиливается наши журналисты. Воевать съ ними я не намѣренъ, но почитаю долгомъ говорить правду, не различая никого: это вооружило противъ меня всѣхъ, *разумѣется, исключая Погодина*“<sup>224</sup>).

Объявленіе же объ изданіи *Москвитянина* въ 1846 году Погодинъ сдѣлалъ въ такихъ выраженіяхъ: „Предоставляя Петербургскимъ журналамъ поучать и утѣшать Русскую публику Вѣчнымъ Жидомъ, Парижскими и Лондонскими Тайнами, романами гг. Дюма, и Сулье, и Занда, *Москвитянинъ* будетъ по прежнему предлагать ей свѣдѣнія объ отечествѣ, о древней Руси, о Петрѣ, Екатеринѣ, Александрѣ... о Суворовѣ, Потемкинѣ, Шуваловѣ, Сперанскомъ... о Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Державинѣ, Карамзинѣ, Пушкинѣ... о Москвѣ, о Новгородѣ, Кіевѣ, Владимірѣ... Предлагая старое, *Москвитянинъ* будетъ, сколько можно, касаться и новаго, обращая вниманіе на живые вопросы нашей жизни... Впрочемъ программа остается прежняя: благоговѣніе предъ Русской Исторіей, воздаяніе должной чести Москвѣ, какъ средоточію Россіи, осужденіе безусловнаго поклоненія Западу, при должномъ уваженіи къ его историческому значенію, сознаніе національнаго достоинства, увѣренность въ великомъ предна-

значеніи Русскаго народа, не только въ политическомъ смыслѣ, но и въ человѣческомъ, увѣренность въ величайшихъ дарахъ духовныхъ, коими надѣленъ Русскій человѣкъ для подвиговъ на поприщѣ науки и литературы, призываніе молодого поколѣнія къ трудамъ, и преимущественно къ разработкѣ историческихъ и филологическихъ памятниковъ, возбужденіе участія къ трудамъ совершеннымъ, ободреніе молодыхъ талантовъ и содѣйствіе ихъ дѣятельности, свобода литературныхъ мнѣній, уваженіе къ преданіямъ Русской Словесности и ея основателямъ, начиная отъ Ломоносова до Пушкина, стараніе по мѣрѣ силъ о сохраненіи чистаго вкуса въ литературѣ, угрожаемаго нашествіемъ двадцати языкъ, сочувствіе къ племенамъ Словенскимъ, ихъ исторіи, литературѣ и судьбѣ, непримиримая, открытая вражда къ противоположному направленію, вражда не чрезъ бесплодную полемику, къ коей *Москвитянинъ* показалъ свое презрѣніе, а чрезъ распространеніе другихъ правилъ и мыслей... Вотъ въ краткихъ словахъ программа *Москвитянина*. Такъ онъ началъ, такъ продолжался пять лѣтъ, такъ будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1846 году. Въ этомъ видѣ имѣлъ онъ счастье заслужить вниманіе, ободреніе, содѣйствіе многихъ людей образованныхъ и благонамѣренныхъ, принадлежащихъ къ высшимъ кругамъ правительства и общества, и онъ постарается поддержать и впредь ихъ доброе мнѣніе, служащее ему самою лестною наградой“.

Слѣдуя неуклонно изложенной программѣ, Погодинъ не переставалъ привлекать къ себѣ и возбуждать къ дѣятельности скромныхъ, но почтенныхъ ученыхъ, жившихъ вдали отъ столичныхъ центровъ просвѣщенія. Въ 1846 году онъ вступаетъ въ сношеніе съ Казанскимъ ученымъ Александромъ Ивановичемъ Артемьевымъ. „Имя его“, по свидѣтельству Л. Н. Майкова, „не принадлежало къ числу общезвѣстныхъ за предѣлами круга ученыхъ специалистовъ. Но тѣмъ не менѣе А. И. Артемьевъ олицетворялъ собою одинъ изъ лучшихъ типовъ ученаго дѣятеля. Любовь къ наукамъ и

обширность познаній соединились въ немъ съ неутомимымъ трудолюбіемъ и необыкновенною скромностью: въ глазахъ многихъ это рѣдкое достоинство, быть можетъ, заслоняло другія его качества, какъ ученаго и человѣка; но кто ближе всматривался въ эту личность, для того скромность покойнаго лишь ярче освѣщала его достоинство“. Въ 1845 году Артемьевъ напечаталъ въ Казани свою магистерскую диссертацию подъ заглавіемъ: *Имѣли ли Варяги вліяніе на Словенъ, и если имѣли, то въ чемъ оно состояло?* Это сочиненіе, по отзыву Л. Н. Майкова, „въ сожалѣнію, весьма мало извѣстное въ литературѣ, принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ изслѣдованій по Варяжскому вопросу... и представляетъ смѣлый и основательный отпоръ той теоріи, по которой весь внутренній строй жизни въ древнѣйшей Руси представляется съ рѣзкимъ отпечаткомъ Норманскаго характера... Въ этой диссертациі А. И. Артемьевъ обнаружилъ свое особенное вниманіе къ вопросамъ исторической этнографіи, которые не разъ занимали его и впослѣдствіи“<sup>225</sup>).

Напечатавши эту книгу, Артемьевъ счелъ своимъ долгомъ представить ее Погодину и, не смотря на то, что послѣдній самъ былъ представителемъ Норманской теоріи, онъ принялъ этотъ трудъ молодого ученаго съ полнымъ сочувствіемъ и послалъ ему въ подарокъ свое *Похвальное Слово Карамзину*, о чемъ свидѣлствуетъ слѣдующее любопытное письмо Артемьева (3 мая 1846): „Съ чувствомъ живѣйшей благодарности и глубочайшаго почтенія принялъ я даръ вашъ, переданный мнѣ Березинымъ. Я не смѣлъ никогда думать, чтобы такое ничтожное приношеніе, какъ мой первый опытъ занятій Отечественною Исторіею, удостоилось столь лестнаго и ни мало не заслуженнаго мною вниманія отъ васъ, извѣстнѣйшаго и нынѣ единственнаго критика-историка. Тѣмъ болѣе, тѣмъ сильнѣе чувствую я всю цѣну этой благосклонности.— Желалъ бы достойнѣйшимъ образомъ отблагодарить васъ, но не нахожу достаточно сильныхъ словъ для выраженія всѣхъ чувствъ своихъ. Ваше Слово прочиталъ уже прежде въ первой книжкѣ

*Москвитянина* и жалѣлъ, что не имѣлъ счастья выслушать его изъ устъ вашихъ, когда вы произносили его въ Симбирскѣ при торжественномъ открытіи памятника, и потомъ читали у насъ въ Казани, въ собраніи гг. профессоровъ. Теперь я снова прочиталъ его съ такимъ же сожалѣніемъ, причину котораго, безъ сомнѣнія, вы понимаете. Двадцатипятилѣтнее изученіе жизни и произведеній великаго исторіографа дало вамъ полное право, возлагало на васъ священную обязанность произнести надъ нимъ безпристрастный приговоръ. И вы исполнили это назначеніе съ честію для себя, съ новою славою для Карамзина. Въ вашемъ *Словѣ* Карамзинъ является видимымъ, осязаемымъ. Будучи самъ почитателемъ Карамзина, какъ человѣка, какъ гражданина и какъ историка, но лишенный средствъ, обладаемыхъ вами, къ подробнѣйшему изученію его, я радовался изданію вашего *Слова* и въ то же время жалѣлъ, что попалъ въ число оглашенныхъ, предъ которыми не совсѣмъ была поднята завѣса съ дѣяній исторіографа, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорится о социальныхъ его вѣрованіяхъ. Но во всякомъ случаѣ даже изданное и съ этими пропусками *Слово* ваше остается единственнымъ и самымъ полнымъ и вѣрнымъ изображеніемъ великаго исторіографа. Поэтому-то, соображая всю важность вашего *Слова* и всѣ его достоинства, я никогда не воображалъ, чтобы оно сдѣлалось наградою мнѣ, еще безвѣстному и неопытному труженику на великомъ поприщѣ воздѣлыванія Отечественной Истории. Примите же мою глубочайшую и искреннѣйшую благодарность за вашу обо мнѣ память, за столь высокую ко мнѣ благосклонность, которую отнынѣ я буду считать для себя поощреніемъ и благословеніемъ на избранный мною подвигъ....

„Теперь позвольте мнѣ просить у васъ не извиненія, но прощенія въ неисполненіи до сихъ поръ вашего желанія относительно присылки вамъ копій съ одной рукописи, принадлежащей библіотекѣ нашего Университета, fac-simile съ авто-

біографіи Князева \*) и выписокъ изъ Географіи. Еслибы я вздумалъ оправдываться, то могъ бы опереться на свои служебныя обязанности, на возложенное на меня порученіе привести въ извѣстность имущество Минцъ-Кабинета и составить описаніе монетъ, медалей и камеевъ, а также и на хлопотливое званіе редактора губернскихъ вѣдомостей;—но почти— годовое пространство времени, если не уничтожаетъ вовсе моихъ оправданій, то значительно ослабляетъ ихъ. По крайней мѣрѣ я изложу вамъ причины столь непростительной медленности. Вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Казани я приискалъ одного писца и поручилъ ему списать заинтересовавшія васъ *Разныя Стихотворенія*. Черезъ недѣлю мой борзописецъ сдѣлался боленъ, хворалъ цѣлый мѣсяцъ, а потомъ уѣхалъ изъ Казани и уже изъ Мамадыша возвратилъ подлинникъ безъ копіи. Другой писецъ поступилъ еще лучше. Это собраніе стихотвореній составлено, какъ кажется, простымъ необразованнымъ любителемъ разныхъ куріозовъ по невѣрнымъ спискамъ или даже на память, со словъ, и потому исполнено многихъ ошибокъ противъ грамматики, версификаціи и проч. Переписчикъ, что ведется отъ продолжателей преподобнаго Нестора, началъ лукаво мудрствовать и *еже идѣ переписалъ, еже идѣ не дописалъ*, и отъ его редакціи вышла такая путаница, что я рѣшился уничтожить ее. Въ третій разъ я уже не осмѣлился поручать переписку неизвѣстному человѣку и рѣшился въ часы досуга переписывать самъ. Надѣюсь въ скоромъ времени доставить эту копію, за вѣрность которой, будучи библіографомъ ex officio и библіоманомъ e facto, смѣло стану ручаться. Между тѣмъ сообщу кое-что о содержаніи этой рукописи, что, полагаю, будетъ любопытно для васъ и для всѣхъ историковъ Русской Литературы. Этотъ сборникъ можетъ многое объяснить въ отношеніяхъ литераторовъ между собою и раскрыть полемику того времени,

\*) См. мое чтеніе въ Императорскомъ Обществѣ Любителей Древней Письменности 19 апрѣля 1885 г.: *А. Т. Князевъ, трудолюбецъ прошлаго вѣка*. (*Русскій Архивъ* 1885 г., II, стр. 461—474).

Минцъ-Кабинетъ.  
Каз  
С-К  
X

которой впрочемъ не уступаетъ и нынѣшняя, отличающаяся почти таковымъ же цинизмомъ, какъ и эти перебранки Ломоносова, Сумарокова, Тредьяковскаго, Елагина и пр. Первые четырнадцать пьесъ и еще сто-тридцатая и сто-тридцать первая этого сборника составляютъ бранную переписку, возникшую по поводу сатиры Елагина *На петиметра и кокетокъ*, начинающуюся обращеніемъ къ Сумарокову:

Открытель тайнства любовныя намъ лиры,  
Творецъ преславныя, и (!) потѣшныя Семиры... и проч.,

на которую Сумароковъ отвѣчалъ:

Открытель тайнства поносныя намъ лиры,  
Творецъ негодныя и глупыя сатиры... и проч.

„Къ нимъ присоединились Ломоносовъ, Тредьяковскій, — писали, бранились — и кончили ничѣмъ... Пятнадцатая пьеса есть *Гимнъ Бородѣ*, сочиненный Ломоносовымъ. Этотъ гимнъ дошелъ до Холмогоръ, родины Ломоносова, и возмутилъ всѣхъ брадоносцевъ. Одинъ изъ нихъ, извѣстный Христофоръ Зубницкій, будто бы не зная, что гимнъ сочиненъ Ломоносовымъ, обращается къ нему самому съ письмомъ (писаннымъ прозою), въ которомъ проситъ, чтобы онъ похлопоталъ о помѣщеніи въ *Ежемесячныхъ Сочиненіяхъ* или другомъ журналѣ прилагаемаго *Имня пьяной Головы*, явно направленнаго на самого Ломоносова и несчастную его страсть. Это послужило поводомъ къ новой войнѣ: явились союзники той и другой стороны, и она разгорѣлась...

„Далѣе находятся въ рукописи бранныя эпиграммы, которыми стрѣлялись между собою актеры Соколовъ и Чулковъ, а также нѣкоторые литераторы и театралы. Чулковъ, какъ видно, игралъ Синава и

О смерти Трувора онъ очень грусно вылъ..

Чулковъ же отвѣчалъ, что

Не Владисана я въ тебѣ (Соколовъ) узылъ,  
Но мерзкимъ кучеромъ нескладно ты ревълъ...

„Вообще почти вся эта рукопись заключаетъ въ себѣ статьи подобнаго содержанія, исключая весьма немногихъ, обращенныхъ на другіе предметы, и двухъ - трехъ, не болѣе пяти, извѣстныхъ печатно. Духъ и способъ выраженія вы можете замѣтить изъ приведенныхъ мною выписокъ. Но есть выраженія еще грязнѣе, чуть-чуть не крѣпкія слова; на примѣръ, *скоть*, *преузороочный*, *верблюдь*, *болобанъ*, *ротозѣй*, *осель*, *верзила*, *фаламей* и т. п. Ужасно. И это XVIII вѣкъ, отличававшійся щепетильною щеголеватостью фразъ и обращенія!.. Но удивляться не будемъ, если вспомнимъ Грачей, Булгарскихъ Угрей и т. п. 1830-хъ годовъ или современные *Записочныя выходы*...

„Я бы желалъ кое-что сообщить и о *Географіи*, изъ которой просили вы сдѣлать извлеченіе, а также о недавно приобрѣтенной мною *Книжѣ*, *малолемой космографіи*, изложенной *во градѣ Идубургѣ* (Эдинбургѣ); желалъ бы сообщить вамъ и объ историческихъ трудахъ Казанскихъ ученыхъ, на примѣръ, о явленіи трехъ разныхъ *Исторій Казани*; сказать и о своихъ занятіяхъ, — но боюсь, что письмо мое, и безъ того утомительно-длинное, довольно уже наскучило вамъ и отняло много дорогаго времени. Если же вамъ не скучно будетъ получать вѣсти о Казани вообще и о дѣятельности нѣкоторыхъ изъ жителей ея, то я бы съ удовольствіемъ принялъ на себя обязанность такого корреспондента.

„Изъ журналовъ узналъ я о выходѣ въ свѣтъ вашихъ изслѣдованій *О Норманскомъ Періодѣ* и жду съ нетерпѣніемъ, когда они придутъ въ наши книжныя лавки. Явленіе этой книги радуетъ меня чрезвычайно, потому что я и самъ нѣсколько приглядывался къ Варягамъ и старался уяснить себѣ періодъ ихъ владычества. Увѣренъ, что прочтеніе вашей книги раскроетъ мнѣ гораздо болѣе, чѣмъ всѣ мои собственныя догадки“.

Въ это время А. А. Григорьевъ, соскучившись въ Петербургѣ по Москвѣ, пожелалъ туда переѣхать и принять участіе въ *Москвитянинѣ*. Съ этою цѣлію, чрезъ своего това-



рища С. М. Соловьева, онъ вступилъ въ переговоры съ Погодинымъ. Соловьевъ, исполняя просьбу товарища, писалъ Погодину: „Едва успѣлъ я вернуться отъ васъ, какъ получилъ письмо отъ Григорьева *чудака*, а не *ярыка* \*); не смѣя беспокоить васъ вторичнымъ прїѣздомъ, я выписываю изъ письма тѣ строки, которыя касаются собственно васъ: „Родные мои зовутъ меня въ Москву, да мнѣ и самому надобно страшно жить безъ всякихъ привязанностей. Я бы съ радостью поселился въ Москвѣ, еслибы тамъ были какія-нибудь средства прожить, то-есть, средства литературныя и притомъ чернорабочія. Можетъ ли *Москвитянинъ* обезпечить мнѣ у себя шесть печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ библіографій, переводовъ, извлеченій и смѣси — цѣною по десяти рублей за листъ; оригинальный ли, или переводный—все равно. За скорость моихъ работъ поручится, пожалуй, издатель *Репертуара*; за православный и Словенскій духъ моихъ рецензій ручательствомъ могутъ служить имѣющіе быть напечатаны въ мартовскомъ номерѣ *Финскаго Вѣстника* статьи: 1) о проповѣдяхъ Филарета; 2) о романѣ Вельмана—*Емем* и 3) Сперанскаго о законахъ; за мою набивку руки ручается двухлѣтнее участіе въ *Репертуарѣ*.—Просьба моя къ тебѣ—предложить эти условія Михаилу Петровичу отъ моего имени. Хорошо, еслибъ это дѣло устроилось! Увѣдомь меня, какъ скоро переговоришь съ Погодинымъ, чтобъ я самъ могъ прїѣхать для личныхъ переговоровъ“. Не прибавляя ни слова отъ себя и ожидая отвѣта, имѣю честь пребыть...“ <sup>226</sup>).

Отвѣтъ со стороны Погодина послѣдовалъ, разумѣется, самый благопріятный и, по свидѣтельству Н. Н. Стрхова, въ 1847 году А. А. Григорьевъ переѣхалъ въ Москву <sup>227</sup>).

Благодатная мысль о просвѣщеніи народа подъ покровомъ Церкви давно занимала избранные умы въ Россіи. Не заходя вдалѣ вѣковъ, мы отмѣтимъ, что въ 1846 году эта мысль занимала почтеннаго С. А. Маслова, и органомъ для развитія

\*) *Чудакомъ* называется Григорьевъ кандидатъ и экс-секретарь, а *ярыкомъ* — Григорьевъ-магистръ — по своей бароніи, то-есть, диссертацин.

оной онъ желалъ избрать журналъ своего друга Погодина, которому 13 марта 1846 года писалъ: „Мнѣ бы очень нужно было видѣться съ вами и съ С. П. Шевыревымъ, чтобы передать вамъ нѣкоторыя свѣдѣнія о водвореніи нравственнаго начала въ крестьянскія семейства посредствомъ церковной грамоты. Если этотъ предметъ находить въ сердцѣ вашемъ сочувствіе, то надобно соединеніе силъ на литературномъ поприщѣ, чтобы эта идея распространялась, не смотря на холодность тѣхъ, которые заботятся о распространеніи просвѣщенія безъ любви къ человѣчеству. Я бы желалъ, чтобы теплая идея церковной грамотности разливала свѣтъ любви изъ Москвы, а вы — *Москвитянинъ*“.

Въ то же время Андрей Николаевичъ Карамзинъ писалъ Погодину, что оберъ-прокуроръ Св. Синода графъ Н. А. Протасовъ „любитъ и *Москвитянина*, и Москвитей-редакторов“.

Какъ къ *Москвитянину*, такъ и лично къ Погодину питалъ неизмѣнное расположеніе знаменитый ученый отецъ Іоакимъ. Въ письмѣ его къ Погодину, отъ 24 ноября 1846 года, мы между прочимъ читаемъ: „Посылаю вамъ статью для журнала; а чтобъ не повала свѣжестъ занимательности ея, прошу васъ не откладывать вдаль. Изъ этой статьи усмотрите, какъ Европейскіе ученые мечтательны, хвастливы и до какой глупости влюблены въ свою ученость. Англичане въ Лондонѣ мечтаютъ, что они первый въ свѣтѣ народъ, который хорошо знаетъ и Китайскій языкъ, и Китай. А что читать мнѣ доводилось о Китаѣ изъ Англійскихъ сочиненій, право, вездѣ пополамъ съ грѣхомъ. О наглыхъ Французскихъ хинологахъ и говорить не нужно. Я дивлюсь безстыдству, съ какимъ они предъ цѣлымъ свѣтомъ величаютъ другъ друга знаменитыми, что сплошь дѣлается и между нашими знаменитостями. Это чисто дѣти до десятилѣтнаго возраста, и притомъ дѣти глупыя. Изъ нашихъ нѣкоторые пробуждаются. Г. Ободовскій во второмъ изданіи своей *Географіи* сдѣлалъ поправки кое-гдѣ, а въ третьемъ еще болѣе, въ чемъ и самъ сознается. Но этого очень мало. Надобно все повѣрить. Въ Китаѣ учебники

сочиняются учеными комитетами, подобно какъ нынѣ словарь и грамматика у насъ. Для чего прочіе учебники пренебрежены? Съ 1 генваря текущаго года я занимаюсь составленіемъ Исторіи древнихъ народовъ въ Средней Азій, и частію со-сѣдственныхъ ей владѣній. Сія Исторія начинается во вто-ромъ вѣкѣ предъ Р. Х. и оканчивается въ IX вѣкѣ. Въ будущемъ году для справокъ я буду перелистывать Исторію Китая и все любопытное особо выпишу для вашего журнала. Здѣсь въ книжныхъ лавкахъ совершенная затишь, а журна-ламъ литературнымъ раздолье; и чѣмъ безсовѣстнѣе, тѣмъ въ большемъ почетѣ. Надобно же будетъ когда-нибудь при-няться за воспитаніе и нравственность. Безъ этого наша философія будетъ чучела огородная, а люди—Французскія куклы.—Нынѣ мнѣ ровно семьдесятъ лѣтъ, и лѣтвара очень совѣтуютъ оставить сидячую жизнь. Скучно безъ дѣла, и потому занимаюсь съ небольшими раздыхами“<sup>228</sup>).

### XXXVII.

Возмущенный злоупотребленіемъ Русскаго языка, которое допускали журналисты того времени, самъ помощникъ По-печителя Московскаго учебнаго Округа Д. П. Голохвастовъ напечаталъ въ *Москвитянинѣ* 1845 года статью подъ за-главіемъ *Голосъ въ защиту Русскаго языка*. Эта статья вы-звала ѣдкую полемику защитника съ *Отечественными Запис-ками*, и въ послѣднихъ появилась критическая статья, напи-санная А. Д. Галаховымъ подъ заглавіемъ *Голосъ въ защиту отъ Голоса въ защиту Русскаго языка!* Голохвастовъ съ своей стороны не уступалъ, и въ *Москвитянинѣ* 1846 года напечаталъ *Отвѣтъ на статью Отечественныхъ Записокъ Голосъ въ защиту отъ голоса въ защиту Русскаго языка*<sup>229</sup>).

Когда эта статья печаталась въ *Москвитянинѣ*, то между редакторомъ и его начальникомъ по цензурной части Голо-хвастовымъ возбудилась непріятная переписка. Началось съ

того, что Погодинъ своимъ неразборчивымъ почеркомъ написалъ ему какую-то записку, на которую Голохвастовъ колко отвѣчалъ: „Писанное вязью я разбираю довольно хорошо, но изъ вашего письма и четвертой доли не могъ разобрать. Хочу теперь послать за наборщиками Смирновымъ и Козицынымъ, которые, говорятъ, хорошо разбираютъ вашу руку“. Разобравъ съ помощью гг. Смирнова и Козицына это письмо, Голохвастовъ отвѣчалъ Погодину: „Вы упрекаете меня тѣмъ, что я, съ вашего же разрѣшенія, перемѣнилъ нѣсколько словъ въ вашемъ третьемъ номерѣ. Неужели этимъ я закабалилъ себя помѣстить трудъ мой не тамъ, гдѣ мнѣ нужно, а тамъ, гдѣ вы хотите? Отстрѣливаясь отъ *Отечественныхъ Записокъ*, я не думалъ, что и отъ васъ получу неудовольствіе и упрекъ. Такъ какъ обруганная статья есть статья вашего журнала, я думалъ, что могу надѣяться на какіе-нибудь знаки участія и къ статьѣ, и къ автору. Все дѣло въ томъ, что третій номеръ *Москвитянина* отъ этого могъ бы выдти двумя или тремя днями позже. Напротивъ того, вы хотите меня заставить помѣстить мою статью въ четвертомъ номерѣ, и даже хотите отнять у меня свободу напечатать ее особой брошюрой. Или я въ самомъ дѣлѣ, какъ намекаютъ *Отечественныя Записки*, наемникъ, который ратуетъ изъ денегъ, литературный калѣка и пр., или я могу располагать своимъ трудомъ по своей волѣ, особенно когда эта воля основаніемъ имѣетъ необходимость не сдѣлать этотъ трудъ просто посмѣшищемъ. Вы этого не хотите видѣть. Надобно, чтобъ этотъ трудъ былъ очень ничтоженъ въ вашихъ глазахъ, чтобъ вы не хотѣли почтить его такимъ небольшимъ снисхожденіемъ. Согласитесь, что это для меня не можетъ быть ни лестно, ни пріятно. Уже два дня какъ вся статья въ типографіи. Вчера прислали мнѣ прилагаемыя здѣсь полосы. Это болѣе половины, и всего двухъ листовъ, кажется, не выйдетъ. Сегодня остальное будетъ непремѣнно готово и также почти начисто корректовано. Въ чемъ же препятствіе? Чѣмъ я такъ много нанесъ вамъ досады? Прошу васъ взглянуть на начало и возвратить мнѣ

эти листы.—Мой ultimatum состоитъ все въ томъ же. Если вы согласны помѣстить эту статью въ третьемъ номерѣ, она къ вашимъ услугамъ. Если нѣтъ, то я ее печатаю отдѣльной брошюрой. Угрозами меня отъ этого удержать нельзя. Мое положеніе въ литературѣ слишкомъ для этого независимо. Я увѣренъ, что *Отечественныя Записки* опять обругаютъ меня. Если, сверхъ того, вмѣсто спасибо, ругнетъ и *Москвитянинъ*, то я не испугаюсь“.

Желаніе Голохвастова было исполнено, и его отвѣтъ на статью *Отечественныхъ Записокъ* былъ напечатанъ въ третьемъ номерѣ *Москвитянина* 1846 года. По поводу этой статьи Шевыревъ писалъ Погодину: „Статья Голохвастова прекрасна, умна и губительна. Я бы *Сапожника* въ сторону—середина всего лучше, а особливо сравненіе мнѣній *Отечественныхъ Записокъ* о другихъ журналахъ и о самихъ себѣ. Это мастерски“.

Но это сотрудничество Начальника Московской Цензуры въ *Москвитянинѣ* нисколько не ограждало Погодина отъ непріятности и притѣсненій, которымъ подвергался его журналъ отъ Московской Цензуры.

Вмѣсто В. П. Флерова цензоромъ *Москвитянина* съ 1846 года былъ назначенъ профессоръ Чистой Математики Московскаго Университета Николай Ефимовичъ Зерновъ. Къ характеристикѣ его могутъ служить слѣдующія строки Мельгунова къ Погодину: „Былъ я у Зернова. Судя по его письму, я думалъ, что онъ подъ Православіемъ разумѣетъ Православіе; а вышло, что онъ разумѣетъ Самодержавіе. Я, напримѣръ, говорю: „жизнь, въ самомъ полномъ своемъ развитіи, не есть борьба, а скорѣе торжество, обладаніе, и пр.“. Зерновъ утверждаетъ, что тутъ злонамѣренные люди могутъ найти намекъ на представительное правленіе!“ Въ другомъ письмѣ Мельгуновъ пишетъ: „Пока врожденный музыкантъ шьетъ сапоги, а сапожникъ по призванію—цензируетъ книги, и т. д., до тѣхъ поръ въ свѣтѣ не совсѣмъ ладно“.

Не поладя съ Зерновымъ, Погодинъ обратился съ просьбою къ графу С. Г. Строганову о назначеніи Флерова опять

цензоромъ *Москвитянина*, но графъ Строгановъ отвѣчалъ: „Честъ имѣю увѣдомить васъ, что цензоръ Флеровъ, желая воспользоваться даннымъ ему разрѣшеніемъ не заниматься цензурою *Москвитянина*, не согласился на мое предложеніе; онъ отзывается трудностью этой срочной работы, отъ которой онъ испортилъ глаза свои, и что при всемъ усердіи своемъ онъ не могъ удовлетворять требованіямъ издателей этого журнала“. Съ своей стороны и Зерновъ писалъ Погодину: „Если нумеръ второй *Москвитянина* мнѣ будетъ стоить столько же хлопотъ, хожденій и противодѣйствій вашимъ друзьямъ, которые обвиняютъ меня будто бы въ угнетеніяхъ, то нумеръ третій я буду просить передать кому угодно другому, хотя бы для того надобно было оставить Цензурный Комитетъ. Теперь-то я понимаю, почему г. Флеровъ отказался отъ вашего журнала“ <sup>280</sup>). На второй или третій день по полученіи этого письма Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „День мученій. У Семена, Голохвастова, у Строганова въ Цензурномъ Комитетѣ. Въ 2 часа получилъ билетъ. Къ Шевыреву, чтобъ облегчиться разговоромъ. Его нѣтъ дома. Началъ перебирать нумеръ. Злой геній задерживалъ нумеръ, чтобъ причинить мнѣ огорченія. Или добрый геній задерживаетъ, чтобъ отвратить отъ меня грозящую бѣду. Хомяковъ прочелъ свою статью, выговаривалъ. Разказы Дмитріева, въ которыхъ тоже бѣда. Дома неудовольствія отъ маменьки, которая безъ меня отдала цѣлый домъ бѣднымъ и разсердилась за мой выговоръ. Возвращаясь домой, мнѣ показалось, что ѣду къ Лизѣ“ <sup>281</sup>).

Между тѣмъ отношенія Погодина къ Зернову все болѣе и болѣе ухудшались, и, получивъ отъ послѣдняго „преоскорбительное письмо“, Погодинъ рѣшилъ: „Нѣтъ, брошу *Москвитянина*“. Но тѣмъ не менѣе чрезъ нѣсколько времени по полученіи „преоскорбительнаго письма“ самъ Погодинъ отправился къ Зернову, и подъ 27 апрѣля 1846 года записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Къ Зернову. Почиваетъ. Смиранный ожидаю. Привѣтствуетъ дружелюбно, и оказалось, что онъ шутилъ въ письмѣ!“ И дѣйствительно вскорѣ послѣ того

Погодинъ получилъ простодушное письмо отъ Зернова, въ которомъ тотъ откровенно писалъ: „Не гнѣвите Господа напрасною молитвою о посланіи духа кротости цензурѣ, ибо она и безъ того симъ даромъ небеснымъ изобилуетъ. Бережетъ же свою голову и всякая букашка“<sup>232</sup>).

Гораздо болѣе цензуры огорчало Погодина безучастіе его друзей къ *Москвитянину*. Однажды его посѣтилъ Ѳ. В. Чижовъ, и они все утро толковали о Словенахъ и между прочимъ о *Москвитянинѣ*, и по поводу разговора о послѣднемъ Погодинъ съ горечью записалъ: „Все толкуютъ, что *Москвитянинъ* упалъ, да чѣмъ онъ упалъ? Нѣтъ ни одного нумера безъ прекрасныхъ статей. Напримѣръ, о Суворовѣ много“. На вечерѣ у Свербеевыхъ Погодинъ встрѣтился съ И. В. Кирѣевскимъ, который сталъ жаловаться, что ему хочется писать, но печатать негдѣ! Это взорвало Погодина, и онъ отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Бесовѣстные люди“<sup>233</sup>). Но даже и ближайшій сотрудникъ и другъ Погодина Шевыревъ вотъ что писалъ ему: „*Москвитянинъ* не упалъ? Поздравляю тебя съ этою утѣшительною мыслию. Но ты самъ же говоришь, что у него триста подписчиковъ, — стало быть, упалъ въ общемъ мнѣніи. Мысль *Москвитянина* не упала. Мысль — другое дѣло. Я говорилъ тебѣ то, что раздается въ общемъ мнѣніи и что въ правѣ заключить каждый: *Москвитянинъ* упалъ, слѣдовательно, и мысль, имъ представляемая, упала. Вотъ что говорить! Это неправда, но есть поводъ къ тому. То-то и бѣда, что ты болѣе дорожишь своею личностью, нежели тою мыслию, которой она должна быть сосудомъ. Ты никогда не признавалъ искренно мысли *Москвитянина*: потому-то ты и уронилъ его. Надо же когда-нибудь сказать истину, какъ ее думаешь. Мнѣ кажется, въ этомъ болѣе смѣлости, нежели въ чемъ-нибудь, и болѣе любви. Я замѣтилъ: при послѣднемъ свиданіи у Хомякова, что мысль, выраженная мною, тебя сильно встревожила. Ты вскочилъ съ дивана. Теперь ей же я приписываю все волненіе твоей записки“. На упрекъ, сдѣланный Погодинымъ Шевыреву, въ слабости послѣдній отвѣ-

чалъ: „Признаюсь тебѣ: скрѣпя сердце я вышелъ опять на журнальное поприще, именно, потому что я *слабъ*, потому что мнѣ жаль было тебя оставить. Последнія похвалы твои моей статьѣ о *Петербургскомъ сборникѣ* мнѣ были даже не-пріятны. Я чувствую въ себѣ влеченіе къ труду постоянному, и меня непрерывно отвлекаютъ то въ ту, то въ другую сторону. Я сдаюсь по *слабости*, по чувству любви и пріязни, но нѣтъ ни одного голоса вокругъ меня: *дѣлай свое дѣло, оно полезнѣе всѣхъ дразновъ журнальныхъ, не дробись*. Я забываю свое дѣло (говорю ни о славѣ, ни о выгодахъ), забываю свое дѣло для себя, для того, чтобъ показать, что я не оставилъ *Москвитянина*, и ты же меня называешь *слабымъ*. Да, правда, правда, чувствую, что я *слабъ*. Идея, которую я сознаю въ себѣ, высока. Недостаетъ у меня силы характера, чтобы побѣдить всѣ отношенія, чтобы ей посвятить себя. Два мѣсяца съ половиной я не могъ почти заниматься лекціями. А между тѣмъ такимъ трудомъ только я могу оставить что-нибудь прочное, принести пользу. Я *слабъ*, да, я *слабъ*; но не тебѣ же называть меня *слабымъ*. Я *слабъ* любовью и дружбою къ тебѣ—и ты же меня за это колешь. Богъ съ тобою“.

Въ то же время Шевыревъ совѣтовалъ и самому Погодину покинуть журнальное поприще. „Чѣмъ далѣе живешь“, писалъ онъ,—„и занимаешься, тѣмъ болѣе чувствуешь охоту сосредоточиться въ занятіи полномъ и своемъ по наукѣ. Не понимаю тебя, какъ ты можешь еще чувствовать охоту жертвовать собою для разсыпной журнальной дѣятельности, при всѣхъ прижимкахъ и придиркахъ, которыми тебя терзаютъ. Это какая-то странная въ тебѣ привычка!—Извиниться тѣмъ ты не можешь, что дѣйствуешь во имя мысли. Ты не избѣгнешь этого говора: *Москвитянинъ* упалъ, стало—мысль упала. Вотъ что заключаютъ. Надо же себѣ уяснять мысли и не обманываться, а главное—не надо никакого дѣла въ жизни дѣлать *кое-какъ*. Это въ тебѣ большой недостатокъ, кромѣ ученыхъ твоихъ трудовъ, къ которымъ ты прилагаешь душу свою“. Какъ ни тяжело было Погодину читать эти



строки, но онъ все думалъ, что Шевыреву на *Москвитянина* наговариваютъ; но и въ этомъ Шевыревъ его старался разубѣрить. „Напрасно ты думаешь“, писалъ онъ,—„что мнѣ все наговариваютъ на *Москвитянина*. Объ немъ рѣшительно никто не говоритъ, а всѣ молчатъ. Ты, не видя людей, а живучи между типографіей и книжной лавкой, въ самомъ дѣлѣ воображаешь у себя въ захоlustьѣ, что противъ *Москвитянина* составляются заговоры, что ему вредятъ со всѣхъ сторонъ. Еслибы его бранили,—то было бы прекрасно: ничто такъ не полезно людямъ и вещамъ—какъ брань людская. То бѣда, что молчатъ хладнокровно. Ты утѣшайся записочками фразерокъ, да вѣдь въ нихъ мало толку“.

И дѣйствительно это *хладнокровное молчаніе* имѣло весьма губительное вліяніе на подписку, не смотря на принимаемыя Погодинымъ мѣры. Вотъ что писалъ изъ Симбирска преосвященный Ѳеодотій: „При всемъ искреннемъ моемъ уваженіи къ *Москвитянину* не могъ я дать ему здѣсь квартиры въ такомъ размѣрѣ, какъ бы хотѣлось, и часть билетовъ вамъ возвращаю. Вѣдь нынѣ вѣкъ особенно расчетливый на деньги. И какъ тратить ихъ на книги“ <sup>234</sup>). Въ *Дневникъ* же Погодина мы встрѣчаемъ такую запись: „Къ Лужину съ билетами. О униженіе!“ а также и такую: „Туда, сюда, а денегъ нѣтъ ни копейки. Въ какой нуждѣ Историкъ, но и не думается объ ней“ <sup>235</sup>).

Все это раздражало Погодина и повергало въ уныніе. „Перестаньте“, писалъ ему Д. П. Голохвастовъ,—„огорчаться, сердиться—тревожиться по пустому. Вспомните, что вамъ, какъ литератору, какъ ученому, и паче, какъ отцу семейства, всего нужнѣе для успѣха, для сохраненія здоровья и жизни,—спокойствіе духа. О *irritabile genus!*“. О томъ же читаемъ и въ письмѣ къ нему Шевырева: „Во всѣхъ твоихъ письмахъ и въ предпоследней мировой запискѣ видно ужасное раздраженіе. Это замѣчаю не я одинъ. Мнѣ тоже говорилъ и Голохвастовъ. Онъ боялся за твое здоровье. Ты сердись на всѣхъ и на все“.

Какъ нѣкогда Пушкинъ, такъ въ это время М. А. Дмитриевъ былъ неизмѣннымъ утѣшителемъ Погодина. „Вотъ противъ всѣхъ этихъ господъ“, писалъ Дмитриевъ, — „которые или противъ васъ пишутъ, или вамъ во всемъ мѣшаютъ—вмѣсто отвѣта выставили бы только одну роспись всѣмъ вашимъ трудамъ, книгамъ и изданіямъ...“ Въ вѣрности М. А. Дмитриева къ Погодину удостовѣряетъ и Шевыревъ: „Ты“, писалъ онъ, — „смѣешься надъ моимъ поученіемъ; но лучше бы было принять его къ свѣдѣнію. Одному въ пустынь, другъ, издавать журналъ нельзя. Одинъ Дмитриевъ еще о тебѣ заботится, а ты и тутъ говоришь: *зачѣмъ къ нему ѣзжу?* Только у него въ домѣ еще слышно сочувствіе,—а то вѣдь нигдѣ. Какъ тутъ быть?“ Само собою разумѣется, что все это не могло ободрить и возвеселить Погодина; но Шевыревъ все-таки писалъ ему: „Твоя мизантропія часть отъ часу, какъ я вижу, усиливается — и ты въ ней по свойственному тебѣ упрямству все косишь. Это очень дурно и вредно тебѣ и нравственно, и физически. Но что дѣлать съ тобою?“.

Не видя поддержки отъ друзей по изданію *Москвитянина*, Погодинъ пришелъ къ несчастной мысли передать свой журналъ Александру Ефимовичу Студитскому, и такимъ образомъ послѣдній сдѣлался преемникомъ Шевырева и сталъ наполнять своими статьями по Русской Литературѣ страницы *Москвитянина*. Подъ 16 февраля 1846 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Съ Студитскимъ о *Москвитянникѣ*. Беретъ на пробу четвертый и пятый номера“. Узнавъ объ этомъ, М. А. Дмитриевъ съ грустью писалъ Погодину: „А жаль, если вы передадите *Москвитянина*! Да! Если бы всѣ смотрѣли на вещи также свободно и безпристрастно, какъ мы съ вами, то не было бы гоненій и препятствій въ добрѣ, и жизнь была бы для всѣхъ легче. Въ этомъ смыслѣ есть замѣчательныя строки въ статьѣ Глинки о Кадетскомъ Корпусѣ“ <sup>236</sup>).

7 марта 1846 года Погодинъ вошелъ въ Главное Управленіе Цензуры съ слѣдующимъ прошеніемъ: „Вслѣдствіе умно-

жившихся болѣзненныхъ припадковъ, не имѣя теперь возможности заниматься изданіемъ журнала *Москвитянинъ*, я прошу покорнѣйше о позволеніи препоручить редакцію, впредь до выздоровленія, одному изъ сотрудниковъ корректору Университетской Типографіи Александру Ефимовичу Студитскому, который занимался ею и прежде, въ 1842 году, по случаю отлучки моей въ чужіе края, и извѣстенъ публикѣ многими статьями, подписанными его именемъ". Разрѣшеніе состоялось, и, когда объ этомъ К. С. Аксаковъ увѣдомилъ своего брата, то послѣдній писалъ: „Студитскому позволено издавать *Москвитянинъ*. Не много утѣшенія!“<sup>237</sup>) О статьяхъ же Студитскаго Шевыревъ писалъ Погодину: „Приговоры Студитскаго несносны своею рѣзкостью. Такъ и слышишь его говорящаго на диспутѣ Каткова. Обо всемъ тономъ профессора старинной школы. Этого тона никогда не было въ *Москвитянинъ*. Онъ новостъ... Долгоруковъ публично неистовствовалъ вчера противъ *Москвитянина* передъ княземъ Щербатовымъ, и я же защищалъ его также громогласно. Но тебѣ обязанъ я сказать, что тонъ Студитскаго несносенъ, неприличенъ въ высшей степени и небывалый. Это хорошо *Отечественнымъ Запискамъ*. Онѣ именъ не подписываютъ. А у насъ имя должно быть ограждено скромностью. Вотъ разница. *Отечественныя Записки* лучше знаютъ, писать такимъ тономъ надобно въ маскахъ“.

Въ отвѣтъ своемъ Шевыреву на это письмо Погодинъ вступился за Студитскаго и писалъ: „О тонѣ Студитскаго.— Не говоря о прочемъ, гдѣ же взять людей съ другимъ тономъ. Ты упрекалъ зачѣмъ я не отдалъ журнала твоему П....., да развѣ у нихъ тонъ былъ бы лучше. Развѣ можно бы было управиться съ ними? Всякій сталъ бы писать, какъ хотѣлъ и что хотѣлъ. Ты слышалъ ли, какъ отозвался о нихъ Царь? Хорошо было бы отдать имъ журналъ! Богъ меня спасъ. Замѣчаній, совѣтовъ, не принялъ бы никто, какъ ты самъ говоришь. Какъ же переимѣнять тонъ у Студитскаго, который все-таки человекъ умный, логическій, знающій, дѣя-

тельный, умѣющій писать. Достаточное количество качествъ при нашемъ безлюдѣ. Люди, принимающіе къ сердцу Литературную Журналистику, должны бы почестъ обязанностію содѣйствовать его образованію внѣшнему, и изъ него вышелъ бы полезный дѣлатель въ нашемъ духѣ. Впрочемъ изъ него онъ и выйдетъ, что бы ни говорили Долгорукіе... Еслибъ удалось кому изъ молодого поколѣнія написать полъ-статейки Студитскаго—о сколько бы крику подняла ватага! Сколько бы найдено было живости, теплоты, и проч. Прочія мелочи оставляю. Предъ Долгорукимъ я виноватъ тѣмъ, что не отплатилъ ему визитовъ. Вотъ онъ и неистовствуетъ. Эти приличія я отвергаю, не имѣя времени исполнять ихъ, и кто сердится на меня за оныя, у того отнюдь не оспариваю этого права“.

Вмѣстѣ съ Студитскимъ постояннымъ сотрудникомъ *Москвитянина* сталъ князь Львовъ, который, скрывшись подъ инициалами *М. Ж.*, велъ въ немъ *Московскую Лѣтопись*. Въ одномъ мѣстѣ своей Лѣтописи онъ задѣлъ даже Шевырева, и вотъ по какому случаю: 7 февраля 1846 года, въ Москвѣ, въ домѣ С. А. Римскаго-Корсакова былъ блистательный маскарадъ. Шевыревъ сдѣлалъ описаніе этого праздника и хотѣлъ напечатать оное въ *Москвитянинѣ*; но Погодинъ не рѣшился на это. Шевыревъ, разумѣется, обидѣлся и писалъ: „Не понимаю, что ты нашелъ въ статьѣ о маскарадѣ неприличнаго. Объ этомъ, впрочемъ, ты не судья. Авторъ *Года въ чужихъ краяхъ* по дѣлу приличія въ литературѣ не присутствуетъ“. Когда же Шевыревъ статью свою о Маскарадѣ, подъ заглавіемъ: *Русскій праздникъ 7 февраля у С. А. Римскаго-Корсакова*, напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* <sup>238</sup>), то въ Московской Лѣтописи *Москвитянина* появилось ѣдкое о ней замѣчаніе: „Неизвѣстный авторъ“, сказано тамъ,—„израсходовалъ всѣ краски на описаніе этого маскарада“ <sup>239</sup>). Эти строки задѣли Шевырева, и онъ жаловался Погодину: „Спасибо тебѣ: ты далъ таки Львову задѣть меня. *Неизвѣстный авторъ*—я ужъ попалъ въ неизвѣстные, подписавшись почти всѣми буквами. (Кто же этого въ Москвѣ не знаетъ? Да и ты самъ

же говорилъ про *имя* мое подъ статью. Потомъ *израсходовалъ всѣ краски* — помилуй — столько осталось на палитрѣ, что могъ бы полить малеванаго М. Ж. Мнѣ пожалуй — смѣйся, или давай смѣяться надо мною. Я вотъ ей Богу не сержусь. Но тебѣ нехорошо: скажутъ всѣ — посмотрите, что дѣлается съ Погодинымъ? Ужъ онъ и на Шевырева-то даетъ поднимать руку у себя въ журналѣ! "... Но въ этой неловкости оказался виноватъ не князь Львовъ, а самъ Погодинъ, въ чемъ онъ и сознается въ своемъ оправдательномъ письмѣ къ Шевыреву. „Записки“, писалъ онъ — „подають поводъ только къ новымъ недоразумѣніямъ, не очищая старыхъ. Я писалъ тебѣ, что ошибся, отвѣчая на первую. Пріѣзжалъ объяснить, но не засталъ дома, и уѣзжая почитаю необходимымъ отстранить обвиненія, кои поднимаютъ уже слишкомъ высоко. Князь Львовъ написалъ: *Г-нъ С. Ш.* Я почелъ это выраженіе, эту форму оскорбительною. Замаралъ ее и написалъ самъ: *неизвѣстный авторъ*. Въ этомъ выраженіи, виноватъ, никакого оскорбленія не вижу. Неизвѣстнымъ авторомъ называется самый знаменитый авторъ, во отношеніи къ статьѣ, подъ коей не подписываетъ своего имени, а отнюдь не къ прочимъ своимъ сочиненіямъ. *Источилъ всѣ краски* въ этомъ выраженіи также не видно ничего обиднаго. Оно значитъ: описалъ такъ, что ничего болѣе сказать нельзя. Это похвала описанію. И могъ ли я предполагать, чтобъ Львовъ хотѣлъ задѣть тебя. Мнѣ казалось, что онъ всегда относился къ тебѣ съ почтеніемъ и знаетъ тебя прежде, чѣмъ меня“.

На этомъ маскарадѣ у С. А. Римскаго-Корсакова, свидѣтельствуешь очевидецъ, „видѣли мы прорицательницу, въ кабаллистическомъ одѣяніи съ ея вожатымъ. Подъ мантиєю своею она держала книгу судебъ, и жезлъ въ ея рукѣ былъ направленъ къ тѣмъ лицамъ, на коихъ она признавала нужнымъ остановить свое вниманіе: открывъ свою символику, она вынула между прочимъ листокъ и подала оный графу С. Г. Строганову, на которомъ было написано:

Отъ свѣта свѣтъ! Посланникъ въ міръ земной,  
Ты озаряешь намъ духъ жизни просвѣщеніемъ;  
Въ числѣ свѣтилъ отчизны дорогой  
Сіяешь ты надъ юнымъ поколѣніемъ!“<sup>240</sup>)

Языковъ, посылая эти стихи Погодину, писалъ: „Нѣкто, служащій подъ рукою Графа, прочитавъ ихъ, сказалъ, что они напоминаютъ ему стихи, сочиненные Карзинымъ по случаю пожалованія Лопухина свѣтлѣйшимъ; вотъ и тѣ:

Отъ свѣта свѣтлость происходитъ;  
А эту свѣтлость производить.....

Прекрасно! прекрасно!“

Выпустивъ пятый номеръ *Москвитянина*, Погодинъ уѣхалъ въ чужіе края. О ходѣ *Москвитянина* онъ получалъ свѣдѣнія и отъ Студитскаго, и отъ Шевырева. Первый писалъ: „*Москвитянинъ* идетъ медленно, потому что я одинъ. Пятериковъ—ни строчки, Кокоревъ и не являлся, и не знаю, гдѣ живетъ. Цензура мучить пересылками отъ Троицы въ Москву и изъ Москвы въ Троицъ. Осьмой книжки набрано листовъ семь. Я самъ разстроено донельзя.—Безъ перенесенія одной книжки въ другую типографію дѣло не обойдется, а какъ это сдѣлать? Я не нахожу средствъ. Въ седьмой книжкѣ есть много интереснаго. Не знаю и не вижу, какъ избѣжать сухости тона. Авось поправится и въ этомъ отношеніи... Шевырева я давно не видалъ. Последнее время онъ былъ занятъ экзаменами...“ Самъ Шевыревъ писалъ: „Извини, любезный другъ, что такъ долго тебѣ не писалъ. Оба письма твои я получилъ. Назначенное для печати прочтено мною въ корректурѣ. Порученія твои всѣ исполнилъ—и извѣстія изъ писемъ передалъ твоимъ, у которыхъ былъ, да не засталъ ихъ. Они жили въ деревнѣ, и только недавно возвратились, какъ сказывалъ мнѣ Привольневъ. О себѣ. До половины августа мы жили въ Сокольникахъ. Потомъ перѣехали въ Москву. Я занятъ былъ сначала сочиненіемъ, а потомъ печатаніемъ второй части своихъ лекцій, которая и вышла въ половинѣ августа. Потомъ перѣехали... Со времени твоего отъѣзда Студитскій былъ у меня только

одинъ разъ затѣмъ, чтобы сказать о скудости кассы *Москвитянина*, что нечѣмъ платить типографіи, что работа вся должна остановиться. Онъ намекалъ на то — не помогу ли я изъ своихъ денегъ, но у меня ихъ не было. Я далъ ему нѣсколько нумеровъ *Allgemeine Zeitung* и указалъ на любопытныя статьи. Съ тѣхъ поръ онъ ко мнѣ не являлся. Прислалъ критику шестаго нумера, которую я прочелъ, но критики седьмаго нумера уже не присылалъ. Онъ самъ, кажется, много трудится. Седьмой нумеръ, какъ я слышалъ отъ другихъ, былъ задержанъ цензоромъ за разборъ рѣчи Рѣдкина и потому опоздалъ. Но восьмой долженъ скоро выйти, какъ я слышалъ въ типографіи. Самъ я, за свою книгу, экзаменами, началомъ курсовъ и семейными обстоятельствами, написать ничего не могъ. Даже еще не принялся за третью часть своихъ лекцій. Контора *Москвитянина*, кажется, въ порядкѣ. Кораблевъ говорилъ мнѣ, что опасенія и жалобы Студитскаго были напрасны: все заплачено — и бумаги куплено вновь“.

Нижеслѣдующія заключительныя строки этого письма Шевырева, разумѣется, не могли быть пріятны Погодину: „Я не понимаю твоей охоты издавать *Москвитянина* въ томъ видѣ, какъ онъ теперь издается. Тебѣ нужны деньги да ты соберешь ихъ съ другихъ журналовъ. Въ будущемъ году въ Москвѣ будетъ выходить газета. Драпусовъ пригласилъ меня участвовать. Онъ платитъ вѣрно. Отчего же и тебѣ здѣсь не помѣщать того, что напишешь? При содѣйствіи Смирдина, при редакціи Чижова, продолжать *Москвитянина* было бы конечно доброе дѣло. Но это возможно только съ 1848 года. Теперь же журналъ ни въ комъ не возбуждаетъ участія, какъ ты не обольщай себя“ <sup>241</sup>).

---

### XXXVIII.

Въ началѣ 1846 года Словенофилы проявили свою дѣятельность изданіемъ *Московского Сборника*. Погодинъ въ раз-

боръ этого изданія высказалъ: „Имѣемъ полное право хвалить *Московскій Сборникъ*, и никто не упрекнетъ насъ въ пристрастіи, потому что намъ должно бы сѣтовать на его изданіе, онъ откололся въ нѣкоторомъ смыслѣ отъ *Москвитянина*, отвлекъ на время часть общихъ силъ, и задуманъ въ минуту взаимнаго разногласія, неудовольствія“ <sup>242</sup>).

Главными владчиками *Московского Сборника* были Словенофилы младшаго поколѣнія: Ю. О. Самаринъ, К. С. Аксаковъ, А. Н. Поповъ, О. В. Чижовъ, И. С. Аксаковъ, Н. А. Ригельманъ. Изъ старшаго же поколѣнія Словенофиловъ только Хомяковъ и Языковъ помѣстили въ немъ свои произведенія. С. Т. Аксаковъ напечаталъ въ *Московскомъ Сборникѣ* небольшой отрывокъ изъ своей знаменитой *Семейной Хроники*. Кромѣ коренныхъ Словенофиловъ, въ ихъ предпріятіи приняли участіе и люди близкіе имъ по духу: князь П. А. Вяземскій, М. А. Максимовичъ, В. И. Даль, И. И. Срезневскій. Въ этомъ Словенофильскомъ изданіи и С. М. Соловьевъ напечаталъ свое изслѣдованіе *О родовыхъ отношеніяхъ между князьями Древней Руси*.

Предъ выходомъ въ свѣтъ *Московского Сборника* Хомяковъ писалъ Самарину: „*Московскій Сборникъ* готовъ и скоро выйдетъ. Полагаю, что на него поднимется буря не малая. Онъ бы вышелъ уже недѣли двѣ тому назадъ, но ваша статья о *Тарантасѣ* удостоилась долгихъ сомнѣній со стороны Строганова и возстановила противъ себя Голохвастова. Однакоже все прошло съ не слишкомъ большими пожертвованіями“ <sup>243</sup>). Шевыревъ весьма сочувственно отнесся къ *Московскому Сборнику* и писалъ Веневитинову: „Сколько прекраснаго соединилъ онъ! Какія славныя статьи! Сколько силъ, сколько свѣжихъ мыслей! Что еслибы при этомъ постоянное дѣйствіе? Славно бы было“ <sup>244</sup>).

Погодину было непріятно, что ему долго не присылали *Сборника*, и онъ съ досадою записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Видѣлъ *Сборникъ*, который не приносятъ мнѣ, а приносятъ Чаадаеву. Богъ съ ними“. Шевыревъ же какъ нарочно пи-



саль Погодину: „А *Московский Сборникъ* прекрасная книга. Все это было бы въ *Москвитяинѣ*. Еще ли ты не сознаешься въ своей ошибкѣ?“ Въ концѣ же письма Шевыревъ опять повторяетъ Погодину: „Сдѣлай милость, изгоняй изъ себя духъ мизантропіи. Онъ вредитъ тебѣ ужасно“. Вѣроятно, чтобы изгнать изъ себя *духъ мизантропіи*, Погодинъ сталъ писать рецензію на *Московский Сборникъ*, и въ *Дневникъ* его читаемъ: „Принялся писать рецензію *Сборника*, и писалось очень легко и забавно“ <sup>245</sup>).

Рецензію свою Погодинъ доказалъ свою способность отрѣшаться отъ личныхъ счетовъ, когда дѣло касается общаго. „Поздравляемъ публику“, писалъ Погодинъ, — „поздравляемъ Литературу, съ прекраснымъ приобрѣтеніемъ. Долго ожидали мы этой книги, но она достоинствомъ своимъ выкупила всѣ замедленія, коихъ впрочемъ избѣжать нельзя. Статей двадцать пять помѣщено въ *Сборникъ*, и всѣ онѣ такъ новы, такъ любопытны, такъ примѣчательны въ томъ или другомъ отношеніи, что право не знаешь, о которой говорить сначала, и которой отдать преимущество.

„Въ *Сборникъ* является на сцену нѣсколько молодыхъ людей новаго Московскаго поколѣнія, подъ покровительствомъ... нѣтъ, это слово для нихъ, можетъ быть, по господствующему духу, обидно... въ сообществѣ нашихъ заслуженныхъ литераторовъ: Языкова, Хомякова, Даля, Максимовича, Срезневскаго, князя Вяземскаго. Такъ и надо: новыхъ гостей должны представить публикѣ старыя ея знакомцы. Кромѣ ихъ, мы встрѣчаемъ здѣсь статьи Линовскаго, Чиждова, Ивана Аксакова, которые въ послѣднее время получили лестную извѣстность.

„Начнемъ со стиховъ. Въ наше время стихи вообще стали рѣдки, пошлы, противны, благодаря въ особенности разстроеннымъ лирамъ Петербургскихъ пѣтцовъ натуральной школы. Но въ Москвѣ дышетъ еще Поэзія, Поэзія временъ старыхъ, минувшихъ, любезныхъ.

„Прочтите Краледворскую рукопись Берга. Это переводъ удивительный, какого не имѣетъ ни одинъ народъ. Что за

сила, что за правильность, что за простота — переводъ такъ хорошъ, такъ хорошъ, что заставляетъ сомнѣваться въ достовѣрности подлинника. Но неужели Краледворскую рукопись перевелъ нѣмецъ г. Бергъ? Не можетъ быть. Ее перевелъ Русскій, Словенинъ, Горный, Горній, Горскій, Горцевъ — кто-нибудь, но не Бергъ.

„А Языковъ, нашъ Языковъ, который одинъ почти остался намъ отъ славнаго Пушкинскаго хора, съ своимъ металлическимъ стихомъ, съ вѣрно заключенною въ немъ мыслью, съ точнымъ выраженіемъ, съ величавой осанкой, если можно такъ выразиться, всякаго стихотворенія. Какъ хорошъ его *Самсонъ* . . . . .

И этого-то поэта, дорогого для всего Отечества, осмѣливаются поносить, осмѣливаются облѣплять грязью *Отечественныя Записки*! Впрочемъ и то правда; всякій Русскій стихъ, по выраженію Пушкина, свиститъ имъ по ушамъ.

„Выпишемъ скорѣе одно изъ трехъ стихотвореній князя Вяземскаго:

Предъ Господомъ Богомъ я грѣшенъ,  
И кто же не грѣшенъ предъ Нимъ?  
Но тѣмъ я хоть мало утѣшенъ,  
Что братья я всѣмъ братьямъ моимъ.

Что слезы мнѣ всѣ симпатичны,  
Что съ плачущимъ плачу и я,  
Что въ сердцѣ есть отзывъ привычный  
На каждую скорбь бытін;

Что духъ мой окрѣпъ подъ ненастьемъ,  
Что въ язвахъ созрѣла душа,  
Что жизнь мнѣ ни блескомъ ни счастьемъ,  
А тайной тоской хороша;

Что въ міръ и его обаянья  
Не долго вдаваться я могъ,  
Но всѣ его понялъ страданья  
И чувство для нихъ уберегъ;

Что тайная есть мнѣ отрада  
Внезапно войти въ Божій домъ,  
И тамъ, гдѣ мерцаетъ лампада,  
Съ молитвой поникнуть челомъ;

Что дня не проходить и часу,  
Чтобы внутренним слухомъ не внялъ  
Я смерти призывному гласу,  
И слухъ отъ него уклонялъ.

Что въ самой житейской тревогѣ  
Сей голосъ не чуждъ для меня;  
И мыслью стою при порогѣ  
Послѣдняго, страшнаго дня.

„Очеркъ *Срезневскаго* жизни Вуковой—живой, занимательный, ученый. Мало мы имѣемъ подобныхъ. Какъ мы рады этому сочиненію г. Срезневскаго. Оно напоминаетъ намъ первые его опыты въ *Наблюдатель* и убѣждаетъ, что онъ не предался буквѣ. Буква хороша, но съ духомъ.

„Отрывокъ изъ *Семейной Хроники*—просто, ясенъ, но какъ увлекателенъ, исполненъ той поэзіи, которой, напримѣръ, недостаетъ, не смотря на всѣ претензіи, у г. Тургенева, хоть онъ и въ стихахъ, а не въ прозѣ, пишетъ свои повѣсти на тѣ же предметы изъ домашней и семейной жизни. Отчего же это? Оттого, что отрывокъ писанъ съ натуры, изъ сердца, а г. Тургеневъ пишетъ изъ головы и Нѣмецкихъ книгъ, хоть и называется натуральнымъ поэтомъ.

„Линовскій общаетъ намъ достойнаго писателя. Какъ ясна, послѣдовательна, полна и основательна его статья о хлѣбныхъ законахъ въ Англіи.

„Всѣ наши журналы и газеты засыпаютъ насъ статьями объ Англійскомъ хлѣбѣ, хотя и далеко уступающими капитальной статьѣ Линовскаго;—но, господа, дороговизна и дешевизна Русскаго хлѣба не важнѣе ли для насъ гораздо больше, чѣмъ Англійскія пошліны? Эти вопросы не столько ли же важны для Россіи, хотя и въ другой формѣ? Почему же вы молчите о нихъ?

„Давно ли воротился Линовскій изъ за-границы, и всякій годъ, во всякомъ мѣсяцѣ, онъ можетъ указать намъ на книгу, на разсужденіе, на печатанную лекцію, на рецензію, и эти литературныя занятія отнюдь не мѣшаютъ его профессору; напротивъ оживляютъ, освѣжаютъ и украшаютъ оное“.

Особенное вниманіе Погодина обратила на себя статья Хомякова подъ заглавіемъ: *Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ*, и по поводу ея онъ дѣлаетъ любопытную характеристику этого писателя. „Статья Хомякова“, пишетъ онъ, — „есть меньшей Сборникъ въ большомъ Сборникѣ, и здѣсь изслѣдуются вотъ какіе предметы: 1. Ненависть иностранцевъ къ Россіи. 2. Наша имъ преданность. 3. Состояніе нашего образованія, и ложность нашей науки. 4. Недостатки Европейской Исторіи. 5. Философія Гегеля. 6. Обязанности Русскаго Историка въ отношеніи къ Европейской Исторіи. 7. Характеръ Карамзина. 8. Художества въ наше время. 9. Что такое отечество. 10. О наукѣ права въ Германіи. 11. О бракѣ. 12. О коммунистахъ. 13. Характеръ Франціи и ея образованія. 14. О чрезполосныхъ владѣніяхъ и лицѣ посредника. 15. О Годуновѣ. 16. О Русскихъ пѣсняхъ. 17. О Русскомъ духовенствѣ. 18. О преобразованіяхъ. 19. О чиновникахъ. 20. О нашей будущности..., но мы устали выписывать, и скажемъ: и проч. и проч.

„Искусство, съ какимъ всѣ эти разнородные предметы связываются между собою, по истинѣ удивительно. Самъ Овидій въ знаменитыхъ своихъ *Превращеніяхъ* употребилъ его не больше. Вы читаете, напримѣръ, о Гегелѣ, вы напрягаете все свое вниманіе, чтобъ слѣдовать за его діалектикой, вы углубляетесь въ тонкости его различій между *Seyn* и *Nichtseyn*, вы хотите съ авторомъ поймать философа, въ тѣсномъ чуть примѣтномъ ущеліи, сквозъ которое онъ проскочить хочетъ, простираете руки, вотъ вы схватили его, но кто очутился въ вашихъ рукахъ—Гегель, думаете вы, нѣтъ не Гегель, а посредникъ при размежеваніи чрезполосныхъ владѣній. Какъ онъ попалъ сюда, вы не понимаете, сердитесь, думаете, думаете, идете наконецъ назадъ, преслѣдуете путь, и въ самомъ дѣлѣ видите, что вы давно уже своротили съ философской чрезполосицы въ глубину Великороссійской, и вмѣсто высокоученыхъ Нѣмцевъ въ докторскихъ колпакахъ, Лео, Савиньи и Маргейнеке, находитесь въ обществѣ уѣздныхъ по-

мѣщиковъ—секунд-маіора А, штык-юнкера Б, коллежскаго секретаря В, и изъ дворянъ недоросля Г, у которыхъ объ учености и слыхомъ не слыхать, но которые однакожъ гораздо яснѣе Гегеля понимаютъ различіе между *Seyn* и *Nicht-seyn*, и гораздо тверже Савиньи разсуждаютъ *über den Besitz*, восклицая на спорныхъ межахъ: се мое, и се мое!

„Или—вдругъ на сценѣ весь Западъ, съ своими эманципациями, коммунизмомъ, анализомъ, коммюнами, папами, Римско-протестантскимъ ученіемъ... Исчезни! Исчезъ—и является вдали Русскій чиновникъ, озаренный кроткимъ сіяніемъ,... онъ приближается къ вамъ медленно и робко,... до васъ доносятся тихіе звуки... онъ проситъ умильно не смѣяться надъ его безжизненностію.

„Вы сердитесь на автора, что онъ такъ жестоко, такъ деспотически помыкаетъ вами, но скоро примиряетесь съ нимъ, не можете отказать ему въ чувствахъ глубокаго уваженія, искренняго удивленія, потому что, гдѣ ни поставитъ онъ васъ, куда васъ ни броситъ, вездѣ покажетъ вамъ прекрасныя картины, расширитъ вамъ горизонтъ, дастъ пищу вашему уму, и заставитъ думать, разсуждать, спорить, чего ему впрочемъ больше всего желается. Согласіе ему противно. Это боецъ, который стоитъ при входѣ арены, и, увѣренный въ силѣ своей руки, бросаетъ перчатки всякому встрѣчному и поперечному—математику и публицисту, юристу и историку, агроному и художнику, и наказываетъ гордымъ презрѣніемъ только робкое низкопоклонничество.

„Да, Хомяковъ есть лицо примѣчательное въ Россіи, не только въ Москвѣ. Это наша знаменитость. Не даромъ Языковъ сказалъ объ немъ:

И межъ старѣйшими града  
Онъ блещетъ мудростью рѣчей.

Говоруновъ бываетъ много. Не говорю уже о Франціи, гдѣ ни одинъ человекъ за словомъ въ карманъ не лазитъ, и въ Россіи съ нѣкотораго времени эта способность развивается. Но

вы только ихъ слушаете много-много если безъ скуки. Совсѣмъ не то Хомяковъ. Это ораторъ, это ученый, это поэтъ. Обо всякомъ предметѣ, который попадаетъ ему на языкъ, онъ скажетъ вамъ вещи совершенно новыя, оригинальныя, которыя никому и въ голову не приходили; онъ подастъ вамъ мысли, кои вы можете развить, и кои принесутъ вамъ навѣрное плодъ; укажетъ стороны предметовъ, на кои никогда не обращали вы вниманія. Это умъ глубокий, живой, веселый, легкій, разнообразный. Не говорю о свѣдѣніяхъ, не говорю о памяти. Всѣ знающіе Хомякова засвидѣтельствуютъ, что ему столь же легко прочесть вамъ сотню стиховъ изъ любой трагедіи Шекспира, какъ и привести какой-нибудь параграфъ, сто двадцать третій, изъ постановленій помѣстнаго Собора въ Трулѣ, а о Вселенскихъ и говорить нечего, и г. Н. \*) давно уже не смѣетъ выговорить предъ нимъ имени ни одного Папы. Хомяковъ перепуталъ ихъ такъ, что Пасхалій стоитъ за Урбаномъ, а Григорій седьмой мерещится послѣ двѣнадцатаго. Съ другой стороны не угодно ли вамъ послушать его, какъ начнетъ онъ рассказывать вамъ объ охотѣ за зайцами, или объяснять новые образы винокуренья, постройки крестьянскихъ дворовъ. Это опытнѣйшій винокуръ, это домовитѣйшій хозяинъ, это отчаянный охотникъ. Не стану говорить о Голеопатіи.

„Мы исчислили, или лучше сказать намѣтили достоинства Хомякова, но, не скажутъ ли читатели, воспользуясь его оружіемъ, что въ этихъ достоинствахъ заключаются и его недостатки? Не скажутъ ли, что въ этомъ богатствѣ таится и бѣдность, и что такимъ разнообразіемъ исключается единство, условіе всякаго таланта и генія? Одинъ Московскій острякъ, знаменитый своими эпиграммами, съ которыми могутъ сравняться только Пушкинскія, прочитавъ во второмъ номерѣ *Москвитянина* прошедшаго года двѣ статьи Хомякова, *Мыслие иностранцевъ о Россіи* и *Спортъ*, изъ коихъ въ первой разсуждается о многихъ важныхъ предметахъ по-

---

\*) П. А. Чаадаевъ.

литическихъ, а во второй объ охотѣ, спрашивалъ просто-душно: зачѣмъ Хомяковъ отдѣлилъ собакъ отъ первой статьи?

„Что, кажется, могъ бы произвести такой человѣкъ, еслибъ устремилъ свои силы на одинъ предметъ! Вы говорите, сказалъ бы Хомякову одинъ изъ его судей, зачѣмъ не сдѣлано въ Исторіи того и этого; отвѣчаю—некому было дѣлать: такіе люди рождаются вѣками. Развѣ въ началѣ прошедшаго столѣтія можно, напримѣръ, было говорить Европейцамъ: зачѣмъ вы не подумаете о скорѣйшемъ плаваніи, объ удобнѣйшей ѣздѣ? Нельзя, потому что Фултонъ, Ваттъ, тогда еще не родились. Они родились—и дали намъ паровозы и желѣзныя дороги. Такъ точно родится у насъ историческій геній, и дастъ намъ Европейскую Исторію съ Русской точки зрѣнія. Почему вы, напримѣръ, имѣя столько приговорительныхъ свѣдѣній, обладая такимъ проницательнымъ взглядомъ, не принимаетесь за это великое дѣло, которое можетъ обѣщать вамъ безсмертіе?

„Такъ могутъ спросить Хомякова строгіе судьи, и спросить съ достаточнымъ основаніемъ, но я скажу ему въ оправданіе:

„Всякій человѣкъ, всякій писатель, всякій ученый, дѣлаетъ, что можетъ; будьте довольны, что онъ вамъ представить. Хомяковъ сказываетъ вамъ новыя прекрасныя вещи и обо всѣхъ предметахъ. Чего же вамъ лучше? Слушайте и благодарите его. На одинъ предметъ видно онъ устремиться не можетъ. Такова особенность его таланта, таковъ сгибъ его ума, таково свойство его характера. Но мы отвлеклись отъ своего предмета. Примѣръ Хомякова заразителенъ, какъ мы предчувствовали, а за нимъ не поспѣешь, таланта его нѣтъ у насъ, и мы возвращаемся къ *Московскому Сборнику*.

„Впрочемъ надо съ нимъ поспорить: беремъ одинъ изъ предметовъ его разсужденія и скажемъ нѣсколько словъ противъ: „Мыслители западные встрѣтятся въ безысходномъ кругу потому только, что идея общины имъ недоступна“. А куда же дошелъ востокъ съ своею общиною, которую впрочемъ не умѣетъ и назвать по своему? И отчего же мы-

слители западные вертятся, если „всякая система, какъ и всякое учрежденіе запада, содержитъ въ себѣ рѣшеніе какого-нибудь вопроса, заданнаго жизни прежнихъ лѣтъ“? Далѣе—неужели цѣлая Исторія, напримѣръ, Франціи, есть ложь, а Исторія Англіи, Россіи до какого-нибудь періода истина? И какъ случилось, что ложь пришла къ истинѣ, въ чемъ бы то ни было, а истина ко лжи? Но перестанемъ шутить. Глубокія, новыя мысли, хотя часто и слишкомъ отважныя, Хомякова, самые парадоксы его, требуютъ опроверженій дѣльных и обстоятельныхъ, въ коимъ мы и приглашаемъ рецензентовъ *Москвитянина*. Обо всякой страницѣ Хомякова можно написать по статьѣ “<sup>246</sup>).

Хомяковъ, по видимому, остался недоволенъ своею характеристикою и, встрѣтившись съ Погодинымъ на вечерѣ у Н. Ф. Павлова, сказалъ о немъ: *не нашъ*. По поводу этого Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ* (подъ 15 ноября 1846): „Рецензія, видно, не понравилась, а толкуетъ о подчиненіи личности. Думалъ, какъ прочту имъ Исторію“. Шевыревъ, оставшись совершенно доволенъ рецензіею Погодина, писалъ ему: „О *Московскомъ Сборникѣ* славно. Я много смѣялся. Чаадаевъ въ Петровъ день нападалъ на тебя, что ты изобразилъ въ Хомяковѣ личность его, до которой дѣла нѣтъ публикѣ, но я забылъ, что тутъ есть г. *N. съ нами*. Онъ догадался, что это онъ и, видно, сердится. Славно! Славно! Вотъ какъ бы все такъ! Вѣдь пріятно бѣ было работать для *Москвитянина*“.

Въ это время Погодинъ, совершенно неожиданно, получаетъ изъ Петербурга отъ Павла Павловича Каменскаго, письмо, содержаніе котораго переноситъ къ молодымъ лѣтамъ Хомякова. „Вы, вѣроятно“, писалъ Каменскій, — „знакомы съ Хомяковымъ и часто съ нимъ видите. По мѣсту моего служенія въ Театральной Дирекціи меня извѣстили, что ему слѣдуетъ получить изъ конторы Дирекціи перспективные деньги за представленія его драмы *Ермакъ*, и вмѣстѣ просили меня позаботиться объ очищеніи этой статьи нашихъ доходовъ и расходовъ, слишкомъ четырнадцать лѣтъ остающуюся въ за-



бытіи. Если Хомякову будетъ угодно получить причитающіеся деньги, то пусть онъ вышлетъ на мое имя въ нѣсколькихъ словахъ довѣрительную записочку и свой адресъ, по которому оныя немедленно будутъ ему доставлены. Извините, Михайло Петровичъ, что беспокою васъ, можетъ быть, не во время и не къ дѣлу. Вамъ, вѣроятно, странно, скучно и досадно, а мнѣ, признаюсь, было пріятно придаться къ случаю вспомнить и напомнить себя человѣку, съ мыслью о которомъ связаны цѣлующій возрастъ и лучшіе дни моей студенческой жизни. Для ясности и канцелярской точности вотъ форма записки: Вѣрю г-ну Каменскому, служащему въ Дирекціи Императорскихъ театровъ, получить для доставленія мнѣ слѣдующихъ поспеваемыхъ денегъ за представленія моей драмы *Ермакъ* на С.-Петербургскомъ театрѣ<sup>247</sup>).

Охарактеризовавъ въ своей рецензіи Хомякова, Погодинъ переходитъ къ статьѣ А. Н. Попова, помѣщенной въ *Московскомъ Сборникѣ* подъ заглавіемъ: *О современномъ направленіи искусствъ пластическихъ*, и замѣчаетъ: „Въ статьѣ Попова есть множество основательныхъ..., но у насъ нѣтъ силъ: Статья Хомякова утомительно хороша и привела насъ въ совершенное изнеможеніе: мы не можемъ разсуждать болѣе ни о направленіи художествъ съ Поповымъ, ни о Русскихъ картинахъ въ Римѣ—съ Чижевымъ, ни о склоненіяхъ—съ Константиномъ Аксаковымъ, ни о родовыхъ отношеніяхъ князей между собою—съ Соловьевымъ. Всѣ эти статьи исполнены мыслей, или написаны прекраснымъ языкомъ, всѣ займутъ пріятнымъ образомъ публику“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ иронически замѣчаетъ: „Мы выпишемъ изъ статьи Чижева имена Русскихъ архитекторовъ въ Римѣ: Бенуа, Бейне, Росси, Эпингеръ, Кракау, Монигетти, Барбе, Комбе, Пранкъ, Бравура, Нордекъ“.

Изложивъ въ своей рецензіи достоинства главныхъ статей *Московского Сборника*, Погодинъ заключаетъ общимъ о немъ сужденіемъ: „Въ *Московскомъ Сборникѣ* нѣтъ современности и нѣтъ видимаго единства, видимой связи: всѣ статьи раз-

породины. Конечно, жаль, что нѣтъ этой связи. Но не болѣе ли жаль, что она есть, напримѣръ, въ *Петербуржскомъ Сборникѣ*, гдѣ такъ громко и широко раздается колыбельная пѣсня Некрасова? Нѣтъ видимой связи, но есть внутренняя связь, есть родовое единство, всѣ статьи благородныя, чистыя. Всякій авторъ выражаетъ въ своемъ сочиненіи собственный взглядъ на вещи, свои завѣтныя мысли, коимъ преданъ всю душу—о Словенахъ ли то, или о хлѣбныхъ законахъ, о новой музыкѣ или Гегелевой философій, о Румфордовомъ супѣ или склоненіи существительныхъ именъ. Мы должны указать на эти качества статей *Сборника*, которыя начинаютъ къ прискорбію отсутствовать чаще, чѣмъ прежде, въ нашей текущей литературѣ. Вотъ такими трудами, такими изданіями, подвигается наука, обогащается литература, дѣлается дѣло, а разговоры, разговоры—разносить вѣтеръ, и языкъ доводилъ въ старину только до Кіева, а нынѣ и не знаю—до котораго города. Теперь слѣдуетъ поддерживать изданіе, и къ осени выдать другой томъ, который, говорятъ, почти собранъ и готовъ, а выйдетъ ли этотъ томъ, хотя къ Рождеству? Изъ Петербургскихъ же хлѣбей грозитъ вылѣзти какой-то *Левіаганъ*, *Сборникъ-Чудовище* (monstre \*), и вѣрно - въ полномъ значеніи этого слова, изъ тысячи страницъ въ двадцать дюймовъ длиною и шестнадцать шириною, съ рисунками на мѣди, деревѣ и стали, съ нотами для фортепіано и рецептами для кухни, съ изображеніемъ чуть ли не Аничковскихъ коней въ натуральную почти величину, съ цыганскими плясками; разнохарактернымъ дивертиссементомъ и портретами, совершенно схожими, поэтовъ, критиковъ, нувелистовъ и публицистовъ натуральной школы, гравированными въ Лондонѣ на каменномъ углѣ, или даже на какомъ-то новомъ открытомъ металлѣ. Вотъ ужъ будетъ *Сборникъ*, такъ *Сборникъ*! И опять перекричится Москва, какъ перебивается ея почтенный *Москвитянинъ* вакханальнымъ гамомъ Санктъ-Петербургскихъ удалыхъ молод-

---

\*) Предполагаемый сборникъ Бѣлинскаго.

цевъ. На работу же, молодые люди, на работу,—и за честь бѣлокаменной Москвы“<sup>248</sup>).

Сохранилось любопытное письмо Бѣлинскаго, въ которомъ между прочимъ читаемъ: „Въ Харьковѣ я прочелъ *Московский Сборникъ*. Статья Самарина (о *Тарантасѣ*) умна и зла, даже дѣльна, не смотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопристойнаго принципа кротости и смиренія и зацѣпляетъ меня въ лицѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Какъ умно и зло казнилъ онъ аристократическія замашки Сологуба. Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи словенофиломъ. За то Хомяковъ... я жъ ему дамъ зацѣплять меня—узнаетъ онъ мою крючки“<sup>249</sup>).

---

### XXXIX.

Къ участию въ *Московскомъ Сборникѣ* Словенофилы чрезъ Языкова пытались привлечь и Гоголя; но эта попытка была неудачна. „И ты противъ меня!“, писалъ Гоголь Языкову. „Не грѣхъ ли и тебѣ склонять меня на писаніе журнальныхъ статей, — дѣло, за которое уже со мною поссорились нѣкоторые пріятели. Ну, что во мнѣ толку и какое оживленіе *Московскому Сборнику* отъ статьи моей. Статья все же будетъ моя, а не ихъ, стало быть, имъ никакой чести. Признаюсь, я не вижу никакой цѣли въ этомъ *Сборникѣ*. Дѣла мало, а педантства много. Вышелъ тотъ же мертвый номеръ *Москвитянина*, только немного потолще. У насъ воображаютъ, что все дѣло зависитъ отъ соединенія силъ и отъ какой-то складчины. Сложись-ка прежде самъ да сдѣлайся капитальнымъ человѣкомъ, а безъ того принесешь соръ въ общую кучу... Воспитай прежде себя для общаго дѣла... А они, надѣвъ кафтанъ да запустивъ бороду, да и воображаютъ, что распространяютъ этимъ Русскій духъ по Русской землѣ. Они просто охаиваютъ этимъ всякую вещь, о которой дѣйствительно слѣдуетъ поговорить, и о которой становится те-

перь стыдно говорить, потому что они обратили ее въ смѣшную сторону. Хотѣлъ я имъ кое-что сказать, но знаю, что они меня не послушаютъ“.

Начало 1846 года Гоголь проводилъ въ Римѣ. Въ это время Вѣчный Городъ посѣтилъ Императоръ Николай. „Самое важное“, писалъ Гоголь Языкову, — „изъ происшествій былъ пріѣздъ нашего Царя. Я любовался имъ только издали и помолился въ душѣ за него. Да поможетъ ему Богъ устроить все къ лучшему на Руси нашей“. Любопытство А. О. Смирновой о царскомъ пребываніи въ Римѣ Гоголь удовлетворяетъ слѣдующими строками: „Вы пишете извѣстить о пребываніи Царя въ Римѣ. Онъ пробылъ четыре дня. Я его видѣлъ и любовался имъ издали, когда онъ прогуливался по Monte-Pincio. Лицо его было прекрасно. Исполненная благоволенія наружность его не могла не поразить всѣхъ. Я не представлялся къ нему, потому что стало стыдно и совѣстно, не сдѣлавши почти ничего еще добраго и достойнаго благоволенія, напоминать о своемъ существованіи... Государь долженъ увидѣть меня тогда, когда я на своемъ скромномъ поприщѣ со-  
служу ему такую службу, какую совершаютъ другіе на государственныхъ поприщахъ“. Жуковскому Гоголь сообщилъ, что, „бывши на куполѣ Петра, Государь достигнулъ самаго ябллка и написалъ на немъ: *Здѣсь былъ императоръ Николай и молился о благоденствіи матушки Россіи*“<sup>250</sup>).

Лучшимъ лѣкарствомъ для Гоголя была дорога, а потому для поправленія своего здоровья онъ предпринялъ изъ Рима безконечныя перѣзды. „Зябкость и усталость“, писалъ онъ еще изъ Рима (23 марта 1846 г.) С. Т. Аксакову, — „мѣшаютъ мнѣ продолжать... вамъ писать болѣе. Доселѣ изъ всѣхъ средствъ, болѣе мнѣ помогавшихъ, была ѣзда и дорожная тряска; а потому весь этотъ годъ обрекаю себя на скитаніе. Лѣтомъ полагаю объѣздить мѣста, въ которыхъ не былъ: въ Европѣ сѣверной, на осень въ южную, на зиму въ Палестину, а весной, если будетъ на то воля Божія, въ Москву...“<sup>251</sup>). Изъ Франкфурта (10 августа 1846 года) Жу-

ковский сообщает Погодину: „У меня въ Швальбахѣ гостилъ Гоголь; ему вообще лучше; но сидѣть на мѣстѣ ему нельзя; его главное лѣкарство путешествіе; онъ отправился въ Остенде; оттуда поѣдетъ во Франкфуртъ и, поживя у меня нѣсколько дней, отправится далѣе и будетъ нѣсколько времени вездѣ и нигдѣ; потомъ воротится на родину, вѣроятно, въ томъ же году, какъ и я“.

Въ это время самъ Жуковский продолжалъ трудиться надъ переводомъ *Одиссеи* и, возвратясь изъ Швальбаха во Франкфуртъ, писалъ Погодину: „Хочу снова приняться за *Одиссею*, которая дошла до половины, но цѣлый годъ пролежала на половинѣ неподвижно; постараюсь кончить ее къ возвращенію въ Россію, которое должно послѣдовать въ будущемъ (1847) году лѣтомъ“ <sup>252</sup>).

Между тѣмъ Гоголь изъ Карлсбада писалъ Плетневу: „Жуковскому нужно, чтобы публика была нѣсколько приготовлена къ принатію *Одиссеи* — я выправилъ письмо къ Языкову и посылаю его для напечатанія. Нужно особенно, чтобы въ провинціяхъ всякое простое читающее сословіе знало хоть что-нибудь объ этомъ и ждало бы съ повсемѣстнымъ нетерпѣніемъ“ <sup>253</sup>). Плетневъ, разумѣется, исполнилъ желаніе Гоголя и въ своемъ *Современникѣ* напечаталъ это письмо <sup>254</sup>).

По поводу письма Гоголя И. С. Аксаковъ писалъ къ своему Отцу: „Вчера прочелъ я письмо Гоголя объ *Одиссее*. Многое чудесно хорошо; появленіе *Одиссеи*, можетъ быть, замѣчательно какъ фактъ въ XIX вѣкѣ, но появленіе ея въ Россіи не можетъ имѣть вліянія на современное общество, на Европейское. *Одиссея* не выльчитъ Запада, не уничтожить его Исторіи, а насъ, Русскихъ, не примирить съ порядкомъ вещей, а вліяніе ея на Русскій народъ — мечта. Точно будто нашъ народъ читаетъ что-нибудь, — есть ему время! А Гоголь именно налегаетъ на простой Русскій народъ. Нѣтъ, долго, слишкомъ долго зажился онъ за границей. Что и говорить, *Одиссея* подѣйствуетъ благотворно на душу отдѣльнаго человѣка, и не одного. Но какъ хороши

эти неизблемыя, величавыя созданія искусства между нашей мелкой дѣятельностію, какъ нѣмѣть передъ ними наша кропотливая талантливость!“<sup>255</sup>).

Согласно съ Аксаковымъ думалъ и князь П. А. Вяземскій: „Въ письмѣ объ Одиссеѣ... все сказанное авторомъ въ отношеніи подлинника и перевода и поэтически прекрасно, и критически вѣрно. Но за то, когда онъ опредѣляетъ дѣйствіе, которое появленіе этого творенія произведетъ на Россію, нельзя не признать, что авторъ слишкомъ далеко заносится въ область благонамѣренныхъ мечтаній...“<sup>256</sup>).

Въ 1846 году вышелъ Нѣмецкій переводъ *Мертвыхъ Душъ*, сдѣланный Лёбенштейномъ. Переводчикъ въ своемъ предисловіи задѣлъ Погодина. Шевыревъ, извѣщая объ этомъ послѣдняго, писалъ: „Тутъ клевета на тебя: переводчикъ говорить, что Гоголь взялъ за *Мертвыхъ Душъ* съ тебя три тысячи рублей серебромъ, а ты на эту сумму выигралъ четыре тысячи рублей серебромъ распродажею изданія. Надо бы гдѣ-нибудь эту клевету опровергнуть и разругать этого дурака. Я совѣтовалъ бы послать въ *Allgemeine Zeitung*, такъ какъ она всѣхъ болѣе читается, и къ Іордану черезъ Куника“. Но Гоголь не протестовалъ противъ этой клеветы, а напротивъ того писалъ Языкову: „Извѣстіе о переводѣ *Мертвыхъ Душъ* на Нѣмецкій языкъ мнѣ было непріятно. Кромѣ того, что мнѣ вообще не хотѣлось бы, чтобы обо мнѣ что-нибудь знали до времени Европейцы,... и я бы не хотѣлъ, чтобы иностранцы впали въ такую глупую ошибку, въ какую впала большая часть моихъ соотечественниковъ, принявъ *Мертвыхъ Душъ* за портретъ Россіи“; а познакомившись съ предисловіемъ, Гоголь писалъ тому же Языкову: „Благодарю за выписку предисловія въ Нѣмецкому переводу *Мертвыхъ Душъ*. Нѣмецъ судить довольно здраво“<sup>257</sup>).

Долгъ справедливости побуждаетъ насъ замѣтить, что Погодинъ былъ издателемъ *Ревизора*, а не *Мертвыхъ Душъ*, и когда въ томъ же 1846 году Гоголь вздумалъ сдѣлать новое изданіе *Ревизора*, то Погодинъ писалъ Шевыреву: „Что нашъ

бѣдный Гоголь?... *Ревизора* онъ хочетъ печатать, но онъ позабылъ, что получилъ отъ меня, кажется, двѣ тысячи пятьсотъ рублей или двѣ тысячи за изданіе, и что это изданіе осталось у меня все въ кладовой, потому что онъ тогда же выдалъ полное собраніе! Я молчу и не претендую, Богъ съ нимъ, хоть и нахожусь теперь въ самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ. Не знаю, какъ и держусь. Между нами!"

Между тѣмъ Сенковскій вдругъ неожиданно поднялъ на смѣхъ Гоголя въ разборѣ стихотвореній Александры Бѣдаревой, вышедшихъ въ Кіевѣ въ 1846 году. „Я держусь“, писалъ онъ, — „той теоріи, что женщина — разумѣется, молодая: старыхъ женщинъ нѣтъ въ природѣ, какъ нѣтъ старыхъ цвѣтковъ, ни старыхъ радугъ — что женщина не что иное, какъ воображеніе въ вырѣзномъ платьѣ. Въмѣсто сердца въ ней бьются *Мертвыя Души* — я хотѣлъ сказать: въ ней бьется поэма... Простите, что я такъ странно обмолвился; я печаленъ — Гомеръ, знаете, боленъ! О, самолюбіе! самолюбіе книжное. Сколько ты убиваешь умовъ и талантовъ!.. Самолюбіе! Лютое самолюбіе! Посмотри, что сдѣлало ты изъ Гомера. Гомеръ боленъ! Гомеръ захворалъ на томъ, что онъ не въ шутку Гомеръ. Гомеръ возгордился неизлѣчимо!.. Типунъ вамъ на языкъ! — въ томъ числѣ и мы — вамъ, которые, когда явилась въ свѣтъ незабвенная поэма, предсказывали..., что это тѣмъ кончится — что тутъ уже есть начало болѣзни. Гомеръ отрывается отъ безсмертія, отъ удивленія народовъ, потому что народы не понимаютъ его..., отъ авторской суеты, отъ всѣхъ поэмъ, и улетаетъ на Олимпъ занять заранѣе мѣсто между богами.. Туманное облако мистицизма окружило Гомера и его болѣзненное самолюбіе... Послѣ его смерти..., когда родъ человѣческій поумнѣетъ, — явятся его не изданныя и еще не написанныя творенія... Послѣ смерти!.. Къ тому времени навѣрное пройдетъ мода на слогъ, языкъ и манеру послѣдняго изъ Гомеровъ..., такъ что твореній его, пожалуй, никто и читать не захочетъ...“ <sup>258</sup>). Этотъ пасквиль возмущилъ И. С. Аксакова. „Вообразите“, писалъ онъ своему отцу, — „Сенковскій объ-

являетъ публично, что Гоголь боленъ, вдался въ *мистицизмъ*, не хочетъ продолжать *Мертвыхъ Душъ* и такъ самолюбиво замечтался, что всѣхъ учитъ, даетъ наставленія. Все это сказано съ ругательствами и насмѣшками. Онъ не называетъ его Гоголемъ, но *Гомеромъ*, написавшимъ *Мертвыхъ Душъ*. Названіе *Гомеръ* повторилъ онъ разъ двадцать на одной страницѣ. Какой мерзавецъ! <sup>259</sup>).

Въ это время Сенковскій посѣтилъ Москву и, не смотря на литературную вражду съ Погодинымъ, имѣлъ съ нимъ дружескія свиданія, о чемъ свидѣлствуетъ слѣдующая записка въ *Дневникъ* Погодина: „По утру Сенковскій. Очень тихъ и смиренъ. Не совѣтуетъ въ Египетъ, въ октябрѣ. Разсказывалъ о Востокѣ и его цивилизаціи, которая портитъ его“ <sup>260</sup>). Кромѣ того, сохранилась и слѣдующая записочка П. П. Новосильцова къ Погодину: „Примите мою просьбу пріѣхать завтра отобѣдать къ намъ на дачу въ Сокольники. У меня обѣдаютъ Сенковскій и Вигель. Оба они люди не добрые, что грѣшнѣе, но очень желаютъ васъ видѣть“ <sup>261</sup>).

Слѣдуетъ однако замѣтить, что И. С. Аксаковъ, относясь съ справедливымъ негодованіемъ къ отзыву Сенковского о Гоголѣ, самъ однако весьма проницательно отнесся къ письмамъ того же Гоголя къ А. О. Смирновой. Вотъ что мы читаемъ въ письмѣ его къ отцу (3 августа 1846): „Смирнова получила письмо отъ Гоголя и говорить, что письмо превосходное, и что въ немъ Гоголь, къ вѣщему ихъ удивленію, пишетъ имъ про Калугу, какъ будто онъ въ ней бывалъ нѣсколько разъ, говорить про многихъ чиновниковъ и жителей, называя ихъ по именамъ, про то, какъ А. О. Смирнова сначала повела себя въ Калугѣ, учить ее быть губернаторшей, брать примѣръ съ бывшей здѣсь лѣтъ двадцать тому назадъ княгини Оболенской (матери Мити, отецъ его былъ здѣсь губернаторомъ), дѣлать добро такъ-то и такъ-то,—а мужа ея—не гнать взяточниковъ: „Я все знаю, мнѣ извѣстно все, что вы дѣлаете“, прибавляетъ Гоголь, но не пишетъ, какимъ образомъ ему это все извѣстно. Согласитесь, что это неможно



смѣшно; добро бы это было въ шутку, а то Гоголь серьезно хочетъ являться какимъ-то всевѣдущимъ и постоянно о ней пекущимся Провидѣніемъ. Я думаю, что Самаринъ, который въ перепискѣ съ Гоголемъ, сообщаетъ ему всѣ еженедѣльные письма А. О. Смирновой, въ которыхъ она подробно описываетъ ему и всякое новое лицо, и всякое новое Калужское событіе; да къ тому же Самаринъ жилъ съ Оболенскимъ, который знаетъ въ Калугѣ всѣхъ. Да, Гоголь проситъ еще Александру Осиповну описать ему новое учрежденіе Губернскаго Правленія, всѣ отношенія Палаты между собою и т. п. Все это раздѣлено по пунктамъ“.

Ю. О. Самаринъ все еще томился на службѣ въ Петербургѣ. А между тѣмъ И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Сдержанность Самарина, спокойное разложеніе вопроса, все это я люблю, но служба имѣетъ надувательный характеръ, и Самаринъ, кажется, ею отчасти надувается. Какой-то политическій мнимый характеръ, ей сообщенный, дѣлаетъ то, что отъ этой дѣятельности трудно перейти въ дѣятельности отвлеченно-ученой; послѣдняя кажется мертвою... Я сузу по собственному опыту“<sup>262</sup>).

Прослуживъ около года въ Сенатѣ, Ю. О. Самаринъ перешелъ на службу въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ помощникомъ дѣлопроизводителя въ открытомъ тогда Комитетѣ по устройству Лифляндскихъ крестьянъ. 6 апрѣля 1846 года Хомяковъ писалъ ему: „На дняхъ получили мы вѣсти о васъ отъ Чиждова, и вѣсти все хорошія, какъ все-таки въ Питерѣ вы держитесь Московскихъ обычаевъ и пр., и пр. Жена моя вамъ кланяется и тѣмъ дружественнѣе, что слышала, что вы постились по Московски. Одно грустно, что вы въ Питерѣ. Я было за васъ порадовался, что вы оттуда выбираетесь хоть въ Чухландію настоящую, а теперь опять, кажется, не то выходитъ. Хоть Комитетъ вашъ и устроенъ по Чухонскимъ дѣламъ, да совсѣмъ не то дѣйствовать на мѣстѣ, видѣть своими глазами, бороться съ наличными страстями, или дѣйствовать издали, по бумажнымъ донесеніямъ, и заступаться за людей,

которыхъ отъ роду не видывалъ. Все это дѣло мертвое и холодное, и скучное... Терпи казакъ, хоть и атаманомъ не будешь". По поводу сѣтованія Самарина на бесплодность своего пребыванія въ Петербургѣ Хомяковъ писалъ ему: „Совершенно ли безъ пользы пропадаетъ ваше время въ Петербургѣ? Разумѣется, что тамъ ни прозелитовъ мысли, ни истиннаго сочувствія искать не должно; но твердость высказанныхъ убѣжденій и вѣрность этимъ убѣжденіямъ въ жизни могутъ быть не совсѣмъ бесплодными. Если другого плода не будетъ, то уже какое-то невольное уваженіе къ мысли, даже скрытое иногда подъ личиною самодовольной насмѣшки, можетъ родиться хоть въ нѣкоторыхъ и приготовить ихъ къ будущему сочувствію. Въ васъ довольно смѣлости, чтобы выговаривать мысль явно..., въ васъ столько воздержности, что вы не на каждомъ шагѣ будете разбрасывать мысль, слѣдовательно, есть возможность нравственнаго дѣйствія, хоть я убѣжденъ, что изъ всѣхъ почвъ въ мірѣ, за исключеніемъ, можетъ быть, Вѣнской, самая неблагоприятная почва Петербургская“.

Обращаясь же къ Москвѣ, Хомяковъ высказываетъ слѣдующее: „Да по правдѣ, и съ позволенія Аксакова, неужели наша Московская почва не только хороша, но хоть сколько-нибудь сносна? Неужели это не совершенная пустыня въ нравственномъ и умственномъ отношеніи?.. Здѣсь или въ Питерѣ утѣшеніе почти одинаково, съ тою только разницею, что здѣсь менѣе гнусныхъ явленій общественной роскоши и самодовольства и болѣе свободы для умственныхъ трудовъ...“ <sup>263</sup>).

По свидѣтельству И. С. Аксакова, Самаринъ въ то время находился подъ вліяніемъ А. О. Смирновой, и Аксаковъ съ горделивостью писалъ своему отцу: „Къ Александрѣ Осиповнѣ я не ѣзжу... Гоголя и Самарина довольно съ нея; слѣдовательно, мое пренебреженіе ничего не значитъ, а мнѣ гораздо удобнѣе не бывать у нея“ <sup>264</sup>).

А. О. Смирнова дѣйствительно принимала живѣйшее участіе въ судьбѣ Самарина и всѣми силами старалась сблизить его съ Гоголемъ, что ей и удалось. „Благодарю васъ“, писала

она Гоголю, — „за письмо къ Самарину, оно его обрадовало и подерѣпило, онъ находится въ самой затруднительной борьбѣ съ отцемъ, который связываетъ каждое его свободное движеніе. Мнѣ кажется, что, слѣдуя движенію сыновней благодарности и не возмущая семейнаго спокойствія, онъ уже правъ и чистъ передъ Богомъ и обществомъ. Онъ уменъ, чистъ и добръ, любитъ все прекрасное не какъ отвлеченное, но какъ способъ къ украшенію души, къ улучшенію общества посредствомъ прекрасныхъ личностей. Изрѣдка напишите ему, потому что онъ страдаетъ отъ своего фальшиваго положенія. Пановъ одинъ его укрѣпляетъ теперь“.

Самъ же Самаринъ откровенно писалъ Гоголю:

„Вы не знаете моего отца, но такъ какъ я долженъ и хочу быть вполне откровеннымъ съ вами, я не могу не сказать вамъ о немъ хоть нѣсколько словъ. Онъ пожертвовалъ для меня своимъ положеніемъ въ свѣтѣ и при Дворѣ, видами честолюбія, оставилъ навсегда Петербургъ и, поселившись въ Москвѣ, занялся исключительно моимъ воспитаніемъ. Это была великая жертва и притомъ жертва выдержанная, ибо до послѣдняго дня его попечительность, доходившая до мелочей, его ежечасныя заботы, не оскудѣвая, проводили меня черезъ всѣ ступени ученія и воспитанія. Многимъ обязанъ я воспитанію, если не всѣмъ; я обязанъ ему тѣмъ, что многія вредныя и суетныя наклонности, которыхъ сѣмя во мнѣ было, не развились во мнѣ; наконецъ, оно сдѣлало меня способнымъ принять и сродниться съ такимъ образомъ мыслей, который при другихъ обстоятельствахъ, другомъ образѣ жизни и воспитанія, вѣроятно, остался бы мнѣ чуждымъ. Сосредоточивъ на мнѣ свои надежды, свои попеченія....., отецъ мой привыкъ смотрѣть на меня, какъ на свое созданіе; это было почти неизбежно, но тѣмъ не менѣе вредно. Чрезмѣрною взыскательностью и строгостью онъ подавилъ во мнѣ свободу непосредственныхъ движеній сердца, откровенность, прямоту и силу воли. Къ несчастію, онъ никогда не понималъ меня и теперь понимаетъ менѣе, нежели когда-нибудь... Я ужасно

много перетерпѣлъ въ дѣтствѣ. Ничто мнѣ не спускалось даромъ; малѣйшее сопротивленіе, самое робкое оправданіе вмѣнялось мнѣ въ вину; меня наказывали безпрестанно и заставляли каяться, вынуждали слезы и раскаяніе, когда я вовсе не былъ виноватъ. Заступаться за меня было некому; мало-по-малу безусловная покорность вошла въ привычку. Съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ Университета, жизнь моя была рядомъ пожертвованій (Вы понимаете, что я это говорю отнюдь не въ похвалу себѣ). Сильное желаніе влекло меня на ученое поприще; занимать каведру казалось мнѣ тогда и кажется теперь самую лучшую долю -- я отказался отъ нея и вступилъ въ службу.... я долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ; наконецъ, послѣ двухъ лѣтъ, почти потерянныхъ..., я просился за границу — и въ этомъ получилъ отказъ! Но это было бы еще ничего, моимъ образомъ жизни я всегда жертвую охотно, теперь отецъ мой ставитъ мнѣ въ вину самый мой образъ мыслей. Подозрительнымъ взоромъ смотритъ онъ на друзей моихъ и вашихъ, на Хомякова, Аксакова, Погодина и другихъ. При каждомъ удобномъ случаѣ осыпаетъ ихъ самыми несправедливыми и обидными упреками и ясно требуетъ отъ меня разрыва съ ними. Разумѣется, я этого никогда не сдѣлаю... Трудно мнѣ ладить. Приучивъ отца къ безусловной покорности съ моей стороны, я не могу переимѣнить отношеній нашихъ, не могу измѣнить его образа мыслей, уничтожить предубѣжденій и предрасудковъ, неразлучныхъ съ его лѣтами. Мнѣ остается..... уступать, когда только можно. Но чувствую я при этомъ, что уступчивость мнѣ не вмѣняется, онъ принимаетъ ее холодно, безъ любви, ибо самъ я уступаю холодно, безъ любви, по чувству долга и по привычкѣ давнишней.... Я не оправдываю себя, виноватъ и я, но виновато въ особенности установившееся отношеніе, котораго измѣнить нельзя.

„Въ то же самое время тотъ кругъ людей, съ которыми я связанъ образомъ мыслей, ученою дѣятельностью и всѣми убѣжденіями и сочувствіями, видимо осуждаютъ меня и укло-

няются отъ меня. Аксаковъ пишетъ мнѣ письма, въ которыхъ грозитъ разрывомъ, если я не приму его образа мыслей, запечатлѣннаго исключительностью и потому только извинительнаго, что происходитъ отъ незнанія людей и жизни. Онъ не умѣетъ вглядываться въ фizioномію челоуѣка; онъ видитъ въ немъ не живое цѣлое, сложенное изъ противоположныхъ свойствъ и началъ самыхъ разнообразныхъ, а строгій силлогизмъ на двухъ ногахъ, такъ что, узнавъ одно свойство, онъ выводитъ изъ него цѣлый рядъ выводовъ и безъ оглядки навязываетъ ихъ лицу. Весь родъ челоуѣческій для него распадается на безусловно бѣлыхъ и безусловно черныхъ. Такъ, въ послѣднее время, въ письмѣ ко мнѣ, онъ разругалъ Александру Осиповну Смирнову за то, что она знакома съ людьми, которыхъ онъ называетъ подлецами и подлячками. Предвижу я, что и съ нимъ я долженъ буду разойтись, и тѣмъ болѣе досадно и грустно мнѣ это, что нѣтъ законной причины въ разрыву. Какъ жаль, что васъ нѣтъ: вы одни могли бы имѣть смягчающее миротворное вліяніе на насъ всѣхъ “<sup>265</sup>).

Въ концѣ 1846 года состоялся переводъ Самарина на службу въ Ригу. Передъ отъѣздомъ туда онъ съѣздилъ въ Москву и тамъ, разумѣется, посѣтилъ Погодина, который подъ 17 ноября 1846 года записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Съ Самаринымъ о Ригѣ и Нѣмцахъ. Мы уступаемъ рѣшительно вездѣ, а на насъ же жалуются!“

## XL.

Въ концѣ 1845 года, Аксаковы, какъ было уже сказано, переселились въ свое Абрамцево. По словамъ Острогорскаго, С. Т. Аксаковъ „всегда крѣпкій и здоровый физически началъ хворать. Сначала онъ сталъ худо видѣть лѣвымъ глазомъ и лишился его совсѣмъ; а затѣмъ ослабѣлъ и правый. Въ деревнѣ болѣзнь усилилась “<sup>266</sup>). Не смотря на это 22 но-

ября 1845 года больной писалъ Гоголю: „Мы живемъ въ деревнѣ тихо, мирно и уединенно; даже не предвидимъ, чтобы могла зайти къ намъ скука... Отъ утренняго чая до завтрака и потомъ до поздняго обѣда всѣ мы заняты своими дѣлами: играютъ, рисуютъ, читаютъ; Константинъ что-нибудь пишетъ, а я диетую. Послѣ обѣда мы уже не расходимся по своимъ угламъ; весь вечеръ продолжается уже общее чтеніе. Каждый вечеръ мы читаемъ что-нибудь ваше по порядку выхода...“<sup>267</sup>). Но это мирное, семейное теченіе сельской жизни было омрачаемо и нарушаемо болѣзнями, и уже 18 марта 1846 года С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: „Мнѣ очень досадно, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, что вы не получили моего письма, писаннаго около 13 февраля, въ которомъ я подробно разсказалъ вамъ наши болѣзненные и печальныя обстоятельства. Я думаю, Константинъ не умѣлъ вамъ дать настоящія свѣдѣнія объ насъ. Больная наша дошла до такого положенія, что мы часто не знаемъ, чѣмъ она будетъ существовать завтра, ибо желудокъ ея ничего безъ спазмъ и страданій принимать не можетъ. По истинѣ я съ удивленіемъ смотрю, какъ можетъ тянуться такая жизнь. Глаза мои пришли также въ весьма дурное положеніе, не столько потому, что лѣвымъ глазомъ я не вижу и солнца, а правымъ на все гляжу сквозь сѣтку пятенъ, волосевъ и влочеувъ; но потому что глаза мои, особенно слѣпой, находятся постоянно въ воспалительномъ состояніи. Трехнедѣльное сильное лѣченіе Цитмановымъ девоктомъ, отъ котораго вечеръ, ночь и утро я потѣлъ, а днемъ меня слабило, не оказало ни малѣйшей пользы, а сдѣлало меня способнымъ въ простудѣ отъ движенія воздуха той же осьмнадцати-градусной температуры. Четвертый день я отдыхаю, но черезъ три дня примусь опять за вторую половину Цитманова же девокта, съ полной увѣренностью, что онъ мнѣ не поможетъ. Иванъ живетъ съ нами; онъ также боленъ ожесточеніемъ золотухи и геморроя, происшедшимъ отъ лѣченія сильными средствами, безъ всякой осторожности и умѣнья себя сохранить; его болѣзнь такъ упорна, что упо-

требляетъ уже третій способъ лѣченія... Итакъ, вотъ положеніе, въ которомъ мы живемъ. Къ удивленію моему я не теряю бодрости и сохраняю спокойствіе духа. Очень благодарю васъ за билетъ на *Москвитянина*; въ настоящемъ моемъ положеніи большая часть моего дня проходитъ въ слушаніи чтенія. Пожалуйста, при оказіяхъ, присылайте мнѣ какія у васъ есть старыя литературныя книги и изданія; я стану ихъ въ цѣлости и съ благодарностью возвращать вамъ. Прощайте, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, поклонитесь отъ меня Степану Петровичу. Скажите ему, что его статья о *Петербургскомъ Сборникѣ* доставила мнѣ большое удовольствіе, но какъ это ему вздумалось сказать, что Павловъ и Гоголь—наши первые повѣствователи? Если же вы думаете, что это ему будетъ непріятно, то не говорите. Желаю вамъ всего добраго. Черкните иногда хоть строчку“.

Въ маѣ Аксаковы переѣхали въ Москву для лѣченія. „Мы здѣсь“, писала Погодину О. С. Аксакова,—„въ гостинницѣ Шевалдышева. Сергій Тимоѣевичъ страдалъ ужасно. Теперь лучше. Слава Богу. Завтра консилиумъ“<sup>268</sup>).

Въ это время и съ тою же цѣлью пріѣхала въ Москву и А. О. Смирнова. 14 мая 1846 года писала она Гоголю: „Аксаковы здѣсь. Сергій Тимоѣевичъ очень страдаетъ и страдаетъ со всѣмъ нетерпѣніемъ новичка; нетерпѣливъ, отрывистъ въ отвѣтахъ на семейные нѣжные вопросы; меня это болѣе огорчило, чѣмъ удивило, потому что, кажется, ему предстоитъ долгая болѣзнь и, можетъ быть, потеря зрѣнія. Впрочемъ съ этой потерей онъ болѣе примиряется, чѣмъ съ болью нервической. Константинъ Сергѣевичъ добръ и простъ какъ дитя; его нельзя не полюбить, не задумавшись о его будущности. Шевыревъ не высказывается съ перваго раза, но Погодинъ сухъ и черствъ, даже издали. Хомяковъ такъ уменъ, что о душѣ его ничего нельзя сказать, можно однако увѣрительно сказать, что его сердце доброе...“<sup>269</sup>)

Съ своей стороны и Хомяковъ писалъ Самарину: „А. О. Смирнова все еще здѣсь. Она умна, мила, она понимаетъ многое

такъ, какъ никто, можетъ быть, въ обществѣ не понимаетъ; но, къ несчастью, она только гостя въ Москвѣ. Я хочу сказать не о томъ, что она никогда не будетъ здѣсь жить, но о томъ, что она никогда не будетъ здѣшнею<sup>\*)</sup>.

Само собою разумѣется, что во время пребыванія Аксаковыхъ въ Москвѣ ихъ часто навѣщаль Погодинъ. Въ его *Дневникъ* сохранился рядъ записей объ этихъ посѣщеніяхъ:

Подъ 13 мая 1846. У страдающихъ Аксаковыхъ. Поклоненіе дѣтямъ между прочимъ губить ихъ. Разказы Константина о подлостяхъ западной партіи. О штукахъ Бѣлинскаго. Но чортъ ихъ возьми!

— 17 мая. Къ Аксаковымъ. Жалею смотрѣть на ихъ хвастовство... Ивановы стихи! Двадцатилѣтній мальчикъ \*) обревизировалъ губернію, etc.

— 21 мая. Вечеръ у Аксаковыхъ. Самопоклоненіе. Съ Шевыревымъ о нравственности въ народѣ.

— 1 іюня. У Аксаковыхъ новыя болѣзни, истинныя и мнимыя, и несчастныя просто сходятъ съ ума!

— 6 іюня. Къ Аксаковымъ. Сумасшествуютъ и страдаютъ.

— 18 іюня. Обѣдалъ у Аксаковыхъ. Съ Томашевскимъ объ ихъ печальномъ положеніи!

Но Москва не исцѣлила С. Т. Аксакова, и, возвратясь въ свое Абрамцево, онъ писалъ Погодину: „Благодарю васъ за освѣдомленіе объ насъ и даже извѣстіе объ васъ самихъ. Съ нѣкотораго времени я нахожусь почти въ одномъ и томъ же положеніи; я избавился покуда, благодаря Бога, отъ прежнихъ жестокихъ страданій и укрѣпился нѣсколько духомъ и тѣломъ, но головныя и глазныя боли, иногда по утрамъ довольно жестокия, меня не оставляютъ ни на одинъ часъ“.

Среди всѣхъ невзгодъ и страданій чадолюбивымъ Аксаковымъ несомнѣнно доставляло большое утѣшеніе проявленіе въ младшемъ сынѣ ихъ, Иванѣ, замѣчательнаго поэтического дарованія. Напечатанныя имъ стихотворенія въ Мос-

---

\*) То-есть, Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.



ковскомъ Сборникъ 1846 года обратили на него всеобщее вниманіе. Познакомившись съ этими стихотвореніями, Гоголь писалъ Языкову: „Въ юношѣ видѣнъ талантъ рѣшительный, стремленіе приспособить поэзію къ дѣлу и къ законному вліянію на текущія современныя событія, хотя самъ поэтъ для этого еще не воспитался и, вѣроятно, будетъ долго еще ходить и колесить около, пока не попадетъ на самое дѣло... Жуковский находитъ въ стихахъ Ивана Аксакова много мистическаго и укоряетъ молодыхъ нашихъ поэтовъ въ желаніи блеснуть оригинальностью. Последняго мнѣнія я не раздѣляю. Это направленіе невольное и не есть желаніе блеснуть. У теперешняго молодого человѣка лиризмъ течетъ невольно, потому что есть внутри у него сила, требующая дѣла, алчущая дѣйствовать и только не знающая, гдѣ, какимъ образомъ, на какомъ мѣстѣ“ <sup>271</sup>).

Разбирая *Московский Сборникъ*, Погодинъ сдѣлалъ справедливую оцѣнку молодому писателю. „Въ стихотвореніяхъ И. С. Аксакова“, писалъ онъ, — „очевиденъ талантъ замѣчательный. Это первые опыты, и мы не станемъ хвалить ихъ много, какъ бы намъ того ни хотѣлось. *Самонадѣянность и самолюбіе*—двѣ жестокия болѣзни молодого поколѣнія, и похвалами оно только-что портится, подвигается назадъ, а не впередъ. Мы не станемъ хвалить стихотвореній Аксакова, какъ они ни прекрасны, какъ ни хочется намъ назвать ихъ блестящими надеждами: молодые поэты начинаютъ обыкновенно общими мѣстами, хоть и въ звонкихъ иногда стихахъ, но здѣсь во всякомъ стихотвореніи мы встрѣчаемъ новое подмѣченное движеніе, новое чувство, новый приѣмъ... Но нѣтъ, мы не хотимъ хвалить, а еще менѣе захваливать, и скажемъ только, что опыты молодого человѣка очень хороши“ <sup>272</sup>).

Необходимо теперь познакомиться съ тогдашнимъ міросозерцаніемъ, исповѣдываніемъ вѣры, И. С. Аксакова. Въ одномъ письмѣ къ своему отцу (10 сентября 1846 г.) онъ пишетъ: „Если я не поѣду въ чужіе края, то на будущій годъ отправлюсь пѣшкомъ въ Кіевъ, разумѣется—не для богомолья, но

такъ—ради путешествія и любознательности. Оболенскій \*) даже можетъ вамъ разсказать теперь много замѣчательныхъ вещей про народъ и быть народный“. Говоря про А. О. Смирнову, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу (24 сентября 1846): „Она крѣпче теперь и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи, очень бодра, весела и не скучаетъ, ухватилась за внѣшность христіанства и очень самодовольно опирается на нее, совершенно по женски. Ъздитъ на Калужку, заставила людей ѣсть постное, читаетъ Иннокентія, говорить, что Иннокентій и Филаретъ гораздо снисходительнѣе меня, и вообще теперь она, кажется, вполне довольна мѣркой своего обращенія. Я посидѣлъ у нея съ часъ времени; особеннаго разговора не было и не могло быть, потому что она на всякое слово—сейчасъ отвѣчаетъ Евангеліемъ, Богомъ, вѣрой или какимъ-нибудь правоученіемъ. Къ тому же я вовсе не имѣю намѣренія смущать ея чувство вѣры, потому что это для нея такъ, какъ она его понимаетъ,—единственная отрада. Между тѣмъ, по моимъ понятіямъ, вѣрующій можетъ найти отраду только въ самой *безотрадной жизни*. Впрочемъ этотъ вопросъ очень долгій, о немъ послѣ“.

Въ то же время Аксакова занималъ вопросъ о примиреніи религіи съ искусствомъ. „Меня все это время ужасно тревожилъ и мучилъ вопросъ о примиреніи искусства съ религіею и наводилъ тоску, тягостную и неимоверную... Вопросы этого, разумѣется, я не разрѣшилъ, но какъ-то теперь пересталъ о немъ думать такъ много: этотъ вопросъ есть вопросъ о примиреніи язычества съ христіанствомъ, религіи съ жизнью, словомъ, увлекаетъ далеко“.

Получивъ статское воспитаніе въ Училищѣ Правовѣдѣнія, И. С. Аксаковъ тѣмъ не менѣе уже тогда жаждалъ войны. „Луи-Филиппъ ссорится съ Викторіей: это меня занимаетъ, авось подерутся наконецъ. Давно уже человѣчество утопаетъ въ бездѣйственной мечтательности отъ отсутствія громкихъ, страшныхъ и отрезвляющихъ событій дѣйствительности“.

\*) Князь Юрій Александровичъ, братъ Дмитрія Александровича.

Оставшись доволенъ разборомъ *Московского Сборника*, сдѣланнаго Плетневымъ, Аксаковъ былъ не прочь и самъ участвовать въ *Современникѣ*. „Но меня“, писалъ онъ отцу, — „остановило одно стихотвореніе, не подписанное, помѣщенное въ восьмомъ номерѣ подъ названіемъ: *Отатъ*. Преподлое. Я буду писать Плетневу, благодарить его за *Современникъ* и хочу сказать ему откровенно, что именно меня смущаетъ въ его журналѣ, что мѣшаетъ мнѣ свободно участвовать въ немъ“ <sup>273</sup>).

Что же это за стихотвореніе, которое возбудило такое благородное негодованіе Аксакова? Познакомимся съ нимъ. Въ этомъ стихотвореніи, подъ заглавіемъ *Отатъ*, заключаются между прочимъ слѣдующія строфы:

И думалъ я: пора придеть—  
Грудь переполненная хлынетъ,  
И лавой огненной откинетъ  
Богатыхъ звуковъ водометъ,  
И разольется пѣснь цвѣтная,  
Кипя, и грѣя, и сверкая.  
Въ той пѣсни первая струна  
Вся—Божеству! вся—искупленью!  
И загремѣть псаломъ она,  
Подобно ангельскому пѣнью.  
И грудь, внимая звукъ святой,  
Вскипитъ слезами и мольбой.  
Другихъ двухъ струнъ аккордъ, священный  
Вамъ, вамъ—Отечество и Царь!  
Тебѣ—религій алтары!  
Тебѣ—Властитель полвселенной!  
Для сердца Русскаго давно  
Царь и Отечество—одно и пр. <sup>274</sup>).

Замѣчательно, что Бѣлинскій, встрѣтившись въ Калугѣ у Губернатора съ И. С. Аксаковымъ, писалъ (изъ Одессы 4 іюня 1846 г.) своимъ Московскимъ друзьямъ Западникамъ: „Въ Калугѣ столкнулся я съ Иваномъ Аксаковымъ. Славный юноша! Словенофилъ — а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ Словенофиломъ. Вообще я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между Словенофилами дѣйствительно

могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего“ <sup>275</sup>).

Возлюбленный первенецъ Аксаковыхъ въ это время, оставивъ на время свою диссертацию о Ломоносовѣ, увлекся драматическимъ поприщемъ. Ему вздумалось написать водевиль *Почтовая карета*, который и былъ представленъ на Московскомъ театрѣ 24 апрѣля 1846 года. И. С. Аксаковъ, пріѣхавъ въ Москву на праздники 1845 года съ намѣреніемъ пробыть лишь до 9 января 1846 года, разболѣлся и пробылъ до конца апрѣля съ семьей въ Абрамцовѣ. Полубольнымъ онъ отправился въ Москву, чтобы присутствовать на представленіи вышеупомянутаго водевиля. Вся семья очень безпокоилась за Ивана Сергѣевича, боясь новой простуды, и отецъ писалъ своему сыну: „Много сдѣлалъ я въ жизни моей безразсудныхъ, безумныхъ поступковъ. Но твой отъѣздъ былъ безразсуднѣйшимъ и безумнѣйшимъ. Я никогда не отличался твердостью особенно въ волненіямъ моихъ дѣтей, а теперь, изнуренный болѣзнію и подавленный страшною будущностью, я сталъ еще слабѣе. Ты поступилъ какъ дитя: не пожалѣлъ ни себя, ни насъ...“ Но эта выходка не причинила вреда здоровью смѣльчаку, а нижеслѣдующимъ письмомъ своимъ изъ Москвы онъ успокоилъ семью: „Въ Москву пріѣхалъ я часовъ въ 5. Обрившись и одѣвшись, отправился къ А. О. Смирновой въ наемной каретѣ, безъ человѣка, ибо Ефима стараго не было дома. Смирнову засталъ одну, читающею *Письма Плинія Младшаго*... Предложила мѣсто въ ложѣ... Я сказалъ, что Константинъ не знаетъ о моемъ пріѣздѣ..., и объяснилъ, какая имѣетъ воспослѣдовать сцена: крикъ, обниманіе и пр., вслѣдствіе чего я постараюсь произвести все это въ корридорѣ... Смирнова сказала мнѣ, что Константинъ читалъ ей *Зимнюю Дорогу*..., что Константинъ прекрасно читаетъ... Я сказалъ, что Константинъ читаетъ повелительнымъ тономъ, какъ будто говорить: *это мѣсто хорошо, извольте восхищаться, а не то вы ничего не смыслите*... Пріѣхавъ въ театръ, увидѣлъ я Константина въ бенуарѣ Свер-

бѣвой, но онъ меня не замѣтилъ, и я отправился къ нимъ. Осторожно отворивъ дверь и высунувъ голову, я предупредилъ крикъ Константина и ушелъ въ корридоръ, куда онъ за мной высочилъ, гдѣ и состоялась предугаданная мною сцена. Водевиль самый просидѣлъ я у Свербѣевыхъ, подлѣ Константина. Онъ можетъ быть вполне доволенъ успѣхомъ, да ужъ и доволенъ. Такъ какъ у меня человѣка не было, а извозчикъ былъ весьма глупъ, то мы и не могли добиться кареты и отправились на Константиновыхъ пролеткахъ. Константинъ къ Свербѣевымъ, а я домой... На другой день отправились къ Свербѣевымъ, гдѣ Константинъ долженъ былъ читать свою драму, а Чижевъ—огромнѣйшую статью о нѣмцѣ-живописцѣ Овербекѣ; были и Хомяковы. Чтеніе окончилось въ 2 часа ночи. Мнѣ кругомъ скучно, а при такомъ разлѣдѣ и подавно...“ Языковъ спрашивалъ Погодина: „Былъ ли ты вчера въ театрѣ на триумфѣ К. С. Аксакова?“

На другой день послѣ этого „триумфа“, Оверъ, осмотрѣвъ И. С. Аксакова, разрѣшилъ ему ѣхать въ Калугу. На канунѣ отъѣзда онъ обѣдалъ у Языкова<sup>276</sup>).

Увлеченія театромъ не помѣшали К. С. Аксакову окончить свою диссертацию о Ломоносовѣ. Еще 22 ноября 1845 г. отецъ его писалъ Гоголю: „Константинъ живетъ еще съ нами, на дняхъ будетъ возвращена изъ Факультета его диссертация, которую профессора читали восемь мѣсяцевъ. На слѣдующей недѣлѣ онъ переѣдетъ въ Москву, чтобы печатать и потомъ защищать на диспутѣ свой пятилѣтній трудъ; если онъ не будетъ совершенно искаженъ цензурой Факультета и Попечителя, то Москва услышитъ на диспутѣ много новаго и... мы испытаемъ много волненія и заочнаго безпокойства, ибо не поѣдемъ въ Москву на это время“<sup>277</sup>).

До своего диспута К. С. Аксаковъ свезъ свою диссертацию къ Погодину, и послѣдній подъ 26 декабря 1846 г. записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Привезъ диссертацию Аксаковъ. Есть прекрасныя замѣчанія, но неумѣнье писать совершенное!“

Диссертациєю К. С. Аксакова заинтересовалась и А. О. Смирнова; по ея порученію И. С. Аксаковъ (отъ 14 января 1847 г.) писалъ своему брату: „1) что онъ непремѣнно долженъ побывать здѣсь въ Калугѣ: „мы его перемѣнимъ, сдѣлаемъ терпимѣе и снимемъ съ него Русское платье“, говоритъ она съ необыкновенною дерзостью самонадѣянности, не смотря на всѣ мои увѣренія въ противномъ, 2) что когда онъ кончитъ совсѣмъ диссертацию, напечатаетъ ее, хорошо зачититъ, обрѣетъ бороду и надѣнетъ фракъ, то получить сюрпризъ, очень пріятный подарокъ. Я просилъ выкинуть послѣднее условіе, прибавивъ впрочемъ, что это можетъ случиться и случится вслѣдствіе диспута, на который нельзя явиться въ Русскомъ платьѣ. Подарокъ этотъ (только это по секрету, прошу меня не выдать) состоитъ въ портретѣ рельефномъ Ломоносова, сдѣланномъ изъ кости, превосходная, драгоценная рѣдкость“ <sup>278</sup>).

Когда диссертация К. С. Аксакова была напечатана, съ нею приключилась непріятная исторія. Строгановъ, по свидѣтельству Шевырева, „велѣлъ остановить ее черезъ полицію“ <sup>279</sup>), Дѣйствительно, 3 января 1847 года, Строгановъ писалъ Уварову: „Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1845 года одобрено было къ напечатанію Совѣтомъ Московскаго Университета, писанное на степень магистра, разсужденіе кандидата Аксакова подъ заглавіемъ: *Ломоносовъ въ Исторіи Русской Литературы и Русскаго языка*. Книга эта нынѣ вышла изъ печати, и одинъ экземпляръ оной доставленъ ко мнѣ самимъ авторомъ. По разсмотрѣніи этого сочиненія я нашелъ въ немъ многія мысли и выраженія, отъ страницы 44 до 60, весьма рѣзкія и неприличныя, относящіяся до Петра Великаго и политическихъ его преобразованій. Можетъ быть, учное содержаніе книги и допускаетъ такого рода сужденія о дѣйствіяхъ Великаго Преобразователя, — сужденія, выраженныя въ формѣ не для всякаго доступной, но тѣмъ не менѣе я призналъ ихъ съ своей стороны вовсе неумѣстными и непозволительными въ диссертациі, назначенной для публичнаго диспута; почему

и предписалъ Ректору Московскаго Университета, приостановивъ продажу оной, подвергнуть ее новой цензурѣ Декана 1-го Отдѣленія Филологическаго Факультета и выпустить при этомъ весь отдѣлъ, заключающійся отъ 44 до 60 страницы, а также предложилъ и здѣшнему Цензурному Комитету, чтобы ни въ одномъ изъ выходящихъ въ Москвѣ повременныхъ изданій не дозволить никакихъ разборовъ помянутаго сочиненія. Для предупрежденія же могущихъ дойти до свѣдѣнія вашего сіятельства какихъ-либо извѣстій объ этой книгѣ отъ посторонняго вѣдомства я считаю долгомъ представить при семъ на ваше благоусмотрѣніе одинъ экземпляръ оной, съ тѣмъ, что если вы найдете нужнымъ сдѣлать относительно ея какія-либо новыя распоряженія, то я буду ожидать объ этомъ вашего, милостивый государь, увѣдомленія. Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду направленіе нѣкоторыхъ С.-Петербургскихъ журналовъ, готовыхъ воспользоваться выходомъ подобнаго рода сочиненія, чтобы толковать и объяснять его къ соблазну другихъ, я полагалъ бы съ своей стороны необходимымъ, еслибы противъ этого приняты были такія же мѣры, какія предложены мною Московскому Цензурному Комитету“.

Подобная мѣра очень удивила и огорчила И. С. Аксакова, и онъ писалъ (отъ 11 января 1847 г.) къ своему отцу: „Я не думалъ, чтобъ Графъ могъ поступить такъ! Дѣло гласно и наступаетъ серьезная развязка, такъ что не диспутъ и участь книги меня занимаютъ, а судьба автора“<sup>280</sup>).

Какъ бы то ни было, 6 марта 1847 года въ Московскомъ Университетѣ К. С. Аксаковъ публично защищалъ свою диссертацию. По свидѣтельству очевидцевъ, большая аудиторія въ новомъ зданіи Университета, гдѣ происходилъ диспутъ, была полна. Здѣсь собрался „весь Московскій умъ обоихъ половъ“. Диспутъ былъ живъ и разнообразенъ. Первые возраженія были сдѣланы Шевыревымъ, деканомъ Философскаго Факультета; они касались языка Церковно-Словенскаго. Споръ продолжается былъ Бодянскимъ, отъ котораго, какъ замѣчено, „на диспутахъ всегда услышишь дѣльныя, фактическія и ори-

гинальныя замѣчанія“. Возражали также Катковъ, Буслаевъ и Соловьевъ. Въ заключеніе Шевыревъ выразилъ мнѣніе Факультета и свое собственное о диссертациі, и Аксаковъ возведенъ былъ на степень магистра“ <sup>281</sup>).

Диспутъ, по свидѣтельству Шевырева, „удался хорошо“; но отсутствіе на немъ Погодина было замѣчено. „Аксаковы“, писалъ ему Шевыревъ, — „сѣтовали, что ты ихъ въ этотъ день не вспомнилъ“. Да и сама О. С. Аксакова дружески упрекала его за это: „Вчера не было васъ на диспутъ и никого изъ вашихъ“ <sup>282</sup>).

Не смотря на привѣтъ и ласку, которые встрѣчали И. С. Аксакова въ домѣ Смирновыхъ, онъ разорвалъ и очень рѣзко сношенія съ знаменитою хозяйкою дома. По возвращеніи Аксакова, въ маѣ 1846 года изъ Абрамцова, въ Калугу Смирнова писала его отцу: „Иванъ Сергѣевичъ похудѣлъ по лицу его сдѣлалось еще выразительнѣе и строже; не смотря на то, что онъ жаловался на бездѣйствіе, я увѣрена, что мысль его зрѣла, что и выразилось въ его чертахъ“. Сообщая эти строки (8 мая 1846 г.), С. Т. Аксаковъ писалъ своему сыну: „Что за чудесная женщина А. О. Смирнова! Въ нѣсколькихъ строкахъ ея заключается иногда столько глубины ума, тонкости и простоты, чувства, что я не одинъ разъ былъ очарованъ ея письмами“. Но 15 іюня того же 1846 года И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „У Смирновой есть конекъ: опытность, знаніе людей, учительскій тонъ; я ей это объявилъ вчера. Она меня вовсе не знаетъ, да я объ этомъ не хлопочу; для меня она постоянно очень интересный субъектъ, но совершенно мнѣ чуждый. Я бы желалъ, чтобы вы ее видали также часто, какъ я, слѣдовательно во всѣ ея минуты. Она хороша, когда вы съ ней разговариваете одни и серьезно, но дѣлается подчасъ очень непріятною, когда къ ней подсядетъ какой-нибудь товарищъ Петербургской жизни, и она становится въ прежнія калоши. Да къ тому же она хоть и смѣется надъ Словенскою pruderie, но не скажетъ въ Москвѣ и тысячной доли того, что говорить



здѣсь. Дѣло въ томъ, что вчера я съ нею разбранился по поводу одного ея Петербургскаго пріятеля такъ, какъ только можно разбраниться съ одною Александрой Осиповной. Слово за слово дѣло дошло до того, что она на каждомъ шагу кричала: *вы, милостивый государь, то-то и то-то*. Я ужасно взбѣсился и уже не сидѣлъ, а она безпрестанно вскакивала; досталось тутъ отъ нея и Москвѣ, и всѣмъ. Про васъ она говоритъ, что *вотъ вы примирились съ порядкомъ вещей и не возмущаетесь ничѣмъ подлостями, потому что съта перемѣнить нельзя!* Софизмы на каждомъ шагу, христіанство постоянно за бока; я сказалъ, впрочемъ, что ея примиреніе, терпимость и снисхожденіе—вовсе не слѣдствіе христіанской любви, а слѣдствіе привычекъ и долговременнаго пребыванія въ Петербургѣ. Наконецъ я уѣхалъ...

С. Т. Аксаковъ, всегда преклонявшійся предъ мнѣніями своихъ сыновей, въ отвѣтъ на это письмо сгоряча написалъ слѣдующее: „Сдѣлай милость, разразись поскорѣе громомъ и молніей на ту высокую натуру, которая не умѣетъ стряхнуть съ себя болотной гнили, въ которой она выросла и созрѣла—и успокойся“. Но обсудивъ болѣе хладнокровно, С. Т. Аксаковъ писалъ своему сыну: „Возвращаюсь къ вашей ссорѣ: разумѣется, ты былъ ея причиной своими рѣзкими выходками, ибо сказать, вашъ другъ и пріятель подлець, а особенно женщинѣ, которая не можетъ за это ударить васъ и вызвать на дуэль,—дѣло неизвинительное; на все есть манера... Разумѣется, Александра Осиповна сбѣсилась и наговорила тебѣ того, что она не думаетъ, не чувствуетъ и не признаетъ“...

Какъ бы то ни было И. С. Аксаковъ написалъ по адресу А. О Смирновой съ *громомъ и трескомъ* слѣдующіе стихи:

Вы примиряетесь легко,  
Вы снисходительны не въ мѣру,  
И вашу мудрость, вашу вѣру  
Теперь я понялъ глубоко.  
Вчера восторженной и шумной,  
Тревожной рѣчью порицалъ

Я вашъ отвѣтъ благоразумный  
И примиренье отвергалъ.  
Я былъ смѣшонъ! признайтесь, вами  
Мой страшный гнѣвъ осмѣянъ былъ:  
Вы гордо думали: „съ годами  
Остынетъ юношескій пылъ!  
И выгодъ власти и разврата,  
Какъ всѣ мы будемъ онъ искать,  
И равнодушно созерцать  
Паденье нравственное брата!  
Поймешь и жизнь, и родъ людской,  
Бесплодность съ нимъ борьбы и стычекъ,  
Блаженство тихое привычекъ,  
И успокоится душой“.

Но я, къ горячему моленью  
Прибѣгнувъ, Бога смѣлъ просить:  
Не дай мнѣ опытомъ и лѣтнью  
Тревоги сердца заглушить,  
Пошли мнѣ силъ и помощь Божью,  
Мой духъ усталый воскреси,  
Съ житейской мудростью и логью  
Отъ примиренія спаси.  
Пошли мнѣ бури и ненастья,  
Даруй мучительные дни,—

Но отъ преступнаго безстрастья,

Но отъ покоя сохрани!

Пускай, не старѣя съ годами,  
Мой духъ тяжелыми трудами  
Мужаетъ, крѣпнеть и растетъ,  
И, закалясь въ борьбѣ суровой  
И окрылившись силой новой,  
Направить выше свой полетъ!

А вы? вамъ въ душу недостойно  
Начало порчи залегло,  
И чувство женское покойно  
Развратомъ тѣшиться могло!  
Пускай досада и волненье  
Не возмущаютъ вашу кровь;  
Но, право, ваше примиренье—  
Не христіанская любовь!  
И вы къ покою и прощенью  
Пришли въ развитіи своемъ  
Не сокрушенія путемъ,  
Но... равнодушіемъ и лѣтнью!  
А много, много дивныхъ силъ  
Господь вамъ въ душу положилъ!

И тяжело, и грустно видѣть,  
Что вами все соглашено,  
Что неспособны вы давно  
Негодовать и ненавидѣть!..  
Отнынѣ, всякій свой порывъ  
Глубоко въ душу затаивъ,  
Я неумѣстными рѣчами  
Покоя вамъ не возмущу.  
Сочувствій вашихъ не ищу!  
Живите счастливо, Богъ съ вами <sup>283</sup>).

Когда это стихотвореніе достигло Москвы, то тамъ, благодаря К. С. Аксакову, получило широкое распространеніе. Въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующую записку: „Стихи на Смирнову Аксаковъ прочелъ почти во всеуслышаніе, и слушаютъ Западные“ <sup>284</sup>).

Этимъ распространеніемъ былъ очень недоволенъ авторъ стиховъ, и онъ написалъ своему брату: „Ради Бога, Константинъ, умѣрь твои выраженія о Александрѣ Осиповнѣ. Я не хочу, чтобы считали въ этомъ случаѣ меня за одно съ тобою. Я никогда не позволю себѣ этихъ выраженій открыто и не перестаю цѣнить хорошихъ сторонъ этой женщины. Мнѣ больше жаль ее, но въ душѣ у меня нѣтъ нисколько ни злобы, ни ненависти, и даже негодованіе затихло“.

## ХІІ.

Какъ *Московский Сборникъ* былъ нѣкимъ расколомъ отъ *Москвитянина*, такъ точно одновременно съ нимъ вышедшій *Петербургскій Сборникъ* можно почитать расколомъ отъ *Отечественныхъ Записокъ*. Всѣ главные сотрудники этого журнала, Бѣлинскій и Герценъ, князь В. О. Одоевскій и графъ В. А. Сологубъ, Н. А. Некрасовъ и И. И. Панаевъ, И. С. Тургеневъ помѣстили свои произведенія въ *Петербургскомъ Сборникѣ*.

Всеобщее вниманіе обратилъ на себя помѣщенный въ этомъ *Сборникѣ* романъ Ф. М. Достоевскаго подъ заглавіемъ: *Бѣдные люди*.

Подъ 16 февраля 1846 г. Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Читалъ *Петербургскій Сборникъ*. Достоевскій не безъ достоинствъ и надеждъ. А впрочемъ сколько гадостей“. Горячими поклонниками таланта Достоевскаго въ Москвѣ явились Мельгуновъ и Н. Ф. Павловъ. Первый писалъ Погодину: „Читалъ ли ты *Бѣдныхъ людей*. Если Шевыревъ разбранить ихъ, то я прошу тебя дать мѣстечко моей защитѣ, гдѣ я разберу художественное и общественное значеніе этого романа... Павловъ, окончивъ теперь повѣсть Достоевскаго *Бѣдные люди*, отъ нея въ восторгѣ. Находить, что даже и я не довольно хвалилъ ее“<sup>285</sup>).

Но это предупрежденіе нисколько не удержало Шевырева напечатать въ *Москвитинѣ* обширную рецензію на *Петербургскій Сборникъ* и отнестись къ нему не только съ полнымъ вниманіемъ, но и съ критикою. Приступая къ разбору *Бѣдныхъ людей*, Шевыревъ сказалъ нѣсколько словъ вообще о *Петербургскомъ Сборникѣ*: „Нельзя не удивляться дѣятельности Петербургскихъ литераторовъ! Любо смотрѣть! Давно ли вышла *Физиологія Петербурга* въ двухъ томахъ? И вотъ, вслѣдъ за нею, колоссальный *Петербургскій Сборникъ*, отъ котораго столу тяжело!... Вотъ *Бѣдные люди*, новаго дебютанта въ Литературѣ О. Достоевскаго!... Вотъ повѣсть въ стихахъ Ив. Тургенева!.. Вотъ *Капризы и Раздумье* Искандера! Вотъ *Парижскія увеселенія* И. Панаева! Вотъ новая поэма А. Майкова! Вотъ имена князя Одоевскаго, графа Сологуба, Никитенко!... Какъ ни броситься съ жадностью публикѣ на такое литературное приобрѣтеніе!“

Воздавъ должную похвалу за трудолюбіе участниковъ *Петербургскаго Сборника*, Шевыревъ приступилъ къ разсмотрѣнію *Бѣдныхъ людей*. „Новое имя“ пишетъ Шевыревъ, — „въ Литературѣ—г. Федоръ Достоевскій! Молва журнальная трубила въ большія трубы предъ его появленіемъ. Разсылщики вѣстей о Петербургской Литературѣ ходили по разнымъ Московскимъ гостинымъ и трубили въ маленькія, но звонкія, голосистыя трубочки, что является звѣзда первой

величины на небѣ нашей Литературы“. При разборѣ *Бѣдныхъ людей* Шевыревъ усмотрѣлъ въ этомъ произведеніи филантропическую тенденцію, которая, по его мнѣнію, замѣтна въ немъ „художественной“ стороны. По замѣчанію Шевырева, филантропическая тенденція „забрела въ нашу Словесность изъ чужи: мы становимся и филантропами изъ подражанія, какъ будто не нашлось и у насъ другого болѣе чистаго источника для того, чтобы внести чувство любви къ ближнему въ изящное слово. Литература западная высочайшую христіанскую добродѣтель—любовь къ ближнему—умѣла превратить въ филантропическую тенденцію..., тенденція есть то же, что мода... Превратить любовь къ ближнему—добродѣтель вѣчную—въ филантропическую тенденцію вѣка значитъ на самую добродѣтель наложить моду... Но что дѣлаетъ несчастное искусство, будучи поставлено въ агенты человеколюбивой тенденціи? Оно лишено своей красоты и наполнено только выставкой филантропіи какаго-нибудь писателя, который самъ не только питается, но и роскошничаетъ отъ своихъ бѣдныхъ... Истинно изящное, и безъ филантропическихъ тенденцій, всегда возбуждало любовь къ ближнему... Послѣ всякаго вполнѣ изящнаго впечатлѣнія ваша душа настроена гармонически и растворена къ добру. Къ чему же создавать какое-то особенное филантропическое искусство, когда всякое искусство, изящное само по себѣ, непременно содержитъ въ себѣ сочувствіе и любовь къ человечеству? Заботьтесь объ одномъ только, чтобъ произведеніе ваше было прекрасно: добро отъ него будетъ. Если же вы, отчаяваясь за его красоту, мѣтите имъ на одну филантропію,—тогда вы, вредя изящному, вредите и добродѣтели, а самую любовь къ ближнему подвергаете вкусу моды...“<sup>286</sup>). Съ своей стороны Плетневъ писалъ Жуковскому: „Вѣрно вамъ пришлетъ Сологубъ *Петербургскій Сборникъ*. Тамъ есть Достоевскаго романъ *Бѣдные люди*. Отъ него наши Некрасовцы, печатающіеся въ альманахѣ какаго-то Некрасова, безъ ума и говорятъ, что теперь смерть и Гоголю, и всѣмъ. Но я пока не думаю этого“.

Самъ Бѣлинскій, восторженно встрѣтившій первый романъ Достоевскаго, не дальше какъ черезъ годъ (20 ноября 1847) вотъ что писалъ П. В. Анненкову о другомъ произведеніи того же автора: „Его повѣсть до того пошла, глупа и бездарна, что на основаніи ея начала ничего нельзя развить. Герой — какой-то нервическій... какъ ни взглянуть на него героиня, такъ и хлопнется въ обморокъ. Право!“ Въ другомъ письмѣ, писанномъ за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, Бѣлинскій еще рѣзче выражается о произведеніяхъ Достоевскаго: „Достоевскій написалъ еще повѣсть *Хозяйка* — ерунда страшная! Въ ней онъ хотѣлъ помирить Марлинскаго и Гофмана, подболтавши немного Гоголя. Въ провинціи его терпѣть не могутъ, въ столицѣ отзываются враждебно даже о *Бѣдныхъ людяхъ*. Надулись же мы, другъ мой, съ Достоевскимъ геніемъ!.. Достоевскій убѣжденъ глубоко, что все человѣчество завидуетъ ему и преслѣдуетъ его!“ Въ это время и И. С. Аксаковъ не увлекался Достоевскимъ. „*Отечественныя Записки*“, писалъ онъ своему отцу (15 декабря 1845 г.), — „нашли новую звѣзду, какого-то Достоевскаго, котораго ставятъ чуть ли не выше Гоголя, находя въ Гоголѣ много Словенофильскаго духа“<sup>287</sup>).

Отъ произведенія Достоевскаго переходя къ *Помѣщику* И. С. Тургенева, Шевыревъ между прочимъ замѣчаетъ: „Г. Тургеневъ отличается не столько талантомъ, сколько смѣлостью. Послѣ Гоголевской галереи помѣщиковъ онъ взялся за помѣщика въ томъ же родѣ!... Содержаніе пусто; надобенъ талантъ Пушкина, чтобы наполнить жизнью искусства такую пустоту содержанія! Но у г. Тургенева, если и нѣтъ таланта Пушкина, то есть въ замѣну Русская смѣлость. Говоря объ этой повѣсти, еще недосугъ до эстетической критики. Тутъ дѣло критики самой первоначальной, надобно говорить о слогѣ, о смыслѣ, о Русскомъ языкѣ... Языкъ Русскій ему не дается въ стихахъ... Не говорятъ по Русски: *козлиныхъ башмаковъ*, а *козловыхъ башмаковъ*“...

Переходя къ прозаической повѣсти Тургенева: *Три пор-*

трета, Шевыревъ говорить, что въ этой повѣсти „есть лицо, какого мы еще до сихъ поръ въ повѣстахъ не встрѣчали. Это малодушный подлецъ, Василій Ивановичъ Лучиновъ, который крадетъ деньги изъ мѣшковъ скупого отца, потомъ обнажаетъ на него шпагу, далѣе обольщаетъ дѣвушку“, и пр.

О произведеніяхъ Некрасова, помѣщенныхъ въ *Петербургскомъ Сборникѣ*, Шевыревъ замѣтилъ: „Вотъ еще другой изобразитель дѣйствительности. Онъ думаетъ быть Орловскимъ въ Поэзіи; онъ рисуетъ вамъ въ стихахъ извозчика, пьяницу... Всего замѣчательнѣе его подражаніе колыбельной пѣсни Лермонтова“, которую Шевыревъ ставитъ „въ заключеніе всей этой галлерей новыхъ произведеній нашей изящной Словесности“. Вотъ что современная мать поетъ сыну у его колыбели:

Спи, мострѣль, пока безвредный,  
Баюшки баю...  
По губерніи раздался  
Всѣмъ отрадный кликъ;  
Твой отецъ подъ судъ попался—  
Явныхъ тѣмъ уликъ!  
Но отецъ твой плутъ извѣстный—и пр.

„Побывавъ на время“, говорить Шевыревъ, — „во всей этой современной такъ называемой изящной литературѣ, выйдешь изъ нея, признаюсь, какъ отуманенный, и невольно скажешь: что я? что со мною? гдѣ я былъ? что читалъ? гдѣ это сочиняютъ?“

Въ *Петербургскомъ Сборникѣ* мы встрѣчаемся также со статьею А. В. Никитенко *О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ*. Разсмотрѣвъ эту статью, Шевыревъ въ заключеніи обращается къ автору съ такими словами: „Вы говорите: я прежде человекъ, а потомъ Русскій, — да развѣ Русскій, по вашему мнѣнію, не человекъ? Сколько самодушествомъ личной гордости въ вашихъ словахъ! Въмѣсто того, чтобы повторять и плодить эту фразу, которую первый сказалъ давнымъ давно Карамзинъ да и отрекся отъ нея, испутивъ ея грѣхъ *Исторію Государства Россійскаго*,—старай-

тесъ быть истинно Русскимъ—и повѣрьте, что вы тогда только не уроните въ грязь и человѣка“.

Самъ Бѣлинскій въ *Петербургскомъ Сборникѣ* напечаталъ свои *Мысли и Записки о Русской Литературѣ*. Само собою разумѣется, что Шевыревъ не оставилъ безъ вниманія и эту статью. „Бѣлинскій“, писалъ онъ,—„принадлежить, безъ сомнѣнія, къ числу замѣчательныхъ дѣятелей въ Русской Современной Словесности. Онъ представляетъ значительный плодъ нашего журнальнаго образованія: *Телеграфъ*, *Телескопъ* и *Молва* были его Геттингеномъ, Іеною и Берлиномъ. Въ нихъ онъ созрѣлъ для того, чтобы воздвигнуть новый журнальный университетъ. Онъ внесъ въ критику нашу—народную стихію, которой до него еще не бывало: эту стихію можно назвать *удальствомъ*. Онъ принялъ на себя тяжкую и великую задачу: онъ пытался сдвигать съ пьедесталовъ всѣ наши литературныя славы, которыя до тѣхъ поръ стояли во всеобщемъ, безпрекословномъ уваженіи: Ломоносова, Державина, Карамзина и другихъ... Потребна была личная рѣшимость, чтобы подойти безтрепетно къ этимъ монументальнымъ людямъ... и окричать Карамзина устарѣлымъ,—а объ исполненскомъ трудѣ его сказать: Россія до Петра была младенцемъ, а кто же пишетъ Исторію младенца?“

По случаю разбора *Петербургскаго Сборника* Шевыревъ счелъ не лишнимъ „схватить нѣкоторыя общія черты“ тогдашней современной Литературы въ той ея части, которая наиболѣе тогда дѣйствовала, и изъ среды которой явился *Петербургскій Сборникъ*. „Первая черта ея“, пишетъ онъ,—„копированіе дѣйствительности... Всегда, когда искусство человѣческое теряетъ даръ Божій, а слѣдовательно и душу, всегда оно съ отчаянія пускается въ беллетристику, которой такъ жаждаетъ Бѣлинскій. На первомъ планѣ у нея тенденція филантропическая. Другая тенденція дѣятельнѣйшей Литературы Русской есть тенденція *соціальная*... Третья тенденція есть тенденція *цивилизующая*“ <sup>288</sup>).

Вслѣдъ за *Петербургскимъ Сборникомъ* изъ той же среды



вышелъ въ Петербургъ цѣлый сборникъ пасквилей по адресу Шевырева, Погодина и Словенофиловъ. Этотъ сборникъ носитъ заглавіе *Первое Апрель*. Въ статьѣ *Пушкинъ и Ящерицы* осмѣяны Шевыревъ. „Въ Германіи“, сказано тамъ, — „какой-то профессоръ Словесности, знающій Русскій языкъ, человѣкъ весьма ограниченный, презираемый своими слушателями, но очень много о себѣ думающій, однажды на лекціи, разговорившись о богатствѣ и благозвучіи Русскаго языка, привелъ между прочимъ слѣдующій примѣръ: когда я былъ въ Римѣ, сказалъ имъ пискливымъ, визгливо-пронзительнымъ дискантомъ, двѣ знакомыя дамы предложили мнѣ отправиться съ ними въ Колизей. Торжественность мѣста, освященнаго столькими воспоминаніями, такъ сказать, вдохновила меня, и я прочелъ моимъ спутницамъ одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній Пушкина. Каково же было мое удивленіе — когда я увидѣлъ, что нѣсколько ящерицъ и жаба выползли изъ норокъ своихъ и, съ видимымъ наслажденіемъ слушая эту дивную гармонію, помавали головками“. Самый злой пасквиль подъ заглавіемъ: *Какъ одинъ господинъ приобрѣлъ себѣ за безцѣнокъ домъ въ полтора ста тысячъ* былъ направленъ противъ Погодина. Въ альманахѣ этомъ осмѣяны и Словенофилы. „Одинъ Словенофилъ“, читаемъ мы, — „то-есть, человѣкъ, видящій національность въ охабняхъ, мурмолахъ, лаптахъ и рѣдьѣ, и думающій, что, одѣваясь въ Европейскую одежду, нельзя въ то же время остаться Русскимъ, нарядился въ красную шелковую рубаху съ косымъ воротникомъ, въ сапоги съ висточками, въ терликъ и мурмолку и пошелъ въ такомъ нарядѣ показывать себя по городу. На поворотѣ изъ одной улицы въ другую обогналъ онъ двухъ бабъ и услышалъ слѣдующій разговоръ: вона! вона! гляди-ко, matka! сказала одна изъ нихъ, осмотрѣвъ его съ дикимъ любопытствомъ: гляди-ко, какъ нарядился! должно быть настранецъ какой-нибудь!“

Само собою разумѣется, что *Отечественныя Записки* съ полнымъ сочувствіемъ отнесли къ этому альманаху и вышеупомянутыя пасквили перепечатали на своихъ страницахъ <sup>289</sup>).

По поводу этой выходки Западниковъ Погодинъ подъ 13 апрѣля 1846 года записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Былъ Шевыревъ. Разсказывалъ, что на меня напечатана пасквиль. Минуты съ четыре билось огорченное сердце, а потомъ перестало. Не буду и читать“.

„Я надѣюсь“, писалъ Погодину Мельгуновъ,— „что ты въ *Москвитянинъ* не будешь отвѣчать ни прямо, ни косвенно, на мерзости *Перваго апрѣля*, перепечатанныя въ *Отечественныхъ Запискахъ*. *Москвитянинъ* съ тремястами подписчиковъ недостаточенъ для отраженія клеветы, напечатанной въ четырехъ тысячахъ экземпляровъ. Бой слишкомъ не равенъ. Надо отвѣчать *глубокимъ молчаніемъ*, чтобъ не было ни малѣйшаго намека, не то, пожалуй, скажутъ, что ты узналъ себя. При этомъ я долженъ передать тебѣ: 1) протестъ *здѣшнихъ* Западныхъ противъ статейки *Отечественныхъ Записокъ*. Герценъ мнѣ тотчасъ же по полученіи книжки написалъ слѣдующее: *Я долженъ заявить громкій протестъ съ своей стороны противъ дрянной выходки о Погодинѣ, и пр. Чортъ знаетъ, кто это писалъ; все это и глупо, и скверно*. Подобный же отзывъ слышалъ я и отъ другихъ. 2) Мнѣ это лично непріятно еще и потому, что почти вслѣдъ за выходкой напечатана моя статейка, да еще съ выноской, мною не авторизированной, въ которой говорятъ, что эта статья направлена противъ твоей. Я вотъ что намѣренъ сдѣлать. Шевыревъ, въ разборѣ статьи Никитенко, косвенно касается одного главнаго положенія моей статьи *Объ искусствѣ жить*; и сегодня, въ разговорѣ со мною, самъ призналъ это положеніе однимъ изъ самыхъ коренныхъ въ спорѣ между *нашимъ* Востокомъ и Западомъ. Поэтому мнѣ пришло сейчасъ въ голову написать полемическую статью *Объ отношеніи народнаго къ общечеловѣческому*, для помѣщенія въ слѣдующемъ номерѣ *Отечественныхъ Записокъ*; но прибавивъ къ ней, въ видѣ вступленія, сильную выходку противъ литературныхъ сплетней, клеветъ и личностей. Статья, надѣюсь, будетъ принята; и въ такомъ случаѣ я поставлю непремѣннымъ усло-

віємъ, щобъ она была напечатана вполнѣ“. Самъ Герценъ писалъ Краевскому: „Долженъ сказать правду, что удивился анекдоту о Ведринѣ и о Словенофилѣ: кто ихъ писалъ, не знаю, но это за предѣлъ всякой деликатности“<sup>290</sup>).

Дѣйствительно, въ *Отечественныхъ Запискахъ* напечатана была статья Мельгунова, подѣ заглавіемъ: *Объ искусствѣ жить* (посвящается *Юношѣ*). Редакція къ этой статьѣ сдѣлала слѣдующее примѣчаніе: „Поводомъ къ этой статьѣ, сколько намъ вѣжется, послужила статья г. Погодина: *Къ Юношѣ*. По крайней мѣрѣ эти слова утѣшенія и надежды, доставленныя намъ неизвѣстнымъ авторомъ, могутъ служить прекраснымъ отвѣтомъ на мрачный, проникнутый горькимъ разочарованіемъ диопрамбъ г. Погодина“<sup>291</sup>). Но обѣщанной статьи Мельгунова *Объ отношеніи народнаго къ общечеловѣческому* мы не нашли въ *Отечественныхъ Запискахъ* того времени.

Въ противоположность *Отечественнымъ Запискамъ Современникъ* объ альманахѣ *Первое Апрѣля* отзывался такъ: „Ужели есть жалкіе читатели, которымъ понравится собраніе столь грязныхъ и отвратительныхъ изчадіи праздности? Это послѣдняя ступень, до которой могла упасть въ Литературѣ шутка, если только не преступленіе называть шуткою то, чего нельзя назвать публично собственнымъ его именемъ“<sup>292</sup>).

## XLII.

*Петербургскій Сборникъ* былъ для *Отечественныхъ Записокъ* предвѣстникомъ того, что близится время, когда вліятельная часть сотрудниковъ отъ нихъ отдѣлится и образуетъ новый въ Петербургѣ органъ западнаго ученія.

Въ 1846 году „утомленный, измученный, усталый“, Бѣлинскій разошелся съ редакторомъ *Отечественныхъ Записокъ* А. А. Краевскимъ, который, по собственному признанію Бѣлинскаго, заставлялъ его писать „даже объ азбукахъ, пѣсен-

никахъ, гадалыхъ книжкахъ, поздравительныхъ стихахъ швейцаровъ клуба, о клопахъ, наконецъ о нѣмецкихъ книгахъ, въ которыхъ“, по собственнымъ словамъ Бѣлинскаго, „я не умѣлъ даже перевести заглавіе; писалъ объ архитектурѣ, о которой я столько же знаю, сколько объ искусствѣ плести кружева. Онъ меня сдѣлалъ не только чернорабочимъ, водовозной лошадыю, но и шарлатаномъ, который судить о томъ, въ чемъ не смыслить ни малѣйшаго толку“. Такимъ образомъ, выбившись изъ силъ, Бѣлинскій принужденъ былъ разстаться съ *Отечественными Записками*.

Узнавши объ этомъ, Герценъ писалъ Краевскому (25 февраля 1846 года): „Что у васъ въ Питерѣ за чудеса творятся? Министерскій кризисъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*! Бѣлинскій пишетъ, что онъ усталъ, что онъ чувствуетъ себя не въ силахъ работать срочно и что оставляетъ *Отечественныя Записки* рѣшительно. Это сконфузило здѣсь всѣхъ любителей *Отечественныхъ Записокъ* и поклонниковъ Бѣлинскаго. Пусть бы онъ ѣхалъ на лѣто въ Москву, въ Крымъ, а потомъ бы опять. Потеря такого сотрудника равняется Ватерло, послѣ котораго Наполеонъ, да безъ арміи. Критика *Отечественныхъ Записокъ* составляла ихъ соль: рѣзкій характеръ ея дѣйствовалъ сильно на читателей; она-то и пострадаетъ, ибо *imitatorum resus* Бѣлинскаго все-таки *resus*. Наконецъ, я одного не понимаю: если у васъ нѣтъ съ нимъ другого разрыва, то кто же мѣшаетъ ему не постоянно участвовать. Впрочемъ, что я пустился въ семейныя дѣла *Отечественныхъ Записокъ*; право я имѣю на это одно тѣмъ, что мнѣ искренно хотѣлось бы, чтобъ *Отечественныя Записки* продолжались попрежнему, а вѣдь безъ Бѣлинскаго охладѣютъ многіе вкладчики, или труды ихъ раздробятся. За симъ, желая какъ можно скорѣе услышать о вторичномъ вступленіи Роберта Пилъ въ критическое министерство *Отечественныхъ Записокъ*, остаюсь душею преданный“.

Но нашъ Робертъ Пиль не вернулся вторично въ критическое министерство *Отечественныхъ Записокъ*, а расчи-

тывая на своихъ Московскихъ друзей и въ томъ числѣ на Герцена, мечталъ устроиться поспокойнѣе. Увлеченный успѣхомъ двухъ Сборниковъ: *Физиологія Петербурга* и *Петербургскаго Сборника*, изданныхъ въ 1845—1846 годахъ Н. А. Некрасовымъ, Бѣлинскій, по свидѣтельству А. Н. Пыпина, задумалъ самъ издать подобный же сборникъ, который долженъ былъ на первое время, по оставленіи *Отечественныхъ Записокъ*, дать ему помѣщеніе для работы и вмѣстѣ нѣкоторыя средства. По обширности имѣвшагося въ виду матеріала Бѣлинскій предполагалъ назвать его *Левіаѳаномъ*. Мысль Бѣлинскаго нашла себѣ сочувствіе и въ Петербургскихъ, и въ Московскихъ его друзьяхъ, такъ изъ Москвы ему писали, что Герценъ хочетъ дать ему повѣсть, и предложили *Письма объ Испаніи Боткина*. Но мрачныя мысли овладѣли Бѣлинскимъ. „Ахъ, братцы“, писалъ онъ, — „плохо мое здоровье — бѣда! Иногда, знаете, лѣзетъ въ голову всякая дрянь, напримѣръ, какъ страшно оставить жену и дочь безъ куска хлѣба и пр. Не могу поворотиться на стулѣ, чтобы не задохнуться отъ истощенія. Полгода, даже четыре мѣсяца за границую, и, можетъ быть, я лѣтъ на пятью или болѣе опять пошелъ бы какъ ни въ чемъ не бывало. Бѣдность не порокъ, а хуже порока. Бѣднякъ подлець, который долженъ самъ себя презирать, какъ парія, не имѣющаго права даже на солнечный свѣтъ. Журнальная работа и Петербургскій климатъ докончили меня“. Но, не смотря на сочувствіе друзей Бѣлинскаго, изданіе сборника не осуществилось. Московскіе друзья не знали радоваться или нѣтъ, что Бѣлинскій оставилъ *Отечественныя Записки*. У нихъ было естественное опасеніе, что Бѣлинскій можетъ остаться безъ средствъ; на это Бѣлинскій писалъ: „Отвѣчаю утвердительно: *радоваться*; дѣло идетъ не только о здоровьѣ, о жизни, но умѣ моемъ. Вѣдь я тупѣю со дня на день. Памяти нѣтъ, въ головѣ хаосъ отъ Русскихъ книгъ: а въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и казенная манера писать обо всемъ. Отдыхъ и свобода... дадутъ мнѣ возможность такъ хорошо писать,

какъ мнѣ дано. А что я могу прожить и безъ *Отечественныхъ Записокъ*... это кажется ясно... У меня есть теперь имя, а это много“.

„По видимому“, пишетъ А. Н. Пыпинъ,—„Московскіе друзья придумывали, что бы сдѣлать для поправленія здоровья Бѣлинскаго“ и предложили ему отправиться на нѣсколько мѣсяцевъ на югъ Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ. Эта мысль Бѣлинскому понравилась: Щепкинъ былъ его старинный и близкій другъ. „Я ѣду“, писалъ Бѣлинскій,—„не только за здоровьемъ, но и за жизнію. Дорога, воздухъ, климатъ, лѣнь, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это съ такимъ спутникомъ какъ М. С. Щепкинымъ, да я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровѣе... Что будетъ, то и будетъ!... Нашему брату *подлецу*,—то-есть, нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довѣриться случаю и положиться на авось...“

Поѣздка наконецъ устроилась. Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Петербурга... Московскіе друзья приняли его съ восторгомъ. Изъ Москвы, вмѣстѣ съ Щепкинымъ, Бѣлинскій выѣхалъ 16 мая. Проводы были необыкновенно веселы и шумны. Герценъ писалъ Краевскому:

„Вѣроятно, вы слышали о *réception monstre*, которое здѣсь было сдѣлано Бѣлинскому: огромный обѣдъ у Шевалье и дюжина обѣдовъ дружескихъ, потомъ проводы за восемнадцать верстъ. Вамъ должно быть весьма пріятно это признаніе *Отечественныхъ Записокъ* въ главномъ дѣятелѣ ихъ“.

По пути въ Крымъ наши путешественники заѣхали въ Калугу. „Пребываніе въ Калугѣ“, писалъ Бѣлинскій,—„для меня останется вѣчно памятнымъ по одному знакомству, котораго я не предполагалъ, выѣзжая изъ Питера. Въ Москвѣ М. С. Щепкинъ познакомился съ А. О. Смирновой. Свѣтъ не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не въ обрѣзъ. Она большая пріятельница Гоголя, и Щепкинъ былъ отъ нея безъ ума. Такъ какъ она пригласила его въ Калугу, гдѣ мужъ ея губернаторомъ, то

я еще въ Москвѣ предвидѣлъ, что познакомлюсь съ нею. Когда мы пріѣхали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качествѣ хвоста толстой кометы, то-есть, М. С. Щепкина, я былъ приглашенъ губернаторомъ на ужинъ... Потомъ мы у него обѣдали. Во вторникъ пріѣхала она, а въ четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная женщина—я безъ ума отъ нея...<sup>293</sup>).

Такъ отнеслась къ несчастному страдальцу *свѣтская Петербургская дама*, которой обличителемъ явился, какъ мы уже знаемъ, И. С. Аксаковъ:

А вы? вамъ въ душу недостойно  
Начало порчи залегло.

Но эта *порченная душа* сохранила на столько христіанской любви, что могла согрѣть и оживить душу ближняго, *скорбящую и озлобленную*. Но какъ черство и бездушно отнесся къ несчастному Бѣлинскому самъ И. С. Аксаковъ, о томъ свидѣлствуютъ его письма къ отцу:

„Былъ Щепкинъ... Я хотѣлъ было позвать его къ себѣ обѣдать, да онъ притащитъ Бѣлинскаго, а этого мнѣ не хочется... Въ четыре отправился къ Смирнову, который звалъ меня и Щепкина: кромѣ меня, Щепкина и Бѣлинскаго, никого не было. Бѣлинскій ужасно перемѣнился въ усахъ; всѣ, увидавши такую фигуру, обратились ко мнѣ съ вопросомъ: кто это? Я всѣмъ отгвѣчалъ сначала, что не вѣдаю. Потомъ, когда узналъ его, объяснялъ, что это Бѣлинскій, но они въ свою очередь не понимали, что это такое. Онъ рассказывалъ много про Сологуба, Краевскаго и другихъ, но вообще и онъ, и я въ разговорѣ, который былъ общій, старались избѣгать вопросовъ, касавшихся до убѣжденій, хотя Н. М. Смирновъ, самъ того не зная, безпрестанно поднималъ ихъ. О Константиинѣ, о Москвѣ, о всѣхъ нашихъ вообще ни слова, но онъ спрашивалъ о васъ, милый Отесинька... Щепкинъ всюду, даже безъ приглашенія, тащитъ за собою Бѣлинскаго, даже не рекомендуетъ его. Такъ провелъ онъ его къ Губернатору, гдѣ я съ

нимъ встрѣтился. Долго не узнавалъ я его и не зналъ, кто это. Наконецъ, встрѣтившись съ нимъ лицомъ къ лицу, я при всѣхъ почти вскрикнулъ отъ удивленія. Онъ очень похудѣлъ, съ усами, безпрестанно кашляетъ, такъ что страшно на него глядѣть. Мы раскланялись, онъ старался завести разговоръ, но я обхожусь съ нимъ сухо и холодно. Впрочемъ онъ не позволилъ себѣ ни одного намека не только на насъ, но даже на Москву; Петербургъ ругаетъ и тонкимъ образомъ давалъ мнѣ знать, что ему хотѣлось бы имѣть со мною искренній разговоръ и во многомъ оправдаться; но я не пускаюсь въ этотъ разговоръ“. Въ другомъ письмѣ Авсакова читаемъ: „У меня Щепкинъ до сихъ поръ не былъ и умно сдѣлалъ, потому что онъ съ Бѣлинскимъ не разлучается нигдѣ и таскаетъ его всюду; нынче мы обѣдаемъ опять вмѣстѣ у Смирнова, и французу повару заказаны вареники. Въ среду вечеромъ былъ я у А. О. Смирновой, сначала одинъ, потомъ вскорѣ пріѣхалъ Щепкинъ и Бѣлинскій.

„Я не успѣлъ хорошенько предупредить А. О. Смирнову, а потому она часто задавала Бѣлинскому неудобные вопросы, напримѣръ, когда рѣчь зашла о Гоголѣ: „Развѣ вы хвалите Гоголя, вѣдь вы его браните въ своемъ журналѣ?“, и Бѣлинскій, сидѣвшій впрочемъ очень смирно, скромно и даже робко, кажется, этимъ очень обижался... Подъ самый конецъ вечера дошло дѣло до Жоржъ-Зандъ, и когда Бѣлинскій сталъ объ ней говорить, какъ о нѣкоемъ божествѣ, то Смирнова вспыхнула, да вѣдь какъ! Начала кричать на Бѣлинскаго довольно рѣзко и доказывать весь вредъ и всю степень разврата Жоржъ-Зандъ. Бѣлинскій возражалъ довольно горячо, но Смирнова хотя и говорила умно, но по женски... и нападала между прочимъ на ея *плебейское сердце*! Я впрочемъ исправлялъ ея нѣкоторые ошибки и промахи и объяснилъ имъ, что она нападаетъ не на плебейское сердце, а на одностороннюю завистливую ненависть, которая преслѣдуетъ не принципъ, не начало... Почти всякій плебей на Западѣ готовъ сдѣлаться утѣсителемъ-аристократомъ, что и видно было въ комедіи,



разыгранной Французской революціей... Слышалъ однако отъ Щепкина, что Бѣлинскому Смирнова такъ понравилась... Еслибъ Бѣлинскій не относился такъ къ Константину, я все-таки радъ былъ бы говорить съ нимъ, какъ все-таки съ человекомъ живымъ,—но когда онъ изъяслялъ желаніе побесѣдовать со мною о многомъ, я отвѣчалъ ему довольно сухо, что я считаю это лишнимъ, что его убѣжденія мнѣ извѣстны, и что мы другъ друга не переубѣдимъ“.

Только тогда нѣсколько смягчился И. С. Аксаковъ, когда отецъ его возмущился тѣмъ, что А. О. Смирнова принимала одинаково въ своемъ домѣ Щепкина и Бѣлинскаго и его сына. По этому поводу И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Вы, кажется, ужасно оскорблены тѣмъ, что Смирнова *допустила ихъ наравнѣ со мною въ свое общество, удостоила Бѣлинскаго разговора* и т. п. Мнѣ странны эти слова. Во-первыхъ, она властна допускать въ свое общество кого ей угодно.—Деспотизмъ въ отношеніяхъ дружбы и знакомства, который играетъ такую важную роль у Константина, противенъ моей натурѣ... Во-вторыхъ, почему не удостоить Бѣлинскаго разговоромъ,—его, человека умнаго и талантливаго... Вся жизнь Бѣлинскаго, вся дѣятельность этого человека прошла не въ пошлыхъ интересахъ. Убѣжденія свои мѣнялъ онъ часто, но всегда дѣйствовалъ по увлеченію и убѣжденію. Я не люблю Бѣлинскаго, но надо быть беспристрастнымъ. Къ тому же Бѣлинскій, по крайней мѣрѣ при мнѣ, не сказалъ ни одного дерзкаго слова, ни одного неприличнаго выраженія, ни одной цинической выходки или шутки“. Далѣе И. С. Аксаковъ пишетъ своему отцу, что онъ выразилъ А. О. Смирновой свое мнѣніе о Бѣлинскомъ и Щепкинѣ. Она сказала мнѣ, что объявила Бѣлинскому, что вполне раздѣляетъ убѣжденія К. С. Аксакова. Ей очень весело, очень пріятно принадлежать къ какой-то партіи. Узнавъ, что Бѣлинскій женатъ, имѣетъ ребенка и что онъ атеистъ, она почувствовала къ нему сильное состраданіе; въ самомъ дѣлѣ онъ жалокъ, да еще боленъ“<sup>294</sup>). Что Бѣлинскій былъ

нѣжнымъ отцомъ, видно изъ одного его письма изъ Севастополя: „Не могу смотрѣть безъ тоски на маленькихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ“.

Вмѣстѣ съ Щепкинымъ Бѣлинскій посѣтилъ Воронежъ, Курскъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Одессу, Николаевъ, Херсонъ, Симферополь, Севастополь. „Вѣхавши въ Крымскія степи“, писалъ Бѣлинскій своимъ Московскимъ друзьямъ, — „мы увидѣли три новыя для насъ націи; Крымскихъ барановъ, Крымскихъ верблюдовъ и Крымскихъ Татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колѣна одного племени, такъ много общаго въ ихъ фізіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно Словенофилами. Но увы! въ лицѣ Татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патріархальное Словенофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію носятъ на головѣ длинныя волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Кошихина—своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся больше чумы, и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, то-есть, татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣ ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто.— Словомъ принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблещать что-нибудь поинтереснѣе того, что блещетъ Шевыревъ и вся почтенная Словенофильская братія“ <sup>295</sup>).

Въ Петербургъ Бѣлинскій вернулся поздною осенью, и 20 ноября 1846 года В. П. Боткинъ писалъ П. В. Анненкову: „Бѣлинскаго нашелъ я въ тяжеломъ положеніи; онъ такъ худъ здоровьемъ, что страшно за него, и, разумѣется, главною причиною его семейныя обстоятельства. Именно, смотря на такихъ людей, какъ Бѣлинскій, надо научиться терпимости и снисхожденію къ слабости и непослѣдовательности человѣческой, къ страннымъ противорѣчіямъ человѣ-

ческой природы. У меня однакожь нѣтъ ни одного слова, ни одного чувства, которое бы осуждало Бѣлинскаго. Нѣтъ, въ этой желчной слабости, вѣчной младенческой беззащитности, въ этой непрерывной борьбѣ теоретическаго, добросовѣстнаго ума съ вопіющимъ и оскорбленнымъ сердцемъ Бѣлинскій возбуждаетъ во мнѣ не только самое задушевное участіе, но привязанность, которая сильнѣе моей прежней къ нему привязанности. И потомъ—этотъ человѣкъ такъ видимо близится къ смерти! Я не могу безъ страданія слышать его удушающаго кашля. И посмотрите, какія дикія странности могутъ укладываться въ человѣкѣ! Когда Бѣлинскій врозь съ женой, онъ скучаетъ по ней и пишетъ къ ней самыя нѣжныя письма: такъ было въ поѣздку его въ Крымъ. Но эта поѣздка была для него скучна до крайности, онъ долженъ былъ съ Щепкинымъ проживать въ городахъ и городишкахъ. Щепкинъ ѣздилъ играть въ театрахъ, и Бѣлинскій воротился съ здоровьемъ, еще болѣе разстроеннымъ. Ему надобно другого рода поѣздка,—поѣздка, гдѣ онъ забылъ бы свое положеніе и себя, шесть мѣсяцевъ такой жизни воскресили бы его“ <sup>296</sup>).

---

### XLIII.

15 ноября 1845 года Грановскій писалъ къ своимъ роднымъ: „Я опять хочу читать публичный курсъ, хотя начинаю чувствовать нѣкоторую усталость. Я дорого бы далъ за годъ, проведенный въ деревнѣ, но это вполнѣ невозможное дѣло“. И, дѣйствительно, въ концѣ 1845 года Грановскій началъ чтеніе своего публичнаго курса сравнительной Исторіей Франціи и Англіи. По свидѣтельству біографа Грановскаго, „лучшее общество Москвы снова наполнило аудиторію, гдѣ снова наслаждалось сильною и задушевною рѣчью Грановскаго. Чтенія продолжались и заключились съ прежнимъ успѣхомъ, съ прежнимъ восторгомъ слушателей“ <sup>297</sup>).

Выслушаемъ теперь постороннихъ свидѣтелей. Еще до начала курса Герценъ писалъ Краевскому: „Курсъ Грановскаго начинается въ будущую среду; вездѣ толки, крики, рго и сонга; партія рубашка сверхъ портокъ приумолкла. Шевыревъ выжилъ изъ ума, а Погодинъ изъ тѣла“. Въ позднѣйшихъ же воспоминаніяхъ Герцена мы находимъ слѣдующее: „Грановскій началъ новый публичный курсъ. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая рѣчь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлеченія, которое было въ первомъ курсѣ, не доставало, будто онъ усталъ, или какая-то мысль, съ которой онъ еще не сладилъ, занимала его, мѣшала ему...“ Но въ письмѣ къ Краевскому тотъ же Герценъ писалъ: „А ужъ успѣхъ! Удивительно, да и онъ какъ еще развился съ прошлаго года“<sup>298</sup>). Хомяковъ прямо писалъ Ю. О. Самарину: „Курсъ Грановскаго слабъ, и публика холодновата. Изложеніе мѣстами очень хорошо и доходитъ до высокаго художественнаго эффекта своей необычайной простотой; но изслѣдованій никакихъ, мыслей никакихъ, кромѣ взятыхъ на прокатъ, и отъ этого все вмѣстѣ какъ-то вяло и безжизненно“<sup>299</sup>).

Но это нисколько не помѣшало по окончаніи публичнаго курса учредитьсѣ обѣду въ честь Грановскаго, на которомъ опять соединились Западники съ Словенофилами. 26 апрѣля 1846 года И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: „Константинъ участвуетъ въ обѣдѣ въ честь Грановскаго вмѣстѣ съ Хомяковымъ и всей аудиторіей“<sup>300</sup>). Но и этотъ обѣдъ не примирилъ Запада съ Востокомъ. Одинъ изъ участниковъ обѣда Хомяковъ писалъ Самарину: „У насъ все похоже на застой, и только замѣтно, что Западъ свирѣпѣетъ болѣе и болѣе каждый день противъ лицъ Восточныхъ. На обѣдѣ у Грановскаго Герценъ учинилъ въ этомъ явное признаніе въ отношеніи ко мнѣ, объявивъ, что любитъ меня за то, что я имѣю *сочувствіе ненависти*. Забавно то, что они предполагають въ насъ свои чувства; еще забавнѣе, что признаются“<sup>301</sup>).

Самъ же Грановскій среди все-таки успѣха своихъ чте-

ній съ грустью писалъ роднымъ: „Въ жизни не все розы. Подчасъ мнѣ трудно одолѣть мрачныя мысли, осаждающія меня. Пока я здоровъ, я могу бороться съ судьбою. Но я работаю слишкомъ много, и при этомъ мое здоровье не можетъ устоять долго. Къ тому же такая работа истощаетъ мои физическія и нравственныя силы, не сообщая мнѣ удовольствия самимъ собою. Теперь я работаю, потому что мнѣ нужны двѣнадцать тысячъ въ годъ, и потому что я самъ долженъ зарабатывать ихъ; отецъ мой не далъ мнѣ и тысячи рублей со времени моей женитьбы. Труды занимаютъ у меня отъ десяти до одиннадцати часовъ въ сутки. Такимъ образомъ можно сдѣлать много, но хорошаго мало. Мои публичныя лекціи доставили мнѣ въ нынѣшній годъ болѣе семи тысячъ рублей, но онѣ мнѣ стоили, можетъ быть, нѣсколько лѣтъ моей жизни. И затѣмъ лучшіе мои годы уходятъ. Мои планы литературныхъ трудовъ не исполняются за недостаткомъ времени. Если когда-нибудь досугъ дастся мнѣ—я боюсь, что онъ найдетъ меня неспособнымъ пользоваться имъ, надломленнымъ лихорадочною и мелочною дѣятельностью. Мелкіе успѣхи не прельщаютъ меня болѣе. Они льстили мнѣ, когда я былъ моложе. Теперь я признаю за собою право стремиться къ чему-нибудь лучшему. Вы прочли здѣсь цѣлую исповѣдь“<sup>302</sup>).

Между тѣмъ, вскорѣ послѣ публичныхъ лекцій, между Грановскимъ и Герценомъ произошла крупная размолвка. Объ этомъ важномъ событіи въ Исторіи Западнаго направленія въ Россіи въ *Сочиненіяхъ* Герцена сохранилось краснорѣчивое описаніе, которымъ мы съ удовольствіемъ и воспользуемся.

Лѣто 1845 и 1846 годовъ Герценъ съ своимъ семействомъ и друзьями жилъ въ Соколовѣ. Повѣствованіе свое Герценъ начинаетъ великолѣпнымъ описаніемъ этой Подмосковной. „Соколово“, пишетъ онъ, — „красивый уголокъ Московскаго уѣзда, верстъ двадцать отъ города по Тверской дорогѣ. Мы занимали тамъ небольшой господскій домъ, стоявшій почти совсѣмъ въ паркѣ, который спускался подъ гору къ небольшой рѣчкѣ. Съ одной стороны его стлалось наше Великороссійское

море нивъ, съ другой открывался пространный видъ въ даль. Нѣкогда принадлежало графамъ Румянцовымъ. Богатые помѣщики, аристократы XVIII столѣтія, при всѣхъ своихъ недостаткахъ были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своимъ наслѣдникамъ. Старинныя, барскія села и усадьбы по Москвѣ рѣкѣ необыкновенно хороши, особенно тѣ, въ которыхъ два послѣднихъ поколѣнія ничего не поправляли и не переименовывали“. Вотъ среди этого привлекательнаго уединенія и произошла размолвка между друзьями. „Прекрасно проводили мы тамъ время“, продолжаетъ Герценъ. „Никакое серьезное облако не застигало лѣтнаго неба; много работая и много гуляя, жили мы въ нашемъ паркѣ. Кетчеръ меньше ворчалъ, хотя иной разъ и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупныя рѣчи съ сильной мимикой. Грановскій и Е. О. Коршъ прїѣзжали почти всякую недѣлю въ субботу и оставались ночевать, а иногда уѣзжали уже въ понедѣльникъ. М. С. Щепкинъ нанималъ неподалеку другую дачу. Часто приходилъ и онъ пѣшкомъ, въ шляпѣ съ широкими полями и въ бѣломъ сюртукѣ, какъ Наполеонъ въ Лонгвудѣ, съ кузовкомъ набранныхъ грибовъ, шутилъ, пѣлъ Малороссійскія пѣсни и морилъ со смѣху своими разсказами...

„Сидя дружной кучкой въ углу парка подъ большой липой мы бывало жалѣли объ одномъ, объ отсутствіи Огарева. Ну, вотъ и онъ, и въ 1846 году мы ѣдемъ снова въ Соколово и онъ съ нами. Грановскій нанялъ на все лѣто небольшой флигель; Огаревъ помѣстился въ антресоляхъ надъ управляющимъ, флотскимъ маіоромъ безъ уха.

„И со всѣмъ этимъ, черезъ двѣ-три недѣли, неопредѣленное чувство мнѣ подсказало, что наша villeggiatura не удалась, и что этого не поправишь. Кому не случалось готовить пиръ заранѣе, радуясь будущему веселью друзей, и вотъ они являются; все идетъ хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идетъ, когда не чувствуешь, какъ кровь по жиламъ

течетъ, и не думаешь, какъ легкія поднимаются. Если каждый толчекъ отдастся, того и смотри, явится боль, диссонансъ, съ которымъ не всегдаладишь.

„Первое время послѣ пріѣзда друзей прошло въ чаду и одушевленіи праздниковъ; не успѣли они миновать, какъ занемогъ мой отецъ. Его кончина, хлопоты, дѣла—все это отвлекло отъ теоретическихъ вопросовъ. Въ тиши Соколовской жизни наши разногласія должны были придти къ слову.

„Огаревъ, не видѣвшій меня года четыре, былъ совершенно въ томъ направленіи, какъ я. Мы разными путями прошли тѣ же пространства и очутились вмѣстѣ. Къ намъ присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взглядъ подавляющіе выводы наши не пугали ее, она имъ придавала особый поэтический отгѣнокъ.

„Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладовъ. Разъ мы обѣдали въ саду. Грановскій читалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* одно изъ моихъ писемъ объ изученіи природы (помнится—объ *энциклопедистахъ*) и былъ имъ чрезвычайно доволенъ.

— „Да что же тебѣ нравится?—спросилъ я его, неужели одна наружная отдѣлка? Съ внутреннимъ смысломъ его ты не можешь быть согласенъ.

— „Твои мнѣнія,—отвѣтилъ Грановскій, точно также историческій моментъ въ наукѣ мышленія, какъ и самыя писанія энциклопедистовъ. Мнѣ въ твоихъ статьяхъ нравится то, что мнѣ нравится въ Вольтерѣ или Дидро; они живо, рѣзко затрогиваютъ такіе вопросы, которые будятъ человѣка и толкаютъ впередъ, ну а во всѣ односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться. Развѣ кто-нибудь говоритъ теперь о теоріяхъ Вольтера?

— „Неужели же нѣтъ никакого мѣрила истины, и мы будемъ людей только для того, чтобы имъ сказать пустяки?

„Такъ продолжался довольно долго разговоръ. Наконецъ я замѣтилъ, что развитіе науки, что современное состояніе ея обязываетъ насъ къ принятію кой-какихъ истинъ, независимо

отъ того хотимъ мы или нѣтъ; что однажды узанныя, онѣ перестаютъ быть историческими загадками, а дѣлаются просто неопровержимыми фактами сознанія, какъ Евклидовы теоремы, какъ Кеплеровы законы, какъ нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи.

— „Все это такъ мало обязательно, — возразилъ Грановскій, слегка измѣнившись въ лицѣ, что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа, съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ его не надобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобы поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо.

— „Славно было бы жить на свѣтѣ, — сказалъ я, — еслибы все то, что кому-нибудь надобно, сейчасъ и было бы тутъ какъ тутъ, на манеръ сказокъ.

— „Подумай, Грановскій, — прибавилъ Огаревъ, — вѣдь это своего рода бѣгство отъ несчастія.

— „Послушайте, — возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго, — вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить объ этихъ предметахъ, мало ли есть вещей занимательныхъ, и о которыхъ толковать гораздо полезнѣе и пріятнѣе.

— „Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ! — сказалъ я, чувствуя холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы всѣ взглянули другъ на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы всѣ слишкомъ любили другъ друга, чтобы по выраженію лицъ не вымѣрить вполне, что произошло. Ни слова больше, споръ не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дѣти, всегда выручающія въ этихъ случаяхъ, послужили предметомъ разговора, и обѣдъ кончился такъ мирно, что посторонній, который бы пришелъ послѣ разговора, не замѣтилъ бы ничего....

„Послѣ обѣда Огаревъ бросился на своего Кортика, а сѣлъ на выслужившую свои лѣта жандармскую влячу, мы выѣхали въ поле. Точно кто-нибудь близкій умеръ, такъ было тяжело; до сихъ поръ Огаревъ и я мы думали, что сладимъ, что



дружба наша сдуется разногласіе какъ пыль; но тонъ и смыслъ послѣднихъ словъ открывалъ между нами даль, которой мы не предполагали. Такъ вотъ она межа—предѣлъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ цензура! Всю дорогу ни Огаревъ, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой, и оба въ одинъ голосъ сказали: „Итакъ видно—мы опять одни?“

„Огаревъ взялъ тройку и поѣхалъ въ Москву, на дорогѣ сочинилъ онъ небольшое стихотвореніе, изъ котораго я взялъ эпиграфъ:

..... Ни скорбь, ни скука  
Не утомать меня. Всему свой срокъ:  
Я правды рѣчь велъ строго въ дружномъ кругѣ,  
Ушли друзья въ младенческомъ испугѣ.  
И онъ ушелъ—котораго какъ брата  
Иль какъ сестру такъ нѣжно я любилъ!  
.....  
Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,  
Объ истинѣ глася неутомимо,  
И пусть мечты и люди идутъ мимо....

„Съ Грановскимъ я встрѣтился на другой день какъ ни въ чемъ не бывало, дурной признакъ съ обѣихъ сторонъ. Боль еще была такъ жива, что не имѣла словъ; а нѣмая боль, не имѣющая исхода, какъ мышь середь тишины, перегрызаетъ нить за нитью...

„Дня черезъ два я былъ въ Москвѣ. Мы поѣхали съ Огаревымъ къ Е. Θ. Коршу. Онъ былъ какъ-то предупредительно любезенъ, грустно милъ съ нами, будто ему насъ жаль. Да что же это такое, точно мы сдѣлали какое-нибудь преступленіе? Я прямо спросилъ Корша, слышалъ ли онъ о нашемъ спорѣ? Онъ слышалъ; говорилъ, что мы всѣ слишкомъ погорячились изъ-за отвлеченныхъ предметовъ; доказывалъ, что того идеальнаго тождества между людьми и мнѣніями, о которыхъ мы мечтаемъ, вовсе нѣтъ; что симпатіи людей, какъ химическое сродство, имѣютъ свой предѣлъ насыщенія, черезъ который переходить нельзя, не наткнувшись на тѣ стороны, въ которыхъ люди становятся вновь посторонними. Онъ

шутить надъ нашей молодостью, пережившей тридцать лѣтъ, и все это онъ говорилъ съ дружбой, съ деликатностью, видно было, что и ему не легко.

„Мы разстались мирно. Я, немного краснѣя, думалъ о моей „наивности“, а потомъ, когда остался одинъ и легъ въ постель, мнѣ показалось, что еще кусокъ сердца отхватили — ловко, безъ боли, но его нѣтъ!

„Далѣе не было ничего..., а только все подернулось тѣмъ-то темнымъ и матовымъ; непринужденность, полный abandon исчезли въ нашемъ кругѣ. Мы сдѣлались внимательнѣе, обходили нѣкоторые вопросы, то-есть, дѣйствительно отступили на „границу химическаго сродства“ — и все это приносило тѣмъ больше горечи и боли, что мы искренно и много любили другъ друга.

„Можетъ, я былъ слишкомъ нетерпимъ, заносчиво спорилъ, колко отвѣчалъ... можетъ быть..., но въ сущности, я и теперь убѣжденъ, что въ дѣйствительно близкихъ отношеніяхъ тожество религіи *необходимо*, тожество въ главныхъ теоретическихъ убѣжденіяхъ. Разумѣется, одного теоретическаго согласія недостаточно для близкой связи между людьми; я былъ ближе по симпатіи, на примѣръ, съ И. В. Кирѣевскимъ, чѣмъ съ многими изъ нашихъ. Еще больше, можно быть хорошимъ и вѣрнымъ *союзникомъ*, сходясь въ какомъ-нибудь опредѣленномъ дѣлѣ и расходясь въ мнѣніяхъ; въ такомъ отношеніи я былъ съ людьми, которыхъ безконечно уважалъ, не соглашаясь во многомъ съ ними, на примѣръ, съ Маццини, съ Ворцелемъ. Я не искалъ ихъ убѣдить, ни они меня, у насъ довольно было общаго, чтобы идти не ссорясь по одной дорогѣ. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнію, нельзя было такъ глубоко расходиться.

„Еще бы у насъ было неминуемое дѣло, которое бы насъ совершенно поглощало, а то вѣдь собственно вся наша дѣятельность была въ сферѣ мышленія и пропаганды нашихъ убѣжденій... Какія же могли быть уступки на этомъ полѣ?

„Трещина, которую дала одна изъ стѣнъ нашей дружеской

храмины, увеличилась, какъ всегда бываетъ, мелочами, недоразумѣніями, ненужной откровенностью тамъ, гдѣ лучше было бы молчать, — и вреднымъ молчаніемъ, тамъ, гдѣ необходимо было говорить; эти вещи рѣшаетъ одинъ тактъ сердца, тутъ нѣтъ правилъ.

„Вскорѣ и въ дамскомъ обществѣ все разладилось... На ту минуту нечего было дѣлать. Ъхать, ѡхать вдаль, надолго, непремѣнно ѡхать! Но ѡхать было не легко. На ногахъ была веревка полицейскаго надзора и безъ разрѣшенія Николая — заграничнаго паспорта мнѣ выдать было не возможно“.

По поводу этого разрыва Боткинъ писалъ Краевскому: „Если я чему-либо радъ былъ по пріѣздѣ въ Москву, такъ это произведенію реакціи между моими Московскими друзьями; и я доволенъ тѣмъ, что успѣлъ въ этой реакціи, тѣмъ болѣе доволенъ, что я поступалъ добросовѣстно и вслѣдствіе моего чувства и убѣжденія. Герценъ, не смотря на свой блестящій и глубокой умъ, въ дѣлахъ житейскихъ чистый ребенокъ, безпрестанно поддающійся то тому, то другому вліянію. Вы не можете себѣ представить, какъ въ этомъ человѣкѣ слабъ характеръ и сколько лежитъ на немъ Московской, буршекозной жизни. Авось, съ этой стороны путешествіе исправитъ его“ <sup>303</sup>).

Когда слухъ объ этой размолвкѣ дошелъ до Словенофиловъ, то Хомяковъ писалъ Самарину: „Слышно, что Грановскій какъ будто начинаетъ сомнѣваться въ правотѣ своего направленія, и что Соловьевъ почти готовъ поворотить оглобли. Еслибы эти двое отстали, что же у нихъ останется? Затѣмъ здѣсь нѣтъ ни васъ, ни Попова? Надобно и непремѣнно надобно вырабатывать всѣ мысли, всѣ стороны жизни, всю науку; надобно передѣлать все наше просвѣщеніе, и только общій, постоянный и горячій трудъ можетъ это сдѣлать; насъ очень мало, и мы всѣ врознь“ <sup>304</sup>).

Размолвка Герцена съ Грановскимъ несомнѣнно послужила сближенію послѣдняго съ Словенофилами. 30 ноября 1846 года И. С. Аксаковъ писалъ своему брату Константи-

ну: „Радуюсь сближенію Грановскаго, воображаю, какъ ты шумѣлъ и кричалъ весь ужинъ и потому очень пріятно провелъ время“<sup>306</sup>). Того же времени у насъ имѣется слѣдующая весьма дружелюбная записочка Грановскаго къ Погодину: „Сейчасъ ѣду въ Университетъ и потому не могу доставить вамъ подробной справки. Пишу, что знаю навѣрно: въ десятой книгѣ *Hist. Franc.* Григорій называетъ себя по имени при исчисленіи Пастырей Турскихъ и говоритъ объ ученыхъ трудахъ своихъ“.

Но разрывъ и затѣмъ разлука Грановскаго съ своими друзьями, Герценомъ и Огаревымъ, дорого обошлись Грановскому. По свидѣтельству его біографа, „въ душѣ Грановскаго стало такъ пусто, такъ страшно; Грановскій старался забыться, уйти отъ самого себя. Въ это-то время онъ въ первый разъ поддался наслѣдственной страсти къ азартной игрѣ, которую онъ сдерживалъ, съ которою боролся, но которая съ этихъ дней не рѣдко одолѣвала его... Много часовъ, много бессонныхъ ночей проводилъ онъ надъ карточнымъ столомъ... Странно и больно было видѣть благородный образъ Грановскаго, его блѣдное, усталое, печальное лицо, лихорадочно блестящія глаза за карточнымъ столомъ, среди тусклѣющаго освѣщенія поздней ночи... Онъ игралъ торопливо, разсѣяннo, ронялъ карты, не умѣлъ ихъ скрыть отъ зоркихъ глазъ партнера... Онъ былъ почти всегда въ проигрышѣ и платилъ, дѣлая долги... Истомленный, измученный волненіемъ и бессонною ночью, Грановскій покидалъ игру съ внутренними упреками самому себѣ, и однакоже въ слѣдующую ночь печальный игрокъ являлся опять за роковымъ зеленымъ столомъ... Около этого печальнаго для Грановскаго времени онъ былъ избранъ въ члены Англійскаго клуба въ Москвѣ. Никогда никакой успѣхъ сына не казался столь лестнымъ сердцу старика отца Грановскаго, какъ это избраніе...“

Въ это время среди Московскихъ Западниковъ произошла прискорбная исторія, благодаря которой Московскій Университетъ едва не лишился одного изъ лучшихъ своихъ пред-

ставителей, это — профессора Римскаго права Никиты Ивановича Крылова. Извѣстно, что Крыловъ былъ женатъ на Любови Оедоровнѣ Коршъ. Возникшимъ между супругами несогласіямъ силились придать чуть не общественное значеніе. Между тѣмъ до того супруги жили, кажется, мирно и согласнo. Въ бумагахъ Погодина сохранилась записочка къ нему Крылова, отъ 13 сентября 1845 года, слѣдующаго содержания: „Еще при жизни многоуважаемой мною супруги вашей Елизаветы Васильевны, 15 сентября \*), вы по обыкновенію посѣщали Крыловыхъ, жившихъ за Москвой рѣкой. Эти же Крыловы, оставаясь въ своихъ отношеніяхъ неизмѣнными къ вамъ, просятъ васъ покорнѣйше пожаловать къ нимъ въ субботу (15 сентября) вечеромъ, гдѣ вы встрѣтите своихъ друзей, навѣрно обрадуете ихъ и насъ своимъ присутствіемъ. Явимъ мы теперь противъ *Ивановскаго монастыря*, на Солянкѣ, въ Ивановскомъ переулкѣ, въ домѣ Часовниковой. Яркое освѣщеніе уважетъ вамъ мѣсто вельможнаго моего жительства“ <sup>306</sup>).

Ровно черезъ годъ послѣ этого мирнаго приглашенія четоу Крыловыхъ на именины Погодинъ, будучи въ чужихъ краяхъ, получаетъ отъ Шевырева слѣдующее извѣстіе: „У насъ въ Университетѣ была непріятная исторія: отъ Крылова бѣжала его несчастная жена, страдавшая, какъ говорятъ ея родные, четыре года отъ его жестокаго обращенія. Дѣло огласилось на весь городъ и было предметомъ толковъ въ теченіе мѣсяца, даже и теперь не замолкло. Горько было слушать рассказы объ ужасныхъ подробностяхъ. Крыловъ еще не смѣетъ показаться въ Университетѣ. Попечитель еще не возвращался“.

Въ томъ же письмѣ Шевырева мы читаемъ: „Буслаевъ — женился, я былъ у него на свадьбѣ. Пили особенное мое здоровье. Лѣвая партія не была. Но откуда ни взялся Галаховъ, который изъ третьей комнаты явился ко мнѣ съ бока-

---

\*) День именинъ Н. И. Крылова.

ломъ и пилъ мое здоровье, какъ говоритъ, отъ искренней души“.

Такъ какъ на сестрѣ жены Крылова Антонинѣ Оедоровнѣ, рожденной Коршѣ, былъ женатъ Кавелинъ, то въ семейныя дѣла Крылова вмѣшались не только Кавелинъ и Е. О. Коршѣ, но и друзья ихъ, Рѣдинъ и Грановскій. По возвращеніи графа С. Г. Строганова въ Москву они подали ему просьбу, въ которой требовали удаленія Крылова изъ Университета. В. П. Ботвинъ писалъ Краевскому: „Дѣло Крылова должно рѣшиться на дняхъ. И представьте: можетъ статься, рѣшится выходомъ Грановскаго, Кавелина, Рѣдина и Корша! Но графъ Строгановъ самъ попалъ въ тенета, желая все уладить и думая, что Крыловъ самъ перейдетъ въ другой Университетъ. Послѣ завтра ѣдутъ къ Строганову съ рѣшительнымъ объясненіемъ“. Въ слѣдующемъ письмѣ Ботвинъ сообщаетъ Краевскому: „Дѣло о Крыловѣ кончилось,—онъ переходитъ въ Харьковъ“<sup>307</sup>).

Но у Крылова не все были враги, нашлись и доброжелатели: въ числѣ послѣднихъ оказался и Погодинъ. Самъ Крыловъ пріѣзжалъ и „разсказывалъ ему свою исторію“. Выѣстъ съ тѣмъ профессоръ Иванъ Петровичъ Матюшенковъ „подтвердилъ“ Погодину, что „Крыловъ жилъ съ женою прекрасно, и что *мutila ее шайка*. Объясненіе о взяткахъ. Что онъ долженъ былъ перенести“. Встрѣтившись съ Бодянскимъ въ типографіи, Погодинъ долго „проговорилъ“ съ нимъ „о козняхъ западной партіи“<sup>308</sup>).

Какъ бы въ подтвержденіе показаній И. П. Матюшенкова и предположеній Погодина вотъ что писалъ самъ Ботвинъ Анненкову: „Возвращаюсь опять къ исторіи Крылова: она лежитъ у меня на сердцѣ и возмущаетъ его. Представьте! Жена Крылова недавно писала къ нему безпрестанно письма, умоляла взять ее къ себѣ, обвиняетъ Кавелина въ томъ, что онъ увезъ ее отъ мужа, даже грозитъ имъ; объ этихъ письмахъ Строгановъ намекалъ даже Кавелину, прибавивши: „Ваша сестра дурно дѣлаетъ“. Всѣмъ этимъ Крыловъ, разу-

мѣется, пользуется; онъ въ свое оправданіе показывалъ письма жены Строганову; Строгановъ настаиваетъ на своемъ. И вотъ изъ какой женщины вышла вся эта исторія, которая принудить Грановскаго, Кавелина и Рѣдвина оставить Университетъ. У меня сердце надрывается отъ досады. Но ради Бога, пусть объ этомъ Герценъ ни слова не говоритъ въ своихъ письмахъ въ Москву, то-есть, объ этихъ письмахъ жены Крылова къ мужу<sup>309</sup>).

Но Шевыревъ въ этомъ случаѣ держалъ сторону Западниковъ и писалъ Погодину: „Ректоръ выражаетъ свое мнѣніе открыто противъ Крылова. Мнѣ досадно, что ты поддаешься его вліянію. Что ни говори, а онъ опозоренъ въ общественномъ мнѣніи: пока онъ не умоется, служить на такомъ мѣстѣ онъ не долженъ“. Не взирая на это, Погодинъ принялъ въ судьбѣ Крылова самое энергическое участіе. Сохранилось слѣдующее письмо къ нему Крылова: „Не говорите Грудеву объ моихъ дѣлахъ. И письмо ваше къ Министру считаю теперь излишнимъ. Во мнѣ вдругъ родилось столько довѣрія къ Промыслу о своей невинности, что не нужно прибѣгать къ чужой помощи. Сохраните тайну нашихъ разговоровъ. Вы всегда отзывались моей душѣ прямо и глубоко“<sup>310</sup>). Но письмо Погодина „къ Министру“ оказалось все-таки не „излишнимъ“, что явствуетъ изъ сообщенія Боткина Краевскому: „У насъ на счетъ Крылова слухи замолкли было, тѣмъ болѣе что дѣло казалось рѣшеннымъ: Крыловъ, по настоянію Строганова, подалъ просьбу о переводѣ его въ Харьковъ. А вотъ вы теперь пишете,—чего мы всѣ боялись,—что Уваровъ не согласился на это. Не знаю, что изъ этого теперь будетъ. Надобно сказать, что Строгановъ въ этомъ дѣлѣ сдѣлалъ отъ себя все возможное. Но теперь?.. Но мысль о выходѣ отсюда Грановскаго и Кавелина просто возмутительна, да тогда и Коршъ долженъ оставить *Московскія Вѣдомости*. Чортъ знаетъ что будетъ“<sup>311</sup>).

По свидѣтельству Д. А. Корсакова: „Вскорѣ послѣ женитьбы у Кавелина произошли семейныя недоразумѣнія съ

Н. И. Крыловымъ. Эти недоразумѣнія приняли такой характеръ, что для Кавелина являлось немислимымъ оставаться на службѣ въ одномъ учрежденіи съ Крыловымъ. Сначала Крыловъ хотѣлъ было перейти въ другой Университетъ, но затѣмъ обстоятельства сложились такъ, что подать отставку долженъ былъ Кавелинъ<sup>\*)</sup>.

Въ это же время между Погодинымъ и Е. О. Коршемъ происходила непріятная переписка. Изъ этой переписки сохранилось слѣдующее письмо Корша (отъ 4 апрѣля 1846 г.): „Такъ какъ исполненіе неожиданнаго требованія вашего совершенно противорѣчитъ порядку отчетности, установленной съ 1843 года, то Контора типографіи не можетъ ничего сдѣлать для васъ безъ разрѣшенія высшаго начальства. Благодарите войти съ бумагою въ Контору или, еще лучше, прямо въ Правленіе Университета; Правленіе представить Попечителю, и если онъ возьметъ на свою отвѣтственность удовлетвореніе вашего, къ сожалѣнію, слишкомъ запоздалаго требованія, то вы получите деньги за *извѣстіе о поребеніи князя Д. В. Голицына* \*) и за статейку *объ А. И. Тургеневѣ* \*\*), но ни въ какомъ случаѣ не можете получить ихъ за статью *о Тредіаковскомъ* \*\*\*), которая, какъ вамъ извѣстно, перепечатана изъ *Словаря*, вами издаваемого, и перепечатана единственно для того, чтобы обратить на эту книгу вниманіе Публики, а вовсе не потому, чтобы это было нужно для нашей газеты. Сказать между нами, съ васъ слѣдовало бы взыскать за помѣщеніе этой статьи въ *Московскіхъ Вѣдомостяхъ*, такъ какъ съ нею соединено было *объявленіе* объ издаваемой вами книгѣ. Что жъ касается до небольшихъ статей *о кончинѣ князя Голицына и Тургенева*, то я также долженъ предупредить васъ откровенно, что никогда еще не платили мы за такого рода статьи, которыя пишутся, обыкновенно по доброй волѣ и безъ всякаго денежнаго вознагражденія, людьми, близкими

---

\*) См. *Жизнь и Труды М. П. Погодина*, т. VII, стр. 344—349.

\*\*) См. выше, стр. 244—248.

\*\*\*) См. выше, стр. 139—142.



къ почившимъ братьямъ“<sup>313</sup>). Черезъ нѣсколько дней по полученіи этого письма Погодинъ отправился къ Коршу и по поводу этого посѣщенія записалъ въ своемъ *Дневникѣ*:

„Къ Коршу, издателю газеты: спитъ. Опять къ Коршу. Нѣтъ дома. Неужели онъ меня не принимаетъ?“<sup>314</sup>).

„Рыцари, храбrivшіеся выходомъ изъ Университета“, писалъ Давыдовъ Погодину, — „по видимому, остановились! Здѣсь лишь только ожидали представленія объ ихъ намѣреніи, чтобы уволить желающихъ, по пословицѣ: *мѣсто свято пусто не будетъ*. О переводѣ Крылова нѣтъ и рѣчи, потому что нѣтъ никакой для этого причины. Какое дѣтство!“<sup>315</sup>)

Эти строки касаются только одного Грановскаго. Онъ, лѣтомъ 1848 года, поѣхалъ самъ въ Петербургъ, чтобы хлопотать о своей отставкѣ. Въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія встрѣтились препятствія. Онъ долженъ былъ отслужить еще два года Правительству за казенныя издержки на его пребываніе за границей. Товарищи его, Рѣдкинъ и Кавелинъ, получили отставку; ему было любезно отказано въ ней. Графъ С. С. Уваровъ сказалъ ему, что дорого цѣнить его дѣятельность и радуется своему праву удержать его на службѣ. Возвратясь изъ Петербурга, Грановскій писалъ кузинѣ: „*Me voilà donc obligé de rester à Moscou au moins deux ans, à moins d'un concours inespéré de circonstances favorables. Il faut me résigner encore une fois*“<sup>316</sup>).

По поводу пріѣзда Грановскаго въ Петербургъ И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: „Изъ затѣявшихъ кутерьму съ Крыловымъ одинъ Грановскій образумился: пріѣхалъ въ Петербургъ, объяснилъ дѣло, послушался графа Сергія Семеновича и преспокойно возвратился въ первобытное состояніе. Остальные рыцари остались въ дуракахъ. Притомъ Грановскій почитается представителемъ новобранцевъ Московскаго Университета, а С. П. Шевыревъ представителемъ прежнихъ доморощенныхъ университетскихъ. Надобно и тѣхъ, и другихъ обласкать“.

Разставшись съ Московскимъ Университетомъ, К. Д. Ка-

велинъ переселился въ Петербургъ и пожелалъ тамъ занять кеедру Исторіи Русскаго Права въ Императорскомъ Училищѣ Правовѣдѣнія. Но это желаніе его, къ сожалѣнію, не исполнилось. На вопросъ, предложенный Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Георгіевичемъ Ольденбургскимъ графу С. С. Уварову: „Заслуживаетъ ли Кавелинъ довѣрія, по своему образу мыслей и нравственнымъ качествамъ и можетъ ли онъ съ благонадежностію вступить въ званіе наставника молодыхъ людей“, Уваровъ обратился съ запросомъ къ попечителю Московскаго Учебнаго округа Голохвастову, послѣдній (14 мая 1849 г.) далъ такой отзывъ: „Бывшаго адъюнкта Московскаго Университета магистра Кавелина я зналъ, когда онъ былъ еще студентомъ съ хорошей стороны относительно его прилежанія и способностей, равнымъ образомъ и какъ преподавателя дѣятельнаго и усерднаго, но судя по образу мыслей и направленію, которыя выражалъ онъ впослѣдствіи какъ въ своихъ сочиненіяхъ, напечатанныхъ большею частию въ С.-Петербургскихъ журналахъ, такъ и въ частныхъ бесѣдахъ, что извѣстно мнѣ отъ городского начальства, то съ этой стороны я не могу рекомендовать его въ настоящее время, подѣ свою отвѣтственность въ наставники молодыхъ людей въ Училище Правовѣдѣнія“.

Вслѣдъ за Кавелинымъ оставилъ редакторство *Московскихъ Вѣдомостей* и Е. О. Коршъ. Его мѣсто занялъ одинъ изъ сотрудниковъ Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ Дмитріевъ. Этимъ назначеніемъ былъ недоволенъ Погодинъ, но И. И. Давыдовъ писалъ ему: „Опредѣленіе Дмитріева послѣдовало по представленію Попечителя. Развѣ можно отказывать въ подобныхъ случаяхъ. Впрочемъ, тутъ, какъ и вездѣ, не иностранные языки нужны, а голова и сердце. Что особеннаго для *Вѣдомостей* сдѣлалъ Коршъ съ знаніемъ иностранныхъ языковъ?“<sup>317</sup>) „Jus Romanum“, читаемъ въ письмѣ Хомякова А. Н. Попову, — „одержалъ, какъ кажется, полную побѣду, и я этому бы очень радовался, еслибы уче-

ный не былъ такой ужасный взяточникъ "<sup>318</sup>). Самъ же *Ius Romanus* писалъ Погодину: „*Христосъ рождается: славите*. Поздравляю васъ съ радостнымъ праздникомъ и желаю вамъ всѣхъ духовныхъ благъ отъ Господа. У насъ сегодня предъ отъѣздомъ своимъ обѣдаетъ знаменитый Русскій хирургъ Пироговъ. Съ нимъ же будутъ обѣдать и многіе другіе. Рассматривая васъ какъ холостяка, просимъ васъ откусать у насъ хлѣбъ-соли и принять участіе въ бесѣдѣ. Да не смущается совѣсть ваша: будутъ здѣсь многіе семейные люди "<sup>319</sup>).

---

#### XLIV.

Въ 1846 году Погодинъ выпустилъ въ свѣтъ свои *Историко-Критическіе отрывки* и въ предисловіи заявилъ: „Предлагаю публикѣ собраніе моихъ разсужденій о разныхъ предметахъ Русской Исторіи, разсѣянныхъ по журналамъ, въ томъ видѣ, какъ они первоначально были напечатаны. Я благоразсудилъ присоединить къ нимъ изъ выходящихъ теперь полныхъ моихъ изслѣдованій два разсужденія о формации Государства и параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западныхъ Государствъ, касательно начала, потому что они, заключая выводы, могутъ быть любопытными для большинства публики“. Въ заключеніи своего предисловія Погодинъ ставитъ на видъ и слѣдующее: „Читатели увидятъ здѣсь нѣкоторыя историческія мысли, встрѣчавшіяся имъ, можетъ быть, у другихъ авторовъ. Въ свое время я не отыскивалъ правъ литературной собственности, вѣря Русской пословицѣ: *на всякую долю Богъ посылаетъ*; а теперь выставленные подъ разсужденіями годы перваго ихъ напечатанія покажутъ ясно, кому что принадлежитъ "<sup>320</sup>). М. А. Дмитріевъ, познакомившись съ этою книгою, писалъ Автору: „Мнѣ читають ваши историческіе отрывки. Многое изъ нихъ мнѣ знакомо; но я слушаю ихъ какъ новость: такъ они умны, свѣжи, интересны!—Вашъ

*очеркъ Русской Исторіи* просто изумителенъ! Это система міра, которую какая-то сила сжала и уменьшила для моего человѣческаго глаза, и я рассматриваю ее на ладони... Пишите съ Богомъ нашу Русскую Исторію, и мы увидимъ вашихъ Святославовъ своими глазами, узнаемъ ихъ лично<sup>321</sup>). Печатавъ эту книгу, Погодинъ писалъ Шевыреву: „Ей Богу мы дѣлаемъ вещи невѣроятныя, и потомство (о потомство!) скажетъ намъ спасибо! А любезные современники—Строгановы, Бодянскіе, Соловьевы, Бѣлинскіе и прочіе и прочіе! Жизнь есть служба, есть борьба! Помоги Богъ и пошли терпѣніе“.

Въ это время Археографическая Коммиссія выпустила въ свѣтъ первый томъ *Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей*. Экземпляръ этого изданія Погодинъ получилъ отъ самаго С. С. Уварова и въ *Дневникъ* своемъ, подъ 9 марта 1846 года, по этому поводу онъ отмѣтилъ: „Очень радъ“. Рецензію свою на этотъ томъ Погодинъ начинаетъ такъ: „Радость, радость велія! Взыграйте духомъ и возвеселитесь всѣ друзья Русской Исторіи, всѣ археологи и антикваріи, всѣ изслѣдователи, и критики, и историки! Несторова лѣтопись, по древнѣйшему Лаврентьевскому списку, вышла въ свѣтъ, вся сполна, со всѣми ея продолженіями, до самаго конца рукописи, то-есть, до 1305 года.“

„Въ молодыхъ своихъ годахъ, налитанный Шлецеромъ, въ восторгѣ отъ Нестора, я больше всего боялся наводненія въ Петербургѣ, признаюсь, потому что въ такомъ случаѣ могъ пропасть Лаврентьевскій списокъ. Эта странная мысль беспокоила меня какъ нельзя болѣе, и когда, долго спустя послѣ этого времени, учреждена была Археографическая Коммиссія, и я пріѣхалъ въ Петербургъ въ 1838 г., то первое мое движеніе было, подъ вліяніемъ все еще перваго впечатлѣнія, осмотрѣть, есть ли своды въ ея комнатахъ.“

„Теперь Лаврентьевскому списку не страшенъ уже ни огонь, ни вода,—мы имѣемъ его въ печати, благодаря покровительству Министра, ревности Предсѣдателя и дѣятель-

ности Членовъ, особенно Бередникова, который наблюдалъ за печатаніемъ“.

Но послѣ этого изліянія лирическаго восторга Погодинъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній Я. И. Бередникову: „Въ минуту живѣйшаго удовольствія, какое можетъ ощущать кабинетный антикварій, получивъ въ свои руки вождельнное сокровище, мы не станемъ дѣлать никакихъ замѣчаній, никакихъ возраженій,—развѣ одно, обращенное лично къ издателю, Бередникову:

„Зачѣмъ называете вы лѣтопись Лаврентьевскою? Зачѣмъ, принимая на свою душу грѣхъ П. М. Строева, намекаете вы такимъ названіемъ, что вся лѣтопись какъ будто собрана монахомъ Лаврентіемъ. Помилуйте—развѣ не ясно самъ онъ говорить вамъ, что только списывалъ лѣтопись?

„Развѣ не ясно говорить онъ вамъ, что принялся писать 14 января, а окончилъ чрезъ два почти мѣсяца—20 марта?

„Развѣ не ясно онъ говорить вамъ, что онъ молодой человекъ и могъ легко ошибиться: гдѣ описалъ, гдѣ не дописалъ, гдѣ переписалъ?

„Развѣ не ясно говорить онъ вамъ, что книги, съ которыхъ онъ списывалъ, были *ветхи*, и онъ не могъ иногда, по молодому своему уму, догадываться. Такъ, напримѣръ, онъ не разобралъ даже имени города, куда прибылъ Рюрикъ.

„Лаврентьевская лѣтопись! Такъ по этому правилу надо называть книги по именамъ переплетчиковъ: Хитровская книга, Зотовская, Тургеневская... но остановимся. Не станемъ смущать удовольствія, не будемъ смотрѣть ни на предисловіе, ни на описаніе, ни на заглавіе. Все это ничего не значить сравнительно съ текстомъ. Текстъ, текстъ—вотъ главная заслуга Коммисіи, вотъ ея право на всеобщую благодарность!“

Выѣстъ съ Лаврентьевскимъ спискомъ Археографическая Коммиссія, въ томъ же 1846 году, издала первый и второй томы *Дополненій къ Актамъ Историческимъ* и первый томъ *Актовъ, относящихся къ Исторіи Западной Россіи*. Въ пер-

вомъ изъ этихъ изданій Погодинъ обратилъ особенное вниманіе на уставную грамоту Смоленскаго князя Ростислава Мстиславича и епископа Мануила, данную Епископіи Смоленской въ 1150 году, и находить, что эта такая „драгоценность для Исторіи нашего Права, Церкви, Управленія, вообще для древней Географіи и Исторіи, съ какою сравнятся только не многіе наши памятники“.

Приступая къ разсмотрѣнію *Актовъ Западной Россіи*, Погодинъ пишетъ: „Что сказать объ этомъ собраніи — это все алмазы, яхонты, изумруды, бисеръ, жемчугъ. Удѣльный періодъ нашъ освѣтится ими много“.

Въ виду этихъ монументальныхъ изданій Археографической Коммиссіи Погодинъ обращается съ слѣдующимъ воззваніемъ къ молодому поколѣнію: „Молодые люди! Вы, кои охотитесь до Русской Исторіи! Вотъ вамъ поле, тучное, плодотворное, благодарное! За заступъ, за заступъ, — и прочь ваши высшіе взгляды! Чтобъ бросать высшіе взгляды, надо стоять высоко, а чтобъ стать высоко, надо трудиться, подниматься, подниматься, имѣя подъ собою твердую опору. Поднимайтесь, — и тогда говорите намъ свысока, а внизу, когда умъ молодъ, не дошелъ, какъ говоритъ монахъ Лаврентій, умничать, разсуждать, толковать, — есть просто вздоръ, который можетъ наградиться похвалою отъ невѣжи, а не отъ знатока, — знатокъ пожметъ развѣ плечами, и горько улыбнется на потерю вашего масла.“

Достойной похвалы невѣжда не умалить,  
А то не похвала, когда невѣжда хвалить,

сказалъ еще одинъ изъ нашихъ стариковъ, Сумароковъ.

„Я указалъ вамъ на предметы трудовъ, а вотъ и примѣръ и образецъ.“

И въ этотъ „примѣръ и образецъ“ Погодинъ поставилъ только что вышедшій тогда трудъ молодого ученаго: *Исторія Христіанства въ Россіи до Владиміра, какъ введеніе въ Исторію Русской Церкви* \*).

\*) С.-Пб. 1846.

перу архимандрита Макарія, инспектора С.-Петербургской Духовной Академіи (впослѣдствіи митрополита Московскаго и Коломенскаго).

Будущій знаменитый Историкъ Русской Церкви нашелъ въ Погодинѣ перваго цѣнителя своихъ трудовъ. „Архимандритъ Макарій“, писалъ онъ, — „извѣстный своею прекрасною *Исторіею Кіевской Академіи*, приобрѣтаетъ себѣ вдругъ знаменитость послѣднимъ сочиненіемъ. Это сочиненіе ученое, Европейское, и служить блистательнымъ новымъ доказательствомъ нашей зрѣлости. Мы смѣло можемъ представить его Европейскому конгрессу.

„Знакомство близкое со всѣми источниками, внимательность въ прежнимъ изслѣдованіямъ, осторожность въ заключеніяхъ, полнота, соразмѣрность, ясный умъ, прекрасный языкъ, — вотъ достоинства книги.

„Мы сказали, что она служить блистательнымъ доказательствомъ нашей зрѣлости; подтвердимъ это положеніе тѣмъ, что мы имѣемъ уже пять-шесть знатоковъ по этой части, которые въ состояніи разобрать и оцѣнить ее по достоинству, которые занимаются однимъ предметомъ съ авторомъ. Да, Церковная наша исторія, бывшая доселѣ въ небреженіи, какъ я замѣчалъ нѣсколько разъ еще въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, получила вдругъ многихъ дѣлателей, и какихъ? Преосвященный Филаретъ Рижскій написалъ, мы слышали, *Исторію Русской Церкви*, которую мы ждемъ съ нетерпѣніемъ. Превосходное разсужденіе его о *Максимѣ Грекѣ* извѣстно читателямъ *Москвитянина*. А. В. Горскій, профессоръ Московской Академіи, другой знаменитый ученый, представилъ уже много статей, сюда относящихся, напримѣръ, въ *Москвитянинѣ*: о Кириллѣ и Меѳодіѣ, при *Твореніяхъ свв. Отцевъ* — объ Иларіонѣ и Петрѣ митрополитѣ, о школахъ. *Надеждинъ* давно занимается *Исторіею расколовъ*. (Жаль, что Рудневъ оставилъ, кажется, свои занятія). Высокопреосвященный *Иннокентій Харьковскій* трудится надъ *Исторіею догматовъ*, и кажется —

іерархіи. Мы слышали, что приготовлено сочиненіе о *Стоглавѣ*“ <sup>322</sup>).

Н. И. Надеждинъ, дѣйствительно занимаясь, по порученію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Исторіею Раскола, былъ очень недоволенъ упоминаніемъ о томъ Погодина. „Читаю *Москвитянина*“, писалъ онъ, — „недоволенъ, по прежнему. Да зачѣмъ чортъ тебя дернулъ напечатать, что я занимаюсь Расколомъ? Знаешь ли, что эта строчка можетъ очень мнѣ надѣлать непріятностей. Вѣдь тянетъ же тебя за языкъ. Пожалуйста, впередъ не дѣлай такихъ глупостей“ <sup>323</sup>). Въ это время Надеждинъ только-что вернулся изъ своего заграничнаго путешествія и проѣздомъ въ Москвѣ видѣлся съ Погодинымъ, который записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Съ Надеждинымъ занимательный и поучительный разговоръ. Какъ жаль, что этому человѣку недостаетъ сердечнаго убѣжденія и желанія“ <sup>324</sup>).

---

#### XLV.

Въ 1846 году Императоръ Николай I пожаловалъ около ста тысячъ рублей серебромъ на изданіе рисунковъ, снятыхъ Ѳ. Г. Солнцевымъ съ древнихъ Русскихъ памятниковъ. „Любители Отечественныхъ Древностей и Исторіи“, писалъ Погодинъ, — „благословляютъ Царскую Щедрость, съ нетерпѣніемъ ожидаютъ великолѣпнаго изданія“. Желая вложить и свою лепту въ это патріотическое дѣло, Погодинъ написалъ Ѳ. Г. Солнцеву письмо, въ которомъ заявилъ: „Занимаясь около тридцати лѣтъ этимъ предметомъ, собирая безпрестанно Русскія достопримѣчательности во всѣхъ родахъ и обладая многими сокровищами, я смѣю надѣяться, что въ моемъ письмѣ къ вамъ найдется что-нибудь полезное для общаго дѣла. Вы снимали рисунки съ тѣхъ вещей, которыя вамъ попадались на глаза—въ Москвѣ, Новѣгородѣ, Кіевѣ, Петербургѣ: на нашемъ драгоценномъ собраніи легла, слѣдовательно, печать



случайности. О полнотѣ вы не думали, и не могли думать. Мы будемъ благодарить васъ за обнародованіе какихъ бы то ни было памятниковъ, но желательно было бы, чтобы, воспользуясь такими богатыми средствами, вы представили Отечеству собраніе систематическое, во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворительное, для науки, для искусства, для Европы, для нашего любопытства. Приступимъ къ дѣлу.

„У насъ господствуетъ предубѣжденіе, что мы не имѣемъ древнихъ памятниковъ искусства и вообще жизни. Это предубѣжденіе происходитъ отъ нашего невѣжества. Я располагаюсь теперь говорить съ вами о самомъ первомъ періодѣ нашей Исторіи, отъ 862 года до 1054,—періодѣ, о которомъ оканчиваю теперь печатаніе изслѣдованія, и вы увидите, что даже изъ первыхъ трехъ сотъ лѣтъ можно собрать и представить до ста рисунковъ. Каково оживится, иллюминруется, употреблю ваше выраженіе, наша глубокая древность! Сто рисунковъ изъ IX, X и XI столѣтія — вы не вѣрите. Вотъ они, начинаю съ церквей:

„Основаніе и расположеніе *Десятинной Владиміровой церкви* въ Кіевѣ, которая совершенно почти была открыта при копаніи фундамента для новой.

„*Церковь св. Софіи* въ Кіевѣ, построенная Ярославомъ, должна быть представлена съ разныхъ сторонъ какъ *внутри*, такъ и *снаружи*. Главнѣйшіе изъ оставшихся *мозаическихъ* образовъ. Нѣсколько изображеній изъ *стѣнной живописи*, которая также, благодаря просвѣщенной заботливости Государя Императора, теперь возстанавливается подъ вашимъ надзоромъ.

„Далѣе—мы имѣемъ *церковь св. Софіи въ Новгородѣ*, ее также должно изобразить въ нѣсколькихъ рисункахъ.

„Открытый фундаментъ церкви св. Ирины въ Кіевѣ. Не мѣшало бы представить фигуру и цвѣтъ древнихъ плитъ, составляющихъ полъ, фигуру кирпичей.

„По симъ оставшимся церквамъ, имѣя въ виду также храмъ св. Софіи въ Константинополѣ, можно, какъ я сказалъ выше,

возстановить (реставрировать) и Десятинную церковь, которой фундаментъ извѣстенъ, но наши архитекторы все еще заботятся только о возстановленіи Адріановой виллы, Троянова форума, Титовыхъ бань! Мы не порицаемъ этого занятія; въ Римѣ что же и дѣлать иное,—но пора подумать и о своемъ искусствѣ. Нѣкоторые, впрочемъ, начинаютъ думать о немъ, это правда, но какъ? Теоретически, изъ головы, напрягая всѣ силы своего воображенія. Создать стиля нельзя, Византійскаго, Русскаго, или какого хотите. А что же дѣлать? Изучать свой бытъ, свой духъ, свою исторію, свои памятники, питаться ими, присматриваться, и тогда уже приниматься за карандашъ. Странное дѣло! Аристотель Фіоравенти, иностранецъ, пріѣхалъ къ намъ въ XV столѣтіи, когда мы и не думали ни о какихъ стиляхъ архитектуры, а выстроилъ такую церковь (Успенскій Соборъ), на которомъ впечатлѣнъ особый характеръ, какого нѣтъ нигдѣ! Но это опять мимоходомъ.

„Рисунки *пещеръ Варяжскихъ* въ Киевѣ. Рисунки пещеръ Θεодосіевыхъ, его церкви, пещеръ Антоніевыхъ въ Черниговѣ, относятся къ слѣдующему періоду.

„Можно присоединить еще изображеніе одноглавыхъ церквей, какъ мы видимъ въ рисункахъ, о которыхъ будемъ говорить ниже подробнѣе.

„Итакъ, древнія церкви мы знаемъ внутри и снаружи: новѣйшія придѣлки знатоку отдѣлить легко.

„Перехожу къ одеждѣ. Семейство Святославова мы имѣемъ въ рисункѣ 1073 года, но и Владиміръ, Борисъ и Глѣбъ представляются совершенно въ такой же одеждѣ на всѣхъ образахъ, древнихъ и новыхъ. Ясно, что княжеская одежда на сихъ образахъ есть подлинная, древняя и вѣрная. Въ моихъ собраніяхъ есть пять образовъ живописныхъ, литыхъ серебряныхъ и мѣдныхъ, изъ которыхъ одному лѣтъ триста, а другимъ, можетъ быть, четыреста.

„Всего лучше передать древніе образа свв. Владиміра, Бо-

риса и Глѣба, которые по этому изслѣдованію вѣрно были снимаемы съ самыхъ первыхъ.

„Бориса и Глѣба мы имѣемъ также и *на коняхъ*. У меня есть одинъ мѣдный образъ; другой, точно такой же, попался мнѣ лѣтъ пять тому назадъ каменный, но я не прибрѣлъ его, сочтя всадниковъ за рыцарей. Когда же попался мнѣ мѣдный образъ съ надписью, тогда я увидѣлъ свою ошибку, но поздно.

„Женскую княжескую одежду мы имѣемъ въ образахъ св. Ольги, кои однакожь очень рѣдки: мнѣ не попадалось ни одного. Лучшій я видѣлъ на святыхъ вратахъ Кириллова Бѣлозерскаго монастыря. Злодѣй маляръ при мнѣ хотѣлъ его закрашивать, но я тогда обратилъ вниманіе Архимандрита (теперь покойнаго) на древній образъ, писанный, кажется, при Михаилѣ, и онъ былъ сохраненъ.

„Византійскія монеты всего вѣрнѣе подають намъ понятіе, въ какомъ одѣяніи пріѣхала къ намъ Великая Княгиня Анна, супруга св. Владиміра. Эта одежда видна на супругѣ Святослава Ярославича, и осталась, безъ сомнѣнія, для всѣхъ нашихъ княгинь и княженъ.

„*Одежда воиновъ, священниковъ, простолюдиновъ* известна намъ по рисункамъ въ житіи свв. Бориса и Глѣба, въ хартейной рукописи XIV, навѣрное, вѣка, принадлежащей Типографской Библіотекѣ. Эти рисунки драгоцѣнны для насъ не менѣе знаменитыхъ Матильдиныхъ ковровъ въ Байе, которые недавно изданы великолѣпно на иждивеніе Лудовика-Филиппа. Я видѣлъ это изданіе въ Копенгагенѣ. Наши рисунки представляютъ съ ними разительное сходство, что касается до вооруженія, и удостовѣряють въ Скандинавскомъ происхожденіи Варяговъ. Мнѣ очень хочется издать вполнѣ это житіе. Рисунковъ въ житіи около двадцати. У Царскаго есть списоки этого житія, но молодой, а рисунки тѣ же. Изъ этого житія мы получимъ изображенія щитовъ, копій, шлемовъ, кольчугъ. Не забудемъ о картинкахъ, представляющихъ сраженія Святослава, крещеніе Руси, съ конми познакомишь

насть А. Д. Чертковъ, изъ Болгарскаго перевода лѣтописи Константина Манассіи.

„Но какъ возсоздать намъ первыя жилища нашихъ предковъ? Это трудно по памятникамъ, но, кажется, смѣло положить можно, что теперешнія избы съ своими лавками, полатями, воротами, по внутреннимъ губерніямъ немного разнятся отъ древнихъ.

„Мѣста изъ лѣтописей, собранныя мною, и рисунки изъ житія—вотъ единственныя данныя, остальное предоставляется вашему воображенію.

„Возвращаемся къ оставшимся памятникамъ:

„*Золотыя ворота Ярослава*, кои легко реставрировать по теперешнимъ остаткамъ и по рисункамъ, кои мы имѣемъ съ нихъ, когда они были цѣлы, до Миниховой засыпки. У меня есть, кажется, снимки съ рисунка XVII вѣка, полученные отъ покойнаго профессора Даниловича.

„*Гробница Ярославова*, съ разныхъ сторонъ.

„*Монета Ярославова*, въ моемъ собраніи, у графа Строганова и графа Мусина-Пушкина.

„*Серебряная монета Владимірова*, которая въ кабинетѣ Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ; говорятъ, что и золотая, пропавшая у Могилянскаго въ Кіевѣ, нашлась и хранится у кого-то въ Петербургѣ.

„И присоединилъ бы къ этимъ оставшимся памятникамъ искусства и жизни, слѣдующія изображенія, кои не относятся впрочемъ до вашихъ занятій:

„Карту Ходаковскаго съ означеніемъ городищъ по всей нынѣшней Европейской Россіи.

„Видъ какого-нибудь древняго городища.

„Видъ древнихъ кургановъ, отысканныхъ Ѳ. Н. Глинею въ Бѣжецкомъ уѣздѣ.

„Такъ называемый Труворовъ камень въ Изборскѣ.

„Видъ укрѣпленія Ладожскаго и мѣста, которое слыветъ подъ именемъ Рюрикова дома, изъ путешествія К. М. Бородина.

„Рисунки Древнихъ городовъ, то-есть, крѣпостей Норманскихъ.

„Изображеніе кургановъ, которые зовутъ Аскольдовой, Олеговой могилой.

„Планъ древняго Кіева, сколько онъ извѣстенъ по Нестору.

„Видъ Кіева изъ-за Днѣпра, стараясь выбрать мѣсто, гдѣ представляется наиболѣе природы, безъ построекъ, измѣнившихъ совершенно свой характеръ.

„Изображеніе Святослава по описанію Льва Діакона.

„Изображеніе лодокъ Днѣпровскихъ, сообразивъ ихъ съ козацкими по Боплану и Норманскими, по ихъ древнимъ рисункамъ, равно какъ и по описаніямъ лѣтописи, сколько объ нихъ извѣстно.

„Снимокъ съ Остромирова Евангелія 1056 года.

„Снимокъ съ моего Псалтиря, принадлежащаго, какъ полагаетъ Востоковъ, къ XI столѣтію.

„Снимокъ съ листовъ Псалтиря, митрополита Евгенія...”

Письмо свое Погодинъ заключаетъ такими словами: „Мы, Русскіе, очень счастливы, и имѣемъ много памятниковъ изъ самой глубокой древности. Изъ исчисленныхъ мною, можетъ быть, болѣе пятидесяти можно снять съ натуры, ничто же сумняся, нѣсколько должно возстановить по значительнымъ даннымъ; нѣсколько надо создать по указаніямъ лѣтописей. Большая часть работы принадлежитъ вамъ; другую можно препоручить, кому заблагоразсудите. Я съ своей стороны готовъ доставить вамъ всѣ зависящія отъ меня указанія, всѣ пособія, кои находятся у меня въ рукахъ, и радъ буду, если соединенными нашими усиліями составитъ такимъ образомъ *Атласъ Русской Исторіи*, о которомъ я думаю слишкомъ давно“.

Живя въ Маріенбадѣ, Погодинъ изучалъ замѣчательное сочиненіе покойнаго Аделунга, *Kritisch-literärische Uebersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte bekannt sind*, вышедшее въ свѣтъ въ С.-Петербургѣ въ 1846 году. „Честъ и слава покойному“, писалъ Погодинъ, — „за прекрас-

ный трудъ, мы должны помянуть его имя съ тою же признательностью, какъ и имена Байера, Миллера, Стриттера, Шлецера, Круга. Благодарность достойному сыну, который издалъ съ такимъ тщаніемъ и искусствомъ важное сочиненіе своего родителя. Алфавитный и хронологическій указатели (безъ которыхъ многія историческія книги, въ послѣднее время изданныя у насъ, лишаются почти половины цѣны) увеличиваютъ еще болѣе пользу книги, облегчая ея употребленіе. Императорская Академія Наукъ, столь ревностно подвизающаяся на пользу просвѣщенія, особенно въ послѣднее время, присудила Демидовскую премію книгѣ, и приняла на себя часть издержекъ печатанія. А когда дождемся мы перевода всѣхъ этихъ путешественниковъ, переведенныхъ почти на всѣ Европейскіе языки!" <sup>325</sup>).

Самому Погодину въ своемъ Древлехранилищѣ посчастливилось сдѣлать важное открытіе. Въ *Дневникъ* его, подъ 5—7 ноября 1846 года, записано: „Нашелъ посланіе Стефана Пермскаго къ Дмитрію Донскому“. Подлинникъ этого драгоценнаго памятника найденъ имъ въ одномъ Сборникѣ XVI вѣка. Само собою разумѣется, что о своемъ открытіи Погодинъ сообщилъ А. В. Горскому, и тотъ писалъ: „Письмо св. Стефана Пермскаго—новость, кажется, еще никому неизвѣстная и стоющая того, чтобы вы ее обнародовали“. Познакомившись съ этимъ памятникомъ, Горскій писалъ (21 февраля 1847 г.): „Слово Стефана, драгоценное по древности и мудрости, взялся я самъ перевести“. Окончивъ переводъ и препровождая его Погодину, Горскій писалъ (15 апрѣля 1847 г.): „Подлинникъ очень теменъ и грамматически неправиленъ. Во многихъ случаяхъ нужно было отыскивать смыслъ и находить связь мыслей только догадкою. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сдѣлалъ поправки въ переводѣ цензоръ“ <sup>326</sup>).

Такимъ образомъ въ переводѣ А. В. Горскаго въ *Москвитянинѣ* 1847 года было напечатано: *Стефана епископа Пермскаго, отъ Божественнаго Писанія поучительное посланіе къ православному царю и великому князю Дмитрію*

*Гоанновичу, всея Руси самодержцу и побѣдоносцу, потому что побѣдилъ онъ безбожнаго бесерменскаго царя Ордынскаго.*

## XLVI.

Въ 1846 году Погодинъ приступилъ къ сочиненію біографіи Карамзина и печатно заявилъ: „Почитаю священнымъ долгомъ воспользоваться благопріятными обстоятельствами, въ коихъ я нахожусь, для пріобрѣтенія свѣдѣній о жизни Карамзина и написать его полную біографію. Для второй половины его жизни источниковъ много: родные, друзья, знакомые, современники, письма, сочиненія, но первая половина очень скудна; и здѣсь должно довольствоваться только воспомина-ніями, разсѣянными въ его сочиненіяхъ и запискахъ И. И. Дмитріева“. Начало своего труда Погодинъ сталъ печатать въ *Москвитянинѣ* съ тою цѣлію, чтобы получать поправки и дополненія. Вслѣдъ за первую статью о Карамзинѣ явилась другая подъ заглавіемъ: *Нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній къ первой статьѣ о Карамзинѣ*. Камнемъ преткновенія для дальнѣйшихъ занятій этимъ предметомъ были противорѣчивыя свѣдѣнія о мѣстѣ и времени рожденія Карамзина. Печатая эти разнорѣчащія свидѣтельства, Погодинъ съ негодованіемъ замѣтилъ: „*Съ глубокимъ сердца вздохомъ, о нашемъ общемъ, какъ бы сказать учтивѣ... невѣдѣніи, нашемъ небреженіи ко всему своему: Историкъ, великій гражданинъ, великій писатель,—мы ставимъ ему памятникъ,—и до сихъ поръ окончательно не знаемъ, гдѣ онъ родился? Когда? Мы справляемся, какое раздѣленіе было тогда Россіи. Скажутъ: объ этомъ легко справиться; но затѣмъ намъ нужно справляться, почему мы затрудняемся, почему мы не знаемъ этого всѣ безъ справокъ, не знаемъ въ первоначальныхъ училищахъ?..*“

Но этотъ первый опытъ Погодина по біографіи Карамзина произвелъ на Шевырева самое непріятное впечатлѣніе, и онъ откровенно писалъ своему другу: „Твоя статья о

Карамзинѣ просто спивокъ нѣсколькихъ мѣстъ, изъ него взятыхъ, безъ всякой связи и мысли. Ты пишешь мнѣ въ запискахъ: *Ухъ! какъ пишу! ухъ! сколько статей*—а если все это будетъ тѣмъ только разрѣшаться—плохо, братья! Опять твое неряшество—и Русская лѣнь подумать. Сердись на мою правду, но пора ужъ говорить ее“.

На эти строки Погодинъ отвѣчалъ печатно: „Отвѣчу одному достойному литератору, моему ближнему пріятелю, который, бывъ недоволенъ первою моею статьею, называлъ ее *сшивкомъ*. Принимаю это слово!.. Я только и былъ намѣренъ—собрать все, что можно о дѣтствѣ и молодости Карамзина, по свидѣтельству его самого и тѣхъ людей, которые его тогда видѣли и знали. Вставлять свои разсужденія, предлагать свои догадки, болѣе или менѣе произвольныя, о лицѣ, почти современномъ, я считалъ вовсе неприличнымъ и неумѣстнымъ,—и мнѣ кажется, собственныхъ словъ Карамзина и его друзей достаточно, чтобъ составить себѣ понятіе о немъ довольно полное, и, что важнѣе всего, вѣрное. Такъ написана и эта статья. Если читатели увидятъ въ ней Карамзина, цѣль автора достигнута, а какими средствами, до того нѣтъ имъ дѣла“<sup>327</sup>).

Въ то время, когда Погодинъ такъ усердно собиралъ матеріалы для біографіи Карамзина, въ Москвѣ появился соперникъ ему по этому предмету. Въ самыхъ первыхъ нумерахъ *Московского городского Листка*, 1847 г., была напечатана статья подъ заглавіемъ: *О пребываніи Карамзина въ Москву*. Статья эта своими подробностями о домашней жизни Карамзина, которыя „или ничтожны, или вовсе ошибочны; другія при ошибочности своей даже и неприличны“, возбудила неудовольствіе и князя П. А. Вяземскаго, и М. А. Дмитріева. „Непонятно, какъ человѣкъ“, писалъ князь Вяземскій,—„который имѣетъ до высшей степени способность мѣстной наблюдательности, который помнить счетомъ всю прислугу Карамзина, не знаетъ, что въ то время были у него камердинерами Матвѣй и Лука, и что никогда никакая Наталья, ни Наташа не была и никогда не могла быть у него въ подобной должности“.



М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Что это за вздоръ о Карамзинѣ напечатанъ въ *Листкѣ*! Я увѣренъ, что это сообщилъ Макаровъ!“

Но болѣе серьезнымъ соперникомъ Погодину по написанію біографіи Карамзина явился въ Петербургѣ Плетневъ. Продавъ свой *Современникъ*, И. И. Панаеву, Плетневъ писалъ Жуковскому: „Теперь, отказавшись отъ *Современника*, я желаю исключительно заниматься біографіями лучшихъ писателей нашихъ. Итакъ надобно услышать мнѣ умное и правдивое слово, по хорошей ли намѣренъ я идти дорогѣ, и довольно ли у меня къ тому умственныхъ силъ. Послѣ Крылова желаю заняться Карамзинымъ. Только, вообразите, ни одинъ человекъ въ его семействѣ не вызывается мнѣ помочь чѣмъ-нибудь въ этомъ дѣлѣ, по видимому, такъ имъ близкомъ. Не передадите ли вы мнѣ какихъ-нибудь указаній и совѣтовъ?“<sup>328</sup>).

Между тѣмъ въ августѣ 1847 года посѣтила Москву сестра И. И. Дмитріева Наталія Ивановна, которая для Погодина представляла живой источникъ біографіи Карамзина. По прибытіи въ Москву она написала Погодину слѣдующее: „Въхавши къ Димитрію Ростовскому Чудотворцу, на нѣкоторое время я остановилась здѣсь въ Москвѣ—поклониться гробу покойнаго моего брата Ивана Ивановича и за пріятный долгъ себѣ поставила увѣдомить васъ о своемъ пріѣздѣ“. Вслѣдъ за симъ Погодинъ получилъ въ такихъ выраженіяхъ приглашеніе отъ М. А. Дмитріева: „Не хотите ли повидаться съ тетусшкою Натальей Ивановною. Она сегодня у меня обѣдаетъ. Она и донинѣ отъ васъ въ восхищеніи“<sup>329</sup>).

Кромѣ біографіи Карамзина, Погодинъ задумалъ написать и біографію Алексѣя Петровича Ермолова.

Еще 6 февраля 1843 г. Погодинъ имѣлъ честь представиться Ермолову. Послѣдній жилъ тогда на Пречистенскомъ бульварѣ, въ скромномъ домикѣ, съ маленькимъ дворомъ и палисадникомъ впереди. Сохранилось любопытное описаніе, сдѣланное Погодинымъ, этого свиданія.

Войдя въ прихожую Ермолова, Погодинъ увидѣлъ мальчика,

который крутою лѣсенкой по узенькимъ ступенькамъ повелъ на антресоли.

„Съ чувствомъ глубокаго почтенія“, пишетъ Погодинъ, — „поднимался вверхъ, думая о безкорыстїи знаменитаго хозяина, который всю жизнь свою прослужилъ Отечеству, начальствовалъ многочисленными арміями, слишкомъ десять лѣтъ управлялъ цѣлымъ царствомъ, передалъ изъ своихъ рукъ милліоны, и теперь, на закатѣ славныхъ дней своихъ, довольствуется такимъ скромнымъ, почти бѣднымъ помѣщеніемъ какого-нибудь титулярнаго совѣтника или отставнаго пристава“.

Генераль Годеинъ, вызвавшійся представить Погодина, дождалсяверху. Они вошли „въ низенькую комнату, оклеенную желтыми обоями; на голыхъ стѣнахъ не висѣло ничего, кромѣ медальоновъ графа Толстого, изображающихъ сраженія двѣнадцатаго года \*). Насупротивъ находился портретъ старика въ Екатериненскомъ мундирѣ. Это былъ отецъ Алексѣя Петровича, Петръ Алексѣевичъ Ермоловъ, правитель канцеляріи у генераль-прокурора Самойлова. Передъ небольшимъ оконцемъ стоялъ работный столъ, за которымъ въ углу, на простомъ стулѣ, сидѣлъ славный сподвижникъ 1812 года, одинъ изъ побѣдителей Наполеоновыхъ. Голова у него была вся бѣлая, глаза маленькіе, соколиные, тѣло тучное. На немъ былъ сѣрый поношенный сюртукъ изъ казінета; жилетъ темнаго цвѣта былъ застегнутъ наглухо до шеи. На столѣ лежалъ носовой платокъ и очки. Вокругъ стояло нѣсколько стульевъ, изъ коихъ два были заняты графомъ А. Н. Панинымъ и Н. Н. Шеншинимъ“.

Алексѣй Петровичъ Ермоловъ принялъ Погодина „очень благосклонно и сказалъ ему столько лестнаго, что онъ смутился и затруднился отвѣтомъ“.

Представленная Погодинымъ книга, сочиненіе Посошкова, подала поводъ къ первому разговору о времени Петра Великаго. „Да“, сказалъ, между прочимъ, Алексѣй Петровичъ, — „инструменты видно были готовы для Петра Великаго, и онъ

\*) Изданіе Археографической Коммиссіи.

успѣлъ ихъ настраивать. Онъ не хлопоталъ, какого чина и званія попадались ему люди, лишь бы годились на дѣло. Сержантъ, офицеръ, служилъ у него за генерала и получалъ важное порученіе. Ошибокъ не случалось. Вотъ Соймоновъ, напримѣръ, какъ вѣрно осмотрѣлъ Каспійское море. За то и говорила Еватерина: замышляя что-нибудь новое, всегда надо справляться, что о томъ думалъ Петръ I, вѣрно у него найдется лучшее наставленіе“.

Потомъ разговоръ обратился на Кавказъ, куда только-что посланъ былъ главнокомандующимъ генералъ Нейдгардтъ.

„Генералъ Нейдгардтъ достойный генералъ“, сказалъ Алексѣй Петровичъ, — „но у него есть порокъ, котораго я никакъ не могу простить ему: ему за шестьдесятъ лѣтъ. На Кавказѣ часто не столько бываетъ нужна умная голова, какъ крѣпкая грудь, да широкія плечи, силы физическія дороже нравственныхъ. Я самъ, съ своимъ сложеніемъ и здоровьемъ, пріѣхавъ на Кавказъ тридцати семи лѣтъ, едва могъ привыкнуть къ нему. Какъ бывало надо просидѣть на лошади недѣли двѣ, всякій день часовъ по осьмнадцати сряду, такъ и своихъ не узнаешь. А пошли за себя другого, все не то: нуженъ вездѣ свой глазъ. Притомъ теперешнія обстоятельства гораздо сложнѣе и мудренѣе. У меня средства были гораздо ограниченнѣе: войска втрое меньше, а какого труда стоило получить то или другое пособіе. Я обращался даже къ частнымъ лицамъ, напримѣръ, къ графу Румянцову, и просилъ его прислать нѣсколько ученыхъ для изслѣдованій въ горахъ, а онъ отвѣчалъ мнѣ, что радъ исполнить мое желаніе, когда выиграетъ Воротынецъ \*). Европейскіе путешественники пишутъ о Кавказѣ всякій вздоръ; наши чиновники и туземцы часто нарочно ихъ обманываютъ и сообщаютъ невѣрные свѣдѣнія, чтобы послѣ посмѣяться надъ ними. Отпуская меня на Кавказъ, Александръ Павловичъ сказалъ мнѣ: знаешь ли, Алексѣй Петровичъ, что я еще не рѣшилъ, должна ли Россія удерживать владѣнія свои за Кавказомъ. Россіи нечего опасаться за свои владѣнія, пока сосѣдями

\*) Тогда разыгрывалась знаменитая лотерея.

съ той стороны остаются такіе слабые народы, какъ Персіане и Турки. Но притаисъ гдѣ-нибудь Англичане, доставъ горцамъ артиллерію, научи ихъ военному искусству, и тогда намъ будетъ надо укрѣпляться на Донѹ. Англичане стерегутъ насъ, не спуская глазъ. Я послалъ въ Хиву Муравьева \*) на свой страхъ и отвѣтственность. Еслибы я спросилъ дозволеніе, то никакъ не получилъ бы его: пошли бы спросы да разспросы, ноты и переговоры. Надо сообразоваться съ характерами племенъ: Хивинцы хищники, а Бухарцы тихи и смиренны. Наши единовѣрцы за Кавказомъ ожидаютъ нашей помощи и покровительства“.

Такъ кончилось первое посѣщеніе. Съ тѣхъ поръ Погодинъ началъ посѣщать Алексѣя Петровича, „сперва изрѣдка, а потомъ и чаще“, ѣздилъ къ нему въ подмосковную его деревню, по Смоленской дорогѣ, верстахъ въ тридцати отъ города, и всякій разъ записывалъ его разговоры. Записокъ такихъ накопилось наконецъ у него столько, что Погодинъ могъ со словъ самого Ермолова начертать обзоръніе его жизни <sup>330</sup>).

Въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 3 февраля 1844 г. „По утру былъ у меня Дмитріевъ молодой, который рассказывалъ мнѣ, какъ обрадовались на Кавказѣ всѣ Русскіе, услышавъ о назначеніи Ермолова, и какъ повѣсили голову горцы. Что за живая память о немъ“.

— 16 мая 1845. Кончалъ Тьера, какъ пріѣхалъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ. Длинный и занимательный разговоръ.

— 29 апрѣля 1846. Утро у Ермолова: за извѣстіемъ объ его жизни.

---

\*) Николай Николаевичъ Муравьевъ-Карскій.

## XLVII.

Отношенія Погодина къ своему преемнику С. М. Соловьеву хотя и не были въ то время дружественны, но еще не доходили до полнаго разлада.

15 января 1846 года Мельгуновъ писалъ Погодину: „Соловьевъ мнѣ сказывалъ, что отдалъ еще Кирѣевскому большую историческую статью, гдѣ онъ особенно развиваетъ общинное и дружинное начало, онъ просилъ меня прочесть ее“. Здѣсь разумѣется статья Соловьева *О родовыхъ отношеніяхъ между князьями Древней Руси*, которая вскорѣ сдѣлалась предметомъ ожесточенной полемики между Соловьевымъ и Погодинымъ. Вскорѣ послѣ письма Мельгунова Соловьевъ обращается къ Погодину съ слѣдующимъ житейскимъ запросомъ: „Прежде всего прощу миллионъ извиненій, что осмѣливаюсь беспокоить васъ; вотъ въ чемъ дѣло: ко мнѣ пришелъ человекъ, служившій прежде у васъ и теперь еще у васъ живущій: сдѣлайте одолженіе, отпишите ко мнѣ, за что вы его отпустили, и могу ли я взять его съ полною увѣренностью, тѣмъ болѣе, что я долженъ взять его черезъ мѣсяцъ съ собою въ деревню“.

Посѣтивъ университетскіе экзамены, Погодинъ замѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ* (13 мая 1846 г.): „На экзаменѣ, къ Соловьеву. Всѣ свои умничанья онъ заставляетъ учить студентовъ. Строгановъ портить его, а можетъ быть, это и собственное его свойство: опрометчивость и самонадѣянность. Дай Богъ, чтобы выручило его прилежаніе. У Кавелина былъ довольнѣе. Строгановъ очень любезенъ“. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого мы видимъ Соловьева въ гостяхъ у Погодина, въ обществѣ Кубарева, князя Оболенскаго, Бѣляева, мирно бесѣдующимъ о Русской Исторіи, о Несторѣ.

Мы уже знаемъ, что въ 1845 году Погодинъ разсорился съ своимъ преемникомъ по секретарству въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ О. М. Бодянскимъ; но въ 1846 году взаимныя неудовольствія утратили свой острый

характеръ. Въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 17 *апрѣля* 1846. Два раза встрѣчался съ Бодянскимъ въ типографіи, и онъ обращается ко мнѣ съ великою привѣтливостію, я отвѣчаю тѣмъ же.

— 16 *іюня*. Бодянской явился по моей запискѣ разсмотрѣть Ходаковского. Шелковый. Вызвался напечатать Іакова. Я радъ. Притомъ худой миръ лучше доброй ссоры.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого свиданія Бодянской весьма дружелюбно писалъ Погодину: „Списки съ житій Бориса и Глѣба и др., равно какъ и самую рукопись перваго, принадлежащую библіотекѣ Московской духовной типографіи, получилъ я исправно, и благодарю за все это усерднѣйше васъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ! По полученіи вашего изслѣдованія объ этихъ житіяхъ я тотчасъ приступилъ къ печатанію подлинника, на извѣстныхъ условіяхъ Общества, то-есть, половинное число экземпляровъ журнала въ пользу сочинителя или переводчика, или же самого владѣльца, въ видѣ *особыхъ* оттисковъ. На этихъ условіяхъ все и для всѣхъ можно печатать у насъ, и какъ бы кто ни противорѣчилъ тому, постановленіе Общества неизмѣнно, коль скоро предлагаемое одобрено имъ. А потому и *Величко* очень можетъ пойти *этой же* самой дорогой, если только вамъ угодно будетъ его пустить по ней. Графъ (С. Г. Строгановъ) здѣсь, естественно, въ сторонѣ, потому что обстоятельства совсѣмъ другого рода, не могутъ его побуждать ни *противъ*, ни *за*: онъ долженъ остаться простымъ зрителемъ совершающагося. Между тѣмъ вы гораздо больше выигрываете противъ прежняго, то-есть, получаете вдвое больше экземпляровъ: въ свое полное распоряженіе *триста*, да Общество столько же, сверхъ *шестисотъ* для журнала. Думаю, полного завода—довольно, предовольно. Если *да*, благоволите извѣстить меня и прислать самого Величко. Что до прочихъ Малороссійскихъ лѣтописей, имѣющихся у васъ, то и онѣ могутъ быть точно также изданы, если только это угодно вамъ и если, разумѣется. нѣтъ ихъ

у меня, или въ Обществѣ. Въ последнемъ случаѣ ихъ можно употребить только какъ *варианты*, хотя тоже не безъ признательности къ владѣльцу ихъ. Еще: не угодно ли будетъ вамъ напечатать въ журналѣ Общества, подъ моимъ смотрѣніемъ, *Малороссійское* Евангеліе съ его Словенскимъ текстомъ, то-есть, въ двухъ столбцахъ, точь въ точь, какъ есть, и тѣми же буквами? При согласіи вашемъ на это нужно имѣть мнѣ его теперь же, чтобы распорядиться на счетъ изготовленія буквъ, а это—довольно мѣшкливо. Впрочемъ все это предоставляю вашему разсмотрѣнію и прошу только извѣстить меня о своемъ да, или нѣтъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ“ <sup>321</sup>).

Съ 1846 года Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ начало издавать *Чтенія*. „Радъ, тысячу разъ радъ“, писалъ Сахаровъ Кубареву,—„что наконецъ Общество Историческое возстало отъ паденія. Слава Богу! Начало доброе и святое начало. Хвала Бодянскому! Дай Богъ, чтобы съ него началось возстаніе и новая эпоха. Еще желаю, чтобы интриги уничтожились въ самомъ основаніи. Съ ними поидетъ новое горе. Среди васъ засѣло молодое поколѣніе, народъ бурный, съ бранными тревогами. Духъ бодрости и терпѣнія пошли, Господи, Бодянскому, умѣренностію и трудолюбіемъ осѣни, Боже, членовъ. Не нарадуюсь на *Чтенія*...“

Кто же были представителями въ Обществѣ молодого поколѣнія, которое такъ устрашало Сахарова? Въ теченіе 1845 и въ началѣ 1846 года въ члены Общества, по предложенію Бодянскаго, были избраны: И. Д. Бѣляевъ, К. Д. Кавелинъ, С. М. Соловьевъ, М. Н. Катковъ и С. Н. Палаузовъ.

Но Кубаревъ не раздѣлялъ этихъ опасеній Сахарова и писалъ ему: „Дѣйствія Общества, благодаря добросовѣстности Бодянскаго, извѣстны теперь всѣмъ. Худо ли, хорошо ли дѣйствуетъ Общество, пусть судятъ другіе. Но то неоспоримо, что оно дѣйствуетъ добросовѣстно. Жаль, что вы недовольно ясно для меня выразились на счетъ молодого поколѣнія. Признаюсь, сколько я могу проникнуть въ глубь по внѣшнимъ призна-

вамъ, мнѣ кажется, что сомнѣнія ваши напрасны, вѣроятно — такъ, и дай Богъ, чтобы и было такъ. Еще одно слово о молодомъ поколѣніи. Вы знаете, сколько Общество нуждалось въ дѣятеляхъ. Вотъ побудительная причина въ избраніи новыхъ членовъ. Какъ бы то ни было, но въ выборѣ ихъ болѣе было предусмотрительности и осторожности, нежели прежде“. На это Сахаровъ отвѣчалъ Кубареву: „Вы, отче святе, какъ скитскій житель, не вѣдаете мірскихъ суетъ, не знаете всѣхъ продѣловъ. Да почиетъ миръ надъ вами“ <sup>332</sup>).

Исполняя желаніе Малороссіяня, Бодянской съ перваго номера *Чтеній* началъ печатать *Исторію Руссовъ или Малой Россіи*, сочиненіе, приписываемое Георгію Конисскому, архіепископу Бѣлорусскому. По этому поводу Кулѣшъ писалъ Погодину: „Видѣлъ я *Чтенія* вашего Общества Исторіи. Не понимаю только, зачѣмъ историческіе Малороссійскіе источники начаты съ Лѣтописи Конисскаго, тогда какъ мы имѣемъ источники въ болѣе строгомъ значеніи этого слова, то-есть, сочиненія не прагматическія. Нельзя ли мнѣ какъ-нибудь примкнуть къ вашему Историческому Обществу? Я приготовилъ бы для печати одинъ Украинскій современный мемуаръ о войнахъ Хмельницкаго и о междоусобіяхъ, бывшихъ въ Украинѣ по его смерти. Эта лѣтопись, напечатанная въ слѣдъ за Конисскимъ, была бы лучшимъ объясненіемъ *Исторіи Руссовъ*. На основаніи этихъ двухъ сочиненій можно будетъ многое сказать не только о фактахъ исторіи Украины, но и о направленіи, принятомъ этою исторіею въ смыслъ науки“ <sup>333</sup>).

Самъ Погодинъ, прочитавъ Конисскаго, отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ съ удовольствіемъ Конисскаго. Что за ужасы дѣлали тамъ наши герои и Петръ“ \*).

По выходѣ изъ секретарства Погодинъ рѣдко посѣщалъ засѣданія Общества, но, посѣтивъ засѣданіе, бывшее 31 мая 1846 года, онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Въ Обществѣ. Хохоль приготовилъ и счетъ Типографіи о напечатан-

\*) См. статью Л. Н. Майкова: Къ вопросу объ исторіи Руссовъ въ Журналѣ Министерства Народнаго просвѣщенія 1893 г.



ныхъ *Изсѣдованіяхъ*, хотя они даже и не кончены. Строгановъ просить еще пятьдесятъ экземпляровъ. Ундольскій очень не понравился выдуманному письмомъ Филарета съ шутками<sup>4 334</sup>).

Замѣтимъ здѣсь встать, что почтенный библіографъ имѣлъ вообще склонность къ остроумію, которыя, къ сожалѣнію, не всегда бывали удачны. Такъ, Александръ Солоницынъ имѣлъ надобность въ Московскій Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, гдѣ служилъ Ундольскій. Заручившись рекомендательнымъ письмомъ отъ Погодина, Солоницынъ явился въ Архивъ. Визитъ этотъ былъ самый неудачный, и Солоницынъ жаловался Погодину: „Съ вашею запискою“; писалъ онъ, — „явился я въ Архивъ, когда еще тамъ Ундольскаго не было, и потому показалъ ее сперва г. Калачову. Пріѣхалъ потомъ и Ундольскій, я къ нему честь честью, съ вашею запискою. Глупѣе и пустѣе того, что онъ мнѣ молотъ, придумать нельзя. Богъ съ нимъ. Записку вашу доложилъ Калачовъ, и князь М. А. Оболенскій тотчасъ же велѣлъ выдать Гербовникъ“. Въ *Дневникъ* же Погодина встрѣчается слѣдующая записъ, касающаяся почтеннаго библіографа: „Наставленіе Ундольскому о скромности“.

Въ концѣ 1846 года любимый ученикъ Погодина, Н. В. Калачовъ, выпустилъ въ свѣтъ *Предварительныя юридическія свѣдѣнія для полнаго объясненія Русской Правды*, разсужденіе, писанное для полученія степени магистра. Подъ 17 ноября 1846 г. въ *Дневникъ* Погодина читаемъ: „Калачевъ привезъ свою прекрасную диссертацию и изданіе. Похвалы его пріятны. Вотъ оно самолюбіе!“ О днѣ своего диспута Калачовъ извѣстилъ Погодина: „Полагая, что, можетъ быть, вамъ будетъ угодно почтить защищеніе моей диссертации вашимъ присутствіемъ, слѣшу васъ увѣдомить, что мой диспутъ назначенъ 16 декабря“. Но обстоятельства помѣшали Погодину быть на этомъ диспутѣ. Послѣ диспута Калачовъ извѣстилъ его о происходившемъ: „Премного благодарю васъ за ваше письмо: нисколько не сѣтую на васъ за отсутствіе на моемъ диспутѣ;

жалѣю только, что между всѣми пустыми возраженіями я не получилъ дѣльныхъ, которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, могъ ожидать отъ васъ. Теперь получилъ вашу записку, утѣшаюсь обѣщаніемъ вашимъ побесѣдовать съ вами наединѣ и непремѣнно на дняхъ же буду у васъ, въ надеждѣ получить отъ васъ много, много для меня полезнаго. Возражали мнѣ Морозовъ, Лешковъ, Соловьевъ, Кавелинъ; дѣлали замѣчанія Крыловъ и Бодянский: послѣдніа были очень дѣльны; за то возраженія такъ плохи, что изъ рукъ вонъ. Отъ Морозова я даже не ожидалъ услышать то, что онъ мнѣ говорилъ. Я привезу къ вамъ съ собою всѣ возраженія мнѣ сдѣланныя и мною записанныя“.

Древлехранилище Погодина стало уже знаменитостью Москвы и обратило на себя вниманіе Правительства. Къ его владѣльцу Министръ Внутреннихъ Дѣлъ обратился съ слѣдующею просьбою: „Служащій при мнѣ коллежскій совѣтникъ Надеждинъ довелъ до моего свѣдѣнія, что въ вашей библіотекѣ находятся весьма рѣдкія, а частію и единственные въ своемъ родѣ, рукописи, въ коихъ содержатся любопытныя свѣдѣнія касательно сущности и распространенія въ Россіи ересей и расколовъ. Предпринявъ во вѣренномъ мнѣ Министерствѣ подвергнуть сей важный предметъ полному и подробному изслѣдованію, я желалъ бы воспользоваться сими матеріалами, и потому обращаюсь къ вамъ, милостивый государь, съ покорнѣйшею просьбою, доставить мнѣ означенныя въ прилагаемомъ у сего спискѣ рукописи. Въ случаѣ, если вы изъявите на сіе свое согласіе, я прошу васъ передать рукописи эти Г. Московскому Гражданскому Губернатору, къ коему съ симъ вмѣстѣ отношусь о немедленномъ ихъ ко мнѣ препровожденіи. Сверхъ того, зная, что вы продолжаете умножать свою библіотеку подобными драгоценностями, я просилъ бы васъ препровождать ко мнѣ и впредѣ тѣмъ же путемъ всѣ вновь приобретаемыя вами и относящіяся къ тому же предмету рукописи и книги. Съ своей же стороны считаю нужнымъ присовокупить, что полученное отъ

васъ, по минованіи надобности, будетъ возвращено къ вамъ въ совершенной цѣлости и съ полною благодарностію за содѣйствіе въ предпріятіи, коего пользу и важность вы, милостивый государь, болѣе чѣмъ кто-либо, оцѣните въ состояніи\*.

Пріѣзжающіе въ Москву иностранные путешественники и соотечественники считали долгомъ ознакомиться съ Погодинскимъ Древлехранилищемъ. „Ея свѣтлость княгиня Софія Григорьевна Волконская“, писалъ Погодину Д. Н. Свербеевъ, — „поручила мнѣ испросить у васъ позволенія осмотрѣть вашъ Музеумъ и привести съ собою знакомыхъ ей двухъ Англійскихъ путешественниковъ“. Въ маѣ 1846 года посѣтилъ Москву извѣстный мореходецъ П. И. Рикордъ, и Погодинъ получаетъ отъ князя М. А. Оболенскаго слѣдующую записочку: „Любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, мы съ адмираломъ П. И. Рикордомъ собираемся нынѣ къ вамъ въ 6 часу, для осмотра вашего Древлехранилища. Желательно было бы застать васъ дома“. Посѣщеніе состоялось 20 мая 1846 года, и Погодинъ съ любопытствомъ слушалъ рассказы Рикорда „о Камчаткѣ и Японіи“. Нѣкто извѣщалъ Погодина, что оберъ-прокуроръ Св. Синода, графъ Н. А. Протасовъ, „проситъ васъ убѣдительно позволить ему, одному, безъ постороннихъ посѣтителей, осмотрѣть сокровище вашего кабинета. Ему особенно желалось бы не встрѣчаться съ прописанными въ запискѣ вашей лицами“. Но какъ нарочно, въ то утро, когда ожидалъ Погодинъ посѣщенія Протасова, къ нему „пріѣхали Оболенскій и Глинка“. Вскорѣ послѣ посѣщенія Оберъ-Прокурора Св. Синода Погодинъ получаетъ отъ князя Ю. А. Долгорукаго слѣдующую записочку: „Шуринъ мой Владиміръ Петровичъ Давыдовъ\*), пріѣхавшій вчера изъ Петербурга, весьма желаетъ видѣть превосходное собраніе ваше“. Наконецъ самъ Чаадаевъ писалъ Погодину: „Всякое утро собираюсь къ вамъ для обозрѣнія вашего Музеума. На дняхъ прочитавъ въ *Москвитянинѣ* новыя ваши пріобрѣтенія, это желаніе еще сильнѣе ощущаю. Но видно съ утромъ не слажу. И такъ позвольте пріѣхать къ вамъ

\*) Впослѣдствіи графъ Орловъ-Давыдовъ.

вечеромъ, часу въ 8-мъ. Если это дѣло возможно, то извѣстите меня. Очень обяжете, если доставите мнѣ случай увидать ваши драгоценности и вмѣстѣ съ тѣмъ побесѣдовать съ вами“.

Въ 1846 году Древлехранилище Погодина обогатилось между прочимъ записками Грибовскаго объ Екатериинѣ, которыя приобрѣтены отъ Губерта. „Думалъ-было“, писалъ Погодинъ,—„что такъ, анъ за деньги“. Вдова К. О. Калойдовича, будучи въ крайности, предлагала Погодину купить портретъ Мазепы. „Вчера я у себя нашла“, писала она,—„портретъ Мазепы. Посылаю къ вамъ. Неудобно ли вамъ его взять, а мнѣ что вы дадите, повѣрите ли, что я такъ дошла, что говядины не на что купить. Сегодня заняла у своего человѣка полтинникъ. Не помню, что заплатилъ покойный Константинъ Оедоровичъ за него“.

Желая поощрить своихъ поставщиковъ Древностей изъ раскольниковъ, Погодинъ обратился сначала къ Надеждину, а потомъ къ Далю съ просьбою о награжденіи ихъ медалями. Надеждинъ прямо отвѣчалъ ему: „Медали, какія бы то ни были, не по моей части. Впрочемъ — о твоёмъ требованіи—въ которомъ, сказать тебѣ по правдѣ, нѣтъ никакого смысла, хотѣлъ писать тебѣ Даль... Толкуешь ты—про награды. Нѣтъ, братья! Это, вѣрно, не наше ремесло. Я говорю тебѣ по чистой совѣсти—не хлопочу ни о чемъ подобномъ, да и считаю бесполезнымъ хлопотать. Что мнѣ? Чинъ, что ли, генеральскій?—Такъ—куда съ нимъ? Или—кресты? Такъ ихъ здѣсь никто не носитъ. А звѣзды даются только генераламъ. Ты правъ—у меня точно плебейская натура. Не далъ мнѣ Богъ попозновенія къ этимъ вещамъ. Можетъ быть и къ лучшему!“ На домогательство Погодина о награжденіи раскольниковъ медалями Даль не безъ ироніи отвѣчалъ ему: „Письмецо ваше, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, заставило меня, между прочимъ, улыбнуться въ честь патріархальности вашихъ нравовъ—или права,—а между тѣмъ сколько ни думалъ, не выдумалъ ровно ничего, чѣмъ бы можно было васъ потѣшить. Да развѣ вы проживаете на пре-

чистомъ Дѣвичьемъ Полѣ матушки луны? Развѣ вы не знаете, какимъ образомъ должно дѣлать то, о чемъ вы хлопочете, медали, то-есть, и что изъ этого порядка вылѣзть нельзя. 1-е. Медали даются не иначе, какъ черезъ Комитетъ Министровъ, слѣдовательно невозможно сдѣлать это въ два дня, къ Пасхѣ, а развѣ въ два, три мѣсяца. 2-е. Вы представляете: должно быть во всей подробности и доказано, за что, за какія услуги? Я отнюдь не утверждаю, чтобы онѣ давались дѣйствительно по *заслугамъ*, но *предлогъ* долженъ быть хотя по виду основательный; а въ настоящемъ случаѣ я даже и придумать не могу, какой бы это могъ быть предлогъ? 3-е. Медали выдаются съ надлежащими околичностями, не *частнымъ* образомъ черезъ кого-нибудь, а черезъ прямое начальство тѣхъ лицъ, кому слѣдуетъ. 4-е. Наконецъ, самое убійственное для настоящаго случая—это то, что раскольниковъ никогда и никоимъ образомъ нельзя доставить медали; если это случилось, то въ тѣхъ только случаяхъ, когда обстоятельство это было скрыто, то-есть, по злоупотребленіямъ. Вотъ, къ сожалѣнію, все, что я могу вамъ сказать и чѣмъ могу утѣшить <sup>а 385</sup>).

---

### XLVIII.

Въ 1846 году С. П. Шевыревъ напечаталъ свои публичныя лекціи подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Исторія Русской Словесности, преимущественно Древней*. Въ мартѣ вышла первая часть, а въ августѣ вторая. Погодину показалось, что цѣна, назначенная за эту книгу, слишкомъ высока, и сѣтовалъ на Шевырева, что онъ не посоветовался съ нимъ по этому предмету. Оправдываясь Шевыревъ представилъ Погодину примѣры: „Три тома Филарета“, писалъ онъ, — „по четырнадцать р. продаютъ потому, что ихъ издалъ Лобковъ на свои деньги и продаетъ съ тѣмъ только, чтобы воротить употребленное. Ты же издалъ Иннокентія—изданіе посред-

ственное—и продаешь по двадцати р. Журналы нейдутъ въ расчетъ. Не буду ужь очень самолюбивъ, если скажу, что мои три тома не могутъ же сравниться съ цѣлымъ годомъ *Отечественныхъ Записокъ*, даже если и *Москвитянина* дать въ придачу. Никитенки *Очеркъ Истории Русской литературы* сто пятьдесятъ двѣ странички; изданіе хуже, меньше—и продается рубль двадцать коп., а у меня двѣсти шестьдесятъ страницъ и изданіе больше форматомъ и красивѣе, дороже тридцатью коп. с. *Тарантасъ* пять р. сер. *Лекціи* Давыдова семнадцать листовъ печатныхъ на дурной бумагѣ рубль сер. Наконецъ твой *Годъ въ чужихъ краяхъ* на скверной бумагѣ, сквернымъ шрифтомъ, маленькія книжки, три р. сер.—если не болѣе. Послушалъ бы ты, что объ этомъ говоритъ Базуновъ, равно какъ и объ цѣнѣ всѣхъ твоихъ изданій. О дороговизнѣ книги ты слышалъ отъ Перевощикова, который вдругъ что-то окрысился“.

Книга Шевырева вообще произвела благопріятное впечатлѣніе. Хомяковъ писалъ Самарину: „Лекціи Шевырева выходятъ, первыя пять вышли; онѣ выдерживаютъ чтеніе гораздо лучше, чѣмъ я ожидалъ. Книга будетъ хороша и занимательна, и полезна. Филаретъ благословилъ его за нее образомъ; представьте радость Шевырева“<sup>336</sup>). Весьма лестный отзывъ о книгѣ Шевырева сдѣлалъ и Гоголь. Онъ писалъ самому автору: „Читаю я твои лекціи. Это первое степенное дѣло въ нашей Литературѣ. Но вотъ тебѣ, покажѣсть, замѣчаніе: ты поторопился подать читателю впередъ тобою выведенные результаты, для полного уразумѣнія которыхъ еще не такъ подготовленъ читатель, или слушатель, а потому твоя книга покуда не вся цѣликомъ поймется всѣми. Но это ничего. Можетъ быть, поспѣетъ мнѣ подставить ступеньку въ твоей книгѣ тѣмъ, которые безъ того не подымутся въ ней“<sup>337</sup>).

Посылая первый выпускъ своей книги А. В. Веневитинову, Шевыревъ писалъ ему: „Надѣюсь, что ты прочтешь ее и выразишь свое мнѣніе, которымъ я много дорожу... Мнѣ-

ніе графа Михаила Юрьевича (Вьельгорскаго) о книгѣ моей будетъ для меня также дорого“. Затѣмъ Шевыревъ послалъ и второй выпускъ своей книги. Само собою разумѣется, что Веневитиновъ съ полнымъ вниманіемъ и отъ доски до доски прочелъ книгу Шевырева. Это очень тронуло автора, и онъ писалъ своему другу: „Любезный другъ Веневитиновъ! Благодарю тебя отъ всей души за милое письмо твое, какъ мнѣ пріятно было видѣть, что ты, при всѣхъ своихъ занятіяхъ, такъ подробно до послѣдняго примѣчанія читалъ мою книгу. Этого Московскіе мои друзья не дѣлаютъ, не смотря на то, что время все имъ принадлежитъ. Твое письмо, искренно скажу, одна изъ лучшихъ наградъ за мой трудъ, а твои замѣчанія о Русской Правдѣ и коганъ-хоти—драгоцѣнны. Позволь мнѣ въ слѣдующемъ выпускѣ приложить ихъ въ дополненіяхъ. У меня будутъ здѣсь соединены многія замѣчанія, полученныя отъ разныхъ лицъ. Ты меня много обяжешь, если позволишь упомянуть и твое имя“.

Узнавъ отъ кого-то, что и князь В. Ѳ. Одоевскій не вѣрить въ Русскія Древности, Шевыревъ писалъ Веневитинову: „Одоевскій приказывалъ мнѣ сказать, что онъ никогда не вѣрилъ въ существованіе нашихъ древностей, а прочитавъ мою книгу, сталъ еще менѣе вѣрить въ нихъ. Но надѣюсь, что Румянцовскій Музей, котораго онъ директоръ, лучше и краснорѣчивѣе, чѣмъ моя книга, убѣдитъ его въ ихъ существованіи. Скажи ему это—директору древностей, которыя не существуютъ. Иначе Одоевскій будетъ похожъ на то лицо, которое сомнѣвается въ своемъ я и можетъ быть весьма хорошимъ предметомъ для повѣсти, которую можетъ онъ даже и написать, если дошелъ путемъ *Отечественныхъ Записокъ* до личнаго самопознанія“. Одоевскій къ этому письму Шевырева сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе: „Этого Одоевскій никогда не думалъ говорить, слѣдственно и все остальное дребедень, а Шевыревъ такъ горячо принялъ къ старинѣ, что попалъ уже въ философію моей тетушки, что живетъ на Поварской—и за Москворѣчьемъ—и слушаетъ всякія сплетни“<sup>338</sup>). Погодинъ,

прочитавъ книгу Шевырева, отмѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ Шевырева. Не упомянулъ даже обо мнѣ, когда рѣчь шла о Норманствѣ, а упомянуты и Соловьевъ, и чортъ знаетъ кто. Ну, объясните мнѣ это явленіе. Всякій какъ будто боится произнести мое имя! Богъ съ вами!“<sup>339</sup>). Мы уже знаемъ, что М. С. Муханова критически отнеслась къ лекціямъ Шевырева, а потому послѣдній не безъ скрытаго неудовольствія писалъ Погодину: „Не записка твоей фразерки, а утѣшительно мнѣ особенно мнѣніе всѣхъ тѣхъ, которые слышали мои лекціи и находятъ, что впечатлѣніе при чтеніи ихъ не только не ослабѣваетъ, а усиливается. Это мнѣ сказали: Хомяковъ, Павловъ, Чаадаевъ, Мейндорфъ и др. Вотъ что мнѣ пріятно“.

31 октября 1846 года Шевыревъ писалъ Веневитинову: „На нѣсколько времени я, къ сожалѣнію, буду отвлеченъ отъ Древней Русской Словесности новымъ публичнымъ курсомъ, который я хочу прочесть и который поглотитъ мои силы. Но какъ только буду отъ него свободенъ, немедленно примусь опять за работу. Не читать курса нельзя. Москва требуетъ живого слова. На нынѣшній разъ отправляюсь къ другимъ народамъ“<sup>340</sup>).

Въ концѣ 1846 года Шевыревъ приступилъ къ чтенію публичныхъ лекцій: *Объ Исторіи Всеобщей Поэзіи*. Предъ началомъ чтеній онъ писалъ Погодину: „Хоть и не надѣюсь тебя видѣть на лекціи, потому что ты совершенно удалился отъ людей, но все-таки посылаю тебѣ билетъ, любезный другъ. Жаль, что совѣтомъ ты опоздалъ. Въ теченіе почти двухъ мѣсяцевъ ты мнѣ совѣтовалъ читать, а тутъ, когда уже получено позволеніе и всѣ ожидаютъ моего курса, ты вдругъ совѣтуешь мнѣ не читать. Согласись по крайней мѣрѣ въ томъ, что этотъ совѣтъ не вѣстенъ“. Въ томъ же письмѣ Шевырева мы читаемъ и слѣдующее: „Да отчего же это необходимо надобно удалаться отъ людей, прощаться со всѣми, чтобы писать книгу для людей же?—Право есть что-то въ душѣ твоей нездоровое. Это нелюбимство не нормально—и не мо-



жетъ послать вдохновеній. А ты все косишь въ немъ болѣе и болѣе. Уединеніе дѣло необходимое для труда, но зачѣмъ же прощанія? Я тоже лѣто провелъ почти въ уединеніи, писалъ книгу, но ни съ кѣмъ не прощался. Важнѣе уединенія внутреннее спокойствіе, тишина собственного духа — а этого изъ записки твоей не вижу. Водвори-ка это спокойствіе — и книга пойдетъ лучше, какъ и всякій трудъ идетъ лучше, когда внутренне спокоенъ и любишь людей, вблизи или издали, а не бѣжишь отъ нихъ“. Какъ бы то ни было, Погодинъ посѣтилъ лекцію Шевырева и вотъ что записалъ въ своемъ *Дневникѣ*, подъ 7 декабря 1846 года: „На лекціи къ Шевыреву. Декламація ужасная, но конецъ украсенъ мыслями очень хорошими“. Замѣчательно, что въ тотъ же день И. С. Аксаковъ, изъ Калуги, писалъ слѣдующее своему отцу: „Сомнительно, чтобъ лекціи Шевырева имѣли интересъ истинный; да и будутъ ли онѣ много посѣщаемы, при отсутствіи щекотливыхъ вопросовъ о Востокѣ и Западѣ“<sup>341</sup>).

По свидѣтельству Погодина, эти лекціи „не обошлись и безъ непріятностей. Такъ, былъ на Шевырева доносъ за прочтеніе одного мѣста изъ письма Карамзина къ Дмитріеву о Петербургѣ, вслѣдствіе котораго графъ С. С. Уваровъ, всегда уважавшій и цѣнившій Шевырева, совѣтовалъ ему, чрезъ графа Н. А. Протасова, быть осторожнѣе“<sup>342</sup>).

„Нелюбимство“, въ которомъ Шевыревъ обвинялъ своего друга Погодина, было не въ натурѣ послѣдняго и, вѣроятно, зародилось вслѣдствіе многообразныхъ Московскихъ его огорченій. Напротивъ того, общительность и участливость Погодина къ людямъ были прекрасными качествами его натуры, что доказывается отношеніями его къ провинціальнымъ ученымъ, которые и увѣнчали его почетнымъ титуломъ *патріарха Русскихъ археологовъ* и за благословеніемъ къ нему эти скромные люди обращались предъ начатіемъ какаго-либо предпріятія въ области Русскихъ Древностей. Сохранилось замѣчательное письмо, изъ Нижняго Новгорода, знаменитаго впоследствии писателя Павла Ивановича Мельникова (отъ 15

февраля 1846 г.), въ которомъ читаемъ: „Предо мною лежать планъ Нижняго, сотныя грамоты, писцовыя книги, описи воеводскія, словомъ все, что можно было собрать здѣсь для Нижегородской археологіи, все, что уцѣлѣло въ Нижегородскихъ архивахъ и что собралъ я, благодаря нашему Губернатору \*), усердно желающему поднять на ноги Нижегородскую старину. Прежде нежели приступлю рѣшительно къ дѣлу, хочу *испросить благословенія отъ васъ, патриарха Русскихъ археологовъ.*

„Благословите меня на подвигъ *серьезный* и не оставьте своими совѣтами. До сихъ поръ я не рѣшался принятьсь за это дѣло, боясь его—теперь, когда рѣшился, къ вамъ обращаюсь—не оставьте меня.

„Мнѣ хочется прежде всего составить планъ Нижняго-Новгорода 1621 года и описаніе его. Но, какъ это сдѣлать? Дѣлать выписки изъ сотныхъ грамотъ и воеводскихъ описей съ поясненіями—было бы слишкомъ сухо. Притомъ же я думаю сдѣлать вотъ что: написать *путешествіе по Нижнему въ 1621 году*. Вотъ мы въ Кремлѣ, въ соборѣ: тарханная грамота расскажетъ намъ о духовенствѣ того времени, о его содержаніи и проч. Хронографъ Ельнина расскажетъ, что протопопъ Савва сдѣлалъ передъ воззваніемъ Минина, какъ онъ приготовилъ Нижегородцевъ къ дѣлу возстанія. Утвердительная грамота о избраніи на царство царя Михаила Ѳеодоровича напомнитъ, что онъ былъ избирателемъ. Сотная грамота укажетъ на то, что ему, Минину, и дьяку Порошину царемъ Михайломъ Ѳеодоровичемъ отдано было государево дворовое мѣсто въ Кремлѣ. Я познакомлю читателя съ его сыновьями и проч. Вотъ свѣжая могила Минина, онъ только пять лѣтъ схороненъ, не у Похвалинской церкви, которой тогда еще не существовало, но прямо въ соборѣ; тутъ бывалый человѣкъ расскажетъ намъ повѣсть объ этомъ выборномъ человѣкѣ и *первомъ* (?) простолюдинѣ, попавшемся въ Думу. Замѣтивъ рѣдкости собора, а особенно тавія, которыя существовали въ

\*) Нижегородскимъ губернаторомъ въ то время былъ кн. Михаилъ Александровичъ Урусовъ.

1621 году, а теперь не существуют, мы пойдемъ къ воеводѣ Петру Петровичу Головину, только что пріѣхавшему изъ Терковъ. Онъ разскажетъ намъ о дѣлахъ Астраханскихъ и Персидскихъ, о подданствѣ князя Косая (это было его дѣломъ) и проч. Потомъ мы знакомимся съ дьякомъ Васильемъ Юдинымъ, который былъ въ Нижнемъ во время возстанія и потомъ съ княземъ Одоевскимъ и Семеномъ Васильевичемъ Головиннымъ въ Астрахани, по повимѣ Заруцкаго. Вотъ домъ только что пріѣхавшаго въ Нижній для сбора ратниковъ, для Польской войны, князя Лобанова-Ростовскаго. Онъ также разсказываетъ о своихъ походахъ. Вотъ привезли изъ Верхотурья Марью Ивановну Хлопову съ Желябужскими. Вотъ мы заходимъ въ домъ Зубина, у котораго скрывался Лже-Петръ, къ Патовину—первому торговому человѣку Нижегородскому, имѣющему варницы у Соли-Каменной; вотъ домъ князя Д. М. Пожарскаго, князя Ѳедора Ивановича Пожарскаго, Ѳедора Ивановича Шереметева, князя Юрія Сулешева, князя Черкаскаго, Семена Васильевича Головина, Шеина, Морозова, Артемія Измайлова. Вотъ у Никольскихъ Воротъ дворъ панской, огороженъ тыномъ большимъ, а были въ немъ Литовскіе полоняники Будло съ товарищи, а строенъ тотъ дворъ Лахами. Вотъ житничій дворъ строенъ Мордвою, тюрьма, губная изба, вотъ домъ губного старосты Теряева, вполсѣдствіи казненаго въ Нижнемъ, вотъ домъ Князегорскаго, подписавшагося на утвержденіи грамотъ царя Михаила Ѳеодоровича, домъ дѣтей воеводы Алябьева, сдѣлавшаго много во время царствованія Василя Іоанновича Шуйскаго. Вотъ домъ князя Болховскаго, князя Воротынскаго, князя Борятинскаго, дьячій строенъ сохами. Вотъ домъ Остренева посланнаго изъ Нижняго къ князю Одоевскому въ Астрахань и чуть ли не погибшаго тамъ, Харламова съ товарищи. Вотъ монастырь Симеоновскій и Духовской, соборъ Архангельскій, мосты, лавки, башни.

„Описавъ Кремль и его улицы, перехожу въ городъ въ

острога новый и старый и продолжаю въ такомъ же родѣ свое описаніе.

„Что вы на это скажете, Михаилъ Петровичъ? Благословите ли меня писать это.

„Сколько именъ въ лежащихъ передо мною книгахъ. Какой обильный матеріалъ для генеалогіи Русскихъ родовъ княжескихъ и дворянскихъ.

„Занимаясь преимущественно Исторіею смутнаго времени, я прихожу къ заключенію, что всѣ революціи бывають сбиты на одну колодку; нашъ Ляпуновъ—Мирабо. Нашъ Пожарскій, представитель народной партіи Лафайета и т. д.“.

---

## XLIX.

13 мая 1846 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Не отправиться ли мнѣ путешествовать?“ а 18-го онъ уже обратился въ Министру Народнаго Просвѣщенія съ слѣдующею просьбою: „Имѣя необходимую нужду для восстановления своего здоровья воспользоваться въ нынѣшнемъ году минеральными водами, прошу покорнѣйше ваше высокопревосходительство объ исходатайствованіи мнѣ Высочайшаго позволенія ѣхать за границу на четыре мѣсяца“. 23 іюня того же года Департаментъ Народнаго просвѣщенія, по приказанію Министра, увѣдомилъ Погодина, что Государь Императоръ „соизволилъ на увольненіе его за границу на четыре мѣсяца“.

Собираясь въ путешествіе, Погодинъ писалъ Максимовичу: „Что ты совсѣмъ пропалъ и ни слова не отделинулся мнѣ о *Москвитянинѣ*, ни о *Словѣ* Карамзину, ни о прочемъ? Я ѣду мыкать свое горе. Усталъ!“ <sup>348</sup>)

27 іюня 1846 года, Погодинъ выѣхалъ въ Петербургъ. Судя по письму его брата, въ Петербургѣ Погодинъ былъ принятъ очень хорошо: „Мы порадовались, какъ принимали тебя, какъ угощали. Мнѣ кажется, немного людей, которые бы

имѣли столько знакомыхъ, какъ ты! Но если мало друзей, то этому виною твой характеръ, онъ слишкомъ холоденъ для дружбы, или лучше сказать, ты не можешь показать своей пріязни. Къ тому же ты очень суровъ и настойчивъ въ обращеніи со всѣми, не смотря ни на какое лице, и поэтому трудно понять тебя..." Изъ Москвы Погодинъ выѣхалъ съ мыслию посѣтить Іерусалимъ, и передъ его отъѣздомъ въ Петербургъ, Ѳ. М. Дмитріевъ, по порученію своего отца, шуточно писалъ ему: „Папенъка опять боленъ и самъ къ вамъ писать не можетъ... Такъ какъ вы собираетесь въ Іерусалимъ, то покорнѣйше просить васъ, не можете ли тамъ хлопотать ему дипломъ на званіе Іерусалимскаго доктора, особенно бы хорошо было—медицины“. Но въ Петербургѣ онъ отложилъ это святое намѣреніе до болѣе благопріятнаго времени. „Какъ я радъ“, писалъ къ нему его братъ,—„что ты отложилъ свое путешествіе на Востокъ, оно совершенно несообразно съ твоимъ настоящимъ положеніемъ“.

А между тѣмъ А. В. Горскій, узнавъ, что Погодинъ предпринялъ путешествіе, писалъ ему: „Итакъ ваше желаніе видѣть берега Іордана, вертепъ Виѳлеемскій, останки Іерусалима, близко къ исполненію! Радуюсь за васъ и благословляю Господа, вдохнувшего вамъ сіе свѣтлое желаніе и устрояющаго вамъ путь въ страну, которая не была любезна Господу на землѣ. А мы провожали васъ, какъ древніе Израильтяне Моисея, когда входилъ онъ въ св. кущу, удаленную изъ стана за нечестіе людей. *Егда же вхождаше Моисей въ скинію, вѣнъ полка, стояху вси людѣ смотряще кійждо предъ дверми кущи своея: и зряху отходящу Моисею, даже внити ему въ скинію... И видяху вси людѣ столъ облачный стоящъ предъ дверми скини: и ставше вси людѣ, поклонилисѣ кійждо изъ дверей кущи своея*“<sup>244</sup>).

На этотъ разъ Погодинъ остался очень доволенъ Петербургомъ и оттуда писалъ Шевыреву: „Вчера получилъ твое письмо ввечеру, любезный Степанъ Петровичъ, сейчасъ ѣду за паспортами и вещами, и если успѣю заѣхать къ князю Н. И. Тру-

бецкому, то непременно заѣду. Вчера былъ у графа Протасова. Онъ принялъ меня съ распростертыми объятіями. Больше писать некогда. Говорилъ онъ съ восторгомъ о стихахъ Языкова къ тебѣ и о подвизаніи за правду. Потомъ у графа Сергѣя Семеновича. Обѣдалъ у него на дачѣ и былъ очень долго. Просилъ его на радостяхъ о введеніи Естественныхъ Наукъ въ гимназіи, взявъ часы у Латинскаго языка. Онъ сказалъ, что хочетъ ввести вездѣ двойкія гимназіи, классическія и реальныя. Много говорили, какъ теперь, такъ и въ Субботу о разныхъ предметахъ. Съ большимъ удовольствіемъ онъ хвалилъ твое письмо и рассказывалъ его содержаніе, вмѣстѣ съ совѣтомъ о Русскомъ языкѣ. Я, помолчавъ нѣсколько, сказалъ съ улыбкою, что я знаю содержаніе, и ты опасался причинить ему неудовольствіе этимъ совѣтомъ, но я рѣшительно убѣдилъ оставить этотъ совѣтъ. Нѣтъ, нѣтъ, я очень радъ слышать это и проч. Надъ цензурою нашею смѣются, такъ что мнѣ жалко даже стало показывать исключенныя мѣста. Скажи Голохвастову, что отвѣта оффиціального на просьбу о передачѣ (*Москвитянина*—Студитскому) нѣтъ, потому, что 4 мѣсяца нѣтъ собранія, но что начальству нѣтъ дѣла кто составляетъ (*Москвитянина*), ибо отвѣтчикомъ остаюсь я, въ Парижѣ или гдѣ бы ни было; что здѣсь безпрестанно перемѣняются редакторы и проч. Впрочемъ письмо пришлется къ нему. Нынѣ обѣдаю у Вяземскаго, куда пригласилъ онъ и всѣхъ Москвичей. Всѣ носятъ меня на рукахъ. Ёду завтра на пароходъ съ Самариными. Отдаваться не совѣтуютъ. Прощай. Не оставляй *Москвитянина*. Здѣсь всѣ твердятъ о постоянствѣ и твердости...”

Въ Петербургѣ Погодинъ сѣлъ на пароходъ и поплылъ въ Штетинъ.

Нашъ путешественникъ съ прискорбіемъ примѣтилъ отсутствіе на своихъ проводахъ изъ Петербурга В. В. Григорьева, что и не преминулъ ему замѣтить. По этому поводу Григорьевъ писалъ ему: „Начнемъ съ огорченія, которое причинилъ я вамъ, не проводивъ васъ при отъѣздѣ изъ Питера. Еслибы я зналъ, что

вы можете этимъ огорчиться, я, разумѣется, проводить бы васъ; но я вовсе не ожидалъ, чтобы вамъ такъ пріятно было видѣть меня при себѣ въ послѣднія минуты. Не ожидалъ, потому что вовсе не привыкъ видѣть, чтобы кто-нибудь до-рожилъ моею особою. Тѣмъ не менѣе, я очень понимаю, что такая бездѣлица могла огорчить васъ, если вы меня любите. Почти за такую же пустошь разгнѣвался я разъ въ юности на Грановскаго; болѣе десяти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ—и я все не могу забыть огорченія; не могу, потому что любилъ Грановскаго, какъ онъ и во снѣ не видѣлъ любить меня. Итакъ, приношу, по первой статьѣ обвиненій вашихъ полную повинную, но приношу съ удовольствіемъ. Упрекъ вашъ пришелся мнѣ весьма по сердцу: у меня сердце настоящее Русское“.

Шевыревъ изъ Москвы напутствовалъ своего друга (1 іюля 1846 г.) такими словами: „Богъ благословить тебя на путь и пошлетъ тебѣ *Ангела, невидимо соблюдающа и охраняюща*.

На пароходѣ общество было очень разнообразно. Знаменитый Мандтъ, врачъ царской фамиліи, рыжій нѣмецкій баронъ съ береговъ Рейна, Французскій аббатъ изъ Москвы, управитель Нѣмецъ съ Сибирскихъ заводовъ, Рейнскій купецъ, Американецъ съ женою и двумя свояченицами изъ Нью-Йорка, купецъ—Нѣмецъ изъ Москвы, везущій дѣтей учиться въ Германію, молодой Итальянецъ, торгующій въ Петербургѣ карандашами, красками и эстампами, нѣсколько Англичанъ, безъ которыхъ не бываетъ ни парохода, ни diligensa.

Представивъ составъ общества, Погодинъ передаетъ и содержаніе разговоровъ: „Докторъ рассказывалъ о своемъ путешествіи въ молодости на Шпицбергенъ, гдѣ онъ оставался мѣсяцевъ девять для естествоиспытанія на льдахъ, среди всѣхъ возможныхъ лишеній. Баронъ оказывалъ большія притязанія на любезность и свѣткость, и не говорилъ иначе съ своимъ маленькимъ сыномъ, какъ по-Французски, произнося п вмѣсто б, к вмѣсто г и с вмѣсто з. Эти господа вездѣ одинаковы, и

что ни происходит вокругъ ихъ, они остаются вѣрными своимъ старымъ привычкамъ и преданіямъ, вон между тѣмъ, даже сами по себѣ, лишаются своего смысла со всякимъ днемъ болѣе. Управитель исчислялъ богатства Сибири своимъ соотечественникамъ, которые съ жадными глазами разсматривая его драгоценные камни, восклицали *potz tausend!* Аббатъ поучалъ молодую вдову“. Такъ закончился первый день морского плаванія.

„На другой день всѣ затихли, платя дань морю, а потомъ привыкли“... На четвертый день приплыли въ Свиномюнду, гдѣ „приняли посѣщеніе таможенныхъ чиновниковъ, которые очень вѣжливо и снисходительно осмотрѣли чемоданы, взявъ у Ногодина пошлину только съ чаю и Торжковскихъ сапоговъ и башмаговъ“.

Въ Свиномюндѣ наши путешественники пересѣли на другой пароходъ и поплыли „по излучинамъ залива, качаемые порядочно вѣтромъ“. Къ нимъ присѣло много новыхъ лицъ, на коихъ ясно видно, замѣчаетъ Погодинъ, „смѣшеніе крови Нѣмецкой съ Словенскою, по берегамъ Балтійскаго моря“.

Когда мимо нашихъ путешественниковъ пронесся новый пароходъ изъ Штетина въ Копенгагенъ, то одинъ старикъ вскочилъ съ своего мѣста и воскликнулъ: *Wie imponirt etwas so grossartiges!* При этомъ восклицаніи Погодинъ „на силу могъ удержаться отъ смѣха“.

По приѣздѣ въ Штетинъ Погодинъ успѣлъ только пообѣдать и затѣмъ сѣлъ въ вагонъ и пустился по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ, куда прибылъ черезъ шесть часовъ.

На другой день по приѣздѣ въ Берлинъ Погодинъ, какъ онъ выражается, „по дурной привычкѣ, отправился въ Университетъ“, гдѣ прочелъ распредѣленіе лекцій и сѣлъ на лавку въ аудиторіи Раумера. У историка Гогенштауфеновъ, сочинителя новой Европейской Исторіи, который сообщилъ ученому свѣту столько новыхъ историческихъ документовъ, слушателей было менѣе двадцати. Онъ читалъ о наслѣдникахъ Александровой монархіи, читалъ въ настоящемъ значе-



нии этого слова, то-есть, по своей тетради, и даже по печатной книгѣ, вставляя по нѣсколькѣ словъ между параграфами. Въ концѣ лекціи онъ началъ также обзорѣніе Римской Исторіи. Раумеру тогда было лѣтъ гораздо за пятьдесятъ, но еще бодръ и свѣжъ; онъ малаго роста, съ свѣдующими зачесанными волосами“. Послѣ лекціи Погодинъ съ нимъ познакомился въ ихъ Sprechzimmer. Нашему путешественнику хотѣлось еще послушать Стура, который „съ такимъ успѣхомъ обрабатываетъ мифологію“. У него былъ только одинъ слушатель, да Погодинъ, приведшій съ собою двухъ Русскихъ. Къ послѣднимъ профессоръ и обращался, „стараясь голосомъ и движеніями изобразить силу Геркулеса и качества другихъ боговъ“. Послѣ лекціи Погодинъ счелъ долгомъ представиться Стуру, „и онъ тотчасъ началъ говорить объ уменьшеніи участія въ предметахъ древнимъ. Да“, отвѣчалъ ему Погодинъ, чтобъ утѣшить, — „у васъ занимаются теперь больше настоящимъ, но у насъ преобладаетъ еще прошедшее, и ваши сочиненія имѣютъ многихъ почитателей. Это было ему пріятно. Мы“, пишетъ Погодинъ, — „долго прохаживались вмѣстѣ по корридолу, въ ожиданіи Вердера, и Стуръ, кажется, былъ радъ, что тотъ долго не являлся, какъ будто хотѣлъ мнѣ сказать: у меня былъ хоть одинъ слушатель, а этому и читать видно не для кого“. Черезъ полчаса явился Вердеръ. „Онъ“ замѣчаетъ нашъ путешественникъ, — „обладаетъ даромъ слова, говоритъ послѣдовательно, ясно, живо—но что за отвлеченности! Только Нѣмцы могутъ держаться въ этихъ воздушныхъ, или лучше безвоздушныхъ пространствахъ, можетъ быть въ вознагражденіе за то, что на землѣ они ступаютъ тяжело. Жизнь есть непосредственно въ объективности достигнутая цель. Unmittelbar Вердеръ произносилъ всегда съ какимъ-то восторгомъ: это было у него самое заветное слово, и я, слушая его умствованія, поминалъ въ мысляхъ нашего Дмитрія Матвѣевича Перевощикова. Что сказалъ бы онъ, прослушавъ такую лекцію“. Съ кафедръ Вердеръ побѣждалъ такъ скоро, что Погодинъ „не могъ догнать его съ своимъ костылемъ“.

Не заставъ въ Университетѣ знаменитаго Риттера, Погодинъ отправился къ нему на домъ. „Старикъ узналъ его и очень обрадовался“. При этомъ случаѣ Погодинъ „отдалъ Риттеру Нѣмецкій переводъ разсужденія Надеждина объ Иродотовой Скеміи, которое принялъ онъ съ большимъ удовольствіемъ“.

Послѣ обѣда Погодинъ отправился въ Шарлоттенбургъ посмотреть памятникъ королевы Луизы. Что касается до тогдашняго направленія умовъ въ Сѣверной Германіи, то Погодинъ представляетъ о немъ слѣдующее любопытное замѣчаніе: „Въ коляскѣ со мною сидѣлъ какой-то гражданинъ, очень хорошо одѣтый, лѣтъ тридцати, съ молодой миленькой женою. Разговарясь о памятникахъ, онъ замѣтилъ со смѣхомъ, что какой-то принцъ велѣлъ представить себя или былъ представленъ надъ могилою, въ мундирѣ и шпорахъ. Я отвѣчалъ ему, что и вообще въ Берлинѣ не понравился мнѣ театръ на обширной площади, между двумя великолѣпными церквями, совершенно одинавыми, какъ будто бы эти три зданія должны были составлять одно цѣлое. Нѣмецъ отвѣчалъ, что онъ, съ своей стороны, не находитъ въ этомъ ничего неприличнаго. Развѣ по нынѣшнему образу мыслей? возразилъ я. Впрочемъ Пегасъ между Іоанномъ Крестителемъ и Петромъ апостоломъ—воля ваша, и это по крайней мѣрѣ дурной вкусъ. Не забудьте, что философъ дѣлалъ объясненія передъ молодой своей женой“.

Во время пребыванія Погодина въ Берлинѣ предметъ общаго разговора составляло несчастье бывшее, на Сѣверной желѣзной дорогѣ во Франціи. *Зачѣмъ ѣздитъ такъ скоро,* ворчатъ Нѣмцы; *зачѣмъ* отрывать дорогу вдругъ на такомъ большомъ пространствѣ? Не лучше ли пускать по одной станціи, приучая мало-по-малу рабочихъ, испытывая путь, приготавливая мастеровъ, знакомя ихъ со всѣми пріемами? Отчего въ Германіи не было до сихъ поръ ни одного подобнаго случая? и съ этимъ Погодинъ вполне соглашался.

Изъ Берлина по желѣзной дорогѣ Погодинъ отправился въ Дрезденъ. Обѣдалъ въ Лейпцигѣ, а къ ужину поспѣлъ въ

Дрезденъ. На другой день онъ пошелъ „повидаться съ Картинной галлерей, постоялъ съ часъ предъ Мадонной Рафаэля и Жуковскаго—что за небесное явленіе!“ восклицаетъ онъ. „Черты, кажется, всё человѣческія, въ иныхъ находились даже недостатки, а дѣйствіе неописанное, слѣдовательно не черты, а духъ, въ нихъ напечатлѣнный, духъ отъ художника, какимъ-то таинственнымъ путемъ краскамъ сообщенный, живетъ и дѣйствуетъ“.

Черезъ годъ послѣ Погодина передъ этою картиною стоялъ Бѣлинскій и вотъ что писалъ своимъ друзьямъ: „Былъ я въ Дрезденской галлерей и видѣлъ Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковскій! По моему, въ ея лицѣ также нѣтъ ничего романтическаго, какъ и классическаго. Это—не мать христіанскаго Бога: это аристократическая женщина, дочь царя, *idéal sublime du comte il faut*. Она глядитъ на насъ не то, чтобы съ презрѣніемъ—это къ ней не ѣдешь, она слишкомъ благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрѣніемъ, даже людей—нѣтъ: она глядитъ на васъ съ холодною благосклонностію, въ одно и то же время опасаясь замараться отъ вашихъ взоровъ и огорчить насъ, плебеевъ, отворотившись отъ насъ. Младенецъ, котораго она держитъ на рукахъ, откровеннѣе ея: у ней едва замѣтна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь ротъ дышетъ презрѣніемъ къ намъ... Въ глазахъ его виденъ не будущій Богъ любви, мира, прощенія, спасенія, а древній ветхозавѣтный Богъ гнѣва и ярости, наказанія и кары. Но что за благородство, что за грація кисти!—Недаромъ Пушкинъ такъ любилъ Рафаэля: онъ родня ему по натурѣ“...

„Чудаки Нѣмцы“, замѣчаетъ Погодинъ,—„вздумали оцѣнить эти сокровища, по поводу разсужденій о постройкѣ новаго зданія, — цѣнить Рафаэля, Корреджіо, Тиціана! Очень нужна богохульная оцѣнка! А оцѣнили ихъ, какъ бы вы думали, во сколько?—Въ восемь милліоновъ талеровъ. Всякій мудрый Государь далъ бы за нихъ восемнадцать и не былъ бы въ убыткѣ, даже вещественномъ, не говорю о духовномъ.

Дрезденъ пятьдесятъ лѣтъ живетъ своими собраніями, къ которымъ толпами со всѣхъ сторонъ стекаются иностранцы!“

Изъ галлерей Погодинъ поспѣшилъ къ старому своему знакомому бібліотекарю Клемму, собирателю Нѣмецкихъ древностей и первыхъ произведеній человѣческаго образованія. Погодинъ послалъ ему изъ Москвы нѣсколько вещей, найденныхъ въ Чудскихъ, Сибирскихъ курганахъ, и боялся, чтобъ онѣ не пропали. Нѣтъ,—дошли всѣ благополучно и доставили ему большое удовольствіе. Клеммъ сообщилъ Погодину свой планъ для этнографическихъ собраній. Выѣстъ съ Клеммомъ Погодинъ отправился на выставку произведеній Дрезденскихъ художниковъ. „Какое множество живописцевъ, архитекторовъ, граверовъ“, замѣчаетъ Погодинъ,—„не говорю уже о музыкантахъ! Какое множество житейскихъ свѣдѣній распространено въ народѣ, механическихъ, химическихъ, физическихъ, технологическихъ, и отъ того какія удобства получаетъ жизнь, какъ все приноровлено, удовлетворено, и какъ все дешево. А у насъ разсыпаются только Латинскія склоненія и Греческія спряженія, и то больше какъ картофель“. Клеммъ сообщилъ Погодину „съ удовольствіемъ, какъ другъ человѣчества, о распространяющемся образованіи въ нижнихъ классахъ общества, объ успѣхахъ нравственности въ Саксоніи!“

Остальное время дня Погодинъ провелъ въ семействѣ „любезной княгини Долгоруковой, его старой знакомой, которую встрѣтилъ здѣсь съ большимъ удовольствіемъ, переносясь въ давнопрошедшее время“. Съ ними ходилъ Погодинъ смотрѣть *Фауста*, и по этому поводу высказываетъ свой оригинальный взглядъ на это гениальное произведеніе Гете: „*Фаустъ* околдовалъ васъ, друзья мои, скажу я опять, но это Нѣмецкое произведеніе, а не общее человѣческое. Общаго въ немъ есть нѣсколько блестящихъ, пожалуй, глубокихъ мыслей, но цѣлаго живого въ немъ нѣтъ, какъ вы хотите, а цѣлое искусственное, натянутое, которымъ мы удовлетворяться не можемъ, но объ этомъ послѣ!“

---

L.

Изъ Дрездена въ то время ходили ежедневно два парохода почти вплоть до Праги, и Погодинъ былъ „радъ увидѣть берега Эльбы вмѣсто слишкомъ знакомой ему дороги сухимъ путемъ“. Лишь только онъ сѣлъ въ каюту, какъ вошелъ туда же еще пассажиръ. Носильщикъ просилъ у него на водку. Незнакомецъ высыпалъ всѣ свои деньги на столъ и велѣлъ ему выбирать. Вѣрно это русскій, подумалъ Погодинъ, спросилъ—точно. Погодинъ былъ очень радъ соотечественнику, и они „вмѣстѣ наслаждались, хоть и подъ дождемъ, живописными прелестными берегами Эльбы, нашей старой Лабы, которые во многихъ мѣстахъ не уступаютъ Рейнскимъ“. Такимъ образомъ, въ пріятномъ сопутничествѣ щедрого соотечественника, Погодинъ достигъ Праги<sup>345</sup>).

Памятникомъ тогдашняго пребыванія Погодина въ этомъ городѣ можетъ служить статья его подъ заглавіемъ *Прага*, напечатанная въ *Московскомъ Сборникѣ на 1847 годъ*. Въ это время въ Прагѣ всѣхъ Чешскихъ патріотовъ волновала „ужасная схизма“, которую производилъ Стуръ въ Пресбургѣ. Это очень интересовало Погодина. „Тридцать человѣкъ всѣ коринтеи,—Шафарикъ, Коларъ, Палацкій, Юнгманъ, профессоры, священники, учителя,—написали на Стура свои протесты и напечатали особой книжкой. Вотъ въ чемъ дѣло: Словаки писали до сихъ поръ на одномъ языкѣ съ Чехами и Моравами, имѣли одну литературу и трудились вмѣстѣ въ продолженіе двухъ сотъ лѣтъ. Вдругъ Стуръ, воспитанникъ Шафарика и Колара, испросивъ позволеніе издавать газеты, пускаетъ ихъ на Словацкомъ нарѣчій и отдѣляется отъ Чеховъ. Тѣ огорчились до глубины сердца,—и началась Словенская братская война. Коларъ, сказывалъ Погодину Шафарикъ, „написалъ такой отвѣтъ Стуру, надиктовалъ его въ девять часовъ, безъ остановки, который можно сравнить только съ Филиппиками Демосоена и Катилинаріями Цицерона!“ Не смѣя

произнести своего мнѣнія объ этомъ дѣлѣ, которое занимаетъ всѣ умы между нашими западными братьями, Погодинъ „думалъ про себя, что напрасно они приняли это въ сердцу такъ горячо, напрасно возстали и на Стура съ такою силою. Пусть всѣ нарѣчія развиваются и совершенствуются. Время покажетъ, какіе предѣлы которому назначены, и которому между тѣмъ должно сдѣлаться общимъ для всѣхъ Словенъ, ибо одинъ общій все-таки для насъ необходимъ, какъ для дипломатовъ Французскій... Въ Пресбургѣ я услышу отъ самого Стура, почему онъ измѣнилъ отцамъ. *Audiatur et altera pars*“<sup>346</sup>). Но прежде Пресбурга Погодинъ, исполняя приказанія Иноземцева, Пеликана и Мандта, долженъ былъ ѣхать въ Маріенбадъ. Прибывъ къ цѣлебнымъ Маріенбадскимъ источникамъ, онъ писалъ Шевыреву (отъ 27 іюля 1846 года): „Пью воду, купаюсь въ грязи. Доктора позволили мнѣ слегка заниматься, ибо безъ занятія смертельно скучно, и я началъ переводить съ Чешскаго отвѣты Колара Стуру, начавшему расколъ въ Чешской Словесности... Коларъ пышетъ огнемъ. Пріятнѣйшее занятіе для меня воспоминать о моей незабвенной Лизѣ, повторять ея слова, проходить всю жизнь нашу. И все еще плачу! По крайней мѣрѣ радъ, что на душѣ спокойно, и ни одинъ противный образъ не представляется воображенію. Забылъ все. Исторія зрѣтъ въ глубинѣ души. Картины ея развертываются одна за другою передъ моими глазами, и если Богъ поможетъ мнѣ приблизиться къ моему идеалу, сдѣлать такъ, какъ себя представляю, то... то скажете вы мнѣ спасибо! Руки рвутся въ работѣ... Мнѣ велятъ здѣсь взять ваннъ тридцать и столько же въ Теплицѣ... Придется возвращаться Дунаемъ въ Одессу“<sup>347</sup>).

Отдохнувши въ цѣлебныхъ Маріенбадѣ и Теплицѣ, Погодинъ предпринялъ, вопреки совѣта Мандта, большое и трудное путешествіе. Изъ Теплица онъ отправился въ Вѣну, гдѣ пробылъ три дня. Въ это короткое время онъ сблизился съ нашимъ священникомъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ Раевскимъ и познакомился съ Миклошичемъ, который ему „по-

правился". Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Вѣнѣ Погодинъ собралъ свидѣнія о Копитарѣ, которыя во многомъ оправдали въ глазахъ Погодина знаменитаго ученаго и вызвали слѣдующее справедливое признаніе: „Онъ все-таки трудился для Словенства, и намъ надо уважать его память, снисходя къ человѣческимъ слабостямъ“.

Пребываніе Погодина въ Вѣнѣ было не бесполезно и для его Древнехранилища. Онъ собралъ тамъ „и по дорогѣ“ до двадцати старыхъ Сербскихъ книгъ. Между ними, какъ онъ замѣчаетъ, нашлись „кажется, неизвѣстныя. Увѣренъ, что получу скоро еще столько же. Вотъ какъ дѣйствуютъ Вѣнкоруссы!“ Въ Вѣнѣ же Погодинъ познакомился съ Русскимъ консуломъ Данилевскимъ, и послѣдній писалъ потомъ Погодину: „Обязательное ваше свиданіе со мною въ Вѣнѣ, наша на скорую руку бесѣда оставила во мнѣ столь пріятное впечатлѣніе, что я считаю за особенный долгъ поблагодарить васъ“. Въ это время Данилевскій собирался совершить путешествіе по Европѣ. Пользуясь этою оказіею, Погодинъ поручилъ ему доставить Гизо, въ Парижѣ, письмо и свою записку *Aperçu historique*. По этому поводу Данилевскій писалъ Погодину, уже изъ Неаполя (отъ 24 ноября 1846 г.): „Пользуюсь первыми досужными днями моего странствованія, чтобъ дать вамъ отвѣтъ въ исполненіи порученія, даннаго вами мнѣ при встрѣчѣ нашей въ Вѣнѣ. Первою заботою моею было, по пріѣздѣ въ Парижъ, въ исходѣ октября, справиться о полученіи въ нашемъ посольствѣ вашего *Aperçu historique*—отрицательный по сему отвѣтъ заставилъ меня отсрочить передачу письма г-ну Гизо, въ надеждѣ, что манускриптъ вашъ прійдетъ въ Парижъ до моего отъѣзда; въ этомъ ожиданіи прошелъ цѣлый мѣсяцъ—я отправился въ Лондонъ, воротился опять въ Парижъ и, не желая продолжить долѣе своего тамъ изслѣдованія, отправился на канунъ своего выѣзда къ Гизо съ вашимъ письмомъ; на вопросъ, могу ли я его видѣть, мнѣ было отвѣтствовано съ

обычнымъ aplomb Французовъ: Il est depuis une heure en conférence avec un ambassadeur et il y en a deux qui attendent encore. Дѣлать было нечего, и я вмѣстѣ съ своею визитною карточкою передалъ ваше письмо, толковито объяснивши, что le mémoire historique qui doit accompagner cette lettre sera remis à m-r Guizot dès qu'on le recevra de St.-Petersbourg à l'ambassade de Russie, et c'est m-r Kisseleff qui m'a promis de se charger de cette remise. Замедленіе въ присылкѣ вашей рукописи было мнѣ очень досадно, во первыхъ, потому что я потерялъ случай ее прочесть, а во вторыхъ, что имѣя понятіе о ея содержаніи, я бы настоялъ быть допущеннымъ къ г-ну Гизо, имѣя въ такомъ случаѣ предметъ для разговора съ нимъ<sup>348</sup>).

„Съ благословеніемъ нашего добраго священника М. Ѳ. Раевского, достойнаго преемника незабвеннаго Меглицкаго“, говоритъ Погодинъ, — „и доброжеланіемъ Вука Стефановича, знаменитаго собирателя Сербскихъ пѣсенъ и пробудителя Сербской народности“, предпринято имъ путешествіе изъ Вѣны внизъ по Дунаю. О. Раевскій и Вуекъ проводили его до парохода. „Дунай“, пишетъ Погодинъ, — „древняя Словенская рѣка, до сихъ поръ слышится въ нашихъ простонародныхъ пѣсняхъ отъ Москвы до Архангельска! Во время оно Дунай принадлежалъ такъ Словенамъ, утекая къ намъ на юго-востокъ, какъ Рейнъ, стремящійся на сѣверо-западъ, принадлежалъ Нѣмцамъ“.

Пароходъ, на которомъ плылъ Погодинъ, „былъ наполненъ Венгерцами—магнатами, купцами, адвокатами, которые почти всѣ плыли только до Пресбурга. Магнаты отличались гордымъ или по крайней мѣрѣ спѣсивымъ молчаніемъ, прочіе назойливою болтливостію“.

По прибытіи въ Пресбургъ Погодинъ, „бросивъ свои вещи въ первой гостиницѣ, поспѣшилъ отыскать Стура, на котораго столько возлагаемо было надеждъ для образованія Словаковъ, пробудившихся отъ сна пѣснями Колара и изслѣдо-



ваніями Шафарика, двухъ своихъ славныхъ единоплеменниковъ“.

Не смотря на то, что Стуръ навлекъ на себя негодованіе въ Прагѣ, Погодину очень хотѣлось его увидѣть, „узнать въ немъ новаго Словенскаго дѣателя и вмѣстѣ разспросить о причинахъ его раскола, который привелъ въ такое движеніе весь Словенскій міръ. При всемъ уваженіи Погодина къ его противникамъ ему хотѣлось однакожь услышать и его причины: *audiatur et altera pars*. „Безъ сомнѣнія“, писалъ Погодинъ, — „онѣ должны быть очень важны. Такой человѣкъ, какъ Стуръ, судя о немъ по отзывамъ первыхъ людей Словенскихъ, доходившимъ до меня въ продолженіе десяти лѣтъ, не могъ пойти противъ своихъ наставниковъ и можно сказать благодѣтелей, — такъ, не обдумавъ своего дѣла. Съ нетерпѣніемъ спѣшилъ я по Пресбургскимъ улицамъ, не смотря ни на кого и ни на что, къ дому, назначенному въ адресѣ, безпрестанно спрашивалъ проходящихъ о своей дорогѣ: сердце какъ-то лежало у меня къ Стуру: хоть я никогда не видалъ его и даже не переписывался. И каково же было мое огорченіе, когда я услышалъ, что онъ по дѣламъ уѣхалъ въ сосѣдній комитатъ и воротится не ближе четырехъ дней. Въ его комнатѣ, заваленной книгами, съ портретомъ Шафарика, предъ письменнымъ столомъ, сидѣло нѣсколько молодыхъ людей и занимались чтеніемъ и писаніемъ. Услышавъ мое имя, они окружили меня съ знаками искреннаго удовольствія; всѣ жалѣли, что нѣтъ Стура, спрашивали, долго ли я пробуду въ Пресбургѣ, показывали мнѣ Русскія книги, разные нумера *Москвитянина*, осыпали вопросами. Повели показывать по переулкамъ и дворамъ свои классы, гдѣ въ низкихъ комнатахъ они готовятъ къ дѣйствию....“ Съ своей стороны и Стуръ очень сожалѣлъ, что разѣхался съ Погодинымъ въ Пресбургъ и написалъ ему письмо (отъ 31 октября 1846 г.), въ которомъ изъявляетъ радость, что Погодинъ предпринялъ путешествіе по Словенскимъ землямъ, такъ какъ навѣрное оно принесетъ обоюдную пользу. При

этомъ Стуръ защищаетъ предъ Погодинымъ свою идею, которая возбудила такое негодование въ Прагѣ, о необходимости каждаго Словенскаго народа говорить и писать своимъ языкомъ, очень опасается сліянія языка Словацкаго съ Чешскимъ и Моравскимъ, и для борьбы противъ этого сліянія онъ проситъ у Погодина матеріальной помощи. Въ Пештѣ Погодинъ „провелъ пріятный день“ съ Коларомъ, и отсюда продолжалъ свое путешествіе. „На пароходѣ общество наше“, пишетъ Погодинъ,— „возобновилось: Венгерцы всѣ почти остались въ Пештѣ; мѣста ихъ заняли Волохи, которые возвращались домой изъ своихъ путешествій по чужимъ краямъ и Сербы изъ Срема и Баната. Первымъ лицомъ былъ Баварскій герцогъ Ліутпольдъ, ѣхавшій въ Константинополь, въ сопровожденіи какихъ-то двухъ графовъ. Живописныхъ видовъ по Дунаю все еще нѣтъ: рѣка течетъ по ровной долинѣ, и на берегахъ ничто не останавливаетъ вашихъ взоровъ“. Не доѣзжая до Карловица, сѣлъ на пароходъ Сербскій митрополитъ Іосифъ Раяичъ, обозрѣвавшій по пути свои помѣстья.— „Старецъ“, пишетъ Погодинъ,— „прекрасной наружности, покрытый сѣдинами, высокаго роста, съ свѣтлымъ взоромъ, въ длинномъ шелковомъ полукафтанѣ съ малиновыми каймами, съ широкимъ поясомъ того же цвѣта“. Погодинъ подошелъ къ нему подъ благословеніе вмѣстѣ съ Сербами, „и бѣлокурый между черными обратилъ на себя разумѣется тотчасъ его вниманіе“. Митрополитъ спросилъ Погодина объ имени и, услышавъ, что онъ Русскій профессоръ, не отпустилъ отъ себя. Между Митрополитомъ и профессоромъ произошелъ такой разговоръ:

*Митрополитъ.* Куда вы ѣдете? Насъ вы вѣрно не минете.

*Погодинъ.* Намѣреніе мое—осмотрѣть Сербскіе монастыри по Фрушковой горѣ: для этого хочу высадиться въ Нейзацѣ, куда у меня есть нѣсколько рекомендательныхъ писемъ отъ Шафарика, и съ тамошними профессорами совершить свое путешествіе, а потомъ явлюсь въ Карловицъ просить благословенія у вашего высокопреосвященства.

*Митрополитъ.* Не нужно вамъ никакихъ рекомендацій—поѣзжайте прямо въ Карловицъ. Я выйду здѣсь на берегъ и по сухому пути приѣду туда прежде вашего. Въ пристани будетъ уже ждать васъ моя коляска, вы пожелаете прямо ко мнѣ, и мы покажемъ вамъ всѣ монастыри наши.

*Погодинъ.* Приношу усерднѣйшую благодарность вашему высокопреосвященству, но мнѣ хочется видѣть также Нейзацъ, первое поприще Шафарика.

*Митрополитъ.* До Новаго Сада отъ насъ два часа ѣзды—вы увидите его, когда угодно.

Погодинъ долженъ былъ съ благодарностію согласиться. Пароходъ остановился. Митрополитъ вышелъ, а Погодинъ съ остальными путешественниками поплылъ въ Карловицъ. Проѣхали мимо Петервардена, высокой крѣпости на правомъ берегу Дуная. Видъ на нее съ рѣки очень хорошъ. Нейзацъ расположенъ противъ него, соединяясь мостомъ. Когда приплывали въ Карловицу, на пароходѣ накрытъ былъ столъ. „Плутъ маркитантъ“, пишетъ Погодинъ,—„хотѣлъ непременно, чтобы я сѣлъ обѣдать. Я отвѣчалъ, что не успѣю. „Успѣете, успѣете, мы знаемъ“. Только что я сѣлъ и проглотилъ первую ложку супу, какъ раздался звонокъ. — Карловицъ! и я долженъ былъ выскочить изъ-за стола, проститься наскоро съ спутниками и спѣшить на палубу, чтобы не отчалила лодка, принимающая пассажировъ, а плутъ потребовалъ денегъ за чуть-чуть начатый обѣдъ. Я бросилъ ему два цванцигера и спустился въ лодку, которая тотчасъ довезла меня до берега“. На берегу стоялъ экипажъ, и молодой духовный привѣтствовалъ Погодина очень учтиво, сказавъ, что его высокопреосвященство его уже ожидаетъ. Молодой духовный былъ Груичъ, по словамъ Погодина, „горячій другъ Словенъ и Русскихъ“.

Карловицъ, по описанію Погодина, „городъ небольшой, окруженный виноградниками, извѣстный въ Исторіи по трактату. Самое видное зданіе—домъ Митрополита, въ два этажа, на большомъ дворѣ, поросшемъ травою; на краю выстроены

рядъ покоевъ съ галлереею, гдѣ помѣщаются лица, принадлежащіе къ его причту. Соборъ подлѣ — католической наружности, съ двумя башенками, на улицу, съ прочихъ сторонъ окруженъ митрополичьимъ дворомъ“.

Когда Погодинъ пріѣхалъ, то столъ былъ готовъ. Митрополитъ принялъ его съ знаками особеннаго радушія и распрашивалъ за столомъ о его путешествіяхъ, потомъ, обратя разговоръ на Россію, горько собогѣзновалъ, что Русская Церковь не имѣетъ никакого сношенія съ ними. „Мы не знаемъ“, сказалъ онъ, — „вѣрно ли соблюдаемъ всѣ правила, не измѣняемъ ли преданій. У васъ сохраняется Церковь во всей чистотѣ ея и цѣлости, у васъ ея послѣднее убѣжище. Мы не смѣемъ даже говорить, разсуждать объ ней, мы не смѣемъ защищать ее отъ нападенія католиковъ и уніатовъ. Вы молчите, и они употребляютъ это молчаніе въ свою пользу, урекая намъ, что видно и сказать о Православіи нечего. Враги наши о томъ только и думаютъ, чтобъ погубить насъ совершенно. Сколько православныхъ обращено насильно къ уніи и къ католицизму, а намъ нельзя произнести ни одного слова объ ихъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ: тотчасъ возникнутъ подозрѣнія, нарядятся слѣдствія, произойдутъ наказанія“. Какъ узналъ Погодинъ, „всего больше бояться здѣсь вообще сношенія съ Россіей или Русскими. Отъ этого сношенія должно оправдываться какъ отъ уголовного преступленія. Книги Русской, какой бы то ни было, достать нѣтъ никакой возможности, скорѣе—всякую соблазнительную и возмутительную“. Обѣдъ у Митрополита „состоялъ изъ нѣсколькихъ блюдъ, но лучшимъ услажденіемъ его были вина изъ собственныхъ виноградниковъ Митрополии, чистыя, душистыя, пріятныя. Лучшее называется Салаксіей. Барметъ—это молодое вино, сладкое на вкусъ, легкое“, но замѣчаетъ Погодинъ, „съ измѣною, какъ я испыталъ послѣ“.

Послѣ кофе Митрополитъ, осыпавшій Погодина знаками своей благосклонности, отпустилъ его въ назначенные ему покои, сказавъ: „Ступайте съ Богомъ, отдохните, а вечеромъ

милости просимъ опять сюда поговорить о дѣлахъ міра сего“. О. Груичъ проводилъ Погодина, и они „тутъ же познакомились и подружились. Разспросамъ и рассказамъ не было конца—о церкви, о литературѣ, о духѣ и направленіи, о желаніяхъ, надеждахъ Словенскихъ, о Москвѣ“.

Погодинъ узналъ, что „простой народъ убѣжденъ здѣсь вездѣ, что онъ даже жизнію своею, существованіемъ обязанъ Россіи. Еслибъ не было Россіи, еслибъ Русскій Царь не былъ такъ могущественъ, такъ разсуждаютъ Австрійскіе Сербъ, то Нѣмцы сѣли бы насъ совершенно: они заставили бы насъ позабыть языкъ, перемѣнить вѣру, и чрезъ короткое время мы не узнали бы дѣтей своихъ, а дѣти не узнали бы насъ. Нѣмцы опасаются только слишкомъ явными мѣрами вывести наконецъ изъ терпѣнія Русскаго Царя, который заступится за насъ, своихъ единоплеменниковъ и единовѣрцевъ. За то ненавидятъ они насъ больше, тѣснятъ, развращаютъ, отравляютъ нравственно, прикидываясь въ газетахъ великодушными, милосердными, человеколюбивыми“.

Вечеромъ у Митрополита были бюргермейстеры, нѣсколько профессоровъ, свѣтскихъ и духовныхъ. Разговоръ относился больше всего къ нынѣшнему состоянію Европы и перемѣнамъ, кои предстоятъ ей. При прощаніи Митрополитъ сказалъ Погодину: „Завтра мы отправляемся на собраніе винограда въ моихъ виноградникахъ. Вы нашъ гость и не выйдете изъ нашей воли“. Погодинъ „могъ только поклониться и поблагодарить“.

На другой день поутру Погодинъ отправился въ коляскѣ съ Митрополитомъ. „На голубомъ небѣ“, пишетъ онъ,—„не видать было ни облачка. Солнце сіяло во всемъ блескѣ, и въ воздухѣ разлито было благовоніе. Дача его верстахъ въ двухъ отъ города. Все поле кругомъ покрыто розами, посаженными на грядахъ. Богатыя грозды, красныя и бѣлыя, висѣли, склоняясь къ землѣ тягостію. Рабочія женщины, дѣвушки въ нарядныхъ платьяхъ, поя пѣсни, обрывали кисти и клали въ большія плетенныя корзины. Мужчины носили взадъ и впередъ

корзины и высыпали виноградъ въ точило. Тамъ давились ягоды, и благодатный сокъ струился жолобами въ бочки, гдѣ вино должно было перебразиваться. Мы гуляли между стѣнами винограду. Всѣ чувства наслаждались: слухъ, вкусъ, обоняніе, зрѣніе. Природа щедрою рукою раздавала дары свои, довольный человѣкъ отвлекался на минуту отъ своихъ заботъ и предавался радостнымъ чувствованіямъ...

У высокопреосвященнаго Іосифа Погодинъ прожилъ цѣлую недѣлю и подружился съ протоіереями Стоматовичемъ и Ниваноромъ Груичемъ и подарилъ послѣднему свой портретъ. Въ то же время онъ осмотрѣлъ многочисленные монастыри Сербскіе на Фрушковой горѣ, познакомился тамъ съ епископами, архимандритами, благочинными.

Вотъ что писалъ Погодинъ одному изъ своихъ друзей: „Митрополитъ достойный человѣкъ, словенинъ, православный и дѣлаетъ что можетъ, имѣетъ много благихъ намѣреній, и дайте ему привести ихъ въ исполненіе. Вездѣ множество образованныхъ и дѣльныхъ людей: что за тамошній народъ. День за городомъ былъ наипріятнѣй. Словенская жизнь во всей своей простотѣ, съ любовью и радостью, играла предо мною, и я былъ очень тронутъ“.

Затѣмъ Погодинъ посѣтилъ княжества Сербскаго столицу Бѣлградъ, гдѣ въ то время княземъ былъ Александръ Карагеоргіевичъ и всѣми дѣлами управляла партія, враждебная Обреновичамъ; Тома Вучичъ-Перишичъ, Авраамій Петроніевичъ, Стоянъ Симичъ, Илья Гарашанинъ,—вотъ люди, отъ которыхъ Погодинъ долженъ былъ получить ближайшія свѣдѣнія о Сербіи; но онъ уже зналъ Вука Караджича, также сообщавшаго ему извѣстія о Сербскихъ дѣлахъ, но съ иной точки зрѣнія, „и потому“, замѣчаетъ Н. А. Поповъ,—„могъ критически отнестись къ показаніямъ Бѣлградскихъ правителей“<sup>349</sup>).

Бѣлградъ былъ предѣльнымъ пунктомъ путешествія Погодина, и отсюда начался его обратный путь въ Отечество.

Въ Галацѣ онъ сѣлъ на пароходъ *Петръ Великій* и по-

плылъ въ устьямъ Дуная. Съ удовольствіемъ увидѣлъ Погодинъ съ палубы Русскія буквы, коими написано славное имя: *Петръ Великій*. Въ Галацѣ Погодинъ былъ встрѣченъ нашимъ консуломъ Кола, человѣкомъ „Европейски-вѣжливымъ“, который „тотчасъ велѣлъ взять для Погодина билетъ до Одессы“. Тутъ же познакомился онъ съ капитаномъ Наумовскимъ, „добрейшимъ морякомъ, принявшимъ Погодина съ знаками искренняго радушія“. Къ довершенію удовольствія Погодинъ увидѣлъ Русскихъ матросовъ, которые „втаскивали на парходъ огромную карету; одинъ сзади кричалъ съ сердцемъ на своихъ товарищей, бравшихся неловко за дѣло: *давай на меня*“. Однимъ словомъ, въ Галацѣ „повѣяло“ на Погодина „со всѣхъ сторонъ Русскимъ духомъ“. Отъ тамошняго почтмейстера Филатьева онъ получилъ „свѣдѣнія о Трояновой крѣпости и Трояновомъ валѣ, которыхъ остатки находятся въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Галаца“. Вмѣстѣ съ Филатьевымъ Погодинъ прошелся по городу, и вотъ что увидѣлъ нашъ путешественникъ: „лачуги обмазанныя известкой, лавки съ товарами первой нужды, мостовая еще циклопическая, пыль, соръ и сухая грязь. Кромѣ лавокъ, видны болѣею частію одни заборы, похожіе на наши у остроговъ. Но торговля“, замѣчаетъ Погодинъ, — „возникаетъ, и Галацу вмѣстѣ съ другими южными Дунайскими городами предстоитъ блистательная будущность, можетъ быть, во вредъ самой Одессы“. Разговорясь о жителяхъ, Погодинъ спросилъ своего путешественника о Грекахъ. *Суть бо Греци лѣстивы и до сего дне*, отвѣчалъ онъ. Эта цитата изъ Нестора, изъ устъ Галацкаго почтмейстера пріятно удивила Погодина и онъ спросилъ его: „Откуда вы знаете это выраженіе?“ „Бѣжавши курьеромъ въ Царьградъ, я увидѣлъ на станціи книгу рукописную, развернулъ ее и прочелъ эти слова, которыя и запали мнѣ на память.—На чемъ написана рукопись, на бумагѣ или пергаментѣ?— „Не помню“—Сплошь или въ два столбца?— „Кажется, въ два столбца“.—Затѣмъ Погодинъ сталъ просить Филатьева „послать нарочнаго развѣдать объ этой ру-

кописи и приобрести ее во что бы то ни стало. Это долженъ быть непременно списокъ Несторовой Лѣтописи, въ коей такъ сказано о Грѣсахъ. Филатьевъ обѣщалъ ему исполнить его желаніе, и можетъ быть“, мечталъ Погодинъ, „изъ глубины Болгаріи мы получимъ списокъ Нестора“.

Послѣ обѣда съ капитаномъ нашей гвардіи Живковичемъ Погодинъ предпринялъ поѣздку въ *Трояну*, какъ называютъ Волохи самый валъ. Экспедиція эта сопряжена была съ большими трудностями. „Ѣздивши во всѣхъ возможныхъ экипажахъ“, писалъ Погодинъ, — „по всѣмъ возможнымъ дорогамъ, я не имѣлъ однакожъ никакого понятія о томъ, что значить ѣхать въ Молдавской каруцѣ и по Галацкой мостовой. Муза, которая могла бы занять не послѣднюю степень въ пыткахъ Среднихъ вѣковъ! Черезъ нѣсколько минутъ я долженъ былъ уже умолять плачевнымъ голосомъ извозчика ѣхать тише, и насилу отдохнулъ! За то какъ пустились мы по степи! Молдаванъ, въ короткой куртѣ, въ холстяныхъ шараварахъ, въ круглой шляпенкѣ, сваялъ во весь опоръ, размахивалъ кнутомъ и стегалъ всякаго встрѣчнаго. Несчастные поселяне, завидя его издали, сворачивали съ дороги, и бѣда, кто не успѣвалъ отсторониться! По лицу, по плечамъ, по груди куда ни попало, доставалъ его длинный кнутъ. Напрасно просили мы его умѣрить жаръ и пощадить своихъ робкихъ соотечественниковъ. *Gaïda* (à parte) кричалъ онъ изъ всѣхъ силъ и махалъ кнутомъ, ища виноватыхъ и доставая разумѣется самыхъ невинныхъ. Тогда-то я убѣдился гораздо болѣе, чѣмъ изъ иностранныхъ газетъ, въ могущество Русскаго вліянія dans les principautés. Земли по обѣимъ сторонамъ дороги множество неводѣланной, и какой земли! самой тучной, плодородной. И гдѣ? Близъ устьевъ Дуная. Что за деревушки встрѣтились по дорогѣ! Низменные хижины безъ дворовъ, безъ воротъ, безъ заборовъ, безъ клѣтѣй, безъ всякихъ признаковъ хозяйства, не только довольства, образованія. Свиньи, козы, бараны бродили по полямъ. У какой корчмы остановился нашъ молдаванъ! Что за бурду



пилъ онъ подъ именемъ вина! Изъ какой стѣянки! Въ какомъ подвалѣ жилъ харчевникъ! Что за люди стояли подъ навѣсомъ и разговаривали съ нимъ! О, здѣсь, здѣсь можно цѣнить дары образованія и благоустройства, здѣсь почувствуете вы, что такое грубость, дикость, варварство, что такое челоуѣкъ на низкихъ степеняхъ своего развитія или одичалости! Истинно скажу вамъ, что сердце обливается кровью“.

Наконецъ наши путешественники достигли цѣли своей экспедиціи и подѣхали въ *Трояну*. По описанію Погодина „Троянова вѣрность—это высокая насыпь, расположенная полукругомъ около рѣки Серета“. Проѣхавъ еще верстъ пятнадцать, они увидѣли и валъ, который во многихъ мѣстахъ сравнялся почти съ землею и идетъ отсюда вверхъ, въ Бессарабію. Древніе Волохи-Римляне, поселенные Траяномъ на границѣ Имперіи, для защиты ея отъ сосѣднихъ, то есть, Словенскихъ племенъ. Это военные поселенцы, въ родѣ Австрійскихъ граничаровъ, въ родѣ нѣкоторыхъ нашихъ козаковъ, а валы Трояновы соотвѣтствуютъ нашему валу Половецкому, извѣстному съ XII-го вѣка, и новому валу Симбирскому. Поселенцы разродились въ особый народъ. *Rimunië* (я *Римлянинъ*), говоритъ Валахъ, принявшій христіанскую вѣру отъ Словенскихъ сосѣдей, слѣдовательно—Греческую, православную. Даки—чистые Словене, что и доказывается ихъ наружностію въ музеяхъ Парижскомъ, Ватиканскомъ, Капитолійскомъ. „О, какъ“, восклицалъ Погодинъ,—„объясняется и оживляется Исторія мѣстностію!“ Такииъ образомъ „капитанъ Русской гвардіи и профессоръ прошли спокойно по Троянову валу“; но наступившія сумерки заставили ихъ подумать объ обратномъ путешествіи въ Галацъ; ибо, по замѣчанію Погодина, „ѣздить по этой пустыни жутко, особенно въ почную пору“. И дѣйствительно вотъ что писалъ Погодинъ Молдаванъ пустился во весь опоръ. Нѣсколько времени проскакали мы спокойно. Вдругъ, въ срединѣ дороги, въ стонѣ, мелькнулъ огонекъ, послышался свистъ, и мой Капи-

танъ взялся за саблю, далъ козаку въ руки свинцовую палку, закричалъ — *пошелъ!* И каруца помчалась быстрее молніи. Впрочемъ ничего не случилось, и мы прѣехали благополучно, но поздно“.

На другой день было воскресенье, и Погодинъ отправился по церквамъ. „Устроены по нашему, но пѣніе невыносимо. Такого козлогласованія вообразить даже мудрено“. Послѣ обѣдни Погодинъ „спросилъ у священника по Русски: нѣтъ ли какихъ древностей въ церкви. Не понимаетъ. Затѣмъ спросилъ по-Латини, по-Нѣмецки. Также нѣтъ отвѣта. Наконецъ, какъ будто вспомнивъ Русское слово, священникъ сказалъ Погодину молебень? то-есть, не хочетъ ли онъ отслужить молебень? Въ отвѣтъ Погодинъ покачалъ головою. Священникъ назвалъ какого-то причетника, разумѣваго, видно, по его мѣтнію, по Русски. Погодинъ повторилъ ему свои вопросы, а знатокъ отвѣчалъ ему: свѣчку? то-есть, не хочетъ ли онъ поставить кому свѣчку? Потерявъ надежду, Погодинъ раскланялся съ ними и пошелъ прочь. На другой уже улицѣ догналъ Погодина еще какой-то волохъ, который спросилъ его ломанымъ Русскимъ языкомъ, чего онъ хочетъ, и они объяснились“, но безъ пользы для Погодина, потому что „древностей никакихъ нѣтъ“.

Къ десяти часамъ того же дня, „запасшись на дорогу шербетомъ и кусками рагатылукумъ“, Погодинъ поспѣшилъ на пароходъ. По поводу снисходительности капитана Погодинъ замѣтилъ: „Сравните эту любезность, услужливость, снисходительность, хоть и по поламъ съ грѣхомъ, съ Нѣмецкою жестокою точностью. Мудрено отдать преимущество послѣдней“.

Погода весьма благопріятствовала нашему путешественнику, „и плаваніе началось преспокойно. Мы“, пишетъ Погодинъ, — „проѣхали мимо Рени, гдѣ находится наша сухопутная таможня, и гдѣ намъ показался первый Русскій орелъ, мимо Сатунова, и офицеры показали намъ мѣсто, гдѣ императоръ Николай переправился черезъ Дунай въ Турецкой

войнѣ 1829 года. Видѣли Исаки на Турецкой сторонѣ, городовъ-селеніе, раскинутое живописно по склону берега, подъ сѣнью деревьевъ“. Съ нетерпѣніемъ дожидаль Погодинъ Измаила, „сіяющаго съ такою славой въ нашей военной Исторіи“. Наконецъ открылась знаменитая крѣпость, на крутомъ берегу, окруженная рвами, стѣнами и валами въ нѣсколько рядовъ со всѣхъ сторонъ, и Погодинъ „помянулъ Суворова“. Приплывъ въ Измаилу, пароходъ причалилъ къ карантинной заставѣ. Навстрѣчу къ нимъ вышло нѣсколько чиновниковъ военныхъ и гражданскихъ, и по отзыву Погодина „все очень чинно, благообразно, порядочно!“ Послѣ исполненія разныхъ обрядовъ путешественники получили позволеніе выйти на берегъ, „и“, замѣчаетъ Погодинъ,—„съ перваго шагу увидѣли, съ удовольствіемъ, что находимся въ городѣ благоустроеннаго государства! Противоположность послѣ Галаца, Джуржева и другихъ Дунайскихъ городовъ даже въ Австріи, очень разительна. Этого мало—Измаилъ такъ устроенъ, что ему не стыдно было бы стать среди Европы: широкія, прямыя улицы, опрятные домики, прекрасные бульвары, величественныя церкви, вездѣ чистота и порядокъ. Къ тому жъ здѣсь случилась ярмарка, и мы увидѣли множество народа въ темныхъ, занавѣшанныхъ холстиною *пассажахъ*, гдѣ въ просторныхъ походныхъ лавкахъ, по обѣимъ сторонамъ, продавались всякіе товары, особенно красныя. Въ Измаилѣ много вѣдомствъ—военныя, карантинныя, таможенныя, и потому жизнь вѣроятно пріятна и дешева. Пріятная прогулка наша увѣнчалась еще кистями сладкаго винограда, котораго накупила намъ супруга Таврическаго прокурора Семена Мартиновича Мейера, умная и образованная дама, воспитанница Смольнаго Монастыря,—а мы между тѣмъ говорили о новомъ уголовномъ уставѣ (кодексѣ)“.

На другой день въ 10 часовъ наши путешественники снялись съ якоря и поплыли вскорѣ по Сулинскому устью Дуная, которое досталось намъ во владѣніе по Адрианопольскому трактату. „Это“, говоритъ Погодинъ,—„одна изъ самыхъ

важныхъ политическихъ точекъ Россійской Имперіи въ наше время. Здѣсь сцена будущей Исторіи". По описанію Погодина, „низменные берега и острова, покрытые тростникомъ, или ковылемъ, на коихъ изрѣдка виднѣлись наши сторожки, очень однообразны"; но „веселые морскіе офицеры забавляли путешественниковъ разными анекдотами о матросахъ, о служителяхъ, о Малороссіянахъ, о чиновникахъ; напримѣръ: одинъ малороссіянинъ легъ спать подъ своимъ возомъ, высунувъ ноги середь дороги. Ночью сняли съ него сапоги. По утру извозчикъ, ѣдущій по дорогѣ, закричалъ ему: *подбери ноги*. — „Это не мои", отвѣчалъ малороссіянинъ проснувшись: „мои въ сапогахъ". Другой, ѣхавъ по степи, уснулъ. Лошадь навезла его на поверстный столбъ. Малороссіянинъ проснулся и воскликнулъ: *о, бѣсова тѣснота! Зачѣмъ проклятые Москаки понаставляли столько столбовъ!*—Нельзя было удержаться отъ смѣха, какъ одинъ офицеръ, закинувъ салфетку за плечо и держа ее кончикомъ, представлялъ полового, во время его счета съ гостемъ". Это очень развеселило Погодина, и когда рассказчикъ велѣлъ подать себѣ обѣдать раньше обыкновеннаго, то Погодинъ спросилъ его: „Зачѣмъ вы не подождете общаго стола?" „Я не люблю ѣсть по часамъ", отвѣчалъ онъ. „Но вѣрно не откажитесь пить по стаканкамъ", съострилъ Погодинъ.

Среди „забавныхъ рассказовъ" наши путешественники вѣхали въ море, вскорѣ они увидѣли Фидонисскій маякъ, который „свѣтитъ и скрывается *поминутно*, въ истинномъ значеніи этого слова, то-есть, минуту свѣтитъ и минуту пропадаетъ, потомъ опять свѣтитъ и опять пропадаетъ". Передъ зарей засвѣтилъ маякъ Одесскій. Чрезъ четырнадцать часовъ морского плаванія поутру Погодинъ съ своими спутниками приплылъ къ Одесской гавани, „минуя множество кораблей и судовъ".

## LI.

„Одесса", писалъ Погодинъ, — „съ моря имѣетъ прекрасный видъ: на горѣ простирается рядъ величественныхъ ка-

менныхъ зданій; великолѣпная лѣстница въ срединѣ поднимается къ верху, по обѣимъ сторонамъ ея идутъ высокія стѣны, подпирающія берегъ, на немъ зеленѣетъ прекрасный бульваръ“. Таможенные чиновники уже ожидали нашихъ путешественниковъ, и Погодинъ, оставшись ими совершенно доволенъ, замѣтилъ: они „приняли по-Европейски, вѣжливо и благородно. Сердце радуется, глядя на такіе успѣхи цивилизаціи. Таеъ надобла грубость“. Самъ же Погодинъ, „не имѣвъ съ собою ничего не только запретительнаго, но даже и позволительнаго, тотчасъ получилъ позволеніе идти въ городъ“, и онъ отправился по лѣстницѣ, „останавливаясь на площадкахъ любоваться на море“. И лѣстница ему понравилась. „Какой удобный всходъ“, писалъ онъ,—„какія частыя ступени, спокойныя площадки! Все просторно, все роскошно. Тотчасъ видишь, что это лѣстница въ Русскомъ городѣ, и что правителемъ здѣсь долженъ быть истинный Русскій вельможа, въ строгомъ значеніи этого слова“. Лѣстница приводитъ на площадь, среди которой красуется статуя въ честь герцога Ришелье. Добравшись до этого памятника, Погодинъ „поклонился знаменитому иноземцу, добродѣявшему Россіи“. Не спрашивая никого, Погодинъ пошелъ впередъ по улицѣ, „смотря по обѣимъ сторонамъ на красивыя зданія, читая блестящія вывѣски, радуясь сердцемъ, какъ Русскій, такимъ прекраснымъ явленіямъ гражданской жизни. Люди всѣ, показалось ему, ходятъ здѣсь иначе, какая-то свобода, непринужденность въ движеніяхъ, какое-то благородство въ наружности, откровенность въ рѣчахъ“. При этомъ Погодинъ вспомнилъ о графѣ М. С. Воронцовѣ. „Можетъ ли“, писалъ онъ,—„прийти въ голову графу Воронцову, который на старости лѣтъ рубится теперь съ горскими хищниками, по вершинамъ Кавказа, что въ Одессѣ, тихо по тротуару, укутавшись въ дорожный плащъ, пробирается неизвѣстный путешественникъ и шепчетъ ему славу, какъ мудрому исполнителю Царской воли, приводящему цѣлый край въ цвѣтущее состояніе...“

Погодинъ наконецъ „опомнился и спросилъ дорогу въ Лицей...“, гдѣ и водворился подъ кровомъ своего „любезнаго товарища по ремеслу“, Николая Никифоровича Мурзакевича. Само собою разумѣется Погодинъ прежде всего поторопился осмотрѣть Одесское Общество Исторіи и Древностей, которое имѣетъ свое собственное зданіе. „Залы“, повѣствуетъ Погодинъ, — „наполнены древностями, досками, надписями, сосудами, статуями, найденными въ томъ краю. Между окнами развѣшаны портреты знаменитыхъ мужей Новой Россіи и разныя картины, образа, имѣющіе къ ней отношеніе. Мысль прекрасная и прекрасно исполненная! Честь первому виновнику ея и честь начальникамъ, давшимъ средство привести ее въ дѣйствіе. Какъ членъ Московскаго Историческаго Общества, помѣщеннаго въ тѣснотѣ, я позавидовалъ Одессѣ...“ Посѣтивъ Городскую Библіотеку, Погодинъ замѣтилъ, что она „умножается болѣе и болѣе, преимущественно книгами, картами и рисунками, относящимися къ здѣшнему краю. Я увидѣлъ здѣсь огромный, отличный атласъ Чернаго Моря со всѣми устьями, гаванями и берегами: Европейское изданіе, даже и потому, что оно неизвѣстно въ Россіи! По стѣнамъ красуются изображенія трехъ знаменитыхъ правителей Одессы: Ришелье, Ланжерона и Воронцова. Да, Одесса, по особенному счастью, въ продолженіе пятидесяти лѣтъ получила трехъ знаменитыхъ правителей, изъ коихъ послѣдній оставляетъ свое имя на вѣки вѣковъ въ лѣтописяхъ Отечества. Кого я ни встрѣчалъ, съ кѣмъ ни говорилъ, кого ни разспрашивалъ, изъ богатыхъ и бѣдныхъ, изъ знатныхъ и простыхъ, всѣ въ одинъ голосъ благословляютъ его имя! Въ частностяхъ, въ подробностяхъ, могутъ быть здѣсь, какъ и вездѣ, недостатки, ошибки, упущенія, но дѣло въ главномъ. Доступность, снисходительность, вѣжливость, щедрость, дѣятельность, желаніе быть справедливымъ, готовность на всякую помощь — вотъ его качества! Всѣ Новороссіяне считаютъ его своимъ отцомъ и благодѣтелемъ. Въ этомъ же родѣ дѣйствовалъ князь Д. В. Голицынъ въ Москвѣ, князь Рѣпинъ въ Малороссіи,

въ лучшіе годы своего управленія,—не говорю уже объ Ермоловѣ на Кавказѣ. Важнѣйшее достоинство графа Воронцова состоитъ не въ томъ, что онъ самъ дѣлаетъ добро, а что онъ всякому позволяетъ дѣлать добро, какое тотъ о немъ имѣетъ понятіе. Меценатъ далъ средства Виргилію писать стихи, и за то ему честь и слава, а бѣда была бы, еслибъ онъ вздумалъ ему совѣтовать, что надо вставить и что исключать.

Бываетъ столько же вреда,  
Когда  
Невѣжда не въ свои дѣла влечется  
И поправлять труды ученаго возьмется“.

Затѣмъ Погодинъ посѣщаетъ Риппельевскій Лицей. „Лицей“, писалъ онъ,—„съ своей Гимназіей—пространное зданіе со всѣми признаками католическихъ своихъ основателей: аббата Николя и герцога Риппеля. Онъ имѣетъ нѣсколько извѣстныхъ въ Россіи профессоровъ. Н. Н. Мурзакевичъ, воспитанникъ Московскаго Университета, оказалъ услугу ученому свѣту описаніемъ многихъ Новороссійскихъ древностей, преимущественно монетъ, и изданіемъ въ продолженіе многихъ лѣтъ Новороссійскаго Календаря, которому и старая Россія могла бы подражать въ извѣстныхъ отношеніяхъ. І. Г. Михневичъ, воспитанникъ Кіевской Академіи, представилъ нѣсколько философскихъ разсужденій, коими возбудилъ желаніе имѣть отъ него что-нибудь въ большемъ размѣрѣ. Онъ издаетъ теперь руководство въ Логикѣ. Два брата Бруны, изъ которыхъ одинъ, математикъ, славится особенно своимъ даромъ преподаванія, другой издалъ недавно основанія Политической Ариметики. Нордманъ извѣстенъ въ Европѣ, какъ отличный зоологъ, и проч“.

Погодинъ не оставилъ безъ вниманія и человеколюбивыя заведенія въ Одессѣ: сиротскій домъ, богадѣльню, больницу, и нашелъ, что они „стоятъ на такой степени (равно какъ и въ Москвѣ, С. Петербургѣ и другихъ городахъ), что имъ нельзя желать уже улучшеній, а развѣ на оборотъ, то-есть, надо

желать, чтобъ постели были измѣнены, чтобъ залы перегородились, чтобъ коридоры засорились, чтобъ слышалось болѣе шума, чтобъ видѣлось больше безпорядка. Безъ шутокъ“, продолжаетъ онъ,— „я никакъ не могу вообразить, чтобъ такая чистота и опрятность могли сохраняться естественно въ мѣстахъ, гдѣ живетъ по сту, по двѣсти стариковъ, дѣтей или больныхъ. Всякій старикъ, всякій больной желаетъ имѣть у себя свой уголокъ и расположиться хозяйски, а ходить, говорить, ѣсть и спать по стрункѣ,—о, это тяжело, особенно Русскому человѣку! Разумѣется, нѣкоторое стѣсненіе необходимо, но не такое, какъ у насъ. Благотворительныя заведенія въ Россіи устроены какъ будто для проходящихъ на показъ, и настоящіе жильцы кажутся какою-то утварью бездушною“.

О самомъ же городѣ Погодинъ говоритъ: „Улицы Одесскія правильныя, широкія; зданія огромныя, величественныя, и по нимъ можно видѣть всѣ три періода исторіи Одесской: дома объ одномъ жильѣ, коихъ остается уже мало, принадлежать во времени Ришелье, въ два—Ланжерона, а въ три и болѣе—новые, кои воздвигаются ежегодно десятками. Множество магазиновъ и очень богатыхъ, особенно въ Палероалѣ, напоминающемъ Парижскій, множество овощныхъ лавокъ, съ обиліемъ плодовъ юга, гостиницъ, кофейныхъ, кондитерскихъ. Товары колоніальныя, вино, сахаръ, кофе, сушена, полотно очень дешевы. Все есть въ Одессѣ—свобода, богатство, море, но нѣтъ воды и нѣтъ растительности. Лѣтомъ пыль, а зимою грязь, говорятъ, ужасныя“.

„Но не одни зданія“, замѣчаетъ Погодинъ,— „улицы, соборы, богатства украшаютъ городъ: *Красота убо граду*, говоритъ Русскій лѣтописецъ, *старые мужи и честна дума старыми и бѣлыми спдинами сущихъ*, есть же и старость не многочисленна а честна по Соломону: *спдина бо есть, рече, мудрость челоукомъ, и возрастъ старости житіе не скверно*. Къ сожалѣнію, Погодинъ „не могъ увидѣть главной знаменитости Одессы“. Графъ Воронцовъ былъ тогда далеко отъ Одессы. Погодинъ также очень сожалѣлъ, что не засталъ въ



Одессѣ Стурдзы, котораго онъ очень уважалъ. По словамъ Погодина, въ Стурдзѣ „Отечество имѣетъ краснорѣчивѣйшаго, ревностнѣйшаго поборника Православія. Въ самыхъ молодыхъ годахъ написавъ сочиненіе, которое доставило ему Европейское имя, онъ не перестаетъ трудиться на пользу церкви и словесности. Недавно еще перевелъ онъ собраніе проповѣдей Иннокентія о грѣхѣ, намѣренъ также перевести и Филарета, и вѣроятно познакомить публику съ плодами своихъ впечатлѣній въ продолженіе путешествія за границу“<sup>350</sup>).

Съ своей стороны и Стурдза весьма сожалѣлъ, что ему не удалось лично познакомиться съ Погодинымъ. Когда послѣдній вернулся въ Москву, то получилъ отъ Стурдзы слѣдующее письмо: „Временно проживая и хозяйничая за Днѣстромъ“, писалъ онъ, — „я узналъ, но поздно — о вашемъ пребываніи мимоѣздомъ въ Одессѣ. Письмо Елены Михайловны Титовой, вами изъ Вѣны привезенное, возвѣстило намъ о томъ, чего мы лишились, не повидавшись съ вами лично. Я до тѣхъ поръ буду жалѣть о не сбывшейся встрѣчѣ, пока морскія наши ванны, или цѣлебный нашъ Лиманъ, опять лѣтомъ не заманятъ васъ на время въ Южный край Россіи. Пора, давно пора намъ — заочное знакомство наше запечатлѣть живою бесѣдою лицомъ къ лицу! Правящій конторкою *Москвитянина* Кораблевъ истребовалъ у меня еще двадцать экземпляровъ моихъ *Писемъ о должности Священнаго Сана*, что мною исполнено. Другъ мой Архимандритъ Порфирій, обозрѣвавшій три года сряду всѣ страны Востока, завезъ эти книги въ Москву и вмѣстѣ принялъ на себя порученіе передать Редакціи вашего журнала статью мою, когда-то вамъ обѣщанную: *Воспоминанія мои о Н. М. Карамзинѣ*, данъ сердца великому писателю и гражданину. Завидую вамъ, Михаилъ Петровичъ, полагая, что вы имѣли давно желанное мною счастье увидѣться снова въ Харьковѣ съ Преосвященнымъ Иннокентіемъ. Святитель, можетъ быть, показывалъ вамъ мой Французскій переводъ его *Первой Седмицы Великаго Поста*, изданный мною въ Парижѣ“.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ Стурдза писалъ Погодину и слѣдующее: „Благодарю васъ за напоминанія ваши неподвижной духовной цензурѣ, которая, видно, думаетъ, что не зачѣмъ сгнѣштить: ибо *Царствіе Божіе не въ Словеси, а въ силѣ*, но вопреки сему истинному изреченію, толкуемому превратно, смѣю думать, что гг. духовнымъ цензорамъ досталось бы отъ апостола Павла“<sup>351</sup>).

Въ Одессѣ Погодинъ встрѣтилъ Подолинскаго, „пріятнаго поэта, такъ рано умолкнувшаго“, въ то время начальника Одесскаго почтоваго округа, и къ прискорбію своему не засталъ дома высокопреосвященнаго Гавріила, который „подарилъ насъ между прочимъ живыми разсказами стараго Запорожца Коржа“. Въ Одессѣ Погодинъ „разспрашивалъ много о покойномъ Магницкомъ и услышалъ отъ разныхъ лицъ, знавшихъ его коротко, что онъ имѣлъ многія искреннія, твердыя убѣжденія, и что сіи только убѣжденія приводили его иногда къ поступкамъ двусмысленнымъ, неосторожнымъ, или даже предосудительнымъ. Онъ былъ всегда безкорыстенъ, услужливъ, любезенъ. Бесѣда его была, говорятъ, увлекательная“, и по этому поводу Погодинъ даетъ благой совѣтъ: „Не станемъ торопиться осуждать“...

Ученики и товарищи университетскіе пригласили Погодина обѣдать вмѣстѣ въ гостиницѣ Рипелье. „Видя ихъ радушіе, участіе, пріязнь“, Погодинъ „вспомнилъ живо старое университетское время и сказалъ за бокаломъ вина: „Благодарю васъ искренно за вашъ радушный пріемъ. Старому инвалиду Московскаго Университета мнѣ пріятно, сладко, принять въ сердцу эти знаки вашей дружбы. Они драгоцѣнны для меня и въ другомъ отношеніи, напоминая то доброе старое время, когда Университетъ былъ для своихъ воспитанниковъ вторымъ отеческимъ домомъ, а они всѣ были другъ для друга братьями, когда Университетъ былъ одно цѣлое, гдѣ всякая хорошая лекція принадлежала не только всѣмъ курсамъ, но и всѣмъ факультетамъ, и студенты дополняли свое образованіе сообществомъ. Нынѣ я долженъ съ прискорбіемъ извѣстить васъ ста-

рыхъ Москвитанъ, что чувство дѣтской преданности оскудѣваетъ, можетъ быть—вслѣдствіе умножающейся учености и мудрости; Университетъ, раздѣленный на четыре факультета и семнадцать курсовъ, не есть одно цѣлое, а только дробь, равная цѣлому; студенты не знаютъ другъ друга, заключенные каждый въ тѣсные предѣлы своего курса. Пожелаемъ, чтобъ это положеніе было послѣднимъ актомъ ветхой Нѣмецкой системы, которая, со всѣми своими отраслями, можетъ быть полезными въ свое время, начинаетъ сильно мѣшать свободному Русскому развитію и вредить не только Московскому Университету, а и всему просвѣщенію, какъ и предусматриваетъ уже, кажется, наше дѣятельное начальство. Пожелаемъ, чтобъ въ Московскій Университетъ возвратилась патріархальность нашего добраго стараго времени съ искренностью, любовью и согласіемъ, разумѣется, сообразно съ новыми успѣхами наукъ и гражданской жизни безъ недостатковъ и грѣховъ старины<sup>а</sup>. Въ обѣдѣ участвовали также помощникъ попечителя А. Г. Петровъ, А. И. Подолинскій и Л. С. Пушкинъ. По поводу послѣдняго Погодинъ справедливо замѣтилъ: „Надо непременно бы собрать теперь всѣ подробности, скажу встати, о жизни, образѣ мыслей и дѣйствіяхъ нашего славнаго Пушкина, пока живы столько современниковъ, которые его помнятъ хорошо, а то дѣти наши будутъ также хлопотать и спорить о немъ, какъ мы теперь о годѣ и мѣстѣ рожденія Карамзина!“

Н. Н. Мурзакевичъ показывалъ Погодину тотъ Лѣтописецъ „въ родѣ Софійскихъ, принадлежащій графу М. С. Воронцову, въ началѣ котораго помѣщена знаменитая *Псковская грамота*, XIV в. Просвѣщенный владѣлецъ намѣренъ издать ее вмѣстѣ съ другими достопримѣчательностями своей библіотеки. Вторую драгоценность Воронцовской библіотеки составляетъ *Разрядная книга*, самая древняя изъ всѣхъ, до насъ дошедшихъ. У Мурзакевича Погодинъ видѣлъ также *сказку о Синаиритѣ царѣ* на Болгарскомъ нарѣчій. „Видно“, замѣчаетъ Погодинъ, „изъ Болгаріи она перешла и къ намъ. Также *Исторія о взятіи Трои*, переведенная, что примѣчательно,

почти на всѣ Словенскія нарѣчія въ древности“. У Мурзакевича былъ также образъ, или панатія, въ родѣ такъ называемой Черниговской гривны, только мѣдный и безъ Русской надписи. „Но я“, признавался Погодинъ, „не стану слишкомъ выхвалять вещей, чтобъ не удержать Мурзакевича отъ присоединенія ихъ къ моимъ собраніямъ“.

---

## LII.

На третій день своего пребыванія въ Одессѣ Погодинъ вздумалъ отправиться въ Крымъ. Онъ уже переслалъ свои вещи на пароходъ Дарго и самъ пріѣхалъ „въ сопровожденіи своихъ друзей, какъ вдругъ, ступая уже на доску, почувствовалъ въ себѣ отвращеніе, потому ли, что на канунѣ имѣлъ письмо отъ семейства, звавшего его домой,—потому ли, что море на глазахъ его сильно колебалось послѣ вчерашняго ужаснаго вѣтра, и онъ убоился подвергнуться болѣзни и опасности, передалъ свое ощущеніе знакомымъ морякамъ, которые проводжали его, и спросилъ у нихъ совѣта. „А какъ вы бываете въ дорогѣ?“ спросили они его: „рѣшительны или нѣтъ?“ Я отвѣчалъ, что всегда бываю рѣшителенъ. „Такъ не ѣздите въ Крымъ, если теперь колеблетесь“,—и Погодинъ съ „горемъ по поламъ“ остался. Предосадно быть на день отъ Константинополя и Крыма, и не видать ихъ!“

„Одесса“, писалъ Погодинъ,—„имѣетъ сообщеніе свободное и удобное съ Константинополемъ и Средиземнымъ моремъ, Галацомъ и Дунаемъ, нынѣ съ Редуть-Кале и Кавказомъ,—но не съ Россією. Въ три дня я не нашелъ себѣ попутчика ни въ Москву; ни въ Харьковъ. Дилижансовъ нѣтъ, и должно было пуститься одному на перекладныхъ“.

Дорога отъ города до таможи покрыта была въ нѣсколько рядовъ телегами и волами, привозившими пшеницу. Насилу могъ Погодинъ пробраться. Здѣсь онъ опять воздастъ хвалу таможеннымъ чиновникамъ. „Осмотръ“, писалъ онъ,

„произведенъ очень учтиво и снисходительно. Хотя со мной не было рѣшительно ничего запретнаго, однако, все можно было причинить неудовольствіе, заставивъ перекладывать всѣ вещи“. До таможи Погодина провожали Мурзакевичъ, Соколовъ, Ляликовъ, и, выпивъ по бокалу шампанскаго, они распростились съ Погодинымъ.

Изъ Одессы онъ отправился въ Харьковъ. На пятисотверстномъ разстояніи до Кременчуга нашъ путешественникъ катился по гладкой и ровной дорогѣ. „Вотъ онѣ степи“, восклицалъ онъ, „ни дерева, ни хижины, тишина невозмутимая! Горизонтъ безконечный. Только и встрѣчаешь что воловъ, которые или тянутся днемъ медленно впередъ, или вечеромъ пасутся около телегъ, а Малороссіане грѣются предъ разведеннымъ огнемъ. По небу летаютъ зори“.

На другой день Погодинъ, переправившись черезъ Бугъ, пріѣхалъ въ *Николаевъ*, „прекрасный вновь отстроенный городъ, съ широкими улицами“, гдѣ имѣетъ пребываніе Адмиралъ Черноморскаго флота и находится высшее Штурманское училище. „Жители здѣсь“, замѣчаетъ Погодинъ, — „кажется, чиновники разныхъ вѣдомствъ, особенно морского“.

Отобѣдавъ въ Николаевѣ въ довольно опрятномъ трактирѣ, Погодинъ пустился далѣе. „Людей“, писалъ онъ, — „все еще не видать почти нигдѣ; изрѣдка военное, разумѣется, прекрасно отстроенное и расположенное поселеніе. Чтò за пространство! Ыдешь, ѣдешь, и Богъ знаетъ чрезъ сколько времени увидишь дымокъ, признакъ людскаго житья. Подъ конецъ становится скучно въ степи, точно также, какъ и въ горахъ“.

На третій день Погодинъ пріѣхалъ въ *Елисаветградъ*, основанный Императрицею Елисаветою во время поселеній Сербскихъ. „За Елисаветградомъ точно тѣ же явленія повторяются вплоть до Кременчуга на Днѣпрѣ, прекраснаго города, съ котораго собственно начинается Малороссія и Россія“.

„До сихъ поръ“, по замѣчанію Погодина, — „безъ сомнѣ-

нія, обитали Словене—но не далѣе. Безъ лѣса и во многихъ мѣстахъ безъ воды они не могли ни построить себѣ жилья, ни жить. Степи принадлежали кочевымъ племенамъ. Зима хватаетъ, какъ говорили проѣзжіе, обыкновенно до Елисаветополя, или до Бобринца, за ними климатъ теплѣйшій“.

За Кременчугомъ въ селѣ Омелненки Погодинъ увидѣлъ Малороссійскую ярмарку. „Що Боже, ты мій Господе! Чого нема на тій ярмарци! Колеса, скло, деготь, тютюнъ, ремень, цибуля, крамори всяки... такъ що хотъ бы въ кешели були рублівъ и съ тридцать, то и тогди бъ ни закупишь усіей ярмарки“. Толпы народа, мужиковъ, бабъ и дѣтей толпились на равнинѣ подлѣ селенія. Воли покупались, продавались и смѣнивались. Деготь изливался непрерывными струями въ логунки. Сало сіяло въ огромныхъ комахъ. Бабы ходили около кушаковъ, серегъ, гребней. Ребятишки толкались передъ картинками. Образа живописные продавались по полтинѣ. По сторонамъ навалены кучами арбузы. Вездѣ раздавались звонкіе голоса проворныхъ Москалей, которые надѣляли всѣми этими товарами почтенныхъ Малороссовъ. Въ толпахъ народа прохаживались важно сельскіе попы съ своими супругами, въ крытыхъ сукномъ тулупахъ; волостные писари величались въ бараньихъ шапкахъ, и проч. и проч.

Наконецъ „удостоился“ Погодинъ видѣть и знаменитую Рѣшетилровку, „ту Рѣшетилровку, которая смушками своими надѣляетъ всю Малороссію и славится во всѣхъ ея предѣлахъ. О, какъ возвеличилась и украсилась она со временъ Рудаго, Пасѣчника Диканьскаго. Онъ самъ не узналъ бы ея и обомлѣлъ бы отъ удивленія! Что за улицы, что за дома! А какъ они выкрашены отъ заваленки до крыши, яркой померанцовой краской! Такъ и мечутся въ глаза! Можете судить, какое впечатлѣніе получаетъ путешественникъ, ѣдущій изъ Новороссійскихъ степей! Долгъ справедливости однакожъ требуетъ замѣтить, что не всѣ сполна выкрашены они этой дорогой, видно, краской: одни только спереди, другіе сзади, у иныхъ одна стѣна оранжевая, а три бѣлыя. А что за сель-

ская расправа! Какова станція! Есть и училище. О панскомъ домѣ и говорить нечего“. Дорогою отъ Рѣшетилонки до Харькова Погодинъ остался очень доволенъ. Нигдѣ не было ему никакой остановки. „Лошади вездѣ готовы. Ямщики трезвые. Смотрители исправные. На станціяхъ комнаты вездѣ порядочныя и теплыя. Нельзя не радоваться улучшеніемъ этой важнѣйшей для Россіи въ наше время части путевыхъ сообщеній“.

На четвертыя сутки Погодинъ пріѣхалъ въ Харьковъ къ Преосвященному Иннокентію, который, по свидѣтельству Погодина, „служить безпрестанно, проповѣдуетъ, дѣйствуетъ... Теперь готовы у него въ печати: *Великій постъ* и *Паденіе Адамово*. Переписывается собраніе Харьковскихъ проповѣдей, въ родѣ Вологодскихъ. Но сколько задумано сочиненій по части Исторіи Русской Церкви, Исторіи Польской Церкви... Дай Богъ, дай Богъ ему здоровья, силъ, досуга, чтобы совершить всѣ эти труды на славу Русской Церкви, на славу бѣдной Русской науки“.

Въ бытность въ Харьковѣ Погодинъ присутствовалъ при служеніи молебна, какой бываетъ еженедѣльно по пятницамъ Покрову Пресвятой Богородицы. Этотъ образъ приносится на зиму изъ монастыря въ соборъ. Акакистъ читаетъ всегда самъ Преосвященный. „Служба такъ приноровлена къ житейскимъ, человѣческимъ нуждамъ“, пишетъ Погодинъ, — „что со всякимъ словомъ обращаешься на собственное свое положеніе, и я видѣлъ, какое участіе принимаетъ въ ней народъ, какое вниманіе, благоговѣніе изображается на лицахъ, сколько слезъ течетъ изъ глазъ! И благочестіе имѣетъ нужду въ питаніи, ободреніи, оживленіи! Въ томъ и состоитъ жизнь Церкви. Надо пользоваться всѣми случаями, отыскивать новыя, чтобы возбуждать сердце къ молитвѣ. Куда ни заглядывается привычка, а она убійственна! За то новостъ, умная новостъ, не противная старинѣ, оказываетъ благотѣльное дѣйствіе“.

Въ Харьковскомъ Университетѣ Погодинъ прежде всего посѣтилъ лекціи профессора Словенскихъ нарѣчій и литера-

туръ И. И. Срезневскаго и очень остался доволенъ его „простымъ, яснымъ и поучительнымъ“ изложеніемъ своего предмета. Въмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ передалъ Срезневскому „множество поклоновъ съ береговъ Дуная, гдѣ онъ оставилъ по себѣ пріятныя и живыя воспоминанія не только между учеными, но и простолюдинами“.

Въ то время въ Харьковскомъ Университетѣ производилъ „особенное дѣйствіе“ молодой, только что пріѣхавшій, преподаватель химіи—Ходневъ. Студенты всѣхъ отдѣленій собирались его слушать, и въ аудиторіи недоставало мѣста. „Прекрасный знакъ“, замѣчаетъ Погодинъ, „и въ отношеніи къ профессору, и въ отношеніи къ студентамъ!“ Съ своей стороны Погодинъ отправился къ нему на лекцію, но „въ сожалѣнію попалъ на такую, которой предметъ слишкомъ частень“; но тѣмъ не менѣе Погодинъ примѣтилъ, что профессоръ говоритъ „легко, свободно, ясно, пріятно“.

На вечерѣ у Преосвященнаго Погодинъ „дополнилъ свое давнее знакомство съ Харьковскими профессорами“ и при этомъ замѣтилъ: „Сколько людей почтенныхъ, даровитыхъ, знающихъ: но отчего же нѣтъ у насъ ученой жизни, нѣтъ ученой литературы! Право, это задача, которую не грѣхъ было бы задать Академіямъ“. Здѣсь же встрѣтился Погодинъ съ знаменитымъ Сербскимъ поэтомъ Милутиновичемъ, который возвращается въ Сербію, очень довольный пріемомъ Московскимъ и Петербургскимъ... Какъ-то случилось Погодину завести рѣчь съ нимъ объ изслѣдованіяхъ Колара, „и каково было мое удивленіе“, писалъ Погодинъ,—„когда Милутиновичъ передалъ мнѣ слѣдующій отзывъ Гёте. Гёте съ особеннымъ участіемъ разспрашивалъ Колара, не было ли какихъ Сербскихъ путешественниковъ въ Калабрію, зная отъ кого-то навѣрное, что тамъ въ языкѣ, одеждѣ, обычаяхъ есть множество Словенскаго! Я просилъ Срезневскаго написать объ этомъ тотчасъ Колару, который обрадуется безъ памяти такому важному указанію. Въ самомъ дѣлѣ, далеко ли были Словенамъ переѣздъ изъ Рагузы въ Калабрію—въ нѣсколько



часовъ! Да, теперь оказывается, что Словене были одними изъ первыхъ поселенцевъ въ Европѣ. Въ срединѣ они сохранили свою народность, а по краямъ подчинились чуждому вліянію—огречились, олатинились въ древности, какъ въ Средніе вѣка отуречились, или въ наше время онѣмечиваются, хотя и отъ разныхъ причинъ. Шлецеръ запретилъ намъ говорить о народѣ прежде, нежели имя его попадетъ въ лѣтописи, и мы, послушные повелительному гласу, не осмѣливались искать Словенъ прежде. Венелинъ сказалъ, что Словене, являсь въ VI столѣтіи подъ этимъ именемъ въ Европѣ, прежде скрывались подъ другими именами. Шафарикъ подвелъ строгія критическія доказательства подъ эту мысль, и заключилъ, что между древними поселенцами Европейскими Словене древнѣе Нѣмцевъ и не моложе Фракійцевъ. Фальмерайеръ, врагъ Словенъ, призналъ однакожъ ихъ древнее существованіе въ Греціи. Коларъ ведетъ въ Италію. Вотъ путь науки! И въ самомъ дѣлѣ Словене есть многочисленнѣйшій народъ на свѣтѣ: непременно онъ долженъ быть и древнѣйшій. Я становлюсь теперь благосклоннѣе и къ фантазіямъ Хомякова. Поэтъ, можетъ быть, чувствуетъ, что докажетъ критикъ. Такъ, всякая историческая мысль живетъ, имѣетъ свои степени и достигаетъ *современемъ* полноты и основательности. Въ иныхъ она является чаяніемъ, въ другихъ догадкою, въ третьихъ предположеніемъ, заключеніемъ. Одни доходятъ аналитически, другіе синтетически. Нечего прибавлять, что на всѣхъ степеняхъ бываютъ шарлатаны...

Вмѣстѣ съ преосвященнымъ Иннокентіемъ Погодинъ ѣздили на архіерейскую дачу Всесвятское. „Она“, замѣчаетъ онъ,— „уже совершенно измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ ее въ 1842 году. Тысячи деревъ, насаженныхъ собственными его (Иннокентія) руками, покрыли ея границы. Дорожки растянуты на нѣсколько верстъ. Подъ горою выкопанъ прудъ, на которомъ оставлены три острова въ память трехъ вновь основанныхъ или возобновленныхъ монастырей въ Харьковской

епархіи. Въ горѣ выкопаны длинныя пещеры... Вездѣ мысль, вездѣ религія, вездѣ поэзія“ <sup>352</sup>).

26 октября 1846 года Погодинъ возвратился въ Москву. „Поздравляю васъ съ возвращеніемъ“, писалъ ему А. В. Горскій, — „къ своимъ рукописямъ, къ своимъ изысканіямъ. Радуюсь, слыша, что вы въ путешествіи и на водахъ укрѣпили свои силы для новыхъ трудовъ. Что до Сіона и Іерусалима, еще надежда не потеряна видѣть древнюю святыню“. Въ томъ же письмѣ Горскій писалъ: „Какъ вамъ благодаренъ за портретъ вашъ, который такъ живо и вѣрно изображаетъ черты ваши. Тысячу разъ благодарю васъ за этотъ подарокъ. Въ моемъ маленькомъ кабинетѣ вы всегда будете передъ моими глазами; одинъ взглядъ на васъ будетъ напоминать мнѣ о вашей ревности, о вашихъ трудахъ для Отечественной Исторіи и будетъ возбуждать къ тому, чтобы быть достойнымъ вашего расположенія хотя малыми усиліями на томъ поприщѣ“ <sup>353</sup>).

Посѣтивъ по своему возвращеніи въ Москву Чертковыхъ, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Добрая Лизавета Григорьевна очень обрадовалась...“

Между тѣмъ наступилъ день *Собора св. архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ Силъ*, и Погодинъ отпраздновалъ день своего Ангела Хранителя въ кругу своихъ старыхъ друзей, сотрудниковъ *Московского Вѣстника*, и вотъ что записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Въ церкви. Все о Лизѣ. Поздравители. Соловьевъ и пр. Обѣдали Титовъ, Любимовъ, Шевыревъ etc. Пустота разговоровъ, а могли бы говорить о дѣлѣ. Русское свойство. Нѣтъ, ни въ чемъ не нахожу я уже интереса. Говорилъ механически“.

М. А. Дмитріевъ привѣтствовалъ именинника слѣдующими стихами:

Поздравляю съ именинами!  
Дай Богъ жизни на пути  
Вамъ учености стремліннями  
Привѣщаяи идти!

Дай Богъ вамъ и *Москвитяину*  
И толстѣть, и богатѣть:

А цензурному боярину  
Къ вамъ почтеніе имѣть!

А пустынею Словесности  
И сотрудники бы шли  
Такъ сказать не въ безызвѣстности,  
Имъ бы слава, вамъ рубли! <sup>254)</sup>

### ЛIII.

На вечерѣ у Софьи Сергѣевны Бибицовой А. О. Смирнова встрѣтилась съ фельдмаршаломъ Паскевичемъ и въ своемъ *Дневникѣ* подъ 12 марта 1845 года записала: „Счастливый случай доставилъ мнѣ сидѣть возлѣ фельдмаршала... Я спросила его о Словенскихъ движеніяхъ въ Богеміи. „Вы вѣрите этимъ Словенскимъ движеніямъ? Это все возмутители, бунтовщики; я этимъ всѣмъ воли не даю; у меня въ Варшавѣ не смѣютъ объ этомъ говорить; всѣхъ ихъ подальше“. „Какъ и Богемцы у васъ не въ милости?“ „Бунтуютъ противъ Австріи, все это неповорность“. Въ то же время Хомяковъ писалъ Самарину: „Временная буря прошла. Ея истинная причина была не въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ того или другого изъ насъ, а въ появленіи нѣсколькихъ статей за границей объ *mouvement Slave* и *mouvement Moscovite*. Истинной опасности не было до сихъ поръ, и если ничто не переизмѣнится, ея не будетъ; но при проснувшихся подозрѣніяхъ можно добиться неосторожностью до опасности. Между тѣмъ нелѣпая строгость цензуры, особенно къ *Москвитяину*, была единственнымъ слѣдствіемъ всего Петербургскаго перепуга“ <sup>255)</sup>.

Не взирая на все это, Погодинъ благополучно совершилъ путешествіе къ Словенамъ и продолжалъ имѣть съ ними живое общеніе. Еще въ путешествіе 1842 года Погодинъ, по рекомендаціи Шафарика, привезъ въ Москву одного чеха, по фамиліи Гавличка, котораго и пристроилъ онъ въ Шевыреву. Предъ отправленіемъ въ послѣднее путешествіе Погодинъ получилъ отъ Шевырева (1 іюля 1846 г.) слѣдующее письмо:

„Прошу тебя непременно сказать слѣдующее Шафарику и Ганкѣ о Гавличкѣ. Извѣстно, для какой цѣли я желалъ поручить первое воспитаніе сына моего словенину: мнѣ хотѣлось внушить любовь къ роднымъ племенамъ, познакомить его съ ними въ самыхъ первыхъ впечатлѣніяхъ дѣтства и поправить тѣ недостатки въ воспитаніи, которые мы всѣ имѣемъ, не зная ничего о своихъ соплеменникахъ. Гавличекъ своимъ жесткимъ и грубымъ обращеніемъ съ дѣтьми не только не способствовалъ исполненію моей цѣли, но на долгое время, конечно, удалилъ возможность ея исполненія. Въ дѣтяхъ моихъ, сынѣ и племянникѣ, онъ не только не поселилъ любви къ Словенскимъ племенамъ, но своею грубою личностью могъ скорѣе внушить къ нимъ отвращеніе. Между ними вмѣсто любви онъ сѣялъ раздоръ—и принималъ сторону племянника противъ моего сына, вообразивъ, что мы, я и жена моя, не любимъ племянника, котораго, какъ круглаго сироту и совершенно безпомощнаго, взяли добровольно на воспитаніе. Самому племяннику внушилъ эти мысли противъ насъ—и произвелъ зло ужасное. Сыну моему рассказывалъ, что у нихъ въ семействахъ священникъ выше всего, отецъ немного значить, а мать вовсе ничего. Дѣтямъ не внушалъ никакого повиновенія и никакой любви. Ты лжешь и ты врешь—вотъ два слова наиболѣе понятныя изъ всего Русскаго словаря Гавличка. Купцы и солдаты—вотъ единственные игры, которыя изобрѣталъ Гавличекъ для дѣтей: торговля и матеріальная сила—двѣ идеи, которыя онъ развивалъ. Пребываніе Гавличка у меня въ домѣ я считаю истиннымъ несчастіемъ. До сихъ поръ я не говорилъ о томъ ни слова, не желая нанести вреда Гавличку, не желая также сказать непріятное Шафарику и тебѣ, потому что вы были оба невинными орудіями моихъ непріятностей. Но теперь, когда я слышу, что онъ дѣйствуетъ противъ моего Отечества, что онъ смѣетъ бранить Россію и народъ мой, я считаю обязанностію обличить его, какъ человѣка, и сказать, кто онъ таковъ. Здѣсь онъ поносилъ Австрійское правительство: тамъ онъ предался ему и поносить Русское. И въ томъ, и въ

другомъ случаѣ онъ лжетъ. Вообще онъ здѣсь отличался злоязычіемъ. Въ теченіе года я не слыхалъ, чтобы онъ хотя объ одномъ изъ литераторовъ и ученыхъ Чешскихъ выразился съ полнымъ уваженіемъ и похвалою. Смѣялся онъ надъ Университетомъ Пражскимъ. Разказы его о жизни студенческой состояли въ разказахъ о дракахъ—и не болѣе. Стрѣлять и ходить на волковъ—было его лучшее удовольствіе. Я слышалъ, что онъ смѣетъ порицать благочестіе нашего народа и полагаетъ всю его вѣру въ одной обрядности. Онъ повторяетъ, какъ невѣжда, клеветы давнишнія иностранцевъ. Я могу засвидѣтельствоватьъ, что онъ никогда не хотѣлъ изучать народъ нашъ, ни въ его современномъ быту, ни въ Исторіи. Живучи въ деревнѣ, онъ никогда не вникалъ въ особенности крестьянскаго быта—и не говорилъ съ народомъ. Въ то самое время, какъ онъ жилъ у меня, я въ первый разъ въ теченіе академическаго года читалъ курсъ Исторіи древней Русской словесности и предлагалъ Гавличку посѣщать мои лекціи, изъ которыхъ узналъ бы онъ какъ насадилась вѣра въ Русскомъ народѣ: но онъ былъ только на одной лекціи и съ тѣхъ поръ не бывалъ болѣе. Бодянскаго также онъ не посѣщалъ. Погодина тоже. Изъ библіотеки моей онъ не бралъ ни лѣтописей, ни актовъ, ни писателей прежнихъ, ни Исторіи Карамзина, а довольствовался однимъ Гоголемъ—и то понималъ въ немъ одну только комическую сторону, которая приходилась по сердцу его наклонности къ смѣшному. По всѣмъ этимъ причинамъ Гавличекъ не имѣетъ никакого права говорить о Россіи ни въ литературномъ, ни въ народномъ отношеніи. Я слышалъ, что онъ называетъ себя чехомъ и отрекается отъ имени словенина. Одно противорѣчитъ другому. Но я, зная его лично, радъ бы былъ исключить его изъ списка какъ Чеховъ, такъ и Словенъ вообще. Dixi— и все сказанное подтверждаю моимъ честнымъ словомъ“.

Но этотъ случай нисколько не помѣшалъ Срезневскому изъ Харькова горячо рекомендовать Погодину другого словенина, по имени Дмитрія Степановича Чупита, родомъ серба. „Иные

люди“, писалъ Срезневскій,—„бываютъ похожи на музейныя рѣдкости. Таковъ и этотъ сербъ, котораго позволяю себѣ рекомендовать вамъ. Это Дмитрій Степановичъ, сынъ того Чупита, который участвовалъ въ освобожденіи Сербіи изъ-подъ ига Турецкаго, бывшій когда-то богатымъ, а теперь, какъ видите—сиромыхъ! Пробирается онъ изъ Іерусалима въ Петербургъ, съ надеждою, что тамъ найдетъ себѣ возможность воротиться въ Сербію для продолженія службы отечеству. Исторія сія долга, онъ самъ ее разскажетъ вамъ, если вы обратите на него вниманіе. Онъ будетъ у васъ просить совѣтовъ и помощи. Не смѣю просить васъ за него; но не могу не сказать, что онъ достоинъ жалости и снисхожденія даже по твердости характера. Человѣкъ онъ довольно образованный и готовится быть писателемъ; хорошо, если только попадетъ на добрую колею, не на ту, которую себѣ выбирали прежніе Сербскіе писатели путешествій“<sup>356</sup>). Объ этомъ же сербѣ Срезневскій писалъ также Бодянскому и просилъ наставить его, дать ему возможность обратиться къ людямъ, которые бы могли ему вспомошествовать. „Не дивитесь“, продолжалъ Срезневскій,—„если сначала его нарѣчіе не покажется вамъ чистымъ, но разговоритесь и будете удивляться, какъ можно считать его нечистымъ сербомъ... Но на странствіяхъ, особенно по Россіи, невольно забываетъ словенинъ свой родной языкъ“<sup>357</sup>).

Рекомендованный Срезневскимъ Погодину и Бодянскому сербъ нашелъ себѣ пріютъ опять-таки у добраго Шевырева. „Что тебя не видно?“, писалъ послѣдній Погодину, „опять ушелъ въ берлогу и не показываешься. Сюда пріѣхалъ сербъ Чупить, рекомендованный Срезневскимъ: Я его помѣстилъ у себя. Надобно ему собрать на проѣздъ въ Петербургъ“. Впрочемъ Погодинъ на этого серба обратилъ вниманіе и А. В. Горскаго, который писалъ о немъ: „Гдѣ вашъ добрый сербъ Дмитрій Степановичъ? Усерднѣйше благодарю васъ за доставленіе случая познакомиться лично съ роднымъ иностранцемъ“.

Въ 1846 году Вячеславъ Ганка напечаталъ въ Прагѣ второе изданіе Реймскаго Евангелія, первое изданіе коего,

на средства Императора Николая и ему посвященное, вышло въ Парижѣ въ 1843 году. Изданію своему Ганка далъ слѣдующее заглавіе: *Сазаво-Эммауское* \*) *Святое благовѣствованіе, нынѣ же Ремское, на неже прѣже прислаша при вѣнчанномъ мѣропомазаніи Цари Францускіи съ прибавленіемъ съ боку того же чтенія Латинскими буквами и слѣченіемъ Остромирова Евангелія и Острожскихъ чтеній. Трудомъ и иждивеніемъ Вячеслава Ганки. Въ Чешской Празѣ.*

Написавъ на это изданіе рецензію, Срезневскій отправилъ ее къ Погодину для напечатанія въ *Москвитининѣ*. „Посылаю вамъ статью“, писалъ онъ, — „Реймскомъ Евангеліи: если не понравится заглавіе, то вы перемѣните; равно если сочтете нужнымъ что-нибудь опустить, то выкиньте. Объ одномъ только прошу: прикажите вашему корректору внимательнымъ быть къ ортографіи выписокъ изъ рукописей“ <sup>358</sup>). Само собою разумѣется, Погодинъ съ удовольствіемъ напечаталъ эту критическую статью Срезневскаго <sup>359</sup>).

Весьма естественно Ганка рассчитывалъ, что на его изданіе Реймскаго Евангелія будетъ большой спросъ въ Россіи; но онъ, кажется, ошибся въ своихъ расчетахъ, что явствуетъ изъ его переписки съ Бодянскимъ. Такъ въ письмѣ его (отъ 25 октября 1846 г.) мы читаемъ: „Приложенный къ вашему письму счетъ я получилъ. Весьма полезно было бы для меня, еслибъ вы постарались сбыть пока хоть столько экземпляровъ (*Евангелія*), чтобъ можно было заплатить за доставку. При моемъ маленькомъ жалованіи этотъ расходъ для меня въ высшей степени обременителенъ, въ особенности въ этомъ году, когда все такъ дорого. Болѣе тысячи гульд. сер. наличными деньгами я долженъ былъ заплатить за *Евангеліе*, и теперь предстоить мнѣ еще столько заплатить за доставку. Я рассчитывалъ на то, что вы, господа профессора Словен-

\*) Въ своемъ предисловіи Ганка объясняетъ: „Мы называемъ нашу рукопись *Сазаво-Эммаускою*, потому что Кирилловскую часть писалъ Св. Прокопій, первый настоятель монастыря Сазавскаго, а императоръ Карлъ IV даровалъ ее въ славу монастырю Эммаусскому и въ честь блаженного Иеронима и Св. Прокопія“.

ской Словесности, будете ко мнѣ на столько пріятельски благосклонны и милостивы, что возьметесь рекомендовать эту вещь своимъ слушателямъ, какъ послѣдній остатокъ Православія на Западѣ, чтобъ книга побольше, распространилась, и чтобъ священный языкъ сталъ извѣстенъ, я принялъ въ нее, на сколько возможно, побольше изъ *Остромирова Евангелія*. Но если я долженъ буду заплатить вамъ наличными деньгами и за доставку, то вы, какъ вижу, не похлопочете даже о томъ, чтобъ хоть сколько-нибудь разошлось, и хорошая вещь будетъ лежать безъ пользы, какъ желаютъ этого наши доброжелатели. Если все-таки необходимо за доставку заплатить наличными, то, можетъ быть, Михаилъ Петровичъ Погодинъ приметъ эту издержку на себя въ счетъ *Чешской Библии*, о чемъ я пишу ему“. Въ другомъ письмѣ своемъ Ганка изливаетъ неудовольствіе только на Москву: „Судя по вашему письму, у меня мало надежды на скорый сбытъ моихъ книгъ, но это могло бы произойти только по вашей винѣ, еслибъ *Матушка Москва Блокаменная* спасовала передъ Кіевомъ и Петербургомъ. Баронъ Шодуаръ продалъ уже вторую сотню *Началъ Священнаго языка Словенъ* (Прага 1846) и *Евангелія*, а онъ не профессоръ Словенскихъ нарѣчій; точно также Николай Герасимовичъ Устряловъ“. Къ довершенію огорченій Ганки А. А. Куникъ написалъ на Пражское изданіе *Реймскою Евангелія* весьма строгую рецензію и подъ заглавіемъ: *Das Rheimser Evangelium* напечаталъ ее въ *S.-Petersburger Zeitung* 1846 года (№№ 68 и 69). Рецензія эта очень раздражила Ганку. Желая усладить свою горечь, причиненную и малымъ распространеніемъ въ Россіи его изданій, и критикою А. А. Куника, Ганка описываетъ Бодянскому свою бесѣду съ Великою Княгинею Ольгою Николаевною: „Не могу не похвалиться вамъ, что Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга Николаевна изволила пригласить меня къ себѣ и въ продолженіе почти двухъ часовъ упражняться въ Чешскомъ языкѣ; Ея Высочество изволила читать и переводить изъ *Краледворской рукописи* и предлагать разные вопросы



изъ Исторіи и Этнографіи, пока наша пріятная бесѣда не была прервана обѣденнымъ звонкомъ. Ея Высочество изволила спрашивать меня, съ какими изъ Русскихъ ученыхъ я знакомъ, съ какими состою въ перепискѣ. Ея Высочество знала всѣхъ, и въ наибольшей милости у Ея Высочества, на сколько я могъ замѣтить, Степанъ Петровичъ Шевыревъ; потрудитесь передать ему это... На слѣдующій день я получилъ въ высшей степени милостивую записку и прекрасный брилліантовый перстень съ свѣтлымъ рубиномъ *въ память пріятной бесѣды* <sup>360</sup>).

Въ день *уже во святыхъ отецъ нашихъ Меодія и Кирилли, учителей Словеномъ*, 11 мая 1846 года, Словеновѣдѣніе въ Россіи потерпѣло незамѣнимую утрату. Въ этотъ день, въ Петербургѣ, тридцати шести лѣтъ отъ рожденія скончался Петръ Ивановичъ Прейсъ. Вскорѣ послѣ его кончины Погодинъ получаетъ изъ Царскаго Села письмо отъ проживавшаго въ домѣ Михаила Васильевича Пашкова Оедора Николаевича Бѣляева, въ которомъ, вѣроятно, не безъ изумленія, прочелъ слѣдующее: „Судьба моей жизни въ вашихъ рукахъ. Дѣло вотъ въ чемъ: я нынѣшній день узналъ, что Прейсъ недавно умеръ. Говорятъ — никого еще на его мѣсто опредѣлительно въ виду не имѣется. Я былъ учителемъ Церковнаго языка въ Воспитательномъ Домѣ; занимался *потомъ для себя* Польскимъ и Чешскимъ нарѣчіями, и читаю на нихъ книги, теперь занимаюсь Сербскимъ, а современемъ примусь и за другія. Двухъ первыхъ нарѣчій я еще не изучилъ въ грамматическихъ подробностяхъ, а главное — не былъ въ Словенскихъ земляхъ (былъ впрочемъ только три дня въ Прагѣ и учился тамъ произношенію), практически не упражнялся и не имѣю свѣдѣній въ *живой, устной* рѣчи племенъ Словенскихъ и въ областныхъ отгѣнкахъ ея. Еслибы меня послали въ Словенскія земли хотя на два года, то бы я употребилъ все рвеніе для усовершенствованія себя въ извѣстномъ уже мнѣ отчасти и для пріобрѣтенія новыхъ познаній. Но для этого, я полагаю, нужно рекомендательное

письмо къ Министру или къ Плетневу, ректору С.-Петербургскаго Университета, или къ тому и другому вмѣстѣ, или еще къ кому-нибудь. У меня нѣтъ никого, кромѣ васъ: если можете, — уважите мнѣ письмами, или какъ-нибудь, на средства къ путешествію по Словенскимъ землямъ. Въ этомъ случаѣ вы сдѣлаете мнѣ счастье, а другимъ, можетъ быть, пользу. Отъ скорости вашего отвѣта на это мое письмо — все зависитъ! ибо могутъ отыскать кого-нибудь и послать за границу. Надѣясь на ваше умное сердце, пишу безъ комплиментовъ просьбы. Вѣчно вашъ. Въ домѣ, въ которомъ я живу, учебныхъ часовъ сначала было менѣе; а теперь иногда занимаюсь до шести часовъ въ день съ дѣтьми, и притомъ съ *маленькими*“.

Это домогательство, разумѣется, осталось безъ послѣдствій, и преемникомъ Прейса по Словенской кафедрѣ въ С.-Петербургскомъ Университетѣ сталъ Измаилъ Ивановичъ Срезневскій.

---

#### LIV.

Еще въ августѣ 1846 года Срезневскій сталъ хлопотать о своемъ переводѣ изъ Харькова въ С.-Петербургъ для замѣщенія осиротѣлой кафедры Прейса. Въ январѣ 1847 года Срезневскій уже былъ въ Москвѣ. „Сегодня“ (то-есть, 8 января 1847 года), писалъ Шевыревъ Погодину, — „у меня обѣдаетъ Срезневскій, который желалъ бы непременно тебя видѣть. Приѣзжай непременно въ 4 часа“. Въ Петербургскомъ Университетѣ, по свидѣтельству В. И. Ламанскаго, И. И. Срезневскій не могъ производить такого сильнаго впечатлѣнія на слушателей, какъ въ Харьковѣ, и имѣть столь же полную аудиторію. Тамъ его всѣ знали и любили, какъ горячаго украинца. Ожидавшая его приѣзда и начала его курса молодежь уже заранѣе была расположена въ его пользу. Украинское направленіе располагало ее къ Словенскимъ сочувствіямъ.

Петербургская же университетская молодежь, какъ и вообще Петербургское общество, о Срезневскомъ ничего или очень мало знала, въ то время никакими вопросами о народности или родной старинѣ не интересовалась, только развѣ глумилась надъ *Москвитяниномъ* Погодина, а о Московской школѣ Хомякова, Кирѣевскаго и ея *Сборникахъ*, въ коихъ участвовалъ своими статьями Срезневскій, вторила лишь неблагоприятнымъ отзывамъ *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*. Новому профессору въ новомъ мѣстѣ нужно было прежде всего осмотрѣться, узнать почву, ознакомиться съ товарищами и слушателями. И только потомъ развѣ могъ бы онъ развернуть свои силы. Но тутъ подоспѣли обстоятельства, ставшія угрожать Русскимъ Университетамъ вообще и новооткрытой кафедрѣ Славистики въ частности.

О первыхъ шагахъ Срезневскаго въ Петербургѣ мы находимъ любопытныя свѣдѣнія въ перепискѣ А. А. Куника съ Погодинымъ. Въ письмѣ (отъ 20 октября 1847 г.) А. А. Куникъ писалъ: „Въ прошломъ году спрашивалъ меня Устряловъ, какого я мнѣнія о Срезневскомъ; Университетъ самъ пригласить его на мѣсто Прейса; но считаю ли я его достойнымъ этого и т. д. Мой отвѣтъ былъ не вполне рѣшающимъ, тѣмъ не менѣе онъ можетъ служить доказательствомъ моего благорасположенія къ Срезневскому: я сказалъ Устрялову, что между лицами, которыя въ Россіи могли бы замѣнить Прейса, Срезневскій лучший, и что можно надѣяться, что онъ не остановится на одномъ мѣстѣ при своихъ прекрасныхъ познаніяхъ и т. д. Умышленно умолчалъ я о томъ, что не считаю Срезневскаго истиннымъ филологомъ, и полагалъ, что здѣсь онъ наконецъ узнаетъ, что филологія только какъ *позитивная Исторія языка* есть настоящая наука. При своемъ прибытіи въ Петербургъ Срезневскій былъ со мною необыкновенно любезенъ. Онъ не могъ мнѣ выразить достаточно своей радости по поводу того, что я возбуждаю въ Академіи тѣ или другіе вопросы, предлагалъ всѣ свои силы, желалъ сообщать со мною обрабатывать отдѣльные пункты Словенскихъ Древностей и т. д.

Въ Университетѣ онъ пока еще не приобрѣлъ расположенія студентовъ, которые видятъ въ немъ въ отношеніи характера и научной методы совершенную противоположность Прейсу. Послѣдній былъ историко-филологъ, а Срезневскій исходитъ лишь изъ *новѣйшаго* состоянія языковъ и, такимъ образомъ, принадлежитъ къ неологамъ; онъ настоящій *новотолкъ*, считающій возможнымъ дѣлать выводы на основаніи законовъ развитія языка. О примиреніи съ нимъ нечего и думать; онъ какъ фанатикъ не стоитъ одиноко. Подобные люди естественно не могутъ быть моими друзьями; я избѣгаю знакомства съ ними, такъ какъ они только загрязняютъ науку своимъ мнимымъ національнымъ энтузіазмомъ (то-есть отъ него до фанатизма лишь одинъ шагъ, а отъ фанатизма до звѣрства лишь полшага). Подобный фанатикъ вѣроятно и распустилъ слухъ о моей гордости и т. д. Я могъ бы назвать нѣсколько молодыхъ Русскихъ, которые обо мнѣ противоположнаго мнѣнія“.

Въ Петербургѣ Срезневскій засталъ В. И. Григоровича, только что возвратившагося изъ своего путешествія по чужимъ краямъ и видѣлся съ нимъ, „какъ въ Харьковѣ почти ежедневно“. По свидѣтельству Срезневскаго, Григоровичъ „не былъ такъ застѣнчивъ, какъ былъ прежде, и сталъ гораздо болѣе сообщителенъ, хотя иногда и съ недовѣрчивостію—то къ самому себѣ, то къ другимъ. Собранныя имъ сокровища онъ не скрывалъ, даже позволялъ ими пользоваться. По его рукописямъ я почти что началъ заниматься глаголическою письменностію и при этомъ пользовался его указаніями и объясненіями. Онъ былъ преданъ глаголицѣ, какъ религіозной святынѣ, готовъ былъ всякаго вводить въ ея таинства“.

Въ годъ переселенія Срезневскаго въ Петербургъ, то-есть, въ 1847 году, канцелярскій чиновникъ Комитета Правленія Академіи Наукъ П. С. Билярскій выпустилъ въ свѣтъ свое капитальное историко-филологическое изслѣдованіе, подъ заглавіемъ: *Судьбы церковнаго языка*. Еще до выхода въ свѣтъ этого сочиненія отдѣльною книгою, А. А. Куніевъ писалъ Погодину: „Билярскій печатаетъ *Судьбы церковно-Словенскаго языка*,

превосходный трудъ, какого не появлялось со времени труда Востокова, то-есть, съ 1820 года. Я нисколько не преувеличиваю; Срезневскій и Бодянский — *entre nous* — не могутъ произвести ничего подобнаго сочиненію Билярскаго, едвали и Григоровичъ“. Между тѣмъ въ этомъ трудѣ весьма несочувственно отнесся И. И. Давыдовъ. Начавъ съ того, что, по мнѣнію его, „въ Академіи Нѣмецкая колонія не слишкомъ довольна Вторымъ Отдѣленіемъ, оно служить ей помѣхою во многомъ“, и что А. А. Куникъ, „въ Академіи играетъ роль не послѣднюю“, Давыдовъ сообщаетъ Погодину, что „въ Академическихъ Вѣдомостяхъ помѣстилъ Куникъ рецензію на статью Билярскаго о Средне-Болгарскомъ нарѣчій, превознося до небесъ сочинителя. Кто же этотъ Билярскій? Учитель его въ Русскомъ языкѣ и униженный его рабъ, печатающій по его диктанту. Мы съ вами“, замѣчаетъ въ томъ же письмѣ Давыдовъ, „слишкомъ довѣрчивы, какъ провинціалы. Съ людьми надобно обращаться, какъ съ завтрашними врагами: не гуманно, да умно“.

По своей близости къ А. А. Кунику Погодинъ, по всей вѣроятности, вслѣдствіе письма Давыдова, сдѣлалъ ему нотацію. Это можно заключить изъ слѣдующаго письма А. А. Куника къ Погодину (отъ 25 октября 1847 года): „Двѣ недѣли тому назадъ я получилъ письмо черезъ молодого Уварова, два дня спустя получилъ второе. Вамъ не было никакой необходимости извиняться во второмъ письмѣ въ томъ, что свободно и откровенно высказали мнѣ свое мнѣніе. 1) Именно отъ васъ я требую откровенности со мною; 2) я знаю, что съ вашей стороны это было чистосердечно; 3) я не могъ не замѣтить, что свѣдѣнія, дошедшія до васъ отъ другихъ лицъ, не совсѣмъ точны. Я съ вами согласенъ, что иногда мнѣ слѣдовало бы принимать болѣе спокойный тонъ въ моихъ работахъ. Между тѣмъ я долженъ сказать, что въ послѣдніе годы я сталъ гораздо хладнокровнѣе; уже во второй части Родсовъ мною, по собственному побужденію, смягчены многія выраженія, и теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, я забочусь о томъ, чтобы какъ

можно лучше владѣть собою какъ въ разговорѣ, такъ и на письмѣ. Въ дѣлахъ полемическаго характера не всегда, конечно, возможно соблюсти границу, а точность выраженія, въ особенности въ наше время, бываетъ здѣсь иногда очень кстати. Что же касается до басенъ о моей гордости, особенно о моемъ высокомеріи къ Русскимъ въ Петербургѣ, то онѣ вызываютъ во мнѣ не удивленіе, а улыбку. Чѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, я могу по сіе время такъ особенно гордиться? Я могу только порадоваться, что въ эти послѣдніе годы я достигъ большаго развитія и приобрѣлъ къ себѣ, какъ историкъ, больше довѣрія. Я также надѣюсь, что мало-по-малу стану приобретать все больше признаніе своихъ заслугъ, не только за тѣ вопросы, которые я возбуждаю въ Академіи, но и за свои собственные изслѣдованія, большую часть которыхъ, безъ сомнѣнія, не маловажныхъ, я преднамѣренно держу пока подъ спудомъ“. О Давыдовѣ въ томъ же письмѣ А. А. Куніевъ писалъ: „Вы знаете, какъ я цѣню здѣшнюю дѣятельность Давыдова; я и теперь того мнѣнія, что при немъ Педагогическій Институтъ возвысится. Много говорятъ объ его наклонности къ деспотизму: въ этомъ отношеніи его черезчуръ обвиняютъ! Но недостойно его, какъ человѣка, имѣющаго притязаніе на классическое образованіе, проявлять себя *нѣмецкомъ*. Вы знаете, что я нахожу оппозицію Германизму въ Петербургѣ естественною; я не требую также того, чтобы на меня указывали какъ на образецъ того, какъ долженъ нѣмецъ вести себя здѣсь: на національность я смотрю какъ на средство къ достиженію высшей цѣли—цѣли гуманности. Еще весною слышалъ я, какъ Давыдовъ выражался о Нѣмцахъ, тогда еще мы встрѣчались, но когда я замѣтилъ, что вслѣдствіе этого наши отношенія стали болѣе натянутыми, я рѣшилъ удалиться: я не могъ бы болѣе говорить съ нимъ откровенно. Мѣсяць тому назадъ какъ явилась въ свѣтъ первая тетрадь *Судебъ церковнаго языка* Билярскаго, и я посоветовалъ ему пойти къ Давыдову, онъ сдѣлалъ это. Но манера, съ какою Давыдовъ говорилъ при этомъ случаѣ о Востоковѣ и обо мнѣ, побу-

дила меня не ставить болѣе его (Давыдова) въ затрудненіе своимъ посѣщеніемъ. Я написалъ о Билярскомъ статью довольно длинную, но совершенно объективно, безъ личностей, статья произвела здѣсь хорошее впечатлѣніе на многихъ Русскихъ, достойныхъ уваженія. Давыдовъ съ Бередниковымъ чувствуютъ себя оскорбленными; трудъ Билярскаго, проникнутый позитивизмомъ, конечно, затмѣваетъ такихъ людей неологическаго направленія“. Въѣстѣ съ тѣмъ А. А. Куникъ сообщаетъ: „На будущей недѣлѣ вы получите трудъ Билярскаго съ моею статьею, которую прошу васъ прочесть прежде. Статья появилась въ газетѣ Очкина, я счелъ *научною обязанностью*, по смерти Прейса, разъ навсегда разъяснить Русской публикѣ, что Словенская филологія можетъ преуспѣвать лишь какъ Исторія Словенскаго языка, и что Билярскій занимаетъ въ Русской филологіи первое мѣсто послѣ Востокова и Прейса, если я не употребилъ прямо эти слова, то только чтобы пощадить другихъ. Знаете ли вы отзывъ Востокова о трудѣ Билярскаго: *Это очень хорошая работа; скажите ему, чтобы онъ продолжалъ въ томъ же направленіи, я его одобряю: оно ведетъ къ цѣли*. Самъ Билярскій будетъ писать вамъ къ 1-му ноября, онъ цѣнитъ въ васъ въ особенности чувство справедливости и правды, чего такъ недостаетъ нашимъ общимъ противникамъ. Поэтому онъ не замедлилъ высказаться противъ *вреднаго вліянія* перевода грамматики Добровскаго \*); я намѣренно повторилъ это въ своей статьѣ, такъ какъ надобно же наконецъ вытѣснить невѣрные взгляды Добровскаго, такъ глубоко вкоренившіеся здѣсь въ Петербургѣ. Если вы чувствуете себя обиженнымъ, то (значить), вы не поняли нашей цѣли; впрочемъ это не упрекъ, а лишь—замѣтка. Давыдовъ и Срезневскій утверждаютъ, что я преувеличиваю значеніе Востокова; однако я выскажусь по этому поводу подробнѣе въ своихъ *Бомарскихъ статьяхъ*. Давыдовъ и Срезневскій полагаютъ, будто все значеніе Востокова состоитъ въ томъ,

\*) *Жизнь и Труды М. П. Погодина*, книги: I, 230—232, 274. II, 13—15, 207.

что онъ открылъ *одну* букву—именно юсъ. Значеніе Востокова въ общей Словенской филологіи совсѣмъ иное. Срезневскій хочеть написать на Билярскаго рецензію, но я думаю—онъ обождетъ себѣ пальцы. То, что имъ, Срезневскимъ, сообщено до сихъ поръ о Церковно-Словенскомъ языкѣ, показываетъ, что онъ не *au fait*; я знаю почему, да и покойный Прейсъ зналъ это. Я молчу изъ снисхожденія. Какъ Срезневскій, такъ и Бередниковъ (его-то Давыдовъ и разумѣлъ какъ компетентнаго судью Билярскаго) завидуютъ автору *Судебъ*. Дабы не признать Билярскаго, Бередниковъ выразился такъ: *Куникъ исправляетъ Билярскому его работы прежде, чѣмъ онъ поступаютъ въ печать*. Поэтому я велѣлъ передать Бередникову, „что я былъ бы очень счастливъ, еслибы былъ въ состояніи поправлять подобныя работы такъ, какъ онъ это себѣ представляетъ“. Билярскій только подсмѣивается надъ такими нелѣпыми сужденіями и самъ лучше знаетъ, каковаго труда, сколькихъ неудачныхъ попытокъ стоило ему, чтобы сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ теперь есть. Къ печатанію второй, очень поучительной для Россіи статьи онъ приступаетъ въ ноябрѣ“.

Долгъ справедливости обязываетъ насъ замѣтить, что Бередниковъ былъ очень высокаго мнѣнія объ учености А. А. Куника. Въ 1844 году, когда послѣдній былъ избранъ въ академики, то Бередниковъ писалъ П. М. Строеву: „А. А. Куникъ поднялъ знамя противъ системы Каченовскаго и Венелина. Все старое — въ родѣ Погодина, кромѣ Нѣмецкой лингвистической учености и историко-филологической діалектики, которыхъ у Погодина, какъ у *доморощеннаго*, вовсе недостаетъ, Куникъ очень и очень переросъ Московскихъ критиковъ: Погодину съ братією мѣсто на студентской скамьѣ въ аудиторіи Куника, онъ общается замѣнить собою Лерберга, Круга и т. п.“.

Когда книга Билярскаго вышла въ свѣтъ, то онъ, посылая нѣсколько экземпляровъ оной Погодину, писалъ ему: „Одинъ изъ нихъ, съ поправками, надписанъ на ваше имя; два безъ надписи и четыре экземпляра Куниковой рецензіи



представляю также въ ваше распоряженіе. Третій безъ надписи прошу васъ покорнѣйше представить митрополиту Филарету (разумѣется, въ томъ случаѣ, если найдете сочиненіе достойнымъ вашей рекомендаціи). Я не сталъ бы утруждать васъ этой просьбой, еслибы нужно было только засвидѣтельствовать мою признательность Попечителю заведенія, которому я обязанъ своимъ обученіемъ; но мнѣ хотѣлось бы еще, чтобы при этомъ случаѣ ученый съ такимъ авторитетомъ, какъ вашъ, далъ почувствовать его Высвопреосвященству, что, кромѣ прагматическаго знанія, или точнѣе пониманія, Церковнаго языка, есть еще ученое знаніе, особенная и весьма трудная наука, недоступная безъ спеціальнаго изученія, и что преподаваніе этой науки въ высшихъ духовныхъ училищахъ было бы благотѣльно и для ученаго духовенства, и для самой науки. Остальные экземпляры надписаны на имя господъ: Черткова, Каткова, Бодянскаго, Студитскаго, Свербеева, Бѣляева (профессора Семинаріи), Ундольскаго, Аксакова, Калачова, Снегирева и Буслаева. Я не знаю, какъ дойдутъ эти экземпляры по своему назначенію. Надѣюсь, что вы не откажетесь увѣдомить объ этомъ тѣхъ изъ поименованныхъ господъ, съ которыми вы видите. Объ этомъ я прошу также Ундольскаго, въ которому (также къ Свербееву и Бѣляеву) пишу съ этой же почтой“.

Погодинъ, очевидно, не торопился исполненіемъ порученія Билярскаго, ибо въ самый послѣдній день 1847 года Буслаевъ писалъ ему: „Очень жалѣю, что болѣзнь лишила меня до сихъ поръ удовольствія быть у васъ. Вскорѣ послѣ того, какъ вы сообщили мнѣ, что у васъ есть мнѣ книга отъ Билярскаго, я захворалъ. Еслибы время терпѣло, я не сталъ бы васъ беспокоить письменно: но мнѣ крайняя нужда взглянуть въ книгу Билярскаго. Я приготовилъ сочиненіе, предметъ котораго имѣетъ близкое отношеніе къ тому, о чемъ писалъ Билярскій. Сдѣлайте одолженіе, пришлите мнѣ эту книгу съ подателемъ письма“.

Трудъ Билярскаго былъ увѣнчанъ Академіей Наукъ Де-

мидовскою премією. Само собою это было крайне неприємно Давыдову. „Куниѣ“, писалъ онъ Погодину, — „смастерилъ премію Биларскому за ничтожную брошюру. Я протестовалъ письменно; но это былъ гласъ вопіющаго въ пустыні. Начали балотированіе—и весь протестъ забыть, а на балотированіе нѣтъ апелляціи. Отцу Іоакимфу показали кунишъ, а Биларскому дали премію!...“<sup>361)</sup>.

---

## LV.

Въ апрѣлѣ 1843 года Викторъ Ивановичъ Григоровичъ представилъ планъ своего путешествія въ Европейскую Турцію, въ которомъ „приняты были въ соображеніе замѣчанія Погодина и Бодянскаго“. По замѣчанію М. П. Петровскаго, этотъ планъ доказывалъ, что Григоровичъ „не выѣзжая изъ Казани, уже владѣлъ всѣмъ достояніемъ Словенской науки и стремился въ тѣ края, которые могли дать ему новый матеріалъ. Между тѣмъ какъ предшественники Григоровича стремились сначала въ главные пункты Словенскаго просвѣщенія на Западъ“<sup>362)</sup>.

20 августа 1844 года Григоровичъ оставилъ Отечество и, по его словамъ, началъ съ Константинополя и Солуны, посѣтилъ св. Гору Аѳонскую и прошелъ въ разныхъ направленіяхъ Македонію, Оракію и Мизию, то-есть, земли Болгарскія до Дуная. Затѣмъ чрезъ Валахію отправился въ Австрійскую Имперію. Тамъ черезъ Банатъ и собственную Венгрію достигъ Вѣны и оттуда посѣщалъ на Югѣ: Краинъ, Венецію, Далмацію, Черногорію, Кроацію, Славонію, на сѣверѣ: Моравію и Чехію<sup>363)</sup> и наконецъ достигъ Праги. О пріѣздѣ Григоровича въ этотъ городъ Ганка не замедлил извѣстить Бодянскаго (25 октября 1846 г.): „Вчера пришелъ въ Прагу на два или три мѣсяца Викторъ Ивановичъ Григоровичъ. Тѣшусь на то, что онъ принесъ изъ Болгаріи“<sup>364)</sup>.

По свидѣтельству А. А. Кочубинскаго, „Григоровичъ все

продолжалъ жить мыслями о Турціи, рвался туда. Безспорно, бесѣды съ Шафариковъ могли питать еще неудовлетворенное его чувство, а онъ остановился теперь на смѣлой мысли—изъ Праги своротить не въ Казань, а назадъ и прежде всего въ Албанію, заполнить изученіемъ Албанскаго языка крупный пробѣлъ въ самой Европейской наукѣ, а затѣмъ повторить визитъ къ историческимъ монахамъ: могъ ли Григоровичъ равнодушно вспоминать, что на Аѳонѣ онъ оставилъ, напримѣръ, не тронутою Зографскую Глаголиту..... Высокой нравственной опорой въ этомъ новомъ смѣломъ предпріятіи Григоровича былъ самъ Шафарикъ“, который писалъ Погодину: „Григоровичъ на дняхъ мнѣ говорилъ, что онъ обратился къ своему Правительству о дозволеніи еще разъ отправиться въ Албанію, что по этому вопросу онъ писалъ и къ вамъ, пославши къ вамъ нѣкоторые отрывки изъ рукописей и прося васъ быть за него ходатаемъ, чтобъ дано было разрѣшеніе... Что касается просьбы Григоровича, то лишне объ ней много распространяться... На мой взглядъ, дѣло это очень важное... Если потому вы въ состояніи замолвить доброе слово предъ Уваровымъ о Григоровичѣ, то это вы сдѣлаете въ интересѣ Литературы и Науки“ <sup>365</sup>).

Въ Погодинскомъ Архивѣ сохранилось это важное письмо Григоровича, писанное имъ изъ Праги, 26 ноября 1846 г., слѣдующаго содержанія: „Незабвенное свиданіе съ вами въ Карловцѣ внушило мнѣ смѣлость обратиться къ вамъ, милостивый государь, съ нѣкоторыми своими видами.

„Разсказывая вамъ свое путешествіе по Турціи, былъ, кажется, столько счастливъ, что обратилъ вниманіе ваше на достопримѣчательности въ южной Албаніи. Имѣя въ виду не только познаніе Болгарскаго нарѣчія, но и еще собраніе свѣдѣній о судьбахъ Священнаго языка, нигдѣ не нашелъ столько признаковъ, удовлетворяющихъ пытливость, какъ въ Охридѣ и ея окрестностяхъ. Пробылъ тамъ не болѣе двѣнадцати дней, но гораздо болѣе былъ удовлетворенъ, чѣмъ живя четыре мѣсяца на Святой Горѣ и три мѣсяца въ Солунѣ. Пытливость

моя на важномъ семъ поприщѣ остановлена была очевидною невозможностью дѣлать поиски безъ фирмана. Сожалѣніе объ опущеніи этомъ оживаетъ теперь всякій разъ, какъ, давая ученымъ отчетъ объ Охридскихъ находкахъ, замѣчалъ ихъ непритворное участіе.

„Теперь, когда снисходительнѣйшимъ ходатайствомъ Ихъ Сіятельствъ г-на Министра и г-на Товарища Министра дарована мнѣ Высочайшая милость, продолжить пребываніе за границую до 1-го апрѣля будущаго года, возымѣлъ я надежду о возможности исправить это опущеніе.

„Позвольте изложить вамъ предположенія свои и повѣрьте, что пиша строки эти, чуждъ всякаго мечтанія и не хочу ни себя, ни другихъ обманывать. Представляя суду вашему задачи и условія путешествія по южной Албаніи или Эпиру, говорю лишь о возможности, потому что мнѣ, побывавшему на незабвенныхъ мѣстахъ, какъ Охрида, Монастырь св. Наума и пр., естественно строить теперь планы о дальнѣйшихъ открытіяхъ; но исполненіе зависитъ отъ оцѣнки и ходатайства вашего и милости начальства.

„Сперва представляю слѣдующія задачи путешествія: 1-е. Изслѣдовать, гдѣ осталось еще воспоминаніе о Словенскихъ Апостолахъ такое, какое нашелъ въ Охридѣ и ея окрестностяхъ. 2-е. Справедливо ли, что въ Бератѣ находится монастырь св. Горазда. 3-е. Собрать свѣдѣнія о Іоаниѣ-Владимирѣ, котораго мощи хранятся въ монастырѣ во имя его близъ Ельбассана. 4-е. Отыскать Главеницу, мѣсто знаменитое въ исторіи просвѣщенія Булгаръ, и о которомъ, кромѣ житія св. Климента, упоминаютъ еще Венеціанскіе документы. 5-е. Повѣрка извѣстій о Словенахъ, упоминаемыхъ въ *Chroniques des Croisades*, изданныхъ Бюшономъ. 6-е. Ознакомленіе съ поселеніемъ и познаніе нарѣчій Болгарскаго и Македоно-Валашскаго, употребляемыхъ въ Эпирѣ. 7-е. Памятники всякаго рода.

„Для прозведенія изслѣдованій по симъ задачамъ, нужно пройти поприще по слѣдующему направленію: Янина, Оста-

ница, Корча, Мосхополисъ, Берать, Ельбассанъ, Охрида, Дебра, Кричово, Скопія, Кюстенджи... Сербія, или Янина, Останица, Мосхополисъ, Корча, Ельбассанъ, Берать, Премити, Дельвино!—Первое направленіе можно принять, когда при успѣхѣ не встрѣтятся препятствія, такъ что можно будетъ пройти спокойно большое пространство; второе, когда при очевидныхъ препятствіяхъ окажется невозможнымъ успѣхъ.

„Начать путешествіе непременно съ Ионическихъ острововъ, именно съ Корфу; кончить, судя по выше показаннымъ условіямъ, или островомъ Корфу, откуда отправиться въ Триестъ, или черезъ Сербію и оттуда въ Вѣну и дальше. Главное условіе сего путешествія—имѣть фирманъ съ обстоятельнымъ опредѣленіемъ цѣли путешествія. Разумѣется, что во время путешествія надобно имѣть средства и быть въ состояніи объясняться по Гречески и Болгарски.

„Еслибы слѣдственно упомянутыя задачи признаны были достойными путешествія и выборъ палъ бы на меня, недостойнаго, то я по отношенію къ себѣ сказалъ бы слѣдующее: 1) Я бы, кажется, сдѣлалъ такое путешествіе въ продолженіе пяти-шести мѣсяцевъ, считая со дня выѣзда моего съ даннаго мѣста. Полагаю три мѣсяца на пребываніе въ Эпирѣ и два на проѣздъ, туда и обратно. Еслибъ, слѣдственно, милостивое начальство согласилось дозволить мнѣ продолжить пребываніе за границею до конца августа мѣсяца, то на сей срокъ могъ бы быть въ Отеествѣ. 2) До конца марта или половины апрѣля можно бы, кажется, сношеніемъ съ г. Посланникомъ въ Константинополѣ исходатайствовать фирманъ и письма къ Пашѣ Янинскому, въ Консулатъ, въ Корфу, Триестъ и Бѣлградъ. Предполагаю, что въ Константинопольскомъ Посольствѣ не будетъ препятствій за фирманъ для этихъ мѣстъ. Если не ошибаюсь, фирмана не дали мнѣ въ тотъ разъ потому, что замѣтное противуборство Болгаръ Грекамъ за и предъ Балканами не позволяло явно покровительствовать грядущему изучать Болгарію. Въ Эпирѣ съ этой стороны не можетъ быть подозрѣнія. Къ фирману слѣдуетъ имѣть

Русскій паспортъ. 3) Преслѣдуя цѣль, указанную въ задачахъ, надѣюсь если не выполнѣ ея достигнуть, то по крайней мѣрѣ сдѣлать опытъ. Путешествіе такое, конечно, отважно, общанія, какъ бы ни умѣренны были, покажутся всегда преувеличенными. Приготовленный въ прежнемъ путешествіи знаніемъ Греческаго и Болгарскаго языковъ, освѣдомленіемъ о мѣстности и нѣкоторымъ познаніемъ по книгамъ ихъ значенія, имѣю основаніе надѣяться какаго-то успѣха. Говорю *какого-то*, ибо по опыту знаю, что въ мѣстахъ этихъ полный успѣхъ зависитъ отъ счастья. Впрочемъ долженъ признаться, что надежда моя при мысли о посѣщеніи Эпира соединена съ чувствомъ необходимости. Я былъ такъ близокъ его и зачѣмъ не пошелъ дальше, когда задачи такъ важны! 4) Средства нужны, но просить ихъ у начальства для одного опыта искренно не смѣю и не въ правѣ смѣть. Не общая ничего положительнаго при семъ предпріятіи, я, обязанный оправдать еще трудами прежнія пожертвованія великодушнаго начальства, не желаю утруждать его болѣе; прошу только благоволить дозволить Вѣнскому Посольству выдать мнѣ пособіе отъ шестисотъ до восьмисотъ рублей серебромъ, за которые оставляю билетъ Сохранной казны. Чувствуя необходимость предпріятія и не ручаясь за успѣхъ, не буду столь безстыднымъ просить для невѣрнаго издержекъ. Предположенія мои такъ мнѣ важутся важными, что готовъ положить послѣднюю свою копѣйку. 5) О путешествіи этомъ обязываюсь дать отчетъ Его Сіятельству г. Министру.

„Я представилъ самъ простымъ, неученымъ образомъ задачи и условія путешествія. Ихъ представить можно бы гораздо болѣе обобщая и важнѣе, но не хочу преувеличивать. Если вы, милостивый государь, почитаете ихъ стоящими предпріятія, то прошу вашего ходатайства, если же почитаете несбыточными, то извините мою смѣлость и бросьте письмо. Не смѣю притязать, чтобы мои предположенія казались необходимо достойными довѣрія. Конечно, какъ-то странно — стремиться въ южную Албанію. Одни скажутъ, чего искать

тамъ, гдѣ столько событій изгладили всякій слѣдъ давно ми-  
нувшаго образованія. На это отвѣчаю, что знаю, что послѣ  
господства Болгаръ въ Эпирѣ въ IX и X ст. совершились  
здѣсь событія самыя разнообразныя. Господство Франковъ,  
удѣльныхъ деспотовъ рода Комненовъ, завоеванія Стефана  
Душана, войны Георгія Кастріота, возмущенія Албанцевъ,  
варварскіе подвиги Али Паши—всѣ они—явленія этого по-  
прища. Но, скажу, дѣло изслѣдованій моихъ, есть отысканіе  
слѣдовъ религіознаго образованія, а эти могли еще утѣяться  
въ скромныхъ незнаемыхъ обителяхъ. Развѣ Охрида — тому  
не доказательство. А географія? Она часто въ древнихъ фор-  
махъ пережила вѣковыя разрушенія. Опасности, скажутъ  
другіе. Кому путешествіе такое опасно; мнѣ оно милость.  
Да, пріиму какъ милость позволеніе подвергнуться симъ опас-  
ностямъ. Въ бытность мою въ Охридѣ, гдѣ нашелъ важныя  
свидѣтельства о нашихъ Апостолахъ, собралъ я нѣсколько  
свѣдѣній объ этомъ краѣ по отношенію къ вопросу о на-  
чалѣ Словенской письменности. Уже изъ сущности самой  
науки полагаю необходимымъ узнать повѣрнѣе о томъ, что  
составляетъ основаніе ея и изъ-за чего бьются ученые; те-  
перь, когда попалъ на слѣдъ чего-то достовѣрнаго, какъ не  
желать мнѣ пойти дальше? Въ цѣломъ объемѣ Словенщины  
самое важное для Русскихъ, для всѣхъ Словенъ,—священныя  
начинанія Словенскихъ Апостоловъ: изслѣдовать ихъ наша  
обязанность. Если, слѣдственно, моя рѣшимость стоитъ того,  
то прошу васъ содѣйствовать<sup>366</sup>).

Получивъ это письмо, Погодинъ принялся хлопотать предъ  
Уваровымъ объ исполненіи желанія Григоровича, и желаніе  
это было исполнено, но, къ сожалѣнію, поздно. Въ апрѣлѣ  
1847 года Григоровичъ былъ уже въ Петербургѣ и оттуда  
писалъ Погодину: „Прибывъ въ С.-Петербургъ (26 апрѣля),  
узналъ я о разрѣшеніи Господина Министра, по ходатайству  
вашему, на отправленіе меня въ Албанію, разрѣшеніи, ко-  
торое теперь по обстоятельствамъ потеряло свою силу. По-  
ощряя себя благосклоннымъ вашимъ письмомъ, я питаю

долго надежду и оставался въ Прагѣ до конца февраля, совершая обратный путь, нарочно медлилъ, такъ что лишь перваго апрѣля выѣхалъ изъ Берлина. Вѣрно, судьба такъ хотѣла, чтобы послѣ моего выѣзда на шестой день пришло въ Посольство извѣстіе о моемъ путешествіи. Можетъ быть, также и Вѣнскій мой доброжелатель, котораго извѣстилъ я о своихъ надеждахъ и просилъ содѣйствовать, не почелъ нужнымъ заблаговременно послать ко мнѣ извѣстіе о распоряженіяхъ, которыя достигли, кажется, Вѣнскаго Посольства еще въ мартѣ мѣсяцѣ. Ободряя себя до 1-го апрѣля, съ сего времени какъ крѣпко уповалъ, такъ усердно старался разувѣрить себя въ напрасномъ увлеченіи. Ограниченность наличныхъ средствъ, мысль объ отчетливости передъ начальствомъ, заставляли, отложивъ въ сторону мечтанія, слѣпить съ возвратомъ въ С.-Петербургъ. Тамъ неожиданно постигла меня новость объ успѣхѣ ходатайства вашего и невозможности путешествія! Ударъ—впечатлѣніе котораго долго буду чувствовать. Милостивый государь! Оцѣнивая настоящій знакъ вниманія вашего ко мнѣ незаслуженностію своею и признаніемъ, что обезпечилъ васъ напрасно, не могу скрыть признательности за великодушное участіе ваше въ дѣлѣ, предпринимаемомъ неизвѣстѣйшимъ человѣкомъ“.

По свидѣтельству А. А. Кочубинскаго, въ Петербургѣ графъ С. С. Уваровъ засадилъ Григоровича за составленіе перваго отчета, который и былъ написанъ имъ быстро. „Я“, вспоминалъ Григоровичъ,—„не выходя изъ своей гостиницы цѣлую недѣлю, написалъ, подалъ и былъ сейчасъ же направленъ въ Казань“.

Проѣздомъ черезъ Москву Григоровичъ видѣлся съ Погодинымъ, который подъ 19 іюня 1847 г. записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Вечеръ Бодянской и Григоровичъ о Словенахъ“.

Въ Казань Григоровичъ прибылъ 19 іюля 1847 года. „Если и до поѣздки въ Словенскія земли,“ пишетъ профессоръ Петровскій,—„Григоровичъ живымъ отношеніемъ къ Словенскому дѣлу, увлекательнымъ изложеніемъ результатовъ



науки, еще столь новой, сумѣлъ возбудить въ немногочисленныхъ своихъ слушателяхъ любовь къ Словенскому дѣлу, то теперь, когда предъ нимъ вполне раскрылся кругозоръ Словенской науки, слушатели его и сослуживцы увидѣли въ немъ уже не начинающаго ученаго, а вполне авторитетнаго представителя новой науки<sup>367</sup>).

Въ 1846 году Погодинъ сблизился съ однимъ богатымъ Черниговскимъ помѣщикомъ и страстнымъ любителемъ всего Словенскаго — Николаемъ Аркадіевичемъ Ригельманомъ.

Въ то время молодой Ригельманъ уже успѣлъ совершить путешествіе по Европѣ и побывать у Словенъ... *Письма изъ Вѣны* сблизили его съ Словенофилами, и они напечатали ихъ въ своемъ *Московскомъ Сборникѣ*. Первое письмо свое онъ начинаетъ такъ: „Я обѣщалъ вамъ писать о впечатлѣніяхъ моей заграничной поѣздки, — но, искренно сознаюсь, что врядъ ли бы приступилъ къ исполненію своего обѣщанія, еслибы случай не остановилъ меня на долгое время въ Вѣнѣ и не привелъ бы потомъ на нашу родную Словенскую почву“. Далѣе, какъ будто намекая на *Годъ въ чужихъ краяхъ* Погодина, Ригельманъ пишетъ: „Въ самомъ дѣлѣ, — что могъ я сказать тебѣ новаго о Германіи, которую проѣхалъ поперекъ, и объ Италіи, гдѣ прожилъ зиму... Передавать тебѣ голыя впечатлѣнія — было бы крайнею самонадѣянностію. Нѣтъ ничего легче, какъ метать опредѣленія изъ почтовой кареты о нравахъ, обычаяхъ, направленіи умственномъ народа; по собесѣдникамъ общаго стола или спутникамъ на пароходѣ заключать объ общественномъ мнѣніи, по удобству гостинницъ, по чистотѣ мостовой — объ успѣхахъ образованія. Но когда очутился я,“ продолжаетъ Ригельманъ, — „на полѣ Словенства, такъ обильно засѣяннаго зернами будущаго развитія, зародышами новой всемірной эпохи — я почувствовалъ, что надо отложить самолюбіе въ сторону. Было бы грѣшно русскому, знакомому съ элементами новой Словенской жизни, не вникнуть въ нее глубже, чѣмъ на то время и способы. Было бы грѣшно — вникнувши, таить про себя сознаніе ея великаго значенія и не присо-

единить своего слабого голоса къ тѣмъ немногимъ голосамъ, которые говорили уже о ней въ нашемъ Отеествѣ, заглушаемые говоромъ несвѣдущихъ, близорукихъ и недоброжелателей“<sup>368</sup>).

Погодинъ, разбирая *Московскій Сборникъ на 1846 годъ*, о письмахъ Ригельмана замѣтилъ: „Они кратки, но Вѣна такъ живо въ нихъ обрисована, Австрійскій характеръ такъ вѣрно схваченъ, что вамъ послѣ этихъ двухъ писемъ не нужно читать никакой книги объ Австріи, и если вамъ случится пріѣхать туда, то вы въ первый день оцѣните вѣрность изображенія. Мысли автора о музыкѣ совѣтуемъ принять къ свѣдѣнію нашимъ композиторамъ. О Словенахъ и Нѣмцахъ Ригельманъ разсуждаетъ прекрасно. Объ имени его мы не скажемъ ни слова: это имя уже историческое, какъ Хемницера и Фонъ-Визина. Дѣдъ его написалъ Исторію Малой Россіи, Донскихъ казаковъ, Пугачевского бунта и пр.“.

Проживая весну и часть лѣта 1846 года въ Москвѣ, Ригельманъ вошелъ въ близкія сношенія съ Погодинымъ, у котораго въ Дневникѣ мы находимъ, напримѣръ, слѣдующія записи:

Подъ 4 мая 1846: „По утру разсказывалъ Ригельману, кажется, доброму малому, разныя похождения свои съ Бодянскимъ, Строгановымъ.

— 13 іюня. Вечеръ у Ригельмана, объ Исторіи.

Желая устроить Ригельмана на дипломатическій постъ въ Словенскихъ земляхъ, Погодинъ, будучи въ Вѣнѣ, говорилъ о немъ съ тамошнимъ консуломъ Данилевскимъ и по этому поводу писалъ Ригельману, который изъ Чернигова (1 декабря 1846 года) отвѣчалъ ему слѣдующее: „Надѣюсь на ваше снисхожденіе, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, что оно пособитъ мнѣ извиниться передъ вами въ медленности моего отвѣта на обязательное письмо ваше, отъ 1-го ноября. Причина главная этого замедленія заключается, впрочемъ, въ самой важности сообщеннаго вами. Вы легко вообразите, какъ меня озадачила вѣсть о предложеніи Данилевскаго. Тутъ кучею потѣснились мысли и чувства, которыхъ я сразу

никакъ не могъ привести въ порядокъ, потому уже что не могъ разсуждать хладнокровно. Часто, въ ходѣ мышленія, голова говорила *да*, а сердце—*нѣтъ*, чаще еще было на оборотъ. Такъ что я до сихъ поръ еще нахожусь въ колебаніи сомнѣнія. Я вдвое болѣе сожалею, что я не въ Москвѣ, и не могу обо всемъ переговорить съ вами: вы бы разрѣшили можетъ быть мои сомнѣнія и вѣрно дали бы хорошій совѣтъ. Зная довольно личность Данилевскаго, я почти увѣренъ, что мы могли бы сойтись живя вмѣстѣ, какъ мы сошлись на бумагѣ; но потомъ, въ какой степени можетъ онъ самъ поручиться за успѣхъ моего назначенія на его мѣсто? Вы знаете, какъ эти дѣла дѣлаются, почти всегда сверху, а не снизу. Такъ и тутъ можетъ легко случиться, что Нессельроде или Сениавинъ посадятъ своего близкаго человѣка (вспомните родственную сѣть, наброшенную первымъ на наши дипломатическія должности). Это главный вопросъ—рѣшивъ его даже утвердительно, представляются ближайшіе къ моей личности. Предположивъ даже, что на безрыбьи и я буду рыбой (моя любовь къ Словенскому составляетъ все мое достоинство и надежду), что тутъ можно сдѣлать при самомъ лучшемъ намѣреніи? Наука—это такъ; Словенству, Россіи, Сербіи—очень мало и ничего—*если* не будетъ попущенія свыше. На дипломатическомъ поприщѣ рабство господствуетъ болѣе, нежели гдѣ-нибудь, почти столько же—больше нежели на военномъ, потому что тутъ повелѣваютъ тѣломъ, а тамъ велятъ мыслить, чувствовать, притворяться сообразно главному плану—часто ложному, часто ненавистному. Вы знаете политику нашу въ отношеніи къ Словенамъ, чего тутъ можно ожидать и легко ли быть съ орудіемъ? Она такова, что наши агенты большею частію отъ души ненавидимы тѣми, которые состоятъ подъ ихъ вліяніемъ. И признаюсь, надо много снисхожденія, чтобы простить имъ ихъ систему, но они ли виноваты? Въ Сербіи важность Русскаго представителя налагаетъ на него множество обязанностей, изъ которыхъ едва ли будетъ возможно выпутаться тому, кто приступитъ къ дѣлу

добросовѣстно. Одно почти средство — ихъ не чувствовать, какъ до сихъ поръ было. Далѣе, еще ближе ко мнѣ мои семейныя обстоятельства, обязанности единственнаго сына къ своимъ родителямъ; одиночество, ожидающее въ Бѣлградѣ, и еще болѣе навязываемое ложною системою предшественниковъ удаление отъ мѣстнаго общества: оно впрочемъ еще мало образовалось. Можетъ быть, при большемъ значеніи, въ маленькомъ мѣстѣ и нельзя поступать иначе.—Все это сообразивъ, я вижу въ этомъ назначеніи—монашескую рясу, принимая которую надо отречься отъ міра“...

Въ то время, когда Словеновѣдѣніе въ Россіи стало процвѣтать и приносить свои плоды, патріархъ Словенской филологіи Самуилъ Линде, 27 іюля 1847 года, переселился въ вѣчность. Еще въ февралѣ того же года Дубровскій изъ Варшавы писалъ Погодину: „Линде еще здравствуетъ. Онъ вовсе уже пересталъ заниматься своимъ Словаремъ и читаетъ теперь только легкія произведенія Французской литературы, чтобы какъ-нибудь усладить послѣдніе дни свои“. „Что сдѣлается теперь съ его трудомъ“, писалъ Адамъ Плевѣ уже по кончинѣ Линде,—„воспользуется ли кто собранными съ такимъ тщаніемъ въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ матеріалами, или нѣсколько сотъ тысячъ выписокъ должны погибнуть, и благородное желаніе знаменитаго Лексикографа остаться безъ исполненія? Вопросъ этотъ трудно еще рѣшить. Мнѣ и Паллонскому завѣщалъ онъ по возможности продолжать начатое дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ изъявилъ желаніе, чтобы всѣ обстоятельства на счетъ его труда представлены были прежде на разрѣшеніе Господина Министра Народнаго Просвѣщенія, что вѣроятно и сдѣлано будетъ начальствомъ здѣшняго Учебнаго Округа, особенно же П. А. Мухановымъ, въ продолженіе нѣсколькихъ уже лѣтъ принимающимъ самое дѣятельное участіе во всемъ томъ, что только касается покойнаго Линде, его труда и судьбы его семейства. Въ какой мѣрѣ я и Паллонскій можемъ быть полезны въ случаѣ продолженія труда покойнаго Лексикографа, не намъ объ этомъ судить. Нѣтъ

сомнѣнія, что составленіе Словаря по плану и идеямъ Линде требуетъ такого ученія, такого трудолюбія и такихъ обширныхъ познаній, какими онъ обладаетъ, и соединено съ величайшими затрудненіями и издержками. Довольно знать исторію составленія его Польскаго Словаря, чтобы убѣдиться въ этомъ. Нѣтъ также сомнѣнія, что идеи, какія Линде имѣлъ о лексикографіи были такъ новы, такъ велики, что легко могутъ показаться, по крайней мѣрѣ въ совершенствѣ, неудобноисполнимыми. И дѣйствительно, прочитавъ все, что только написано на какомъ-нибудь языкѣ по всѣмъ отраслямъ литературы и наукъ, записать всѣ слова и обороты и выраженія, и все то, что только можетъ послужить къ объясненію словъ, сдѣлать то же самое съ устною рѣчью народа, привести потомъ въ порядокъ слова, найти первоначальное, главное значеніе каждаго изъ нихъ, показать постепенное развитіе слова какъ въ историческомъ, такъ и въ логическомъ отношеніи, найти его корень и объяснить внѣшнее образованіе, и все это сдѣлать сравнительно съ другими языками какъ родственными, такъ и болѣе отдаленными,—какихъ требуетъ это познаній, какихъ трудовъ и усилій, сколь многихъ рубѣй и издержекъ? Между тѣмъ какая чудная была бы книга, которая могла бы заключать въ себѣ все то, какая богатая сокровищница для языка и народа! Нѣчто подобное находится въ Польскомъ Словарѣ Линде, нѣчто подобное хотѣлъ онъ сдѣлать и для Русскаго языка. Какъ бы ни было, для потомства должны быть драгоцѣнны, во первыхъ, его идеи и понятія о лексикографіи; ими-то особенно слѣдовало бы дорожить и по нимъ стараться составлять Словари; во вторыхъ, драгоцѣнно то, что онъ уже сдѣлалъ для Словенскихъ нарѣчій и что приготавливалъ для языка Русскаго. Жаль, и весьма жаль было бы, еслибы послѣ Линде лексикографія осталась въ прежнемъ столь недостаточномъ видѣ, и еслибы матеріалы, которые онъ собиралъ въ послѣднія двѣнадцать лѣтъ съ такимъ усердіемъ и трудолюбіемъ, не смотря на старость, на истощенныя силы и страданія тяжелой болѣзни,

должны были погибнуть безвозвратно. Будемъ ожидать послѣдствій!“ <sup>369)</sup>

---

## LVI.

1 іюля 1846 года министр Народнаго Просвѣщенія Сергій Семеновичъ Уваровъ возведенъ въ Графское Россійской Имперіи достоинство; а въ августъ того же года, по обычаю, онъ отправился въ своеъ любезное Порѣчье и по пути туда останавливался на нѣсколько дней въ Москвѣ. Въ это время Погодинъ пребывалъ въ Маріенбадѣ и оттуда писалъ Шевыреву: „Если Сергій Семеновичъ будетъ, то ты объяснишь ему состояніе нашей цензуры. Онъ мало думаетъ объ ней, и грѣхъ на его душѣ“ <sup>370)</sup>. Надо замѣтить, что въ это время Уваровъ какъ будто охладѣлъ къ Погодину, по крайней мѣрѣ въ *Дневникъ* послѣдняго мы встрѣтили слѣдующую запись: „Уваровъ что-то очень сухъ“. Но въ то же время въ томъ же *Дневникъ* мы находимъ и слѣдующее: „Утро у Грудева и просилъ его передать С. С. Уварову о моемъ положеніи. Закинулъ слово о *дѣйствительномъ статскомъ советникѣ*, который мнѣ нуженъ по разнымъ отношеніямъ, и на который я имѣю право. А честолюбіе здѣсь есть тако, хотя и прикрытое благовидно“ <sup>371)</sup>.

О пребываніи графа С. С. Уварова въ Москвѣ Шевыревъ писалъ Погодину (14 сентября 1846 г.): „Министръ былъ здѣсь. Я видѣлъ его только утромъ на общемъ представленіи. Чрезвычайно милъ и ласковъ, со мною въ особенности. До вечера просидѣли у него. Разбирали переводъ его *Рима*, сдѣланный Розбергомъ. Въ Порѣчье ѣхать я никакъ не могъ. Онъ самъ освободилъ меня. Туда послалъ къ нему книгу и получилъ очень пріятное письмо. Ожидаемъ его сюда 18-го числа. Тогда, не знаю, будетъ ли время поговорить о литературѣ“.

По обычаю въ сопровожденіи нѣсколькихъ ученыхъ графъ Уваровъ отправился въ свое Порѣчье. Его въ послѣдній разъ сопровождалъ туда и И. И. Давыдовъ, только что получившій Станиславскую звѣзду, и какъ прежде онъ оставилъ памятникъ своего пребыванія въ немъ краснорѣчивое описаніе Порѣчья, напечатанное въ *Москвитинѣ* подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Думы и впечатлѣнія*, съ эпиграфомъ изъ Горация:

O rus, quando ego te aspiciam  
Quandoque licebit etc.

„Я опять жилъ“, повѣствуетъ И. И. Давыдовъ, — „въ прекрасномъ Порѣчьи, принадлежащемъ его сіятельству графу Сергѣю Семеновичу Уварову; я снова наслаждался изысканнымъ природы и искусства, и не могъ довольно насладиться. Дѣйствительно, прекраснымъ сколько ни наслаждаешься, все желаешь еще болѣе наслаждаться; сколько ни наблюдаешь его, все находишь въ немъ новыя красоты. Можно ли вдоволь насмотрѣться, въ лѣтній день, на шелковистый лугъ, орошаемый серебристою рѣкой, журчащею въ тѣни развѣсистыхъ липъ и тополей? Можно ли досыта налюбоваться произведеніями рѣзца Кановы или кисти Сальватора-Розы? Прекрасное не вдругъ открывается очамъ нашимъ; надобно съ любовью изучать его, и тогда только постигнешь завѣтныя его тайны. Оно, какъ и добродѣтель, и истина, требуетъ пожертвованій — отверстыхъ объятій чистой любви.

Эту неистощимость наслажденій прекраснымъ испыталъ я въ Порѣчьи, гдѣ и природа, и искусство предлагаютъ радушно роскошныя свои сокровища для наслажденія. Черезъ два года здѣсь все показалось мнѣ новымъ, кромѣ прежнихъ воспоминаній на каждомъ шагѣ о тѣхъ счастливѣйшихъ дняхъ, которые проводятся въ объятіяхъ природы, въ ненарушимомъ спокойствіи духа, въ сладкой гармоніи его со всѣмъ окружающимъ; здѣсь все украсилось новыми прелестями, а остались неизмѣняемыми доброта, привѣтливость, гостепріимство просвѣщеннаго хозяина-вельможи. За два года желалъ я еще насладиться мирнымъ препровожденіемъ времени въ сельскомъ

уединеніи, и нынѣшнимъ лѣтомъ это желаніе осуществилось. Еще разъ послѣ трудовъ отдыхалъ я въ Порѣчѣ свободно и непринужденно, переходя радостно отъ одного удовольствія къ другому.

„Вотъ передъ мною прежній знакомецъ мой, простой, но величественной архитектуры замокъ, господствующій надъ всѣми окрестностями, селами, деревнями, рощами, слѣва и справа опушенный паркомъ, и, какъ голубою лентою, опоясанный вровень съ берегами струящейся Иночи. Милый знакомецъ мой болѣе прежняго красуется на этой живописной картинѣ: передъ нимъ стелется ковромъ изумрудный лугъ, изгибающійся по скату холма, окаймленный прихотливо разметаившеюся по этому ковру рѣкою, и за ней далеко, далеко скрывающійся въ кустарникахъ и группахъ древесныхъ. Зеленый лугъ тѣшитъ взоры наши на мѣстѣ прежняго оврага; весело любитъ собою Иноча, нѣжась на мягкомъ ложѣ. Прекрасенъ этотъ коверъ среди бѣлаго дня, когда красное солнышко смотрится въ свѣтломъ зеркалѣ рѣки, ярко озаряетъ его, и лишь по окраинамъ мелькаютъ тѣни тополей, а въ древесныхъ группахъ лучи солнечные то сквозятъ и золотятъ зеленныя ихъ маковки, то играютъ съ серебристыми листьями, то прячутся въ темныхъ соснахъ. Прелестенъ онъ и тогда, какъ на голубое небо выплываетъ луна, съ багрянымъ по одну сторону Юпитеромъ и съ Сатурномъ по другую: длинныя тѣни деревьевъ, какъ великаны, лежатъ на немъ; робко входишь въ рощу, по мѣстамъ освѣщенную луною; кругомъ тишина, все живое спитъ, улегся на листьяхъ и вѣтеръ—и онъ не шелохнетъ; слышишь свои шаги и боишься, чтобы не разбудить обитателей рощи. Великолѣпное тогда зрѣлище съ береговъ Иночи на замокъ: одинъ ярусъ его освѣщенъ, а въ окнахъ другого и въ стеклахъ бельведера играетъ луна. Она рада поиграть здѣсь съ этимъ замкомъ: онъ одинъ, въ этомъ краю, такой же свѣтлый и чистый, какъ она сама. Къ полуночи все болѣе и болѣе синѣетъ небесный сводъ, испещряется милліонами міровъ; загорается и полярная звѣзда



въ хвостѣ Малой Медвѣдицы; горять и Кассіопея, и Персей, и Лира, и Геркулесъ. Сколько тутъ наслажденій для духа, возвышенныхъ, неистощимыхъ.

„По другую сторону замка Порѣцкаго воздвигнуто новое зданіе, обнесенъ дворъ оградой съ чугунною рѣшеткой и воротами, за которыми идетъ липовый проспектъ.

„Во внутреннемъ расположеніи дома никакая прихоть не выдумаетъ ничего лучшаго: все выражаетъ мысль хозяина— истинную обитель науки и искусства. Занятія наши были прежнія—чтеніе, письмо, прогулки, бесѣды и, чѣмъ мы не наслаждались прежде, — *очаровательная музыка*. Въ нынѣшнее гощеніе, вмѣсто академическихъ бесѣдъ, мы занимались новымъ ученымъ дѣломъ. Профессоръ Астрономіи Д. М. Перовщиковъ опредѣлилъ географическое положеніе Порѣцкаго замка, а я составилъ подробное описаніе превосходному памятнику древняго Греческаго ваянія, украшавшему прежде замокъ Альтемпскій, въ одной Римской виллѣ.

„Довольно о наукѣ и искусствѣ: обратимся снова къ природѣ, и взглянемъ на окрестности изъ гостиной. Что за очаровательный видъ въ ясный день! Передъ вами, на полдень, плещется въ зеленыхъ берегахъ Иноча, извивающаяся по обширному парку, разливающаяся на огромные бассейны и осыная справа густою рощею сосновою. На берегахъ ея слѣва церковь, а справа каменные зданія фабрики суконной и бумагопрядильной. Теперь въ паркѣ черезъ оврагъ перекинуты два моста, и вы можете прямо пройти изъ парка въ церковь, минуя село. Къ полезнымъ новостямъ въ Порѣчѣ принадлежатъ часы, поставленные въ колокольнѣ. Тамъ, за селомъ, блещетъ Москва-рѣка, дружно принявшая въ лоно свое игривую Иночу, и съ этою добычей спѣшитъ опоясать древнюю столицу Русскую, дабы посмотрѣться въ струяхъ своихъ Ивану Великому и теремамъ Златоверхимъ. Вдали, на окраинахъ полей, виднѣются села съ рощами и лѣсами.

„Но вы утомлены *впечатлѣніями* природы и искусства; вы перечувствовали наслажденія тысячелѣтій; много *думъ* мель-

нуло въ умѣ вашемъ: ступайте отдохнуть въ паркѣ, освѣжить себя къ новымъ *впечатлѣніямъ* и *думамъ*. Тамъ ничто не нарушить вашего углубленія въ самихъ себя; тамъ побесѣдуйте мысленно съ близкими вашему сердцу. Мнѣ особенно по душѣ то мѣсто, гдѣ въ густой тѣни душистой липы слышишь лишь шелестъ листьевъ, журчанье Иночи, послѣ борьбы съ плотиною пробирающейся по камешкамъ, и какой-то особенный говоръ безлюдной природы. Здѣсь питался я нынче тѣми же сладостными чувствованіями, какія прежде вкушалъ; здѣсь, созерцая благость Божію въ прекрасномъ Божьемъ мірѣ, возвышаешься духомъ, наслаждаешься самодовольствомъ.

„Оранжерея обогащена ботаническими растеніями, перевезенными изъ села Холмъ, собранными съ огромными пожертвованіями, въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ, любителемъ и знатокомъ Ботаники, незабвеннымъ покойнымъ братомъ хозяина Порѣчья, О. С. Уваровымъ.

„Миръ праху твоему, мужъ почтенный! О тебѣ сѣтуютъ твой братъ и другъ, сѣтуютъ и *стыдливость*, и *сестра правосудія*, *вѣрность* и *чистая истина*: когда обрѣтутъ онѣ тебѣ равнаго? Для насъ утѣшительно говорить самимъ себѣ: ты не совсѣмъ умеръ; твои знанія, твои правила сердца, твои чувства живы, какъ безсмертныя. Любезный духъ, отлетѣвшій отъ насъ и въ обители безсмертія витающій! приникни съ высоты и возрадуйся о своихъ добродѣтеляхъ: имъ друзья твои приносятъ жертву любви.

„Итакъ новая роскошь для науки въ Порѣчѣ — единственная оранжерея тропическихъ растеній. При насъ перевезена была изъ Холма флора Австраліи. Какъ любопытно видѣть представителей растительнаго царства этой юной части земнаго шара, гдѣ растенія, равно какъ и животныя, открываютъ намъ особое устройство! Такъ, листья нѣкоторыхъ деревьевъ имѣютъ положеніе совершенно противное обыкновенному; у иныхъ вѣтви расплощены и замѣняютъ листья. Теперь въ Порѣчѣ вы найдете подлинники исполинскихъ эвкалиптовъ (*eucalyptus calophylla*), называемыхъ у поселенцевъ гум-

мѣвыми деревьями, которыя до сихъ поръ знакомы были только по сочиненію Броуна,—замій, казуариновъ, замѣчательныхъ длинными, плакучими, нитямъ подобными вѣтвями; вы изумитесь огромнаго роста фиговыхъ деревьямъ, съ удивленіемъ посмотрите на необычайной величины банксії (*banksia*), мирты (*protea*), эпакриды (*eracris*), пышные чернобѣлы (*melaleuca*), усыянные алыми цвѣтками, лептосермы, словно плакучія ивы, благовонные метросидеры (*metrosideros*), ель араукарія, хлѣбное дерево (*pandanus*), носящее на вѣтвяхъ родъ еловой шишки, выросшей на пальмовомъ деревѣ, дивія вишни (*exocarpus cypressiformis*), шелковые дубы (*grevillea venusta*). Остановить васъ странное растеніе—травное дерево (*kingia australis*), на своей родинѣ одиноко возвыщающееся среди песчаныхъ равнинъ, въ видѣ безкорога и почернѣвшаго ствола, съ вершины котораго ниспадаетъ густой пучъ длинныхъ листьевъ, похожихъ на обыкновенную траву. Свидѣтельствомъ страсти въ наукѣ покойнаго владѣтеля ботанической оранжереи могутъ служить однѣ камеліи: здѣсь ихъ болѣе пятисотъ видовъ!

„Таково Порѣчье въ 1846 году. Въ этой прекрасной обители науки и искусства соединено все, что только можетъ придумать просвѣщенный умъ, изящный вкусъ: это усадьба богатаго литератора. Здѣсь черезъ два года природа по прежнему юная, роскошная; село изукрашено и 29-го августа, день Іоанна Предтечи, ознаменовало ярмаркою, веселюю, но трезвою; замокъ разбогатѣлъ новыми сокровищами науки, искусства и словесности; что же стало съ нами? Мы по прежнему питаемъ въ себѣ чувство ко всему истинному, благому и изящному; оно торжествуетъ надъ тлѣнностью вещественнаго міра; оно вѣчно юно, отъ времени и опыта крѣпнеть; оно, какъ духъ, бессмертно. При всѣхъ превратностяхъ всего насъ окружающаго, при всѣхъ измѣненіяхъ собственныхъ нашихъ обстоятельствъ, мы по прежнему любимъ нашего добраго, просвѣщеннаго хозяина, мецената-вельможу, по прежнему душою и сердцемъ ему преданы; а онъ награждаетъ

насъ тѣмъ же радушіемъ, тою же привѣтливостью, тѣмъ же гостепріимствомъ, которыми прежде мы у него наслаждались и были очарованы“ <sup>373</sup>).

Мы уже знаемъ, что когда Погодинъ въ 1845 году снова пожелалъ вступить на университетскую кафедру, то Давыдовъ не только не содѣйствовалъ къ исполненію желанія своего стараго товарища, но даже въ „угоду графу Строганову и Соловьеву помѣшалъ“ ему въ этомъ. Не взирая на сіе, незапамятный Погодинъ вскорѣ съ нимъ примирился, и уже 13 декабря 1845 года какъ ни въ чемъ не бывало Давыдовъ писалъ ему: „И у меня голова затуманилась, какъ у васъ: только у васъ отъ типографіи, а у меня отъ экзаменовъ... Что касается до дня, въ который бы можно намъ вмѣстѣ отобѣдать и побесѣдовать, то я просилъ бы васъ къ себѣ для этого въ понедѣльникъ въ 3 часа“. А въ самомъ началѣ 1846 года Давыдовъ писалъ Погодину: „Вы оставляете старинныхъ университетскихъ вашихъ товарищей и предаетесь надуваламъ. Горе вамъ книжницы!“ <sup>373</sup>).

Между тѣмъ въ это время И. И. Давыдовъ, по его собственному свидѣтельству, „упрочивъ состояніе свое заслуженною пенсією, съ благословенія матери, вступилъ въ супружество съ благородною, образованною дѣвицею Вѣрою Александровною Малѣевою и получилъ мѣсто директора Главнаго Педагогическаго Института въ С.-Петербургѣ“ <sup>374</sup>).

Къ этому повышенію Давыдова Погодинъ отнесся весьма доброжелательно и подъ 15 ноября 1846 г. записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Къ Давыдову, который получилъ приглашеніе быть директоромъ Педагогическаго Института. Вотъ это мѣсто по немъ“.

Повышеніе Давыдова было сопряжено съ повышеніемъ Шевырева. Съ удаленіемъ Давыдова изъ Московскаго Университета Шевыревъ остался старшимъ профессоромъ Русской Словесности и занялъ деканское кресло Историко-Филологическаго Факультета. Узнавъ объ этомъ, Погодинъ радостно привѣтствовалъ своего друга. „Что же ты, деканъ“, писалъ онъ ему,—

„и не напишешь даже мнѣ ни слова. Поздравляю и желаю всякаго добра, къ чести твоего имени и пользѣ Словесности и Университета (который все-таки горячо люблю, не смотря на его гадости со мною). Заповѣдую тебѣ возстановить Общество Словесности, для котораго теперь есть много работниковъ: Буслаевъ, Катковъ, Ундольскій, Дубенскій, Кубаревъ, Калачевъ, и пр. Но побереги здоровье. Я не знаю, какъ ты справишься съ печатаніемъ лекцій, публичнымъ курсомъ, съ Университетомъ“. На поздравленіе это Шевыревъ отвѣчалъ: „Благодарю тебя за поздравленіе, другъ, съ деканствомъ. Помогли Господи сдѣлать что-нибудь доброе для Университета. Хорошо бы возстановить Общество, но надобенъ для того капиталъ. Печатаніе лекцій я долженъ отложить на время публичнаго курса. Не возможно этихъ двухъ дѣлъ вести разомъ. И такъ въ самомъ дѣлѣ иногда голова трещитъ отъ непрерывной работы“. Но, „отсюда“, свидѣтельствуетъ Погодинъ, „начинаются непріятности Шевырева по службѣ и между товарищами. Начальство—это была не его сфера. Его сфера были кабинетъ, аудиторія, письменный столъ, лекціи, изслѣдованія, сочиненія. Съ возбужденными всегда нервами вслѣдствіе усиленныхъ и разнообразныхъ занятій онъ дѣлался, можетъ быть, иногда непріятнымъ или даже тяжелымъ, вслѣдствіе своей взыскательности, требовательности, запальчивости и невоздержанности на языкѣ. Молодежь вмѣсто снисхожденія и пощады отвѣчала ему своею требовательностью и взыскательностью. Столкновенія дѣлались чаще и чаще“<sup>375</sup>).

## LVII.

Какъ для Погодина 1844-й, такъ для Словенофиловъ, и въ особенности для Кирѣевскихъ и Хомякова, 1846-й годъ былъ однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ въ жизни. Едва успѣли схоронить Валугева, какъ скончался Алексѣй Андреевичъ Елагинъ, вотчимъ Кирѣевскихъ и бывший имъ по духу въ отца

мѣсто. Извѣщая объ этой потерѣ Ю. О. Самарина, Хомяковъ писалъ: „А. А. Елагинъ кончилъ ударомъ. Это страшная потеря для семьи и истинная потеря для друзей. Въ этомъ человѣкѣ, по видимому, грубомъ и неотесанномъ, много было теплоты чувства и ума“. А. А. Елагина похоронили въ селѣ Петрищевѣ, и супруга его А. П. Елагина писала А. Н. Попову (24 сентября и 16 декабря 1846 г.): „Мы работаемъ прилежно на отдѣлку придѣла при нашей церкви; тамъ положенъ нашъ кормилецъ хозяинъ... Тамъ все будетъ нашими трудами: Лиля вышиваетъ одежду на престолъ, Маша воздухи, Катя налож для образа. Образа даже пишемъ сами“ <sup>376</sup>).

Въ томъ же году И. В. Кирѣевскій похоронилъ свою маленькую дочь Еватерину. „Въ этотъ годъ“, писалъ онъ своему брату Петру, — „я прошелъ черезъ ножи самыхъ мучительныхъ минутъ, сцѣпленныхъ почти непрерывными бѣдами, такъ что когда я несъ мою бѣдную Катюшу въ церковь, то это было уже почти легко, въ сравненіи съ другими чувствами“ <sup>377</sup>).

Въ самомъ концѣ того же 1846 года, какъ увидимъ, они похоронили Языкова.

22 января 1846 года отошелъ въ вѣчность послѣдній Русскій писатель, начавшій свое литературное поприще въ XVIII вѣкѣ, и имя котораго, въ XIX столѣтіи, обезсмертилъ Пушкинъ въ своемъ *Евгеніи Онегинѣ*:

.....Тамъ въ стары годы,  
Сатиры смѣлый властелинъ,  
Блисталъ Фонъ-Визинъ, другъ свободы,  
И перемчивый Княжнинъ;  
Тамъ Озеровъ невольнымъ данн  
Народныхъ слезъ, рукоплесканій  
Съ молодой Семеновой дѣлилъ;  
Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ  
Корнеля геній величавый;  
Тамъ вывелъ колкій *Шаховской*  
Своихъ комедій шумный рой.

По свидѣтельству Московскаго Лѣтописца, князь Александръ Александровичъ Шаховской лѣто 1845 года провелъ

въ Бутыркахъ, уже въ сентябрѣ, 6 числа, уѣхалъ въ Харьковское имѣніе свое село Рогань. Посѣщая часто губернский городъ, сблизился онъ съ преосвященнымъ Иннокентіемъ, и бесѣды его съ знаменитымъ проповѣдникомъ утвердили въ немъ то нравственно-религіозное, догматическое направленіе, которое составляло отличительную черту въ послѣдніе годы жизни его. 4 января 1846 года князь Шаховской вернулся въ Москву и поселился въ семействѣ М. М. Бакунина, съ которымъ давно уже сроднился онъ и въ которомъ всегда находилъ дружбу, утѣшеніе и спокойствіе. Знакомые нашли большую перемену въ чертахъ лица его: онъ опустился, поспѣлѣлъ, но самъ былъ онъ доволенъ здоровьемъ своимъ: съ удовольствіемъ посѣщалъ тѣхъ, кого любилъ, и еще на послѣднемъ вечерѣ у М. А. Дмитріева съ воодушевленіемъ рассказывалъ о томъ, какъ онъ былъ посланъ въ армію Конде, обучать Французовъ Русскимъ ружейнымъ приѣмамъ... 14 января онъ занемогъ. 19 приобщился Святыхъ Таинъ, и все послѣдующее до кончины время просилъ читать ему вслухъ молитвы<sup>378</sup>).

24 января М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Бакунины поручили мнѣ извѣстить васъ, любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ, о кончинѣ князя Александра Александровича Шаховскаго, послѣдовавшей 22 числа. Давно ли онъ у меня слушалъ ваше Слово?—11 числа. Прошло всего десять дней, а его ужъ нѣтъ. Билетовъ не рассылаютъ, потому и просятъ меня извѣстить васъ и Шевырева. Погребеніе будетъ въ субботу, въ Дѣвичьемъ монастырѣ. Жилъ онъ у Бакуниныхъ, на одной улицѣ со мною, только по другую сторону, противъ самой церкви Іоанна въ Кречетникахъ. А я занемогъ было опаснымъ образомъ; ежели бы не подали мнѣ скорую помощь, и со мной могло бы быть то же. И теперь еще не вызжаю. Скажу при свиданіи. Да не посѣтите ли вечеромъ?“<sup>379</sup>) Получивъ это извѣстіе, Погодинъ въ тотъ же день записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Извѣстіе о смерти Шаховскаго, который такъ обласкалъ меня въ послѣдній разъ. Я все собирался къ

нему и не собрался. На панихиду къ Шаховскому къ Бакунинимъ съ Шевыревымъ, потомъ къ Дмитріеву, который жестоко боленъ". На другой день Погодинъ навѣстилъ Загоскина тоже больного и два раза былъ у Дмитріева, „который очень жалокъ". 26 января происходили похороны князя А. А. Шаховскаго, на которыхъ присутствовалъ и Погодинъ; а въ тотъ день вечеромъ былъ на балѣ у *Чертковыхъ*.

Черезъ мѣсяцъ послѣ кончины Шаховскаго скончался въ Петербургѣ Николай Алексѣевичъ Полевой.

Въ своей *Старой Записной Книжкѣ*, подъ 28 февраля 1846 г., князь П. А. Вяземскій записалъ: „Отпѣваніе Полеваго въ церкви Никола Морского, а похоронили на Волковомъ кладбищѣ. Множество было народа; по видимому, онъ пользовался популярностью. Я не подходилъ къ гробу, но мнѣ сказывали, что онъ лежалъ въ халатѣ и съ небритою бородою. Такова была его послѣдняя воля. Онъ оставилъ по себѣ жену, девять человѣкъ дѣтей, около шестидесяти тысячъ рублей долга и ни гроша въ домѣ. По докладу графа А. Ѳ. Орлова пожалована семейству его пенсія въ тысячу р. сер. Въ литературномъ кругу—Одоевскій, Сологубъ и многіе другіе—затѣваютъ также что-нибудь, чтобы придти на помощь семейству его. Я объявилъ, что охотно берусь содѣйствовать всему, что будетъ служить свидѣтельствомъ участія, вспоможеніемъ, а не торжественнымъ изъясненіемъ народной благодарности, которая должна быть разборчива въ своихъ выборахъ. Полевой заслуживаетъ участія и уваженія какъ человѣкъ, который трудился, имѣлъ способности,—но какъ онъ писалъ и что онъ писалъ, это другой вопросъ. Вообще Полевой имѣлъ вредное вліяніе на литературу: изъ твореній его, вѣроятно, ни одно не переживетъ его, а пагубный примѣръ его переживетъ, и, вѣроятно, на долго. *Библиотека для Чтенія, Отечественныя Записки* издаются по образу его и подобію его. Полевой у насъ родоначальникъ литературныхъ наѣздниковъ, какихъ-то кондотьеры, низвергателей законныхъ литературныхъ властей. Онъ изъ пер-



выхъ приучилъ публику смотрѣть равнодушно, а иногда и съ удовольствіемъ, какъ выдаютъ грязью въ имена, освященные славою и общимъ уваженіемъ, какъ, напримѣръ, въ имена Карамзина, Жуковскаго, Дмитріева, Пушкина<sup>280</sup>).

Когда вѣсть о кончинѣ Полеваго достигла Москвы, то Погодинъ, подъ 1 марта 1846 года, записалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Умеръ Полевой. Жаль все-таки“.

Между тѣмъ Бѣлинскій почтилъ память Полеваго цѣлою брошюрою, вышедшею въ Петербургѣ, въ томъ же 1846 году, подъ заглавіемъ: *Николай Алексѣевичъ Полевой*. Погодинъ написалъ разборъ этой брошюры и безъ подписи своего имени напечаталъ этотъ разборъ въ своемъ *Москвитянинъ*. Въ *Дневникъ* же его, встрѣчаемся съ слѣдующими записями:

Подъ 23 мая 1846. Написалъ о Бѣлинскомъ и Полевомъ.

— 24 мая 1846. Дописалъ о Бѣлинскомъ.

Въ этомъ разборѣ Погодинъ высказываетъ свой взглядъ какъ на Бѣлинскаго, такъ и на Полеваго. Начинаетъ Погодинъ съ Бѣлинскаго. „По долгу библіографіи надо“, пишетъ онъ, — „сказать нѣсколько словъ и объ этой брошюрѣ, наполненной чудесъ всякаго рода. Съ нѣкотораго времени начало показываться въ журналахъ имя Бѣлинскаго. Кто таковой этотъ Бѣлинскій?

„На что вамъ знать это? восклицаетъ нѣсколько громкихъ голосовъ. Студентъ, профессоръ, генералъ, канцеляристъ, — не все ли равно для критики. Вы разбирайте, что говорятъ вамъ, а не кто говорить. Судите сочиненіе, а не сочинителя.

„Хорошо—скажите же мнѣ: какія есть сочиненія господина Бѣлинскаго?

„Бѣлинскій не представилъ еще никакихъ сочиненій. Онъ написалъ одну комедію въ пяти дѣйствіяхъ, и она скончалась въ первое представленіе, такъ что никто и не узналъ ея конца, кромѣ суфлера, а начала никто не понялъ, и Бѣлинскій отъ нея отпирается; онъ написалъ еще начало *Русской Грамматики*, этимологію, но по ней, оказалось, нельзя сдѣлать даже порядочнаго анализа, и сочиненіе синтаксиса не воспослѣдовало.

„Итакъ это сочинитель безъ сочиненій, въ родѣ Краевскаго?

„Нѣтъ, Краевскій указатель, а Бѣлинскій — критикъ. Ему принадлежитъ рядъ критическихъ статей въ *Телескопъ*, *Молотъ*, *Наблюдатель*, *Отечественныхъ Запискахъ*.

„Перебираю всѣ эти статьи и нахожу въ продолженіе десяти слишкомъ лѣтъ одни и тѣ же возгласы, подправляемые по временамъ варварскими фразами изъ Нѣмецкихъ и Французскихъ журналовъ. Сначала, когда Бѣлинскій произнесъ ихъ въ первый разъ, можно еще было ихъ прослушать; можно было даже надѣяться, что молодой человѣкъ, занимаясь и участь, сдѣлается современемъ полезнымъ дѣятелемъ въ литературѣ, хоть и въ числѣ чернорабочихъ, переводчиковъ, сократителей, даже рецензентовъ для сочиненій второклассныхъ; но онъ остановился на первомъ шагу, закружился въ первомъ кругу, и какъ будто осужденный злымъ волшебникомъ, началъ сказывать одну докучную сказку, началъ пѣть одну монотонную пѣсню, — и пѣлъ ее десять лѣтъ, поетъ и теперь безъ умолку.

„Какое же содержаніе этой докучной сказки?

„Ломоносовъ не поэтъ. Державинъ ничего не значить. Богдановича нечего читать. О Сумароковѣ, Княжнинѣ, Херасковѣ не стоитъ труда и говорить. Озеровъ сентименталистъ. Карамзинъ устарѣлъ. Пушкинъ началъ было хорошо и встрѣтился съ демономъ, но испугавшись отошелъ отъ него прочь и тѣмъ испортилъ все дѣло, а Лермонтовъ съ нимъ подружился и сдѣлался первымъ поэтомъ и прочее тому подобное, что называется на Петербургскомъ книжномъ языкѣ: *Ералашъ*.

„Эта ералашъ, казалось, должна была быть оставлена безъ всякаго дѣйствія и награждена общимъ презрѣніемъ. Нѣтъ! у насъ ее слушали, принимали, одобряли, и вотъ въ Москвѣ какой-то господинъ Галаховъ, въ угодность Бѣлинскому, ставитъ позорное клеймо на Державинскія оды *Богъ* и *Водопадъ*, на Ломоносовскія размышленія, въ Хрестоматіи назначенной для юношества, и вотъ въ Кіевѣ какой-то господинъ Аско-

ченскій составляет чуть ли не изъ нея Исторію Русской Литературы“.

Затѣмъ Погодинъ переходитъ къ разбору самой брошюры Бѣлинскаго о Полевомъ: „Этотъ-то господинъ Бѣлинскій увѣнчалъ свое критическое поприще изданіемъ выше описанной брошюры.

„Вотъ что, напримѣръ, онъ пишетъ въ ней: „Три человѣка, нисколько не бывшіе поэтами, имѣли сильное вліяніе на Русскую поэзію и вообще Русскую изящную литературу, въ три различныя эпохи ея историческаго существованія. Эти люди были Ломоносовъ Карамзинъ и Полевой. Полевой съ Ломоносовымъ и Карамзинымъ? Каково?

„Полевой имѣлъ вліяніе на Русскую поэзію? А Пушкинъ нѣтъ? Гдѣ же поэты, ученики Полеваго? Гдѣ поэмы, ихъ произведенія? Полевой имѣлъ вліяніе на изящную литературу — гдѣ же эти сочиненія, писанныя подъ вліяніемъ Полеваго? Укажите намъ ихъ, какъ мы указываемъ на сочиненія Ломоносовскія и Карамзинскія... Но стоитъ ли труда останавливаться на этомъ вздорѣ!

„Около сорока страницъ Бѣлинскій разглагольствуетъ въ сороковой разъ о старой литературѣ, и только въ концѣ своей брошюры обращается къ Полевому. Въ чемъ же состоятъ его заслуги? „Первая мысль, которую началъ онъ развивать съ энергіею и талантомъ, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣгать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы. Эта мысль, теперь общее мѣсто даже для всякаго невѣжды и глупца, тогда была новостью (!!), которую почти всѣ (!!!) приняли за опасную (!!!) ересь (!!!)“. Можетъ ли невѣжество быть болѣе дерзкимъ? Мысль о необходимости умственнаго движенія принадлежитъ Полевому и была сначала принята опасною ересью; Гдѣ, когда, кѣмъ? Эта мысль принадлежитъ къ общимъ мѣстамъ Русской Литературы со временъ Ломоносова, и никому, никогда не казалась ересью.

Кто не думалъ объ ней въ высшемъ литературномъ кругу? Развѣ внизу, въ обществѣ какихъ-нибудь удалыхъ молодцовъ, молодыхъ охотниковъ, которые почему-нибудь не допускались выше, она представлялась въ такомъ видѣ.

„Нѣтъ возможности пересчитать всѣ авторитеты, уничтоженные Полевымъ“. Какіе авторитеты уничтожилъ онъ? Тѣ, которые и въ общемъ мѣнѣи ничего не значили, или казались знаменитыми и великими въ томъ же низкомъ обществѣ, а въ Ареопагѣ, гдѣ засѣдали Крыловы, Дмитріевы, Мерзляковы, Жуковскіе, потомъ Вяземскіе, Пушкины, Баратынскіе, и такъ далѣе до нашихъ временъ, никакой посредственный писатель не имѣлъ значенія; всякому воздавалось свое. Не было ругательствъ, кои теперь срамятъ Русскую Литературу, но рѣшительно не воздавалось и почестей не заслуженныхъ.

„Какія сочиненія были у насъ въ ходу, которыя оставилъ Полевой? Ровно никакихъ.

„Полевой такъ же сражался съ вѣтранными мельницами какъ Бѣлинскій, то-есть, они составляли себѣ призраки, махали надъ ними своими бумажными мечами и провозглашали себя героями, а въ самомъ дѣлѣ они только Донъ-Кихоты, безъ невинности и простосердечія Ламанчскаго рыцаря. Полевой сражался съ Гречемъ и Булгаринымъ, которыхъ послѣ началъ превозносить, а впрочемъ бралъ дань съ одного невѣжества, по выраженію Батюшкова, ту же дань, которую берутъ всѣ наши записные рецензенты: надъ дрянью они потѣшаются, а чуть книга позначительнѣе, они не находятъ ничего сказать объ ней, кромѣ общихъ мѣстъ.

„Безъ смѣха нельзя читать, какія вещи рассказываетъ Бѣлинскій о разныхъ литературныхъ обстоятельствахъ. Гдѣ онъ слышалъ объ нихъ? Гдѣ бывали такіе? Напримѣръ: „Литературные нравы вполнѣ соотвѣтствовали такимъ литературнымъ понятіямъ. Молодой человѣкъ, желавшій попасть въ писатели, долженъ былъ прежде всего найти себѣ мецената, или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями Литературы, затѣмъ долженъ былъ добиться

лестной чести — попасть на литературные вечера своего мецената. Тамъ предстоялъ ему долгій искусь: прежде всего онъ обязанъ былъ *не смѣть свое сужденіе имѣть*; его дѣло было слушать умныя рѣчи опытныхъ людей, молча или словесно во всемъ соглашаться съ ними. Только со временемъ, уже приобрѣтя лестную репутацію Грибоѣдовскаго Молчалина, могъ онъ дерзнуть попросить позволенія — прочесть свое первое произведеніе. Прочтя его, онъ выслушивалъ критику и совѣты, обязанъ былъ перемѣнять, переправлять и передѣлывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кѣмъ-либо изъ опытныхъ и почтенныхъ знатоконъ Словесности. Сто разъ передѣланное и переправленное его дѣтище поступало наконецъ въ печать. Еще лѣтъ десятокъ — и Литература Русская обогащалась, въ лицѣ этого новиціата, или писателемъ съ талантомъ, но уже безъ всякой самостоятельности, или дюжиннымъ писакою! Во всякомъ случаѣ онъ поступалъ тогда съ благословенія своихъ меценатовъ — и всѣ вѣрили, что онъ — большой писатель, потому что за него ручались не его сочиненія, а такіе знаменитые авторитеты. Затѣмъ онъ самъ попадалъ въ авторитеты и въ меценаты, и въ отношеніи къ другимъ игралъ такую же курьезную роль, какую играли въ отношеніи къ нему знаменитости, которые *вывели его въ люди*. Теперь это невѣроятно, а тогда было такъ!"

*Съѣзжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!*

„Жизнь всѣхъ нашихъ писателей нынѣшняго столѣтія слишкомъ извѣстна. Назовите хоть одного, который подвергался подобному искусу. Скажите, кто у кого былъ меценатомъ? Кто руководилъ Вяземскаго, Грибоѣдова, Глинку, Писарева, Дмитріева, Загоскина, Пушкина, Баратынскаго, Хомякова, Языкова, Шевырева, Погодина, Даля, Одоевскаго, Павлова, Надеждина, Андросова, Максимовича, и проч. и проч. Всѣ они начали писать и печатать до двадцатилѣтняго возраста, и девятилѣтнимъ терпѣніемъ никто не можетъ похвалиться? Всякій писалъ что и какъ хотѣлъ и умѣлъ. Откуда

же беретъ Бѣлинскій всѣ эти свѣдѣнія? Ясно, что онъ рассказываетъ намъ понятія того общества, къ которому принадлежалъ онъ, а высшее общество литературное, которое у насъ никогда не прерывалось, для Бѣлинскаго не существовало, какъ и не существуетъ.

„А вотъ продолженіе исчисленія достоинствъ Полеваго: „Полевой показалъ первый, что Литература не игра въ фанты, не дѣтская забава, что исканіе истины ея главный предметъ, и что истина не такая бездѣлица, которую можно было бы жертвовать условнымъ приличіямъ и пріязненнымъ отношеніямъ. Есть ли терпѣніе слушать подобныя вещи? До Полеваго мы думали, что Литература—игра въ фанты. Повторяю: можетъ ли невѣжество быть болѣе дерзкимъ! Карамзинъ въ академической рѣчи, напримѣръ, въ *Исторіи Государства Россійскаго*, Мерзляковъ въ своихъ разборахъ, Жуковский—играли въ фанты! А Полевой искалъ истины! Развѣ онъ игралъ въ гулячки!

„Дѣло вотъ въ чемъ: Бѣлинскій не имѣетъ никакого образованія. Это геній-самоучка, которые у насъ растутъ какъ грибы, ежегодно, между студентами, не оканчивающими курса. Ни на какомъ языкѣ онъ читать не можетъ. И во всѣхъ его писаніяхъ нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ какого-нибудь знакомства ни съ однимъ писателемъ иностраннымъ. *Телеграфъ* Полеваго былъ для него журналомъ, бібліотекою, обществомъ, академіею, университетомъ. Въ этомъ университетѣ онъ учился и выучился всѣмъ наукамъ, особенно Теоріи Словесности и Исторіи; не мудрено, что издатель показался ему всемірнымъ геніемъ. Вспомнилъ о мыши Крылова, которая думаетъ, что *сильныя кошки зѣвря нѣтъ*. Послѣ Полеваго Бѣлинскій получилъ меценатомъ Краевскаго, который, разумѣется, не могъ его разувѣрить по причинамъ очень понятнымъ. Допустимъ высокое значеніе Полеваго для благороднаго его воспитанника, воспитанника, который сдѣлался ревностнымъ его преемникомъ, наследникомъ главнаго его достоинства—разрушать авторитеты, ему несносные, потому что, самъ онъ не можетъ приоб-

рѣсти никакого авторитета, развѣ только въ глазахъ Галахова.

„Сдѣлаемъ еще болѣе. Бѣлинскій выбралъ эпитафію слѣдующіе стихи Пушкина:

... На жизненныхъ браздахъ  
Мгновенной жатвой поколѣнья,  
По тайной волѣ Провидѣнья,  
Восходить, зрѣютъ и падаютъ,  
Другіе имъ во слѣдъ идутъ.

„Это что значить? Полевой сдѣлалъ свое дѣло, а теперь является на сцену Бѣлинскій. Итакъ, мы присоединимъ имя Бѣлинскаго къ именамъ Ломоносова, Карамзина, Полеваго и скажемъ пожалуй: Ломоносовъ, Карамзинъ, Полевой и Бѣлинскій, а потомъ раздѣлимъ это разнородное собраніе на двѣ половины: Карамзина оставимъ съ Ломоносовымъ, а къ Полевому отрядимъ Бѣлинскаго: *similis simili gaudet*.

„Скажемъ вообще о посредственности: охота у нея смертная, но участь горькая. Силится она попасть напередъ, а все остается назади; какъ ни надувается сдѣлаться чѣмъ-нибудь, а все остается ничѣмъ! Она можетъ кричать, можетъ сликать народъ, толпу, но вотъ явится другой крикунъ, который кричитъ еще громче, ругается еще смѣлѣе, и толпа оставляетъ перваго, валитъ ко второму. Отъ втораго зазываетъ ее третій, и такъ далѣе. *Телеграфъ* перещеголяла *Библиотека*, которая впрочемъ имѣла и имѣетъ собственныя, неотъемлемыя достоинства. *Библиотеку* затмили *Отечественныя Записки*. *Отечественныя Записки* доходить до-нельзя. Идетъ слухъ о новыхъ удалцахъ...

„Впрочемъ Бѣлинскій имѣетъ такой складъ ума, что не можетъ остаться безъ противорѣчій, говоря о предметѣ самомъ простомъ, какъ Полевой: послушайте, какъ онъ честитъ своего кліента—патрона: „Онъ сдѣлалъ свое дѣло, и по прежнему хлопоча о движеніи впередъ, безъ собственнаго вѣдома и желанія, наперекоръ самому себѣ, началъ принимать характеръ коснѣнія. Въ эти три года (послѣдніе — *Телеграфъ*) были

напечатаны въ немъ большіе критическіе разборы Полеваго сочиненій Державина, Жуковскаго, Пушкина и повѣсти: *Блаженство Безумія, Живописецъ, Эмма*. Въ тѣхъ и другихъ Полевой высказался вполне, въ тѣхъ и другихъ вполне высказались уголъ его зрѣнія, сгибъ его ума, характеръ его образованія, равно какъ вполне отразилась его эпоха, съ ея живою дѣятельностью, безпокойнымъ тревожнымъ движеніемъ, заносчивостью, юношескимъ жаромъ, простодушнымъ убѣжденіемъ, съ полуфранцузскими тенденціями и полунѣмецкими идеями, съ поверхностью и неопредѣленностью въ понятіяхъ, съ чувствами вмѣсто мыслей, предощущеніями вмѣсто отчетливаго сознанія, часто съ громкими словами и и туманными фразами вмѣсто теорій, съ смѣлостію, отвагою, одушевленіемъ. Изъ журналиста онъ пошелъ въ сотрудники, расходился и вновь сходилъ съ журналами, въ которыхъ участвовалъ, принимался было за редакцію новыхъ и только доказывалъ этимъ, что время его прошло неозвратно. При этомъ, естественно, не могъ онъ не увлекаться спорами, полемикою \*), выгоды которыхъ уже не могли быть на его сторонѣ...

„Хотите ли знать, каковъ былъ философъ Полевой по мнѣнію самого Бѣлинскаго? „Нѣмецкая философія сильно занимала его умъ, но онъ знакомился съ ея идеями не изъ прямого источника, *недоступнаго для дилетантовъ* и любителей философіи, а изъ популярных лекцій Кузена,—и его главная ошибка тутъ состояла въ томъ, что этого беллетриста философіи, онъ принялъ за главу философическаго движенія, будто бы скончавшагося въ Германіи съ Шеллингомъ“.

„Хорошъ философъ!

„Хотите ли знать, какимъ былъ историкомъ Полевой, по мнѣнію Бѣлинскаго?

„Ему казалось, что смутный хаосъ, образовавшійся въ головѣ изъ идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьери, очень

\*) То-есть, онъ тогда спорилъ уже съ Бѣлинскимъ!



удобоприложимъ въ Русской Исторіи, и не нужно говорить, что изъ этого вышло“.

„Нельзя не привести окончанія этой выходки Бѣлинскаго: истина взяла наконецъ свое, и послѣдніе томы *Исторіи Русскаго Народа* уже очень похожи на *Исторію Государства Россійскаго*“. То-есть: *Исторія* Полевого такъ дурна въ послѣднихъ томахъ, что уже похожа на *Исторію* Карамзина. Гдѣ мы? что мы слышимъ? „Досаду на своихъ противниковъ сталъ вымѣщать на исторіи Карамзина. *Исторія Русскаго Народа* явилась съ двойнымъ текстомъ: въ одномъ была Исторія, а въ другомъ довольно нехладнокровныя нападки на Карамзина, и каждому изъ этихъ текстовъ было отдано ровно по полустраницѣ... Пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго Литературѣ и общественному образованію великія услуги, но не будемъ оправдывать его слабости, или называть ее добродѣтельною“.

„Скажите, какая связь въ понятіяхъ у Бѣлинскаго? Онъ думаетъ, что можно еще называть добродѣтельною такой образъ дѣйствія.

„Хотите ли знать, какимъ былъ критикомъ Полевой, по мнѣнію Бѣлинскаго? „Полевой отступилъ отъ Пушкина, какъ отъ отсталого поэта, въ ту самую минуту, когда тотъ изъ поэта, подававшаго великія надежды, началъ становиться дѣйствительно великимъ поэтомъ; съ перваго же разу не понялъ Гоголя и, по искреннему убѣжденію, навсегда остался при этомъ непониманіи“.

„Каковъ критикъ, который не понялъ ни Пушкина, ни Гоголя! За это, вѣрно, Бѣлинскій и ставитъ его рядомъ съ Ломоносовымъ и Карамзинымъ.

„Хотите ли знать, какъ Полевой дорожилъ своими мнѣніями и мнѣніемъ своего журнала? „Къ этой же эпохѣ *Телеграфа* относится и принятіе имъ въ свои сотрудники одного писателя съ его статьями многоглагольными, широковыщательными, плоскими и пошлыми, въ которыхъ, подъ формою ратованья за новое, скрывались отсталость и страшная ограни-

ченность въ понятіяхъ“. Бѣлинскій позабылъ, что онъ самъ есть только второе изданіе покойнаго Ушакова, только безъ его начитанности, что многоглаголаніе и широкоевѣщаніе Ушакова есть краткость и лаконизмъ въ сравненіи съ безконечными одиннадцатью статьями о Пушкинѣ и тому подобными.

„Вотъ еще доказательство, какъ дорожилъ Полевой своимъ мнѣніемъ (впрочемъ и дорожить было нечѣмъ), изъ словъ самого Бѣлинскаго: „*Телеграфъ* уронили двѣ важныя *ошибки* его издателя. Первая изъ нихъ была — примиреніе (!) съ одними Петербургскими Журналами и одною Петербургскою газетою, послѣ продолжительной и постоянной войны. Такъ какъ война эта дѣлала особенную честь *Телеграфу*, то примиреніе не могло не окомпрометировать его“.

Всѣ вышеприведенные отрицательные отзывы Бѣлинскаго о Полевомъ, по мнѣнію Погодина, „переписаны какъ будто изъ *Московского Вѣстника*“.

Въ заключеніе своего разбора Погодинъ говорить: „Будемъ справедливы. Время Полеваго было временемъ урожайнымъ въ Русской Словесности. Пушкинъ съ своими стихотвореніями, альманахъ: *Съверные цвѣты*, журналы: *Телеграфъ*, *Московский Вѣстникъ*, Павловъ съ своими лекціями о Шеллинговой философіи, Кеппенъ съ *Библиографическими Листами*, Жуковский съ *Орлеанской Дѣвой*, Грибоѣдовъ съ своею комедіею, — но не мѣсто исчислять здѣсь всѣ явленія. Дѣятелей было много, и между ними съ благодарностію должно упомянуть и Полеваго съ *Телеграфомъ*“<sup>381</sup>).

Эта анонимная статья Погодина весьма понравилась Шевреву, и послѣдній писалъ ему: „Бѣлинскаго просто положилъ и рядомъ съ Полевымъ“. Плетневъ же писалъ Д. И. Коптеву (отъ 5 апрѣля 1846 года): „Бѣлинскій глумится надъ стариннымъ обыкновеніемъ, что молодые писатели прежде печатанія сочиненій своихъ прочитывали ихъ съ людьми опытными. А я нахожу, что этою одною чертою онъ выразилъ все превосходство прежнихъ писателей нашихъ надъ нынѣшними, и нельзя было положить клейма болѣе постыднаго на

лобъ Полеваго, какъ сказать, что онъ отъ этого отучилъ молодыхъ писателей. Самъ онъ рубилъ съ плеча дичь, да и другихъ ввелъ въ это же правило“<sup>382</sup>).

## LVIII.

Конецъ 1846 года въ Русской Литературѣ ознаменовался горестнымъ событіемъ: 26 декабря умеръ Языковъ. Не смотря на тяжкіе недуги, удручавшіе его, смерть его, можно сказать, была неожиданная. Еще 12 декабря онъ писалъ Погодину: „Что это ты не захотѣлъ, мой почтеннѣйшій, откушать моею хлѣба-соли? А мы тебя ждали“; а подъ 27 декабря *Дневника* Погодина мы читаемъ: „Языковъ умеръ. Бѣдный! Къ покою-нику. Прочелъ книгу *Бытія*“.

На другой день Погодинъ „Читалъ *Исходъ* и писалъ о Борисѣ и Глѣбѣ. Какой богатый и разнообразный періодъ“, замѣчаетъ онъ въ *Дневникѣ*. „Что въ сравненіи съ нимъ прочее. Думалъ о смерти Языкова. Былъ, и нѣтъ его. Такъ и всѣ мы. Набросалъ объ немъ“. Землякъ Языкова М. А. Дмитріевъ, въ послѣдній день 1846 года, писалъ Погодину. „А Языковъ не дождался новаго года! Богъ знаетъ кому лучше, тѣмъ ли, кто уже дождался, или кто не дождался! Жаль мнѣ его! Вѣчная ему правда какъ человѣку, и вѣчная ему память какъ поэту“<sup>383</sup>).

Обливаясь слезами, Погодинъ писалъ: „И Языкова нашего не стало! 26 декабря, въ 6 часу вечера, испустилъ онъ послѣдній вздохъ свой, не примѣченный никѣмъ; окружавшіе думали, что онъ только уснулъ. Такъ тихо и мирно прекратилась эта простая, чистая, младенческая жизнь, изъ временъ патриархальныхъ случайно разцвѣтшая среди нашей тревоги, суеты и нестроения. Мы знали, что онъ не жилецъ на землѣ, что жестокая, закоренѣлая болѣзнь всякую минуту грозитъ ему опасностію; но все намъ не хотѣлось вѣрить, чтобъ онъ разстался съ нами такъ скоро! Блѣдный, согбенный, изнемо-

женный, съ тусклыми взорами, со впалыми щеками, съ поникшей головою, онъ все еще, казалось намъ, могъ прожить дольше...

„А помните ли вы Языкова въ блистательное его время, въ тридцатыхъ годахъ...

„И все прошло, все миновалось. О, какъ кстати напомнилъ намъ недавно Проповѣдникъ, одинъ изъ остающихся у насъ дорогихъ людей, слова Пророка: *Всякая плоть сѣно, и всякая слава человѣка, яко цвѣтъ травный. Изсѣе трава и цвѣтъ отпаде, глаголю же Бога нашего пребываетъ во-вѣки.* Къ этому-то глаголу, въ послѣдніе годы своей жизни, любилъ обращаться Языковъ, читалъ часто *Библію* и передавалъ ея святыя истины въ стихахъ, напоминавшихъ его лучшее время.

„Когда его упрекали, зачѣмъ онъ не пишетъ больше, некогда—отвѣчалъ онъ, надо думать о смерти. За два дня до кончины, среди горячки, въ ясную минуту возвратившагося сознанія, вдругъ обратился онъ къ людямъ, стоявшимъ около его смертнаго одра и спросилъ твердымъ голосомъ, *вѣруютъ ли они воскресенію мертвыхъ?* Ночью, въ бреду уже, поднимался онъ и рвался безпрестанно къ образу.

„Одно только чувство оживляло его—въ тяжкіе послѣдніе его годы. Это любовь къ Отечеству. Отечество, Святую Русь, любилъ онъ всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душою своею и всею мыслию своею. Всякій трудъ, въ славу его совершенный, всякое открытіе, обѣщавшее какую-нибудь пользу, всякое извѣстіе, которое возбуждало надежду того или другого рода, принималъ онъ къ сердцу и радовался какъ ребенокъ. Характеръ Русскаго народа уважалъ онъ больше всего; Русскій умъ, во всѣхъ его проявленіяхъ, Русскій толкъ, превосходство предъ другими народами въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ — составляли его единственную гордость. Ничѣмъ нельзя было принести ему столько удовольствія, даже во время его болѣзни, какъ разказами о нашихъ крестьянахъ, солдатахъ, матросахъ. Онъ развеселялся, зажимивалъ глаза, хохоталъ,

и наконецъ махалъ руками въ знакъ того, чтобъ дали ему отдохнуть.

„Съ такимъ духомъ ему, разумѣется, были противны нѣкоторые новые толки о Русской жизни, о Русской Исторіи, появившіеся въ Петербургскихъ журналахъ и нашедшіе нѣсколько отголосковъ въ Москвѣ. Чуть только болѣзнь ему отпускала нѣсколько, онъ хватался за свой грозный лукъ, натягивалъ тугую тетиву, налагалъ каленую стрѣлу и пускалъ, но не прицѣливаясь. Нѣтъ — гнѣвъ его былъ отвлеченный, безличныи, и напрасно сердились на него нѣкоторые.

„Что сказать о жизни Языкова? Біографія его вся сполна въ его стихотвореніяхъ. Родился онъ на Волгѣ, около Симбирска, въ восемьсотъ первыхъ годахъ. Учился сперва въ Горномъ Корпусѣ, а потомъ въ Дерптѣ. Тамъ собрался было онъ сдѣлаться камералистомъ, но музы увлекли его въ сторону совершенно противоположную.

„Молодость его прошла шумно и радостно; особенно любилъ онъ веселиться по вечерамъ, въ кругу друзей; во все прочее время велъ жизнь самую уединенную.

„Недалеко отъ Дерпта, въ Псковской деревнѣ долженъ былъ тогда поселиться Пушкинъ. Поэты сошлись и провели вмѣстѣ много прекрасныхъ часовъ, подарили намъ много прекрасныхъ стиховъ.

„Изъ Дерпта переѣхалъ онъ въ Москву, въ тридцатыхъ годахъ, какъ я сказалъ выше, отложивъ уже всѣ житейскія попеченія: здѣсь занялся онъ Русской Исторіей и Русскимъ языкомъ, читалъ и пѣлъ, читалъ и пѣлъ, принимая впрочемъ живѣйшее участіе во всѣхъ литературныхъ происшествіяхъ.

„Въ Москвѣ онъ занемогъ и уѣхалъ къ себѣ въ деревню на родину наслаждаться *тишиною*, которую онъ любилъ болѣе всего на свѣтѣ. „Я теперь нахожусь“, такъ писалъ онъ однажды оттуда ко мнѣ: „въ Армининныхъ садахъ, тишина возлюбленная, уединеніе сладостнѣйшее, приволье въ высочайшей, прекраснѣйшей степени—все есть у меня, и я дѣйствую. Жди отъ меня чего-нибудь большого, если не великаго...“

„Но болѣзнь не покидала его и заставила наконецъ искать помощи на водахъ въ чужихъ краяхъ. Скрѣпя сердце, уступая совершенно необходимости и требованію родныхъ и друзей, оставилъ онъ Отечество. Прожилъ лѣтъ пять въ Ганау, Ниццѣ, на озерѣ Комо, но душа его была въ Россіи, и онъ выражалъ свою грусть, свою скуку, свою тоску по отчизнѣ въ прекрасныхъ элегіяхъ, печатанныхъ въ *Москвитянинѣ*. Наконецъ терпѣнія его неостало: не съ исцѣленною, а съ задержанной болѣзнію воротился онъ въ Москву и отдался попеченіямъ своего Дерптскаго товарища профессора Иноземцова, который поддерживалъ его въ продолженіе четырехъ лѣтъ, и онъ, по временамъ чувствуя себя хорошо, писалъ еще стихи, стоившіе ему однакожъ очень дорого, потрясавшіе весь организмъ его. Священное Писаніе, Русская Исторія и старыя любезныя знакомства были предметами этихъ лебединыхъ пѣсней, въ которыхъ надо удивляться иногда силѣ юношества, соединенной съ зрѣлостью мужества. *Землетрясеніе*, *Самсонъ*, *На открытіе памятника Карамзину*, принадлежать къ лучшимъ его стихотвореніямъ.

„Въ половинѣ декабря въ постоянной болѣзни его присоединилась горячка. Первые признаки казались всѣмъ ничтожными, но Языковъ былъ увѣренъ, что умретъ, и съ самаго начала хотѣлъ исполнить христіанскій долгъ. Горячка усилилась, часто впадалъ онъ въ безпамятство, и на тринадцатый день скончался. Пришелъ однажды въ себя, дня за два до смерти, заказалъ онъ повару обѣдъ ко дню своихъ похоронъ, назначилъ самъ всѣ блюда и вина, приказалъ пригласить всѣхъ своихъ друзей и знакомыхъ.

„Отпѣваніе тѣла было 30 декабря въ церкви Благовѣщенія на Тверской. Приходскій священникъ, магистръ Ефимьевскій сказалъ слово, простое и приличное, мѣстами очень трогательное и назидательное.

„Погребенъ Языковъ въ Даниловѣ монастырѣ, подлѣ племянника своего, молодого Валуева, котораго мы лишились въ прошломъ году, близъ Венелина.

„Имя Языкова останется навсегда украшеніемъ Русской Словесности. Нелѣпны толки объ его стихотвореніяхъ, распространенныя въ послѣднее время людьми пристрастными и легкомысленными, позабудутся скоро, и *златокованный* стихъ его, которому завидовалъ Пушкинъ, который уважаетъ высоко Жуковский, возгремитъ еще громче, заблестаетъ еще ярче, чѣмъ прежде, въ наслажденію и гордости всѣхъ истинныхъ друзей Русской Словесности“ <sup>384</sup>).

Прочитавъ эту статью, И. В. Кирѣевскій писалъ Погодину: „Статья твоя объ Языковѣ мнѣ очень по сердцу“.

Шевыревъ также почтилъ память Языкова прекрасною статьею и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ желалъ посвятить ему первую свою публичную лекцію; но въ этомъ онъ встрѣтилъ неожиданное препятствіе. „Не могу не передать тебѣ“, писалъ онъ Погодину, — „того горькаго, стѣсненнаго чувства, которое я испыталъ сегодня у Строганова. Пріѣзжаю къ нему просить позволенія посвятить мою первую лекцію при возобновленіи курса памяти Языкова и разбору его стихотвореній. *Нельзя, это будетъ неумѣстно*. Умеръ поэтъ, котораго оплакивать будутъ Жуковский и Вяземскій, котораго цѣнилъ Пушкинъ. Я, какъ профессоръ Словесности, прошу васъ о томъ, чтобы вы мнѣ позволили сказать публично о заслугахъ литературныхъ этого человѣка. *Умеръ—ну такъ его и похоронили. Я не могу этого позволить. Это будетъ précédents*. *Послѣ этого пойдутъ рычи и панегирики въ Университетъ. Этого никогда не бывало. — Нѣтъ, прежде всегда бывало. Это наша обязанность. — Я нахожу это неприличнымъ. Къ тому же послѣднія шесть лѣтъ онъ былъ въ оппозиціи. — Графъ, я не понимаю этого слова въ Россіи. Его не должно быть, какъ нѣтъ и понятія. — Помилуйте, я запрещаю самъ его стихи. — Какіе? На памятникъ Карамзину. — Напечатаны. Нѣтъ, не объ тѣхъ, а другіе. Словомъ, я не желаю этого. — Какъ угодно вашему сіятельству. — Поклонъ да и вонъ. Не могу быть спокойнымъ. Такъ мнѣ сталъ онъ тяжелъ. Пусть*

эта записочка сохранится у тебя въ томъ грозномъ доносѣ, который ты пишешь на нашего усача потомству“ <sup>385</sup>).

Кончина Языкова потрясла И. В. Кирѣвскаго. Сохранились два письма его къ матери, въ одномъ изъ нихъ мы читаемъ: „Бѣдный Языкушко очень боленъ. Кажется, послѣ такихъ безпрестанныхъ пятнадцатилѣтнихъ страданій... мудрено повѣрить Иноземцову, который видитъ надежду выздоровленія. Иногда думаю, что не эгоизмъ ли это съ нашей стороны—желать ему продолженія страданій,—ему, котораго чистая, добрая, готовая къ небу душа, утомленная здѣсь, вѣрующая, жаждущая другой жизни, не можетъ не найти тамъ тѣхъ радостей, которыхъ ожидаетъ. Здѣсь ему буря и непогоды, за которой онъ давно предчувствовалъ, что есть блаженная страна. Впрочемъ, все во власти Того, Кто лучше насъ знаетъ, что лучше. Потому я не прошу у Него ни того, ни другого, а только чтобы умѣть просить Его Святой воли“. Въ другомъ письмѣ Кирѣвскій пишетъ: „У насъ горе: бѣдный Языкушко боленъ... За Хомяковымъ я послалъ эстафету... Бредить стихами... и что-то поеть... Онъ исповѣдывался и приобщался, былъ въ чистой памяти, распорядился всѣми своими дѣлами. Онъ потребовалъ священника въ 4-мъ часу утра, не смотря на то, что Иноземцовъ увѣрялъ его, что болѣзнь не опасна... Языковъ съ твердостью настоялъ на своемъ желаніи, говоря, что это лекарство лучше всѣхъ, и что оно одно ему осталось... Онъ перешелъ въ другую жизнь свѣтлую, достойную его свѣтлой, доброй души. Нѣтъ сомнѣнія, что если кому-либо изъ смертныхъ суждено тамъ славить величіе и красоту и благодать Господа, то вѣрно изъ первыхъ ему... Лицо Языкушки свѣтло и спокойно, хотя носить печать прежнихъ долгихъ страданій, залогъ будущихъ теперь наступившихъ утѣшеній. На канунѣ кончины онъ собралъ вокругъ себя всѣхъ живущихъ у него, и у каждаго по одиночѣй спрашивалъ, *отвратъ ли они воскресенію души?* Когда видѣлъ, что они молчатъ, то просилъ ихъ достать какую-то книгу, которая совсѣмъ *перемѣнитъ* ихъ образъ мыслей,—но они забыли названіе этой книги! Обстоя-



тельство крайне замѣчательное... Очевидное и поразительное доказательство таинственнаго Божіаго смотрѣнія о спасеніи и руководствѣ душъ человѣческихъ“. Брату своему Петру Кирѣевскій писалъ: „Послѣднія минуты Языкова были святы, прекрасны и тихи. Хомяковъ пріѣзжалъ на нѣсколько часовъ, и, похоронивъ Языкова, тотчасъ отправился къ женѣ въ деревню, потому что она больна. Тутъ я видѣлъ въ первый разъ, что Хомяковъ плачетъ; онъ перемѣнился и похудѣлъ, какъ будто бы всталъ изъ длинной болѣзни“<sup>386</sup>).

Слабый организмъ И. В. Кирѣевскаго не вынесъ постигшихъ его нравственныхъ потрясеній, и онъ опасно занемогъ. Въ *Дневникъ* Погодина мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 5 мая 1847. „Къ Кирѣевскому, который отчаянно занемогъ.

— 7 — —. „У Кирѣевскаго. Безъ надежды. Боже мой! Еще гробъ, еще плачь!“

Но болѣзнь эта была не къ смерти, а къ жизни. Вскорѣ послѣ отчаянныхъ записей Погодинъ получаетъ отъ П. В. Кирѣевскаго слѣдующее утѣшительное извѣстіе: „Брату Ивану Васильевичу, слава Богу, теперь много лучше, Натальѣ Петровнѣ также. Они всякій день по два раза ѣздятъ кататься, и еслибы разстояніе было хоть немножко поменьше, то вѣрно бы къ вамъ заѣхали; но куда еще слишкомъ слабъ, чтобы отважиться на далекое путешествіе. Что до меня касается, то я надѣюсь быть у васъ прежде отъѣзда“.

Гоголь, ничего не зная не только о кончинѣ, но даже и о предсмертной болѣзни Языкова, писалъ ему изъ Неаполя (отъ 20 января 1847 г.): „Я давно уже не имѣю отъ тебя писемъ. Ты меня совсѣмъ позабылъ... Если у тебя окажется побужденіе къ благотворенію, которое ты, по добротѣ своей, оказывалъ мнѣ доселѣ, то вотъ тебѣ и просьба: пришли мнѣ въ Неаполь слѣдующія книги: во первыхъ, Лѣтопись Нестора, изданную Археографическою Коммиссіею, въ pendant къ ней *Выходы Царей*; во вторыхъ, *Народные Праздники* Снегирева и, въ pendant къ нимъ, *Русскіе въ своихъ пословицахъ*, его

же. Эти книги мнѣ теперь весьма нужны, дабы окунуться покрѣпче въ коренной Русскій духъ. Но прощай; обнимаю тебя. Пожалуйста не забывай меня письмами“. Легко представить себѣ горе Гоголя, когда изъ письма Шевырева узналъ онъ, что Языкова нѣтъ уже въ числѣ живыхъ. Тогда сердечную скорбь свою онъ излилъ предъ Жуковскимъ: „И Языкова уже нѣтъ! Небесная родина наша наполняется ежеминутно болѣе и болѣе близкими нашему сердцу и тѣмъ какъ бы становится намъ желаннѣй и драгоцѣннѣй. Братъ мой прекрасный, отнынѣ мы должны быть еще ближе другъ другу и, живя на землѣ, глядѣть такъ другъ на друга, какъ бы встрѣтившіеся въ дому небеснаго Родителя нашего брата“ <sup>387</sup>).

„Смерью Языкова“, повѣствуетъ князь П. А. Вяземскій, „Русская Поэзія понесла чувствительный и незабвенный уронъ. Въ немъ угасла послѣдняя звѣзда Пушкинскаго созвѣздія; съ нимъ навсегда умолкли послѣдніе отголоски Пушкинской лиры. Пушкинъ, Дельвигъ, Баратынскій, Языковъ, не только современностью, но и поэтическимъ соотношеніемъ, какимъ-то семейнымъ общимъ выраженіемъ образуютъ у насъ нераздѣльное явленіе. Ими... замыкается постепенное развитіе Поэзіи нашей, означенное первоначально именами: Ломоносова, Петрова, Державина, послѣ Карамзина и Дмитріева, позднѣе Жуковскаго и Батюшкова. Въ сихъ именахъ сосредоточивается отличительное выраженіе Поэзіи Русской, это ея краеугольныя, заглавныя, родоначальныя имена... Опредѣливъ такимъ образомъ мѣсто Языкова, мы достаточно оцѣнили значеніе, которое принадлежитъ ему, и важность утраты, понесенную нами преждевременною кончиною его. Эта потеря тѣмъ для насъ чувствительнѣе, что мы должны оплакивать въ Языковѣ не только поэта, котораго уже имѣли, но еще болѣе поэта, котораго онъ намъ общалъ. Дарованіе его въ послѣднее время замѣчательно созрѣло, прояснилось, уравновѣсилось и возмужало... Провидѣніе судило ему воспрянуть изъ недуга и страданія, внезапно постигнувшихъ юношу. Муза его на нѣсколько лѣтъ умолкла и вышла изъ этого

искуса молчальнаго перерожденная и окрѣпшая... Многосложная, неуступчивая, изнурительная болѣзнь вдругъ вызываетъ жизнь его на подвигъ долготерпѣнія и страданія... Врачи... отправляютъ Языкова за границу. И бѣдный нашъ поэтъ покидаетъ домашній кровъ и вступаетъ въ обширный Божій міръ не Чайльдъ-Гарольдомъ... Нѣтъ, его просто отправляютъ за границу... какъ въ общественную лечебницу... Въ 1838 году встрѣтился я съ Языковымъ въ Ганау, Я зналъ его въ Москвѣ полнымъ, румянымъ... Тутъ ужаснулся я перемѣнѣ, которую нашелъ. Передо мною былъ старикъ согбенный, изсохшій... Тѣло изнемогало подъ бременемъ страданій, но духомъ былъ онъ покоренъ и бодръ, хотя и скупчалъ. Чистая, кровная Словенская порода его не могла ужиться въ Нѣмечинѣ. Мало прислушиваясь къ движенію Нѣмецкой и западной умственной дѣятельности, онъ въ Германіи окруженъ былъ Русскими книгами, жилъ Русскою жизнію, которую носилъ въ груди своей, въ чувствахъ и помысленіяхъ... Языковъ былъ влюбленъ въ Россію... Когда онъ говоритъ о ней, слово его возгорается, становится огнедышащимъ, и потому глубоко и горячо отзывается оно въ душѣ каждаго изъ насъ. Тѣ же, которые не сочувствуютъ искреннему выраженію страсти его, изъ опасенія уронить тѣмъ свою независимость и возвышенность умозрѣнія, доказываютъ, что они уклоняются отъ народнаго, потому что превратно и ограниченно понимаютъ общечеловѣческое" <sup>388</sup>).

Въ послѣдній день 1846 года Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Что сдѣлалъ въ семь году? Написалъ *Къ Юношѣ*, три статьи о Карамзинѣ, и еще нѣсколько. Кончилъ печатаніе *Изслѣдованій* только къ іюлю мѣсяцу. Четыре мѣсяца въ путешествіи. Написалъ первый періодъ начерно про Ярослава. Господи! Покажи мнѣ путь! Лиличка цѣлую тебя! Напишу ли я *Исторію*? Ужасное поле передо мною! Хоть бы немного мнѣ пройти его“.

---

## LIX.

Въ 1847 году Москва праздновала свое семисотлѣтіе.

Предваряя это торжество, Погодинъ во всеуслышаніе заявляетъ въ *Москвитянинъ*: „У насъ начали было говорить о національности. Я думалъ, что это значить предвѣщаетъ что-нибудь. — Нѣтъ, это ничего не значить. Національность попалась случайно на языкъ, и больше ничего. А теперь почти и не слышно объ ней, развѣ изрѣдка раздается въ томъ или другомъ углу голосъ, робкой и тихій! Ну, скажите по совѣсти, спрошу я, кто искренно заботится о національности, и въ чемъ поставляется національность? О не призывайте же хоть имени ея всуе, добрые люди!

„Съ такою-то любовію къ національности мы позабыли пятисотлѣтіе Москвы, какъ столицы, которое исполнилось въ 1828 году. Нынѣ—*Москвитянинъ*, для очищенія своей совѣсти, долгомъ предоставляетъ предупредить, что въ слѣдующемъ 1847 году, марта 28 дня, исполнится семьсотъ лѣтъ Москвѣ со времени перваго извѣстія объ ней въ лѣтописяхъ; примѣчательно, что это число придется въ пятницу на Святой недѣлѣ, когда въ Дѣвичьемъ монастырѣ празднуется Живоносному Источнику.

„Въ чужихъ краяхъ, на Западѣ, которому въ этомъ отношеніи подражать должно, такіе дни торжествуются великолѣпно. Лѣтъ за десять они повѣщаются во всеобщее свѣдѣніе, и повсюду начинаются приготовленія, Такъ, напримѣръ, въ нынѣшнемъ 1846 году, Пражскому Университету, древнѣйшему, какъ говорятъ, въ Германіи (хотя онъ принадлежитъ первоначально Словенамъ), исполнится пятьсотъ лѣтъ, а уже давно объявлена программа разныхъ сочиненій, и во всѣхъ концахъ Германіи начались работы для великаго дня.

„Мы изъяснимъ по крайней мѣрѣ желанія:

„Чтобъ окончено было описаніе Памятниковъ Московской Древности, *Снегирева*.

„Чтобъ *Бяляевъ* могъ напечатать къ тому времени Историю Москвы какъ города.

„Чтобъ кто-нибудь взялся написать Историю Москвы, какъ Россіи, и опредѣлить ея значеніе въ Исторіи и въ настоящей жизни Государства.

„Чтобъ *Поссемицъ* кончилъ свое обзорѣніе Москвы въ учебномъ отношеніи.

„Чтобъ кто-нибудь представилъ Москву въ филантропическомъ отношеніи.

„Мануфактурномъ—за это дѣло давно взялся *Гамель*.

„Торговомъ.

„Полицейскомъ

„Медицинскомъ.

„Геологическомъ, что принадлежитъ *Руме*.

„Нужна общая Статистическая записка, въ родѣ прекраснаго сочиненія *Андросова*.

„Нужно описаніе Московскихъ монастырей, какъ началъ *Иванчинъ-Писаревъ*.

„Нужно возобновить описаніе Московскихъ церквей.

„Нужно описаніе крестныхъ ходовъ и всѣхъ особенныхъ празднествъ, отправляемыхъ по мѣстамъ.

„Хорошо бы издать Житія Московскихъ Святыхъ, по древнимъ спискамъ, которые у меня собраны.

„Нужна Исторія Московской Духовной Академіи, которою занимается *Горскій*.

„Нужна Исторія Московскаго Университета.

„Почтамта.

„Воспитательнаго дома.

„Англійскаго клуба.

„Театра.

„Обзорѣніе библиотекъ.

„Никто не писалъ еще о Московскомъ нарѣчій.

„Юмористы взгляни пожалуй на Московскіе нравы въ разныхъ сословіяхъ, а можно бы написать что-нибудь объ нихъ и безъ шутокъ. О Московскихъ гуляньяхъ.

„Кстати было бы извѣстіе о Московскихъ ученыхъ, литераторахъ, художникахъ.

„Хорошо, еслибы къ тому времени успѣло обзорѣніе градоначальствованія князя Д. В. Голицына.

„Художники могутъ принять также дѣятельное участіе въ прославленіи Москвы — собрать ея виды, изобразить памятники, представить портреты знаменитыхъ Москвитянъ.

„Будетъ ли что-нибудь изъ этого? Едва ли — мы поговоримъ теперь, покричимъ, еще съ большимъ удовольствіемъ поспоримъ, а дѣло сдѣлать — не успѣемъ. Если же и выйдетъ что-нибудь, то развѣ черезъ годъ, два, или даже заранѣе, но никакъ къ назначенному сроку. И вотъ тогда-то явимся съ замѣчаніями, съ возраженіями, опроверженіями, пожалуй, хоть съ бранью и ругательствами.

„Желаемъ отъ сердца, чтобъ непріятное наше предсказаніе не исполнилось.

„Но можно ли все это приготовить?

„Нельзя, скажутъ люди, которые во всемъ сами ищутъ препятствій и видятъ только невозможности. А я спрошу: почему жъ нельзя? Для главныхъ работъ ученые указаны, и имена ихъ ручаются за успѣхъ. Для прочихъ найдутся, если будетъ вызовъ, ободреніе, вниманіе, вспоможеніе, — но ихъ-то у насъ часто и недостаетъ!“ <sup>389</sup>).

Вслѣдъ за Погодинымъ и К. С. Аксаковъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ о Семисотлѣтіи Москвы*, въ которой отдается преимущество Москвѣ, какъ столицѣ, передъ Петербургомъ. „До Петра Великаго“, пишетъ онъ, — „существовала въ Москвѣ такая переключка стрѣльцовъ, когда вечеромъ запирались ворота Кремлевскія; близъ собора Успенскаго часовый стражъ первый начинаетъ протяжно и громко, какъ бы на распѣвъ, возглашать: *Пресвятая Богородица, спаси насъ!* За нимъ второй въ ближнемъ притинѣ возглашаетъ: *Святые Московскіе Чудотворцы, молитесь Бога о насъ!* потомъ третій: *Святой Николай чудотворецъ, моли Бога о насъ!* потомъ четвертый: *Всѣ Святые, молитесь Бога*

о насъ! пятый: *Славенъ городъ Москва!* шестой: *Славенъ городъ Киевъ!* седьмой: *Славенъ городъ Владиміръ!* восьмой: *Славенъ городъ Суздаль!* и такъ поименуютъ: Ростовъ, Ярославль, Смоленскъ и пр. Въ этой переключкѣ“, замѣчаетъ далѣе Аксаковъ, — „раздается голосъ Русской земли... Въ этомъ не придуманномъ народномъ голосѣ слышишь, что царствующій градъ Москва помнила всѣ города Русскіе, всю Русскую землю. Таково значеніе Москвы, такова она истинная столица Святой Руси... Да здравствуетъ Москва!“ <sup>390</sup>). Статья эта подверглась неодобренію тогдашней цензуры, которая нашла въ ней „правила несообразныя съ монархическимъ образомъ правленія“ <sup>391</sup>).

Между тѣмъ въ концѣ 1846 года Военный Министръ увѣдомилъ Московскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, что Государь Императоръ Высочайше повелѣтъ соизволилъ празднованіе семисотлѣтія Москвы отнести къ 1 января 1847 г., какъ къ первому дню наступающаго восьмага столѣтія со времени историческаго значенія сей столицы, и празднованіе сіе ограничить, по случаю зимняго времени, торжественною рѣчью, молебствіемъ въ Соборѣ и иллюминаціею города“ <sup>392</sup>).

„Наши хронологи“, писалъ князь М. А. Оболенскій В. А. Полѣнову, — „давно старались опредѣлить мѣсяцъ и число этого событія; но оттого, что не согласились во времени начала историческаго существованія нашей столицы, Государь Императоръ повелѣтъ соизволилъ праздновать наступленіе осьмага столѣтія Москвы 1-го января 1847 года“ <sup>393</sup>).

За нѣсколько дней до новаго года (26 декабря 1846 г.) Шевыревъ писалъ Погодину: „1-го января будутъ праздновать церковно семисотлѣтіе Москвы. Въ Чудовѣ Митрополитъ скажетъ слово. Пріѣзжай. На площади или въ Соборѣ прочтутъ рескриптъ Государя, котораго содержаніе еще неизвѣстно. Говорятъ о новыхъ правахъ городу. Стало Правительство признаетъ мысль и начинается. Теперь слѣдовало бы городу, Университету, Литературѣ“. Но слухи, дошедшіе до Шевырева, оказались невѣрными.

Въ самый день торжества Божественную Литургію въ Чудовомъ монастырѣ совершалъ митрополитъ Филаретъ и послѣ молебна Владыка произнесъ молитву, имъ написанную:

„...Царствующій градъ сей не мѣсяца только и лѣта начало предъ собою нынѣ зрѣть,... но, седьмъ протекшихъ надъ нимъ вѣковъ помянувъ, судьбамъ твоимъ чудится, и въ помышленіи о судьбахъ осьмага своего вѣка, предъ лицемъ Твоимъ, Царю вѣковъ, благоговѣть... Славимъ твое благодатное избраніе... яко малую нѣкогда весь во градъ велій возрастилъ еси;... и прославитися Тебѣ въ немъ угодникомъ Твоимъ святителемъ Петромъ предвозвѣстилъ еси, таже и... престолъ Православія здѣ утвердилъ еси, и корень Единодержавія Всероссійскаго здѣ посадилъ еси... и угасшему свѣтильнику царскаго рода отселѣ съ... свѣтлостію возсіати даровалъ еси, и Святымъ Твоимъ здѣ пожити и во благоуханіи Святыни почити благоволилъ еси, ихже молитвами... отъ напастей ограждалъ еси градъ сей... и во дни наши, мнѣвшійся погибнути, отъ пепела и разрушенія еси возставилъ... Отче щедротъ и Господи милости!.. Благослови вѣнецъ... седьми вѣковъ, иже на версѣ царствующаго сего града, и во осмѣмъ да не увядаетъ. Обнови и умножи благословенія Твои на превознесенномъ Тобою рабѣ Твоемъ Благочестивѣйшемъ Самодержавнѣйшемъ Великомъ Государѣ нашемъ Императорѣ Николаѣ Павловичѣ, и на державномъ его родѣ... Сохрани Церковь Твою святую непоколеблему... и никоеже дерзновенное своемудріе человѣческое да не прикоснется кивоту Божію. Реки, Господи, миръ на люди Твоя и на обращающія сердца къ Тебѣ... Даруй намъ благодать и благую ревность, да Твоего вѣчнаго царствія и правды его, прежде и паче всего, ищемъ, яко да и благая временному житію потребная вся приложится намъ“ <sup>394</sup>).

Въ тотъ же день М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: „Вотъ вамъ и торжество семисотлѣтія, Михайлъ Петровичъ! А? Каково? Были ли вы на иллюминаціи? Я, натурально, по болѣзни моей, не былъ, но слышалъ! Мы, въ воображеніи



нашемъ, чего ни ожидали, чего ни придумывали къ этому торжеству? Вспомните, что вы предлагали, за годъ или за два, въ *Москвитянинъ*: и исторію Москвы, и проч., и проч.; а сдѣлалось очень просто; да еще этимъ и впередъ всѣмъ патріотамъ ротъ затыкнули: теперь ужъ нельзя ничего ни пожелать, ни предполагать: торжество было; все кончено! Да приѣзжайте хоть душу отвести: на меня это полицейское торжество грусть наводитъ! Хорошо, что вы куда живете съ Святославомъ да княземъ Владиміромъ; а мы въ Москвѣ современной. Чего бы нельзя придумать. Напримѣръ, хоть самыя простыя и короткія историческія надписи, да чтобы они указывали на мѣста историческія, или просто на древность мѣста. Какъ-то: на Чистыхъ Прудахъ—здѣсь за семьсотъ лѣтъ былъ домъ боярина Кучко; въ Кремлѣ—здѣсь былъ боръ, и оттого церковь Спаса зовемъ Спасъ на Бору; на Арбатѣ—Арбатъ былъ извѣстенъ подъ симъ именемъ въ XV вѣкѣ, или существуетъ уже четыреста лѣтъ, и проч. и проч. Представьте, что люди простого народа узнали бы все это, можетъ быть, списали бы, запомнили наизусть и, пришедши домой, толковали объ этомъ? Говорили бы: вотъ что наша Москва! Можно бы однимъ вечеромъ открыть Исторію Москвы и безграмотнымъ. Въмѣсто этого на Кремлевской стѣнѣ были какія-то видны слова, да плошки или стаканчики, одни не зажглись, другіе погасли, и что за надпись—прочитать было нельзя. На монументѣ Пожарскаго, говорить, плошки, освѣщавшіе пьедесталъ, горѣли; но отъ самаго этого свѣта не видать было вверху Пожарскаго и Минина. Такъ ли? Всего приличнѣе было сдѣлать трехдневное торжество, начавъ его именно 28 марта, которое приходится въ пятницу на Святой недѣлѣ, когда и безъ того бываетъ гулянье и собраніе народа. Въ первый день пусть было бы торжество церковное и иллюминація; на другой день торжество ученое—въ Университетѣ и балъ у Генералъ-Губернатора, и опять иллюминація; на третій день торжество народное—и были жареные на площадяхъ и фонтаны, а вечеромъ балъ въ Бла-

городномъ собраніи для дворянства и купечества и иллюминаціи. А съ перваго дня объявлена бы была продажа всѣхъ книгъ, напечатанныхъ къ этому дню о Москвѣ! Да мало ли что можно бы придумать; а Москва этого стоитъ! Какъ Рас-топчинъ говорилъ съ народомъ? Я помню въ 1813 году, во время иллюминаціи — одна картина, на которой было — орелъ щиплетъ пѣтуха — одна эта картина приводила въ восторгъ цѣлыя толпы народа! Что узналъ теперь народъ изъ этой иллюминаціи? Ровно ничего: только, что на новый годъ была она больше и лучше прежнихъ. Этимъ не вспомннули торжества семисотлѣтія, а заставили забыть его, или объ немъ не думать, сливши его съ новымъ годомъ! Можетъ быть, этого и хотѣли! Однако въ народѣ таки-было слышно: *семь сотъ лѣтъ Москвы!* Это утѣшительно, что хоть эти слова онъ выговаривалъ! Что-то будетъ объ этомъ торжествѣ въ новомъ *Московскомъ Листкѣ*. Но вы въ *Москвитянинѣ*, который долженъ выйти въ апрѣлѣ, неужели не напишите попространнѣе по случаю 28 марта? Любезнѣйшій Михаилъ Петровичъ! Тѣ чувства любви къ Отечеству и къ Москвѣ, которыя знаю въ васъ, которыя сознаю въ себѣ, — будемте беречь ихъ про себя какъ святыню, и каждый на своемъ поприщѣ выражать ихъ по своей возможности и по своимъ силамъ, и словомъ и дѣломъ: словомъ — какой кому Богъ далъ талантъ, а дѣломъ — вы въ Исторіи; а я хоть службой. И обоимъ въ обоихъ случаяхъ — по словамъ Державина: *стоятъ и правду говорятъ*“ <sup>395</sup>).

Съ своей стороны Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Семисотлѣтіе празднуется очень слабо“ <sup>396</sup>). Этотъ день Погодинъ провелъ съ С. Д. Нечаевымъ, который еще за день (30 декабря 1846 г.) писалъ ему: „Вы человѣкъ одинокій, какъ и я. Такъ не согласитесь ли вмѣстѣ со мною отпраздновать въ новый годъ семисотлѣтіе нашей матушки Москвы. У меня будетъ Вигель. Садемъ за столъ часа въ три“ <sup>397</sup>). Погодинъ воспользовался этимъ приглашеніемъ и за-

писалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Обѣдалъ у Нечаева!... Разговоръ съ нимъ всегда пріятный“<sup>398</sup>).

Не довольствуясь официальнымъ торжествомъ, Погодинъ съ своими друзьями задумалъ почтить настоящій, по ихъ мнѣнію, день семисотлѣтія Москвы, то-есть, 28 марта 1847 года: они не забыли, что первое извѣстіе о Москвѣ въ нашихъ лѣтописяхъ сопряжено съ обѣдомъ. „Въ мѣсто 6655 (1147) иде Гюрги \*) воевать Новгородской волости... а къ Святославу \*\*) присла Юрьи, повелѣ ему Смоленскую волость воевати... И приславъ Гюрги и рече: приди ко мнѣ, брате, въ *Москвою*, Святославъ же ѣха къ нему съ дѣтятемъ своимъ Олгомъ... Олегъ же ѣха напередъ къ Гюргеви, и да ему пардусъ. И пріѣхавъ по немъ отецъ его Святославъ, и тако любезно цѣловастася, въ день пяткъ, на похвалу святой Богородицы, и такъ быша весели. На утрій же день повелѣ Гюрги *устроити обѣдъ силенъ*, и сотворя честь велику имъ“. „Думалъ ли лѣтописецъ“, замѣчаетъ Погодинъ, — „занося случайно объ обѣдѣ въ свою лѣтопись, начертывая странное имя городка, съ сомнѣніемъ и колебаніемъ, думалъ ли лѣтописецъ, что этою строкой его будутъ дальніе потомки дорожить гораздо болѣе, чѣмъ подробнымъ и тщательнымъ описаніемъ всей междуусобной войны великаго князя Изяслава Мстиславича Киевскаго и его дяди Юрія Владиміровича Суздальскаго, съ ея сраженіями, побѣдами, нападеніями и переговорами, что всѣ онѣ почти позабудутся и пренебрегутся, а эта строка сдѣлается предметомъ глубокихъ размышленій, тщательныхъ изслѣдованій?“ Погодинъ и его друзья, вѣрные завѣту предковъ, положили отпраздновать день сей обѣдомъ же. Еще 23 марта Шевыревъ писалъ Погодину: „Въ пятницу, если буду здоровъ, къ обѣдѣ

\*) Великій князь *Георгій Владиміровичъ* Долгорукій, сынъ Владиміра Мономаха и отецъ в. кн. Андрея Георгіевича Боголюбскаго † 15 мая 1157 года въ Кіевѣ и погребенъ у св. Спаса.

\*\*) Князь *Святославъ Олговичъ*, сынъ знаменитаго Олега Святославича упоминаемаго въ *Словѣ о полку Игоревѣ*, внукъ в. кн. Святослава Ярославича (*Святославова Сборникъ*) и правнукъ Ярослава Мудраго-хромца, кнголюбца † 10 февраля 1164.

поѣду въ Дѣвичій монастырь, а оттуда къ тебѣ. Я хотѣлъ было предложить всѣмъ собраться у тебя отъ обѣдни и сдѣлать всѣмъ заказной обѣдъ въ твоёмъ домѣ. Надобно же 28 марта отобѣдать всѣмъ вмѣстѣ. Тебѣ обѣды давать не подъ силу, а то дай свой домъ. Если ты согласишь, то я повѣщу и сладимъ трапезу послѣ обѣдни, то-есть, ранній завтракъ". Отъ этого обѣда уклонился Д. Н. Свербеевъ и на канунѣ писалъ Погодину: „С. П. Шевыревъ сообщилъ мнѣ благосклонное приглашеніе ваше на завтрашній день. Весьма сожалѣю, что не могу имъ воспользоваться. Съ третьяго дня праздника я занемогъ и сижу дома". Но тѣмъ не менѣе обѣдъ состоялся, и Погодинъ подъ 28 марта 1847 года записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Былъ у меня обѣдъ очень пріятный: Шевыревъ, Хомяковъ, Кирѣевскій, Павловъ, Дмитріевъ, Косовичъ, Авсakovъ, Снегиревъ. Много споровъ и шутокъ".

На призывъ Погодина почтить семисотлѣтіе Москвы откликнулся только Н. В. Сущковъ и написалъ поему въ лицахъ и дѣйствіи въ пяти частяхъ, подъ заглавіемъ *Москва* \*), и въ предисловіи къ ней заявилъ: „Слѣдуя совѣту *Москвитянина*, который взывалъ къ ученымъ, писателямъ и художникамъ о приготовленіи на такой юбилей возможныхъ произведеній, вздумалось мнѣ принести дань признательности Москвѣ, воспитавшей мое дѣтство въ при-университетскомъ Училищѣ, въ Училищѣ, которое дало Государству столько образованныхъ сановниковъ, полководцевъ, писателей, ученыхъ, сельскихъ хозяевъ: вскормило нравственно-духовнымъ млекомъ три-четыре поколѣнія; развило вполне высокое чувство благоговѣйной любви къ Отечеству въ дѣтахъ кореннаго Дворянства, ставшихся со всѣхъ концовъ Россіи къ источнику просвѣщенія и государственныхъ доблестей—подъ отеческое руководство Антона Антоновича Антонскаго-Прокоповича. Счастливый старецъ считаетъ своихъ воспитанниковъ *покольными росписями*: дѣдъ, отецъ, внукъ, иногда можетъ случиться и правнукъ съ прадѣдомъ и всѣ изъ Московскаго Университетскаго

\*) М. 1847.

Благороднаго Пансіона, и всѣ съ его благословенія пустились, каждый по своему призванію, на свое поприще, на служеніе Отечеству: въ тишинѣ ли ученой хранины, въ шуму ли словесной дѣятельности и журнальныхъ войнъ, на скользкой ли аренѣ драматургіи, на бранномъ ли полѣ среди героевъ родныхъ, въ труженическихъ ли подвигахъ судьи и министра. Какой же даръ, лепту, принесу я на алтарь Отечества? Много мыслей заройлось въ головѣ моей, много чувствъ стѣснилось въ сердцѣ, много намѣреній загоралось и погасало въ душѣ. Наконецъ я рѣшился написать поэму въ лицахъ и дѣйствіи: *Москва...*“ Но эта поэма была поводомъ непріятнаго столкновенія между авторомъ и Ѳ. Н. Глинкою. Дѣло въ томъ, что почти одновременно съ поэмою и по тому же случаю Ѳ. Н. Глинка написалъ драматическую пьесу и поставилъ ее на сцену. О происшедшемъ между этими ветеранами Литературы *Дневникъ* Погодина свидѣтельствуетъ слѣдующее:

Подъ 8 февраля 1847: „Долженъ былъ заѣхать къ Сушкову, который обвиняетъ Глинку въ кражѣ его стиховъ и мыслей. Ахъ, какъ бы я радъ былъ запереться теперь въ деревнѣ“.

— 20 февраля: „Вечеромъ Дмитріевъ, который рассказывалъ о бунтѣ Сушкова: безумецъ вставляетъ даже мое имя, будто я пріѣзжалъ къ нему и сказывалъ о Глинкѣ. Чортъ ихъ возьми“.

Эта непріятная исторія скоро огласилась по Москвѣ и дошла до слуха Западниковъ, и уже 4 марта 1847 года Ботвинъ писалъ Краевскому: „Живемъ мы по милости Божіей и любимся на живыя картины, въ которыхъ Московскія барыни, вдохновясь Словенскою красотою Глинки и Дмитріева, представляютъ намъ въ шарадахъ мистическое и вселенское значеніе Москвы; но Словенскій міръ чуть было не сдѣлался зрителемъ трагическаго происшествія. Бывшій губернаторъ, а нынѣ поэтъ, Сушковъ, разъѣзжая всюду, объявлялъ и жаловался каждому, что Глинка укралъ у него мысли изъ его рукописной поэмы о *Москвѣ* и представилъ эти мысли на

сценѣ... Поэтъ ѣздилъ и къ Митрополиту, и къ Щербатову, и къ Строганову, и наконецъ просилъ одного Полиціймейстера распространить даже между купечествомъ, что мысли въ сценѣ Глинка принадлежать ему, Сушкову. Наконецъ онъ рѣшительно объявилъ, что хочетъ бить Глинку, этого щенка. Глинка принужденъ былъ обратиться къ Щербатову и просить у него защиты. Тотъ призвалъ къ себѣ Сушкова и уговорилъ дать ему слово, что онъ Глинку бить не будетъ" <sup>399</sup>).

---

## LX.

Въ первый день 1847 года пронеслась въ Петербургъ скорбная вѣсть о кончинѣ поэта Языкова, и въ тотъ же день появилась новая книга Гоголя. „По крайней мѣрѣ я,“ писалъ князь П. А. Вяземскій, — „въ этотъ день узналъ, что не стало Языкова, и прочелъ нѣсколько страницъ изъ *Переписки съ друзьями*, гдѣ, между прочимъ, начертана вѣрная оцѣнка дарованія Языкова. Эти строки обратились какъ бы въ надгробное слово о немъ... Это извѣстіе, это чтеніе, эти два событія слились во мнѣ во одно нераздѣльное чувство. Здѣсь настоящее открываетъ предъ нами новое будущее; тамъ оно навсегда замыкаетъ прошедшее, намъ милое и родное. Тамъ событіе совершившееся и высказавшее намъ свое послѣднее слово, поприще опустѣвшее и внезапно заглухшее непробуднымъ молчаніемъ. Здѣсь событіе возникающее, поприще, озаренное неожиданнымъ разсвѣтомъ. На немъ пробуждается новое движеніе, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаемъ, что, когда настанетъ время, симъ глаголамъ суждено слиться въ стройное и выразительное согласіе созрѣваго и полнаго убѣжденія“ <sup>400</sup>).

Мысль объ изданіи *Выбранныхъ мѣстъ изъ Переписки съ друзьями* явилась Гоголю еще въ началѣ 1845 года. Съ твердою вѣрою, что онъ дѣйствуетъ во имя Бога, во славу Его Святаго имени и на помощь людямъ страждущимъ, Го-

Гоголь взялъ перо и началъ составлять свою *нужную* и полезную книгу и она составлялась „среди леченій, среди разбѣдовъ, среди хлопотъ, дѣлъ, среди отвѣтовъ на множество самыхъ разнородныхъ писемъ“. Надъ этой книгой Гоголь трудился изъ всѣхъ силъ, „перечислялъ, передѣлывалъ, переписывалъ“, и наконецъ 30 іюля 1846 года „найвѣрнѣйшему другу“ Плетневу посылается „большая просьба“ или, вѣрнѣе, распоряженіе: „Всѣ свои дѣла въ сторону, и займись печатаніемъ этой книги, подъ названіемъ: *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*“ <sup>401</sup>). Но книга эта, по свидѣтельству князя П. А. Вяземскаго, была написана „не въ одинъ присѣсть. Не то, чтобы онъ легъ спать авторомъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, а проснулся авторомъ книги: *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*. Самое заглавіе изъясняетъ исторію книги, а письма съ означеніемъ годовъ, когда они были писаны, исторію внутренняго и постепеннаго перелома въ понятіяхъ человѣка. Уже за нѣсколько лѣтъ предъ симъ началось въ немъ духовное преображеніе. Объ этомъ знали только нѣкоторые пріятели, повѣренные его сердечныхъ исповѣдей. Для нихъ и появленіе книги Гоголя—совершеніе ожиданнаго событія. Но публика не была сообщницею въ этой тайнѣ, и вотъ что многихъ сердить, потому что мы не любимъ, когда насъ застаютъ въ распλοхъ“.

Въ то же время, по искреннѣйшему убѣжденію князя П. А. Вяземскаго, „книга Гоголя была нужна... На авторѣ лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно—разорвать съ частью своего прошлаго, то-есть, не столько своего собственнаго прошедшаго, сколько того, которое ему придали съ одной стороны безусловные и чрезмѣрные поклонники, а съ другой — многочисленныя и неудачныя подражатели. Я всегда былъ того мнѣнія, что Гоголь самъ по себѣ и самъ за себя дарованіе необыкновенное, что онъ занимаетъ свѣтлое и высокое мѣсто въ Литературѣ нашей; но вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ родоначальникъ школы, во что хотѣли возвести его, онъ былъ не только

не у мѣста, но даже вреденъ... Рано или поздно Гоголь долженъ былъ это почувствовать—опомниться... Нѣтъ сомнѣнія, что на крутой поворотъ его подѣйствовали не столько озлобленные противники, сколько бѣшеные приверженцы его. Чему могъ научиться онъ отъ хулителей своихъ? Ровно ничему... Забавно было видѣть, какъ они учили Гоголя свѣтской вѣжливости и утонченнымъ приемамъ своего избраннаго круга. Здѣсь встаетъ вспомнить то, что Пушкинъ давно уже сказалъ о нихъ: что за нѣжный и разборчивый языкъ должны употреблять господа сн съ дамами! Гдѣ бы, какъ бы послушать? То-то и бѣда, что нашему брату негдѣ... Но что сдѣлать не могли непріатели, то предоставлено друзьямъ... Идолопоклонство, котораго онъ сдѣлался цѣлью, показалось ему такъ смѣшно, что ему стало до нестерпимости грустно. Его хотѣли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то черное литературное знамя. На его душу и отвѣтственность обращали всѣ грѣхи, конии ознаменовались послѣдніе годы нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Всѣ эти лекторы и глашатаи, которые шли около него и за нимъ съ своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озаарили въ глазахъ его опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и отервенностью онъ тутъ же круто своротилъ съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ. Впрочемъ, что Гоголь попалъ въ руки шарлатановъ, это не мудрено. Но странно, что умные и добросовѣстные судіи едва ли не за одно съ ними сбились съ стези умѣренности и благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Каждый видѣлъ въ немъ то, что хотѣлось видѣть, а не то, что дѣйствительно есть. Что люди, провозглашающіе ученіе западныхъ началъ, искали въ Гоголѣ союзника и оправдателя себѣ, это еще понятно. Онъ былъ для нихъ живописецъ и обличитель народныхъ недостатковъ и недуговъ общественныхъ. Эти обличенія напоминали имъ болѣзненное, лихорадочное волненіе Французскихъ романистовъ.



Это было какое-то противодѣйствіе прежнимъ, кореннымъ литературнымъ началамъ. Они не понимали Гоголя, но по крайней мѣрѣ такъ могли въ свою пользу перетолковать созданія его. Но что тѣ, которые предохраняютъ насъ отъ вліянія чужеземнаго, что тѣ, которые хотятъ, чтобы мы шли къ усовершенствованію своимъ путемъ, росли и крѣпли въ собственныхъ началахъ, чтобы тѣ самые радовались картинамъ Гоголя, это для меня непостижимо“ <sup>402</sup>).

По свидѣтельству Шевырева, „въ теченіе двухъ мѣсяцевъ по выходѣ книги Гоголя, она составляла любимый живой предметъ всеобщихъ разговоровъ. Въ Москвѣ не было вечерней бесѣды, гдѣ бы ни толковали о ней, не раздавались бы жаркіе споры, не читались бы изъ нея отрывки. Ожесточеніе, съ какимъ всѣ представители новой Западной школы и ихъ поборники приняли книгу Гоголя, котораго они ставили въ главѣ своей, было событіемъ чрезвычайно важнымъ въ нашей Литературѣ“ <sup>403</sup>).

Но книга Гоголя возбудила негодованіе не только Западниковъ, но и нѣкоторыхъ изъ Словенофиловъ. Правда, не могли послѣдніе съ удовольствіемъ прочесть слѣдующія строки изъ книги Гоголя: „Споры о нашихъ Европейскихъ и Словенскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти Словенисты и Европеисты,—или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покажѣтся они мнѣ важутся только карикатурами на то, чѣмъ хотятъ быть,—всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не перечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Раз-

умѣется, правды больше на сторонѣ Словенистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ весь фасадъ и, стало быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ Европейстовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то-есть, глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посовѣтовать обоимъ—одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонѣ Словенистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ рѣпу. Разумѣется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болѣе противу себя Европейстовъ, которые давно бы готовы были отъ многого отступить, потому что и сами начинаютъ слышать многое прежде не слышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ развзыравшемуся человѣку. Всѣ эти споры еще ничего, еслибы только они оставались въ гостинныхъ да въ журналахъ. Но дурно то, что два противоположныя мнѣнія, находясь въ томъ незрѣломъ и неопредѣленномъ видѣ, переходятъ уже въ головы многихъ должностныхъ людей. Мнѣ сказывали, что случается (особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должность и власть раздѣлена въ рукахъ двухъ) такимъ образомъ, что въ одно и то же время одинъ дѣйствуетъ совершенно въ Европейскомъ духѣ, а другой старается подвизаться рѣшительно въ древне-Русскомъ, укрѣпляя всѣ прежніе порядки, противоположныя тѣмъ, которые замышляетъ собрать его. И оттого какъ дѣламъ, такъ и самимъ подчиненнымъ чиновникамъ приходитъ бѣда: они не знаютъ, кого слушаться. А такъ

какъ оба мнѣнія, не смотря на всю свою рѣзкость, окончательно всѣмъ не опредѣлились, то, говорятъ, этимъ пользуются всякаго рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, подъ маскою словениста или европейста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное мѣсто и производить на немъ плутни въ качествѣ какъ поборника старины, такъ и поборника новизны. Вообще споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамѣстъ не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ея дѣло. Повѣрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затѣмъ именно, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь". Въ заключеніи Гоголь своему корреспонденту, скрывъ его имя подъ литерою Л, даетъ такой совѣтъ: „Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вмѣшивайся... Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки. Вспомни, что ты человѣкъ не только не молодой, но даже и весьма въ лѣтахъ. Молодому человѣку еще какъ-нибудь присталъ гнѣвъ; по крайней мѣрѣ въ глазахъ нѣкоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ горячиться, онъ дѣлается просто гадою; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставитъ смѣшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебѣ: Экъ скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не дѣлая, а теперь выступилъ укорять другихъ, зачѣмъ они такъ дѣлаютъ!" <sup>404</sup>).

Но какъ бы ни отпосились Словенофилы и Западники къ книгѣ Гоголя, о ней можно сказать словами автора ея, что даже при бѣгломъ знакомствѣ съ нею она *заставляетъ* всякаго *тянуться въ себя* <sup>405</sup>).

---

## LXI.

Приступая къ описанію отношеній Словенофиловъ къ книгѣ Гоголя, мы должны предварительно замѣтить, что, сколько намъ извѣстно, одни только Аксаковы возстали противъ *Вы-*

бранихъ мстѣ изъ переписки съ друзьями. Да и у Аксаковыхъ, какъ мы увидимъ, произошла по поводу этой книги домашняя полемика между С. Т. Аксаковымъ и его младшимъ сыномъ Иваномъ Сергѣевичемъ. Намъ неизвѣстно мнѣніе объ этой книгѣ Хомякова. Относительно мнѣній объ этой книгѣ Кирѣевскихъ и Ю. О. Самарина мы имѣемъ только косвенныя свѣдѣнія. Такъ Дмитрій Григорьевичъ Бѣлавинъ сообщилъ намъ слѣдующее: „Дмитрій Дмитриевичъ Облеуховъ († 1889 г.), женатый на моей родной сестрѣ Екатеринѣ Григорьевнѣ Бѣлавиной, зналъ лично Н. В. Гоголя по дому графа А. П. Толстого. Облеуховъ, будучи человекомъ религіознымъ, кажется, долженъ былъ бы душевно радоваться незапному перерожденію Гоголя, выразившемуся въ *Переписку съ друзьями*, но онъ не разъ говаривалъ, что это не призваніе Н. В. Гоголя писать въ подобномъ направленіи, и притомъ выражалъ свое сожалѣніе, что великій авторъ *Мертвыхъ Душъ* и *Ревизора* съ появленіемъ *Переписки съ друзьями* — умеръ уже навсегда какъ писатель для Россіи. Не былъ ли то отголосокъ мнѣнія Ивана Васильевича Кирѣевского, бывшаго крестнымъ отцомъ Д. Д. Облеухова, расположеніемъ и мнѣніемъ котораго Облеуховъ очень дорожилъ и уважалъ его отъ глубины души“. О мнѣніи же Ю. О. Самарина, который, по справедливому замѣчанію П. А. Матвѣева, почиталъ Гоголя, такъ сказать, своимъ духовникомъ, мы узнаемъ только изъ слѣдующихъ неопредѣленныхъ словъ И. С. Аксакова: „Смирнова читала мнѣ письма Самарина. Осторожный Самаринъ, не имѣя еще свѣдѣній, какого мнѣнія о книгѣ Гоголя А. О. Смирнова, пишетъ о книгѣ чрезвычайно легко и загадочно, не произнося никакого рѣшительнаго приговора; однакоже видно, что онъ ею очень недоволенъ“.

Когда С. Т. Аксаковъ получилъ извѣстіе, что въ Петербургѣ Плетневъ печатаетъ книгу Гоголя, то онъ писалъ къ своему сыну Ивану Сергѣевичу въ Калугу (26 августа 1846 г.): „Мы получили вѣрное и секретное извѣстіе изъ Петербурга, что тамъ печатается цѣлая книга, присланная отъ Гоголя:

*Отрывки из писем или Переписка съ друзьями.* Названія хорошенько не помню. Вѣроятно, тамъ помѣщено многое изъ его писемъ къ А. О. Смирновой, къ Языкову, ко мнѣ. Между прочимъ Гоголь признаетъ совершенную ничтожность всего имъ написаннаго и говоритъ, что изорвалъ продолженіе *Мертвыхъ Душъ*, объявляетъ, что ѣдетъ въ Іерусалимъ и дѣлаетъ какое-то завѣщаніе Россіи. Увы, исполнится мое давнишнее опасеніе: религіозная восторженность убила великаго художника и даже сдѣлала его сумашедшимъ: это истинное несчастіе, истинное горе“. Въѣстѣ съ тѣмъ С. Т. Аксаковъ „написалъ и послалъ сильный протестъ Плетневу, чтобы не выпускалъ въ свѣтъ этой новой книги“. Ибо, какъ писалъ онъ къ сыну, „все это, сначала до конца, ложь, дичь и нелѣпость, и если будетъ обнародовано, сдѣлаетъ Гоголя посмѣшищемъ всей Россіи“. Само собою разумѣется, Плетневъ не могъ исполнить этого страннаго требованія Аксакова. Извѣстія, полученныя И. С. Аксаковымъ, очень его огорчили, и онъ писалъ своему отцу: „Благодарю васъ за подробное сообщеніе извѣстій о Гоголѣ. Это изъ рукъ вонъ и грустно, и тяжело невыносимо. Одинъ геніальный художникъ въ наше бѣдное время, на котораго съ надеждою обращались глаза, отъ котораго ждалъ свѣжаго, отраднаго слова,—и тотъ гибнетъ!“

Но въ Калугѣ, какъ мы знаемъ, жила А. О. Смирнова и всею душею сочувствовала новому произведенію Гоголя. „Говорили про Гоголя“, писалъ И. С. Аксаковъ отцу (14 декабря 1846),— „она раздѣляетъ мысль Плетнева, что все слѣдуетъ печатать. Въ среду поутру заѣзжалъ я къ Николаю Михайловичу по дѣламъ службы, былъ призванъ къ А. О. Смирновой въ кабинетъ, гдѣ она прочла мнѣ письмо, полученное ею на канунѣ отъ Гоголя: письмо очень бодрое и свѣтлое, безо всякихъ особенныхъ выходовъ. Живетъ онъ въ Неаполѣ, подъ крылышкомъ С. П. Апраксиной, собирается ѣхать въ Іерусалимъ, чтобы испросить благословеніе на новыя подвиги“.

Наконецъ самъ С. Т. Аксаковъ „началъ диктовать своему сыну Константину большое письмо къ Гоголю, гдѣ“, какъ онъ

выразился, „высказалъ ему *безпощадную правду*“. Диктова этого письма, „сильно волнуя“, увеличивала страданіе почтеннаго старца; „письмо Гоголя“, писалъ онъ сыну, — „лежало тяжелымъ камнемъ на моемъ сердцѣ, наконецъ въ нѣсколько приемовъ я написалъ его. Я довольно пострадалъ за то, но согласился бы вытерпѣть вдесятеро болѣе мученія, только бы оно было полезно, въ чемъ я сомнѣваюсь. Болѣзнь укоренялась и лекарство будетъ недействительно или даже вредно; нужды нѣтъ, я исполнилъ свой долгъ какъ другъ, какъ русскій и какъ человѣкъ“ <sup>406</sup>).

Съ такими чувствами и при такихъ условіяхъ было отправлено С. Т. Аксаковымъ письмо къ Гоголю отъ 9 декабря 1846 года, то-есть, тогда, когда книга Гоголя была уже отпечатана, но еще не вышла въ свѣтъ. „Уже давно“, писалъ С. Т. Аксаковъ, — „начало не нравиться мнѣ ваше религіозное направленіе. Не потому, что я, будучи плохимъ христіаниномъ, плохо понималъ его и оттого боялся; но потому, что проявленіе христіанскаго смиренія казалось мнѣ проявленіемъ духовной гордости вашей... Между тѣмъ, ваше новое направленіе развивалось и росло... каждое ваше письмо подтверждало ихъ. Въмѣсто прежнихъ, дружескихъ, теплыхъ изліяній, начали появляться наставленія проповѣдника, таинственныя, иногда пророческія, всегда холодныя и, что всего хуже, полныя гордыни въ рубищѣ смиренія... Опасенія мои превратились въ страхъ... Въ это время меня начинала постигать ужасная бѣда: я терялъ безвозвратно зрѣніе... Отчаяніе овладѣло мною. Я излилъ скорбь мою въ вашу душу и получилъ въ отвѣтъ нѣсколько сухихъ и холодныхъ строкъ... Не много было предметовъ, возбуждавшихъ мое душевное участіе; но вы были изъ первыхъ. Тѣлесное здоровье ваше, какъ видно, поправилось и дѣятельность возобновилась; но какая дѣятельность?... Предисловіе ваше ко второму изданію *Мертвыхъ Душъ* поразило меня..., и когда Шевыревъ читалъ мнѣ его, то мои стenanія отъ физическихъ мученій замѣнились стenanіями душевными... Вслѣдъ за этимъ разнеслись темные

слухи, что въ Петербургѣ печатается цѣлая книга вашихъ сочиненій, состоящая изъ проповѣдей и пророчествъ; ваше признанье, что все написанное вами до сихъ поръ ничтожно и недостойно вниманія... и наконецъ ваше завѣщаніе, чтобы не ставили никакого памятника на вашей могилѣ...“ Письмо свое Аксаковъ заключаетъ такими словами: „Вы нѣкогда обвиняли меня въ неполной искренности, вы требовали безпощадной правды—вотъ она...“ Ответъ Гоголя на это жестокое письмо послѣдовалъ уже тогда, когда книга его вышла въ свѣтъ, и произвелъ на Аксакова самое непріятное впечатлѣніе. „Я“, писалъ онъ сыну (17 февраля 1847 г.),—„перенесъ его спокойно, равнодушно, но самые кроткіе люди, которые его прочли, пришли въ бѣшенство“<sup>407</sup>). Ответъ Гоголя Аксакову и на Погодина произвелъ непріятное впечатлѣніе. Въ *Дневникѣ* своемъ подъ 4 февраля 1847 года онъ записалъ: „У Аксаковыхъ. Читали письмо къ нимъ Гоголя. Такъ и пышетъ холодомъ. Хуже книги“.

Въ то время, когда Москва праздновала свое семисотлѣтіе, въ Петербургѣ, 1-го января 1847 года, вышли *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*. Ближайшій другъ Гоголя, А. О. Смирнова, получивъ въ Калугѣ эту книгу, писала ему: „Книга ваша вышла подъ новый годъ. И васъ поздравляю съ такимъ вступленіемъ, и Россію, которую вы подарили этимъ сокровищемъ... Все, что вы писали доселѣ, ваши *Мертвые Души* даже,—все поблѣднѣло какъ-то въ моихъ глазахъ, при прочтеніи вашего послѣдняго тома... Меня смущали толки и Московское ополченіе (друзья!), которые долетали ко мнѣ черезъ Ивана Аксакова... Бѣдный Плетневъ, о которомъ сказано было, что онъ старый колпакъ, и все готовъ печатать, даже и то, что на васъ налагаетъ печать стыда, то-есть, сумашествіе и какъ будто бы сумашествіе стыдъ, а не такой же недугъ нашей страждущей за грѣхи природы и не есть наказаніе Божіе... Отъ Н. Н. Шереметевой получила письмо; она просила передать, что узнаю о васъ, и говоритъ, что

бѣгала къ Иверской не разъ, когда узнала, какіе толки носились по Москвѣ, велерѣчивой и опрометчивой<sup>408</sup>).

Но когда И. С. Аксаковъ познакомился съ самою книгой Гоголя, то написалъ своему отцу (отъ 11 января 1847 года) такія строки о ней, которыя тотъ никакъ не ожидалъ получить отъ своего сына: „Пишу къ вамъ немного, потому что легъ нынче въ три часа и занятъ—чѣмъ бы вы думали? А. О. Смирнова, съ которою мы теперь въ дружескихъ отношеніяхъ, у которой я въ теченіе этой недѣли, по ея зову, былъ уже нѣсколько разъ и обѣдалъ, вчера послѣ обѣда вдругъ присылаетъ за мной. Я явился и нашелъ у нея только что полученную ею изъ Петербурга книгу Гоголя. Мы сѣли читать ее, потомъ, когда наѣхали разные гости, ушли съ Арнольди наверхъ и тамъ читали до половины второго, но все не прочли всей книги, и Смирнова уступила мнѣ книгу на ночь и на нынѣшній день до вечера. Книгу Гоголя надо читать не разъ и не два, а двадцать тысячъ разъ! Я примирился съ нимъ вполне и вижу, что все взводимое на него—вздоръ, и что не погибъ онъ для насъ, какъ юмористическій писатель. Откинемъ всякій ложный стыдъ, мѣшающій намъ поклоняться тому, во чтѣ вѣруемъ, и говорить тѣмъ языкомъ, которымъ невольно заговорить душа, когда проникнется серьезнымъ значеніемъ жизни, когда все станетъ въ ней важно и торжественно. Гоголь правъ и является въ этой книгѣ какъ идеалъ художника-христіанина, котораго не пойметъ Западъ, такъ же, какъ и не пойметъ этой книги. Что за языкъ, Господи Боже мой, что за языкъ! Упиваться можно этимъ языкомъ, лучшимъ всякихъ стиховъ. Seriously надо взглянуть на эту книгу. Она способна пересоздать многихъ. Совѣстно становится передъ этою торжественною, важною тишиною, когда вспомнишь о нашихъ скороспѣлыхъ трудахъ, кривливыхъ восторгахъ и всякой мелочной душевной вознѣ. Мнѣ страшно было вчера взяться за книгу, когда я почувалъ, чтѣ въ ней заключается, боялся проснуться другимъ, боялся излечения... Презрительная суета и пустота такъ овладѣвають



человѣкомъ, что ему хочется непремѣнно сдѣлать смѣшнымъ строгій голосъ правды, чтобъ избавится отъ ея неумолимаго преслѣдованія: такъ будетъ и съ этой книгой... Въ слѣдующій разъ буду писать подробнѣе. Теперь же даже совѣстно послѣ книги сообщать вамъ, что я былъ на обѣдѣ, на двухъ балахъ и т. п.“<sup>409</sup>).

Письмо это возбудило домашнюю полемику между сыномъ и отцомъ. „Письмо твое“, писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну (14 января 1847 г.), — „не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на нѣкоторое время. Я также прочелъ всю книгу Гоголя. Еслибы я не имѣлъ утѣшеніе думать, что онъ на нѣкоторыхъ предметахъ помѣшался, то жестокимъ бы словомъ я назвалъ его. Я вижу въ Гоголѣ добычу сатанинской гордости, а не христіанское смиреніе. Меня оскорбило письмо къ Веневитинову, которое и написать совѣстно, не только напечатать, которое напшиговано *ангельскими устами и небеснымъ голосомъ*, гдѣ опредѣляется чисто католическое воззрѣніе на красоту женщины и между прочимъ говорится о *рукавльсканіяхъ на небесахъ*. Я не могъ читать безъ отвращенія печатное завыщаніе человѣка живаго и здороваго, въ каждомъ словѣ котораго дышетъ неимоверная гордость. Я не могъ безъ горькаго смѣха слушать его наставленіе помѣщикамъ. Я не могъ безъ жалости слышать этотъ языкъ пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которымъ ты упиваешься. Я не буду знать, что мнѣ возразить тому человѣку, который скажетъ: это хохлацкая штука; широко замахнулся, не совладѣлъ съ громадностію художественнаго исполненія втораго тома, да и привинулся проповѣдникомъ христіанства“<sup>410</sup>). На эти нападенія И. С. Аксаковъ отвѣчалъ своему отцу (отъ 18 января 1847 г.): „Мнѣ кажется, я свободнѣе васъ. Я судилъ по однимъ впечатлѣніямъ, которыя на меня производила эта книга, по тому, какъ говоритъ князь Урусовъ, пробѣгали ли мурашки по кожѣ или нѣтъ. Забудьте, что это писалъ Гоголь, и признайте за каждымъ человѣкомъ право вѣщать такое серьезное, опытомъ жизни запечатлѣнное слово. Вы чувствуете, что Гоголь

не лжетъ, не надуваетъ васъ, но истинно борется, возится и страдаетъ и искренно молится и искренно умиляется при словѣ: молитва, Христосъ. Отчего же одному Филарету или Иннокентію можно писать проповѣди, которыми всякій восхищается, но которыми не всегда вѣрятъ и не всегда слѣдуютъ, потому что проповѣди ихъ — слово не пріобрѣтенное жизнью, не выстраданное, не выведенное какъ результатъ долгаго душевнаго воспитанія. Гоголь мнѣ ближе. Онъ дѣйствуетъ не ex officio, онъ въ такомъ же былъ положеніи, какъ и я. Что и говорить, и въ этой книгѣ есть много вещей, которыя показываютъ, что Гоголь еще не вполне установился, много такихъ, которыхъ я переварить не могу, напримѣръ, *письмо о семи кучкахъ денегъ*, и т. п. Хотя надобно признаться, здѣсь проявляется болѣе странность личнаго характера Гоголя, всегда у него бывшая, какая-то педантская систематичность (которая есть отчасти и у Константина), нежели странность, вообще свойственная этому направленію. Меня что радуетъ? То, что онъ миритъ искусство съ религіей, что онъ продолжаетъ *Мертвѣя Души*, что даже и здѣсь, съ высоты чуждаго своего языка, прикасаясь къ какому-нибудь предмету, онъ вдругъ заговорить его языкомъ, не брезгуя выраженіями. Это меня радуетъ. И какой высокій, чудный образъ художника предстаетъ передъ глазами! На какую неизмѣримую высоту возноситъ онъ съ собою искусство и служителей искусства, и какое благоговѣніе слышно у него всюду передъ нашей дивной душой, передъ святымъ призваніемъ поэта! Господи! кажется, всѣ блага міра отдалъ бы я, отъ всѣхъ радостей отказался бы, только чтобъ подышать мнѣ хоть часъ воздухомъ этихъ горнихъ обителей искусства! Впрочемъ для меня всегда и во всякое время, какъ и сами вы знаете, имѣла сильное значеніе душа человѣческая. Мнѣ дѣлалось до того впечатлѣніи, которое Гоголь произведетъ на публику. На меня онъ подѣйствовалъ, точно будто новое поприще дѣятельности открылось для моей души.

„Я чувствую себя другимъ и лучше. Вѣра пишеть, что

языкъ слабъ и вялъ. Это такой языкъ, который, какъ стихи, невольно удерживается въ памяти. Какъ это слабо и вяло: *стонетъ весь умирающій составъ мой*. Это просто музыка. А женщина въ свѣтъ. Перечтите это со вниманіемъ. Увы! на *всѣхъ углахъ міра ждуть и не дождутся ничего другаго, какъ только тѣхъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у васъ уже есть*. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію. А въ письмѣ къ Языкову о *мизмѣ* вспомните мѣсто, начинающееся такъ: *ублажи мною того исполина*. Что Константинъ? Пусть серьезно занявшись чтеніемъ этой книги, забывъ на время Мининъ-Пожарскаго, дастъ онъ свободу душевному голосу, и я увѣренъ, онъ во многомъ со мной согласится<sup>411</sup>). Но С. Т. Аксакова ни мало не убѣждали доводы его сына, и онъ продолжалъ настаивать, что книга Гоголя *чрезвычайно вредна*; что въ ней все ложно, „и слѣдовательно“, замѣчаетъ С. Т. Аксаковъ сыну, — „и впечатлѣнія будутъ ложны. Самымъ близкимъ и живымъ доказательствомъ тому служишь ты самъ“<sup>412</sup>). Въ одномъ изъ своихъ отвѣтныхъ писемъ отцу И. С. Аксаковъ между прочимъ писалъ: „А интересно знать впечатлѣнія, производимыя книгою Гоголя на души свѣжія. Потому что мы всѣ отъ безпрестанныхъ толковъ, размышленій, предупреждая впечатлѣнія другъ въ другъ предварительнымъ разговоромъ съ нашими не разъясненными намъ самимъ вполне системами, доктринами, — мы не свободны, мы какъ-то *перетерли* наши души. Ахъ, какъ мнѣ хочется встрѣтить иногда человѣка совершенно свѣжаго, новаго, простаго, отъ котораго бы не вѣяло ограниченностью нашего просвѣщеннаго ума, пустотою нашего образованія, чѣмъ всѣмъ мы такъ гордимся. Повторяю, мнѣ кажется, что нѣтъ ничего пошлѣе умнаго человѣка въ наше время. При своемъ нравственномъ растлѣніи, при нецѣльности своего ума, онъ не способенъ къ откровенію новыхъ истинъ. Не имѣя самъ много вѣры, я люблю смотрѣть на людей вѣрующихъ, но вѣрующихъ безъ ханжества“<sup>413</sup>).

На эти строки С. Т. Аксаковъ отвѣчалъ: „Ты кидаясь въ ужасныя крайности; для пониманія необходима образованность ума. Мужики наши свѣжи, новы, просты и умны, но въ нихъ нѣтъ слуха, чтобы услышать, на примѣръ, хоть Гоголя; этотъ слухъ—образованность“. На это И. С. Аксаковъ отвѣчалъ: „Когда я говорю объ образованности, то вовсе не значить, чтобы въ противоположность ей я поставлялъ другую крайность, мужика. Я не раздѣляю мечты Константина, что можно намъ, уже выскочившимъ изъ сферы чистой національности, сочувствовать вполне народу. Я сошелъ бы съ ума, еслибъ мнѣ пришлось жить постоянно съ мужикомъ, — и мысль, которую Константинъ развиваетъ въ своей повѣсти, есть Жоржъ-Зандовская утопія. Есть степень выше“.

Въ концѣ концовъ и самъ И. С. Аксаковъ, по видимому, усумнился въ справедливости своего восторженнаго отношенія къ книгѣ Гоголя и вотъ что писалъ князю Д. А. Оболенскому (отъ 30 апрѣля 1847 г.): „О Гоголѣ я совсѣмъ не такого мнѣнія, какъ ты думаешь. Я его никогда не бранилъ, напротивъ былъ пораженъ многимъ, что и прежде лежало въ душѣ моей, и написалъ по поводу того стихотвореніе о душѣ человѣческой, которое тебѣ пришлю вмѣстѣ съ прочими. Но долженъ признаться, что въ книгѣ Гоголя много лжи и нелѣпицы, много скрытой гордости и самолюбія—словомъ, умъ за разумъ зашелъ. Меня же, впрочемъ, поражаетъ не это собственно, а то, что побудило его поднять тѣ страшные вопросы о примиреніи религіи съ жизнью,—вопросы, кажутся, не разрѣшимые. Прощай!“

Но самымъ яркимъ противникомъ книги Гоголя явился К. С. Аксаковъ, и годъ спустя по выходѣ книги онъ написалъ Гоголю рѣзкое письмо, въ которомъ читаемъ: „Я писалъ вамъ длинное письмо по выходѣ въ свѣтъ вашей книги, оно было довольно жестко, я написалъ уже много, но еще не кончилъ и потерялъ его. Подумавъ, что можетъ быть это и лучше, что можетъ быть не надо давать воли негодованію, когда въ душѣ одно негодованіе и только...“ За симъ

предисловіемъ слѣдуютъ такіа строки: „Ваши важныя и еще болѣе важничающія письма, съ ихъ глубокомысліемъ, часто наружнымъ, часто ложнымъ, ваши благотворительныя порученія съ ихъ неискренней тайной, ваше возмутительное предисловіе въ второму изданію *Мертвыхъ Душъ*, наконецъ, ваша книга, повершившая все, далеко оттолкнули меня отъ васъ. Я нападалъ на васъ и дома, и въ обществѣ почти также горячо, какъ прежде стоялъ за васъ. Знакомство же съ Смирновой, воспитанницей вашей, еще болѣе объяснило и васъ, и вашъ взглядъ, и состояніе души вашей, и ученіе ваше ложное, лживое“ и проч. въ этомъ родѣ <sup>414</sup>). Извѣщая Шевырева о полученіи этого письма, Гоголь писалъ: „Я получилъ письмо отъ К. С. Аксакова болѣе юношеское, нежели когда-либо прежде“ <sup>415</sup>).

## LXII.

Полемика, происходившая между С. Т. Аксаковымъ и его сыномъ Иваномъ Сергѣевичемъ о книгѣ Гоголя, была поводомъ ссоры Калужской губернаторши А. О. Смирновой съ чиновникомъ Калужской Уголовной Палаты, тѣмъ же И. С. Аксаковымъ. Дѣло въ томъ, что С. Т. Аксаковъ поручилъ своему сыну познакомить Смирнову съ его полемическими письмами. Порученіе это Иванъ Сергѣевичъ исполнилъ крайне неловко. Въ одномъ изъ своихъ писемъ С. Т. Аксаковъ писалъ: „Гоголь не перестаетъ занимать меня съ утра до вечера: онъ точно помѣшался, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но въ самомъ помѣшательствѣ много плутовства—долженъ въ этомъ признаться. Сумашедшіе бываютъ плуты и надуватели: это я видѣлъ не одинъ разъ, и помѣшательство ихъ дѣлается и жалко, и гадео“. Вотъ эти-то строки и были причиною справедливаго негодованія А. О. Смирновой на всѣхъ Аксаковыхъ. „У меня въ карманѣ“, писалъ И. С. Аксаковъ въ своему отцу,—„было ваше письмо, и я хотѣлъ сообщить извѣстіе о письмѣ Гоголя

къ Щепкину и, добираясь до этого мѣста, прочитывалъ про себя, однакоже вслухъ, ваши, правда, жестокія разсужденія о сумашествіи Гоголя и о плутовствѣ въ его сумашествіи. Поднявъ случайно глаза, я ужаснулся. Александра Осиповна вся вспыхнула, потомъ поблѣднѣла, потомъ затряслась, потомъ подняла руки вверхъ, и пошла потѣха. Я вовсе этого не хотѣлъ, сталъ извиняться, успокоивать ее, сказалъ, что не буду ей возражать. Не тутъ-то было. Она оскорбилась вашими выраженіями о Гоголѣ. Это бы еще ничего, но, по свойственной женщинамъ манерѣ, заѣхала Богъ знаетъ куда, такъ что я подъ конецъ разсердился. Начала съ того, что Гоголь ошибался *въ вашей семьѣ, онъ думалъ найти друзей и нашелъ вмѣсто того людей, которые дорожатъ только его талантомъ, что вы его надули и надуваете, но ее не надуете, и что она откроетъ глаза Гоголю и т. п.* Потомъ стала ругать всю Москву, васъ вообще и меня въ особенности. Вы, то-есть, Москва и вы, которые съ утра до ночи твердите о христіанствѣ и любви христіанской... Тутъ я не выдержалъ. Прошу покорно оставить христіанство въ покоѣ въ теперешнемъ разговорѣ, сказалъ я и ушелъ изъ комнаты, не простясь. Дамы, сидѣвшія подлѣ нея, были ни живы, ни мертвы, а двери были отворены въ залу, гдѣ играли на четырехъ столахъ. Я вовсе не расположенъ былъ горячиться и все-таки не высказалъ ей и сотою части изъ уваженія къ ея положенію. Какъ я ушелъ, такъ, говорятъ, она обратилась къ присутствующимъ и долго еще изливала желчь свою на меня. Впрочемъ я къ этому равнодушенъ, ибо рѣшительно ничего не теряю. Это не то, что было прежде". Къ этой неприличной выходкѣ И. С. Аксакова отецъ его отнесся весьма сочувственно. „Ты не можешь себѣ представить“, писалъ онъ, — „милый мой другъ Иванъ, какъ потѣшило меня твое письмо отъ 15 февраля, вчера мною полученное! Эта горячая схватка съ А. О. Смирновой посреди изумленного Калужскаго общества меня восхитила; *вся вспыхнула, потомъ поблѣднѣла, потомъ затряслась, потомъ подняла руки*

*кверху, и пошла потьха...* Эти слова, такъ живо рисующія всю сцену, внезапно перенесли меня на мѣсто дѣйствія, откуда я сегодня еще не совсѣмъ удался. За эту сцену я даже съ Александрю Осиповною почти помирился; еслибъ она была здѣсь, то я сейчасъ бы къ ней поѣхалъ. Вижу, что она любитъ Гоголя, какъ человѣка. Она не совсѣмъ поняла мои слова, *плутство въ самомъ сумашествіи*, и ты могъ бы ихъ и не читать ей, если не имѣлъ намѣренія прочесть ихъ. Но я радъ тому и другому. Я долженъ по совѣсти сказать, что Александра Осиповна даже отчасти права: мы, надувая самихъ себя Гоголемъ, надували и его, и по истинѣ я не знаю ни одного человѣка, который бы любилъ Гоголя, какъ другъ, независимо отъ его таланта. Надо мною смѣялись, когда я говаривалъ, что для меня не существуетъ личность Гоголя, что я благоговѣйно, съ любовію смотрю на тотъ драгоценный сосудъ, въ которомъ заключенъ великій даръ творчества, хотя форма этого сосуда мнѣ совсѣмъ не нравится“<sup>416</sup>).

Послѣ этой возмутительной выходки И. С. Аксакова А. О. Смирнова писала Гоголю: „Отзывы письменные вашихъ друзей просто нехристіанскіе, недоброжелательные и въ ихъ глазахъ вы просто сумашедшій. Я съ Аксаковыми поссорилась по этому поводу, исключая старушки Ольги Семеновны. Они вѣчно порицали Петербургъ, балы и всю пустоту свѣтскую, потому что по обстоятельствамъ были внѣ этой пустоты, а сами изъ литературы, социализма и всѣхъ современныхъ вопросовъ сдѣлали пустоцвѣтъ и пустозвоніе. Жуковскаго осмѣивали; кивали уже головой, говоря о Пушкинѣ, однимъ словомъ ставили себя выше всего, не сдѣлавши ровно ничего. Кромѣ того, что васъ стараются уличить въ разстройство ума, говорятъ еще, что вы католикъ, формалистъ; говорятъ, что вашею книгою могутъ только прельщаться плаксивыя ханжи, какова Новосильцова въ Москвѣ, и скотный дворъ Ѳ. Н. Глинки. Я себя считаю теперь на скотномъ дворѣ и въ числѣ ханжей и, признаюсь, очень рада, что не обрѣтаюсь въ числѣ Аксаковыхъ, живущихъ по невѣдомому мнѣ закону

любви, какъ и весь Словенскій міръ. Ненависть къ власти, къ общественнымъ привилегіямъ, къ высокому рожденію и богатству—таковая - то отвлеченная страсть къ идеальному Русскому, таящемуся въ бородѣ,—вотъ начало этихъ господъ. Не коммунизмъ ли это со всѣми своими гадостями, то-есть, коммунизмъ Жоржъ-Занда". Въ томъ же письмѣ мы читаемъ и слѣдующее: „На дняхъ узнала отъ Аксакова, что вы писали къ его отцу и просили его написать, какое впечатлѣніе производятъ ваши письма, и сами опасаетесь, что публика еще не созрѣла для такого рода книгъ. Нашли же вы къ кому адресоваться. Все это общество само изъ числа тѣхъ людей, которые не созрѣли для вашей книги и едва ли когда созрѣютъ, потому что считаютъ себя выше всѣхъ истинъ христіанскихъ, которыя въ ихъ глазахъ *des lieux communs*... Гдѣ и когда общества были готовы и принять, и оцѣнить всякое произведеніе истинно высокое и выходящее изъ коленъ посредственности? Гдѣ и когда не оспаривали и не осмѣивали и не унижали то, чего цѣль была одно добро, безъ желанія нравиться, прельстить или забавить общество!... Да и теперь у насъ мы слушаемъ и читаемъ Иннокентія и Филарета, хотя, конечно, не созрѣли ни до высокаго Богословія послѣдняго, ни до духовнаго развитія Иннокентія. Читаютъ ихъ немногіе и, конечно, не Аксаковы и не пишущая и не критикующая братія, но читаютъ ихъ тѣ, надъ которыми они смѣются..." Имѣя въ виду исключительно И. С. Аксакова, Смирнова въ томъ же письмѣ писала: „Признаюсь вамъ, мнѣ очень надоѣдаютъ люди эксцентричные, которые никакъ не могутъ увѣриться, что все въ жизни просто для человѣка вѣрующаго и повинующагося безусловно волѣ Божіей. Безпрестанный запросъ о томъ, примиряется ли художество и общественный порядокъ съ Евангеліемъ, наводитъ на меня нестерпимое нетерпѣніе. Этими вопросами протыкаетъ здѣсь И. С. Аксаковъ, которому Богъ удѣлилъ мѣсто товарища предсѣдателя Уголовной Палаты. Шутка ли всякій



день рѣшать судьбу или жизнь человѣка въ двадцать пять лѣтъ <sup>417</sup>).

Еще не зная ничего о происшедшемъ, Гоголь писалъ Смирновой: „Другъ мой, не забывайте, что у меня есть постоянный трудъ; эти самыя *Мертвыя Души*, которыхъ начало явилось въ такомъ неприглядномъ видѣ. Другъ мой, искусство есть дѣло великое. Знайте, что всѣ тѣ идеалы, которыхъ напичкали въ голову Французскіе романы, могутъ быть выгнаны другими идеалами, и образы ихъ можно произвести такъ живо, что они станутъ неотразимо въ мысляхъ и будутъ преслѣдовать человѣка въ такой степени, что львицы возжелаютъ попасть въ другія львицы... Съ Московскими моими пріятелями объ этомъ не разсуждайте. Они люди умные, но многословы и отъ нечего дѣлать толкутъ воду въ ступѣ. Оттого ихъ можетъ смутить всякая бабья сплетня и сдѣлаться для нихъ предметомъ неистощимыхъ споровъ. Пусть ихъ путаются обо мнѣ; я ихъ вразумлять не буду“ <sup>418</sup>). Узнавъ о содержаніи этого письма чрезъ Арнольди, И. С. Аксаковъ по поводу его писалъ своему отцу: „Гоголь увѣряетъ, что будетъ второй томъ *Мертвыхъ Душъ*, будетъ непремѣнно; что книгу свою издалъ онъ для того, чтобы посудить и себя, и публику; что онъ твердо убѣжденъ, что можно выставить такіе идеалы добра, передъ которыми содрогнутся всѣ, и Петербургскія львицы пожелаютъ попасть въ львицы иного рода! Последнее мнѣ не нравится: все же это будутъ идеалы, а не живыя, грѣшныя души человѣческія, не дѣйствительныя лица. Тутъ же онъ спрашиваетъ ее, впрочемъ, не знаетъ ли она какого-нибудь честнаго взяточника; если знаетъ, такъ описала бы, благодарить ее за любовь и говорить: съ моими Московскими пріятелями не разсуждайте обо мнѣ: они люди умные, но многословы и... Тутъ еще нѣкоторые эпитеты, которые Арнольди, рассказывая письмо, не могъ припомнить. Мнѣ же дать прочесть это письмо А. О. Смирнова, не смотря на всѣ просьбы Арнольди, отказала“ <sup>419</sup>). Когда же Гоголь получилъ то письмо отъ Смирновой, гдѣ она говоритъ объ Аксаковыхъ,

то писалъ ей въ отвѣтъ (отъ 20 апрѣля 1847 г.): „Мнѣ ставить въ вину, что я заговорилъ о Богѣ, что я не имѣю права на это, будучи зараженъ и самолюбіемъ, и гордостью, доселѣ неслыханною. Что жъ дѣлать, если и при этихъ порокахъ всетаки говорится о Богѣ? Что жъ дѣлать, если наступаетъ такое время, что невольно говорится о Богѣ? Какъ молчать, когда и камни готовы завопить о Богѣ? Нѣтъ, умники не смутятъ меня тѣмъ, что я недостойнъ и не мое дѣло, и не имѣю права: всякъ изъ насъ до одинаго имѣетъ это право, всѣ мы должны учить другъ друга и наставлять другъ друга, какъ велитъ и Христосъ, и Апостолы. Въ письмѣ къ Аксакову все не было изложено мысли, или опасеній моихъ, что общество, дескать, не созрѣло для моихъ писемъ: ее вывели умники сами собою. Вы видите, что они изъ книги моей выводятъ тоже не то, что въ ней есть, а то, что имъ хочется вывести. Всякому хочется основать свою точку взгляда затѣмъ, чтобы красно поговорить и самому порисоваться: отсюда католицизмы, формализмы и всякіе измы. Такимъ образомъ вамъ тоже кто-то навралъ, что я въ Римѣ, тогда какъ до сихъ поръ изъ Неаполя никуда ноги не заносилъ. Не спорьте обо мнѣ никогда ни съ кѣмъ изъ людей умныхъ, разумѣю особенно тѣхъ, которые живутъ въ умѣ своемъ, а не преимущественно въ душѣ и сердцѣ, и никогда не сердитесь ни на кого изъ-за меня, и Боже васъ сохрани съ кѣмъ-нибудь поссориться изъ-за меня“. Въ другомъ письмѣ (отъ 20 мая 1847 г.) Гоголь писалъ: „Что касается до словъ вашихъ, чтобы я не смущался измѣною друзей моихъ, то на это замѣчу вамъ, что измѣны съ ихъ стороны нѣтъ никакой. У нѣкоторыхъ изъ нихъ не хватило разумѣнія, они спутались—вотъ и все. Впрочемъ я на многихъ изъ нихъ вовсе не надѣялся и не называлъ ихъ никогда своими друзьями: они себя считали моими друзьями, но не я ихъ. Вы знаете, что я нѣсколько недоувѣрчивъ и, зная слабость человѣческую, вообще не охотникъ понадѣяться черезъ-чуръ на какого-нибудь человѣка. Объ С. Т. Аксаковѣ, какъ вы

можете себя припомнить, я даже и не говорил вам никогда. Хотя я очень уважал старика и добрую жену его за их доброту, любил их сына за его юношеское увлечение, рожденное от чистого источника, не смотря на неумѣренное, излишнее выражение его; но я всегда однакожъ держалъ себя вдали отъ нихъ. Бывая у нихъ, я почти никогда не говорилъ ничего о себѣ; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и выказывать такіа качества, которыми бы могъ привязать ихъ къ себѣ. Я видѣлъ съ самаго начала, что они способны залюбить не на животь, а на смерть. Это не та разумная, неизмѣнно-твердая любовь во Христѣ, возвышающая человѣка, но скорѣ чувственная любовь, дѣлающая малодушнымъ человѣка, дрожащая, какъ робкій листъ, за предметъ любви своей. Словомъ, я бѣжалъ отъ ихъ любви, ощущая въ ней что-то притворное, я видѣлъ, что они способны смотрѣть распаленными глазами на предметъ любви своей. Эту распаленную любовь къ моимъ сочиненіямъ почувствовалъ ихъ сынъ, потому что въ душѣ его заключено дѣйствительно чувство высокой поэтической красоты. Эту распаленную любовь сообщалъ онъ и отцу своему, который безъ этого, можетъ быть, былъ бы умѣреннѣе и не пришелъ въ такое отчаянье отъ мысли, что я погибъ для искусства. Почувствовать, что все, совершающееся въ насъ, совершается не безъ воли Божіей и что событіе, во мнѣ случившееся, случилось не во вредъ искусству, но къ возвышенію искусства, почувствовать этого изъ нихъ никто не въ силахъ, ни отецъ, ни сынъ; а потому вы не смущайтесь также ихъ рѣчами противъ меня. Рѣчи эти пройдутъ“ <sup>430</sup>).

Объ этой перепискѣ какими-то путями провѣдали Аксакковы, и въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Гоголю С. Т. Аксаковъ писалъ: „...Спѣшу увѣрить васъ, что я никогда на васъ не сердился и что я никогда не переставалъ вѣрить искренности вашей. Грѣхъ тому опрометчивому человѣку, который внушилъ вамъ такіа мысли. Я подозреваю, что это сдѣлала Смирнова: она случайно услышала нѣсколько строкъ

изъ письма моего къ сыну объ васъ, не поняла ихъ и не могла понять хорошо... Смирнова сдѣлала горячую схватку съ моимъ сыномъ, наговорила ему, мнѣ и всему семейству много грубостей, сама получила ихъ столько же и грози-лась отереть вамъ глаза. Я вижу, она это исполнила; но без-разсудная женщина, въ которой многія достоинства я цѣню высоко и которую, именно за эту вспышку, я полюбилъ больше, вмѣсто открытія глазъ вашихъ нѣсколько отуманила ихъ, разумѣется, на время. Она не подозрѣвала, что прежде всего, я съ полною жестокою искренностью излилъ въ пись-махъ къ вамъ самымъ всю горечь огорченной дружбы къ человѣку и оскорбленнаго чувства уваженія къ великому та-ланту. Она не различила во мнѣ любящей души отъ озлоб-ленія и гнѣва. По моему убѣжденію, вы книгой своей на-несли себѣ жестокое пораженіе, и я кинулся на васъ самихъ, какъ кинулся бы на всякаго другого, нанесшаго вамъ такой ударъ, безъ пощады осыпая васъ горькими упреками. Вы такъ мнѣ дороги, что всякій дѣйствительный вредъ, всякое пораженіе вашей славы, какъ писателя и человѣка, мнѣ—тяж-кое оскорбленіе!

Но Гоголю отъ этихъ горделивыхъ изліяній назойливой дружбы было не легче, а заглѣзаніе въ тайную святиню души его было невыносимо, и онъ, защищая своего искреннаго друга, отвѣчалъ Аксакову: „Не сердитесь на Смирнову, не называйте ее безразсудной женщиною. Женщина эта по-чтена была короткою дружбою Пушкина и Жуковскаго, ко-торые любили ее именно за здравый разсудокъ и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чѣмъ вы меня знали,— знала какъ человѣка, а не какъ писателя, видѣла меня въ тѣ душевныя состоянія мои, въ которыхъ вы меня не видѣли. Съ ней мы были издавна какъ братъ и сестра, и безъ нея, Богъ вѣсть, былъ ли бы я въ силахъ перенести многое труд-ное въ моей жизни; а потому и не мудрено, что, не смотря на пристрастіе ея ко мнѣ, многое въ моей книгѣ она по-

чувствовала полнѣе и не перетолковала въ такую превратную сторону, какъ перетолковали вы" <sup>421)</sup>).

Когда слухъ о враждебныхъ отношеніяхъ Словенофиловъ, въ лицѣ Аксаковыхъ, къ книгѣ Гоголя дошелъ до Западниковъ, то Бѣлинскій писалъ къ своимъ Московскимъ друзьямъ: „Читалъ ли ты переписку Гоголя? Если нѣтъ, прочти. Это любопытно и даже назидательно... А Словенофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственнаго ученія, а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять" <sup>422)</sup> О томъ же писалъ и Ботвинъ Краевскому: „Наши Словене книгу Гоголя приняли холодно, но это потому только, что Гоголь имѣлъ храбрость быть послѣдовательнымъ и идти до послѣднихъ результатовъ, а сѣмена бѣлены посѣяны въ немъ тѣми же самими Словенами“.

---

### LXIII.

Очертивъ отношенія семьи Аксаковыхъ къ книгѣ Гоголя, обратимся къ изложенію отношеній къ той же книгѣ Погодина и Шевырева.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ этой книгѣ Гоголь проявилъ къ Погодину безпощадную строгость и даже предалъ его публичному позору, но совершенно несправедливо.

10 января 1847 года Погодинъ заѣхалъ къ Шевыреву, и тотъ показалъ ему слѣдующее мѣсто изъ *Переписки съ друзьями*: „Пріятель нашъ Погодинъ имѣетъ обыкновеніе, отрывши какія ни попало строки извѣстнаго писателя, тотъ же часъ ихъ тиснуть въ журналѣ, не вѣсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестію его. Онъ скрѣпляетъ все дѣло извѣстною оговоркою журналистовъ: *Надѣмся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщеніе*

сихъ драгоценныхъ строкъ; въ великомъ человѣкѣ все достойно любопытства, и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкій читатель останется благодаренъ; но потомство плюнетъ на эти драгоценныя строки... Обращаться съ словомъ нужно честно. Оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Бѣда произносить его писателю въ тѣ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій..., словомъ, въ тѣ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа! изъ него такое выйдетъ слово, которое всѣмъ опротивѣетъ. И тогда съ самымъ чистѣйшимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же нашъ пріятель Погдинъ тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, спѣша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головѣ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всѣмъ—словомъ высказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествѣ. И что жъ? Замѣтили ли читатели тѣ благородныя и прекрасныя порывы, которые у него сверкали весьма часто? Приняли ли отъ него то, чѣмъ онъ хотѣлъ съ ними подѣлиться? Нѣтъ; они замѣтили въ немъ одно только неряшество и неопрятность... и ничего отъ него не приняли. Тридцать лѣтъ работалъ и хлопоталъ какъ муравей этотъ человѣкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорѣе въ руки всѣмъ все, чтò ни находилъ на пользу просвѣщенія и образованія Русскаго. И ни одинъ человѣкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрѣтилъ, который бы сказалъ, что онъ обязанъ ему какимъ-нибудь новымъ свѣтомъ, или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намѣреній и за искренность словъ его передъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнѣ было трудно даже убѣдить кого-либо, потому что онъ сумѣлъ такъ замаскировать себя передъ всѣми, что рѣшительно нѣтъ

возможности показать его въ томъ видѣ, каковъ онъ дѣйствительно есть“ <sup>423</sup>).

Прочитавъ эту страничку, Погодинъ, какъ свидѣтельствуешь его *Дневникъ*, „огорчился до слезъ, до глубины сердца: кромѣ ругательствъ о моемъ слогѣ, Гоголь пишетъ, что онъ не встрѣтилъ ни одного юноши, который бы сказалъ мнѣ спасибо, котораго бы подвинулъ я къ добру, работая тридцать лѣтъ какъ муравей! Больно мнѣ“. Въ тотъ же день Погодинъ былъ на балѣ у Чертковыхъ и жаловался на Гоголя хозяйкѣ дома. Вернувшись домой въ 2 часа ночи, началъ читать книгу и замѣтилъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Онъ помѣшался, и пожалѣлъ объ немъ, прочелъ другія мѣста—расхохотался“.

Самую книгу Гоголь прислалъ Погодину съ слѣдующею оскорбительною надписью: „Неопратному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примѣчающему, наносящему на всякомъ шагѣ оскорбленія другимъ и того не видящему, Оумъ невѣрному, близорукимъ и грубымъ аршиномъ мѣряющему людей дарить сію книгу въ вѣчное напоминаніе грѣховъ его человѣкъ также грѣшный, какъ и онъ, и во многомъ еще неоправдѣнный его самого“.

На другой день, прочитавъ всю книгу, Погодинъ нѣсколько утѣшился и записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Прочелъ всю книгу. Увидѣлъ, что Гоголь не хотѣлъ обругать меня и дать публичную оплеуху въ назиданіе, и примирился съ нимъ мыслію. Ни досады, ни огорченія не осталось. А горько то, что онъ все-таки помѣшался, и въ помѣшательствѣ сжегъ свои сочиненія. По сужденію объ его книгѣ буду судить о людяхъ. Это дастъ мнѣ масштабъ. Много страницъ превосходныхъ. А помѣшательство произвело въ немъ гордость, какъ я видѣлъ уже давно. Онъ считаетъ своею обязанностію учить всѣхъ. Вотъ научилъ и меня! Христіанство съ апплике, а не серебряное, Богъ съ нимъ. Радъ, что не сержусь“ <sup>424</sup>).

Но въ чемъ Гоголь погрѣшилъ предъ Погодинымъ, въ томъ и послѣдній не безгрѣшенъ передъ другими. Въ одномъ письмѣ

своемъ М. А. Максимовичъ, упрекая своего друга за нетерпимость ко всѣмъ тѣмъ, которые не раздѣляютъ мнѣнія его о происхожденіи Руси, между прочимъ пишетъ: „Я вовсе не сержусь на тебя за несогласіе, какъ ты вообразилъ себѣ. Я напротивъ люблю твою стойкостью, какъ сказалъ уже въ печатномъ къ тебѣ письмѣ. Но мнѣ, говоря откровенно, не показалось то, что ты не захотѣлъ даже читать Савельева, не надѣясь найти въ немъ ничего путнаго,—что ты Венелина фантазіи называешь просто сумасбродствомъ, болѣзнію... Это мнѣ такъ же досадно было, какъ было грустно и тяжело письмо Гоголя о томъ, *Что такое слово*. Здѣсь такъ же, какъ у тебя, не было духа любви,.. да и кто вамъ далъ такое право“ <sup>425</sup>).

Какъ бы то ни было отзывъ Гоголя о Погодинѣ возмущилъ многихъ. „Я никогда не прощу Гоголю“, писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану Сергѣевичу (отъ 14 января 1847 года),—„выходокъ на Погодина: въ нихъ дышетъ дьявольская злоба, а онъ изволитъ утопать въ сладости любви христіанской“. Въ другомъ письмѣ (отъ 16 января) С. Т. Аксаковъ писалъ: „Вчера былъ у меня Погодинъ. Онъ признается, что въ первыя минуты былъ оскорбленъ до глубины души, но скоро успокоился и теперь искренно смѣется. Онъ хочетъ написать Гоголю: *Друзъ мой, Иисусъ Христосъ учитъ насъ подставлять правую ланиту, получивъ пощечину въ лѣвую; но гдѣ же учитъ Онъ давать публичныя оплеухи*. Шевыревъ сказывалъ, что онъ горько плакалъ“.

Не довольствуясь этимъ, С. Т. Аксаковъ написалъ и самому Гоголю слѣдующее: „Я не хотѣлъ и не хочу касаться до частныхъ вашей книги, но не могу умолчать о томъ, что меня всего болѣе оскорбляетъ и раздражаетъ: я говорю о вашихъ злобныхъ выходкахъ противъ Погодина. Я не вѣрилъ глазамъ своимъ, что вы, разставаясь съ міромъ и со всѣми его презрѣнными страстями, позорите, безчестите человѣка, котораго называли другомъ, и который точно былъ вамъ другъ, но *по своему*“ <sup>426</sup>).



Не одинъ только С. Т. Аксаковъ заступился предъ Гоголемъ за Погодина, за него заступились и Шевыревъ и Н. Н. Шереметева.

Вскорѣ послѣ появленія въ свѣтъ *Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями* Гоголь писалъ Погодину: „Если ты подумаешь, что я имѣю какое-нибудь неудовольствіе на тебя, то будешь не правъ. Ничего не питаю къ тебѣ другаго, кромѣ расположенія самаго дружескаго. Но не скрою, что я желалъ бы любить тебя болѣе, чѣмъ люблю теперь. А потому предувѣдомляю тебя впередъ, что отнынѣ я буду тебѣ говорить много самыхъ жесткихъ и оскорбительныхъ словъ и стану просить тебя, соединишь ли со мною, вооружиться противу всего того, что мрачить твою душу и мѣшаетъ ей выказаться во всемъ ея благородствѣ, чего ты самъ собою не можешь даже и увидать. По всему вижу, что, кажется, дѣло хочетъ устроиться такъ, дабы мы встрѣтились въ Іерусалимѣ у Гроба Господня. И тебѣ случилось помѣшательство отправиться туда въ нынѣшнемъ году, которое ты принялъ за указаніе Божіе, и я также съ своей стороны принужденъ теперь отложить эту поѣзду до слѣдующаго года. Будемъ же помышлять взаимно каждый съ своей стороны о томъ, какъ бы намъ встрѣтиться между собою такимъ образомъ, какъ на небесахъ въ дому самого Бога встрѣчаются между собой братья“. Получивъ это письмо, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Письмо Гоголя, который обѣщаетъ ругать меня и еще въ знакъ дружбы“ <sup>427</sup>).

Вскорѣ послѣ этой записи Погодинъ получаетъ отъ Гоголя изъ Неаполя другое письмо (отъ 4 марта 1847 г.), исполненное нѣжности: „Отъ С. Т. Аксакова я получилъ письмо и въ немъ извѣщеніе, что ты былъ глубоко оскорбленъ моими словами о тебѣ, напечатанными въ книгѣ, явившейся въ обезображенномъ и неполномъ видѣ. Онъ сказалъ, что ты даже плакалъ и, потомъ успокоившись, хотѣлъ писать мнѣ слѣдующее: *Друзъ мой! Иисусъ Христосъ учитъ насъ получить ланиту* (sic), *подставлятъ со смиреніемъ другую;*

но идъ же Онъ учитъ давать оплеухи. Другъ мой! зачѣмъ же ты остановился и не написалъ мнѣ этого самъ? Или почувствовалъ, что укорить за это есть уже неумѣніе подставить другую ланиту? Между нами всѣми есть недоразумѣніе. И Аксаковъ, и Шевыревъ, и ты самъ увѣрены, что я на тебя сержусь, и подъ этимъ угломъ смотреть на всѣ слова мои, привывши по чувству нѣжнаго участія щадить человѣка въ миролюбивое время и высказывать ему правду только въ гнѣвѣ. Вы и въ моихъ словахъ увидѣли гнѣвъ и, что еще хуже, долговременную мстительность. Но ни гнѣва, ни мстительности у меня тутъ не было. Первый давно прошелъ, второй же никогда не питалъ ни (къ) кому, даже какъ бы онъ ни оскорбилъ меня. Напротивъ, меня всегда веселила впередъ мысль примиренія и съ самымъ непримиримымъ и наиболѣе противу меня ожесточеннымъ непріателемъ. Минута прощенья и примиренія мнѣ всегда казалась праздникомъ и лучшею минутою въ жизни. Вотъ тебѣ истинная правда моего сердца. Но меня всегда изумляло твое безпамятство. Я долго думалъ и придумывалъ, какъ бы дать тебѣ почувствовать, что ты оскорбляешь человѣка, никакъ не думая оскорбить его. Не думалъ бы я объ этомъ такъ постоянно и долго, еслибы не случилось такое дѣло, гдѣ ты чуть-чуть не былъ причиною страшнаго событія, которое отравило бы на все время твою жизнь и сдѣлало бы твою совѣсть мучительницею твоей. Итакъ я долго думалъ о томъ, какъ бы дать тебѣ это почувствовать, и постоянная мысль объ этомъ можетъ быть была причиною, что я, говоря о тебѣ, выразился болѣе рѣзко, чѣмъ слѣдовало, желая не скрыть твоихъ недостатковъ. Какія бы ни были причины словъ моихъ о тебѣ въ книгѣ моей, но слова мои правда, ты разсмотри ихъ самъ, въ нихъ нѣтъ лжи. Неужели правда стала такъ неуважительна въ глазахъ нашихъ, что ею мы должны потчивать только враговъ своихъ, а не друзей? Правда о тебѣ выразилась словами неприличными, неосмотрительными, потому что говорю тебѣ честное слово: я не имѣлъ въ виду такъ оскорбить тебя,

но смотри, какъ странно случилось: ты, который не наблюдалъ доселѣ такъ часто приличій въ словахъ и выраженіяхъ твоихъ, явившихся въ печати, и тѣмъ невольно оскорблялъ другихъ, получилъ именно толчокъ самъ въ этомъ же самомъ, потому что, вновь тебѣ повторяю, здѣсь больше всего прочаго была виною просто неосмотрительность. Но для меня произошло отъ этого радостное явленіе, котораго я, признаюсь, совсѣмъ не ожидалъ. Ты огорчился и, можетъ быть, доселѣ огорченъ, но нѣтъ этого не можетъ быть: ты великодушенъ и умѣешь прощать, а я обрадовался и доселѣ радъ, обрадовался тому, что съ этой минуты поселилась у меня къ тебѣ такая любовь, какой никогда доселѣ не было. Увидѣть тебя, говорить съ тобой, глядѣть на тебя, мнѣ стало такъ теперь желательно, какъ никогда доселѣ. И мнѣ кажется, что дружба наша съ этихъ только поръ начнется; а доселѣ былъ одинъ ея обманчивый призракъ, условленный шаткими свѣтскими понятіями о дружбѣ; я чувствую, что отнынѣ только между нами установятся тѣ любовныя родныя рѣчи, которыя должны быть по настоящему между всѣми людьми, тѣ рѣчи, на языкѣ которыхъ и самый упрекъ кажется пріятнымъ. Мнѣ теперь такъ хочется знать все о тебѣ и что ты дѣлаешь у себя въ домѣ, и гдѣ сидишь, и что читаешь, и въ какомъ расположеніи духа, и съ кѣмъ говоришь, и что говоришь. — И я бы много далъ теперь за то, чтобы прочесть, хотя короткій, журналъ дня твоего. Другъ мой, или лучше братъ (въ названіи брата есть что-то лучшее, нежели въ названіи друга), да и Христосъ велитъ намъ быть братьями, пиши ко мнѣ просто, все что ни есть на душѣ твоей, все оно будетъ мнѣ равно пріятно, какъ бы ты ни выразился. Письма твои будутъ теперь улада мнѣ, я такъ думаю, потому что мысль о тебѣ стала мнѣ теперь услугой. Признаюсь тебѣ, что я было уже нѣсколько изнемогъ и отъ недуговъ, и отъ многихъ тяжелыхъ испытаній, и у меня есть, какъ у тебя, тяжелыя испытанія, и я не знаю, что тяжелѣе — получить ли неприличное нападеніе отъ близкаго человѣка въ печатной

книгѣ или получать письменные упреки отъ самыхъ близкихъ друзей, въ лицемѣріи, ханжествѣ, надуваніи другихъ и скорбные упреки въ игранныя комедіи тамъ и въ томъ, что было священнѣйшей мыслей и любовью души. Много нужно силъ, чтобы это вытерпѣть, но я теперь вытерпливаю съ большимъ мужествомъ. Любовь къ тебѣ стала сладкимъ чувствомъ, утѣшающимъ и освѣжающимъ силы мои, и мнѣ чувствуется, что и въ твоей душѣ что-нибудь да и произошло въ это время, и строки мои найдутъ въ ней откликъ. Напиши же мнѣ и не медли. Весь твой Г.“.

Письмо это произвело на Погодина умиленное впечатлѣніе, и онъ записалъ въ своемъ *Дневникѣ*: „Любезное и нѣжное письмо отъ Гоголя. Утѣшился, но сердца на него у меня нѣтъ, развѣ когда раздумаешься“.

---

## LXIV.

Письмо Гоголя произвело сильное впечатлѣніе не только на самого Погодина, но и на многихъ другихъ. „Христосъ воскрес!“ писалъ Погодину Шевыревъ (отъ 23 марта 1847 г.): „Любезный другъ, поздравляю тебя и все твое семейство съ свѣтлымъ праздникомъ. Гоголь пишетъ ко мнѣ о письмѣ къ тебѣ. Съ нетерпѣніемъ желаю прочесть его. Мнѣ пріятно его обращеніе къ тебѣ. Оно открываетъ мнѣ все-таки, что книга его, не смотря на множество въ ней грѣховъ и ошибокъ, простекла изъ чистаго источника“. Въ то же время и С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: „Я знаю, что вы получили письмо отъ Гоголя и письмо доброе; я получилъ такое же, и потому не пріѣдете ли вы ко мнѣ, чтобы я могъ прочесть ваше, а вы мое, и чтобы мы вмѣстѣ порадовались и потолковали“<sup>429</sup>).

Самъ же Гоголь писалъ Шевыреву (отъ 27 апрѣля 1847 г.): „Прежде всего поговоримъ о Погодинѣ, то-есть, о моемъ печатномъ отзывѣ о Погодинѣ. Позабылъ я о моихъ словахъ, по-

тому что, право, не думалъ писать ихъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ они кажутся тебѣ (хотя я самъ изумился разности словъ моихъ, когда прочелъ въ печати). Причиной невѣрности твоего вывода моя же статья. Таково дѣйствіе всякаго сочиненія, въ которомъ разсматривается половина дѣла, а не все дѣло. Умолчавши о достоинствахъ, вывести недостатки — всегда будетъ казаться отверженіемъ и непризнаніемъ достоинствъ. Я вовсе не хотѣлъ попрекнуть Погодина за то, что онъ работалъ тридцать лѣтъ, какъ муравей, но за то, что онъ не умѣлъ поступить такъ, чтобы увидѣли всѣ, что онъ тридцать лѣтъ, какъ муравей, работалъ для добра. Статьи этой не нужно уничтожать, но вслѣдъ за ней я помѣщу письмо къ тебѣ, подъ заглавіемъ: *О достоинствахъ сочиненій и литературныхъ трудовъ Погодина*, и мы увидимъ, въ состояніи ли эти недостатки затмить тѣ его достоинства, которыя принадлежатъ ему одному и которыхъ никто другой не имѣетъ; мы разсмотримъ также и то, умѣетъ ли теперь кто-нибудь изъ насъ такъ любить Россію, какъ любить онъ. Повѣрь, что статья эта теперь гораздо полезнѣй для сочиненій Погодина, тѣмъ болѣе, что послѣ моихъ жесткихъ словъ о Погодинѣ, меня никто не станетъ упрекать въ лицепріятіи. Я не отрекусь отъ моихъ нападеній, но рядомъ съ ними выставлю только, что слѣдуетъ взять на вѣски, когда произносишь полный судъ надъ человѣкомъ“.

Но письма *О достоинствахъ сочиненій и литературныхъ трудовъ Погодина* Гоголь не написалъ, а жесткія слова остались навсегда и послужили орудіемъ для враговъ Погодина, не умѣвшихъ или не желавшихъ судить о *достоинствахъ сочиненій и литературныхъ трудовъ* его.

Въ Погодинѣ приняла участіе и Н. Н. Шереметева, хотя лично и не была съ нимъ знакома, и Гоголь, оправдываясь передъ нею, писалъ ей: „Поступки Погодина относительно меня были совершенно неумышленны. Онъ дѣйствовалъ, вовсе не думая оскорбить меня. Надобно вамъ знать лучше Погодина. Это добрѣйшая душа и добрѣйшее сердце. Великодушіе состав-

ляетъ главную черту его характера. Но съ тѣмъ вмѣстѣ нѣкоторая грубость, незнаніе приличій, безпамятство и разсѣянность (по причинѣ множества дѣлъ, которыми онъ всегда опутанъ) поставляли его безпрестанно въ непріятныя отношенія съ людьми, въ возможность огорчать ихъ, безъ желанія огорчать. Я долго думалъ о томъ, какъ объяснить ему все это и заставить его оглянуться на себя, какъ вдругъ моя книга почти безъ моего вѣдома нанесла ему пораженіе (я совершенно позабылъ слова и фразы, и, еслибы самъ печаталъ, то вѣроятно бы ослабилъ ихъ). Скажу вамъ, что я этому даже обрадовался, имѣя случай черезъ это съ нимъ прямо объясниться. Я писалъ къ нему письмо (отъ 4 марта), которымъ, вѣроятно, онъ удовлетворился. Скажу вамъ еще для полного успокоенія вашего, что я никогда еще не любилъ такъ Погодина, какъ люблю его теперь. Человѣкъ этотъ, кромѣ того, что всегда былъ достоинъ всякаго уваженія, въ послѣднее время значительно измѣнился. Несчастія и разныя душевныя потрясенія умягчили его душу до того, что она теперь способна понимать многое изъ того, къ чему прежде была менѣ чувствительна. И я чувствую, что отнынѣ у насъ съ нимъ будетъ дружба большая и здѣсь, и тамъ. Вотъ вамъ, мой другъ, непритворный отчетъ по этому дѣлу!“.

Долго обдумывалъ и писалъ Погодинъ свой отвѣтъ Гоголю на письмо его отъ 4 марта, и только подъ 8 *апрѣля* 1847 г. въ *Дневникъ* его мы находимъ слѣдующую записъ: „Писалъ письмо Гоголю“.

Такимъ образомъ Погодинъ, вопреки началу, почти мѣсяцъ писалъ свой отвѣтъ Гоголю. Воспроизводимъ его по черновому, собственноручному списку:

„Сейчасъ получилъ письмо твое, любезный Николай Васильевичъ, и отвѣчаю тебѣ, утѣшенный, умиленный. У меня отлегло сердце, развязались руки. До сихъ поръ никакъ не могъ я собраться съ духомъ, чтобъ писать къ тебѣ о твоей книгѣ; боялся больше всего, чтобъ ты не приписалъ моего мнѣнія растревоженной личности. Съ чего же начну теперь—

все, осѣдавшее долго на дно сердца, просится наружу. Не ищи порядка, не ищи обдуманности; только чтобъ не пропустить чего нужнаго. Нѣтъ—скажу тебѣ прежде, во исполненіе твоего желанія, какъ получилъ твое письмо: нынѣ страстной понедѣльникъ, я только что возвратился отъ обѣдни и сталъ пить чай. Передо мной сидѣлъ боснякъ, ѣздившій въ Царю просить о покровительствѣ Православной церкви, угнетенной Турками. Я говорилъ съ нимъ, и между тѣмъ былъ въ раздумьѣ—говѣть или отложить до лѣта, потому что теперь беспокоенъ духомъ и слишкомъ стѣсненъ обстоятельствами. Ты не можешь себѣ представить, сколько удовольствія доставило мнѣ письмо. Я спровадилъ поскорѣе гостя и началъ его перечитывать. Рѣшился говѣть—вотъ первый его плодъ.

„Книгу твою увидѣлъ я въ первый разъ 10 января. Мнѣ указали прежде всего мѣста, которыя касаются до меня. Огорченъ я былъ до глубины сердца: какъ, *тридцать лѣтъ я трудился, и ни одинъ юноша не говоритъ мнѣ будто спасибо, и ни одного юноши не подвинулъ я ни къ какому добру.* Я готовъ былъ плакать. Мы ѣхали тогда съ Шевыревымъ на балъ въ Чертковымъ. Въ этомъ духѣ говорилъ я съ Лизаветою Григорьевной, подъ шумокъ музыки, терзаясь внутренно. Лишь только воротился домой, во 2 часу ночи, началъ читать книгу. Прочелъ завѣщаніе—испугался, продолжалъ нѣсколько чтеніе—задумывался, смѣялся, соглашался. На другой день прочелъ книгу всю разомъ, и впечатлѣніе осталось во мнѣ совершенно мирное и гармоническое, такъ что я былъ самъ пораженъ такою внезапной переменною. Ни малѣйшаго непріятнаго чувства отъ вечера не осталось. Тотчасъ написалъ объ этомъ Шевыреву и Лизаветѣ Григорьевнѣ Черковой, которые были свидѣтелями моего волненія. Это впечатлѣніе послужило для меня доказательствомъ, что книга, не смотря на свои недостатки и странности, написана искренно, отъ души, съ добрымъ намѣреніемъ. Первые эти минуты почитаю я удивительными, священными, и воспоминаніе о нихъ доставляетъ мнѣ теперь еще удовольствіе... Послѣ въ разго-

ворахъ съ пріятелями при случаяхъ я передавалъ это, но вообще былъ холоденъ, разбиралъ сочиненіе по частямъ, большею частію былъ недоволенъ, сѣтовалъ, впрочемъ умомъ, но не сердцемъ, и отстаивалъ только искренность, приписывая все нехорошее или странное болѣзненному душевному разстройству, а разстройства первоначальнаго далекаго, отъ тебя самого потаенною, причиною—полагалъ и теперь полагаю—гордость. На эту уду поймалъ тебя злой духъ, принявшій видъ ангела свѣта. Твое уединеніе (вспомни, что и Спасителя искушалъ онъ въ пустыни) помогло ему много, и умъ у тебя началъ заходить за разумъ. Къ тому же и характеръ скрытный. Бревна въ своемъ глазу мы не видимъ, но видимъ ясно сучекъ у ближняго. Это есть великая истина, въ которой я убѣжденъ глубоко, и вотъ почему письмо твое послѣ кончины Лизы съ обнаруженіемъ нѣкоторыхъ моихъ пороковъ я счелъ благодѣяніемъ, облилъ его нѣсколько разъ горячими слезами и нарочно, стараясь преодолѣть свое самолюбіе, читалъ его нѣкоторымъ изъ моихъ, считающихъ меня совершеннымъ человѣкомъ, читалъ при случаѣ врагу Строганову и проч. Такъ и писалъ къ тебѣ и просилъ убѣдительно говорить мнѣ, что есть именно дурного. Свидѣтель Богъ, что говорилъ истину, и желаю исправиться. Такъ писалъ тебѣ и въ прошломъ году, кажется—изъ Теплица. Для чего же тебѣ поносить и ругать меня публично, съ какою цѣлію? Еслибъ я не слушалъ тебя, то ты могъ бы разсудить (справедливо или нѣтъ): надо жъ де его наказать и вразумить передъ всѣми... не лучше ли онъ такъ послушаетъ. Но оставимъ это. Я заелинаю тебя всѣмъ для тебя священнымъ, расскажи мнѣ, объясни, что ты именно во всѣхъ моихъ поступкахъ, словахъ, сочиненіяхъ находишь порочнаго, предосудительнаго. Давно, давно считаю я такую откровенность первымъ признакомъ дружбы истинной и высокой; недавно убѣдился, что цѣнить такую дружбу могутъ немногіе и положилъ храненіе устомъ,—но за себя въ этомъ отноше-



ніи болѣе, чѣмъ въ иномъ, ручаюсь. Всякій совѣтъ приму къ сердцу.

„О какомъ безпамятствѣ ты еще пишешь—ей Богу, не понимаю. Гдѣ я *чуть чуть* не былъ *причиной страшнаго событія*, которое *отравило бы на все время мою жизнь*? Умоляю тебя—объясни. Я трепещу всѣмъ сердцемъ. Перечелъ еще разъ письмо твое. Вижу, что ты теперь гораздо спокойнѣе и способнѣе разсуждать. Слава Богу, слава Богу! Но ты былъ очень разстроенъ, самъ не примѣчая того. Такое разстройство случается съ нами, людьми, работающими головою, отъ разныхъ причинъ, болѣе или менѣе важныхъ, даже физическихъ, отъ напряженія, отъ занятій и т. п.“

Отвѣтомъ Погодина Гоголь, по видимому, остался недоволенъ, по крайней мѣрѣ вотъ что онъ писалъ С. Т. Алексову (отъ 10 іюня 1847 г.): „Я теперь раскаяваюсь, что завелъ переписку съ Погодинымъ. Хотя только и думалъ, принимаясь за перо, какъ бы не оскорбить его, но однакоже замѣчаю, что письма мои не приносятъ ему никакого успокоенія. При тѣхъ же понятіяхъ, какія у него обо мнѣ, нынѣ всякое слово съ моей стороны обо мнѣ самомъ можетъ только его еще больше спутать“. Еще рѣзче писалъ Гоголь Смирновой (отъ 20 іюня 1847 г.): „Я знаю только одного моего пріятеля, очень почтеннаго во всѣхъ отношеніяхъ человѣка, отъ котораго я ничему не научился. Этотъ пріятель мой есть бѣдный Погодинъ. Все, что ни говорилъ онъ обо мнѣ и мнѣ, все было не впопадъ. Ни разу во всю жизнь свою не опредѣлилъ мнѣ справедливо ни одного моего дѣйствія. Вы можете сами постигнуть, каково было положеніе мое съ этимъ человѣкомъ въ тѣ поры, когда я сердился на всякую напраслину, особливо, когда эта напраслина возводится на насъ любящимъ насъ человѣкомъ. А человѣкъ этотъ точно любилъ меня, но по своему, но отъ этой любви мнѣ приходило до слезъ. Теперь, разумѣется, все это прошло. Я самъ пришелъ въ положеніе человѣка, могущаго о себѣ слышать все хладнокровно. Онъ, кажется, самъ почувствовалъ, что я

его не отталкиваю и что я хочу стать съ нимъ въ прямыя отношенія; но при всемъ томъ (изумительное дѣло!), какъ только заговорить онъ обо мнѣ, или о моей книгѣ, по мѣрѣ того, какъ онъ отыскиваетъ въ ней меня, — все до послѣдняго слова, не впадать, такъ что Бѣлинскій, Сенковский, Павловъ... и наконецъ всѣ целкоперы и наѣзники, которые налетаютъ въ еженедѣльныхъ газетахъ затѣмъ, чтобы порисоваться самому и показать, что и у него есть чѣмъ боднуть, словомъ—самый несправедливѣйшій и бранчивый изъ нихъ, сказать мнѣ что-нибудь нужнаго принять къ свѣдѣнію; одинъ онъ—ничего, кромѣ развѣ той истины, которою мнѣ, безъ сомнѣнія, слѣдовало бы воспользоваться, а именно: умѣть вынести полное исковерканье себя, смолчать все, принять на свой счетъ и не хотѣть оправдаться. Я бы очень желалъ, чтобы вы познакомились съ нимъ, разспросили бы его сами, какихъ онъ мыслей обо мнѣ, не сердясь ни на что и руководствуясь изряднымъ запасомъ терпѣнія. Оправдывать меня передъ нимъ не нужно. Лучше всего, еслибы его можно было возвести до христіанскаго сознанія, что онъ можетъ ошибиться, что весьма трудно судить о такомъ человѣкѣ, который еще строится, но не состроился, и потому весь внутри, что здѣсь можно всякое дѣйствіе принять ошибочно, истолковавъ его въ дурную сторону, что такого человѣка можетъ понять развѣ одинъ такой, который самъ тоже строится; словомъ, еслибы могли его убѣдить хотя въ справедливости этой мысли, то это было бы уже доброе дѣло. Положеніе подобныхъ людей точно жалко. Какъ бы то ни было, но они должны страдать обо мнѣ, если только меня любятъ. Они теперь—точно малыя дѣти, у нихъ Богъ въсть что въ головѣ: они, напримѣръ, думаютъ, что я имѣю необыкновенную страсть къ знатымъ, знакомлюсь только съ ними, что для меня незнатный человѣкъ, будь благороднѣйшій и высокихъ добродѣтелей, ни почемъ; словомъ, такіа вещи, что мнѣ сдѣлалось даже стыдно писать о себѣ, не только разувѣрять. Не позабудьте при этомъ, что Погодинъ,

сверхъ того, еще истинный христіанинъ, который очень расположенъ видѣть собственные недостатки. Но онъ до такой степени позабывчивъ, что его во всякомъ дѣлѣ и дѣйствіи нужно приводить ко Христу. Ставши лицомъ въ самому Христу, онъ вдругъ опомнится и увидитъ какъ слѣдуетъ вещь. На мигъ отнесешь отъ него образъ Христа — онъ вдругъ отдастся отъ справедливаго воззрѣнія на житейское дѣло и думаетъ уже обо всемъ вновь какъ Погодинъ, а не какъ христіанинъ<sup>429</sup>).

Не смотря на это, письменныхъ сношеній своихъ съ Погодинымъ въ теченіе 1847 года Гоголь не прерывалъ. 28 августа изъ Остенде Гоголь писалъ ему: „Что-то странное дѣлается между нами. Тебѣ кажется по тѣмъ письмамъ, что я нахожусь въ неспокойномъ состояніи духа; мнѣ кажется по твоимъ письмамъ, что ты находишься въ неспокойномъ состояніи. Тебѣ кажется, что я толкую криво всѣ твои слова и вижу вещи не въ томъ видѣ; мнѣ кажется, что ты даешь превратный смыслъ всякому моему слову и видишь ихъ не въ томъ видѣ. Какой-то нечистый духъ насъ путаетъ. Открестимся отъ него и положимъ между собой: не оправдываться ни въ чемъ другъ передъ другомъ. Судить вѣдь насъ будетъ Богъ, а не люди и не мы сами себя, а потому, что намъ въ оправданіяхъ передъ собой. Уважимъ лучше несхожія другъ на друга *особенности* нашихъ характеровъ и вслѣдствіе этого не будемъ спѣшить выводить другъ о другѣ заключенія“.

Узнавъ отъ Хомякова о занятіяхъ Погодина, Гоголь писалъ ему: „Отъ Хомякова я узналъ очень пріятную для меня новость: именно, что ты пишешь серьезно Русскую исторію. Богъ да благословитъ тебя въ этомъ трудѣ; это твой настоящій трудъ. Здѣсь ты соберешься весь въ себя и будешь собой. Донынѣ ты былъ весь разбросанъ, а потому и не въ силахъ былъ *быть* собой. Оттого легко было и нападать на тебя, и поражать тебя. Тутъ же въ этомъ дѣлѣ соберутся твои силы въ плотную твердыню, и на тебя трудно будетъ напасть кому бы то ни было. Трудъ твой доставитъ тебѣ много слад-

нихъ минутъ и забвенье всего того, что способно смущать насъ и повергать въ малодушіе... Думай непрерывно о томъ главномъ дѣлѣ, для котораго далъ тебѣ Богъ способности и силы, молись Ему—и все будетъ хорошо“.

Странное однако дѣло, въ концѣ 1847 года Гоголь написалъ такое дружеское письмо къ Погодину, которое никакъ не согласуется съ письмами его С. Т. Аксакову и Смирновой о томъ же Погодинѣ. „Что же ты, добрый мой, замолчалъ опять? Остановило ли тебя просто *нехотѣнье* писать, *неимѣнье* потребности высказывать настоящее состояніе твоего духа или оскорбило тебя какое-нибудь выраженіе письма моего? Но мало ли чего бываетъ въ словахъ нашихъ? Мы ими безпрестанно оскорбляемъ другъ друга, даже и не примѣчая того. Что намъ глядѣть на слова, будемъ писать попрежнему, какъ общались, и станемъ прощать впередъ всякое оскорбленіе. Мнѣ очень многихъ случилось оскорбить на вѣку. Если мнѣ не стануть прощать *близкіе* и великодушные, какъ же тогда простятъ *далекіе* и малодушные. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе вижу, какъ я много оскорбилъ тебя, могу сказать, что только теперь чувствую *величину* этого оскорбленія, а прежде и въ минуту, когда я нанесъ это публичное оскорбленіе тебѣ, я вовсе не чувствовалъ, я даже не думалъ, что я поступаю такъ, какъ слѣдовало мнѣ. Странное однакожъ дѣло, я не чувствую однакожъ ни стыда, ни раскаянія. Я только люблю тебя больше, именно отъ того, что чувствую себя неправымъ передъ тобой, точно какъ бы мнѣ теперь хочется любить только тѣхъ, кто великодушнѣе меня. Твердое ли убѣжденіе въ томъ, что нѣтъ вещи *неисправимой*, и гордая надежда на силы, которыя подаетъ мнѣ Богъ исправить промахи мои; что бы то ни было, только я гляжу съ какимъ-то безстыдствомъ въ глаза всѣмъ тѣмъ, которыхъ я оскорбилъ, а въ томъ числѣ и тебѣ“ <sup>430</sup>).

---

LXV.

Изъ Московскихъ друзей своихъ Гоголь былъ ближе всѣхъ къ добродушному Шевыреву, который не только цѣнилъ его талантъ, но и оказывалъ ему существенныя услуги въ его житейскихъ дѣлахъ. Онъ держалъ корректуры его сочиненій, возился съ книгопродавцами и былъ на стражѣ его финансовыхъ интересовъ; въ то же время никогда не покушался эксплуатировать въ свою пользу талантъ Гоголя и не стремился руководить направлениемъ его мыслей. Однимъ словомъ, чѣмъ былъ для Гоголя Плетневъ въ Петербургѣ, тѣмъ былъ Шевыревъ въ Москвѣ. „Если вы“, писалъ Гоголь Смирновой,—„будете когда-либо въ Москвѣ, не позабудьте познаться съ Шевыревымъ. Человѣкъ этотъ стоитъ на точкѣ разумнѣя, несравненно выше чѣмъ всѣ другіе въ Москвѣ, и въ немъ зрѣетъ много добра для Россіи“.

На первыхъ порахъ по выходѣ въ свѣтъ *Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями* Шевыревъ былъ сильно возбужденъ противъ этой книги и, по свидѣтельству С. Т. Аксакова, собирался даже напечатать *безпощадный разборъ ея* <sup>431</sup>). Но отъ этого Шевыревъ былъ удержанъ княземъ П. А. Вяземскимъ, который писалъ ему: „Наши критики смотрятъ на Гоголя, какъ смотрѣлъ бы баринъ на вѣршного человѣка, который въ домѣ его занималъ мѣсто сказочника и потѣшника и вдругъ сбѣжалъ изъ дома и постригся въ монахи... Сказываютъ, что и вы строго судите новую книгу Гоголя. Я всегда былъ того мнѣнія, что вы, Хомяковъ и другіе слишкомъ преувеличивали достоинство Гоголя, придавали ему произвольное значеніе, которое было ему не въ мѣру, и такимъ образомъ производило вредное дѣйствіе и на общее мнѣніе, и на него самого. Равно и теперь полагаю, что вы не правы, если не сочувствуете книгѣ его. Разумѣется, въ ней много странностей, излишествъ, натяжекъ; но все это было и въ прежнихъ твореніяхъ его, въ которыхъ вы видѣли преобразование, возрожденіе, преображеніе Литературы нашей. Въ

Гоголь много истиннаго, но онъ самъ не истиненъ; много природы, но онъ самъ не натураленъ; много здраваго, бодрaго, но онъ самъ болѣзненъ: былъ таковымъ прежде, таковъ и нынѣ <sup>432)</sup>“.

Ту же мысль о критикахъ Гоголя князь П. А. Вяземскій еще подробнѣе развилъ печатно.

„Журнальная критика“, писалъ онъ по поводу новой книги Гоголя, — „явила странныя требованія. Казалось ей, будто онъ и мы всѣ имѣемъ какое-то крѣпостное право надъ нимъ, какъ будто онъ приписанъ къ такому-то участку земли, съ котораго онъ не воленъ былъ сойти. На эту книгу смотрѣли какъ на возмущеніе, на предательство, на неблагодарность. Нѣкоторые поступили въ этомъ случаѣ, какъ поступилъ бы иной помѣщикъ, хозяинъ доморощеннаго театра, если главный актеръ, разыгрывающій у него первыя комическія роли, вдругъ, по увязленію совѣсти и неодолиму призыванію, отказался бы отъ скоморошества, изъявивъ желаніе посвятить себя пощевію и отшельнической жизни. Разгнѣванный Транжиринъ и слушать не хочетъ о спасеніи души его. Онъ грозитъ ему, подъ опасеніемъ наказанія требуетъ отъ него, чтобы онъ пустяковъ въ голову не забиралъ, не въ свои дѣла не вмѣшивался, а продолжалъ потѣшать барина, разыгрывая роли Хлестакова, Чичикова и тому подобныя. Можно было надѣяться, что важность и духовное направленіе книги нѣсколько образумитъ и критику нашу. Надежда не сбылась. Все написанное о ней было болѣе или менѣе неприлично“.

Такимъ образомъ Шевыревъ вмѣсто *безпощаднаго* сдѣлалъ весьма справедливый разборъ книги Гоголя и напечаталъ его въ *Москвитянинѣ* 1848 года. Въ этомъ разборѣ Шевыревъ между прочимъ ставитъ слѣдующіе вопросы: „Отчего Гоголь, изображая въ своей *Перепискѣ съ друзьями* свѣтлыя и утѣшительныя стороны нашего быта, явился здѣсь дидактикомъ, а не художникомъ? Какъ объяснить, почему послѣ Пушкина суждено было комику быть представителемъ нашей Поэзіи и играть въ ней главную роль? Комическая сторона всегда шла у насъ объ руку съ важною, какъ въ

Греція, а подь конецъ осилила все и сдѣлалась господствующею. Почему, въ извѣстное время, снятся поэту Осы, Лагушки, Облака, Птицы, все животныя или бездушныя предметы, а не разумные люди? Почему онъ доходитъ, что опоплѣлъ въ искусствѣ добродѣтельный человѣкъ? Почему думается, что и въ жизни сталъ дрянъ и тряпка всякъ человѣкъ? Почему, когда пришлось художнику вывести нѣсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, то художникъ остался тѣмъ недоволенъ, нашелъ это натынутымъ, — и вотъ летитъ въ огонь второй томъ *Мертвыхъ Душъ*? Отчего жъ, въ извѣстное время, выпускаетъ охотнѣе въ свѣтъ Собакевичей, Ноздревыхъ, Маниловыхъ, Плюшкиныхъ и такъ далѣе, а изображенія благородныхъ характеровъ летать въ огонь? Поставивши эти вопросы Шевыревъ замѣчаетъ: „Мы не беремся объяснять этого явленія. Есть тайныя, неизъяснимыя связи между искусствомъ и жизнію, есть процессъ въ движеніи самаго искусства, который неуклонно слѣдуетъ своему началу. Отсюда можно только разгадывать причины такихъ важныхъ явленій“.

Я имѣлъ счастливый случай бесѣдовать по этому предмету съ нашимъ почтеннымъ мыслителемъ, Дмитріемъ Аркадіевичемъ Столыпинымъ. И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на вопросы, поставленные еще въ 1848 году, получилъ отъ него 25 сентября 1893 года слѣдующія строки: „Мы говорили съ вами въ Знаменскомъ о Гоголѣ, по поводу его книги *Переписка съ друзьями*. Гоголь называлъ *Мертвыя Души* поэмой, но настоящая поэма и драма была въ немъ самомъ. Гоголь былъ очень религіозенъ и глубокой христіанинъ. Изобразивъ Чичикова въ первомъ томѣ *Мертвыхъ Душъ* плутоватымъ человѣкомъ, во второмъ томѣ онъ посадилъ его въ тюрьму и захотѣлъ вызвать въ немъ чувство раскаянія и сознание въ своихъ грѣхахъ. Но это оказалось невозможнымъ. Чичиковъ на столько типъ плутоватости, что освѣтить его новымъ свѣтомъ человѣка, пострадавшаго и раскаявшагося, вызвало бы смѣхъ. Христіанское чувство любви къ ближнему

побуждало Гоголя облагородить Чичикова, но это не удалось, и Гоголь бросает свою рукопись въ огонь \*)).

Сохраняя съ Шевыревымъ неизмѣнно добрыя отношенія, Гоголь даетъ ему порученіе, которое дѣлаетъ великую честь обоимъ и показываетъ, что у Гоголя слово съ дѣломъ не расходилось. „Прошу особенно тебя“, писалъ онъ Шевыреву (2 сентября 1847 г.), — „наблюдать за тѣми изъ юношей, которые уже выступили на литературное поприще. Въ ихъ положеніе хозяйственное стоитъ, право, взойти. Они принуждены бываютъ весьма часто изъ-за дневного пропитанья брать работы не по силамъ и не по здоровью. *Цѣна пять рублей серебромъ за печатный листъ* просто безчеловѣчная. Сколько ночей онъ долженъ просидѣть, чтобъ выработать себѣ нужныя деньги! Особенно, если онъ при этомъ сколько-нибудь совѣстливъ и думаетъ о своемъ добромъ имени. Не позабудь также принять въ соображеніе и то, что нынѣшнее молодое поколѣніе и безъ того болѣзненно, разстроено нервами и всякими недугами. Придумай, какъ бы прибавлять имъ отъ имени журналистовъ плату, которые будто бы не хотѣли сдѣлать этого гласно, словомъ—какъ легче и лучше придумается. Это твое дѣло. Твоя добрая душа найдетъ, какъ это сдѣлать, отклоня всякую догадку и подозрѣніе о нашемъ съ тобою тепломъ личномъ участіи въ этихъ дѣлахъ“ <sup>433</sup>).

Къ сожалѣнію, мы имѣемъ весьма скудныя свѣдѣнія объ отношеніи нашего духовенства къ книгѣ Гоголя. Но и изъ того, что имѣемъ, можемъ заключить, что отношеніе это было болѣе или менѣе сочувственно. Въ одномъ письмѣ С. Т. Аксакова къ сыну (23 февраля 1847 г.) читаемъ: „Филаретъ сказалъ, что хотя Гоголь во многомъ заблуждается, но надо ра-

\*) Думалъ ли я, въ концѣ сентября оживленно бесѣдуя, въ Знаменскомъ, съ добрымъ, милымъ Дмитріемъ Аркадіевичемъ о Гоголѣ и Гамазовѣ, думалъ ли я, чтобы черезъ какой-нибудь мѣсяцъ мнѣ пришлось бы присутствовать со многими его любящими при опусканіи праха его въ могилу!...

*Христосъ тя упокоитъ во страніи живущихъ, и врата райская да отверзнутъ ти.*

Такъ поетъ Церковь наша, провожая чадъ своихъ въ путь всея земли.  
1-го ноября 1893. Москва.



доваться его христіанскому направленію" <sup>424</sup>). Получивъ отъ самаго Гоголя *Выбранныя мѣста*, архіепископъ Херсонскій Иннокентій писалъ Погодину: „Гоголя читалъ и даже записочку его съ книгою получилъ, не знаю—отъ кого, не отъ васъ ли? Онъ проситъ отвѣчать. Но куда же? въ Неаполь? а его уже тамъ нѣтъ, и что писать? Если вы пишете къ нему, то скажите, что я благодаренъ за дружескую память, помню и нѣжно его люблю по прежнему, радуюсь перемѣнѣ съ нимъ, только прошу его не парадировать набожностію: она любить внутреннюю клятву. Впрочемъ это не то, чтобы онъ молчалъ. Голосъ его нуженъ для молодежи — особенно, но если онъ будетъ неумѣренъ, то она подниметъ его на смѣхъ, и плода не будетъ" <sup>425</sup>). Извѣстный настоятель Сергіевой пустыни, близъ Стрѣльны, архимандритъ Игнатій (Брянчаниновъ), изучивъ книгу Гоголя, написалъ ему письмо, которое пріятно удивило Гоголя. „Что касается до письма Брянчанинова“, писалъ Гоголь Плетневу (9 мая 1847 г.),—„то надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познаніе догматовъ. Это познаніе слышно во всякой строкѣ его письма. Все сказано справедливо и все вѣрно. Но чтобы произнести полный судъ моей книгѣ, для этого нужно быть глубокому душевѣдцу, нужно почувствовать и услышать страданіе той половины современнаго человѣчества, съ которою даже не имѣть и случаевъ сойтись монахъ: нужно знать не свою жизнь, но жизнь многихъ. Поэтому никакъ для меня неудивительно, что имъ видится въ моей книгѣ смѣшеніе свѣта съ тьмой. Свѣтъ для нихъ та сторона, которая имъ знакома: тьма — та сторона, которая имъ незнакома; но объ этомъ предметѣ нечего намъ распространяться. Все это ты чувствуешь и понимаешь, можетъ быть, лучше моего. Во всякомъ случаѣ письмо это подало мнѣ доброе мнѣніе о Брянчаниновѣ. Я считалъ его, основываясь на слухахъ, просто дамскимъ угодникомъ“.

Все это замѣчаніе Гоголя не можетъ быть примѣнимо къ архимандриту Игнатію, такъ какъ послѣдній изъ блестящаго свѣтскаго человѣка по собственному призванію, а не изъ

мірскихъ разсчетовъ, возлюбилъ иноческое житіе; слѣдовательно, *свѣтъ* и *тьма* были ему одинаково знакомы.

Но не всѣ духовныя особы отнеслись такъ благовоительно къ книгѣ Гоголя. Д. Г. Бѣлавинъ, по выслушаніи главъ настоящаго сочиненія, въ которыхъ говорится о *Перепискѣ Гоголя съ друзьями*, сообщилъ мнѣ слѣдующее: „Я припоминаю отъ временъ моей юности сужденіе по сему предмету преосвященнаго Григорія, епископа Калужскаго, расположеніемъ котораго я имѣлъ счастье пользоваться за все мое пребываніе въ Калугѣ. Однажды за обѣдомъ въ одномъ высокопоставленномъ семействѣ разговоръ зашелъ о Гоголѣ и коснулся *Переписки съ друзьями*. Споры были большіе; кто про, кто contra. Кто-то выразился: *читая эту переписку, удивляешься тому, что Гоголь даже богословъ*. На это преосвященный Григорій, съ свойственнымъ ему добродушіемъ и голосомъ, полнымъ — какъ бы сожалѣнія, сказалъ: *О, полноте — какой онъ богословъ, онъ просто сбившійся съ истиннаго пути пустословъ*. Слышалось, какъ мнѣ казалось, въ этихъ словахъ: не осужденіе, а именно сожалѣніе о потерѣ Гоголя для Русской Литературы“.

Черезъ графа А. П. Толстаго Гоголь сблизился съ Ржевскимъ протоіереемъ Матвѣемъ Александровичемъ Константиновскимъ, и эта личность имѣла огромное вліяніе на Гоголя.

Тертій Ивановичъ Филипповъ въ *Воспоминаніи о графѣ А. П. Толстомъ* своимъ краснорѣчивымъ перомъ начерталъ для потомства блистательную характеристику этого замѣчательнаго Русскаго человѣка. „Отецъ Матвѣй“, повѣствуетъ Тертій Ивановичъ, — „родился въ 1792 и умеръ въ 1857 году, сынъ священника села Константинова, Новоторжскаго уѣзда Тверской губерніи, воспитанникъ Тверской семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ вмѣстѣ съ П. А. Плетневымъ (съ которымъ въ пятидесятыхъ годахъ и возобновилъ свое давнее знакомство при моемъ посредствѣ), поступилъ дьякономъ въ с. Осѣчно (нынѣ извѣстное по желѣзнодорожной станціи) Вышневолоцкаго уѣзда, откуда, по прошествіи семи лѣтъ, былъ переведенъ, по особому распо-

ряженію архієпископа Филарета (впослѣдствіи митрополита Московскаго), священникомъ въ Корельское село Діево, Бѣжецкаго уѣзда, помѣщиковъ Демьяновыхъ, съ которыми онъ былъ связанъ тѣснѣйшими узами дружбы и признательности, а оттуда, черезъ тринадцать лѣтъ, перешелъ того же уѣзда въ древнее село Езьско, упоминаемое въ одномъ изъ историческихъ документовъ XII вѣка въ числѣ Новгородскихъ владѣній, гдѣ пробылъ три съ половиною года, до своего перевода во Ржевъ (1836 г.) , который состоялся не безъ участія въ томъ графа Александра Петровича Толстаго, бывшаго въ ту пору Тверскимъ губернаторомъ.

„Съ молоду наклонный къ подвижнической жизни и способный перенести всякое самое тяжкое лишеніе, восторженнымъ чувствомъ художника любя великолѣпіе православнаго богослужебнаго чина, въ которомъ онъ не позволялъ себѣ опустить ни единой черты, и, что всего важнѣе, обладая даромъ слова, превосходящимъ всякую мѣру, онъ съ первыхъ же лѣтъ своего служенія церкви, сдѣлался учителемъ окрестъ живущаго народа, и вездѣ, гдѣ ни приходилось ему дѣйствовать, дѣлался центромъ, около котораго собиралось все, искавшее христіанскаго пути и имѣвшее нужду въ исцѣленіи душевныхъ язвъ, въ возстановленіи упавшихъ силъ и въ ободреніи на внутренній подвигъ. Въ свою очередь и онъ, по собственному его признанію, былъ безконечно обязанъ тому низу между нами поставленному, но предъ Богомъ высокому обществу, среди котораго протекли первые двадцать-четыре года его учительской и пастырской дѣятельности. Онъ навсегда сохранилъ живое воспоминаніе и съ восторгомъ и неподражаемымъ художествомъ рѣчи передавалъ намъ, позднѣйшимъ его ученикамъ, о тѣхъ поразительныхъ проявленіяхъ живого и дѣятельнаго благочестія между его деревенскими духовными друзьями, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ, а отчасти и виною, и которыя такъ и просились на страницы Четій-Миней. О. Матвѣй не разъ сообщалъ мнѣ съ нѣкоторымъ даже удивленіемъ о томъ впечатлѣніи, которое его рассказы объ этихъ

высокихъ явленіяхъ духа въ нашемъ народѣ производили на Гоголя, слушавшаго ихъ, по библейскому выраженію, отверстыми устнами и не знавшаго въ этомъ никакой сытости. Мнѣ это было понятнѣе, чѣмъ самому рассказчику, который едва ли вполне сознавалъ, какую роль въ этомъ дѣлѣ, кромѣ самаго содержанія, играло высокое художество самой формы повѣствованія. Дѣло въ томъ, что, въ теченіе цѣлой четверти вѣка обращаясь посреди народа, о. Матвѣй, съ помощью жившаго въ немъ исключительнаго дара, успѣлъ усвоить себѣ ту идеальную народную рѣчь, которой такъ долго искала и донынѣ ищетъ, не находя, наша Литература, и которую Гоголь, самъ великій художникъ слова, такъ неожиданно обрѣлъ готовою въ устахъ какаго-то въ ту пору совершенно безвѣстнаго священника, никому, кромѣ небольшого, сравнительно говоря, числа его духовныхъ дѣтей и провинціальныхъ почитателей, ненужнаго и, какъ я вполне увѣренъ, этой собственнo сторонѣ своего дарованія (то-есть, внѣшней, стилистической, еслибы можно было такъ выразиться) не знавшаго надлежащей цѣны.

Тотъ же складъ рѣчи лежалъ и въ основѣ церковной проповѣди о. Матвѣя, хотя сюда по необходимости входили и другія стихіи слова (какъ, напримѣръ, церковно-Словенская), которыя онъ успѣлъ необыкновеннымъ образомъ между собою мирить и сливать въ единое, цѣльное и исполненное красоты и силы изложенія. Я зналъ во Ржевѣ лицъ, которымъ, по ихъ образу мыслей, вовсе не было нужды въ церковномъ поученіи и которые однако, побуждаемые красотою его слова, вставали каждое воскресенье и каждый праздникъ къ ранней обѣднѣ, начинавшейся въ 6 часовъ и, презирая сонъ, природную лѣнь и двухверстное разстояніе, ходили безъ пропуска слушать его художественныя и увлекательныя поученія.

О. Матвѣй не могъ привлекать или поражать своихъ слушателей какою-либо чертою внѣшней красоты; онъ былъ невысокъ ростомъ, немножко сутуловатъ; у него были сѣрые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные

глаза, рѣденькіе, немножко вьющіеся свѣтло-русые (къ старости, конечно, съ просѣдью) волосы, довольно широкій носъ; однимъ словомъ, по наружности и по внѣшнимъ приѣмамъ, это былъ самый обыкновенный мужичокъ, котораго отъ крестьянъ села Езъска или Діева отличалъ только покроемъ его одежды. Правда, во время проповѣди, всегда прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершеніи знаменательныхъ литургическихъ дѣйствій, лицо его озарялось и свѣтлѣло; но это были преходящія послѣдствія внезапнаго восхищенія, по минованіи коихъ наружность его принимала свой обычный незначительный видъ.

„Интонація и движенія, коими сопровождался слова о. Матвѣя, при всей ихъ выразительности, были совершенно естественны и свободны и всегда вполнѣ соотвѣтствовали внутреннему содержанію его рѣчи. Ясность его изложенія достигла до того, что даже самыя возвышенныя и тонкія христіанскія истины, которыхъ усвоеніе въ пору философствующему уму, онъ успѣвалъ приближать къ уразумѣнію своей болѣею частію не книжной аудиторіи, которая вся обращалась въ слухъ, какъ только онъ выходилъ за навою, и молчаніе которой прерывалось по временамъ только невольнымъ отвѣтнымъ возгласомъ какой-либо забывшей, гдѣ она, старушки, или внимательнаго отрока, пораженнаго проникающимъ словомъ. Однимъ словомъ, его поученіе было совершеннѣйшею противоположностію тому виду церковной проповѣди, въ какомъ она предлагается въ Казанскомъ и Исаакіевскомъ соборахъ очередными столичными проповѣдниками и въ какомъ, за весьма рѣдкими исключеніями \*), она остается совершенно безплодною для народа, который каждый разъ однако тѣснится около кафедры въ томительномъ ожиданіи, не попадетъ ли въ его засохшія отъ духовной жажды уста хоть капля освѣжающей и живительной воды.

Говорить о. Матвѣй могъ, по видимому, безъ конца; онъ

---

\*) Самое блистательное изъ этихъ исключеній о. Іоаннъ Никитичъ Полисадовъ.

не писалъ и даже не готовлялъ своихъ словъ и никогда не зналъ, куда увлечетъ его наитіе минуты, которому онъ вѣрилъ себя безъ всякаго опасенія за то, что мы называемъ фіаско. Каждый праздникъ и каждое воскресенье онъ говорилъ и на ранней, и на поздней обѣдѣ: на первой, во время причастнаго стиха, а на послѣдней, которую постоянно самъ служилъ, въ обычное время, предъ третьимъ: *Буди Имя Господне*, и тотчасъ послѣ этого, вслѣдствіе чьего-нибудь вопроса, предложеннаго по поводу только-что произнесенной проповѣди, или по какому бы то ни было случаю, могло вдругъ родиться и вылиться новое столь же продолжительное и краснорѣчивое слово. И при всемъ этомъ неистощимомъ обиліи, никогда, во всю долгую жизнь о. Матвѣя, ни единый locus topicus не осквернилъ его проповѣдническихъ устъ.

По назначеніи своемъ губернаторомъ въ Тверь графъ А. П. Толстой, какъ человѣкъ государственный, не могъ оставить безъ вниманія вопроса о состояніи раскола во вѣренной ему губерніи, и, очень хорошо понимая, что расколъ и отчужденіе отъ церкви въ значительной части нашего народа поддерживались небреженіемъ клира и продажностію чиновниковъ, вошелъ въ соглашеніе съ бывшимъ архіепископомъ Тверскимъ Григоріемъ о томъ, чтобы въ тѣ мѣста, гдѣ жители наиболѣе склонны къ расколу, ему посылать самыхъ испытанныхъ въ честности чиновниковъ, а архіерею поставлять безукоризненныхъ по жизни и учительныхъ священниковъ. Задача для обоихъ была не легкая, и я не знаю, какъ было въ другихъ мѣстахъ, но по отношенію къ Ржеву, въ которомъ въ ту пору старообрядцы имѣли явное и рѣшительное преобладаніе надъ православными, преосвященному Григорію удалось исполнить ее съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ графу Толстому: чиновники, назначенные туда губернаторомъ, были не лучше сосѣднихъ Старицкихъ и Зубцовскихъ, не предназначенныхъ для такой спеціальной цѣли; а преосвященный Григорій перевелъ туда изъ села Езьска о. Матвѣя, назна-

чивъ его къ приходской церкви Преображенія, окруженной старообрядческимъ населеніемъ, и тѣмъ далъ дальнѣйшему ходу раскола во Ржевѣ совершенно иное и для православія весьма благоприятное направленіе \*).

„Въ этой-то церкви и произошла первая встрѣча графа Александра Петровича Тостого съ о. Матвѣемъ, за которой послѣдовало сперва предпринятое Графомъ изъ любопытства знакомство, а потомъ и тѣсное взаимное между ними сближеніе, продолжавшееся до самой кончины о. Матвѣя (1857 года). Разсказываютъ Ржевскіе старожилы, бывшіе тому, будто бы, свидѣтелями, что когда въ срединѣ обѣдни, совершаемой о. Матвѣемъ, вошелъ въ церковь Графъ, и сопровождавшіе его мѣстные чиновники, пролагая ему путь, произвели неизбѣжный при ихъ усердіи шумъ и смятеніе, то о. Матвѣй въ произнесенной имъ за этою обѣдней проповѣди не оставилъ этого обстоятельства безъ смѣлаго и для всѣхъ присутствовавшихъ весьма внятнаго, хотя и не прямо на лицо направленного, обличенія, и что это именно обстоятельство, само по себѣ весьма естественное, но, по нашимъ нравамъ, необычайное, и поселило съ перваго же раза въ графѣ Александрѣ Петровичѣ особенное уваженіе къ о. Матвѣю. Мнѣ никогда не случалось провѣрить этотъ разсказъ опросомъ дѣйствующихъ лицъ, но я нашелъ возможнымъ упомянуть о немъ, почитая его, по сходству съ другими случаями изъ жизни о. Матвѣя, вполне вѣроятнымъ: такъ какъ и проповѣдникъ въ обличеніяхъ своихъ никогда не принималъ въ расчетъ человѣческаго лица, и скромный Графъ, какъ невольная причина происшедшаго въ церкви безпорядка, былъ вполне способенъ безъ ропота принять полезный для него на будущее время урокъ.

\*) За двадцать лѣтъ пребыванія о. Матвѣя въ Ржевѣ въ городѣ произошла въ этомъ отношеніи замѣчательная перемѣна, благодаря отчасти общему вліянію времени, но прежде всего благодаря проповѣднической дѣятельности о. Матвѣя. И побѣда его была бы еще благотворнѣе, полнѣе и чище, еслибы въ послѣднее время своей жизни онъ не принялъ прямого и усерднаго участія въ преслѣдованіи раскола.

„Какъ бы то ни было, но съ этой поры между ними устанавливается духовный союзъ на всю жизнь. Я не могу сказать, было ли уже въ душѣ графа Александра Петровича, еще до встрѣчи съ о. Матвѣемъ, готовое расположеніе къ усвоенію строгихъ правилъ христіанской жизни, которыя онъ впоследствии исполнялъ съ такою покорностью, или же эта встрѣча породила въ немъ первую мысль о обязательности этихъ правилъ для всѣхъ, слѣдовательно — и для него самого; но то несомнѣнно, — такъ какъ я знаю это уже отъ самого Графа, — что въ лицѣ о. Матвѣя ему впервые представился никогда до знакомства съ нимъ невиданный имъ образецъ такой именно вѣры, которая выражается не въ однихъ только благочестивыхъ размышленіяхъ, но во всемъ составѣ жизни, въ каждой подробности дѣйствій, въ ежеминутномъ ощущеніи присутствія и заступленія промышляющаго о своемъ созданіи Бога, въ совершенномъ изгнаніи изъ сердца всякаго человѣческаго страха и всякой житейской заботы, и которая одна только и заслуживаетъ своего высокаго именовація“.

Еще до личнаго знакомства съ о. Матвѣемъ, зная его только по письмамъ, Гоголь такъ отзывался о немъ графу А. П. Толстому: „Что вамъ сказать о немъ? По моему, это умнѣйшій человѣкъ изъ всѣхъ, какихъ я доселѣ зналъ, и если я спасусь, такъ это, вѣрно, вслѣдствіе его наставленій, если только, нося ихъ передъ собой, буду входить больше въ ихъ силу“.

Заочное знакомство съ о. Матвѣемъ началось съ того, что Гоголь послалъ ему свои *Выбранныя мѣста* и при этомъ писалъ: „Я прошу васъ убѣдительно прочесть мою книгу и сказать мнѣ хотя два словечка о ней, первыя, какія придутся вамъ, какія скажетъ вамъ душа ваша. Не скройте отъ меня ничего и не думайте, чтобы ваше замѣчаніе, или упрекъ былъ для меня огорчителенъ. Упреки мнѣ сладки, а отъ васъ еще будетъ слаще. Не затрудняйтесь тѣмъ, что меня не знаете; говорите мнѣ такъ, какъ бы меня вѣкъ знали“.

Исполняя просьбу Гоголя, о. Матвѣй написалъ ему „чи-



стосердечное письмо“, хотя, какъ сознается самъ Гоголь, ему „очень хотѣлось бы имѣть отъ него не такое письмо“. Между прочимъ въ книгѣ Гоголя о. Матвѣй напалъ на письмо его къ графу А. П. Толстому о *театрѣ*. Обороняясь отъ этихъ нападокъ, Гоголь писалъ о. Матвѣю: „Статью о театрѣ я писалъ не съ тѣмъ, чтобы пріохотить общество къ театру, а съ тѣмъ, чтобы отвадить его отъ развратной стороны театра, отъ всякаго рода балетныхъ плясовицъ и множества самыхъ страстныхъ пьесъ, которыя въ послѣднее время стали кучами переводить съ Французскаго. Я хотѣлъ отвадить отъ этого указаніемъ на лучшія піесы и выразилъ все это такимъ нелѣпымъ и неточнымъ образомъ, что подаль поводъ вамъ думать, что я посылаю людей въ театръ, а не въ церковь. Храни меня Богъ отъ такой мысли! Никогда я не имѣлъ ея даже и тогда, когда гораздо меньше чувствовалъ святиню святыхъ истинъ. Я только думалъ, что нельзя отнять совершенно отъ общества увеселеній ихъ, но надобно такъ распорядиться съ ними, чтобы у человѣка возрождалось само собою желаніе послѣ увеселенія идти къ Богу—поблагодарить Его, а не идти къ чорту — послужить ему.... Письмо о театрѣ я писалъ, имѣя въ виду публику, пристратившуюся къ балетамъ и операмъ, пожирающимъ нынѣ страшныя суммы денегъ, и въ то же самое время имѣлъ въ виду журналъ *Маякъ*, С. А. Бурачка, который, судя по статьямъ его, долженъ быть истинно почтенный и вѣрующій человѣкъ, но который однакожъ слишкомъ горячо и безъ разбора напалъ на всѣхъ нашихъ писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что тѣ не брали въ предметъ христіанскихъ сюжетовъ. Я вовсе не хотѣлъ оскорбить издателя *Маяка*: я хотѣлъ только напомнить ему самому, какъ христіанину, о смиреніи, но выразился такъ, что словами моими дѣйствительно онъ могъ быть обиженъ. Изъ нѣкоторыхъ словъ вашего письма мнѣ показалось, что вы его знаете. Скажите ему, что я умоляю его простить меня, попросите за меня и вы „также“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ письмѣ о. Матвѣя Гоголя очень испугали слова его, что *Выбранныя мѣста должны произвести вредное дѣйствіе и что онъ дастъ за нихъ отвѣтъ Богу*. На эти угрозы Гоголь между прочимъ писалъ: „За что Богу такъ ужасно меня наказывать? Нѣтъ, Онъ отклонитъ отъ меня такую страшную участь, если не ради моихъ безсильныхъ молитвъ, то ради молитвъ тѣхъ, которые Ему молятся обо мнѣ и умѣютъ угождать Ему,—ради молитвъ моей матери, которая изъ-за меня вся превратилась въ молитву. Теперь я собираю весьма тщательно толки о моей книгѣ со всѣхъ сторонъ, равно какъ и отчетъ о всѣхъ впечатлѣніяхъ, ею производимыхъ. Сколько могу судить по тѣмъ, которыя доселѣ имѣю, книга моя не произвела почти никакого впечатлѣнія на тѣхъ людей, которые находятся уже въ нѣдрѣ церкви, что весьма естественно... Книга моя подѣйствовала только на тѣхъ, которые не ходятъ въ церковь и которые не захотѣли бы даже выслушать словъ, еслибы вышелъ сказать имъ попъ въ рясѣ. Если это правда и если точно нѣкоторые пошатнулись въ невѣріи своемъ и пошли хотя изъ любопытства въ церковь, то это одно уже можетъ меня успокоить. Тамъ, то-есть, въ церкви, они найдутъ лучшихъ учителей. Достаточно, что занесли уже ногу на порогъ дверей ея. О книгѣ моей они позабудутъ, какъ позабываетъ о складахъ ученикъ, выучившійся читать по верхамъ. Причину этого для васъ, можетъ быть, страннаго явленія я могу объяснить тѣмъ, что въ книгѣ моей, не смотря на всѣ великіе недостатки ея, есть однакоже одна только та правда, которую покуда замѣтили немногіе. Въ ней есть душевное дѣло—исповѣдь человѣка....“

Въ другомъ письмѣ своемъ о. Матвѣй совѣтуетъ Гоголю *бросить имя литератора и идти въ монастырь*. Но Гоголь не рѣшился послѣдовать этому совѣту и писалъ о. Матвѣю: „Признаюсь вамъ, я до сихъ поръ увѣренъ, что законъ Христовъ можно внести съ собой повсюду, даже въ стѣны тюрьмы, и можно исполнять его, пребывая во всякомъ званіи и со-

словѣ: его можно исполнять также и въ званіи писателя. Я бы не подумалъ о писательствѣ, еслибы не было теперь такой повсемѣстной охоты къ чтенію всякаго рода романовъ и повѣстей, большею частію соблазнительныхъ и безнравственныхъ, но которые читаются потому только, что написаны увлекательно и не безъ таланта. А я, имѣя талантъ, умѣя изображать живо людей и природу (по увѣренію тѣхъ, которые читали мои первоначальныя повѣсти), развѣ я не обязанъ изобразить съ равною увлекательностью людей добрыхъ, вѣрующихъ и живущихъ въ законѣ Божіемъ. Вотъ вамъ (скажу откровенно) причина моего писательства, а не деньги и не слава. Еслибы я зналъ, что на какомъ-нибудь другомъ поприщѣ могу дѣйствовать лучше во спасеніе души моей и во исполненіе всего того, что должно мнѣ исполнить, чѣмъ на этомъ, я бы перешелъ на то поприще. Еслибы я узналъ, что я могу въ монастырѣ уйти отъ міра, я бы пошелъ въ монастырь. Но и въ монастырѣ тотъ же міръ окружаетъ насъ, тѣ же искушенія вокругъ насъ, также воевать и бороться нужно съ врагомъ нашимъ. Словомъ, нѣтъ поприща и мѣста въ мірѣ, на которомъ мы бы могли уйти отъ міра. А потому я положилъ себѣ покуда вотъ что. Теперь, именно со дня полученія вашего письма, я положилъ себѣ удвоить ежедневныя молитвы, отдать больше времени на чтеніе книгъ духовнаго содержанія; перечту снова Златоуста, Ефрема Сирина и все, что мнѣ совѣтуете, а тамъ—что Богъ дастъ “<sup>436</sup>).

---

## LXVI.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію отношеній Западниковъ къ книгѣ Гоголя, скажемъ объ извѣстныхъ письмахъ объ этой книгѣ, напечатанныхъ впервые въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. Письма эти принадлежатъ перу друга Хомякова, Погодина и Шевырева, но не Словенофила, Николая Филипповича Павлова. По отзыву Шевырева, Павловъ „отерпыто

напалъ на книгу, мѣтко взялъ сторону прежняго художника противъ теперешняго нравоучителя, сказалъ автору нѣсколько дѣльныхъ мыслей по случаю напечатаннаго *Завѣщанія*, нѣсколько острыхъ замѣчаній объ его изученіяхъ, но увлеченный предметами, посторонними критикѣ, превратилъ ее почти въ юридическое слѣдованіе, усомнился въ искренности автора и умолкъ, далеко не обнявъ всего содержанія книги "... Съ своей стороны князь П. А. Вяземскій поручаетъ Шевыреву передать Павлову, что „первое письмо его къ Гоголю очень умно, но слишкомъ зло и жестоко, а слѣдовательно, нѣсколько и несправедливо“ <sup>437</sup>).

Письма Павлова произвели восторгъ въ западномъ лагерѣ.

„Н. Ф. Павловъ написалъ разборъ книги Гоголя“, извѣщалъ Боткинъ Анненкова (26 марта 1847 г.)— „въ формѣ писемъ. Эти письма—образецъ остроумія, сарказма и ловкости. Въ публикѣ, именно въ Московской и провинціальной, письма Гоголя нашли себѣ большую симпатію. Для этой-то публики написаны письма Павлова“ <sup>438</sup>). Тотъ же Боткинъ писалъ и Краевскому (3 апрѣля 1847 г.): „Вы конечно замѣтили въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо къ Гоголю Н. Ф. Павлова. Вотъ образцовая критика, напоминающая манерой своей Вольтера: Павловъ бьетъ Гоголя его же оружіемъ“ <sup>439</sup>). Самъ Бѣлинскій остался этими письмами до чрезвычайности доволенъ и писалъ одному изъ своихъ Московскихъ друзей: „Книга Гоголя какъ будто пропала, — и я немного горжусь тѣмъ, что вѣрно предсказалъ (не печатно, а на словахъ) ея судьбу. Русскаго человѣка не надуешь такими продѣлками, а если и надуешь, такъ на минуту. Если еще не вовсе забыто существованіе этой книги, такъ это потому, что отъ времени до времени напоминаютъ о ней журнальныя статьи. Статья Н. Ф. Павлова—образецъ мастерства писать. Я перечелъ ее нѣсколько разъ, и съ каждымъ разомъ она кажется мнѣ все лучше и лучше. Сколько ума, какая послѣдовательность, какъ все равно и цѣло; дочитывая конецъ, ясно помнишь начало и середину. Словомъ—чудо, а не

статья! Сначала на меня произвелъ было непріятное впечатлѣніе *взглядъ на мертвопочитаніе Русской породы* \*), но я сообразилъ, что вся сила статьи въ томъ и заключается, что Павловъ бьетъ Гоголя не своимъ, а его же оружіемъ, и имѣетъ въ виду доказать не столько нелѣпость книги, сколько ея противорѣчіе съ самой собою. Но особенно понравилась мнѣ въ статьѣ одна мысль—умная до невозможности. Это ловкій намекъ на то, что перенесенная въ сферу искусства книга Гоголя была бы превосходна, ибо ея чувства и понятія принадлежатъ законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Маниловымъ и т. п. Это такъ умно, что мочи нѣтъ! Жаль одного, что эта превосходная статья напечатана въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, изданіи, сохраняющемъ свято внѣшнія формы временъ Петра Великаго и читаемомъ только въ Москвѣ, да и то больше людьми солидными. Что, какъ позволилъ бы намъ Н. Ф. Павловъ перепечатать его статью въ *Современникъ*. Право, отъ этого не однимъ намъ было бы хорошо: статья получила бы больше народности....“ <sup>140</sup>).

Желанье Бѣлинскаго Н. Ф. Павловъ исполнилъ съ радостью, и письма его были перепечатаны въ *Современникъ* съ слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Представляя нашимъ читателямъ напечатанныя первоначально въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* три письма Н. Ф. Павлова къ Гоголю, которые по глубоко вѣрному взгляду и мастерству изложенія могутъ назваться образцомъ *благородной полемики*, мы благодаримъ автора за дозволеніе перепечатать ихъ въ нашемъ журналѣ“.

Но иначе отнеслась А. О. Смирнова къ этому образцу *благородной полемики*. „Читали ли вы“, писала она Гоголю,—

\*) Полемизируя съ Гоголемъ, Н. Ф. Павловъ писалъ: „*Русская порода*, Русскіе преимущественно окружаютъ благоговѣніемъ *миующую персть*, принадлежала ли она ихъ знакомому, лицу важному или вовсе неизвѣстному, или ничтожному. Домъ умершаго растворяется настезъ, туда врываются званые и незваные поклониться до земли *миюшей персти*... Русскіе, когда встрѣчаютъ покойника, снимаютъ шляпы, умоляютъ, крестятся... Для чего же налагать на друзей вашихъ обязанность, противную великому обычаю той страны, посреди которой они имѣли счастье родиться“.

„подлинъ письма Павлова въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* противъ васъ; въ нихъ высказалась вся лакейская натура Павлова“ <sup>441</sup>).

Мы же съ своей стороны замѣтимъ, что напрасно Н. Ф. Павловъ и другіе критики напали на второй пунктъ напечатаннаго *Завѣщанія* Гоголя, который гласитъ: „завѣщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ“. Но почти одновременно съ выходомъ въ свѣтъ книги Гоголя, въ Воронежѣ, при цѣлебоносномъ гробѣ святителя Митрофана, въ Бозѣ почилъ святой старецъ, архіепископъ Воронежскій и Задонскій, Антоній. Недавно въ *Церковныхъ Вѣдомостяхъ* было напечатано его Духовное завѣщаніе, въ которомъ выражается то же желаніе, которое выразилъ и Гоголь въ своемъ *Духовномъ завѣщаніи*: „Погребсти грѣшное тѣло мое не въ самой церкви, гдѣ погребаемы были предмѣстники мои, гдѣ тѣло мое лежать недостойно, а внѣ церкви, при самомъ входѣ въ оную... и притомъ въ самомъ простомъ гробѣ безо всякихъ украшеній, отнюдь не дѣлая на семъ мѣстѣ никакого памятника, да вси приходящіи попирають меня ногами, яко прахъ, отъ праха взятый и въ прахъ обращенный“ <sup>442</sup>). Если же углубимся въ Древность, то найдемъ тамъ *Духовное завѣщаніе* митрополита Кіевскаго Константина († 1159), о которомъ *Степенная Книга* сохранила слѣдующее свѣдѣніе: „Константинъ же митрополитъ, бояся Мстислава Изяславича, бѣжа въ Черниговъ, въ то же время тогда и въ болѣзнь впаде. Увѣдавъ же иже къ Богу свое отшествіе, и тогда написавъ *грамоту*, и запечатавъ, призвавъ же къ себѣ Черниговскаго епископа Антонія, и вда ему грамоту, заклиная его именемъ Божіимъ, яко да по преставленіи его все тако неизмѣнно сотворить, яко же въ *грамотѣ* той писано есть. Егда же преставися Митрополитъ, и тогда вземъ Епископъ *грамоту* ону, и иде ко Святославу Ольговичу. Отрѣшиша же печать и прочтоша, и обрѣтоша въ ней заповѣданіе страшно, написано сиде: Молю ти ся, о Епископе! яко егда по умертвіи моемъ не погребите тѣлеси моего грѣшнаго въ землю; нѣсть

бо достойно: но повергши его на землю, и поцѣпивше ужемъ за нозѣ, и извлекше внѣ изъ града, поверзите его на ономъ мѣстѣ, нарекъ, яко да пси снѣдятъ его“ <sup>443</sup>).

Письма Павлова взволновали Гоголя, что явствуетъ изъ писемъ его къ Шевыреву: „Статья Павлова говорить въ пользу Павлова и вмѣстѣ съ тѣмъ въ пользу моей книги. Я бы очень желалъ видѣть продолженіе этихъ писемъ: любопытствую чрезмѣрно знать, къ какому результату привести Павлова его послѣднія письма. Покуда для меня въ этой статьѣ замѣчательно то, что самъ же критикъ говорить, что онъ пишетъ письма свои затѣмъ, чтобы привести себя въ то самое чувство, въ какомъ онъ былъ предъ чтеніемъ моей книги, и сознается самъ невинно, что эта книга (въ которой, по его мнѣнію, ничего нѣтъ новаго, а что и есть новаго, то ложь) сбила однакоже его совершенно съ прежняго его положенія (какъ онъ называетъ) нормальнаго. Хорошо же было это нормальное положеніе! Онъ, разумѣется, еще не видитъ теперь, что этотъ возвратъ для него невозможенъ, и что даже въ этомъ первомъ своемъ письмѣ самъ онъ сталъ уже лучше того Павлова, какимъ является въ своихъ трехъ послѣднихъ повѣстяхъ“. Объ остальныхъ же двухъ письмахъ Гоголь писалъ Шевыреву: „Объ критикѣ Павлова значительно слабѣ первыхъ, а главное, какъ мнѣ показалось, въ нихъ не слышна необходимая потребность душевная писавшаго, или даже какая-нибудь иная цѣль, кромѣ желанья нѣсколько порисоваться самому передъ публикою. Изъ всѣхъ отзывовъ я вижу только то, что мнѣ слѣдуетъ отвѣчать на одинъ вопросъ, который, кажется, есть всеобщій: *Зачѣмъ я оставилъ поприще писателя, или перемѣнилъ направленіе его?* На это мнѣ слѣдуетъ сдѣлать чистосердечное изъясненіе моего авторскаго дѣла, чтобы читатель видѣлъ самъ, оставлялъ ли я поприще, перемѣнялъ ли направленіе, умничалъ ли самъ, желая измѣнить себя, или есть посильнѣе насъ общіе законы, которыми мы подвержены всѣ бѣдные человеки...“

Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ убѣждалъ своего друга издать

второй томъ *Мертвыхъ Душъ*. Не соглашаясь на это изданіе, Гоголь писалъ: „На замѣчаніе твое, что *Мертвыя Души* разойдутся вдругъ, если явится второй томъ, и что всѣ его ждутъ, скажу то, что это совершенная правда; но дѣло въ томъ, что написать второй совсѣмъ не бездѣлица. Если жъ инымъ нажется это дѣло довольно легкимъ, то пожалуй пусть соберутся да и напишутъ его сами, совокупясь вмѣстѣ; а я посмотрю, что изъ этого выйдетъ. Мнѣ нужно будетъ очень много посмотрѣть въ Россіи самолично вещей, прежде чѣмъ приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будетъ дать промахъ. Ты видишь (или по крайней мѣрѣ долженъ видѣть болѣе прочихъ), что предметъ не бездѣлица, и что бѣда, не будучи вполне готовымъ и состроившимся, приняться за это дѣло. Сдѣлавши это дѣло хорошо, можно принести имъ большую пользу; сдѣлавши же дурно, можно принести вредъ. Если и нынѣшняя моя книга, *Переписка* (по мнѣнію даже неглупыхъ людей и пріятелей моихъ), способна распространить ложь и безнравственность и имѣетъ свойство увлечь, то самъ посуди, во сколько разъ больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступлю на сцену съ моими живыми образами. Тутъ вѣдь я буду посильнѣе, чѣмъ въ *Перепискѣ*. Тамъ можно было разбить меня въ пухъ и Павлову, и баронѣ Розену, а здѣсь врядъ ли и Павловымъ, и всякимъ прочимъ литературнымъ рыцарямъ и наѣздникамъ будетъ подъ силу со мной потягаться. Словомъ, на всѣ эти ребяческія ожиданія и требованія второго тома глядѣть нечего. Вѣдь мнѣ же никто не хочетъ помочь въ этомъ самомъ дѣлѣ, котораго ждутъ! Я не могу ни отъ кого добиться записокъ его жизни. Записки современника, или лучше воспоминанья прежней жизни, съ окруженіемъ всѣхъ лицъ, съ которыми была въ соприкосновеніи его жизнь, для меня вещь безцѣнная. Еслибъ мнѣ удалось прочесть біографію хотя двухъ человекъ, начиная съ 1812 года и до сихъ поръ, то-есть, до текущаго года, мнѣ бы объяснились многіе пункты, меня затрудняющіе“ <sup>444</sup>).

Старѣйшій изъ Западниковъ, сдѣлавшійся, такъ сказать,



достопамятностью Москвы и дружелюбно сходявшийся съ людьми и противоположнаго ему направленія, П. Я. Чаадаевъ, не остался, разумѣется, равнодушнымъ къ такому литературному, и даже болѣе чѣмъ литературному, событію, какъ явленіе книги Гоголя. Свои мысли и чувства объ ней онъ выразилъ въ письмѣ къ своему сверстнику князю П. А. Вяземскому (отъ 29 апрѣля 1848 г.), въ которомъ между прочимъ читаемъ: „У васъ, слышно, радуются книгѣ Гоголя, а у насъ ею очень недовольны. Это, я думаю, происходитъ отъ того, что мы болѣе васъ были пристрастны къ автору: онъ насъ немножко обманулъ, вотъ почему мы на него сердимся... Какъ вы хотите, чтобъ въ наше надменное время геніальный человѣкъ, закуренный ладономъ со всѣхъ сторонъ, не зазнался... Недостатки книги Гоголя принадлежать не ему, а тѣмъ, которые его превозносили до безумія; достоинства же ея принадлежать ему самому. Смирненіе—есть плодъ того новаго направленія, которое онъ себѣ далъ; гордость ему привита его друзьями. Но знаете ли вы, откуда взялось у насъ въ Москвѣ это безусловное поклоненіе даровитому писателю? Оно произошло отъ того, что намъ въ Москвѣ сталъ нуженъ человѣкъ, котораго бы мы могли поставить на ряду съ великанами духа человѣческаго, съ Гомеромъ, Дантомъ, Шекспиромъ, и выше всѣхъ прочихъ писателей настоящаго и прошлаго времени. Этихъ поклонниковъ я знаю коротко; я ихъ люблю и уважаю; они люди умные, люди хорошіе; но имъ надобно, во что бы ни стало, возвысить нашу скромную, богомольную Русь надъ всѣми странами въ мірѣ; имъ непременно надобно себя и другихъ въ томъ увѣрить, что мы призваны были какими-то наставниками народовъ. Вотъ и нашелся, на первый случай, такой маленькій наставникъ; вотъ они и стали ему про это твердить, на разные голоса; а онъ имъ повѣрилъ. Къ счастью его и къ счастью Русскаго слова въ немъ таился зародышъ этой самой гордости, которую такъ удачно въ немъ развили ихъ хваленія. Хваленіями ихъ онъ пресыщался, но къ самимъ этимъ людямъ онъ не

имѣлъ ни малѣйшаго уваженія; это я знаю отъ него самого, и вы можете въ этомъ увѣриться изъ письма его къ Погдину. Отъ этого родилось въ немъ какое-то безпокойное чувство къ самому себѣ, усиленное сначала его болѣзненнымъ состояніемъ, а потомъ новымъ направленіемъ, имъ принятымъ. У насъ въ Москвѣ многіе думаютъ, что это направленіе ему дано такъ называемымъ Западомъ, Іезуитами, къ которымъ его очень добросердечно причисляютъ. Онъ слишкомъ неловокъ, чтобы быть іезуитомъ. Но все-таки онъ тотъ же самый гениальный человѣкъ, какой и прежде былъ, и все-таки онъ и въ томъ болѣзненномъ состояніи души, въ которомъ теперь находится, выше всѣхъ своихъ хулителей...“ <sup>445</sup>).

---

## LXVII.

*Залаялъ собакой, завылъ шакаломъ, зажмурилъ глаза и весь отдался негодванію и бѣшенству!* Такъ выразился о себѣ Бѣлинскій, когда прочиталъ *Выбранныя мѣста переписки съ друзьями*. Онъ радовался, какъ и друзья его, что всѣ журналы и газеты напали на благочестивую книгу Гоголя. „Можете представить себѣ“, писалъ Боткинъ Анненкову (28 февраля 1847 г.),— „какое странное впечатлѣніе произвела здѣсь книга Гоголя; но замѣчательно также и то, что всѣ журналы отзывались о ней, какъ о произведеніи большаго и полупомѣшаннаго, одинъ только Булгаринъ привѣтствовалъ Гоголя, но такимъ язвительнымъ тономъ, что эта похвала для Гоголя хуже пощечины. Этотъ фактъ имѣетъ для меня важность: значить, что въ Русской Литературѣ *есть направленіе*, съ котораго не совратить ея и таланту посильнѣе Гоголя; Русская Литература брала въ Гоголѣ то, что ей нравилось, а теперь выбросила его, какъ скорлупку выѣденнаго яйца. Воображаю, какой ударъ будетъ напыщенному невѣжеству Гоголя. Онъ теперь въ Неаполѣ; говорятъ, что ходитъ каждый день къ обѣднѣ и съ большимъ усердіемъ молится Богу. Замѣчательно еще то,

что здѣсь Словенская партія теперь отказывается отъ него, хотя и сама она натоленула на эту дорогу“ <sup>446</sup>).

*Отечественныя Записки* объявили книгу Гоголя произведеніемъ больнаго человѣка, сославшись на его же слова. Больной и умирающій Бѣлинскій, бывшій сотрудникъ *Отечественныхъ Записокъ*, по замѣчанію Шевырева, „измѣнившій ихъ знамени и избравшій полемъ своихъ дѣйствій *Современникъ*, этотъ прежній обожатель Гоголя, просто разсердился на него и въ сердцахъ разбранилъ его книгу, назвавъ ее даже пошlostью; самого же автора объявилъ едва ли знающимъ и по нѣмецки-то, и *Современникъ* самъ, какъ бы сознавши недостатокъ критики Бѣлинскаго, прибѣгнулъ къ письмамъ Н. Ф. Павлова и перепечаталъ ихъ изъ *Московскихъ Вѣдомостей*“ <sup>447</sup>). Да и самъ Бѣлинскій вотъ что писалъ одному изъ своихъ Московскихъ друзей: „Статья о гнусной книгѣ Гоголя могла бы выйти замѣчательно хорошею, еслибы я въ ней могъ, *зажмуривъ глаза, отдаться моему негодованію и бѣшенству*. Эффектъ книги Гоголя былъ таковъ, что Никитенко, ее пропустившій, вычеркнулъ у меня часть выписокъ изъ книги, да еще дрожалъ и за то, что оставилъ въ моей статьѣ. Моего цензура вычеркнула цѣлую треть. Ты упрекаешь меня, что я разсердился и не совладѣлъ съ моимъ гнѣвомъ? Да я этого не хотѣлъ; природа осудила меня *лаять собакою и быть шакаломъ*, а обстоятельства велятъ мурлыкать кошкою, вертѣть хвостомъ по лисы. Терпимость къ заблужденію я еще понимаю и цѣню, по крайней мѣрѣ въ другихъ, если не въ себѣ, но терпимость къ подлости не терплю. Ты рѣшительно не понялъ этой книги, если видишь въ ней только заблужденіе... Гоголь—совсѣмъ не К. С. Аксаковъ. Это Талейранъ, кардиналъ Фешъ, который всю жизнь обманывалъ Бога, а при смерти надулъ сатану“ <sup>448</sup>).

Когда до Жуковскаго дошелъ слухъ о всеобщемъ нападеніи на *Выбранныя мѣста*, то онъ писалъ Гоголю: „Горе и досада беретъ, что ты такъ поспѣшилъ. И на что была нужна эта поспѣшность, понять не могу. Еслибы вмѣсто

того, чтобы скакать въ Неаполь, ты мѣсяца два провелъ со мною во Франкфуртѣ, мы бы все вмѣстѣ переживали, и книга бы была избавлена отъ многихъ пятенъ литературныхъ и типографическихъ, которыхъ теперь съ нея не снимешь“ <sup>449</sup>).

Самъ Гоголь сознавался Жуковскому: „Появленіе книги моей разразилось точно въ видѣ какой-то оплеухи: оплеуха публикѣ, оплеуха друзьямъ моимъ и, наконецъ, еще сильнѣйшая оплеуха мнѣ самому. Послѣ нея я очнулся.. Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее... При всемъ томъ книга моя полезна. Всѣ дотолѣ бывшіе вопросы въ Литературѣ вдругъ замѣнились другими, и всѣ предметы разговоровъ умныхъ замѣнились другими предметами... Въ моей книгѣ есть именно что-то зазывающее на умственную дѣятельность человека... Но признаюсь, радостнѣй всего мнѣ было услышать вѣсть о благодатномъ замыслѣ твоёмъ—писать письма по поводу моихъ писемъ“.

Страсть Гоголя читать все писанное объ его книгѣ очень тревожила Плетнева, и онъ писалъ Жуковскому: „Меня очень тревожитъ страсть Гоголя читать всѣ глупости, какія пишутъ объ его книгѣ. Изъ нихъ онъ намѣренъ научиться и совершенствоваться. Втолуйте ему, что отъ этихъ бредней можно только съ ума сойти, или просто разозлиться... Когда я смотрю, съ какимъ упорствомъ онъ требуетъ въ себѣ пересылки всѣхъ этихъ бредней, то мнѣ невольно приходитъ на умъ, что Гоголь не совсѣмъ преданъ душою дѣлу истины и религіи, а только высматриваетъ, что заговарятъ люди о новой его штуцѣ. Это унижительно. Вознесшись на такую высоту безстрастія и самопожертвованія, убѣдись въ душѣ, что это долгъ христіанина, можно ли хлопотать о слѣдствіяхъ произнесеннаго слова“. Вмѣстѣ съ тѣмъ защищая предъ Жуковскимъ книгу Гоголя, Плетневъ писалъ ему: „Въ книгѣ Гоголя я не нахожу такихъ ошибокъ, какія вамъ представляются. Она только оригинальна какъ самъ Гоголь и все имъ издаваемое... Но благо, ею произведенное, не двусмысленно.“

Я знаю многих, которые восхищены этою новостью... Есть въ книгѣ этой недосмотры касательно неясности и чистоты языка; но они, какъ принадлежность слога Гоголя, неисправимы. Не думаю, чтобы когда-нибудь дошелъ онъ до той исправности въ выраженіяхъ, которая отличаетъ школу Карамзина отъ новѣйшихъ Русскихъ писателей <sup>450</sup>). „Еслибы кто увидалъ“, писалъ Гоголь отцу Матвѣю,— „тѣ жестокія письма, исполненныя упрековъ, которыя я получаю во множествѣ отовсюду, и прочиталъ бы тѣ статьи, которыя теперь печатаются во множествѣ противъ меня, у него бы закружилась на время голова“.

Но не всѣ такъ относились къ книгѣ Гоголя. Такъ князь П. А. Вяземскій во всеуслышаніе вступился за опальную книгу. Въ *Академическихъ Вѣдомостяхъ* онъ сказалъ о ней доброе слово и тѣмъ навлекъ на себя сугубый гнѣвъ Бѣлинскаго и всѣхъ его друзей и единомышленниковъ, съ которыми считался самъ Гоголь, такъ какъ зналъ ихъ могущественное вліяніе на молодое поколѣніе.

Надо замѣтить, что не смотря на то, что книгу Гоголя цензуровалъ А. В. Никитенко, она вышла въ свѣтъ въ изуродованномъ цензурою видѣ, и это очень огорчило Гоголя. „Вышла“, писалъ онъ Жуковскому (10 февраля 1847 г.),— „не то книга, не то брошюра. Лица и предметы, на которые я обращалъ вниманіе читателя, исчезнули, и выступилъ одинъ я своей собственной личной фигурой, точно какъ бы издавалъ книгу затѣмъ, чтобы показать себя“ <sup>451</sup>). Желая возстановить искаженную книгу въ ея настоящемъ видѣ, Гоголь обратился къ князю П. А. Вяземскому съ просьбою переиздать его книгу; ибо, какъ онъ пишетъ, „по клочку, обгрызанному цензурой, о ней нельзя судить. Въ глубинѣ ея лежитъ правда, и правда ея можетъ обнаружиться только тогда, когда вся книга будетъ прочитана, вся сплошь, въ той именно связи и въ томъ размѣщеніи статей, какое составлено у меня. А потому я просилъ Плетнева включить сызнова все выброшенное цензурой и приказать переписать всѣ статьи не пропущенныя;

еще лучше, если всю книгу переписать сплошь". Но прежде тѣмъ приступить ко второму изданію, Гоголь просилъ князя Вяземскаго *прочестъ, взвѣситъ, разобрать строго и выправить* его книгу. „Вооружитесь“, писалъ онъ, — „послѣ внимательнаго прочтенія моей рукописи, перомъ, и сначала изгладьте я во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно неприлично высунулось..., и вездѣ, гдѣ только примѣтите, что чиновникъ VIII-го класса, слишкомъ зарাপортовался, сдѣлайте такъ, чтобы онъ не позабылъ, что онъ чиновникъ VIII-го класса... Не поспкунитесь также и вашей собственной мыслью, еслибы она была слѣдствіемъ моей мысли. Мнѣ чувствуется, что вамъ теперь должно быть многое знакомо изъ того, что незнакомо неиспытаннымъ и неискушеннымъ страданіями людямъ. Душа ваша, я знаю, много страдала втайнѣ и приобрѣла чрезъ то высшее познаніе вещей... Взгляните на мою рукопись какъ на вашу собственную и родную... Итакъ, не оставьте меня, добрый князь, и Богъ васъ да наградитъ за то, потому что подвигъ вашъ будетъ истинно христіанскій и высокій...“ Дѣйствительно, князь П. А. Вяземскій прошелъ школу несчастій, и Жуковскій не даромъ писалъ ему: „Твои строки въ миломъ твоемъ письмѣ грустно пошевелили мнѣ сердце. Въ отношеніи къ дружбѣ, пишешь ты, я здѣсь въ совершенномъ одиночествѣ; есть добрые знакомые, пріатели, а друзей нѣтъ. Изъ друзей ты только одинъ и остался на *землѣ*. Да, ужъ много лучшихъ товарищей нашихъ ушло въ землю! Мы съ тобой огрызки нашего особеннаго міра и валяемся далеко одинъ отъ другаго на лицѣ земли... Тебѣ тяжелѣе меня сносить такое запустѣніе; много, много у тебя взяла жизнь; самые тяжелые опыты посѣтили твою душу, тѣмъ болѣе тяжкіе, что ты не охотникъ дѣлиться своею ношею и тащишь ее молча на собственныхъ плечахъ своихъ“ <sup>453</sup>).

Надо было имѣть много мужества и нравственной силы, чтобы печатно вопреки огульнаго осужденія такъ отозваться о книгѣ Гоголя, какъ отозвался о ней князь П. А. Вяземскій. „Какъ ни оцѣнивай этой книги“, писалъ онъ, — „съ

7  
какой точки зрѣнія ни смотри на нее, а все придешь къ тому заключенію, что книга въ высшей степени замѣчательна. Она событіе литературное и психологическое... Мы истратились на мелочи, мы растерялись въ дневныхъ пустякахъ. Дѣйствіе, произведенное этою книгою, доказываетъ, что она не проскользнула по общему вниманію, а запечатлѣлась на немъ..., что всѣ журналы о ней отозвались, кто какъ могъ, кто какъ умѣлъ. Это еще ничего. Но о ней было много словесныхъ толковъ, преній, разговоровъ. Это гораздо важнѣе. Давно замѣчено, что толки у насъ гораздо умнѣе и дѣльнѣе перьевъ. У насъ, и слава Богу, общественный умъ самъ по себѣ, а журналы сами по себѣ”.

Подведя итогъ словеснымъ толкамъ о книгѣ Гоголя, князь П. А. Вяземскій спрашиваетъ: „Для вѣрнѣйшаго достиженія цѣли своей, для надежнѣйшей пользы, въ такомъ ли видѣ долженъ былъ явиться передъ обществомъ обратившійся или преобразившійся авторъ? Этотъ вопросъ, кажется, разрѣшается не совершенно благопріятно для него, не столько по существенному достоинству книги, сколько по ея внѣшнимъ формамъ”.

Это обстоятельство князь П. А. Вяземскій объясняетъ тѣмъ, что „въ твореніяхъ Гоголя — вообще замѣтенъ недостатокъ въ хозяйственной распорядительности. Такъ въ *Мертвыхъ Душахъ* казалось ему очень натурально сложить въ одну часть всю домашнюю черноту человѣка, весь хламъ и нечистоту общества, предоставляя себѣ въ послѣдующихъ частяхъ ввести читателя въ свѣтлые и праздничные покои. Подобное распредѣленіе грѣшитъ и противъ художественности, и противъ нравственной истины... Нашъ свѣтъ не рай, но и не адъ. Не все въ немъ благоразуміе и чистота, но не все же безобразность и порча... Во всякомъ случаѣ добро и зло, свѣтъ и тьма переливаются переходными отблесками и сумерками... Найдутся, вѣроятно, и другіе недостатки въ книгѣ Гоголя, но они выкупаются общимъ достоинствомъ ея. По прочтеніи ея нельзя не полюбить автора, не исполниться къ

нему уваженіемъ. Нельзя человѣку, не исключительно преданному житейскимъ потребностямъ, не позавидовать духовному состоянію его... Книга Гоголя касается болѣе или менѣе всѣхъ современныхъ и животрепещущихъ вопросовъ... Многія страницы въ сей книгѣ исполнены одушевленія и краснорѣчія, какъ, напримѣръ, въ *письмѣ Женищина въ свѣтъ*, въ которомъ такъ много свѣжести, прелести и глубокаго вѣрованія въ назначеніе женщины въ обществѣ. Нужно имѣть большую независимость во мнѣніяхъ и нетронутую чистоту въ понятіяхъ и въ чувствахъ, чтобы облечь женщину въ подобныя краски, когда на литературномъ поприщѣ женщины сами вклеплютъ на себя, чтобы поддѣлаться къ мужчинамъ. *Письма о нашей Церкви и Духовенствѣ, О лиризмѣ нашихъ поэтовъ, Христианинъ идетъ впередъ, Свѣтлое Воскресеніе*, нѣкоторые изъ литературныхъ портретовъ его и оцѣнокъ и многія другія мѣста могутъ стать на ряду съ лучшими образцами нашей прозы... Вообще все, на чемъ можетъ въ этой книгѣ остановиться строгій взоръ безпристрастной и добросовѣстной критики, не что иное какъ соринки, которыя автору легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цѣлое есть чистая, свѣтлая хранина. Строгое и стройное убранство ея успокаиваетъ зрѣніе и душу. Въ ней протрезвляется чувство и утихаютъ волненія, подъятыя тревожными и раздражительными впечатлѣніями, которыя отовсюду осаждаютъ насъ. Она призываетъ къ тихому размышленію, втѣсняетъ насъ, сосредоточиваетъ въ самихъ себѣ. Изъ нея выходишь съ духомъ умиленнымъ, съ сознательностью и съ чувствомъ любви и благодарности къ ея строителю и хозяину“.

Обращаясь въ заключеніе къ самой книгѣ Гоголя, князь П. А. Вяземскій пишетъ: „Книга Гоголя не сочиненіе, а сборникъ писемъ и отдѣльныхъ отрывковъ. Онъ собралъ и напечаталъ ихъ за тѣмъ, что хотѣлъ искупить будто безполезность всего, доселѣ имъ напечатаннаго, потому что въ письмахъ его находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ его сочиненіяхъ. Это собственныя слова его. Далѣе гово-



рить онъ: „Я писатель, а долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученіе людямъ“. Еще далѣе прибавляетъ онъ: „Въ этихъ письмахъ было кое-что, послужившее въ пользу тѣхъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ, можетъ быть, послужать они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей часть суровой отвѣтственности за бесполезность прежде писаннаго“. Останавливаясь предъ этими словами князь П. А. Вяземскій замѣчаетъ: „Нельзя благороднѣе и лучше понять важность и святость своего авторскаго званія... Миръ и забвеніе бѣднымъ коллежскимъ регистраторамъ и другимъ канцелярскимъ служителямъ! Пора оставить ихъ въ покоѣ. Они до послѣдней нитки переплатились съ Литературою нашей, которая взяла ихъ на откупъ. Гоголь до послѣдняго волоса перекошилъ низменныя жатвы нашего Общества... Нынѣ авторъ призываетъ на свой судъ не мелкаго чиновника, а себя и человѣка... Онъ изъ уѣзда переходитъ въ открытый Божій міръ... Если полагать, что настоящая книга его не заслуживаетъ пристальнаго вниманія Общества, то должно бы заключить съ прискорбіемъ, что *пошлость* заразила не только поверхность нашей Литературы, но прокралась и въ глубину нашихъ духовныхъ потребностей, что она отучила насъ отъ всего, что составляетъ нравственное достоинство человѣка...“

Благородное негодованіе возбудило въ князѣ П. А. Вяземскомъ *сомнѣніе* нѣкоторыхъ въ *искренности убѣжденій* автора. „Можно“, писалъ онъ, — „не сочувствовать имъ, но и тогда должно уважить. Ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ они разбору критики холодной, суетной, человѣчески гордой и потому человѣчески шаткой и ограниченной... Странно присвоить себѣ право дѣлать надъ живымъ тѣломъ анатомическіе опыты, разсѣвать живое сердце, какъ безчувственное. Передъ нами не вымышленное лицо, которому авторъ, по произволу своему, придаетъ убѣжденія, чувства, страданія.

Нѣтъ, здѣсь человѣкъ, плоть и кровь, страдалецъ, братъ нашъ. Онъ изливаетъ передъ нами современнѣйшія тайны; съ духомъ сокрушеннымъ, испытаннымъ, онъ повѣряетъ намъ все, что выстрадалъ, въ надеждѣ, что исповѣдь его можетъ принести нѣкоторую пользу ближнему. А вы строго и самопроизвольно судите, разбираете, такъ ли онъ плачетъ, какъ слѣдуетъ, не притворяется ли онъ?... Вы съ жестокою радостью нападаете на него, когда вамъ кажется, что онъ промолвился, что онъ противорѣчитъ, какъ будто скорбь можетъ всегда разсчитывать слова свои... Съ упреками своими обращаюсь я къ той части судей изустныхъ, или письменныхъ, которыхъ голосъ долженъ быть принятъ въ соображеніе и во вниманіе...”

---

## LXVIII.

„Помнится мнѣ“, писалъ князь П. А. Вяземскій, — „статья моя о Гоголѣ никому не понравилась, начиная съ него самого. Но я и не думалъ угождать ему... Еще менѣе искалъ я угодить хвалебникамъ или порицателямъ Гоголя“ <sup>453</sup>). Это позднѣйшее свидѣтельство подтверждается современнымъ. Въ апрѣлѣ 1847 года П. Я. Чаадаевъ писалъ изъ Москвы князю П. А. Вяземскому: „Вамъ, вѣроятно, уже извѣстно, что на статью вашу здѣсь очень гнѣваются. Разумѣется, въ этомъ гнѣвѣ я не участвую... Я увѣренъ, что если вы не выставили всѣхъ недостатковъ книги, или недовольно на нихъ обратили вниманіе, то это потому, что вамъ до нихъ не было дѣла, что они безъ того достаточно были выставлены другими. Вамъ, кажется, всего болѣе хотѣлось показать ея важность и необходимость оборота, происшедшаго въ мысляхъ автора, и это, по моему мнѣнію, вы исполнили прекрасно. Что теперь ни скажутъ о вашей статьѣ, она останется въ памяти читающихъ и мыслящихъ людей, какъ самое честное слово, произнесенное объ этой книгѣ. Все, что ни было сказано о ней

другими, исполнено какою-то странною злобою противъ автора... Вы одни съ любовію относитесь о книгѣ и авторѣ. Спасибо вамъ!.. На меня находитъ невыразимая грусть, когда я вижу всю эту злобу, возникшую противъ любимаго писателя... за то только, что онъ пересталъ насъ тѣшить, и съ чувствомъ скорби и убѣжденія исповѣдуются предъ нами и старается, по силамъ, намъ сказать доброе и поучительное слово... Но одно... вы, кажется, упустили изъ виду, а именно высокомерный тонъ нѣкоторыхъ изъ этихъ *Писемъ*.— Это вещь, по моему мнѣнію, очень важная. Мы искони были люди смиренные и умы смиренные. Такъ воспитала насъ наша Церковь. Горе намъ, если мы измѣнимъ ея мудрому ученію, ему обязаны мы своими лучшими народными свойствами, своимъ величіемъ, своимъ значеніемъ въ мірѣ. Къ сожалѣнію, новое направленіе избраннѣйшихъ умовъ нашихъ именно къ тому клонится, и нельзя не признаться, что и нашъ милый Гоголь... этому вліянію подчинился. Пути наши не тѣ, по которымъ идутъ другіе народы. Мы конечно достигнемъ всего того, изъ чего они бьются, но по сіе время мы столь мало еще содѣйствовали къ общему дѣлу человѣческому, что безумно намъ величаться предъ старшими братьями нашими. Они не лучше насъ, но они опытнѣе насъ... Не повѣрите, до какой степени личности людей въ нашемъ краю измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ облеклись этой народною гордынею, невѣдомой отцамъ нашимъ. Вотъ что меня всего болѣе поразило въ книгѣ Гоголя, и чего вы, кажется, не замѣтили. Во всемъ прочемъ я съ вами за одно“.

Самъ же Гоголь по поводу этой статьи написалъ болѣе чѣмъ странное письмо князю Вяземскому, въ которомъ между прочимъ является защитникомъ своихъ *нападателей*, то-есть, Бѣлинскаго и его друзей и единомышленниковъ. „Ваша статья“ писалъ Гоголь, — „кромѣ всѣхъ тѣхъ достоинствъ и свойствъ, которыя принадлежать особенности собственно вашего ума, меня очень тронула тѣмъ чувствомъ соучастія, которое принадлежитъ только одной нѣжной и любящей душѣ. Одно

только меня остановило: мнѣ кажется, что выразились вы нѣсколько сурово о нѣкоторыхъ моихъ *нападателяхъ*, особенно о тѣхъ, которые прежде меня выхваляли. Мнѣ кажется вообще, мы судимъ ихъ слишкомъ неумолимо. Богъ знаетъ, можетъ быть, въ существѣ многіе изъ нихъ добрые люди и влекутся даже нѣкоторымъ, хотя отдаленнымъ, желаніемъ добра; но кого не увлекаетъ самолюбіе... Богъ знаетъ, можетъ быть, и намъ будетъ сдѣланъ упрекъ въ гордости за то, что мы нѣсколько жестоко оттолкнули ихъ, оскорбясь какою-нибудь ихъ дерзостью". Далѣе Гоголь пишетъ: „Я, признаюсь, ожидалъ и даже теперь ожидаю отъ васъ статьи, въ которой бы и я, и книга осталась въ сторонѣ, а выступилъ бы на сцену предметъ, для котораго вамъ даны такія орудія. У васъ есть все, что нужно для государственнаго мужа; притомъ любви къ Россіи, слава Богу, довольно; любви къ добру также, а если къ этому еще присоединится всѣми нами искомая, истинная любовь въ Христѣ ко всѣмъ братіямъ и голось ваше будетъ доступенъ многимъ сердцамъ и умамъ... Нужно, чтобы мы все-таки питали любовь къ своей государственности, а не летали мысленно по всѣмъ землямъ, говоря о Россіи“ <sup>454</sup>).

Даже и въ *Дневникъ* Погодина встрѣчается намъ таковая запись, подъ 12 мая 1847 г.: „Читалъ статью Вяземскаго. Надобно написать отвѣтъ“. Но съ полнымъ сочувствіемъ къ статьѣ князя П. А. Вяземскаго отнесся почтенный археографъ М. А. Коркуновъ, который писалъ Погодину: „Читали ли статью князя Вяземскаго о *Языковѣ и Гоголѣ*? Въ ней столько ума и правды, что я читалъ ее самъ для себя, читаю для другихъ, и не могу начитаться“ <sup>455</sup>).

Вопреки С. Т. Аксакову, книга Гоголя пришлась по душѣ и сердцу Загоскину, говорившему, что надо *пхатъ въ Неаполь и расцѣловать Гоголя* <sup>456</sup>).

Сильное впечатлѣніе произвело на Гоголя полученное имъ письмо отъ Ф. Ф. Вигеля. Письмо это и по своей формѣ, и содержанію очень оригинально. Оно начинается такъ: „Со-

чинитель этих *Писемъ* такъ же высоко стоитъ надъ авторомъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, какъ сей послѣдній далеко отстоитъ отъ Шаликова. Не могу описать восторговъ, съ которыми смотрѣлъ я на перерожденіе Гоголя". Письмо свое Вигель заключаетъ такими словами: „Вы весьма справедливо замѣтили, что Пушкинъ красотою своего стихотворнаго слога увлекъ и обратилъ въ подражателей другихъ отличныхъ поэтовъ, гораздо прежде его на поприще вступившихъ. Такъ точно и вы красотою вашихъ мыслей и чувствъ сильно подействовали на человѣка, далеко васъ въ жизни опередившаго: вы не могли указать ему на недостатки его, но заставили его самого съ сокрушеніемъ къ нимъ обратиться въ великіе дни, въ которые церковь наша призываетъ насъ къ покаянію, посту и молитвѣ. Ненависти онъ никогда не зналъ, хотя симъ именемъ и пятнали здѣсь сильное негодованіе его, не на личныхъ своихъ враговъ, а на внутреннихъ враговъ порядка, вѣры и Отечества его. Конечно, въ чувствѣ глубокаго презрѣнія, которое къ тому примѣшивалось, таится несогласная съ христіанскимъ смиреніемъ гордыня. Отнынѣ потщится онъ сіе чувство замѣнить состраданіемъ къ заблужденіямъ ихъ. Вы сами заставляете кого-то молить Господа, чтобъ онъ далъ ему гнѣвъ и любовь: сіи дары почти всегда бываютъ неразлучны; я получилъ ихъ, но, вѣроятно, не умѣлъ сдѣлать изъ нихъ благого употребленія для человѣчества. Теперь же мнѣ, дряхлому, забытому и забывшему, остается только молить Его о терпѣніи и о сохраненіи душевнаго спокойствія. Въ избытѣ чувствъ я по заочности заговорился съ вами; вѣроятно, вы меня никогда не услышите и не прочтете; но мнѣ пріятно мечтать, что я бесѣдую съ вами. Было время, что я васъ долго и близко зналъ—(о горе мнѣ) и не узналъ! Съ обѣихъ сторонъ излишнее самолюбіе не дозволяло намъ сблизиться. И какъ, за суровостію вашихъ взглядовъ, могъ бы я угадать сокровища вашихъ чувствъ! До сокровищъ ума не трудно было у васъ добратъся; не смотря на всю скупость рѣчей вашихъ, онъ самъ собою высказывается. Если

намъ когда-либо случится еще встрѣтиться въ жизни, то никакая холодность съ вашей стороны не остановитъ изліаній сердечной благодарности моей за восхитительныя наслажденія, доставленныя мнѣ чтеніемъ послѣдне-изданной вами книги“ <sup>457</sup>).

На письмо это Вигель имѣлъ утѣшеніе получить отъ Гоголя слѣдующее отвѣтное письмо:

„Мнѣ было очень чувствительно ваше доброе участіе ко мнѣ. Благодарю васъ много за ваше письмо! Вы, не оскорбившись ни дерзкимъ тономъ моей книги, ни неизвинимой самонадѣянностью ея автора, обратили вниманіе на существенную ея сторону. За алканье добра, которое прозрѣли вы въ страницахъ ея, вы умѣли простить мнѣ всѣ ея недостатки. Нѣтъ, я не ослѣпленъ собой въ такой мѣрѣ, какъ думаютъ. Даже и ваша оцѣнка моей книги (слишкомъ высокая) меня не наполнила той гордостью, которую мнѣ приписываютъ теперь вообще, хотя, признаюсь вамъ чистосердечно, я всегда васъ почиталъ за очень умнаго человѣка и, стало быть, имѣлъ бы право отъ вашего мнѣнія возгордиться. Книга моя есть отчетъ въ моей внутренней вознѣ. Въ ней видно, что строился человѣкъ точно для чего-то добраго, хотя и не состроился, оттого и всѣ эти заносчивыя замашки, нераппество, неосмотрительность, темнота, и проч. и проч. Зрѣлость и юность вмѣстѣ! То состояніе, котораго представитель моя книга, уже во мнѣ миновалось. Доказательствомъ этого служить мнѣ то, что я краснѣю отъ стыда за многое, въ ней выраженное. Но безъ этой книги, можетъ быть, мнѣ трудно было бы достигнуть той простоты, которая мнѣ необходима. Она точно есть для меня какое-то очищеніе. Послѣ нея я сталъ проще и яснѣе духомъ, и мнѣ кажется, что я теперь могу заговорить такимъ образомъ, что меня выслушаютъ безъ гнѣва. Не могу вамъ изъяснить, какъ мнѣ было пріятно прочесть тѣ строки вашего письма, гдѣ мелькомъ показали вы мнѣ вашу душу и дали мнѣ случай познакомиться съ вами ближе. Не питать негодованія противъ личныхъ враговъ—это уже очень

много! это начало любви. Любить же добро земли своей, какъ любили его всегда вы, есть еще болѣе не общее всѣмъ качество и стоитъ многихъ громкихъ заслугъ и выслугъ. Я увѣренъ, что въ вашихъ *Запискахъ* есть много того, что способно сообщить это качество и другимъ. Ваше имя не будетъ позабыто въ Россіи, хотя, можетъ быть, теперь на время и позабыли о васъ. Это одно уже должно утѣшить васъ въ минуты грустныя. Но мнѣ кажется, что Богъ пошлетъ вамъ минуты сладкія, описаніемъ которыхъ вы увѣнчаете искреннюю исповѣдь вашу, которая, какъ я слышалъ, находится въ вашихъ *Запискахъ*...“ Не довольствуясь этимъ, Гоголь счелъ полезнымъ рекомендовать Вигеля и А. О. Смирновой: „Я вамъ также писалъ нѣсколько о Вигелѣ и просилъ васъ не позабыть его также въ вашъ пріѣздъ. Я всегда о немъ думалъ, что онъ умный и притомъ честный и благородный человѣкъ, въ чемъ согласны были всѣ, знавшіе его недостатки и грѣхи; но я никогда не думалъ, чтобы онъ такъ высоко чувствовалъ и умѣлъ понимать вещи, какъ увидѣлъ теперь изъ его письма, и мнѣ стало очень грустно за его одиночество“ <sup>458</sup>)“.

X Изъ писателей молодого поколѣнія того времени, сколько намъ извѣстно, одинъ только Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ читалъ книгу Гоголя. 20 іюня 1847 года онъ писалъ Погодину: „Мнѣ хочется убѣдить одну даму, что Гоголь вовсе не съ ума сошелъ. Одолжите меня дня на четыре его послѣднюю книгою, то-есть, *Перепискою*“ <sup>459</sup>)“.

Заочно Погодинъ познакомилъ Григорьева съ самимъ Гоголемъ, и по порученію послѣдняго Шевыревъ писалъ Погодину: „При свиданіи надобно мнѣ кой-что узнать отъ тебя о Григорьевѣ, по порученію Гоголя, въ которому ты о немъ писалъ“. Въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ* Григорьевъ напечаталъ статью о *Выбранныхъ мысляхъ изъ Переписки съ друзьями*, о которой Шевыревъ отозвался, что въ ней „выразилось тревожное, но искреннее стремленіе сочувствовать Гоголю, хотя еще не дошедшее до полного сознанія“ <sup>460</sup>).

Къ сожалѣнію, статья эта не вошла въ Собраніе сочиненій

А. А. Григорьева, изданных Н. Н. Страховымъ въ 1876 году. Когда съ этою статьею познакомился Гоголь, то писалъ Шевыреву: „Статья Григорьева, довольно молодая, говорить больше въ пользу критика, чѣмъ моей книги. Онъ, безъ сомнѣнія, юноша благородной души и прекрасныхъ стремлений. Временный Гегелизмъ пройдетъ, и онъ станетъ ближе къ тому источнику, откуда черпается истина“ <sup>461</sup>).

## LXIX.

Изъ всѣхъ своихъ критиковъ Гоголь болѣе всѣхъ считался съ Бѣлинскимъ, и когда послѣдній въ *Современникѣ* напечаталъ критику на *Выбранныя мѣста*, то А. О. Смирнова, успокоивая своего друга, писала ему: „Критика Бѣлинскаго самая пустая, и легко понятно—почему. Ему хотѣлось васъ бранить *зо направленіе*, а *направленіе* онъ не осмѣлился обругать, да и цензура не пропустила бы тогда его статьи“ <sup>462</sup>). Но это Гоголя нисколько не успокоило. Князь П. А. Вяземскій уже давно замѣтилъ, что „Гоголь слушался Жуковскаго, Пушкина, но не хотѣлъ огорчать и Бѣлинскаго, и школу его“ <sup>463</sup>); а потому, какъ только Гоголь прочелъ критику Бѣлинскаго, то писалъ Прокоповичу (20 іюня 1847 г.): „Я прочелъ на дняхъ во второмъ номерѣ *Современника* Бѣлинскаго. Онъ, кажется, принялъ всю книгу написанною на его собственный счетъ и прочиталъ въ ней формальное нападеніе на всѣхъ, раздѣляющихъ его мысли. Это неправда... Вѣроятно, онъ принялъ на свой счетъ козла, который былъ обращенъ къ журналисту вообще. Мнѣ было очень прискорбно это раздраженіе не по причинѣ жестокости словъ..., но потому, что, какъ бы то ни было, человѣкъ этотъ говорилъ обо мнѣ съ участіемъ въ продолженіе десяти лѣтъ, человѣкъ этотъ, не смотря на излишества и увлеченія, указалъ, справедливо однакожь, на многія такія черты въ моихъ сочиненіяхъ, которыхъ не замѣтили другіе, считавшіе себя на высшей точкѣ раз-



умѣнія передъ нимъ. И я заплатилъ бы этому человѣку неблагодарностью, когда я умѣю отдавать справедливость даже тѣмъ, которые выставляютъ на видъ и отыскиваютъ во мнѣ одни недостатки. Напротивъ, я въ этомъ случаѣ только обманулся: я считалъ Бѣлинскаго возвышеннѣй, менѣе способнымъ въ такому близорукому взгляду и мелкимъ заключеніямъ... Пожалуйста переговоры съ Бѣлинскимъ и напиши мнѣ, въ какомъ онъ находится расположеніи духа нынѣ относительно меня... Если же въ немъ угомонилось неудовольствіе, то дай ему при семъ прилагаемое письмецо“ <sup>464</sup>).

Это письмо Гоголя достигло Бѣлинскаго, когда онъ для леченія своей неизлечимой болѣзни былъ въ чужихъ краяхъ. Однажды, когда погода въ Зальцбруннѣ была совершенно мрачная и Бѣлинскій, по его собственному выраженію, *раскисъ и отчитывался Мертвыми Душами* <sup>465</sup>), въ это самое время приносятъ ему нижеслѣдующее письмо Гоголя:

✕ „Я прочелъ съ прискорбіемъ статью вашу обо мнѣ во второмъ номерѣ *Современника*. Не потому, чтобы мнѣ прискорбно было униженіе, въ которое вы хотите меня поставить въ виду всѣхъ, но потому, что въ ней слышится голосъ человѣка, на меня разсердившагося. А мнѣ не хотѣлось бы разсердить даже и не любившаго меня человѣка, тѣмъ болѣе васъ, о которомъ я всегда думалъ, какъ о человѣкѣ, меня любящемъ. Я вовсе не имѣлъ въ виду огорчать васъ ни въ какомъ мѣстѣ моей книги. Какъ то вышло, что на меня разсердились всѣ до единого въ Россіи, этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные — всѣ огорчились. Это правда, я имѣлъ въ виду небольшой щелчокъ каждому изъ нихъ, считая это нужнымъ, испытавши надобность его на собственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія), но я не думалъ, чтобы щелчокъ мой вышелъ такъ грубо неловокъ и такъ оскорбителенъ. Я думалъ, что мнѣ великодушно простятъ, и что въ книгѣ моей зародышъ примиренія всеобщаго, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами разсерженнаго человѣка, и потому почти все

приняли въ дурномъ видѣ. Оставьте всѣ тѣ мѣста, которыя покажутъ еще загадка для многихъ, если не для всѣхъ, и обратите вниманіе на тѣ мѣста, которыя доступны всякому здравому и разсудительному человѣку, и вы увидите, что вы ошиблись во многомъ. Я очень не даромъ молилъ всѣхъ прочесть мою книгу нѣсколько разъ, предугадывая впередъ всѣ эти недоразумѣнія. Повѣрьте, что не легко судить о такой книгѣ, гдѣ замѣшалась собственная душевная исторія человека, непохожаго на другихъ, и еще при томъ человека скрытнаго, долго жившаго въ самомъ себѣ и страдавшаго неумѣньемъ выразиться. Не легко было также и рѣшиться на подвигъ выставить себя на всеобщій позоръ и посмѣяніе, выставивши часть той внутренней своей клятвы, настоящій смыслъ которой не скоро почувствуется. Уже одинъ такой подвигъ долженъ бы былъ заставить мыслящаго человека задуматься и, не торопясь подачей собственного своего голоса о ней, прочесть ее въ различные часы своего душевнаго расположенія, болѣе спокойнаго и болѣе настроеннаго къ своей собственной исповѣди, и что только въ такія минуты душа способна понимать душу; а въ книгѣ моей дѣло души. Вы бы не сдѣлали тогда такихъ оплошныхъ выводовъ, которыми исполнена ваша статья. Какъ можно было, напримѣръ, изъ того, что я сказалъ, что въ критикахъ, говорившихъ о моихъ недостаткахъ, есть много справедливаго, вывести заключеніе, что критики, говорившіе о достоинствахъ моихъ, несправедливы. Такая логика могла присутствовать только въ головѣ раздраженнаго человека, продолжающаго искать одно уже то, что способно раздражать его, а не оглядывающаго предметъ со всѣхъ сторонъ. Ну, а что, если я долго носилъ въ головѣ, какъ заговорить о тѣхъ критикахъ, которые по поводу моихъ сочиненій разнесли много прекрасныхъ мыслей объ искусствѣ, и если я безпристрастно хотѣлъ опредѣлить достоинство каждаго и тѣ личные оттѣнки эстетическаго чувства, которыми сообразно былъ или могъ быть одаренъ каждый изъ нихъ, и если я выжидалъ только времени, когда

мнѣ можно будетъ сказать объ этомъ, или, справедливѣе, когда мнѣ приличнѣе будетъ сказать объ этомъ, чтобы не говорили потомъ, что я руководствовался какой-либо своекорыстною цѣлью, а не чувствомъ безпристрастія и справедливости? Пишите критики самыя жесткія, прибирайте всѣ слова, какія знаете, на то, чтобы унижить человѣка, способствуйте осмѣянію меня въ глазахъ читателей, не пожалѣйте самыхъ чувствительныхъ струнъ, можетъ быть, нѣжнѣйшаго сердца, все это вынесетъ моя душа, хотя и не безъ боли и не безъ скорбныхъ потрясеній. Но мнѣ тяжело, очень тяжело (говорю вамъ это истинно), когда противъ меня питаетъ личное озлобленіе даже и злой человѣкъ, не только добрый, а васъ я считаю за добраго человѣка. Вотъ вамъ искреннее изложеніе чувствъ моихъ“.

Прочитавъ это письмо, Бѣлинскій опять *залазалъ собакой, завылъ шакаломъ, зажмурилъ глаза и весь отдался негодovanію и бышенству*. Въ такомъ-то душевномъ настроеніи написалъ онъ, 15 іюля 1847 г., въ Зальцбруннѣ свой возмутительный *отѣтъ Гоголю*. Съ краснорѣчіемъ и энергією, не стѣсняясь цензурой, изложилъ Бѣлинскій міросозерцаніе Западниковъ, которыхъ выразителями были *Отечественныя Записки* и сталъ въ то время преобразованный *Современникъ*, міросозерцаніе, анти-православное и слѣдовательно анти-Русское, міросозерцаніе, съ которыми самоотверженно боролись Погодинъ и Шевыревъ въ своемъ *Москвитянинѣ*, въ лекціяхъ, въ сочиненіяхъ, Словенофилы въ своихъ спорахъ, сочиненіяхъ и наконецъ самъ Гоголь въ своей книгѣ.

Міросозерцаніе это имѣло огромное вліяніе на духовное развитіе цѣлыхъ послѣдующихъ поколѣній, и въ этомъ смыслѣ *Отѣтъ Бѣлинскаго Гоголю* имѣетъ значеніе акта историческаго. Но нравственное чувство не дозволяетъ намъ привести его въ его цѣльномъ видѣ.

„Вы только отчасти правы, увидавъ въ моей статьѣ разсерженнаго человѣка. Этотъ эпитетъ слишкомъ слабъ и нѣженъ для выраженія того состоянія, въ которое привело меня

чтеніе вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашимъ, дѣйствительно не совсѣмъ лестнымъ, отзывамъ о почитателяхъ вашего таланта. Нѣтъ, тутъ была причина болѣе важная. Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать объ этомъ предметѣ, еслибы все дѣло заключалось только въ немъ; но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истинны человѣческаго достоинства; нельзя молчать, когда подъ покровомъ религіи и защитой кнута проповѣдуютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель.

„Да, я любилъ васъ со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своею странкою, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса. И вы имѣли основательную причину хотъ на минуту выйти изъ спокойнаго состоянія духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считалъ любовь свою наградою великаго таланта, а потому, что въ этомъ отношеніи представляю не одно, а множество лицъ, изъ которыхъ ни вы, ни я не видали самаго большаго числа, и которые, въ свою очередь, тоже не видали васъ. Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ, ни о тѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ея всѣ враги ваши и нелитературные (Чичиковы, Ноздревы, городничіе и т. д.), и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны. Вы видите сами, что отъ вашей книги отступились даже люди, по видимому, одного духа съ ея духомъ. Еслибы она и была написана вслѣдствіе глубокаго, искреннаго убѣжденія, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатлѣніе. И если ее приняли всѣ (за исключеніемъ немногихъ людей, которыхъ надо видѣть и знать, чтобы не обрадоваться ихъ одобренію) за хитрую, но черезчуръ неперемонную продѣлку, для достиженія небеснымъ путемъ чисто земной цѣли, — въ этомъ виноваты только вы, и это нисколько неудивительно,

а удивительно то, что вы находите это удивительнымъ. Я думаю это отъ того, что вы глубоко знаете Россію только какъ художникъ, а не какъ мыслящій человѣкъ, роль котораго вы такъ неудачно приняли на себя въ вашей фантастической книгѣ. И это не потому, чтобы вы не были мыслящимъ человѣкомъ, а потому, что вы столько уже лѣтъ привыкли смотрѣть на Россію изъ вашего *прекраснаго далека*; а вѣдь извѣстно, что ничего нѣтъ легче, какъ издалека видѣть предметы такими, какими намъ хочется ихъ видѣть, потому что въ этомъ прекрасномъ далекомъ вы живете совершенно чуждымъ ему, въ самомъ себѣ, внутри себя, или въ однообразіи кружеа, одинаково съ вами настроеннаго и безсильнаго противиться вашему на него вліянію. Поэтому вы не замѣтите, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піетизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны не проповѣди, довольно она слышала ихъ, а пробужденіе въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ попираемаго въ грязи и навозѣ; права и законы, сообразные не съ ученіемъ церкви, а съ здравымъ смысломъ и справедливостію, и строгое, по возможности, ихъ исполненіе. А вмѣсто этого она представляетъ собою ужасное зрѣлище страны, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на это и того оправданія, какимъ лукаво пользуются Американскіе плантаторы, утверждая, что негръ — не человѣкъ, страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а вличками Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, гдѣ нѣтъ не только никакихъ гарантій для личностей, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпораціи разныхъ служебныхъ воровъ и грабителей. Самые живые, современные національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостного права, ослабленіе тѣлеснаго наказанія, введеніе, по возможности, строгаго исполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть. Это чувствуетъ даже само правительство (которое хорошо знаетъ, что дѣлаютъ помѣщики со своими

крестьянами, и сколько послѣдніе ежегодно рѣжутъ первыхъ), что доказывается его робкими и безплодными полумѣрами въ пользу бѣлыхъ Негровъ и комическимъ замѣненіемъ однохвостнаго кнута треххвостною плетью. Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ ея апатическомъ полуснѣ. И въ это-то время великій писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зеркалѣ, — является съ книгою, въ которой, во имя Христа и церкви, учитъ варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, ругая *ихъ неумытыми рылами*... И это ли не должно было привести меня въ негодованіе?...

„Да еслибы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ за эти позорныя строки. И послѣ этого вы хотите, чтобы вѣрили искренности направленія вашей книги. Нѣтъ, еслибы вы дѣйствительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволовымъ ученіемъ, совсѣмъ не то написали бы вашему адепту изъ помѣщиковъ. Вы написали бы ему, что такъ какъ его крестьяне его братья о Христѣ, и какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать ему свободу, или хотя, по крайней мѣрѣ, пользоваться трудами крестьянъ какъ можно льготнѣе для нихъ, сознавая себя въ ложномъ въ отношеніи къ нимъ положеніи. А выраженіе: *ахъ ты неумытое рыло*? Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать міру, какъ великое открытіе въ пользу и назиданіе мужиковъ, которые и безъ того потому и не умываются, что, повѣривъ своимъ барамъ, себя не считаютъ за людей? А ваше понятіе о національномъ Русскомъ судѣ и расправѣ, идеалъ котораго нашли вы въ словахъ глупой бабы въ повѣсти Пушкина, и по разуму которой должно пороть и праваго, и виноватаго? Да это и такъ дѣлается у насъ въ частую, хотя чаще всего порютъ только праваго, если ему нечѣмъ откупиться отъ преступленія, — *быть безъ вины вино-*

ватѣмъ? И такая-то книга могла быть результатомъ труднаго внутренняго процесса, высокаго духовнаго просвѣщенія? Не можетъ быть! Или вы больны—и вамъ надо спѣшить лечиться, или... не смѣю досказать своей мысли.

Х Проповѣдникъ внута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ Татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Что вы подобное ученіе опираете на православную церковь, это еще понимаю..... Христа-то зачѣмъ вы примѣшали тутъ?... Онъ первый возвѣстилъ людямъ ученіе свободы, равенства и братства, и мученичествомъ запечатлѣлъ, утвердилъ истину своего ученія. И оно только до тѣхъ поръ было спасеніемъ людей, пока не организовалось въ церковь и не приняло за основаніе принципа ортодоксіи... Но смыслъ Христова слова открыть философскимъ движеніемъ прошлаго вѣка. И вотъ почему какой-нибудь Вольтеръ, орудіемъ насмѣшки погасившій въ Европѣ костры фанатизма и невѣжества, конечно болѣе сынъ Христа, плоть отъ плоти его и кость отъ костей его, нежели всѣ ваши попы, архіереи, митрополиты и патріархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете! А вѣдь это не новость теперь для всякаго гимназиста. А потому, неужели вы, авторъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, неужели вы искренно, отъ души пропѣли гимнъ..... Русскому духовенству, поставили его неизмѣримо выше духовенства католическаго? Положимъ, вы не знаете, что второе было когда-то чѣмъ-то, между тѣмъ какъ первое никогда ничѣмъ не было, кромѣ какъ слугою и рабомъ свѣтской власти. Но неужели же вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщемъ презрѣніи у Русскаго общества и Русскаго народа? По вашему—Русскій народъ самый религіозный въ мірѣ? Основа религіозности есть шіэтизмъ, благоговѣніе, страхъ Божій..... Приглядитесь попристальнѣе, и вы убѣдитесь, что это по натурѣ глубоко атеистическій народъ. Въ немъ еще много суевѣрія, но нѣтъ слѣда религіозности. Суевѣріе проходитъ съ успѣхами цивилизаціи, но ре-

религіозность часто уживается и съ ними; живой примѣръ Франція, гдѣ и теперь много искреннихъ католиковъ между людьми просвѣщенными и образованными, и гдѣ многіе, отложившись отъ христіанства, все еще упорно стоятъ за какаго-то Бога. Русскій народъ не таковъ: мистическая экзальтація не въ его натурѣ, у него слишкомъ много для этого здраваго смысла, ясности и положительности въ умѣ, и вотъ въ этомъ-то, можетъ быть, огромность историческихъ судебъ его въ будущемъ. Религіозность не привилась въ немъ даже въ духовенствѣ, ибо нѣсколько отдѣльныхъ, исключительныхъ личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностію, ничего не доказываютъ. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось... схоластическимъ педантизмомъ да дикимъ невѣжествомъ. Его грѣхъ обвинить въ религіозной нетерпимости и фанатизмѣ; но скорѣй можно похвалить за образцовый индифферентизмъ въ дѣлѣ вѣры. Религіозность проявилась у насъ только въ раскольничьихъ сектахъ, столь противоположныхъ по духу своему массѣ народа и столь ничтожныхъ предъ нею числительно.

„Не буду распространяться о вашемъ дифирамбѣ любовной связи Русскаго народа къ его владыкамъ. Скажу прямо: этотъ дифирамбъ ни въ комъ не встрѣтилъ себѣ сочувствія и уронилъ васъ въ глазахъ даже людей, въ другихъ отношеніяхъ очень близкихъ къ вамъ по направленію. Что касается до меня лично, то предоставляю вашей совѣсти упиваться созерцаніемъ Божественной красоты самодержавія (оно покойно, да, говорятъ, и выгодно для васъ), только продолжайте благоразумно созерцать его изъ вашего *прекраснаго далека*: вблизи-то оно не такъ прекрасно и не такъ безопасно...

„Замѣчу одно: когда европейцомъ, особенно католикомъ, овладѣетъ религіозный духъ, онъ дѣлается обличителемъ неправды власти, подобно Еврейскимъ пророкамъ, обличавшимъ беззаконія сильныхъ земли. У насъ же на оборотъ: пости-



гасеть человека (даже порядочнаго) болѣзнь, известная у врачей психіатровъ подъ именемъ *religiosa mania*, онъ тотчасъ же земному богу подкупить болѣе, нежели небесному, да еще и такъ хватить черезъ край, что тотъ и хотѣлъ бы его наградить за рабское усердіе, да видитъ, что этимъ окомпрометировалъ бы себя въ глазахъ общества... Бестія нашъ братъ Русскій человекъ!..

„Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да простить васъ вашъ Византійскій богъ за эту Византійскую мысль, если только, передавши ее бумагѣ, вы не знали, что говорили. Но можетъ быть, вы скажете: „положимъ, что я заблуждался, и всѣ мои мысли ложь; но почему отнимаютъ у меня право заблуждаться и не хотятъ вѣрить искренности моихъ заблужденій?“ Потому, отвѣчаю я вамъ, что подобное направленіе въ Россіи давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачкомъ съ братією. Конечно, въ вашей книгѣ болѣе ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато въ ней), чѣмъ въ ихъ сочиненіяхъ, но за то они развили общее имъ съ вами ученіе съ большой энергіей и большой послѣдовательностію, смѣло дошли до его послѣднихъ результатовъ; все отдали Византійскому богу, ничего не оставили сатанѣ, тогда какъ вы, желая поставить по свѣтѣ тому и другому, впали въ противорѣчіе, отстаивая, напримѣръ, Пушкина, литературу и театръ, которые съ вашей точки зрѣнія, еслибы вы только имѣли добросовѣстность быть послѣдовательнымъ, нисколько не могутъ служить къ спасенію души, но много могутъ служить къ ея гибели... Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя съ Бурачкомъ? Вы слишкомъ высоко поставили себя во мнѣніи Русской публики, чтобы она могла вѣрить въ васъ искренности подобныхъ убѣжденій. Что кажется естественнымъ въ глупцахъ, то не можетъ казаться такимъ въ гениальномъ человекѣ. Нѣ-

которые остановились — было на мысли, что ваша книга есть плод умственного разстройства, близкаго къ положительному сумашествію. Но они скоро отступились отъ такого заключенія: ясно, что книга писана не день, не недѣлю, не мѣсяцъ, а, можетъ быть, годъ, два или три; въ ней есть связь, сквозъ небрежное изложеніе проглядываетъ обдуманность, а гимнъ властямъ предержащимъ хорошо устраиваетъ земное положеніе набожнаго автора. Вотъ почему въ Петербургѣ распространился слухъ, будто вы написали эту книгу съ цѣлью попасть въ наставники къ сыну Наслѣдника. Еще прежде въ Петербургѣ сдѣлалось извѣстнымъ письмо ваше къ Уварову, гдѣ вы говорите съ огорченіемъ, что вашими сочиненіямъ въ Россіи даютъ превратный толкъ, затѣмъ обнаруживаете недовольствіе своими прежними произведеніями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочиненіями, когда тотъ, который и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ писателя, и еще болѣе какъ человѣка?...

„Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете Русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ Русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, но сдавленные тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной Литературѣ, не смотря на Татарскую цензуру, есть еще жизнь и и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почетно, почему у насъ такъ легокъ литературный успѣхъ даже при маленькомъ талантѣ. Титло поэта, званіе литератора у насъ давно уже затмили мишуру эполетъ и разноцвѣтныхъ мундировъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ-называемое, либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта, и почему такъ скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, отдающихъ себя, искренно или неискренно, въ услуженіе православію, самодержавію и народности. Разительный примѣръ Пушкина, которому стоило только написать два, три вѣрно-

подданическихъ стихотвореній и надѣтъ камеръ-юнкерскую ливрею, чтобы вдругъ лишиться народной любви. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурного направленія, а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всѣмъ и каждому. Положимъ, вы могли это думать о пишущей братіи, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ *Ревизоръ* и *Мертвыхъ Душахъ* вы менѣе рѣзки, съ меньшею истинною и талантомъ и менѣе горькія правды высказали ей. И она дѣйствительно осердилась на васъ до бѣшенства, но *Ревизоръ* и *Мертвыя Души* отъ того не пали, тогда какъ ваша послѣдняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тутъ права: она видитъ въ Русскихъ писателяхъ своихъ единственныхъ вождей, защитниковъ и спасителей отъ Русскаго самодержавія, православія и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не проститъ ему зловредной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго, здороваго чутія, и это же показываетъ, что у него есть будущность. Если вы любите Россію, порадайтесь вмѣстѣ со мною, порадайтесь паденію вашей книги.

„Не безъ нѣкотораго чувства самодовольствія скажу вамъ, что мнѣ кажется, что я немного знаю Русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного вліянія на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся въ Петербургѣ слухъ, что правительство хочетъ отпечатать вашу книгу въ числѣ многихъ тысячъ экземпляровъ и продавать ее по самой низкой цѣнѣ, мои друзья приуныли, но я тогда же сказалъ имъ, что не смотря ни на что, книга не будетъ имѣть успѣха и о ней скоро забудутъ. И дѣйствительно, она памятна теперь всѣмъ статьями о ней, нежели сама собою. Да, у Русскаго человѣка глубоко, хотя и не развитъ еще инстинктъ истины. Ваше обращеніе, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль довести о немъ до свѣдѣнія публики была самая несчастная. Времена наивнаго благоче-

стія давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимаетъ, что молиться вездѣ все равно, и что въ Іерусалимѣ ищутъ Христа только люди, или никогда не носившіе его въ груди, или потерявшіе его. Кто способенъ страдать при видѣ чужого страданія, кому тяжело зрѣлище угнетенія чуждыхъ ему людей, — тотъ носить Христа въ груди своей, и тому не зачѣмъ ходить пѣшкомъ въ Іерусалимъ. Смиреніе, проповѣдуемое вами, во первыхъ, не любовь; а во вторыхъ, отзывается, съ одной стороны, странною гордостью, а съ другой, самымъ позорнымъ униженіемъ своего человѣческаго достоинства. Мысль сдѣлаться какимъ-то абстрактнымъ совершенствомъ, стать выше всѣхъ смиреніемъ, можетъ быть плодомъ или гордости, или слабоумія, и въ обоихъ случаяхъ ведетъ къ лицемерію, ханжеству, китаизму. И при этомъ вы позволили себѣ цинически грязно выражаться не только о другихъ (что было бы только невѣжество), но о самомъ себѣ. Это уже гадко, потому что человѣкъ, бьющій своего ближняго по щекамъ, возбуждаетъ негодованіе, но человѣкъ, бьющій по щекамъ самъ себя, возбуждаетъ презрѣніе. Нѣтъ, вы только омрачены, а не просвѣтлены; вы не поняли ни духа, ни формы христіанства нашего времени: не истиной христіанскаго ученія, а болѣзненною боязнію смерти, чорта и ада вѣсть отъ вашей книги! И что за языкъ, что за фразы! Дрянъ и тряпка сталъ теперь *всякъ* человѣкъ! Неужели вы думаете, что сказать *всякъ* вмѣсто *всякій* значитъ выражаться библейски? Какая это великая истина, что когда человѣкъ весь отдается лжи, его оставляютъ умъ и талантъ. Не будь на вашей книгѣ выставлено вашего имени, и будь изъ нея исключены тѣ мѣста, гдѣ вы говорите о себѣ какъ писатель, кто бы подумалъ, что эта неопрятная и надутая шутиха словъ и фразъ — произведеніе пера автора *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*?

„Что же касается до меня лично, повторяю вамъ: вы ошиблись, сочтя мою статью выраженіемъ досады за вашу отзывъ обо мнѣ, какъ объ одномъ изъ вашихъ критиковъ. Еслибы только это разсердило меня, я только объ этомъ и отзывался

бы съ досадою,, а обо всемъ остальномъ выразился бы спокойно, безпристрастно. А это правда, что вашъ отзывъ о вашихъ почитателяхъ вдвойнѣ нехорошъ. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своимъ восторгомъ ко мнѣ только дѣлаетъ меня смѣшнымъ, но и эта необходимость тяжела, потому что какъ-то по человѣчески не ловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имѣли въ виду людей если и не съ отличнымъ умомъ, то все же и не глупцовъ. Эти люди въ своемъ удивленіи къ вашимъ твореніямъ надѣлали, быть можетъ, гораздо больше восклицаній, нежели сколько высказали объ нихъ дѣла; но все же ихъ энтузіазмъ къ вамъ выходитъ изъ такого чистаго и благороднаго источника, что вамъ вовсе не слѣдовало бы выдавать ихъ головою общимъ ихъ и вашимъ врагамъ; да еще вдобавокъ обвинять ихъ въ намѣреніи дать какой-то превратный толкъ вашимъ сочиненіямъ. Вы, конечно, сдѣлали это по увлеченію главною мыслью вашей книги и по неосмотрительности; а Вяземскій, этотъ князь въ аристократіи и холопъ въ Литературѣ, развивъ вашу мысль, напечаталъ на вашихъ почитателей (стало быть — на меня всѣхъ болѣе) чистый доносъ. Онъ это сдѣлалъ, вѣроятно, въ благодарность вамъ за то, что вы его, плохого риноплетя, произвели въ великіе поэты, кажется, сколько я помню, за его вялый, влчачійся по землѣ стихъ. Все это нехорошо! А что вы ожидали только времени, когда вамъ можно будетъ отдать справедливость и почитателямъ вашего таланта (отдавши ее съ гордымъ смиреніемъ вашимъ врагамъ), этого я не зналъ, не могъ, да признаться и не захотѣлъ бы знать. Предо мною была ваша книга, а не ваши намѣренія. Я читалъ и перечитывалъ ее сто разъ, и все-таки не нашелъ въ ней ничего, кромѣ того, что въ ней есть, а то, что въ ней есть, глубоко оскорбило и возмутило мою душу.

„Еслибы я далъ полную волю моему чувству, письмо мое скоро превратилось бы въ толстую тетрадь. Я никогда не думалъ писать къ вамъ объ этомъ предметѣ, хотя и мучительно

желалъ этого, и хотя вы всѣмъ и каждому печатно дали право писать къ вамъ безъ церемоній, имѣя въ виду одну правду. Живя въ Россіи, я не могъ бы этого сдѣлать, ибо тамошніе Шпекины распечатываютъ чужія письма, не изъ одного личнаго удовольствія, но и по долгу службы, ради доносовъ. Но нынѣшнее лѣто начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Некрасовъ переслалъ мнѣ ваше письмо въ Зальцбруннъ, откуда я сегодня же ѣду съ Анненковымъ въ Парижъ, черезъ Франкфуртъ на Майнъ. Неожиданное полученіе вашего письма дало мнѣ возможность высказать вамъ все, что лежало у меня на душѣ противъ васъ по поводу вашей книги. Я не умѣю говорить вполовину, не умѣю хитрить,—это не въ моей натурѣ. Пусть вы или само время докажетъ мнѣ, что я заблуждался въ моихъ объ васъ заключеніяхъ. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь въ томъ, что сказалъ вамъ. Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ. Тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о Русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ мое послѣднее заключительное слово: если вы имѣли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги и тяжкій грѣхъ ея изданія въ свѣтъ искупить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія“ \*).

---

## LXX.

Письмо Бѣлинскаго несомнѣнно произвело на Гоголя сильное впечатлѣніе. „Я не могъ отвѣчать скоро“, писалъ онъ Бѣлинскому (отъ 10 августа 1847 года, изъ Остенде),— „на письмо ваше. Душа моя изнемогла; все во мнѣ потрясено.

---

\*) Письмо это напечатано со списка, принадлежавшаго А. А. Красковскому, а нынѣ хранящагося въ Отдѣленіи рукописей Императорской Публичной Библіотеки.

Могу сказать, что не осталось чувствительных струнъ, которыми не было бы понесено поражение еще прежде, нежели я получилъ письмо ваше... Что мнѣ отвѣчать! Богъ вѣсть, можетъ быть, въ словахъ вашихъ есть часть правды. Скажу вамъ только, что я получилъ около пятидесяти разныхъ писемъ по поводу моей книги, и ни одно изъ нихъ не похоже на другое. — Вижу, что укоровшіе меня въ незнаніи многихъ вещей... обнаружили передо мной собственное незнаніе многого... Мнѣ кажется, что не всякій изъ насъ понимаетъ нынѣшнее время, въ которомъ такъ явно проявляется духъ нестроения полнѣйшій, нежели когда-либо прежде... Старое и новое выходитъ на борьбу... Настоящій вѣкъ есть вѣкъ весьма разумнаго сознанія... Онъ велитъ оглядываться многостороннимъ взглядомъ старца, а не показывать горячую прыть рыцаря прошедшихъ временъ. Мы ребенокъ предъ этимъ вѣкомъ. Повѣрьте мнѣ, что вы и я равно виноваты передъ нимъ. Я, по крайней мѣрѣ, сознаюсь въ этомъ, но сознаетесь ли вы?"

Между тѣмъ Гоголемъ былъ написанъ другой отвѣтъ Бѣлинскому, далеко не столь безцвѣтный, который, въ сожалѣнію, былъ разорванъ писавшимъ, но по счастью въ бумагахъ Гоголя П. А. Кулѣшъ нашелъ двѣ тетрадки, разорванныя Гоголемъ въ клочки; Кулѣшъ сложилъ лоскутки, списалъ и такимъ образомъ спасъ для потомства этотъ драгоценный документъ.

„Съ чего начать мой отвѣтъ на ваше письмо, если не съ вашихъ же словъ: *Опомнитесь, вы стоите на краю бездны*. Какъ далеко вы сбились съ прямого пути! Въ какомъ вывороченномъ видѣ стали передъ вами вещи! Въ какомъ грубомъ, невѣжественномъ смыслѣ приняли вы мою книгу! Какъ вы ее истолковали!.. О, да внесутъ святая силы миръ въ вашу страждущую душу! Зачѣмъ было вамъ перемѣнять разъ выбранную, мирную дорогу? Что могло быть прекраснѣе, какъ показывать читателямъ красоты въ твореньяхъ нашихъ писателей, возвышать ихъ душу и силы до пониманья всего прекраснаго, наслаждаться трепетомъ пробужденнаго

въ нихъ сочувствія и такимъ образомъ невидимо дѣйствовать на ихъ души? Дорога эта привела бы васъ къ примиренію съ жизнью, дорога эта заставила бы васъ благословлять все въ природѣ. А теперь уста ваши дышатъ желчью и ненавистью... Затѣмъ вамъ, съ вашею пылкою душою, вдаваться въ этотъ омутъ политической (жизни), въ эти мутныя событія современности, среди которой и твердая осмотрительность многосторонняго (ума) теряется? Какъ же съ вашимъ одностороннимъ, пылкимъ, какъ порохъ, умомъ, уже вспыхивающимъ прежде, чѣмъ еще успѣли узнать, что истина, а что (ложь), какъ вамъ не потеряться? Вы сгорите, какъ свѣчка, и другихъ сожжете... О, какъ сердце мое ноетъ въ эту минуту за васъ! Что, если и я виноватъ? Что, если и мои сочиненія послужили вамъ къ заблужденію? Но нѣтъ, какъ ни разсмотрю всѣ прежнія сочиненія (мои), вижу, что они не могли (соблазнить васъ)... Когда я писалъ ихъ, я благоговѣлъ передъ (всѣмъ, передъ) чѣмъ человѣкъ долженъ благоговѣть. Насмѣшки и нелюбовь слышались у меня не надъ властью, не надъ коренными законами нашего государства, но надъ извращеніемъ, надъ уклоненіемъ, надъ неправильными толкованіями, надъ дурнымъ (приложеніемъ ихъ). Нигдѣ не было у меня насмѣшки надъ тѣмъ, что составляетъ основаніе Русскаго характера и его великія силы. Насмѣшка была только надъ мелочью, несвойственной его характеру. Моя ошибка въ томъ, что я мало обнаружилъ Русскаго человѣка, я не развернулъ его, не обнажилъ до тѣхъ великихъ родниковъ, которые хранятся въ его душѣ. Но это не легкое дѣло. Хотя я и больше наблюдалъ за Русскимъ человѣкомъ, хотя мнѣ могъ помогать нѣкоторый даръ ясновидѣнья, но я не былъ ослѣпленъ собой, глаза у меня были ясны. Я видѣлъ, что я еще не зрѣлъ для того, чтобы бороться съ событиями выше тѣхъ, какія доселѣ были въ моихъ сочиненіяхъ, и съ характерами сильнѣйшими. Все могло показаться преувеличеннымъ и напряженнымъ. Такъ и случилось съ этою моею книгой, на которую вы такъ на-



пали. Вы взглянули на нее распаленными глазами, и все вамъ представилось въ ней въ другомъ видѣ. Вы ее не узнали. Не стану защищать мою книгу. Я самъ на нее напалъ и нападаю.

„Она была издана въ торопливой поспѣшности, несвойственной моему характеру, разсудительному и осмотрительному. Но движеніе было честное. Никому я не хотѣлъ ею польстить или покадить. Я хотѣлъ только остановить нѣсколько пылкихъ головъ, готовыхъ закружиться и потеряться въ этомъ омутѣ и безпорядкѣ, въ какомъ вдругъ очутились всѣ вещи міра, когда внутренній духъ сталъ померкать, какъ бы готовый погаснуть.

„Я попалъ въ излишества, но—говорю вамъ—я этого даже не замѣтилъ. Своекорыстныхъ же цѣлей я и прежде не имѣлъ, когда меня еще нѣсколько занимали соблазны міра, а тѣмъ болѣе (теперь, когда мнѣ) пора подумать о смерти... Ничего не хотѣлъ (я) ею выпрашивать. Это не въ моей натурѣ. Слава Богу, я возлюбилъ свою бѣдность и не промѣняю ее на тѣ блага, которыя вамъ кажутся такъ обольстительными. Вспомнили бы по крайней мѣрѣ, что у меня нѣтъ даже угла, и я стараюсь о томъ, какъ бы еще облегчить мой небольшой походный чемоданъ, чтобъ легче было расставаться съ міромъ. Стало быть, вамъ бы слѣдовало поудержаться клеймить меня тѣми обидными подозрѣніями, которыми, признаюсь, я бы не имѣлъ духа запятнать послѣдняго мерзавца... Вы извиняете себя (тѣмъ, что вы писали) въ гнѣвномъ расположеніи духа); но въ какомъ же расположеніи духа вы рѣшаетесь говорить (неуважительно о такихъ) важныхъ предметахъ?

„Какъ мнѣ защищаться противъ вашихъ нападеній, когда нападенія не впадаютъ. Нѣтъ, каждому изъ насъ слѣдуетъ напоминать, что званье его свято. Пусть вспомнить, какой строгій отвѣтъ потребуется отъ него... Но если каждого изъ насъ званье свято, то тѣмъ болѣе того, кому дается трудный и страшный удѣлъ заботиться о милліонахъ. Да, мы должны даже другъ другу напоминать о (святости нашихъ)

обязанностей. Безъ (этого человѣкъ) погрязнеть въ матеріальныхъ чувствахъ.—Или, вы думаете, этого не знаетъ никто изъ Русскихъ? Рассмотримъ пристально, отчего это? Не отъ оттого ли эта склонность (къ роскоши) и чудовищное накопленіе (пороковъ), что мы всё—кто въ лёсъ, кто по дрова? Одинъ смотритъ въ Англію, другой въ Пруссію, третій во Францію; тотъ выѣзжаетъ на однихъ началахъ, другой на другихъ; одинъ суетъ тотъ проектъ, другой (—другой, третій—) опять иной. Что ни человѣкъ, (то и разныя мысли...) (Какъ же не) образоваться посреди (такой разладицы) ворами и возможнымъ плутнямъ и несправедливостямъ, когда всякій видитъ, что вездѣ завелись препятствія, (всякій) думаетъ только о себѣ и о томъ, какъ бы себѣ запасти потеплѣй квартиру?.. Вы говорите, что спасенье Россіи въ Европейской цивилизаціи; но какое это безпредѣльное и безграничное слово! Хотъ бы вы опредѣлили, что такое нужно разумѣть подъ именемъ Европейской цивилизаціи! Тутъ и фаланстеры, и красные, и всякіе, и всё другъ друга готовы съѣсть, и всё носятъ такіа разрушающія, такіа уничтожающія начала, что трепещетъ въ Европѣ всякая мыслящая голова и спрашиваетъ невольно: гдѣ наша цивилизація? Пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи...

„Отчего вамъ показалось, что я сплелъ пѣснь тоже нашему духовенству? Я сказалъ, что проповѣдникъ Восточной Церкви долженъ жизнью и дѣлами проповѣдать. И отчего у васъ такой духъ ненависти? Я очень много зналъ дурныхъ поповъ, и могу вамъ рассказать множество смѣшныхъ про нихъ анекдотовъ, но встрѣчалъ за то и такихъ, которыхъ святости жизни и подвигамъ я дивился, и видѣлъ, что они—созданье нашей Восточной церкви, а не Западной. Итакъ, я вовсе не думалъ воздавать пѣснь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь.

„Какъ странно мое положеніе, что я долженъ защищаться противъ тѣхъ нападеній, которыя всё направлены не противъ меня и не противъ моей книги! Вы говорите, что вы прочли

будто сто разъ мою книгу, тогда какъ ваши же слова говорить, что вы ее не читали ни разу. Гнѣвъ отуманилъ глаза вамъ и ничего не далъ вамъ увидѣть въ настоящемъ смыслѣ. Блуждаютъ кое-гдѣ блести правды посреди огромной кучи софизмовъ и необдуманнѣхъ юношескихъ увлеченій. Но какое невѣжество! Какъ дерзнуть съ такимъ малымъ запасомъ свѣдѣній толковать о такихъ великихъ явленіяхъ? Вы отдѣляете Церковь отъ... христіанства, ту самую Церковь, тѣхъ самыхъ пастырей, которые мученичествомъ своей смерти запечатлѣли истину всякаго слова Христова, которые тысячами гибли подъ ножами и мечами убійцъ, молясь о нихъ, и наконецъ утомили самихъ палачей, такъ что побѣдители упали къ ногамъ побѣжденныхъ, и весь міръ исповѣдалъ (ея ученіе). И этихъ самыхъ пастырей, этихъ мучениковъ-епископовъ, которые вынесли на плечахъ святыню Церкви, вы хотите отдѣлить отъ Христа! Кто же, по вашему, ближе и лучше можетъ истолковать теперь Христа? Неужели нынѣшніе коммунисты и социалисты, объясняющіе, что Христосъ повелѣлъ отнимать имущества и грабить тѣхъ, которые нажили себѣ состояніе? Опомнитесь, куда вы зашли! Вольтера называете вы оказавшимъ услугу христіанству и говорите, что это извѣстно всякому ученику гимназіи. Да я, когда еще былъ въ гимназіи, я и тогда не восхищался Вольтеромъ. У меня и тогда было на столько ума, чтобъ видѣть въ Вольтерѣ ловкаго остроумца, но далеко не глубокаго человѣка. Вольтеромъ не могли восхищаться ни Пушкинъ, ни Суворовъ, ни всѣ сколько-нибудь полные умы. Вольтеръ, не смотря на всѣ блестящія замѣтки, остался тотъ же французъ, который увѣренъ, что можно говорить обо всѣхъ предметахъ высокихъ путя и легко. О немъ можно сказать то, что Полежаевъ говоритъ вообще о французѣ:

Французъ—дитя;  
Онъ вамъ, шута,  
Разрушить тронъ  
Издасть законъ;...

Онъ быстръ, какъ взоръ,  
И пусть, какъ вздоръ,...  
И удивить,  
И насмѣшить.

„Нельзя, получа легкое журнальное образованіе, (судить) о такихъ предметахъ. Нужно для этого изучить Исторію Церкви. Нужно сызнова прочитать съ размышленіемъ всю Исторію человѣчества въ источникахъ, а не въ нынѣшнихъ легкихъ брошюркахъ, (написанныхъ Богъ вѣсть кѣмъ). Эти поверхностныя энциклопедическія свѣдѣнія разбрасываютъ умъ, а не сосредоточиваютъ его.

„Что мнѣ сказать вамъ на рѣзкое замѣчаніе о Русскомъ мужикѣ—замѣчаніе, которое вы съ такою самоувѣренностію произносите, какъ будто вѣкъ обращались съ Русскимъ мужикомъ? Что мнѣ тутъ говорить, когда такъ краснорѣчиво говорятъ тысячи церквей и монастырей, покрывающихъ (Русскую землю), которые они строятъ не дарами богатыхъ, но бѣдными лептами неимущихъ? Нѣтъ, нельзя судить о Русскомъ народѣ тому, кто прожилъ вѣкъ въ Петербургѣ, безпрестанно занятый легкими журнальными статейками Французскихъ романистовъ, которые такъ пристрастны къ своимъ идеямъ, и не замѣчаютъ того, какъ уродливо и нелѣпо изображена у нихъ жизнь. Позвольте также сказать, что я болѣе предъ вами имѣю права заговорить о Русскомъ народѣ. Всѣ мои сочиненія, по единодушному убѣжденію, показываютъ знаніе природы Русскаго человѣка, (какъ въ писателѣ), который былъ съ народомъ наблюдателемъ и, можетъ быть, уже имѣетъ даръ входить въ его жизнь, что подтвердили и вы въ вашихъ критикахъ. А что же вы представите въ доказательство вашего знанія... природы Русскаго народа? Что вы произвели такого, въ которомъ видно это знаніе? Предметъ этотъ великъ, и объ этомъ я могъ бы вамъ написать цѣлыя книги. Вы бы устыдились сами того грубаго смысла, который вы придали совѣтамъ моимъ помѣщику. Какъ эти совѣты ни маловажны, но въ нихъ нѣтъ протеста про-

титу грамотности... развѣ протестъ противъ развращенія народа Русскаго грамотою, на мѣсто того, что грамота намъ дана, чтобъ стремить къ высшему свѣту человѣка. Отзывы ваши о помѣщикахъ вообще отзываются временами Фонвизина. Съ тѣхъ поръ много-много измѣнилось въ Россіи, и теперь показалось многое другое. Что для крестьянъ выгоднѣе правленіе одного помѣщика, который воспитался и въ университетѣ и, стало быть, уже многое долженъ чувствовать... Да и много есть такихъ предметовъ, о которыхъ слѣдуетъ каждому изъ насъ подумать заблаговременно, прежде нежели съ пылкостью невольнаго рыцаря и юноши толковать. — Вообще у насъ какъ-то болѣе заботятся о перемѣнѣ названій и именъ, нежели о сущности дѣла... Не стыдно ли вамъ въ уменьшительныхъ именахъ нашихъ, которыя даемъ мы иногда и товарищамъ, видѣть порабощеніе? Вотъ до какихъ ребяческихъ выводовъ доводитъ невѣрный взглядъ на главный предметъ!

„Еще изумила меня эта отважная самонадѣянность, съ которою вы говорите, что: *Я знаю общество наше и духъ его.* Какъ можно ручаться за этотъ ежеминутно мѣняющійся хамелеонъ? Какими данными вы можете удостовѣрить, что знаете общество? Гдѣ ваши средства къ тому? Показали ли вы гдѣ-нибудь въ сочиненьяхъ своихъ, что вы глубокой вѣдатель души человѣка? Живя почти безъ прикосновенія съ людьми и свѣтомъ, ведя мирную жизнь журнальнаго сотрудника, во всегдашнихъ занятіяхъ фельетонными статьями, какъ вамъ имѣть понятіе объ этомъ громадномъ страшилищѣ, которое неожиданными явленіями ловить насъ въ ту ловушку, въ которую попадаютъ всѣ молодые писатели, разсуждающіе обо всемъ мірѣ и челоувѣчествѣ, тогда какъ довольно заботъ намъ и вокругъ себя. Нужно прежде всего ихъ исполнить, такъ общество само собою пойдетъ хорошо. А если пренебрежемъ свои обязанности относительно лицъ близкихъ и погонимся за обществомъ, то запутаемся такъ же точно. Я встрѣчалъ въ по-

слѣднее время много прекрасныхъ людей, которые совершенно сбились на этомъ предметѣ...

„Многіе, видя, что общество идетъ дурной дорогой, что порядоѣ дѣлъ безпрестанно запутывается, думаютъ, что преобразованьями и реформами, обращенъ на такой и на другой ладъ можно поправить міръ, другіе думаютъ, что посредствомъ какой-то особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете беллетристичкой, можно подѣйствовать на воспитаніе общества. Мечты! Кромѣ того, что прочитанная книга лежитъ безъ примѣненія..., плоды если происходить, то вовсе не тѣ, о которыхъ думаетъ авторъ, а чаще такіе, отъ которыхъ онъ съ испугомъ отскакиваетъ самъ... Общество образуется само собою, слагается изъ единицъ. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою... Пускай вспомнить человѣкъ, что онъ вовсе не матеріальная скотина, а высокій гражданинъ высокаго небеснаго гражданства, и до тѣхъ поръ, покуда каждый сколько-нибудь не будетъ жить жизнью небеснаго гражданства, до тѣхъ поръ не придетъ въ порядоѣ и земное гражданство.

„Вы говорите, что Россія долго и напрасно молилась. Нѣтъ, Россія... помолилась въ 1612, и спаслась отъ Поляковъ; она помолилась въ 1812, и спаслась отъ Французовъ. Или это вы называете молитвою, что одна тысячная молится, а всѣ прочіе кутятъ... съ утра до вечера на всякихъ зрѣлищахъ, закладывая послѣднее свое имущество, чтобы насладиться всѣмъ комфортомъ, которымъ надѣлила насъ эта безтолковщина Европейской цивилизаціи?...

„Нѣтъ, оставимъ подобныя мечты... Будемъ исполнять свое дѣло честно. Будемъ стараться, чтобы не зарыть въ землю талантовъ. Будемъ отправлять по совѣсти свое ремесло. Тогда все будетъ хорошо, и состояніе общества поправится само собою. Владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ. Чиновники увидятъ, что не нужно жить богато, перестанутъ брать взятки; а честолюбецъ, увидя, что важныя мѣста не награждаютъ ни деньгами, ни богатымъ жалованьемъ... Позвольте мнѣ напом-

нить вамъ прежнюю вашу дорогу. Литераторъ существуетъ для истины. Онъ долженъ служить искусству честно, вносить въ души міра примиреніе..., а не вражду... Начните ученіе. Примитесь за тѣхъ поѣтовъ и мудрецовъ, которые воспитываютъ душу. Журнальныя занятія вывѣтриваютъ душу, и вы замѣчаете наконецъ пустоту въ себѣ. Вспомните, что вы учились кое-какъ, не кончили даже университетскаго курса. Вознаградите это чтеніемъ большихъ сочиненій, а не современныхъ брошюръ, писанныхъ разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямого взгляда.

„Слова мои о грамотности вы приняли въ буквальный, тѣсномъ смыслѣ. Слова эти были сказаны помѣщику, у котораго крестьяне земледѣльцы. Мнѣ даже было смѣшно, когда изъ этихъ словъ вы поняли, что я вооружился противъ грамотности; точно какъ будто бы объ этомъ теперь вопросъ,—когда это вопросъ, рѣшенный уже давно нашими отцами. Отцы и дѣды наши, даже безграмотные, рѣшили, что грамота нужна. Не въ этомъ дѣло. Мысль, которая проходитъ сквозь всю мою книгу, есть та, какъ просвѣтить прежде грамотныхъ, чѣмъ безграмотныхъ, какъ просвѣтить прежде тѣхъ, которые имѣютъ близкія столкновенія съ народомъ, чѣмъ самый народъ. Всѣ эти мелкіе чиновники и власти, которые всѣ грамотны и которые между тѣмъ много дѣлаютъ злоупотребленій... Повѣрьте, что для этихъ господъ нужнѣе издавать тѣ книги, которыя, вы думаете, полезны для народа. Народъ меньше испорченъ, чѣмъ все это грамотное населеніе. Но издавать книги для этихъ господъ, которыя бы открывали имъ тайну, какъ быть съ народомъ и съ подчиненными, которые имъ поручены,—не въ томъ обширномъ смыслѣ, въ которомъ повторяются слова не крадь, соблюдай правду, или помни, что твои подчиненные люди такіе же, какъ и ты, но которыя могли бы ему открыть, какъ именно не красть и чтобы точно то была правда“<sup>466</sup>)...

Мы недоумѣваемъ, почему это прекрасное, вразумительное письмо было разорвано Гоголемъ.

Надо замѣтить, что посредникомъ между Гоголемъ и Западниками былъ П. В. Анненковъ, которому онъ написалъ по поводу письма Бѣлинскаго \*) слѣдующее: „Я получилъ письмо отъ Бѣлинскаго, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувствомъ ожесточенья вообще. Послѣднее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при немъ: отведите отъ него все, возмущающее духъ его. Убѣдите его прежде всего въ той непреложной истинѣ, что излишество теперь удѣлъ всѣхъ, кто только сколько-нибудь имѣетъ сердце безчувственное къ дѣламъ міра, какой-нибудь характеръ и какое-нибудь убѣжденіе. Всѣ переливаютъ черезъ край, потому что никто не спокоенъ. Я, болѣе другихъ спокойный и хладнокровный, впалъ въ излишество болѣе другихъ: писавши мои *Письма*, я былъ истинно убѣжденъ въ той мысли, что всѣ званія и должности могутъ быть освящены человекомъ, и что чѣмъ выше мѣсто, тѣмъ оно должно быть святѣе; я хотѣлъ рассмотреть всѣ мѣста и званія въ ихъ чистомъ источникѣ, а не въ томъ видѣ, въ какомъ они являются вслѣдствіе злоупотребленій человѣческихъ, а выразился такъ, что слова мои приняли за куренье человѣку. Занявшись своимъ собственнымъ внутреннимъ воспитаніемъ, проводя долгое время за Бибією, за Моисеемъ, Гомеромъ—законодателями вѣковъ минувшихъ, читая исторію событій кончившихся и отжившихъ, наконецъ наблюдая и анатомируя собственную душу въ желаньи узнать глубоко душу человѣка вообще и встрѣтись на этомъ пути съ тѣмъ, который болѣе всѣхъ насъ знаетъ душу человѣка, я весьма естественно сталъ на время чуждъ всему современному. Ни раздраженія, ни фанатизма во мнѣ нѣтъ: ничьей стороны держать не могу, потому что вездѣ вижу частицу правды и много всякихъ преувеличеній и лжи. Здоровье мое, которое началось было уже поправляться и восстанавливаться, потряслось отъ этой для меня сокрушительной исторіи по поводу моей книги.

---

\*) Изъ Остенда въ Парижъ 12 августа 1847 года.



Многіе удары такъ были сокрушительны для всякаго рода щекотливыхъ струнъ, что дивлюсь самъ, какъ я еще остался живъ, и какъ все это вынесло мое слабое тѣло“.

Кромѣ Бѣлинскаго, Гоголь простираетъ свою нѣжную заботливость и особенное вниманіе и на всѣхъ его друзей и единомышленниковъ, усердныхъ сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ*. Такъ, къ тому же Анненкову Гоголь изъ Остенде въ Парижъ писалъ (7 сентября 1847 г.): „Въ письмѣ вашемъ вы упоминаете, что въ Парижѣ находится Герценъ. Я слышалъ о немъ очень много хорошаго. О немъ люди *отъ* партій отзываются какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ. Это лучшая репутація въ нынѣшнее время. Когда буду въ Москвѣ, познакомясь съ нимъ непременно, а покада извѣстите меня, что онъ дѣлаетъ, что его болѣе занимаетъ и что предметомъ его наблюденій. Увѣдомьте меня, женатъ ли Бѣлинскій, или нѣтъ, мнѣ кто-то сказывалъ, что онъ женился. Изобразите мнѣ также портретъ молодого Тургенева, чтобы я получилъ о немъ понятіе какъ о человѣкѣ; какъ писателя, я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ въ немъ *замѣчательный* и общаетъ большую дѣятельность въ будущемъ“.

А между тѣмъ И. С. Тургеневъ привѣтствовалъ „фіаско“ книги Гоголя какъ одно изъ утѣшительныхъ проявленій тогдашняго общественнаго мнѣнія“.

Въ наши дни П. А. Матвѣевъ въ рядѣ статей, напечатанныхъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ заглавіемъ *Н. В. Гоголь и его переписка съ друзьями*, представилъ безпристрастный и на изученіи подлинныхъ источниковъ основанный пересмотръ спора, возбужденнаго книгой Гоголя. Результатомъ этого изслѣдованія оказалось, что въ *Перепискѣ*, при самомъ тщательномъ розыскѣ, не только не заключается ничего позорнаго, какъ то долго и упорно твердила наша критика, но что книга эта заслуживаетъ самаго серьезнаго изученія по своему глубокому содержанію и свѣтлымъ мыслямъ, свидѣтельствующимъ о высокомъ духовномъ настроеніи автора. Прав-

дивнымъ освѣщеніемъ содержанія книги Гоголя П. А. Матвѣевъ установилъ, что не Гоголь, а его критики заслуживаютъ осужденія Исторіи. Дѣйствительно, нельзя не обратить вниманія, напримѣръ, на взглядъ Гоголя относительно значенія въ нашей жизни Православной Церкви и Русскаго Дворянства. Гоголь, въ письмѣ къ графу А. П. Толстому, называлъ Дворянство *цвѣтомъ Русскаго народа, костью отъ его кости, плотью отъ его плоти*.

Вообще было бы желательно болѣе серьезное отношеніе къ перепискѣ Гоголя съ друзьями. *Выбранныя мѣста изъ нея* содержатъ въ себѣ обильную духовную пищу, столь необходимую въ наше время, скудное духовными идеалами, безъ которыхъ безсильно мятется и тоскуетъ человѣкъ, какъ птица безъ крыльевъ. И какъ отраднo повторить наученіе нашего достопочтеннаго настоятеля Исаакіевскаго собора, отца протоіерея Петра Алексѣевича Смирнова:

*„Держитесь близъ Церкви-матери и храните, какъ самое дорогое сокровище, какъ зѣницу ока, святыню Православія“* <sup>467</sup>).

---

КОНЕЦЪ КНИГИ ВОСЬМОЙ.

Село Михайловское,  
Подольскаго уѣзда, Московской губерніи.

21 сентября 1893 г.



1) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 28.

2) Я. Гротъ. *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. С.-Пб. 1885. III, стр. 553.

3) *Дневникъ* 1845, подъ 14 апрѣля, 25 и 27 января.

4) *Письма*, XV.

5) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*

6) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 184—185.

7) *Письма*, XV; *Москвитянинъ* 1845, №№ 7—8, стр. 81—102.

8) *Русскій Архивъ* 1877, № 12, стр. 362, 357.

9) *Письма*, XV.

10) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 313—314.

11) *Отечественныя Записки* 1845, XXXVIII. Смѣсь, стр. 133. *Письма Филарета, архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому*. М. 1885, стр. 178.

12) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 265.

13) *Отечественныя Записки* 1845, XXXIX. Смѣсь, стр. 48—51.

14) *Дневникъ* 1845, подъ 21 марта.

15) *Письма*, XV.

16) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857.

17) *Письма*, XV.

18) *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 50.

19) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*. М. 1890, стр. 144.

20) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*.

21) *Письма*, XV.

22) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 144.

23) *Письма*, XV.

24) *Русскій Архивъ* 1877, № 12, стр. 366—367.

25) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*.

26) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 317—318.

27) *Русская Старина* 1890, [июнь, стр. 645; июль, стр. 643.

28) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 319.

29) *Письма*, XV. *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. II, стр. 334—347.

30) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*. С.-Пб. 1885. III, стр. 397.

31) *Письма*, XV.

32) *Дневникъ* 1845, подъ 1 декабря.

33) *Письма*, XIV. Н. Страховъ. *Сочиненія Аполлона Григорьева*. С.-Пб. 1876, стр. IX.

34) *Москвитянинъ* 1843, № 11, стр. 5—6.

35) *Письма*, XIII.

36) *Сочиненія Аполлона Григорьева*, стр. IX.

37) *Письма*, XV.

38) И. С. Аксаковъ. М. 1888. I, стр. 312—313.

39) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 244, 321.

- 40) *Т. Н. Грановскій*, стр. 146.
- 41) *Дневникъ* 1845, подъ 22 февраля.
- 42) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 267—268.
- 43) *В. В. Григорьевъ*, стр. 87.
- 44) *Дневникъ* 1845, подъ 22 февраля.
- 45) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 317.
- 46) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 269—270.
- 47) *Т. Н. Грановскій*, стр. 146—149.
- 48) *Русскій Архивъ* 1882, № 6, стр. 216.
- 49) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 264.
- 50) *Дневникъ* 1845, подъ 1 марта.
- 51) *Гражданинъ* 1874, № 13, стр. 415.
- 52) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 25—27.
- 53) *Гражданинъ* 1873, № 13, стр. 415.
- 54) *Москвитянинъ* 1845, № 4. Смѣсь, стр. 27—32.
- 55) *Мой Дорожный Дневникъ* 1869, подъ 31 августа.
- 56) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 136.
- 57) *Письма*, XV.
- 58) *Дневникъ* 1845, подъ 21 и 22 мая.
- 59) *И. С. Аксаковъ*. М. 1888. I, стр. 226—227.
- 60) *Дневникъ* 1845, подъ 31 марта.
- 61) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1883. VIII, стр. 233.
- 62) *Русская Старина* 1890, июнь, стр. 648.
- 63) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 189—190, 192.
- 64) *Русская Старина* 1890, июнь, стр. 652.
- 65) *Дневникъ* 1845, подъ 1 и 3 ноября.
- 66) *Русская Старина* 1890, июнь, стр. 652.
- 67) *И. С. Аксаковъ*, стр. 260—261.
- 68) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 150.
- 69) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 280—283, 256, 266—268, 284—286.
- 70) *Современникъ* 1846, XLI, стр. 409.
- 71) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 280—283, 256, 266—268, 284—286.
- 72) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 150.
- 73) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 191.
- 74) *Письма*, XV.
- 75) *Русскій Архивъ* 1871, стр. 1858; 1882, № 1, стр. 212, 215, 216, 218, 219.
- 76) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 173—174.
- 77) *Русская Старина* 1890, январь, стр. 48—49.
- 78) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*.
- 79) *Москвитянинъ* 1845, № 7—8, стр. 110—112.
- 80) *Отчественныя Записки* 1845, XLII. Смѣсь, стр. 116—117.
- 81) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 319, 315, 308—309, 316—317.
- 82) *Русская Старина* 1890, июнь, стр. 649.
- 83) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 13.
- 84) *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 54.
- 85) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 315.
- 86) *Бѣлинскій*, II, стр. 241.
- 87) *Автобіогр. Записки* (гр. Строгановъ), т. 6 об.
- 88) *Письма*, XV.
- 89) *Дѣло Совета Московскаго Университета* 1845, № 241.
- 90) *Дневникъ* 1845, подъ 25—26 апрѣля.
- 91) *Біографич. Словарь Московскаго Университета*, II, стр. 434.
- 92) *Дневникъ* 1845, подъ 15 июня, 21 июля, 6 октября.
- 93) *Русская Старина* 1882, стр. 461.

- 94) *Біографіи и Характеристики*. С.-Пб. 1882, стр. 261—262.
- 95) *Бнязь В. А. Черкасскій*. М. 1879, стр. VII—X.
- 96) *Дневникъ* 1845, подъ 31 января.
- 97) *Письма*, XV.
- 98) *Письма Филарета, архієпископа Черниговскаго къ А. В. Горскому*, стр. 179.
- 99) *Письма*, XV.
- 100) *Дневникъ* 1845, подъ 8 и 10 октября.
- 101) *Русскій Архивъ* 1882, № 1, стр. 281.
- 102) *Дневникъ* 1845, подъ 19 марта.
- 103) *Письма*, XV.
- 104) *Дневникъ* 1845, подъ 17 февраля.
- 105) *Москвитянинъ* 1846, № 1, стр. 181—182.
- 106) *Дневникъ* 1845, подъ 29 января.
- 107) *Отечественныя Записки* 1845. XXXIX. Смѣсь, стр. 50—51.
- 108) *Автобіографич. Записки* (гр. Строгановъ), т. 9 об.
- 109) *Дневникъ* 1845, подъ 12 и 18 марта.
- 110) *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія* 1845, XLVII, отд. II, стр. 54—64.
- 111) *Письма*, XV.
- 112) *Москвитянинъ* 1845, № 1. Московская Лѣтопись, стр. 14—22.
- 113) *Письма*, XV.
- 114) *Москвитянинъ* 1845, № 3. Науки, стр. 1—10.
- 115) *Дневникъ* 1845, подъ 31 марта.
- 116) *Москвитянинъ* 1845, №№ 7—8, стр. 47—57.
- 117) *Дневникъ* 1845, подъ 23 марта.
- 118) *Письма*, XV.
- 119) *Москвитянинъ* 1845, № 3, стр. 11—58; 1846, стр. 265—267.
- 120) *Дневникъ* 1845, подъ 29 января.
- 121) *Письма*, XV.
- 122) *Москвитянинъ* 1845, № 3. Матеріалы для Русской Исторіи, стр. 52.
- 123) *Письма*, XV.
- 124) *Москвитянинъ* 1845, № 9, стр. 19—59.
- 125) *Письма*, XV.
- 126) *Русскіе Палеологи сороковыхъ годовъ*. С.-Пб. 1880, стр. 50—51.
- 127) *Дневникъ* 1845, подъ 6 февраля, 3 марта.
- 128) *Письма*, XV.
- 129) *Чтенія* 1846. Засѣд. 26 янв. 1846, № 1. Протоколы, стр. IX.
- 130) *Автобіографич. Записки* (гр. Строгановъ), т. 9 об.
- 131) *Письма*, XIV.
- 132) *Автобіографич. Записки* (гр. Строгановъ), т. 11.
- 133) *Письма*, XV.
- 134) *Дневникъ* 1845, подъ 7, 12 іюля.
- 135) *Письма*, XV.
- 136) *Жизнь и Труды П. М. Строева*. С.-Пб. 1878, стр. 417.
- 137) *Письма*, XV.
- 138) *Дневникъ* 1845, подъ 26 мая.
- 139) *Письма*, XV.
- 140) *Дневникъ* 1845, подъ 11 іюня.
- 141) *Письма*, XV.
- 142) *Дневникъ* 1845, подъ 4, 12, 20 іюня.
- 143) *Письма*, XV.
- 144) *Переписка А. Х. Востокова*, стр. 376, 375.
- 145) *Письма*, XV.
- 146) *Автобіографич. Записки* (Открытіе памятника Карамзину).
- 147) *Дневникъ* 1845, подъ 8—10 августа.
- 148) *Автобіографич. Записки* (Открытіе памятника Карамзину).
- 149) *Москвитянинъ* 1845, № 9, стр. 1—2.
- 150) *Автобіографич. Записки* (Открытіе памятника Карамзину).
- 151) *Москвитянинъ* 1845, № 9, стр. 2—9.
- 152) *Историческое Похвальное Слово Карамзину*. М. 1845, стр. 4—6.
- 153) *Москвитянинъ* 1845, № 9, стр. 9—12.
- 154) *Стихотворенія П. М. Языкова*. С.-Пб. 1858. II, стр. 277—281.
- 155) *Москвитянинъ* 1845, № 9.
- 156) *Письма*, XV.

157) *Біографич. Словарь Московскаго Университета*, II, стр. 261.

158) *Письма*, XV.

159) *Біографич. Словарь Московскаго Университета*, II, стр. 261.

160) *Автобіографич. Записки* (Открытие памятника Карамзину).

161) *Письма*, XV.

162) *Дневникъ* 1845, подъ 19 ноября.

163) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 106.

164) *Письма*, XV.

165) *Отечественныя Записки* 1845, XLII. Смѣсь, стр. 106—109.

166) *Письма*, XV, XVI.

167) *Автобіографич. Записки* (Открытие памятника Карамзину).

168) *Дневникъ* 1845, подъ 2 декабря, 11 октября, 27 ноября.

169) *Письма*, XV.

170) *Выбранныя мѣста изъ Переписки съ друзьями*. С.-Пб. 1847, стр. 95—96. *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 249.

171) *Письма*, XV.

172) *Автобіографич. Записки*.

173) *Письма*, XVI.

174) *Біографич. Словарь Московскаго Университета*, I, стр. 442—443.

175) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 270, 272.

176) *Дневникъ* 1845, подъ 5 марта.

177) *Сочиненія А. И. Герцена*, I, стр. 272—273.

178) *Дневникъ* 1844, подъ 7 марта.

179) *Русскій Архивъ* 1884, № 5, стр. 209.

180) *Біографія Д. А. Валуева*. М. 1846, стр. 15—18.

181) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 320, 321; 1884, № 5, стр. 210.

182) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 156.

183) *Дневникъ* 1845, подъ 29 декабря.

184) *Письма*, XV.

185) *Русская Старина* 1882, стр. 460.

186) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 148.

187) *Письма*, XV.

188) *Дневникъ* 1845, подъ 8 ноября.

189) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 156.

190) *Письма*, XV. *Русская Старина* 1882, стр. 461.

191) *Дневникъ* 1845, подъ 4 декабря.

192) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 156.

193) *Письма митрополита Московскаго Филарета къ наместнику архимандриту Антонію*. М. 1878. II, стр. 66—67.

194) *Письма*, XV.

195) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 322.

196) *Историческій Вѣстникъ* 1892, апрѣль, стр. 39. *Русская Старина* 1890, июль, стр. 212.

197) *Письма*, XV.

198) *Московскія Вѣдомости* 1845, № 156.

199) *Дневникъ* 1845, подъ 11 декабря.

200) *Письма*, XV.

201) *Русскій Архивъ* 1868, стр. 1456—1459; 1875, стр. 57—71.

202) *Дневникъ* 1845, подъ 5—6 ноября.

203) *Письма*, XV.

204) *Дневникъ*, 1845, подъ 31 декабря.

205) *Письма*, XVI.

206) *Сочиненія Иннокентія*. С.-Пб. 1872, II, стр. 379—384.

207) *Письма*, XVI.

208) *Москвитянинъ* 1846, №№ 9—10, стр. III—XVI.

209) *Письма*, XVI.

210) *Москвитянинъ* 1846, № 1, стр. 200, 203.

211) *Письма*, XVI.

212) *Дневникъ* 1846, подъ 22, 26 мая, 7 июня; 13, 14, 21, 23 ноября; 22, 26 апрѣля.

213) *Путеводитель къ Гевсиманскому Скиту*. М. 1887, стр. 9—11.

214) *Сочиненія Филарета митрополита Московскаго*. М. 1882, IV, стр. 400.

215) *Письма митрополита Московскаго Филарета А. Н. М. Кіевъ.* 1869, стр. 201—202.

216) *Письма, XVI.*

217) *Автобиографич. Записки (Карамзинъ).*

218) *Москвитянинъ* 1846, № 2, стр. 1—24.

219) *Дневникъ* 1846, подъ 28 февраля.

220) *И. С. Аксаковъ.* М. 1868, I, стр. 360—361, 387—388. *Приложение,* стр. 85.

221) *Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ.* М. 1874, стр. 103—104.

222) *Письма, XVII.*

223) *Русскій Архивъ* 1877, № 12, стр. 369.

224) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева.* С.-Пб. 1885. III, стр. 573.

225) *Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія* 1874, № 11.

226) *Письма, XVI.*

227) *Сочиненія Аполона Григорьева.* С.-Пб. 1876. I, стр. IX,

228) *Письма, XVI.*

229) *Отечественныя Записки* 1846. XLIV. Критика, стр. 44—56. *Москвитянинъ* 1846, № 3, стр. 212—251.

230) *Письма, XVI.*

231) *Дневникъ* 1846, подъ 1 февраля, 17 марта.

232) *Письма, XVI.*

233) *Дневникъ* 1846, подъ 8 марта, 6 декабря.

234) *Письма, XVI.*

235) *Дневникъ* 1846, подъ 31 марта, 17 декабря.

236) *Письма, XVI.*

237) *И. С. Аксаковъ,* I, стр. 364.

238) *Московскія Вѣдомости* 1846, № 20.

239) *Москвитянинъ* 1846, № 3, стр. 271.

240) *Сѣверная Пчела* 1846, № 39.

241) *Письма, XVI.*

242) *Москвитянинъ* 1846, № 5, стр. 188.

243) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 325.

244) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова.*

245) *Дневникъ* 1846, подъ 28 мая.

246) *Москвитянинъ* 1846, № 5, стр. 177—190.

247) *Письма, XVI.*

248) *Москвитянинъ* 1846, № 5, стр. 177 и пр.

249) *Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка.* С.-Пб. 1876. II, стр. 261.

250) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя.* С.-Пб. 1857. VI, стр. 287, 230, 232—233, 235.

251) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ* М. 1890, стр. 153—154.

252) *Письма, XVI.*

253) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя,* VI, стр. 252—253.

254) *Современникъ* 1846. XLIII, стр. 175—188.

255) *И. С. Аксаковъ,* I, стр. 353.

256) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго.* С.-Пб. 1879. II, стр. 325.

257) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя,* VI, стр. 229, 248—249.

258) *Библиотека для Чтенія* 1846. LXXVIII. Литературная Лѣтопись, стр. 17—18.

259) *И. С. Аксаковъ,* I, стр. 390—391.

260) *Дневникъ* 1846, подъ 19 іюня.

261) *Письма, XVI.*

262) *И. С. Аксаковъ,* I, стр. 356, 398—399.

263) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 322—323.

264) *И. С. Аксаковъ,* I, стр. 378.

265) *Русская Старина* 1890, іюль, стр. 211—212, 171—173.

266) *С. Т. Аксаковъ.* Критико-біографическій очеркъ. С.-Пб. 1891, стр. 110.

267) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ,* стр. 149—151.

268) *Письма, XVI.*

269) *Русская Старина* 1890, іюль, стр. 210—211.

270) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 326.



- 271) *Письма*, XVI. *Сочинения и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 244, 246.
- 272) *Москвитянин* 1846, № 5, стр. 180—181.
- 273) *И. С. Аксаков*, I, стр. 377, 383—385, 316, 363.
- 274) *Современник* 1846, XLIII, стр. 212—214.
- 275) *Бѣлинскій*, II, стр. 262.
- 276) *И. С. Аксаков*, I, стр. 398—399, 314—316.
- 277) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 149.
- 278) *И. С. Аксаков*, I, стр. 408—410.
- 279) *Письма*, XVII.
- 280) *И. С. Аксаков*, I, стр. 406—407.
- 281) *Московский Городской Листокъ* 1847, № 57.
- 282) *Письма*, XVII.
- 283) *И. С. Аксаков*, I, 317, стр. 343—344. *Прилож.*, стр. 79—81.
- 284) *Дневникъ* 1846, подъ 13 ноября.
- 285) *Письма*, XVI.
- 286) *Москвитянинъ* 1846, № 2, стр. 164—174.
- 287) *Сочинения и Переписка П. А. Плетнева*. С.-Пб. 1885. III, стр. 570. *П. В. Анненковъ и его друзья*. С.-Пб. 1892, стр. 598. *И. С. Аксаков*, I, стр. 313.
- 288) *Москвитянинъ* 1846, № 2, стр. 174—179, 183—185; № 3, стр. 176—188.
- 289) *Отечественныя Записки* 1846, XLV. Библ. Хр., мартъ, стр. 87—88.
- 290) *Письма*, XVI. *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 67.
- 291) *Отечественныя Записки* 1846, XLV. Смѣсь, стр. 124—128.
- 292) *Современникъ* 1846, XLII, стр. 218.
- 293) *С.-Петербургскія Вѣдомости* 1869, № 187—188. *Бѣлинскій*, II, стр. 244—245, 248—253, 256—259. *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 68, 65—66.
- 294) *И. С. Аксаков*, I, стр. 328—329, 333, 337—339.
- 295) *Бѣлинскій*, II, стр. 259—265.
- 296) *П. В. Анненковъ и его друзья*. С.-Пб. 1892, стр. 522—523.
- 297) *Т. Н. Грановскій*. М. 1869, стр. 151—152.
- 298) *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 60, 62. *Сочинения А. И. Герцена*. Женева, VII, стр. 361—362.
- 299) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 324—325.
- 300) *И. С. Аксаков*, I, стр. 316.
- 301) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 325—326.
- 302) *Т. Н. Грановскій*, стр. 153.
- 303) *Сочинения А. И. Герцена*, VII, стр. 362—369. *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1890*. Прил., стр. 77—78.
- 304) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 325—326.
- 305) *И. С. Аксаков*, I, стр. 399.
- 306) *Письма*, XVI, XV. *Т. Н. Грановскій*, стр. 224—226.
- 307) *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1889*. С.-Пб. 1893, стр. 86—88.
- 308) *Дневникъ* 1846, подъ 9 июня, 19 ноября, 10 июля.
- 309) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 544—545.
- 310) *Письма*, XIV.
- 311) *Отчетъ Имп. Публ. Библиотеки за 1889 годъ*, стр. 91—92.
- 312) *Вѣстникъ Европы* 1886, июль, стр. 29.
- 313) *Письма*, XVI.
- 314) *Дневникъ* 1846, подъ 15 апрѣля.
- 315) *Письма*, XVIII.
- 316) *Т. Н. Грановскій*, стр. 168.
- 317) *Письма*, XVIII, XVII.
- 318) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 304.
- 319) *Письма*, XVII.
- 320) *Историко-критическіе отрывки*. М. 1846, Предисловіе.
- 321) *Письма*, XVI.
- 322) *Москвитянинъ* 1846, № 3, стр. 252—257.
- 323) *Письма*, XVI.
- 324) *Дневникъ* 1846, подъ 12 февраля.

325) *Москвитянинъ* 1846, № 4, стр. 108—113; № 9—10, стр. 190—193.

326) *Письма*, XVI.

327) *Москвитянинъ* 1847, ч. 1, стр. 121—128; 1846, № 3, стр. 11—26; № 4, стр. 114—115; № 7, стр. 1—10.

328) *Полное Собрание Сочинений князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. II, стр. 303. *Письма*, XVII. *Сочинения и переписка П. А. Плетнева*. III, стр. 577—578.

329) *Письма*, XVII.

330) *Московскія Вѣдомости* 1863, № 180.

331) *Письма*, XVI.

332) *Русскіе Палеологи* С.-Пб. 1880. стр. 53, 67, 55.

333) *Письма*, XVI.

334) *Дневникъ* 1846, подъ 4 и 1 июля.

335) *Письма*, VI.

336) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 324.

337) *Сочинения и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 264.

338) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*.

339) *Дневникъ*, 1846, подъ 3 июня.

340) *Семейный Архивъ М. А. Веневитинова*.

341) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 404.

342) *Воспоминаніе о С. П. Шевыревъ*. С.-Пб. 1869, стр. 27.

343) *Письма*, XVII. *Письма М. П. Погодина М. А. Максимовичу*. С.-Пб. 1882, стр. 38.

344) *Письма*, XVI.

345) *Москвитянинъ* 1846, № 8, стр. 23—28.

346) *Московский Сборникъ на 1847 годъ*, стр. 605—606.

347) *Русскій Архивъ* 1883, № 1, стр. 109—110.

348) *Письма*, XVI.

349) *Поповъ. Письма къ М. П. Погодину изъ Словенскихъ земель*. М. 1879, стр. XIV—XV, 465—467.

350) *Возвращеніе въ Россію въ октябрь 1846 года* (рукопись), л. 1—9 обор.

351) *Письма*, XVI.

352) *Возвращеніе*, л. 1—9 об.

353) *Письма*, XVI.

354) *Дневникъ* 1846, подъ 20 ноября. *Письма*, XVI.

355) *Русскій Архивъ* 1882, № 1, стр. 213—214; 1879, № 11, стр. 313.

356) *Письма*, XVI.

357) *Библиограф. Записки*. М. 1892, ноябрь, стр. 781.

358) *Письма*, XVI.

359) *Москвитянинъ* 1846, № 8, стр. 152—167.

360) *А. А. Титовъ. Письма Вячеслава Ганки къ О. М. Бодянскому. Съ примѣчаніями И. В. Помяловскаго*. М. 1887, стр. 16 сл.

361) *Письма*, XVI. *Историческая Записка о дѣятельности Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества*, М. 1890, стр. 265—266. *Письма*, XVII. *На память о Бодянскомъ, Прейсѣ и Григоровичѣ*. С.-Пб. 1878, стр. 20. *Письма*, XVII. *Жизнь и Труды П. М. Строева*, стр. 406. *Письма*, XVII—XVIII.

362) *Петровский. В. И. Григоровичъ въ Казани*. С.-Пб. 1892, стр. 23—25.

363) *Биограф. Слов. Моск. Университета*. I, стр. 272.

364) *Письма В. Ганки къ О. М. Бодянскому*, стр. 17.

365) *Янъ Амосъ Коменскій. В. И. Григоровичъ*. Одесса. 1893, стр. 46—47.

366) *Письма*, XVI.

367) *Я. А. Коменскій. В. И. Григоровичъ*, стр. 46—47. *На память о Бодянскомъ, Григоровичѣ и Прейсѣ*. С.-Пб. 1878, стр. 19. *Письма*, XVII. *В. И. Григоровичъ въ Казани*. С.-Пб. 1892, стр. 36.

368) *Московский Сборникъ на 1846 годъ*. М. 1846, стр. 373—402.

369) *Письма*, XVI—XVII. *Москвитянинъ* 1847, III, стр. 159—160.

370) *Русскій Архивъ* 1883, № 1, стр. 105.

371) *Дневникъ* 1846, подъ 20 февраля и 7 марта.

- 372) *Москвитянинъ* 1846, № 9—10, стр. 65—80.
- 373) *Письма*, XV—XVI.
- 374) *Биограф. Слов. Моск. Университета*, I, стр. 285.
- 375) *Воспоминаніе о С. П. Шевыреве*, стр. 27.
- 376) *Русскій Архивъ* 1879, III, стр. 324; 1886, № 3, стр. 345—346.
- 377) *Полное Собраніе Сочиненій Н. В. Киреевскаго*. М. 1861. I, стр. 99.
- 378) *Москвитянинъ*, 1846, № 2, стр. 244—244.
- 379) *Письма*, XVI.
- 380) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*, IX, стр. 210—211.
- 381) *Москвитянинъ* 1846, № 5, стр. 164—175.
- 382) *Русскій Архивъ*, 1877, № 12, стр. 371.
- 383) *Письма*, XVI.
- 384) *Москвитянинъ* 1846, № 11—12, стр. 254—258.
- 385) *Письма*, XVII.
- 386) *Полное Собраніе Сочиненій Н. В. Киреевскаго*, I, стр. 97—99.
- 387) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 326, 327, 335.
- 388) *Полное Собраніе Сочиненіе князя П. А. Вяземскаго*, II, стр. 305—306, 308—309, 312—313.
- 389) *Москвитянинъ* 1846, № 1, стр. 287—289.
- 390) *Полное Собраніе Сочиненій К. С. Аксакова*. М. 1861. I, стр. 598—605.
- 391) *Сухоминовъ. Изслѣдованія и статьи по Исторіи Русской Литературы и Просвѣщенія*. С.-Пб. 1889. II, стр. 490.
- 392) *Московск. Городск. Листокъ* 1847, № 1.
- 393) *Русскій Архивъ* 1882, № 2, стр. 282.
- 394) *Сочиненія Филарета митрополита Московскаго*. М. 1882. IV, стр. 478—486.
- 395) *Письма*, XVII.
- 396) *Дневникъ* 1847, подъ 1 января.
- 397) *Письма*, XVI.
- 398) *Дневникъ* 1847, подъ 1 января.
- 399) *Отчетъ Н. Публ. Библиотекъ за 1889*. С.-Пб. 1893. Прил., стр. 74—75.
- 400) *Полн. Собр. Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. II, стр. 304—305.
- 401) *Сочиненія Н. В. Гоголя Найд.* 10-е. Н. С. Тихонравова М. 1889. IV, стр. 464—474.
- 402) *Полн. Собр. Сочиненій кн. П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. II, стр. 318—317.
- 403) *Москвитянинъ* 1848, ч. 1. Крѣтѣе, стр. 1—29.
- 404) *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*. С.-Пб. 1847, стр. 86—89.
- 405) *Сочиненія и письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 467.
- 406) *И. С. Аксаковъ*. М. 1888. I, стр. 417, 373, 398—399, 403—405.
- 407) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*. М. 1890, стр. 157—162, 166.
- 408) *Русская Старина* 1890, августъ, стр. 282—283.
- 409) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 407—408.
- 410) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 162—163.
- 411) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 410—412.
- 412) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 165—166.
- 413) *И. С. Аксаковъ*, стр. 414—415, 437.
- 414) *Русскій Архивъ* 1890, № 1, стр. 152—158.
- 415) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*. С.-Пб. 1857. VI, стр. 467.
- 416) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 422—426.
- 417) *Русская Старина* 1890, августъ, стр. 285—286.
- 418) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 345—346.
- 419) *И. С. Аксаковъ*, I, стр. 433—434.
- 420) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 371—372, 399—400.
- 421) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 170—176.
- 422) *Бѣлинскій*, II, стр. 271.

423) *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями*. С.-Пб. 1847, стр. 31—33.

424) *Дневникъ* 1847, подъ 10, 14, 11 января.

425) *Письма*, XVIII.

426) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 162—165.

427) *Дневникъ* 1847, подъ 23 февраля.

428) *Письма*, XVII.

429) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 374, 366.

430) *Русская Жизнь* 1892, № 84.

431) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 170.

432) *Русскій Архивъ* 1884, № 6, стр. 311.

433) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 424.

434) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 407—409.

435) *Письма*, XIV.

436) *Гражданинъ* 1874, № 4, стр. 110—111. *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 389, 461, 391—396, 424—426.

437) *Русскій Архивъ* 1885, № 6, стр. 311.

438) *П. В. Анненковъ и его друзья*. С.-Пб. 1892, стр. 533—534.

439) *Отчетъ Имп. Публичной Библиотеки за 1889*. Прил., стр. 78.

440) *Бѣлинскій*, II, стр. 282.

441) *Русская Старина* 1890, ноябрь, стр. 253—254.

442) *Церковныя Вѣдомости* 1893, № 28, стр. 1021.

443) *Книга Степенная*. М. 1775. I, стр. 309—310.

444) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 401, 410—411, 430—431.

445) *Русскій Архивъ* 1866, стр. 1062—1068.

446) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 529.

447) *Москвитянинъ* 1848, ч. I, Критика, стр. 1—29.

448) *Бѣлинскій*, II, стр. 276—278.

449) *Отчетъ Имп. Публичной Библиотеки за 1887* г. Прил., стр. 55.

450) *Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева*, III, стр. 580, 582.

451) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 350—351, 580, 336.

452) *Русскій Архивъ* 1872, стр. 1330—1332; 1866, стр. 1070.

453) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. II, стр. 317—322, 328—329, 334.

454) *Русскій Архивъ* 1866, стр. 1086—1087, 1078—1081.

455) *Письма*, XVII.

456) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 407—409.

457) *Сушковъ. Московск. Универс. Благородн. Пансіонъ*. М. 1858. Пр., стр. 25—28.

458) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 376—377, 408—409.

459) *Письма*, XVII.

460) *Москвитянинъ* 1848, ч. I, Критика, стр. 2.

461) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, стр. VI, 401.

462) *Русская Старина* 1890, августъ, стр. 285.

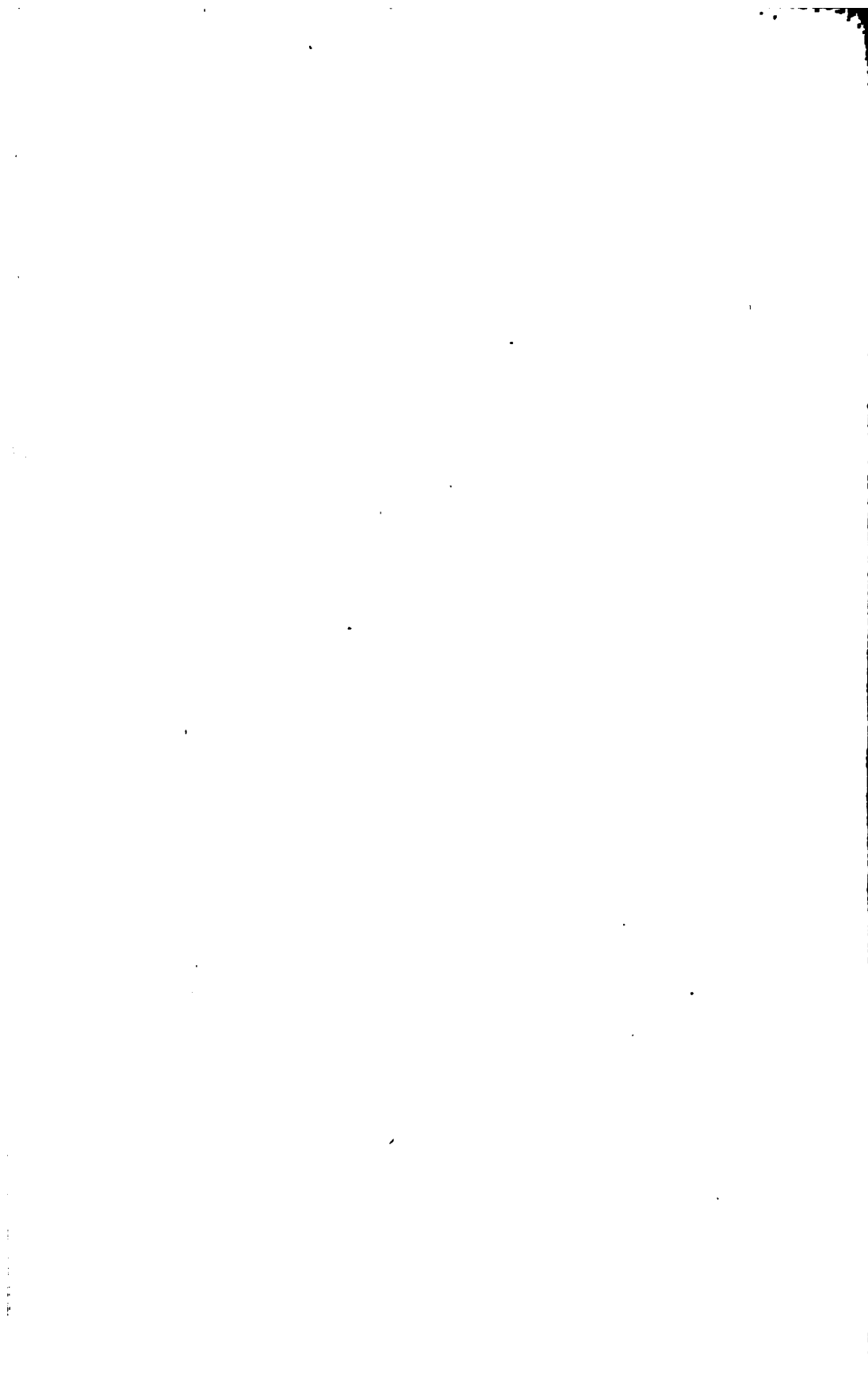
463) *Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго*. С.-Пб. 1879. стр. II, 331.

464) *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 513.

465) *Бѣлинскій*, II, стр. 288.

466) *Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя*, VI, стр. 379—387.

467) *Русскій Вѣстникъ* 1894, январь, статья П. А. Матвѣева: *Н. В. Гоголь и его Переписка съ друзьями*, стр. 227. *Церковныя Вѣдомости* 1894, № 1, прибав., стр. 12. *П. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 500—501, 508—509.





---

Съладъ изд. въ книж. магаз. типогр. М. М. Стасюлевича.  
С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 лин., 28.









7

1911

cent  
bey

specified

on promptly.

24 30 37

AU



2018.10

cent  
bey

specified

promptly.

24 30 37

AU

